СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

Поэзия. Судьба. Россия

Книга 2

"...Есть еще океан"

"НАШ СОВРЕМЕННИК"
Москва
2001

ББК 63.3(2)—3(2Рос—Рус)
К91

Куняев С.Ю.
К91 **Поэзия. Судьба. Россия**: Кн. 2. «...Есть еще океан».— М.: Наш современник, 2001.— 512 с., ил.

ISBN 5-901483-04-9 (т.2.) **ББК 63.3(2)—3(2(Рос—Рус)**
ISBN 5-901483-04-9

Двухтомник русского поэта Станислава Куняева объемлет более шестидесяти лет сегодняшней истории России.

На его страницах читатели встретятся со многими знаменитыми людьми эпохи, вместе с которыми прожил свою жизнь автор «Воспоминаний и размышлений». Среди них поэты — Николай Рубцов, Борис Слуцкий, Анатолий Передреев, Евгений Евтушенко, Александр Межиров, композитор Георгий Свиридов, историк и критик Вадим Кожинов, прозаики Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Василий Белов и другие...

Но «Поэзия. Судьба. Россия» — книга не только и не столько об «элите», сколько о тайнах русской судьбы с ее героическими взлетами и трагическими падениями.

Книга обильно насыщена письмами, дневниками, фотографиями, впервые публикуемыми из личного архива автора.

ISBN 5-901483-04-9 (т. 2.)
ISBN 5-901483-04-9



Терновый венец

Записка Ярослава Смелякова. Великие стихи великой эпохи. Жертвоприношение и самопожертвование. Изгой социализма. Запретная еврейская тема у Смелякова. Смеляков и Солженицын

Ежели поэты врут,
больше жить не можно.

Я. Смеляков

Перебирая свой архив, я нашел недавно четвертушку бумаги, на которой было несколько строк: "На днях бюро секции поэтов приняло в Союз писателей Станислава Куняева. Он человек одаренный, а в его книге "Землепроходцы" есть немало хороших современных стихотворений. Но, как мы говорили ему на бюро, у него нередко бывают формалистические игрушки, легкомысленная игра в слова. Когда эта игра идет вокруг незначительных тем, она еще более-менее терпима. А в данном стихотворении о Кубе она выглядит совершенно неуместно и погубила стихотворение. Не буду приводить цитат, так как для этого надо было бы разбирать почти все стихотворение целиком. Печатать стихи решительно нельзя.

Я. Смеляков".

Стихи мои были о кубинской революции, о лозунге "Родина или смерть". Из отзыва видно, что я не ходил в его любимцах. Что было чистой правдой.

Он, до последнего вздоха преданный эпохе социализма, истово верующий в ее историческое величие, никогда ни на

йоту не сомневавшийся в ее правоте, умер 27 ноября 1972 года, в день моего рождения.

Нет, не прост был этот белорус, впервые арестованный “за моральное разложение” в конце 1934 года. Тогда при обыске в его квартире была найдена книга Гитлера “Моя борьба”. А потом — финский плен, а после вызволения из плена подневольная работа на тульских шахтах, в 1951 году еще один арест и еще три года лагерной жизни в Инте. Но ему повезло больше, нежели его друзьям — Борису Корнилову и Павлу Васильеву: где они похоронены — не знает никто. Вроде бы проклинать должен был поэт это время, но вспоминаю, как его жена Татьяна Стрешнева на смеляковской даче в Переделкино незадолго до смерти поэта с ужасом и восторгом рассказывала мне:

— Я иногда слышу, как он во сне бредит, разговаривает. Так вы не поверите: однажды прислушалась и поняла, что он с кем-то все спорит, все советскую власть отстаивает!

Впрочем, я это понял гораздо раньше, когда прочитал его некогда знаменитые и крамольные для нынешнего времени стихи 1947 года:

Я строил окопы и доты,
железо и камень тесал,
и сам я от этой работы
железным и каменным стал.

Я стал не большим, а огромным —
попробуй тягаться со мной!
Как Башни Терпения, домны
стоят за моею спиной.

Я стал не большим, а великим,
раздумье лежит на челе,
как утром небесные блики
на выпуклой голой земле.

Стихи не о выполнении каких-то хозяйственных планов, не о достижении успехов в личной судьбе, это — о строительстве небывалой в истории человечества цивилизации.

Конечно, Смеляков понимал, что ее созидание требует непомерных жертв, и главный вопрос, мучивший его всю жизнь, был таков: что определяло эти жертвы — принуждение или добрая воля? Если принуждение — то великая цивилизация строится на песке и рано или поздно ее домны и Башни Терпения пошатнутся. Если жертвы добровольны и над ними мерцает венчик священного, религиозного в полном смысле слова пламени, тогда они ни за что не канут в небытие и забвение...

Сносились мужские ботинки,
армейское вышло белье,
но красное пламя косынки
всегда освещало ее.

Любила она, как отвагу,
как средство от всех неудач,
кусочек октябрьского флага —
осеннего вихря кумач.

В нем было бессмертное что-то:
останется угол платка,
как красный колпак санкюлота
и черный венок моряка.

Когда в тишину кабинетов
ее увлекали дела —
сама революция это
по каменным лестницам шла.

....

Такими на резких плакатах
печатались в наши года
прямые черты делегаток,
молчащие лица труда.

(1940)

Но такими ли они были, эти лица, на самом деле? Ведь о том же времени и о тех же людях Андрей Платонов пишет свой “Котлован”, где эти лица “стираются о революцию” и выглядят совершенно иначе. Но Смелякову я верю больше. В его стихотворенье нет ни одного фальшивого звука, никакого литературного штукарства, оно совершенно и самодостаточно, а если вспомнить еще две его строфы, не вошедшие в канонический текст, то глубина понимания поэтом народного самопожертвования в эпоху первой пятилетки покажется просто пророческой. Откуда возникла делегатка в нимбе красной косынки? Конечно же, из крестьянской избы.

Лишь как-то обиженно жалась
и таяла в области рта
ослабшая смутная жалость,
крестьянской избы доброта.

Но этот родник ее кроткий
был, точно в уступах скалы,
зажат небольшим подбородком
и выпуклым блеском скулы.

И опять ни одного лживого слова. Всё — правда. Правда самопожертвования...

Когда наемные лакеи нынешней идеологической перестройки кричат о десятках миллионов крестьян, якобы ставших лагерной пылью, я перечитываю Смелякова и верю ему, говорящему, что крестьянское сословие в 30-е годы не легло в вечную мерзлоту, а стало в своей численной основе летчиками, рабочими, итээровцами, врачами, студентами, машинистами, рабфаковцами, партийными работниками, поэтами, солдатами новой цивилизации.

У моей калужской бабки, крестьянки, было четверо детей. Сын стал летчиком первого призыва, одна дочь врачом, другая — диспетчером железной дороги, третья — швеей и потом директором швейной фабрики. Читаешь, бывало, некрологи 70—80-х годов — хоронят академика, военачальника, секретаря обкома, народного артиста, известного писателя — и видишь, что все они — вчерашние крестьянские дети... Об этом трудном, но неизбежном для народного будущего превращении крестьянства в другие сословия Смеляков размышлял всю жизнь. Всю жизнь он жаждал точно определить, из какого материала создан жертвенный нимб, окаймляющий лики "делегаток" и "делегатов", лики чернорабочих социалистической цивилизации.

Чтоб ей вперед неодолимой быть,
готовилась крестьянская Россия
на голову льняную возложить
большой венок тяжелой индустрии.

Строки из предсмертного стихотворения 1972 года, демонстративно названного "Сотрудницы ЦСУ" — то есть Центрального Статистического Управления. Одна из аббревиатур грозного времени...

Я их узнал мальчишеской порой,
Когда, ничуть над жизнью не печалясь,
они с моею старшею сестрой
по-девичьи восторженно общались.

Женские судьбы вчерашних крестьянских дочерей особенно трогали душу подростка, благоговевшего перед их наивным, почти монашеским аскетизмом.

Идя из школы вечером назад,
я предвкушал с блаженною отрадой,
как в комнатушке нашей шелестят
моих богинь убогие наряды.

Но я тайком приглядывался сам,
я наблюдал, как властно и устало
причастность к государственным делам
на лицах их невольно проступала.

Будущий поэт, отрок, школьник был счастлив тем,

что с женщинами этими делил
высокие гражданские заботы

и что в шкафах статистики стальных
для грозного строительства хранится
средь миллионных чисел остальных
его судьбы и жизни единица.

И опять в который раз поэт на склоне жизни требовал от судьбы ответа: чего больше было в “грозном строительстве” — подневольного жертвоприношения или добровольного самопожертвования. Нет, он не тешил себя риторикой лозунгов и социальными иллюзиями, он трезво, как сотрудницы ЦСУ, умел считать все победы и все утраты, он знал неимоверную цену, заплаченную народом за воплощение небывалой мечты, он видел, как ложатся в ее фундамент лозунги, люди, машины...

Кладбище паровозов.
Ржавые корпуса.
Трубы полны забвенья.
Свинчены голоса.

Словно распад сознанья —
полосы и круги.
Грозные топки смерти.
Мертвые рычаги.

Градусники разбиты:
цифирки да стекло —
мертвым не нужно мерить,
есть ли у них тепло.

Мертвым не нужно зренья —
выкрошены глаза.
Время вам подарило
вечные тормоза.

В ваших вагонах длинных
двери не застучат,
женщина не засмеется,
не запоет солдат.

Вихрем песка ночного
будку не занесет.

Юноша мягкой тряпкой
поршни не оботрет.

Больше не раскалятся
ваши колосники.
Мамонты пятилеток
сбили свои клыки...

Великое стихотворенье эпохи!.. Эпоха родила нескольких замечательных поэтов: Заболоцкого, Твардовского, Мартынова, Слуцкого, Павла Васильева. Но Ярослав Смеляков отличался от них всех какой-то особой, совершенно истовой, почти религиозной верой в правоту возникающей на глазах новой жизни. Его поэтический пафос был по своей природе и цельности родственен пафосу древнегреческих поэтов, заложивших основы героического и трагического ощущения человеческой истории, с ее дохристианскими понятиями рока, личной судьбы и античного хора. В его взгляде на жизнь не было ни раздвоенности Маяковского, ни покаянных метаний Твардовского, ни иронии Заболоцкого, ни мировоззренческого надлома Бориса Слуцкого. Рядом с ними — уже в шестидесятые и семидесятые годы — будь они кто старше, кто моложе его, он казался каким-то не желающим сомневаться, эволюционировать и пересматривать свои взгляды "мамонтом пятилеток". Но что поразительно! В то же время, когда и Твардовский, и Ахматова, и Заболоцкий, и Мандельштам, и Пастернак кто из "страха иудейска", кто искренне создавали Сталину славословия космического размаха, Ярослав Смеляков, восхищавшийся героикой сталинской эпохи, посвятил вождю лишь одно стихотворение, да и то после смерти Сталина, да и то не назвав его даже по имени. А стихотворенье особенное, смеляковское, где вождь очеловечен особым образом.

На главной площади страны,
невдалеке от Спасской башни,
под сенью каменной стены
лежит в могиле вождь вчерашний.

Над местом, где закопан он
без ритуалов и рыданий,
нет наклонившихся знамен
и нет скорбящих изваяний,

ни обелиска, ни креста,
ни караульного солдата —
лишь только голая плита
и две решающие даты,

да чья-то женская рука
с томящей нежностью и силой
два безымянные цветка
к его надгробью положила.

(1964)

Вот так попрощался Смеляков со Сталиным.

К российской героической трагедии XX века он, как никто другой, прикасался бережно и целомудренно. Вот почему он останется в нашей памяти единственным и потому изумительным поэтом, подлинным русским Дон-Кихотом народного социализма, впрочем, хорошо знавшим цену, которую время потребовало от людей за осуществление их идеалов. Поэтом “не от мира сего” Смелякова не назовешь.

Строительство новой жизни по напряжению, по вовлечению в него десятков миллионов людей, по степени риска, по цене исторических ставок было деянием, которое сродни разве что великой войне. А кто, какой историк скажет о войне масштаба 1812 или 1941 года: подневольно ли в такого рода событиях приносятся в жертву миллионы людских судеб, или они живут стихией добровольного самоограничения и самопожертвования? Естественно, что в такие времена над людским выбором властвует и та и другая сила, и принудительная мощь государства, и то, что называется альтруизмом, героизмом, аскетизмом.

И все-таки в конце концов именно свободная воля решает исход великих войн и строительств. Не мысли о штрафбате и не страх перед заградотрядами заставлял солдата цепляться за каждый клочок сталинградского берега, как бы ни тщился Виктор Астафьев доказать обратное. Мой отец погиб голодной смертью в Ленинграде, но сейчас, перечитывая его последние письма, я понимаю, что он был человеком свободной воли. Смеляков знал о таинственном законе добровольного самопожертвования, когда размышлял о судьбе своего поколения:

Шумел снежок над позднею Москвой,
гудел народ, прощаясь на вокзале,
в тот час, когда в одежке боевой
мои друзья на север уезжали.

Как хочется, как долго можно жить,
как ветер жизни тянет и тревожит!
Как снег валится!
Но никто не сможет,
ничто не сможет их остановить...

Грань между принесением в жертву государством своих сыновей и дочерей и добровольным самопожертвованием зыбка и подвижна. Да, множество несогласных с жестокой дисциплиной и скоростью "грозного строительства" томилось в лагерях великой страны, но десятки миллионов созидали ее, не щадя живота своего, понимая суровую истину слов вождя: "Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут". И чуть было не смяли.

За несколько месяцев до смерти в стихотворении "Банкет на Урале" Ярослав Смеляков в последний раз безоговорочно поставил точку и благословил добровольную всенародную жертву, вспомнив о том, что первый в его жизни банкет случился в середине тридцатых годов — "в снегах промышленных Урала".

Я знал, что надо жить смелей,
но сам сидел не так, как дома,
среди седых богатырей
победных домн Наркомтяжпрома.

Их осеняя красоту,
на сильных лбах, блестящих тяжко,
свою оставила черту
полувоенная фуражка.

И преднамеренность одна
незримо в них существовала,
как словно марка чугуна
в структуре черного металла.

Пей чарку мутную до дна,
жми на гуляш с нещадной силой,
раз нормы славы и вина
сама эпоха утвердила.

Барельефы этих богатырей, отлитые словно бы из каслинского чугуна, не менее величественны, нежели мраморные статуи богов и героев Эллады. А по своей ли, по государственной ли воле вершили они подвиги, поэт различать не хочет, ибо понимает, что обе силы — и внешняя и внутренняя — двигали ими... Недаром же он, трижды попадавший на круги лагерного ада, ни в одном своем стихотворенье ни разу нигде не проклял ни эпоху, ни свою судьбу, ни Сталина, умело использовавшего для строительства оба могучих рычага истории: вдохновение и принуждение. А ведь в шестидесятые годы рядом со Смеляковым уже писали, уже издавались и

Солженицын, и Юрий Домбровский, и Варлам Шаламов. Но как ни старалось поэтическое окружение Смелякова — Евтушенко, Межиров, Коржавин и другие искренние или фальшивые певцы революции и социализма добиться от Ярослава осуждения эпохи первых пятилеток, старый лагерник не пошел на самоубийственный шаг и не предал ни своего призвания, ни своей судьбы. А если и прикасался к "высоковольтным проводам" времени, то с какой-то своей осторожной человечностью.

Когда встречаются этапы
вдоль по дороге снеговой,
овчарки рвутся с жарким храпом
и злее бегает конвой.

....

И на ходу колонне встречной,
идущей в свой тюремный дом,
один вопрос тот самый вечный,
сорвавши голос, задаем.

Он прозвучал нестройным гулом
в краю морозной синевы:
Кто из Смоленска? Кто из Тулы?
Кто из Орла? Кто из Москвы?

И слышим выкрик деревенский,
и ловим отклик городской,
что есть и тульский и смоленский,
есть из поселка под Москвой.

Ах, вроде счастья выше нету —
сквозь индевелые штыки
услышать хриплые ответы,
что есть и будут земляки.

Шагай, этап, быстрее, шибко,
забыв о собственном конце,
с полубезумною улыбкой
на успокоенном лице.

(1963)

А к евтушенковско-межировским крикам о тоталитаризме и культе личности Смеляков относился с плохо скрытой брезгливостью. Всем, с нетерпением ожидавшим от него после XX съезда партии мазохистского осуждения истории, проклятий тоталитарному режиму, солженицынского, говоря словами Блока, "публицистического разгильдяйства", он неожиданно ответил публикацией стихотворенья "Петр и Алексей".

Петр, Петр, свершились сроки.
Небо зимнее в полумгле.
Неподвижно белеют щеки,
и рука лежит на столе.

Та, что миловала и карала,
управляла державой всей,
плечи женские обнимала
и осаживала коней.

Как похож его "строитель чудотворный" на богатырей из Наркомтяжпрома, на Тараса Бульбу, приговорившего к смерти изменника — сына Андрея, на Иосифа Сталина, отчеканившего: "я солдат на генералов не меняю", когда ему предложили обменять попавшего в плен сына Якова на фельдмаршала Паулюса.

День в чертогах, а год в дорогах,
по-мужицкому широка,
в поцелуях, перстнях, ожогах
императорская рука.

Слова вымолвить не умея,
ужасаясь судьбе своей,
скорбно вытянувшись пред нею,
замер слабостный Алексей.

Читаешь и словно бы видишь, как от столкновения мощных и противоречивых чувств из разгневанных очей Петра искры летят, как от стального лезвия, соприкоснувшегося с точильным камнем.

Тайным мыслям подвержен слишком,
тих и косен до дурноты.
На кого ты пошел, мальчишка,
с кем тягаться задумал ты.

Нет, не в петровской гордыне тут дело, не в сверхчеловеческом тщеславии. Все серьезней: Алексей — это угроза делу Петра, создаваемой его волей новой жизни, будущему России.

Не начетчики и кликуши,
подвывающие в ночи, —
молодые нужны мне души,
бомбардиры и трубачи.

Что происходит в этой сцене? Кто и чем жертвует? Кто идет на самопожертвование? И то и другое происходит

одновременно. Ибо Алексей — плоть от плоти государевой, он его наследник, его продолжение, и, отправляя сына на казнь, Петр как бы жертвует кровной частицей себя самого... В это мгновенье талант Смелякова взмывает до вершин мировой поэзии, где в разреженном горнем воздухе витают героические души протопопа Аввакума, эсхиловской Антигоны, гоголевского Тараса, пушкинского Медного Всадника:

Это все-таки в нем до муки,
через чресла моей жены,
и улыбка моя и руки
неумело повторены.

Рот твой слабый и лоб твой белый
надо будет скорей забыть.
Ох, нелегкое это дело —
самодержцем российским быть.

И в это мгновенье человеческой слабости лик Петра становится похожим на лик крестьянки-работницы, пожертвовавшей льняным венком ради “стального венца индустрии”, женщины, подавляющей свою жалость, которая все равно проступает в почти окаменевших от напряжения чертах:

Но этот родник ее кроткий
был, точно в уступах скалы,
зажат небольшим подбородком
и выпуклым блеском скулы.

По всем портретам и скульптурам видно, что у Петра, человека великой воли, был небольшой подбородок... Но главный трагический парадокс стихотворенья в том, что поэт жалеет не сына, не жертву, а Петра-жреца за его страшное отцовское решенье и за его отцовскую муку.

Зимним вечером возвращаясь
по дымящимся мостовым,
уважительно я склоняюсь
перед памятником твоим.

Молча скачет державный гений
по земле из конца в конец.
Тусклый венчик его мучений.
Императорский твой венец.

Опять и опять в который раз Смеляков не может отделаться от искушения разгадать — какой же венец окаймляет головы

его героев, и есть ли в нимбах, осеняющих лики, отблеск святости... А потому столь навязчиво и постоянно возникает в его поэзии образ венка: "императорский твой венец", "тусклый", почти терновый "венчик его мучений", "красное пламя косынки", венок из цветущего льна на голове крестьянки, "красный колпак санкюлота", вдавленная морщина от "полувоенной фуражки" на сильном лбу богатыря из Наркомтяжпрома, "черный венок моряка", "большой венок тяжелой индустрии"...

Великий русский философ нашей эпохи Алексей Федорович Лосев, сам, как и Смеляков, познавший в 30-е годы вкус лагерной баланды, размышляя о том, что такое в философском смысле понятие "жертва", писал в одной из своих работ на исходе 1941 года:

"Я многие годы провел в заточении, гонении, удушении: и я, быть может, так и умру, никем не признанный и никому не нужный. Это жертва. Вся жизнь, всякая жизнь, жизнь с начала до конца, от первого до последнего вздоха, на каждом шагу и в каждое мгновение, жизнь с ее радостями и горем, с ее счастьем и с ее катастрофами есть жертва, жертва и жертва. Наша философия должна быть философией Родины и жертвы, а не какой-то там отвлеченной, головной и никому не нужной "теорией познания" или "учением о бытии или материи".

В самом понятии и названии "жертва" слышится нечто возвышенное и волнующее, нечто облагораживающее и героическое. Это потому, что рождает нас не просто "бытие", не просто "материя", не просто "действительность" и "жизнь" — все это нечеловечно, надчеловечно, безлично и отвлеченно, — а рождает нас Родина, та мать и та семья, которые уже сами по себе достойны быть, достойны существования, которые уже сами по себе есть нечто великое и светлое, нечто святое и чистое. Веления этой Матери Родины непререкаемы. Жертвы для этой Матери Родины неотвратимы. Бессмысленна жертва какой-то безличной и слепой стихии рода. Но это и не есть жертва. Это просто бессмыслица, ненужная и бестолковая суматоха рождений и смертей, скука и суета вселенской, но в то же время бессмысленной животной утробы. Жертва же в честь и во славу Матери Родины сладка и духовна. Жертва эта и есть то самое, что единственное только и осмысливает жизнь".

Окружение Смелякова 50—60-х годов не зря относилось к нему и с подобострастием и с тщательно скрытым недоверием. Он тоже понимал, с кем имеет дело, знал сплоченную силу

этих людей, помнил о том, как был повязан их путами в атмосфере чекистско-еврейского бриковского салона его кумир Маяковский, помнил, что духовные отцы тех, кто сейчас крутится возле него, затравили Павла Васильева за так называемый антисемитизм и русский шовинизм, до поры до времени молчал или был осторожен в разговорах на эту тему, но, как честный летописец эпохи, не мог не написать двух необходимых для него стихотворений, которые в полном виде были опубликованы лишь после его смерти.

ЖИДОВКА

Прокламация и забастовка.
Пересылки огромной страны.
В девятнадцатом стала жидовка
Комиссаркой гражданской войны.

Ни стирать, ни рожать не умела,
Никакая не мать, не жена —
Лишь одной революции дело
Понимала и знала она...

В 1987 году демократы из "Нового мира" впервые опубликовали это стихотворение. Но они, всю жизнь, со времен Твардовского, воевавшие против цензуры, не смогли "проглотить" название и первую строфу: стихотворение назвали "Курсистка", и первую строфу чья-то трусливая рука переделала таким образом:

Казематы жандармского сыска,
Пересылки огромной страны.
В девятнадцатом стала курсистка
Комиссаркой гражданской войны.

Конечно, понять новомировских "курсисток" можно... "Ну хотя бы поэт "еврейкой" назвал свою героиню. Ведь написал же он дружеские стихи Антокольскому: "Здравствуй, Павел Григорьевич, древнерусский еврей!" А тут — "жидовка", невыносимо, недопустимо, в таком виде печатать нельзя!"

Брызжет кляксы чекистская ручка,
Светит месяц в морозном окне,
И молчит огнестрельная штучка
На оттянутом сбоку ремне.

Неопрятна, как истинный гений,
И бледна, как пророк взаперти.

Никому никаких снисхождений
Никогда у нее не найти.
....
Все мы стоим того, что мы стоим,
Будет сделан по-скорому суд,
И тебя самоё под конвоем
По советской земле повезут...

Две женщины. Одна — русская работница ("прямые черты делегаток, молчащие лица труда"), все умеющая мать и жена, обутая в мужские ботинки, одетая в армейское белье, — и другая — профессиональная революционерка, фанатичная чекистка в кожанке с револьвером на боку, не умеющая "ни стирать, ни рожать", а только допрашивать и расстреливать... Два враждебных друг другу лика одной революции... Какой из них был Смелякову дороже и роднее — говорить излишне. После смерти Смелякова это одно из лучших его стихотворений по воле составителей и издателей не вошло даже в самую полную его книгу — однотомник, изданный в 1979 году "Большой библиотекой поэта". Настолько оно было страшным своей исторической правдой так называемым "детям XX съезда партии". Впрочем, как и стихотворение о смерти Маяковского — о еврейских дамочках полусвета, о "лилях" и "осях", о "брехобриках", о "проститутках с осиным станом", которые, "по ночам собираясь, пили золотистую кровь поэта". Какой шабаш поднялся после его публикации! Как же! Смеляков замахнулся на святая святых — на нашу касту! Симонов бегал в ЦК и требовал наказания виновных, утверждал, что стихи написаны Ярославом Смеляковым в невменяемом состоянии, что автор сам был против их публикации, что они были опубликованы помимо его воли. Борис Слуцкий звонил вдове поэта Татьяне Стрешневой и угрожал, что она не получит больше ни строчки переводов, что все "порядочные люди отшатнутся от нее", что копейки больше нигде не заработает... Хорошо еще, что у Вадима Кузнецова, опубликовавшего стихотворенье в альманахе "Поэзия", сохранилась верстка стихотворения, завизированная Смеляковым. А сам поэт к тому времени был уже недоступен для гнева ничего не забывших и ничему не научившихся поклонников бриковского салона — он уже спал вечным сном под каменной плитой Новодевичьего кладбища.

О драматичной истории этого стихотворения так вспоминал в одной из книг Николай Старшинов:

"После выхода в альманахе "Поэзия" стихотворение не было ни разу опубликовано ни в одном издании. А с самим

этим номером альманаха произошла непонятная история. Он мгновенно исчез с полок книжных магазинов. А поэт и прозаик Виталий Коржиков рассказал мне даже такое:

— Подошел я несколько дней назад к книжному магазину, который находится поблизости от моего дома. Смотрю: подъехала к нему легковая машина. Из нее вышли несколько молодых людей. Они по-быстрому забежали в магазин, вынесли из него с десяток пачек каких-то книг. Я услышал их разговор: "Сейчас отъедем за город и сожжем..." Я зашел в магазин и поинтересовался у продавца: что за книги вынесли сейчас молодые ребята? А он мне: "Да это альманах "Поэзия"..

Вот какой властью еще в начале 70-х годов обладал бриковский клан в литературе и политике!

Я в этой статье вспоминаю, конечно же, лучшие, "искрящиеся", истинные стихи Смелякова. Но "амортизация сердца и души" частенько настигала и его. В этом состоянии он написал множество стихов о Ленине, о комсомоле, о советской власти, о дружбе народов, чреватых многословием и политической риторикой. Сейчас они кажутся (да и раньше тоже казались) наивными, плакатными, нарочито повествовательными. Они не искрились, эти слова, с них сыпалась металлическая пыль, смешанная с крупицами точильного камня. Но даже в стихотвореньях, написанных поэтом с усталой искренностью, не было самого страшного для поэзии изъяна: истерического лицемерия, которым были отмечены деяния популярных стихотворцев, заискивавших перед Ярославом и пытавшихся делать имя и карьеру, сочиняя многометровые поэмы о Ленине и Революции. Кто сейчас их помнит, эти полотна диссидентского соцреализма и их авторов: Евтушенко, Рождественского, Вознесенского, Коротича, Олжаса Сулейменова? Целая Лениниана, которую нынешним ее зодчим, конечно, хотелось бы вырвать из своих книг, забыть, стереть из памяти историков. Ныне ее авторы, когда-то лебезившие перед Смеляковым, глумятся надо всем, что было свято для него. Он же и в те времена держал их на почтительном от себя расстоянии, поскольку верил в одну истину:

Ежели поэты врут,
больше жить не можно.

И не случайно, что Ярослав Васильевич в середине шестидесятых потянулся к новым поэтам.

Помню вечер в Доме журналиста. Выступали Анатолий Передреев и Белла Ахмадулина. Смеляков представлял их публике. Фамилия "Передреев" на рукописной афише в фойе

была безжалостно переврана — "Переведреев" или что-то в этом роде. Открывая вечер, Смеляков не мог не сказать об этом.

— Внизу висит афиша, — с негодованием произнес он. — на ней изуродована фамилия поэта. Он — Анатолий Пе-ре-дре-ев! Пусть будет стыдно тем, кто переврал его фамилию. Скоро ее будут знать тысячи наших читателей. Это предсказываю вам я, Ярослав Смеляков!

Но будем смотреть правде в глаза: время сломало и опрокинуло многие устои смеляковского мировоззрения. Он верил, что Союз народов создан уже навсегда, что "дело прочно, когда под ним струится кровь", кровь самопожертвования. Он любил ездить на Кавказ и в Среднюю Азию, он любил Кайсына Кулиева и Давида Кугультинова и за талант, и за невзгоды, которые они перенесли вместе со своими народами. Он верил, что все эти кровавые противоречия — в прошлом.

Мы позабыть никак не в силах,
ни старший брат, ни младший брат,
о том, что здесь в больших могилах,
на склонах гор чужих и милых
сыны российские лежат.

Апрельским утром неизменно
к ним долетает на откос
щемящий душу запах сена
сквозь красный свет таджикских роз.

Я бродил по этим тропам Гиссара и Каратегина, не отдавая себе отчета в том, что лишь тридцать лет тому назад буденновские конники сходились здесь грудь на грудь с басмачами-душманами. Однажды, возвращаясь из геологического маршрута по каменистой тропе, вьющейся над кипящим голубым потоком, я увидел под тутовым деревом холмик из камней, над которым свисали с зеленых веток разноцветные тряпичные ленты.

— Что это? — спросил я у сопровождавшего меня местного таджика. Он внимательно посмотрел мне в глаза и не сразу, но ответил:

— Известный басмач тут похоронен. Из нашего рода.

Так что "на склонах гор чужих и милых" были зарыты и те и другие. И однако я с естественным спокойствием во время геологических маршрутов забредал в самые отдаленные кишлаки, где по-русски кое-как можно было объясниться лишь с чайханщиком, присаживался к чабанскому костру попить чаю

с чабанами — потомками басмачей-душманов. Мы улыбались друг другу, в глазах моих собеседников не было ни затаенной злобы, ни коварства, только любопытство и радушие.

— Кибитка Москва? — Москва!
— Баранчук бар? — бар!
— Кизинка бар? — йок!

(Дом в Москве? — В Москве! — Сын есть? — Есть. — Дочь есть? — Нет.)

Я прощался с этими темнолицыми белозубыми людьми, мы жали друг другу руки, не подозревая, что через тридцать лет их соплеменники будут отрезать головы русским солдатам на разгромленных заставах расчлененной страны. Но в те времена мир Средней Азии еще жил общим укладом, столь дорогим сердцу Ярослава Смелякова.

Правда, он предчувствовал, что после его смерти история может быть переписана, кое-какие опасения жили в его душе.

Мне говорят и шепотом и громко,
что после нас, учены и умны,
напишут доскональные потомки
историю моей родной страны.

Не нужен мне тот будущий историк,
который ни за что ведь не поймет,
как был он сладок и насколько горек
действительный, а не архивный мед.

Смеляков как будто бы предвидел появление различных волкогоновых, антоновых-овсеенков, александров яковлевых, но такого количества грязи, лжи и клеветы, которое выльется на его поколение и на историю отечества, он предвидеть не мог. Хотя и предупреждал их от наглого легкомыслия и тщеславного амикошонства, когда создал в своем воображении сцену, как якобы однажды он подошел в Кремле к креслу Иоанна Грозного в его царственной спальне:

И я тогда, как все поэты,
мгновенно безрассудно смел,
по хулиганству в кресло это
как бы играючи присел.

Но тут же из него сухая,
как туча, пыль времен пошла,
и молния веков, блистая,
меня презрительно прожгла.

Я сразу умер и очнулся
в опочивальне этой там,
как будто сдуру прикоснулся
к высоковольтным проводам.

Урока мне хватило слишком,
не описать, не объяснить.
Куда ты вздумал лезть, мальчишка?
Над кем решился подшутить?

А нынешние — не просто играючи, не просто шутя, не по безрассудной смелости, а по глумливому расчету, за большие деньги, за карьеру и льготы, с напряженными от страха и ренегатской ненависти лицами, хватаются за высоковольтные провода истории, корчатся, гримасничают, лгут до пены на губах. Им никогда не понять душу истинного поэта русского социализма; они жаждут заглушить его голос — "чугунный голос, нежный голос мой", стереть с лица земли его "заводы и домны", закрыть его шахты, разрушить его монументы, вывернуть с насыпи шпалы его железных дорог, осквернить его мавзолей. Мародеры истории... Впрочем, пусть они не забывают о судьбе еще одного мародера — Исаака Бабеля, который после октября 1917 года приехал в Зимний дворец, зашел в царские покои, примерил на себя халат Александра III, отыскал спальню и завалился в кровать вдовствующей императрицы. Все было на самом деле, и возмездье настигло его через 20 лет — в 1937 году... Да, видимо, можно разрушить материальную часть цивилизации Ярослава Смелякова. Но духовный мир, мир памяти, мир его героев и героинь с нимбами, венками, кумачовыми косынками, "венчиками мучений" живет по своим неподвластным для разрушителей законам. "В нем было бессмертное что-то..." Поэт знал об этой тайне бессмертия, когда, протягивая нить советской истории в глубь веков, писал:

Над клубящейся пылью вселенной,
над путями величья и зла,
как десницу, Василий Блаженный
тихо поднял свои купола.

Современная юность России
тут встречается с Русью отцов,
мерно движутся танки большие
по невысохшей крови стрельцов...

Написано в год восьмисотлетия Москвы.

А еще он чувствовал и завещал нам нелегкое бремя памяти

обо всем русском крестном пути и знал, что сквозь всю пелену грядущего глума будут все-таки проступать как бы начертанные тусклым пламенем его слова, которые он оставил на соловьевской истории России:

История не терпит многословья,
трудна ее народная стезя.
Ее страницы, залитые кровью,
нельзя любить бездумною любовью
и не любить без памяти нельзя.

За полгода до смерти он, которого считали соперником Александра Твардовского, защитил честь своего собрата по поэзии от Солженицына, опубликовав в "Нью-йорк таймс" следующее письмо:

"Твардовский — человек и поэт

Я только что прочитал статью А. И. Солженицына "Печаль по Твардовскому", опубликованную в Вашей газете (12 февраля).

Мы, читатели и друзья этого выдающегося поэта, тоже скорбим над его могилой, но по-другому — без политической истерики, без нелепого желания обратить к собственной выгоде даже смерть знаменитого писателя, признанного своим народом и правительством. Уверен, что Твардовского огорчила и возмутила бы похоронная патетика этого выступления Солженицына, что он бы воспринял это выступление как попытку посмертной политической дискредитации. Автор статьи стремится представить Твардовского противником не только правительства, но и нашей армии. В слепом запале он не замечает, что сам себе противоречит, когда пишет о том, что на гроб поэта были возложены венки от советских военнослужащих. Или он считает, что венки возлагали втайне от командиров и заодно с ним, Солженицыным?

Было бы очень кстати напомнить читателям о том, что незадолго до смерти поэта Воениздат выпустил в свет одному Богу ведомо какое по счету издание "Василия Тёркина". Во время последнего съезда писателей Российской Федерации "Тёркиным" торговали в книжных киосках рядом с Колонным залом, и я видел, как Твардовский весело спустился со сцены, где сидел Президиум Съезда, купить несколько книг, чтобы их раздарить.

Немного позже издательство "Советский писатель" выпустило двухтомник Твардовского, и я с радостью написал о поэте, по просьбе газеты "Известия", большую, исполненную

признательности статью. Не так давно в издательстве "Художественная литература" вышло полное собрание сочинений Александра Твардовского, честь, выпавшая очень немногим писателям. В прошлом году ему в третий раз вручили Государственную премию. Разве это похоже на травлю? Солженицыну до смерти хочется превратить этого широкоплечего, умного и веселого человека в затравленного страдальца и причислить его, как и самого себя — именно, как самого себя, — к так называемым мученикам.

Я не хочу, чтобы у иностранных читателей сложилось с моих слов представление о моем старшем товарище как о счастливце с безоблачной биографией. Подобно всем большим писателям, он прожил жизнь трудную и деятельную; были у него свои огорчения, были ошибки, свои радости и свои иллюзии. Но он не разделял, да и не мог разделять иллюзии Солженицына о том, что в один прекрасный день советская власть рухнет и новая молодежь построит матрёнин мир на ее дымящихся руинах. Твардовский был олицетворением нашей социальной системы.

Современная советская поэзия берет лучшие стихи и поэмы Александра Твардовского за образец и будет, как и народ, всегда любить и почитать это имя.

Ярослав Смеляков
Москва,
3 марта 1972 г."

Как сказал сам Твардовский, "тут не убавить — не прибавить"...

В 1997 году молодой поэт Михаил Молчанов опубликовал в журнале "Наш современник" стихотворение о Смелякове, которое заканчивалось так:

При нем пленялись реки.
Он свято верил в труд.
Теперь его вовеки
У нас не издадут.

Неправда. У "них" не издадут. "Они" не издадут. Издадут "у нас". Издадим "мы".

Небольшую книжечку, тридцать-сорок стихотворений, но таких, у которых вечная жизнь.

г. Калуга,
7—8 ноября 1997 г.

“И пропал казак...”

Проза Виктора Астафьева в зимовье. В гостях у деда Степана на Тунгуске. Я, Астафьев и журнал “Наш современник”. Разрыв Астафьева с журналом. Ельцинизм Виктора Петровича. Его тридцать сребреников. Окончательное помрачение. Печальный юбилей. Переписка с Эйдельманом

Над западным берегом Тунгуски по извилистому хребту тянется черная кромка леса, а из нее, словно кусок застывшего желтого пламени, торчит кривой месяц. Мороз к вечеру становится все гуще. Крупные звезды усыпали темное и чистое небо, недалеко на озере глухо ухает лед, оседая под собственной тяжестью. Где-то под хребтом Карун и Музгар облаивают то ли белку, то ли соболя.

Дед приподнимает голову: “До утра держать будут, утром надо бежать, Славка!” Но к утру собаки уже оказались возле зимовья — не выдержали мороза, и мы все четверо побрели на реку трясти сети, ставить крючья, блеснить из-подо льда хариусов. Карун и Музгар, широкогрудые, крепконогие лайки, крутятся возле нас, надеясь на хозяйскую щедрость. Дед бросает им подъязка. Музгар, который был ближе, потянулся к пляшущей на льду рыбешке, но Карун нахально оттеснил его плечом и схрумкал добычу.

— А что, Музгар Каруна боится?

— Нет, ён с ним не занимается!

Я не сразу понял, что значит “не занимается”. Оказалось, что Музгар просто не хочет связываться с Каруном — куска у него никогда не отберет, не гавкнет, не укусит, поскольку Карун рос при Музгаре щенком, и Музгар до сих пор относится к

Каруну как к щенку — великодушно и снисходительно, хотя молодой кобель уже вымахал с медвежонка-пестуна и стал в груди, пожалуй что, пошире своего воспитателя.

Последняя сеть медленно уползала, влекомая течением, под лед. Дед разогнулся, передохнул, огляделся по сторонам.

— Однако заморочило! К вечеру снежок должон пойти. Завтра надо лоушки смотреть, соболь бегать будет по пороше...

Я понимаю, что "заморочило" — значит, небо затянуло к перемене погоды. Вообще, дед говорит так, что о смысле многих слов я могу только догадываться. А между прочим, мне кровен язык калужских деревень, жил я в эвакуации в костромском краю, работал в Сибири, всегда старался чутко слушать, как говорят люди. Но начнет что-то рассказывать дед — то и дело приходится переспрашивать.

— Взял я норило...

— А что это такое?

— Ну, жердь, которой невод подо льдом за тетиву протягиваешь... Налима-то надо варить, пока не выбыгал. — И, заметив мой вопрошающий взгляд, дед поясняет: — Ну, пока не усох... а из конопли кра́сна ткали. — Оказывается, что "красна" — это домотканые цветные половики...

Но какой живой, какой дикий, какой молодой еще, зеленый, незатвердевший язык! Какие удивительные — вроде бы случайные, неустойчивые, но прекрасные формы вдруг являет он! Рассказывает мне дед о старом рецидивисте, убившем единственного сына у матери, и вдруг фраза: "Мать сиротой сделал..." Как жаль, что я, русский человек, не взял от деревни — слишком мало в ней жил — груды этого сырого, текучего, подвижного богатства! Светлой завистью завидую писателям земли русской — Залыгину, Астафьеву, Белову, Распутину, Личутину: владеют они безо всяких словарей и магнитофонов этим языком, столь многоликим, что диву даешься, как русские люди на бесконечных российских просторах умудрились, говоря на десятках своих диалектов и наречий, осознать себя одним народом, выгнать из всего этого бродящего сусла, словно семидесятиградусную самогонку, кристальную литературную речь, уходящую тем не менее корнями в эту почву, в ее супеси, суглинки, черноземы...

А Виктор Астафьев, повесть которого "Последний поклон" в затертой мягкой обложке "Роман-газеты" я обнаружил среди кучи газет и журналов в углу дедовского зимовья, не стал бы, наверно, переспрашивать моего старика о смысле того или иного слова: его Енисей не так уж далеко от Угрюм-реки, поскольку встречаются они где-то возле Верхней Туры; навер-

няка его предки с пращурами Степана Романыча сталкивались где-нибудь на речных переправах либо таежных тропах, взаимно переселялись по рекам и волокам из одной деревни в другую, неся за собой слова и обычаи; наверняка где-то скрещивались их пути, когда отправлялись они в соседние починки, хутора да выселки за будущими женами.

"Снеговые кипуны, те и вовсе засохли, едва шевелились в мокрых, плесенью берущихся камнях, прерывисто падали с яра в Енисей, где вода тоже шла на убыль... По вӣске — так красиво зовется у нас обсыхающая после водополья протока, будто для креста сложенная щепотью, припоздалая всходила осока, копытень на обмысках с листом торопился, и всякий цвет, всякая травка хотела занять скорее свое место на земле, отгореть в цвету, успокоиться семенем". Вот каким языком пишет о своей земле Астафьев в "Последнем поклоне". Сколько в этой книге беспощадной и всепрощающей памяти, сколько неприглядной правды, сколько закоулков, задворков, глухих углов жизни освещено в ней невеликими, но истинными огоньками добра и сострадания!

Суетный дед Павел, Мюхрютка-лярва, жестокие и несчастные детдомовцы, шебутной ловелас дядя Вася, въедливая бабушка из Сисима — да не счесть всех родных, близких и далеких людей, населяющих повесть, живущих в ней, голодающих, обозленных, отходчивых сердцем, добрых, прелюбодействующих, просто зачинающих детей и просто уходящих из жизни... И в конце концов, с замирающим сердцем понимаешь, что имя тому океану, то великому, то тихому, то мутному, то светлому, одно — народ...

А если вспомнить Акимку и его мать, прижившую стольких детей от стольких отцов, — но это уже в другой книге Астафьева — "Царь-рыба"! Книга другая, но мысль одна и та же: настоящее Добро, вечное и не поддающееся никакой ржавчине, родится в темном и горячем чреве жизни, растет бок о бок со всякими страстями, со всякими искушениями и безобразиями. Но возникло оно в этой же унавоженной земле, но удобрено тем же навозом, что и вся жизнь. А коль так, коль не из головы выпросталось, коль укрепилось, словно травинка на северном ветру, и корни пустило вглубь аж до мерзлоты, коль на наших скупых соках семя вырастило, — то не умрет, не сгниет, не зачахнет, как зачахло бы здесь какое-нибудь чистопородное комнатное растение... А другого, более красивого, более чистого, более требовательного к почве добра нам не надо. Не выживет оно здесь, вымерзнет на морозах, сгниет на дождях-сеногноях, высохнет на ветрах-суховеях, и

останется от попытки насадить его только разочарование за напрасные усилия да за то, что попытки эти душу людскую зря растревожили. Лучше синицу в руки, чем журавля в небе...

Среди многих волнующих сцен из "Последнего поклона" есть одна, особенно будоражащая душу, когда больной и голодный подросток-фэзэушник притащился к тетке, к бабушке, к маленьким племянникам, и они, сами прозрачные от забот и недоедания, делят с ним последнюю кружку молока.

"Взяв под мышки Капу, я посадил ее поближе к себе и, глянув в кружку, сказал:

— О-о, как много! Давай вместе!

Девочка помотала головой, пропищала, слабо защищаясь:

— Я уже пила... кусала... па-асибо...

Слово "пасибо" переломилось у нее пополам. Я поднес кружку к ее рту, и Капа припала к посудине, глотнула раз, другой, сперва жадно и звучно, потом заторможенней, медленней; с большим трудом преодолев себя, девочка не оттолкнула, а отвела руками кружку, чтобы не расплескать молоко.

— Пасибо! Я кусала. Это тебе..."

Добро, которое исходит и которое, видимо, всегда будет исходить из этого существа, — высшей пробы: добро самопожертвования. В прошлые времена, да и в любые памятные нам тяжелые дни тот, кто имел душевную силу делать добро, был, конечно, незаурядным человеком. Добро стоило слишком дорого, было своего рода душевной роскошью, которую мог себе позволить лишь от природы богатый душой человек. Такое добро росло в человеке медленно, как редкое дерево в поле. Но если уж вырастало, то отличалось алмазной крепостью. Оно было фактом личного подвига, личного мужества, личным уделом каждого; за него человек и на смерть мог пойти. Но как много этого материала способно было в прошлом накопить человечество?.. Не зря, наверное, в новое время пришло оно к убеждению, что добро, как хлеб, которого на душу населения нужно во много раз больше, естественным путем не вырастишь. Удобрения нужны, конвейер нужен, государственный присмотр для производства добра необходим. Чтобы на всех хватило...

Но вот что при этом смущает: добро безличное, казенное, без которого нынче не прожить человеку, после того как попользуется он им, вроде бы и досаду одновременно с гарантированным благополучием приносит, как магазинные чеки, на которых машина одновременно с ценой пробивает слова: "Благодарим за покупку". А все потому, что получаешь

его от имени громадного существа — то ли общества, то ли государства, то ли министерства, и не хватает при этом получении слов, которые, может быть, дороже самого блага, слов, без которых становится оно пресным и душу не насыщающим. Ну, хотя бы таких слов, которые бабушка Катерина Петровна говорит внуку: "Ягодки-то разделите, да с молочком, — раздался руководящий голос бабушки. — Вот и ладно, вот и переночуете, завтра в лавке по карточкам хлеб получите, да разом-то не съедайте! Обо мне не убивайтесь. Я пропитаюсь. Сами-то, сами-то держитесь..."

Вот о чем размышляю, глядя в окно избы на Тунгуску, закованную в лед и уже занесенную сверкающим от зимнего солнца снегом, на котором кое-где тянутся длинные языки черных промоин. Мы с дедом только что вернулись с рыбалки с дальнего таежного озера, где, объединившись с мужиками из соседнего зимовья, добывали на зиму карасей. С утра слепило солнце, отражаясь от озерного льда, а мы тяжелыми пешнями продолбили лунки по обоим берегам озера, погрузили стометровый таежный невод в большую прорубь и стали протаскивать оба его крыла подо льдом так, чтобы исполинским объятием двух крыл — речником и береговиком — невод схватил чуть ли не все озеро. Способу этому сотни лет. Крылья невода протаскивают подо льдом за веревку, привязанную к еловому шесту — "норилу". Норило скользит подо льдом, осторожно направляясь от одной лунки к другой рогулькой из березы. За норило привязана веревка, которая тянет крыло невода до той поры, пока на противоположном конце озера оба норила не выплывут в главную прорубь, называемую иорданью... Поставив невод, мы собрались на берегу, утоптали снег, разожгли костерок, сварили чай, перекусили и лишь потом пошли к иордани, чтобы завершить дело, — по трое мужиков с каждой стороны стали медленно вытягивать на лед невод до тех пор, пока мотня не подошла к иордани вплотную, и закипела вода от серебряного живого месива... Карасей аж дотемна выгребали сачком на лед, где они, покрываясь изморозью, вскоре образовали груду, тускло засверкавшую под сиянием громадной луны, выкатившейся из-за леса...

* * *

Мой старик привалился на постель отдохнуть, а его жена Дуся, вертлявая и неутомимая, вытирая от избытка чувств маленькие глазки, хриплым голосом жалуется на жизнь:

— Мать-то моя замужем была то ли за поляком, то ли за хохлом. Мы ведь на хуторе жили. Девятнадцать детей мать

родила, а отец, паскуда, царство ему небесное, стал ко вдове на соседний починок бегать... Вернется — мать ему слово, а ён ее вожжами. Она не промолчит — второе слово, ён — за волосы... Невтерпеж ей стало — нашла она в сарае отраву на лисиц, выпила, да едва успела до порога добечь... Когда мы вернулись с пожни, глядим, она лежит на пороге, а Кешка маленький, грудной ишшо, подполз к ней и титьку сосет.

Хлопнула дверь, клубы пара ворвались в горницу, вслед за ними вошла пожилая женщина, седая, глаза с косинкой, лицо смугловатое, видно, что с примесью эвенкийской крови.

Дуся захлопотала.

— Садись, Нюра, выпей рюмочку, у меня гость дорогой... Это Степкина сестра сродная — отец у них один, а матеря разные. А Степан-то мой пьет! — вдруг ни с того ни с сего прослезилась она. — Смотри, как набуздался, спит, а ночью колобродить станет. Ты бы, Нюра, поговорила с ним, ить не молодой уже братик твой.

Нюра степенно разоблачилась, сняла с головы шерстяной платок.

— Ты жена, ты и говори! А сейчас идти нам надо, сорок дней, али ты забыла?

Дуся действительно забыла, что сегодня поминальный день по племяннику, которого на охоте вроде бы случайно застрелил из мелкашки не кто-нибудь, а отчим.

— Какой случайно! — махнул рукой дед, когда я его спросил, в чем дело. — Давно он зуб на пасынка точил, а теперь ничего не докажешь...

Но я задумался о другом. У деда, у Нюры, у Дуси — куда ни глянь в этом таежном поселке, в соседних, еще не вымерших деревнях — сплошная родова: сестры, братья, племянники, тетки, сродственники. Расплодилась она за сотни лет, пока росли и крепли эти поселения, заложенные лихими предками, Бог знает как пробравшимися сюда по северным рекам из новгородских, архангельских и вологодских земель. И столько накопилось к нашему веку этой родовы вокруг Тунгуски, что людей, неродственных друг другу, в деревнях почти и не было.

И опять вспомнилось, как Виктор Астафьев, уже после войны, воротившись на берега Енисея, встречает случайно незаконнорожденного сына своего любимого дяди Васи, которого он сам схоронил после боя в приднепровском лесу: “Род наш продолжался на земле. С обрубленными корнями, развеянный по ветру, он цеплялся за сучок живого дерева и прививался к нему, падал семенем на почву и восходил на ней колосом. Если заносило семя на камень либо на асфальт, оно

раскалывало твердь, доставало корешком землю, укреплялось в ней и прорастало из нее".

А рядом с такой высокой патетической струной Астафьев не стесняется дать и некоторые забавные подробности того, как возник на земле его дальний "сродственник": "Флотоводец этот, как скоро выяснилось, был результатом предвоенной дяди Васиной поездки на курсы повышения квалификации лесобракеров..."

Дед заворочался на постели, закряхтел, свесил жилистые старческие ноги в армейских кальсонах и застонал:

— Дуся, бражки налей!

Дуся, словно полдня ждавшая этой просьбы, раскрасневшаяся от гнева и бражки, выскочила из-за плиты:

— Что, старый, отоспался! Бражки те захотелось! Ох, дала бы я те бражки, когда бы не гость! Он ить, Славка, — вдруг запричитала она безо всякого перехода, — жись мне заел! Бабам спуску не давал, все в командировках по своему ветеринарному делу. Знала я эти командировки! У него ведь дочка есть в Киренске набеганна! — выкрикнула она, как мне показалось, с притворным гневом, поднося деду стакан.

— Как набеганна?

— А так, что старый черт бегал-бегал по командировкам, да и дочку набегал!

Мы все присели к столу, на котором уже дымилась горячая картошка, тускло сверкали малосольные сижки, возвышалась груда расколотки — крепких, как камень, наломанных хариусов, которые тают во рту, холодя зубы и обжигая нёбо от перца и соли...

Мы выпили по граненой стопочке закрашенного жженым сахаром спирта, и дед с бабкой, радостно перебивая друг друга, рассказали мне про киренскую набеганную дочку.

— Поехали мы с Дусей в Киренск к сестре Лизе — она сына женила. Ну, приехали, потолковали о том о сем, Лиза и говорит:

— А ты дочку свою поглядеть хошь? Она как раз замуж на днях выходит...

Дуся с причитаньями прерывает неторопливый дедовский рассказ:

— Ох, знала я, что есь у него дочка набеганна! Говорила: давай, Степан, удочерим! Была бы сейчас дочка у меня! А он, ирод, все скрывался: нету у меня никакой набеганной дочки. Все не признавался! А мне ить люди добрые рассказали!

Дед привычно обрывает старуху:

— Хватит болтать! Дай поговорить с человеком!.. Ну, я и

спрашиваю Лизавету: каку дочку-то? — “А от Агафьи”. — “Ну, говорю, поглядеть я не против”. На другой день приходят — на свадьбу приглашают. Прихожу, смотрю — дочка Настя. Все говорят: “Степан, вылитый ты!” А я и сам вижу! Подходит ко мне, кланяется, говорит: “Здравствуйте, тата! Прошу за стол”, — и стопочку мне подносит! А я Дусе шепчу: “Соболя-то я Лизе привез, давай его сюда, а Лизе в другой раз добуду!” Она Володьке шепнула — своему братенику, тот бегом к Лизиному дому, и вот я встаю петухом, — тут дед поднялся из-за стола, подошел к двери, повернулся боком, — из-за спины соболя вынимаю — черного, баргузинского! — Дед нагнулся, демонстрируя, как небрежно провел шкуркой драгоценного зверька над полом, словно встряхивая его, чтобы мех засветился, — и даю ей в обе руки. “От отца тебе, — говорю, — свадебный подарок! А тебе, Агафья, — и мужу ее Ивану кланяюсь, — низкий поклон, что дочку мою вырастили!” Настя аж прослезилась...

Тут Иван и отвечает мне: “Кровь-то никуда не денешь!”

Как все это похоже на встречи, признания, неожиданные объятия кружимых по свету людей из астафьевского “Последнего поклона”, когда они вдруг сталкиваются друг с другом, словно случайные щепки в мутном половодье, и вдруг пронзает их одна мысль — “а ведь мы — родные...”.

“Стоптав грядку с недавно взошедшей на ней какой-то овощью, мы бросились друг к другу, обнялись и заплакали. Миша что-то говорил мне, и хотя я худо слышал, почти ничего не мог разобрать из-за слез, душивших меня, все же распознал: хоть и не все, далеко не все, но наши живы, и бабушка, слава богу, тоже живая”. Немало слез льется в повести Астафьева, но это всегда слезы, облегчающие душу, освобождающие ее от закаменелости, от крупиц бесчеловечности и себялюбия, которые, особенно в тяжкие годы, неизбежно в ней оседают...

Вот так вошла в мою жизнь проза Виктора Астафьева. Было это аж тридцать лет тому назад. Много с той поры по таежным вискам воды утекло. Пора подбивать бабки, пока мы еще в здравом уме и в твердой памяти.

Много позже я почувствовал себя обязанным помочь Виктору Петровичу, когда свора еврейских журналистов набросилась на него, как шавки на медведя, после его разборки с Натаном Эйдельманом.

Напомню тем, кто забыл или уже не знает этой истории, что после повести Астафьева “Печальный детектив” и рассказа “Ловля пескарей в Грузии” литературовед Эйдельман отправил писателю письмо, в котором обвинил его в антисемитизме, в

глумлении над грузинами и монголами и в прочих великодержавных замашках. Астафьев не стерпел и ответил "пушкинисту" резким письмом. Тогда Эйдельман, действуя как профессиональный провокатор, написал Астафьеву второе, еще более оскорбительное, послание и пустил частную переписку по белу свету, а вскоре опубликовал ее за рубежом.

Переписка Астафьева с Эйдельманом была в те годы, как бы сейчас сказали, знаковым явлением и ходила по рукам с приложением еще одного письма, авторство которого молва приписывала Владимиру Солоухину.

Я спросил однажды у Владимира Алексеевича впрямую: не он ли автор? Солоухин лукаво заулыбался, но предположение мое не подтвердил. До сих пор неизвестно, кто подвел итог знаменитой переписке, ныне опубликованной. Но поскольку анонимное, якобы солоухинское, письмо не публиковалось, то я привожу его текст. Все-таки неподцензурный и актуальный для нашего времени документ эпохи.

"Н. Я. Эйдельману

Виктор Астафьев не счел нужным подробно отвечать на ваше провокационное письмо, хотя ответил он вам прекрасно. Вам этого показалось мало, и вы решили и дальше мусолить свой вонючий "еврейский вопрос". Но кто такой вы перед Астафьевым?! Теперь вы взялись распространять эту спровоцированную вами переписку. Что ж, для личной славы у евреев все средства хороши. Так вот, я отвечу более подробно за Астафьева. Да только, думаю, что это письмо вы обнародовать не захотите. А жаль...

Вы упрекаете писателя Астафьева за то, что он нелицеприятно написал о торгашах-грузинах, варварах-монголах и т. д., хотя о тех и других в русской литературе было написано много чего, в том числе и у Пушкина. Вам, как "пушкиноведу", это должно быть доподлинно известно. Но цитаты в еврейском литературоведении для доказательства каких-либо доводов всегда извлекаются те, которые более удобны...

"В наш век при наших обстоятельствах только сами грузины и могут о себе так писать..." — говорите вы. А коли так, кто, хочу я вас спросить, дал вам право судить и унижать р у с с к и й народ? Уж судите в таком случае свой — еврейский! Да только у вас на это духу не хватит: кишка тонка, да и сионистские лидеры вам этого не позволят.

С каким наслаждением вы цитируете Пушкина и Толстого, когда они горько говорят о России и о русском

народе. В том их и сила. Чьи писатели еще на такое способны? Что-то не знаю я ничего похожего ни у грузинских, ни у еврейских писателей.

В истории литературы были примеры осуждения писателями другого народа. Тарас Шевченко и Леся Украинка терпеть не могли "москалей", но то хоть было понятно, они болели за свою родину и они были великими писателями. А, скажите мне, отчего еврей Гейне в своих стихах и статьях жутко поносил немцев? Прочтите современную Юнну Мориц, дышащую презрением ко всему русскому. Ваши соплеменники оскорбляли более всех того, на чьей земле они жили. И, наверное, вам не надо уточнять, что о евреях думают палестинцы?

Лично вас заело у Астафьева не изображение спекулянтов-грузин (хотя они — действительность нынешней России, ведь они у н а с торгуют, н а с грабят). Кто же, как не русский писатель, должен об этом сказать? Но плевать вам на грузин! Вас оскорбило слово "еврейчата" из "Печального детектива". Вот тут-то вы и ухватились за "несчастных" грузин, чтобы отомстить писателю, выразить свое, видите ли, возмущение. Без вас тут никак не могло обойтись. Ругают грузин, а евреи тут как тут. Издалека чувствуют, где жареным пахнет. Из любого скандала они стараются для себя пользу выудить, на любой проблеме мечтают нажиться. И такой у них обиженный вид, как будто это их "торгашами" обозвали!.. Грузины уже давно успокоились, а евреи все галдят и воду в ступе толкут.

Да только все это понапрасну. Авторитет Астафьева в русском сознании настолько высок, что никакие евреи и грузины с ним уже ничего не сделают. Правильно вам ответил Астафьев, что "кроме злобы ничего вы в себе не носите". Вы уже и на Белова рычите и набрасываетесь, как свора дворняг, на его роман "Все впереди". Но и с ним вы ничего не в силах сделать в своей дикой злобе. Уж слишком высоко наши писатели над вами стоят. Есть произведения, которые, как жгучая статья в газете, не являются шедеврами литературы и искусства (не для того создаются), но они открывают людям глаза, сильно влияют на общественное мнение. "Все впереди" — именно такой роман, он не что иное, как роман-поступок, к тому же напечатанный с большими сокращениями (редакционными, естественно). И не случайно он называется "Все впереди". А впереди предстоит очищение России от жидовского засилья. Татаро-монгольское иго длилось 300 лет на Руси. И казалось, что ему не будет конца. Придет конец и жидовскому игу в России.

Вы, как и другие псы от литературы, это четко почувствовали в романе Василия Белова и страшно испугались. Уже написаны разносные рецензии на роман. Да только русский народ ваших рецензий не читает. Он читает Белова, Астафьева, Распутина, Абрамова и многих других истинно русских писателей, радеющих за Россию, а не за ваш преступный иудо-масонский космополитизм.

Что же касается вас как "литератора" и "специалиста по русской литературе", то я наслышан о вашей литературной нечистоплотности и более того — плагиаторстве. Так что не вам обращаться с претензиями к такому человеку и писателю, как Виктор Астафьев.

Теперь об уточнениях по конкретным фактам вашего письма. Лично руководил расстрелом и стрелял в царя еврей, действительно большевик и махровый сионист Яков Юровский. Вы это знаете лучше меня. Как знаете и то, что большевик — не значит нееврей. Общее руководство в Екатеринбурге осуществлял Шая Голощекин, тоже ярый сионист, председателем местного совета был Белобородов (Вайсбарт). "Еврейчата" заменены на "вейчата" в отдельном издании "Печального детектива" именно вашей жидовской цензурой. Астафьев в Грузии не был "иностранцем", т. к. живем мы в одном государстве.

Вы притворяетесь наивным, говоря, что "сионисты преследовали... совсем иные цели — создание отдельного еврейского государства в Палестине". Это же детский лепет, который смешно слушать! На кого вы рассчитываете? Школьники и те рассмеются над вами. Уж кому-кому, а вам лучше других известно, что цель сионизма — власть над всем человечеством, над всем миром и превращение России в одну из "провинций" сионистского "Великого Востока", еврейский "рай земной" в Палестине давно создан, но что-то вы туда не торопитесь...

В любой стране любовь к родине вы называете шовинизмом и стремитесь притупить национальное самосознание народов. Вам в какой-то мере удалось это сделать в США, вы были близки к этому в России... Не дотянули. Народ наш вовремя проснулся.

Во Франции вышла книга под названием "Иудаизм и дух восстания", в ней, в частности, говорится о вечном духе восстания, которым всецело проникнуто еврейство, который придает еврейству страшную разрушительную силу, но в то же время не позволяет ему когда-нибудь успокоиться и заняться созидательным творчеством и устроить свое

прочное еврейское государство. Это последнее обстоятельство — лучшее обоснование надежды на то, что при всех своих успехах сионизм в конце концов все же потерпит поражение и не овладеет миром.

Вы спровоцировали эту переписку, теперь не жалуйтесь, что русские люди вам начнут отвечать".

Далее следовал домашний адрес Натана Эйдельмана*.

Защищая правоту Астафьева, да и просто историческую истину, я в те дни написал большую статью, но опубликовать ее не смог. Вот отрывок из нее:

"В начале первого своего письма Астафьеву Эйдельман писал о себе и своем отце: "Эйдельман Натан Яковлевич, историк, литератор, 1930 г. рождения, еврей, москвич; отец в 1910 году исключен из гимназии за пощечину учителю-черносотенцу, затем — журналист (писал о театре)..."

Остановимся пока на этом. Изучая кровавую эпоху тридцатых годов, историю Беломорканала, читая речи больших и малых идеологов эпохи, я вдруг стал наталкиваться в прессе того времени на фамилию журналиста Эйдельмана, который иногда подписывался прозрачным псевдонимом Э. Дельман. О чем же он писал? О театре? Нет, не только...

Вот передо мной "Литературная газета" от 1 мая 1937 года. Восхваление громадного концентрационного лагеря, руководимого Л. Коганом, С. Фириным, Я. Раппопортом и Н. Френкелем, где, оказывается, можно не только хорошо жить и перевоспитываться, но, как утверждает борец с антисемитизмом Я. Эйдельман, где заключенным (а их там полегло костьми более 70 тысяч) можно еще было вдохновенно и свободно заниматься искусством и литературой, поскольку они воспевали "вдохновенный, всепобеждающий труд, черты которого они впервые постигли на строительстве канала..." Листаю подшивку "Литературной газеты" дальше, вот еще одна статья "Певец пролетарской ненависти" ("ЛГ", № 33, 1937 г.). Цитирую:

"Высшая мораль революции в том, чтобы враги народа, подло предающие его интересы, были начисто уничтожены..."

"Только на днях вся страна с яростью и гневом узнала о преступлениях подлейшей банды долго маскировавшихся

---

* Совсем недавно я узнал, что автором этого письма был поэт Валерий Хатюшин.

шпионов, фашистских наемников — Тухачевского, Уборевича, Корка и других мерзавцев". Да-а, хорош был искусствовед-папа, писавший, по словам сына, "о театре", — оказывается, он любил не только сцену МХАТа, но куда больше кровавые зрелища тридцатых годов!

Это далеко не все. Театровед Я. Эйдельман под псевдонимом "Дельман" освещал в "ЛГ" того времени сфабрикованный судебный процесс против выдающегося русского поэта Павла Васильева, который начался после клеветнического письма в газету "Правда" от 24 мая 1935 года, где Васильев обвинялся в "фашизме", "антисемитизме", "хулиганстве", "шовинизме" и т. д.

Поддерживая все эти клеветнические формулировки, Эйдельман-старший закончил свой донос следующей страстной филиппикой:

"Лжете, Павел Васильев! Нагло клевещете на советскую литературную общественность, которая мужественно борется за новый социалистический тип писателя, которая вышвырнула вас из своих рядов именно из-за ваших волчьих повадок, несовместимых с высоким званием советского писателя. Вам не удастся прикрыть свою уголовную сущность громкими фразами. Вам не удастся скамью подсудимых превратить в пьедестал для монумента самому себе. Вы разоблачены до конца"*.

Вот такую эволюцию прошел театровед в штатском. От гимназиста, давшего пощечину антисемиту, до крупного идеологического погромщика и провокатора, раздувавшего репрессивное пламя тридцатых годов. Кстати, если за пощечину антисемиту-учителю Эйдельман-старший был всего лишь исключен из гимназии, то Павел Васильев за такую же пощечину (о ирония судьбы!) Джеку Моисеевичу Алтаузену, которую он отвесил, защищая честь женщины, получил полтора года тюрьмы, куда ушел под улюлюканье Эйдельмана-старшего.

Времена проходят, а приемы, методы и, главное, цели провокаций остаются прежними. Яблочко от яблони недалеко падает. Театровед Эйдельман-старший травил выдающегося русского поэта Павла Васильева, пушкинист Эйдельман-младший, продолжая семейные традиции, тоже постарался найти себе крупную мишень — выдающегося русского писа-

---

* Эйдельман-старший обличал также в 30-е годы замечательного русского поэта и прозаика Сергея Клычкова в статье-доносе "Куда идет Клычков?" ("ЛГ", 22 января 1934 г.)

теля Виктора Астафьева... Если не посадить, так хоть облить грязью".

Я написал Виктору Петровичу о своих изысканиях и о том, что не таким уж кротким театральным критиком был Эйдельман-старший, каким попытался изобразить его сынок. В ответ получил письмо с просьбой:

"А ксерокопию с деяний Эйдельмана-старшего непременно пришли. Жиды до се успокоиться не могут, все им кажется, что они всех перелукавили и могут уже торжествовать, танцуя на трупе русского мужика. Не думай, что это исключение нам такое, чем лишь бы лягнуть слабого и недужного, греков, например, они ненавидят еще больше нас, и арабов, и американцев так же, только перед американцами пока "смирно" стоят, но дождутся — и за это "смирно" отблагодарят их".

...А вся заваруха с грузинами началась в 1986 году на VIII Всесоюзном (последнем!) писательском съезде. Наши грузины, уже подогретые известной им перепиской, обидевшись на Виктора Петровича за его саркастический рассказ о грузинских нравах, всей делегацией покинули зал и с каменными лицами уселись в фойе. Мой друг Шота Нишнианидзе, не читавший рассказа, но из солидарности тоже хлопнувший дверью, подошел ко мне:

— Стасык! У тебя есть журнал этот? Дай почитать!

Мы подошли к братьям Чиладзе, и я попробовал пошутить:

— Вы что, как грузинские меньшевики партийный съезд покидаете?

Но никто, кроме ироничного Отара, на шутку не отозвался.

— Стасык! — сказал мне Отар. — Не надо русским в наши грузинские дела лезть, разбирайтесь в своих...

А в это время с трибуны Дворца съездов слышался голос Валентина Распутина, который говорил, что мы живем хотя и в отдельных квартирах, но в одном доме и каждый из нас может говорить о неблагополучии на любом этаже, ибо дом-то один на всех...

Мне на съезде слова не дали, Верченко и Марков знали, что я могу наговорить лишнего, но текст небольшого выступления, написанный прямо в зале после лакейской речи Гавриила Троепольского, сохранился в моем блокноте.

Вот он. Собственно, это и не текст, а так, небольшая реплика:

"Употребил Виктор Астафьев слово "еврейчата" в "Печальном детективе" — что началось! Как будто это слово

принципиально отличается, допустим, от слов "татарчата" или "киргизята". Уже Эйдельман распространяет свою провокационную переписку, уже критик Е. Старикова в "Воп. литературы" пишет, что после Освенцима на эту тему и говорить нельзя. Упрек тем более бестактный по отношению к Астафьеву, что он — один из лучших писателей нашего времени — освобождал Польшу и спасал из фашистских лагерей смерти людей всех национальностей, в том числе и евреев.

Стыдно указывать Белову и Астафьеву, о чем им можно писать, о чем нельзя. Неловко видеть, как старик Троепольский извинялся за Астафьева перед грузинскими товарищами, неловко за газету "Московские новости", назвавшую Белова за повесть "Все впереди" "человеконенавистником". Когда я на эту тему заговорил с одним из идеологических работников, он мне сказал: "да не обращайте внимания, это ведь газета элитарная, для иностранцев". Значит, в глазах иностранцев шельмовать Белова можно. Хороша логика!"

В конце 80-х и в начале 90-х годов литературная жизнь еще кипела, мы с Астафьевым встречались на журнальных вечерах и писательских собраниях. Он вел себя по-русски бесстрашно, размашисто, дерзко. Помню его выступление на симпозиуме советских и японских писателей осенью 1989 года в Иркутске:

"Вот уже третий человек выступает и каждый ставит вопрос о "Памяти". Вопрос этот очень прост и очень сложен. Я ничего об этой "Памяти" не знаю сверх того, что знаете вы, то есть читал то же, что и вы. Мне знакомы несколько человек из Новосибирска, которые имеют какое-то отношение к "Памяти". Это люди глубоко порядочные, это люди с учеными степенями, которые, наверное, не всем зазря даются. Во всяком случае, те двое, которых я знаю, эти степени заработали, их почитают в обществе. И вдруг я читаю в газете, что одного из них называют проходимцем, с чужих слов все это. И вот я думаю: да когда же это кончится? Шельмование этого общества идет на уровне все того же тридцать седьмого года, то есть, как говорил тогда следователь: "Здесь вопросы задаю я, а ты не имеешь права задавать". Так и с "Памятью" обращаются — их поносят во всех газетах, во всех журналах, но вы хоть читали о том, что они говорят, что у них за программа? Что они делают-то? Вы ничего не знаете, вы должны верить, как моя тетка говорит, "жюльнаристам"...

Я думаю, что партия, которая поощряет травлю "Памяти", а поощрение, конечно, исходит от ЦК, не надо тут этого замалчивать, ведь иначе бы они не наглели так — "Неделя", "Огонек" вдруг такими храбрыми стали (кто их редактирует? чьи они органы?), — так вот, ЦК, который сеет ветер, если только загонит "Память" в подполье, — пожнет бурю, уверяю вас.

И если хотите знать мою позицию в этой буре, если она грянет, — я буду с "Памятью"! Я, беспартийный Астафьев, участвовавший в Отечественной войне и получивший три ранения, боевую медаль и орден, — буду с ней. Я буду за правду! За народ!"

Такие смелые и дерзкие выступления привлекали к Виктору Петровичу и читателей и писателей. Любое его интервью, любая речь обсуждалась, зачитывалась, распространялась. Да и было за что восхищаться им. Помню, как тогдашняя демократическая пресса встретила в штыки повесть Василия Белова "Все впереди". Проклинали ее и глумились над нею на каждом шагу. Однако Астафьев прислал в "Литературную Россию" из Красноярска статью своего ученика, студента Литинститута Валерия Щелегова с одобрением, в то время много значившим: "Посылаю статью, содержание которой полностью соответствует моему отношению к роману Василия Белова "Все впереди". Статья Щелегова заканчивалась словами: "Роман "Все впереди" встал на защиту человеческих идеалов в один ряд с "Пожаром", "Печальным детективом" и "Плахой".

Мы посылали друг другу книги, иногда переписывались, были рады редким встречам. Однажды в Москве он пришел ко мне в гости с Анатолием Заболоцким, а я, будучи в Красноярске, заехал к нему в Овсянку. Даже общие утраты, когда они случались, сближали нас.

"Дорогой Станислав!

Какая приятная неожиданность (он получил мою книгу. — **Ст. К.**). *Спасибо. Поздравляю тебя с Новым годом. Здоровья. Работы по сердцу. Поменьше горя. Смерть Толи* (Передреева. — **Ст. К.**) *и меня потрясла. Я ж его знал! Как рано! Я заставляю себя работать. Если закончу все в намеченный срок, то во второй половине января буду в Москве с книгой, надо повидаться".*

"Спасибо, Станислав, за книги, за добрые слова! К сожалению, у нас нет весны и будет ли лето? Легкие мои

скрипят, а Марья Семеновна едва живая, поэтому в Вологду не могли поехать, а так хотелось и дети со внуками нас так ждут. Всего тебе доброго. Держитесь все вместе, иначе задавят нас поодиночке. Обнимаю

В. Астафьев.

Май 1987 года".

* * *

Однако на рубеже девяностых с Виктором Петровичем исподволь стали происходить поначалу необъяснимые перемены.

Весной 1990 года, через несколько месяцев после своего прихода в "Наш современник" я неожиданно получил из Красноярска неприятно поразившее меня письмо.

"Дорогой Станислав!

Еще осенью узнав, что Евгений Иванович Носов, мой друг и брат, выходит из редколлегии "Нашего современника", решил выйти и я, но сам же Евгений Иванович просил этого пока не делать, чтоб не получилось подобие демонстрации "массового выхода".

Сейчас, когда дела у журнала идут более или менее нормально, растет тираж, внимание к журналу, торчать моей фамилии в журнале ни к чему. Я перехожу в журнал, более соответствующий моему возрасту, и к редактору, с которым меня связывает давняя взаимная симпатия, — в "Новый мир"..."

В те времена короткого и предсмертного расцвета журнальной жизни, когда число наших подписчиков увеличилось с 270 тысяч почти до полумиллиона, а "Новый мир" вообще подобрался к трехмиллионному тиражу, уход из редколлегии Астафьева, одно имя которого привлекало читателей, был, конечно, ударом по "Нашему современнику". Но думаю, что дело здесь было не в Залыгине, а в том, что я ввел в редколлегию журнала нескольких близких мне людей (В. Кожинова, И. Шафаревича, Ю. Кузнецова, В. Бондаренко, А. Проханова), к творчеству и направлению мыслей которых Виктор Петрович, чувствующий, что "демократы" одолевают, начал относиться с осторожностью.

Вскоре в еженедельнике "Аргументы и факты" Астафьев сказал нечто резкое и несправедливое по поводу "Нашего

современника": "*Я все время мягко и прямо говорю "Нашему современнику": ребята, не делайте из второй половины журнала подворотню... Быть может, с этого и началось у меня охлаждение к журналу*".

Но я был не согласен ни с его решением, ни с его упреками и, как мог, пытался отговорить Астафьева от разрыва с нами.

Из моего письма весной 1990 года.

"Дорогой Виктор Петрович!

..."Новый мир" фактически разрушен. По-моему, у редакции даже есть план не выпускать последние три номера за прошлый год, а сделать их под одной обложкой и в виде своеобразного дайджеста. Может быть, продолжишь сотрудничество с нами? Я ведь мотаюсь по бумажным комбинатам, пью водку с коммерческими и генеральными директорами, выступаю до хрипоты во Дворцах культуры бумажников, и только поэтому мы пока с бумагой... И вовремя выходим. Так что пообещай нам для подписки что-либо на вторую половину года, либо на начало 1991-го. Что хочешь — роман, повесть, рассказ, мемуары: нам пора анонсировать наши планы, и без Виктора Астафьева все эти анонсы и авансы будут неполноценными. Ты же знаешь, Виктор Петрович, что я тебя считаю и всегда считал самым значительным писателем со времен, как прочитал "Царь-рыбу" и "Последний поклон", я сам писал об этом, сам безо всякой дипломатии защищал твое имя после яростной кампании против тебя, развязанной Эйдельманом и прочими... Так что забудем о всяких "подворотнях" и сплотимся перед грядущими суровыми временами.

Твой Станислав".

Ответ Астафьева был неутешительным, подтверждающим мою догадку о том, что ни новое направление журнала, ни новые люди ему не по душе.

"Дело совсем не в тебе, а в том, что я тебе уже писал, пришли в журнал другие люди, незнакомые мне, да и далекие во многом... Я не бываю в журнале годами, фамилию мою держать "для тонусу" не надо... Снимите мою фамилию с того номера, который сейчас сдается в производство. Я хочу дописать роман. Только на эту работу остались еще небольшие силы, а на "борьбу" уж нет сил, да и не за что бороться-то, спохватилась п... когда ночь прошла.

Сейчас все кругом "борются", а надо бы работать.

Может, и пригожусь еще русской литературе. Я же не Евтушенко, чтоб быть гвоздем в каждой бочке..."

Однако в начале 1990 года он, памятуя о своей борьбе с Эйдельманом, еще взбрыкивал и еще находил в себе силы для борьбы с демократическими демагогами. Так, в ответ на предложение печататься в "Огоньке" он ответил Коротичу: "Я в желтой прессе брезгую печататься", а редактор "Огонька" в интервью киевской газете "Комсомольское знамя" (от 10.1.1990 г.) заявил об Астафьеве: "Больно уж он кокетничает, увлекается игрой в правдолюбие. Он мог быть гораздо интереснее, если бы не слишком шовинистическая нотка. Недавно, например, мы получили от него письмо. "Из еврейства, — написал он, — вы скатываетесь в жидовство..."

В очередной раз мы встретились с Виктором Петровичем на VII съезде писателей России.

— Виктор Петрович! — набросился я на него с места в карьер. — В этом году журнал опубликовал обращение к народу патриарха Тихона, несколько самых ярких речей Столыпина, главы из "Народной монархии" Ивана Солоневича, две прекрасных статьи Валентина Распутина, "Шестую монархию" Игоря Шафаревича о власти желтой прессы, изумительное исследование Юрия Бородая "Нужен ли православным протестантский капитализм?" А Ксения Мяло — размышления о немцах Поволжья — в защиту русских! Мы засыпаны благодарными письмами после этой статьи! Как же можно после этого говорить о том, что наша публицистика — "подворотня"?

Съезд проходил в театре Советской Армии. Он был бурным. Выборы начальства — тяжелыми и шумными. Благодаря поддержке делегатов из провинции председателем Союза писателей России был избран Бондарев. Я выступал и тоже был за него, памятуя два его ставших крылатыми изречения на партийных форумах — о сравнении перестройки с самолетом, поднявшимся в воздух, но не знающим, где ему нужно приземлиться, и об украденном демократами у народа "фонаре гласности".

При всех многих личных недостатках Юрия Васильевича — надо отдать ему должное — он раньше многих других понял, в какую пропасть мы катимся...

Астафьев же в те дни относился к Бондареву всего лишь навсего как к литературному генералу и был раздражен ходом съезда. Мы оба сидели в президиуме, и вскоре я получил от него в ответ на свои упреки злую записку:

"Станислав! Подворотня сзади этих статей. Жаль, что тебя не было вчера на выступлении, которое вел Викулов, ты бы воочию увидел и услышал действие этой подворотни. Я после вечера в Колонном зале хорошо подумаю, прежде чем иметь с вами дело. В. Астафьев".

А в Колонном зале, как мне потом рассказали очевидцы, произошло то, что и должно было произойти. Сергей Викулов, Владимир Бушин, Анатолий Буйлов да многие другие писатели в своих речах кто как мог высмеяли, осудили, не приняли разруху, мародерство, кощунство демократической революции, к ходу которой Астафьев уже относился иначе.

Как я понял позднее, причины его развода с журналом лежали в сфере, недоступной для нашего влияния. Осенью 1990 года в Риме состоялась встреча писателей Советского Союза с писателями-диссидентами, живущими на Западе. Думаю, что эта тщательно продуманная и дорогостоящая акция была спроектирована в кабинете А. Н. Яковлева, а параллельно, может быть, и в западных спецслужбах.

Цель, которую она преследовала, была подлой: расколоть ряды патриотической интеллигенции, получить от нее одобрение на развал "империи" и, естественно же, скомпрометировать известные всему народу имена Астафьева, Залыгина, Солоухина, Крупина в глазах русских патриотов.

К сожалению, ни один из них не разгадал этот замысел, и все они попались в коварную ловушку, когда вместе с такими русофобами, как Иосиф Бродский, Анатолий Стреляный, Эрнст Неизвестный, Григорий Бакланов, Владимир Буковский, подписали позорное "Римское обращение".

В глумливой радости "обращения" по поводу того, что "заканчивается существование одной из величайших империй в истории человечества", что этот процесс "уже необратим", в наспех замаскированной лжи о том, что будущая история невозможна "без полной и окончательной ликвидации тоталитарной системы и без высвобождения возможностей национально-исторического творчества народов теперешнего СССР", в провокаторских предложениях о том, что "основой решения национального вопроса в СССР, как и во всем мире, является реальное право на самоопределение путем референдума," уже просматривалась программа августовского переворота, лживых референдумов о суверенитете, беловежское расчленение державы. Я должен быть справедлив и потому свидетельствую, что точнее всех нас смысл зловещего римского фарса разгадала Татьяна Михайловна Глушкова. Ее

выступление на VII съезде писателей России, уязвившее Астафьева и Крупина, было блистательным.

Вот центральный отрывок из ее речи:

"Не могу умолчать: меня глубоко покоробило так называемое "Римское обращение", которое странным образом среди совершенно ничтожных личностей (вроде Е. Аверина, редактора "Книжного обозрения" и бывшего помощника Гришина) подписали четыре известных русских писателя: В. Астафьев, С. Залыгин, В. Крупин, В. Солоухин. И дело не только в том, что они почему-то взялись под русским небом, при шумном ликовании "всеевропейской" и заокеанской прессы решать проблемы "гражданской войны" или "гражданского мира" в нашей стране, решать "национальные вопросы в СССР". Дело в том, прежде всего, что написали (или подписали) они вкупе и братском содружестве с эмигрантами "третьей волны", ибо "Римское обращение" демонстрирует такое отношение к нашей стране, которое до сих пор было свойственно только ее врагам, только клеветникам и злопыхателям России. "...Заканчивается существование одной из величайших империй в истории человечества", — пишут наши российские "римляне".

Видно, нетвердо помнят они эту самую "историю человечества". Ибо как можно назвать нашу страну и м п е р и е й? Разве нашим писателям неизвестно, что империя непременно предполагает ГОСПОДСТВО определенной нации, одной из наций, объединенных в империи?

Чье же имперское господство они подразумевают? Конечно же, русское! ТАК и только ТАК понимается это на Западе, да и среди здешних сепаратистов.

Я вынуждена напомнить этим русским патриотам, что честно и грамотно мыслившие люди даже относительно царской России не выражались столь спекулятивно. "Россия — не просто государство, но целый особый мир, особый государственный и культурный мир, а вовсе не попросту "величайшая из империй в истории человечества", — писали и разъясняли национально-государственный феномен нашей страны и Ф. Тютчев, и Н. Данилевский, и К. Леонтьев, и Ф. Достоевский.

И да будет стыдно тем, кто клевещет на русский народ, намекая с прозрачностью на имперское господство русских над другими нациями в СССР!

Я не удивлюсь, если кто-нибудь из этих "тихих" подпевал крушения "русской империи" будет вскоре выдвинут на какую-нибудь Нобелевскую премию. И уж во всяком случае станет

желанным гостем в любой "прогрессивной" стране Запада, враждебной нам, нашей суверенности".

Вот что вывело из себя Астафьева на съезде, вот что он имел в виду, когда писал мне в записке ("Я после вечеров в Колонном зале и вчерашнего"), вот что он имел в виду, когда со злобой выдавил из себя: "подворотня"! Словом, чуяла кошка, чье мясо съела...

Хотя к концу 1990 года он еще не превратился в того приближенного к власти корыстного старика, который предстал перед нами через два-три года. В беседе, опубликованной сразу же после римской встречи, он высказывался осторожно, поскольку, видимо, еще не решил, на чью сторону ему окончательно перейти. Коммунисты еще не были побеждены, до августа 1991 года оставалось восемь месяцев, и Астафьев не торопился. Он одновременно был как бы и за расчленение "империи", и за ее сохранение:

"Что касается меня лично, хоть как называй — шовинист, альтруист, я за то, чтобы дать России пожить самостоятельно"; и тут же: *"Друг без друга, без железнодорожных, водных, воздушных, родственных, наконец, связей мы не научены жить и просто не сумеем".*

Роман "Прокляты и убиты" еще не был написан, телевидение еще было под государственным контролем, и Виктор Петрович еще по-советски осуждал всяческую вседозволенность: *"Очень много матерщинников появилось открытых. Считается тоже новаторством. Очень много скабрёзников".*

Я не поверил в те дни версии, будто бы в Риме Астафьев был куплен обещанием Нобелевской премии. Но дальнейшее развитие событий все убедительнее подтверждало догадку Глушковой.

На том же съезде, после какого-то очередного резкого обсуждения во время перекура я получил от него еще одну многозначительную записку:

"Станислав! Я очень тебе советую внимательно перечесть все свои выступления последних лет и немного подумать над тем, кто ты есть? Виктор Астафьев".

Мои выступления последних лет были о помоечной массовой культуре, о Высоцком, о судьбах крестьянских поэтов, о еврейско-чекистском терроре первых лет революции, о клеветнических выпадах демократической прессы против русских писателей, о диссидентстве и русофобии. Естественно, полагая, что такого рода взгляды близки ему, я в перерыве подошел к Астафьеву и начал разговор о его переписке с Эйдельманом. Он резко оборвал меня:

— А сейчас, Станислав, я такие письма, может быть, уже не стал бы писать!

Я замолчал и отошел от него...

Однако сор из избы выносить не хотелось, жалко было прежних своих чувств и слов, и на литературных встречах 91-го и даже 92-го года, когда мы еще собирали сотни и даже тысячи человек в залах Москвы, Ленинграда, Новосибирска, читателям, спрашивавшим о том, что за черная кошка пробежала между Астафьевым и журналом, я отвечал уклончиво, не веря до конца в то, что его в Риме "купили".

Вот что писала по этому поводу демократическая газета "Литератор", издававшаяся в Ленинграде, где мы выступили в декабре 1991 года.

"На вопрос, почему из редколлегии "НС" вышел Астафьев, ответил Станислав Куняев. По его версии, "Виктор Петрович человек очень капризный и гордыни у него не меньше, чем у Льва Николаевича Толстого, который в свое время громил и церковь, и государство и даже заслужил то, что Ленин написал о нем статью как о "зеркале русской революции". Желание Астафьева стать превыше всего можно назвать синдромом Льва Толстого". "Не надо так пошло!" — выкрикнул кто-то из зала. На что Куняев, не моргнув глазом, тут же признался в любви к писателю Астафьеву, заявив, что лучше него никто не пишет".

Мои друзья по-разному разгадывали загадку Астафьева. Что случилось? Почему? Но на такие мои вопросы Василий Белов отворачивался, скрипел зубами, досадливо махал рукой. Валентин Курбатов размышлял о сложности и противоречивости писательского таланта. Кто-то из друзей бормотал: "Да нет, это все случайное, наносное, он еще опомнится, вернется к нам". И лишь помор Личутин, сверля собеседника маленькими глазками-буравчиками, был неизменно беспощаден:

— Я ему, когда еще только прочитал "Царь-рыбу", однажды прямо сказал: "Виктор Петрович, а за что Вы так не любите русский народ?"

Валентин Распутин, для которого разрыв с Астафьевым был, наверное, куда мучительнее, чем для Личутина, однажды с трудом, как бы нехотя, высказал такую мысль:

— Он же детдомовец, шпана, а в ихней среде жестокости много. Они слабого, как правило, добивают. Вот советская власть ослабела, и Астафьев, как бы обидевшийся на нее за то, что она его оставила, бросился добивать ее по законам детдомовской стаи...

Обида отпрыска из раскулаченной семьи? Психология детдомовского люмпена? Соблазн Нобелевской премии? Застарелый комплекс неполноценности? ("Как человек долго унижаемый я был всегда в себе не уверен и писателем себя почувствовал, пожалуй, только на Высших литературных курсах, в 1961 г." — из интервью 1999 г.) А может быть, все обстоит куда проще и куда банальнее?

При советской власти, увенчанный всеми мыслимыми орденами и премиями, трех- и четырехтомниками, баснословными гонорарами и обкомовскими квартирами, "кавалер Гертруды" Виктор Петрович с удовлетворением держался за неё родимую... и не то чтобы покушался на её основы — но и нас молодых одёргивал, чтобы излишне не вольнодумствовали. Да и, честно говоря, сам эту власть и уважал и побаивался.

Помню, как в середине 80-х годов в Иркутске проходили литературные вечера "Нашего современника", тогда еще возглавляемого Сергеем Васильевичем Викуловым. В Большом зале Дома политпросвещения, переполненном народом, выступали Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Алесь Адамович... Мы все сидели на сцене.

— Что будешь читать? — спросил Астафьев, повернувшись ко мне.

— Начну с "Коней НКВД", — сказал я.

— Ты что?! Я тебе не советую. Смотри, в первом ряду сколько начальства сидит, вон с краю двое из местной Лубянки...

Но, как только советская власть закачалась, Виктор Петрович закручинился: на кого в случае её крушения надеяться, от кого получать ордена, премии и прочие льготы, к которым он так привык. И первую ставку Астафьев сделал на новую возникающую силу русских националистов. Отсюда и отчаянная храбрость в переписке с Эйдельманом, и перепалка с грузинами и, наконец, прямая поддержка "Памяти", растущей тогда, как на дрожжах.

Но вскоре стало ясно писателю, что не на ту лошадку поставил, что никогда русским националистам не властвовать в России, и пришлось Виктору Петровичу давать задний ход и начиная с 1989 года постепенно разыгрывать еврейско-демократическую карту. Уж эти-то его поддержку оценят, они особенно щедро награждают бывших врагов — перебежчиков и ренегатов. Эту историческую истину Астафьев понял вовремя, хотя и несколько позже, нежели Василь Быков, Юрий Черниченко или какой-нибудь Анатолий Приставкин. И не просчитался.

Перед самым августовским переворотом в июле девяносто первого в "Советской России" было опубликовано обращение, вошедшее в историю под названием "Слово к народу". Виктор Астафьев немедля дал интервью телевизионной программе "Вести", с яростью обрушившись на обращение и его авторов, несмотря на то, что среди людей, подписавших "разоблачаемое" им обращение, числились два писателя, которые, как он сам сказал, "были моими товарищами". Астафьев в своем интервью впал в настоящее неистовство: "Лицемерие, которое в общем-то свет не видел... обращаются с грязными руками... они, вчерашние коммунисты, разоряли, унижали, расстреливали... старая коммунистическая демагогия... не верьте ни единому слову... это голый обман. Коммунисты, компартия наша на ладан дышит... Попытка защитить тонущий корабль"; "наглость от имени народа говорить. От имени народа может говорить избранный народом президент. Это "Слово" рассчитано на темную силу, которая есть в любом государстве"; "я не хочу сейчас давать оценку поступку Бондарева и Распутина, пусть это останется на их совести".

Он даже не подумал о том, что лишь меньшая часть деятелей культуры, подписавших "Слово к народу", — коммунисты, что Распутин и Проханов в компартии никогда не состояли.

Забавно было и то, что "Комсомолка", перепечатывая телеинтервью Виктора Астафьева, выбросила из его текста одну фразу, в которой он называл "черносотенцами" тех, против кого он выступал. Ну как тут было не вспомнить Эйдельмана и его отца, который был исключен из гимназии за пощечину "учителю-черносотенцу"! О ирония судьбы! Выступив против "Слова к народу", Виктор Петрович Астафьев как бы побратался со своим недавним врагом... Ну кто бы мог предвидеть такое оборотничество?

Ребята из "Комсомолки", видимо, сообразив, что Астафьев, заклеймив "черносотенство", ставит себя в ложное положение, убрали эту фразу из газетного текста, но слова о том, что Валентин Распутин "ставит подписи под самыми черными документами", остались.

— А что особенного? — пожал плечами один из известных писателей. — В русской истории такое предательство дело не редкое. Разве казаки не были заодно с польской шляхтой в 1612 году? А разве русские бояре не присягали на верность королю Владиславу и Лжедмитрию? А вспомним Власова... Все хотят быть с победителями!

В своем первом после "августовского переворота" интер-

вью Виктор Астафьев, возвратившийся в те дни из Шотландии, заявил на всю страну: "Я не сомневался, что при другом исходе (если бы победило ГКЧП. — **Ст. К.**) меня бы взяли уже в Шереметьево".

Вот так вот, ни больше, ни меньше...

А дальше все уже покатилось словно бы под горку. От выступления к выступлению слова и мысли Астафьева становились все более жесткими, он с каким-то сладострастием пинал побежденных, не щадил и бывших друзей по "деревенской литературе". Его именем, как тараном, как в свое время именем Солженицына, демократическая пресса разрушала устои прежней жизни. Рвение его хорошо поощрялось новой властью, даже более щедро, нежели властью советской. То и дело он возникал на телевидении, откуда совершенно исчезли Распутин, Белов, Бондарев, Михаил Алексеев, Петр Проскурин. Все чаще и чаще его фамилия мелькала в числе лауреатов, получивших государственные и президентские премии, и всевозможные "триумфы", и "букеры", и "антибукеры", и "тэффи", и ордена нового режима.

Весна 1993 года. Широкошумный референдум "да-да-нет-да", кое-как выиграв который Ельцин принял окончательное решение о разгоне Верховного Совета. Именно тогда, во время референдума, кремлевская власть поняла, что надо опираться на популярных людей, чьи слова действуют на сердца и умы. Ну как же тут было Ельцину обойтись без Астафьева! И Астафьев, давно "уставший от борьбы," нашел силы для нескольких энергичных заявлений, стал, как Евтушенко, "гвоздем в каждой бочке".

"Ничего другого не остается, как идти и голосовать за президента Ельцина — в нем пока единственная надежда на мир в России".

"Есть люди, в первую голову воспрянувшие коммунисты, готовые на любую кровь, на любые жертвы, лишь бы вернуть себе власть".

"Почему же не судят разнузданных воинствующих молодчиков — Зюганова, Проханова, ущербного умом депутата Михаила Астафьева, да и Эдичку Лимонова тоже".

Судебных процессов в преддверии референдума хотелось Виктору Петровичу. Задолго до "Письма 43-х" кровожадных своих коллег — творческих интеллигентов, он упрекал президента в мягкотелости, в нерешительности, по-отечески журил его, называя "мямлей", и запугивал читателей "Литературной газеты" картиной будущего коммунистического мятежа: *"Если президент и его правительство будут и дальше*

действовать уговорами, увещеваниями, анкетами, восторжествует самая оголтелая, самая темная сила. И заговорит она пулеметами, танками, колючей проволокой".

В октябре 1993 года пророчества Астафьева наконец-то сбылись. "Темная сила" действительно восторжествовала. Но колючая проволока — "спираль Бруно", — была растянута в центре столицы по приказу Ерина, а не Проханова, танки и бронетранспортеры расстреливали сотни русских людей по воле Ельцина и его опричников, а не по воле Зюганова и Лимонова. Убитые похоронены неизвестно где, как в сталинские времена, а некогда любимый мною писатель Виктор Петрович Астафьев угодничеством перед кровавой властью опозорил свои седины в канун своего семидесятилетия... Двойной позор и двойное поражение России.

Ярость настолько помрачила разум Виктора Петровича, что он в упор не видел, как разворовывают Россию Березовский, Гусинский, Чубайс и прочие приватизаторы, как сотни миллиардов долларов уплывают из России, но зато с пеной у рта приводил фантастические цифры из бульварной пропагандистской брошюры "Золото партии" — сколько золотых рублей якобы украли в свое время у народа Ленин, Дзержинский и даже Андрей Жданов.

"Товарищ Жданов толканул за рубеж 400 тысяч фунтов стерлингов..." И это при Сталине, который не разрешил однажды Кирову лететь из Крыма в Москву на самолете (только на поезде!), дабы не тратить лишних народных денег!

Через несколько месяцев, когда сатанинский план ельцинского режима закончился кровопролитием 3—4 октября, когда Василий Белов и я, находясь где-то рядом с ним, укрывались от пуль спецназа в Останкино, когда на другой день танковые пушки наемников, которым Гайдар заплатил фантастические гонорары за расстрел парламента, послали первые снаряды в окна Верховного Совета, наш детдомовец по телефону (!) из Красноярска передал в "Литгазету" проклятия несчетным жертвам октябрьской бойни.

Его истерические крики можно было сравнить в те дни только с садистской радостью какой-нибудь Новодворской:

"Большевистские стервятники все же пустили еще раз кровь русскому народу".

"Созреть для кровавых дел им помогли разъезжавшие по стране вожди и моралисты Аксючиц, Анпилов, Стерлигов, Андреева, человек с ликом и ухватками Чичикова по фамилии Зюганов".

...Ельцин победил, премии и награды еще гуще посыпались

на седую голову Виктора Петровича, и, конечно же, когда начались роковые и грязные выборы 1996 года, пришлось ему их отрабатывать. “Гарант Конституции” уже не мог обойтись без Астафьева, окончательно влившегося в команду “имиджмейкеров” — в компанию к Пугачевой, Хазанову, Зиновию Гердту, Марку Захарову и прочим, протянувшим свои лапки к чубайсовской коробке из-под ксерокса.

Дело с выборами пахло керосином, и всенародно избранный, чувствуя шаткость своего положения, прилетел аж в Овсянку на Енисей. Узнав, что к нему едет президент, Виктор Петрович от возбуждения наговорил много лишнего о русском народе, пристыдил его, желая доказать, что недостоин этот народ такого внимательного к нуждам людей президента:

“Привыкший кланяться бригадиру или мастеру в цехе, чтобы наряд “лучше закрыл”, лебезя перед теми, от кого зависит прибавка к зарплате, очередность на квартиру и в детский садик, добавка к пайке, продление отпуска на неделю, прирезка огорода на сотки, он, этот... трудяга, получил, наконец-то, возможность ораторствовать, материть власти, обличать “режим”, да и просто пошуметь прилюдно”.

“Разгула вольности, дармового хлеба хочется”.

“В радость себе живут те люди, которые не боятся труда, надеются на свои руки, на свою голову, обрабатывают участки земли и приучают детей вместе с ними работать...”

“Работать, работать! Все блага в мире и богатства в богатых государствах созданы вечным неустанным трудом. Они там и пишут: “мы сделаем”, “мы вырастим”, “мы построим”. А у нас бездельники: “нам дайте”, “нам сделайте”, “нам постройте”.

И это о народе, который в муках построил все, что приватизировано пятью процентами нынешних хозяев жизни, ставшими баснословно богатыми за какие-нибудь 2—3 года! Вот и сказали бы им, Виктор Петрович, что надо работать, а не воровать.

Писатель требовал от трижды во время “реформ” обобранного до нитки народа, чтобы он заново нарабатывал национальное богатство, свои сбережения, нормальные пенсии. И это в то время, когда миллионы безработных, то есть не имеющих возможности найти работу, уже погружались в безнадежное отчаяние. Поистине ни стыда, ни совести. И как тут не вспомнить слова Владимира Личутина: “Виктор Петрович, за что Вы так не любите русский народ?”

В той же “Литературке” обалдевший от визита президента

писатель сочинил целую сказку рождественскую, как Ельцин в Овсянке “подарил ребятам компьютерный класс, дал наставление хорошо учиться”, как обещал пенсионерам, инвалидам и вдовам “бесплатный проезд на пригородном транспорте”, как Ельцин сетовал, “что человеку с чисто русской речью и народной музыке почти нет места на экране”, как “когда мы садили возле библиотеки рябинку, запел “Ой рябина кудрявая...” И народ наш деревенский, голосистый подпевал ему...”

Вот такая “мыльная опера” вышла летом 1996 года из-под пера автора “Царь-рыбы”.

Но за это наш неудавшийся нобелевский лауреат получил от президента аж целых два миллиарда рублей на издание 15-томного (!) собрания своих сочинений.

У Алексея Толстого было десять томов. У Леонида Леонова восемь, у Шолохова — шесть, у крупнейших функционеров советской эпохи — Маркова, Чаковского, Симонова — меньше десяти... Матерый человечище все-таки наш Виктор Петрович!

Всю свою переписку, все интервью, все чуть ли не черновички мобилизовал, но пятнадцать томов все-таки наскреб. Рекорд поставил. Правда, недавно пожаловался, что финансирование то ли задержалось, то ли прекратилось на 11-м или 12-м томе. Ну что делать, если положение в стране такое, что у президента даже на своих клевретов средств не хватает!

Но больше всего, я помню, меня потрясло то, что писатель в очередной раз требовал от народа, чтобы тот только работал и не смел “бегать по митингам”. *“Оставьте это занятие политикам — они для того и существуют, чтобы за нас говорить, таким вот образом высвобождая нас и наше время для полезного труда”*.

“Работай, быдло, не смей думать, не лезь в политику, не смей протестовать, когда тебя берут за горло” — вот ведь что, в сущности, проповедовал слуга режима, даже не понимая того, что он говорит. Словно бы русские люди — это негры из Южной Африки во времена государства белых, или колумбийские крестьяне, или несчастные курды, не имеющие своего отечества.

После очередной победы Ельцина общество все-таки за последние два-три года как-то протрезвело, люди поняли, что наломали дров по глупости своей да по доверчивости, на глазах умнеть начали.

Но с Виктором Петровичем происходит нечто обратное. То ли от предчувствия греха лжи, в который он впал, то ли это возрастное, но читаешь все, что он говорит в последние год-

полтора, и другого слова, кроме как "деградация," на ум не приходит.

"Великая Отечественная война не была обусловлена какой-то исторической неизбежностью. Это была схватка двух страшных авантюристов Гитлера и Сталина, которые настроили свои народы соответствующим образом... Ведь человечество, напуганное первой мировой войной, и не собиралось воевать".

(В. П. в своем маразме даже забыл, что вторая мировая началась задолго до 22 июня 1941 года, человечество начало воевать несколькими годами раньше.)

"Я думаю, что все наши сегодняшние беды — это последствия войны. Тов. Сталин и его подручные бросили нас в этот котел... Конечно, Сталин — это никакой не полководец! Это ничтожнейший человек".

"Если бы немцы не напали на нас, то через год-полтора мы бы напали на них и, кстати говоря, тоже получили бы в рыло". "Мы сразу ввязались в "холодную войну" и света не видели". Ну да, это Сталин в Москве, а не Черчилль в Фултоне объявил о начале "холодной войны"... Вся эта паранойя — историческая и психологическая — была опубликована в майском номере "Аргументов и фактов" за 1998 год, приуроченном к очередному Дню Победы, как будто, сидя в Овсянке, читает Виктор Петрович только бывшего "грушника" — перебежчика Резуна-Суворова да начальника ПУРа Волкогонова и даже не подозревает о том, что "дранг нах Остен" начался еще на Чудском озере.

А то с каким-то старческим слабоумием вдруг начнет восхищаться тем, что жизнь стала лучше, потому что люди, которых он видит на кладбище на Радуницу, одеты в кожаные куртки и, поминая близких, пьют хорошие напитки, вместо всяческой дряни, какую пили в советские времена. Но жизнь жестоко шутит с нами. Я подумал об этом, когда 6 июня 1999 года красноярский губернатор Лебедь, выступая по телевидению и сетуя на разгул преступности в крае, вдруг сказал, что дело дошло до того, что на Красноярском кладбище с могилы, где похоронена дочь Астафьева, воры сняли какие-то украшения из цветного металла.

И ведь не вспомнит несчастный писатель о том, что десятки тысяч людей умирают от поддельной водки и что нередко в кожаной куртке можно увидеть бомжа, копающегося в помойке. Понимание жизни на уровне президентского, если вспомнить, что президент в доказательство того, что жизнь стала лучше, однажды привел тот факт, что на каждом углу можно купить

“как его? — “Киви”!..” Словом, с кем поведешься, от того и наберешься.

В самое последнее время, что ни скажет Виктор Петрович из Овсянки, все нелепость какая-то получается. То придумает, что немцы шли к нам с добром, поскольку на бляхах солдатских ремней у них были выгравированы слова “Готт мит унс” — “с нами Бог”, то вдруг взбредет ему в голову, что Володя Бондаренко “видите ли борец! А за что борец-то? За русский народ?! Ни больше ни меньше, являясь при этом ярко выраженным украинским националистом”.

А ведь была когда-то за душой Богонида, где дышала трудная жизнь, где зачинали и рожали детей, ели из одного котла дымящуюся артельную уху... Небось там сейчас сплошная червоточина, провалившиеся кровли, вырванные окна, забытые могилы.

Недавно в редакцию журнала пришло письмо от читателя, в прошлом детдомовца, у которого во время голодовок 1921—1933 года умерло семеро старших братьев и сестер, были сосланы как кулаки в ссылку братья матери с семьями. Письмо, обращенное к Астафьеву, заканчивалось так:

“Сейчас наша Родина стала колонией сионистов и США. И в этом есть и доля Вашей вины. Вы перешли на сторону потомков тех, кто приказал раскулачить Вашу семью и миллионы других русских семей. Значит, Вы предали свою семью, свое прошлое. Я же, ненавидя сионистов-большевиков и их потомков сионистов-демократов, состою в русской КПРФ вместе с русскими патриотами А. М. Макашовым и В. И. Илюхиным”.

Вот ответ Виктору Астафьеву от нынешнего русского человека. Прочитаешь такое и поневоле вспомнишь любимого астафьевского писателя Гоголя: “И пропал казак”, или “Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?”. Впрочем, помогли. Орден к семидесятилетию дали. А потом и еще один — к семидесятипятилетию. С благодарностью принял...

P. S. Когда эта глава уже была набрана, мне в руки попала книга: “Виктор Петрович Астафьев. Жизнь и творчество. Библиографический указатель”. Издана к его 75-летию Российской Государственной библиотекой. В содержании — книги юбиляра, изданные на русском и других языках, собрания сочинений, все публикации в периодической печати и даже в коллективных сборниках, книги для детей, статьи о литературе, перечень всех наград и премий, список интервью и бесед с ним, переписка с писателями и читателями, вручение

астафьевских премий, статьи и рецензии о его творчестве, Астафьев на TV, в театре, в кино, в изобразительном искусстве, на почтовых открытках, рассказы и стихи, посвященные Астафьеву... Всего не перечислить! Одних только авторов, так или иначе соприкоснувшихся с юбиляром, в именном алфавитном указателе около полутора тысяч! Но есть маленькая неувязка: нет среди них одного — Натана Эйдельмана. Не было у них никакой переписки. Не знакома эта фамилия Виктору Петровичу. Вот так поправили угол зрения нашему "зрячему посоху". Но ведь "что написано пером", подумал я и решил-таки в виде приложения опубликовать нижеследующие несколько страниц. Тем более, что в Советском Союзе они печатались лишь однажды — в рижском журнале "Даугава" в 1990 году, и новое поколение читателей уже не знает легендарного апокрифа 80-х, да и из старого не все читали переписку, ходившую по рукам.

Н. Эйдельман — В. Астафьеву

Уважаемый Виктор Петрович!

Прочитав все или почти все Ваши труды, хотел бы высказаться, но прежде представлюсь.

Эйдельман Натан Яковлевич, историк, литератор (член СП), 1930 года рождения, еврей, москвич; отец в 1910-м исключен из гимназии за пощечину учителю-черносотенцу, затем журналист (писал о театре), участник 1-ой и Отечественной войн, в 1950—55 сидел в лагере; мать — учительница, сам автор письма окончил МГУ, работал много лет в музее, школе; специалист по русской истории XVIII—XIX веков (Павел I, Пушкин, декабристы, Герцен).

Ряд пунктов приведенной "анкеты" Вам, мягко говоря, не близок, да ведь читателей не выбирают.

Теперь же позволю себе высказать несколько суждений о писателе Астафьеве.

Ему, думаю, принадлежат лучшие за многие десятилетия описания природы ("Царь-рыба"); в "Правде" он сказал о войне, как никто не говорил. Главное же — писатель честен, не циничен, печален, его боль за Россию — настоящая и сильная; картины гибели, распада, бездуховности — самые беспощадные.

Не скрывает Астафьев и наиболее ненавистных, тех, кого прямо или косвенно считает виноватыми...

Это интеллигенты-дармоеды, "туристы", те, кто орут "по-басурмански", москвичи, восклицающие "вот когда я был в Варне, в Баден-Бадене", наконец, — инородцы.

На это скажут, что Астафьев отнюдь не ласкает и своих, русских крестьян, городских обывателей.

Так, да не так!

Как доходит дело до "корня зла", обязательно все же появляется зловещий гражданин Гога Герцев (имя и фамилия более чем сомнительны: похоже на Герцен, Гога после подвергается осмеянию в связи с Грузией). Страшна жизнь и душа героев "Царь-рыбы", но уж Гога куда хуже всех пьяниц и убийц вместе взятых, ибо от него вся беда...

Или по-другому: голод, распад, беда, а тут: "было что-то неприятное в облике и поведении Отара. Когда, где он научился барственности? Или на курсах он был один, а в Грузии другой, похожий на того всем надоевшего типа, которого и грузином-то не поворачивается язык назвать. Как обломанный занозистый сучок на дереве человеческом, торчит он по всем российским базарам, вплоть до Мурманска и Норильска, с пренебрежением обдирая ***доверчивый северный народ*** *подгнившим фруктом или мятыми, полумертвыми цветами, жадный, безграмотный, из тех, кого в России* ***уничижительно зовут "копеечная душа",*** *везде он распоясан, везде с растопыренными карманами, от немытых рук залоснившимися, везде он швыряет деньги, но дома усчитывает жену, детей, родителей в медяках, развел он автомобилеманию, пресмыкание перед импортом, зачем-то, видать для соблюдения моды, возит за собой жирных детей, и в гостиницах можно увидеть четырехпудового одышливого Гогию, восьми лет от роду, втиснутого в джинсы, с сонными глазами, утонувшими среди лоснящихся щек" (рассказ "Ловля пескарей в Грузии", журнал "Наш современник", 1986, № 5, стр. 125).*

Слова, мною подчеркнутые, несут большую нагрузку: всем надоели кавказские торгаши, "копеечные души", то есть, иначе говоря, у всех у нас этого нет — только у них: за счет бедных ("доверчивых"!) северян жиреет отвратительный Гогия (почему Гогия, а не Гоги?).

Сила ненавидящего слова так велика, что у читателей не должно возникнуть сомнений: именно эти немногие грузины (хорошо известно, что торгует меньше 1% народа) — в них особое зло и, пожалуй, если б не они, то доверчивый северный народ ел много отнюдь не подгнивших фруктов и не испытывал недостатка в прекрасных цветах.

"Но ведь тут много правды, — воскликнет иной простак, — есть на свете такие Гоги, и Астафьев не против грузинского народа, что хорошо видно из всего рассказа о пескарях в Грузии".

Разумеется не против; но вдруг забыл (такому мастеру непростительно), что крупица правды, использованная для ложной цели, в ложном контексте — это уже кривда, и, может быть, худшая.

В наш век, при наших обстоятельствах, только сами грузины и могут о себе так писать или еще жестче (да, кстати, и пишут — их литература, их театр, искусство, кино не хуже российского); подобное же лирическое отступление, написанное русским пером, — та самая ложка дегтя, которую не уравновесят целые бочки русско-грузинского застольного меда.

Пушкин сказал: "Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног, но мне досадно, и если иностранец разделит со мной это чувство"; стоит задуматься, — кто же презирает, кто же иностранец?

Однако продолжим. Почему-то многие толкуют о "грузинских обидах" по поводу цитированного рассказа; а ведь в нем же находится одна из самых дурных, безнравственных страниц нашей словесности: "По дикому своему обычаю, монголы в православных церквах устраивали конюшни. И этот дивный и суровый храм (Гелати) они тоже решили осквернить, загнали в него мохнатых коней, развели костры и стали жрать недожаренную кровавую конину, обдирая лошадей здесь же в храме, и пьяные от кровавого разгула, они и посваливались раскосыми мордами в вонючее конское дерьмо, еще не зная, что свидетели на земле для вечности строят и храмы вечные" (там же, с. 133).

Что тут скажешь?

Удивляюсь молчанию казахов, бурятов. И, кстати бы, вспомнить тут других монголоидов — калмыков, крымских татар — как их в 1944 году из родных домов, степей, гор, "раскосыми мордами в дерьмо"...

Чего тут рассуждать? — Расистские строки. Сказать по правде, такой текст, вставленный в рассказ о благородной красоте христианского храма Гелати, выглядит не меньшим кощунством, чем описанные в нем надругательства.

170 лет назад монархист, горячий патриот-государственник Николай Михайлович Карамзин, совершенно не думавший о чувствах монголов и других "инородцев", иначе описывал Батыево нашествие; перечислив ужасы завоевания (растоптанные конями дети, изнасилованные девушки, свободные люди рабами у варваров, "живые завидуют спокойствию мертвых"), — ярко обрисовав все это, историк-писатель, мы угадываем, задумался о том, что в сущности

нет дурных народов, а есть трагические обстоятельства, — и прибавил удивительно честную фразу: "Россия испытала все бедствия, претерпленные Римской империей.., когда северные дикие народы громили ее цветущие области. Варвары действуют по одним правилам и разнствуют между собой только в силе". Карамзин, горюющий о страшном несчастии, постигшем его Родину, даже тут опасается изменить своему обычному широкому взгляду на вещи, высокой объективности: весь ужас татарского бедствия сравнивает он с набегами на Рим "северных варваров", среди которых важнейшую роль играли древние славяне, прямые предки тех, кого громит и грабит Батый.

Мало этого примера, вот еще один! Вы, Виктор Петрович, конечно, помните строки из "Хаджи Мурата", где описывается городская деревня, разрушенная русской армией: "Фонтан был загажен, очевидно, нарочно, так, что воды нельзя было брать из него. Также была загажена мечеть... Старики-хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы, от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми, и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения".

Сильно писал Лев Николаевич Толстой. Ну, а если бы вообразить эти строки, написанные горцгм, грузином, "иностранцем"?

С грустью приходится констатировать, что в наши дни меняется понятие народного писателя: в прошлом — это прежде всего выразитель высоких идей, стремлений, ведущий народ за собой; ныне это может быть и глашатай народной злобы, предрассудков, не поднимающий людей, а спускающийся вместе с ними.

На этом фоне уже не пустяк фраза повести "Печальный детектив", что герой в пединституте изучает лермонтовские переводы с немецкого вместе с "десятком еврейчат". Любопытно было бы только понять, — к чему они в рассказе, если ни до, ни после больше не появляются? К тому же может быть, что вот-де в городе развивается страшный, печальный детектив, а десяток инородцев (отчего десяток: видимо, все в пединституте сконцентрировались? Как видно, конкурс для них особенно благоприятен?) — эти люди заняты

своей ненужной деятельностью? Или тут обычная астафьевская злая ирония литературоведения: вот-де "еврейчата" доказывают, что Лермонтов портил немецкую словесность, ну а сами-то хороши?..

Итак, интеллигенты, москвичи, туристы, толстые Гоги, Гоги Герцевы, косомордые, еврейчата, наконец дамы и господа из литфондовских домов: на них обрушивается ливень злобы, презрения и отрицания. Как ни на кого другого: они хуже всех...

А если всерьез, то Вам, Виктор Петрович, замечу, как читатель, как специалист по русской истории: Вы (да и не Вы один!) нарушаете, вернее — очень сильно хотите нарушить, да не всегда удается — собственный дар мешает нарушить — главный закон российской мысли и российской словесности. Закон, завоеванный величайшими мастерами, состоит в том, чтобы, размышляя о плохом, ужасном, прежде всего для всех сторонних объяснений ***винить себя****, брать на себя; помнить, что нельзя освободить народ внешне больше, чем он свободен изнутри (любимое Львом Толстым изречение Герцена). Что касается всех личных, общественных, народных несчастий, то чем сильнее и страшнее они, тем в большей степени их первоистоки находятся изнутри, а не снаружи. Только подобный нравственный подход ведет к истинному, высокому мастерству. Иной взгляд — самоубийство для художника, ибо обрекает его на злое бесплодие.*

Простите за резкие слова, но Вы сами, своими сочинениями, учите подходить без прикрас...

С уважением

Н. Эйдельман
24 августа 1986 г.

В. П. Астафьев — Н. Я. Эйдельману

"Не напоивши, не накормивши, добра не сделавши — врага не наживешь" —

русская пословица.

Натан Яковлевич!

Вы и представить себе не можете, сколько радости доставило мне Ваше письмо. Кругом говорят, отовсюду пишут о национальном возрождении русского народа, но говорить и писать одно, а возрождаться не на словах, не на бумаге, совсем другое дело.

У всякого национального возрождения, тем более у русского, должны быть противники и враги. Возрождаясь, мы можем дойти до того, что станем петь свои песни, танцевать свои танцы, писать на родном языке, а не навязанном "эсперанто", тонко названном "литературным языком". В своих шовинистических устремлениях мы можем дойти до того, что пушкиноведы и лермонтоведы у нас будут тоже русские, и, жутко подумать, собрания сочинений отечественных классиков будем составлять сами, энциклопедии и всякого рода редакции, театры, кино тоже "приберем" к рукам, и, о, ужас! О, кошмар! Сами прокомментируем "дневники" Достоевского.

Нынче летом умерла под Загорском тетушка моей жены, бывшая нам вместо матери, и перед смертью сказала мне, услышав о комедии, разыгранной грузинами на съезде: "Не отвечай на зло злом, оно и не прибавится"...

Последую ее совету и на Ваше черное письмо, переполненное не просто злом, а перекипевшее гноем еврейского, высокоинтеллектуального высокомерия (Вашего привычного уже "трунения"), не отвечу злом, хотя мог бы, кстати, привести цитаты и в первую очередь из Стасова, насчет клопа, укус которого не смертелен, но...

Лучше я разрешу Ваше недоумение и недоумение московских евреев по поводу слова "еврейчата", откуда, мол, оно взялось, мы его слыхом не слыхивали?! "...этот Куликовский был из числа тех поляков, которых мой отец вывез маленькими из Польши и присвоил себе в собственность, между ними было и несколько жиденят..." (Эйдельман, "История и современность в художественном сознании поэта", с. 339).

На этом я и кончу, пожалуй, хотя цитировать мог бы многое. Полагаю, что память у меня не хуже Вашей, а вот глаз, зрячий, один, оттого и пишу на клетчатой бумаге, по возможности, кратко.

Более всего меня в Вашем письме поразило скопище зла. Это что же Вы, старый человек, в душе-то носите? Какой груз зла и ненависти клубится в Вашем чреве? Хорошо хоть фамилией своей подписываетесь, а не продаете своего отца. А то вон не менее, чем Вы, злой, но совершенно ссученный атеист — Иосиф Аронович Крывелев и фамилию украл, и ворованной моралью-падалью питается. Жрет со стола лжи и глазки невинно закатывает, считая всех вокруг людьми беспечными и лживыми.

Пожелаю и Вам того же, что пожелала дочь нашего последнего царя, стихи которой были вложены в "Евангелие" —

"Господь, прости нашим врагам, Господь! прими их в объятья!". И она, и сестры ее, и братец, обезножевший окончательно в ссылке, и отец с матерью расстреляны, кстати, евреями и латышами, которых возглавлял отпетый, махровый сионист Юрковский.

Так что Вам в минуты утишения души стоит подумать и над тем, что в лагерях вы находились и за преступления Юрковского и иже с ним, маялись по велению "Высшего судии", а не по развязности одного Ежова.

Как видите, мы, русские, еще не потеряли памяти и мы все еще ***народ большой*** *и нас все еще мало убить, но надо и повалить...*

За сим кланяюсь. И просвети Вашу душу всемилостивейший Бог!

14 сентября 1986 г.
с. Овсянка

За почерк прощения не прошу — война виновата.

Н. Эйдельман — В. Астафьеву

Виктор Петрович, желая оскорбить — удручили. В диких снах не мог вообразить в одном из "властителей дум" столь примитивного, животного шовинизма, столь элементарного невежества. Дело не в том, что расстрелом царской фамилии (давно установлено, что большая часть исполнителей были екатеринбургские рабочие) руководил не "сионист Юрковский", а "большевик Юровский" (сионисты преследовали, как Вам очевидно неизвестно, совсем иные цели — создание отдельного еврейского государства в Палестине); дело не в том, что ничтожный Крывелев носит, представьте, собственную фамилию (как и множество столь же несимпатичных "воинствующих безбожников" разных национальностей); дело даже не в логике "Майн Кампф" о наследственном национальном грехе (хотя, если мой отец сидел за грех "Юровского", тогда Ваши личные беды, выходит, — плата за раздел Польши, уничтожение инородцев, еврейские погромы и прочее). Наконец, дело не в том, что Вы оказались неспособным прочесть мое письмо, ибо не ответили ни на одну его строку (филологического запроса о происхождении слова "еврейчата" я не делал; да Вы, кстати, ведь заменили его в отдельном издании на "вейчата": неужели цензуры забоялись?).

Главное: *найти в моем письме много зла можно было лишь в* ***цитатах****, ваших бывших цитатах, Виктор Петрович, — может быть, обознавшись, на них и обрушились?*

Несколько раз елейно толкуя о христианском добре, — Вы постоянно выступаете неистовым — "око за око" — ветхозаветным иудеем.

Подобный тип мышления и чувствования — уже есть ответ о причинах русских и российских бед: "нельзя освободить народ внешне более, нежели он свободен изнутри".

Спор наш (если это спор) разрешится очень просто: если сможете еще писать хорошо, лучше, сохранив в неприкосновенности нынешний строй мыслей — тогда Ваша правда! Но ведь не сможете, последуете примеру Белова, одолевшего-таки злобностью дар свой и научившегося писать вполне бездарную прозу (см. его роман "Все впереди" — "Наш современник", 1986, №7—8).

Прощайте, говорить, к сожалению, не о чем.

Главный Вам ответ — собственный текст, копию которого, — чтоб не забыли! — возвращаю.

Н. Эйдельман

28 сентября 1986 г.

Вот как у нас шалят: то "Уже написан "Вертер" издадут с купюрами, то астафьевскую биографию подправят...

Но теперь уникальный библиографический указатель, составленный при жизни юбиляра В. П. Астафьева очередным Эйдельманом, взявшим себе на этот раз псевдоним Т. Брик-сман, кажется, полон...

“В угоду черни буйной”

“Россия, спаси!” Нагорный Карабах 1971 года. Паруйр Севак и Левон Бабаевич. По маршруту Мандельштама. Любовь Осипа к Сергею. Галина Старовойтова и карабахская резня. На берегах Оки и Арагвы. По следам маршала Антонеску. Львов 1963 года. Споры хохла с москалем. “Пусть антихристы отделяются”. Мицкевич — вождь черни. Мои литовские друзья. Чайханщик Изатулло и пламенная Гульрухсор. Предсказание Дондока Улзытуева. Мой первый бунт. Советский солдат Суюнбай. Советские переводы и русская идея. “Народы — суть мысли Божии”

Открыл я как-то сборник архивных документов “Под стягом России” и услышал рвущиеся с его страниц вопли, прошения, клятвы, обещания, жалобы, которые два-три века тому назад неслись через всю Россию от южных ее рубежей к царской Москве, а позднее — на северо-запад к императоркому Петербургу...

Целовали крест, клали ладони на Коран, принимали присягу, ставили тамгу на пергаменте, толпились в приемных царей и императоров, клялись на вечные времена, присылали драгоценные дары, отправляли на север своих сыновей, шли на все — лишь бы русский солдат пришел в их земли, лишь бы императорский наместник прибыл в Эривань и Тифлис, лишь бы караваны российских купцов потянулись на юг...

Из послания армянских патриархов Исайи и Нерсеса императору Петру I с просьбой принять армянский народ под покровительство России:

"Ныне пришло турецкого войска множество и многие города побрали, а именно: Теврис, Нагшиван, Эриван, Тифлис, и намерены придти в Генжу и к нам, о чем с великими слезами просим учинить нам как наискорое вспоможение хотя морем на нашу сторону, а о хлебе и прочем чтоб оные воинские люди не сумневались, токмо б повелеть им придить в провинции Карабахскую и Шемаханскую вскорости, а ежели не будут, то по сущей истине турки поберут все месяца в три и христиан всех побьют и погубят, а мы иной надежды кроме В. В. не имеем...

22 февраля 1725 г."

...Мы помахали рукой Аширу, когда он приостановил лошадей на перевале и оглянулся, чтобы попрощаться с нами. Через волнующиеся от бодрящего ветра зеленые травы Карабахского нагорья он привел нас на озеро Кара-Гёль, а сам отправился обратно в горную деревушку Ахметли. Путь его пройдет по альпийским лугам, через ручьи, заросшие буйной осокой, мимо овечьих стад, нагулявших жир и шерсть на единственных в мире травах, мимо сизых пепелищ, оставленных чабанами. Ветер, все время колеблющий траву, да темные облака над головой будут сопровождать его, как сопровождали они во все времена на этой благословенной земле полчища Чингиса и Тимура, Баязета и шаха Аббаса...

Мы огляделись — перед нами лежал овальный кусок небесной сини, заключенный в оправу из глыб красного вулканического туфа. Из века в век вешние воды точили себе удобные русла, сбегая с темно-вишневых вершин к озеру. Русла постепенно заполнялись плодородной почвой, и сейчас, когда недавно растаяли снега и полая вода по распадкам сошла с каменной гряды, следы высохших потоков были обозначены лентами альпийских цветов. Три реки — белая, желтая и синяя, обрамленные зелеными травами, впадали в озеро и, отражаясь в его глади, уходили в глубину, так что было даже непонятно, может, они, наоборот, выходят из глубин Кара-Гёля на землю, подымаются между скал к небу и растворяются в его синеве.

Два орла, почти не шевеля крылами, медленно парили над озером на воздушных токах... Но мы приехали сюда не только затем, чтобы любоваться красотами мира. Игорь Печенев уже

развязывал рюкзак, хитро поглядывая на меня, доставал заветные блесны, налаживал спиннинг.

— Давай по пятьдесят бросков — чтобы душу отвести! А палатку разбить успеем...

Мы встали недалеко друг от друга на берегу, усыпанном круглой белой галькой величиной с хорошую картошку, и блесны засвистели в воздухе. Где-то там, в темных глубинах озера, гуляла царская рыба ишхан, озерная форель, которую надо было поймать. Блесна, как пуля, вылетает из спиннинга, я улавливаю мгновенье, когда она метров за пятьдесят от берега приближается к поверхности воды, в момент падения делаю плавную подсечку и начинаю медленно наматывать на барабан леску... Но что это? Удар по блесне!.. Чуть-чуть медленнее! Рыба промахнулась! Еще один оборот катушки! Еще... Удар! И тяжелая живая сила, сделав несколько рывков, от которых удилище сгибается в дугу, начинает уходить в глубину.

Дальше я знаю все, что будет. Рыба начнет уставать, я буду выбирать леску. Когда она почувствует, что неведомая мощь тянет ее к берегу — форель соберется с силами и как пружина вылетит из воды, тряся оскаленной пастью, пытаясь освободиться от тройника. Тут главное не дать ей рвануть, в одну секунду сделать связь между рыбой и тобой неосязаемой. Одна свеча! Другая! Третья уже пониже. А четвертую она сделать не успевает — пока рыба взлетала из воды и снова плюхалась в нее, я успел подмотать леску, и форель уже на мелком месте; вот она ложится на бок — теперь можно спокойно выводить ее на прибрежную гальку.

Темная, глянцевая спина, платиновые бока, украшенные крестообразными алыми и черными отметинами, мощный подрагивающий хвост с бледно-розовым опереньем, кремовые плавники, мелкочешуйчатое белое брюхо, жаберные крышки отливают перламутровым блеском, мощные челюсти образуют огромный рот. Она тяжело дышит, высунув язык, усеянный рядами мелких зубов, и ее черные блестящие глаза с ненавистью глядят на меня... Алая струйка медленно сочится из-под жаберной крышки и, застывая, тянется по белому брюху. Рыба вздрагивает раз, другой, начинает засыпать. Ее радужные краски быстро блекнут.

— Есть! — кричу я, показывая другу свою добычу, которую с трудом держу на вытянутой руке. Но он не слышит меня: его спиннинг согнут в дугу — он ждет с секунды на секунду, что и его рыба на алых плавниках вот-вот взлетит над озером.

Когда мы сошлись и стали разглядывать улов — несколько холодных увесистых и уже отвердевших форелей — над

нашими головами вдруг раздался звук автомобильного клаксона.

Мы оглянулись. По зеленому склону к озеру спускались двое мужчин. Они подошли к нам, поглядели на форелей, лежащих на белой гальке, и пожилой армянин с впалыми щеками, с усиками, в синем френче и в галифе на плохом русском языке спросил нас:

— Па-а-чиму рибу ловишь?

На голове у него была темно-синяя, под цвет френча, запыленная фуражка с околышем, на ногах, несмотря на жару, мягкие сапоги с галошами. Словом — руководящий работник районного масштаба.

Наши пространные объяснения, что мы, московские писатели, изучаем жизнь карабахских горцев, явно не удовлетворили его. А когда он узнал, что мы добрались до озера с азербайджанской стороны, то насупился еще больше.

— Кто ишхан разрешил ловить? Кто им разрешил, Сурен! — Он оглянулся на шофера, стоявшего поодаль с монтировкой в руках. На всякий случай. В горах все бывает.

— Нас азербайджанские друзья сюда привели, отдохнуть... Да пойдемте лучше чаю попьем, поговорим! Кстати, вы бы представились нам! — попытался наладить дипломатические отношения с явно ответственным человеком мой напарник.

— Звать меня Левон Бабаевич. Я человек в этом районе по охране природы, животного мира и рыбы...

Левон Бабаевич суровым голосом разъяснил нам, что в Кара-Гёле форель ловить запрещено, что хотя мы и приехали со стороны Азербайджана, но рыбу ловили, когда он подъехал на своем "газике", на армянском берегу; словом, надо составить акт на пять пойманных форелей, поскольку мы являемся фактически браконьерами, и он обязан нас отвезти в райцентр за шестьдесят километров, чтобы мы заплатили штраф...

Мы дружно запричитали:

— Дорогой Левон Бабаевич... да мы же не знали, что озеро заповедное... отдохнем два дня и ни разу больше к озеру не подойдем, разве что умыться... не лучше ли нам выпить бутылочку коньяку, а закусывать будем колбасой или рыбными консервами...

Но Левон Бабаевич, наслаждаясь своей властью, был неумолим, и лишь когда я пробормотал, что у меня не только среди азербайджанских, но и среди армянских поэтов есть друзья, в его лице появилась какая-то теплинка.

— А кто друзья ваши из армянских поэтов?

— Ох, Левон Бабаевич, — жалобно проговорил я, — много у меня в Ереване друзей, а самый лучший — погиб недавно: Паруйр Севак... Слышали?

— Вы знали Паруйра?

— Не только знал, но и стихи его переводил. Даже одно, как помнится, о форели, за которую вы нас сегодня увезете в Горис и оштрафуете.

Я действительно знал Паруйра. Познакомился с ним — тогда еще молодым, курчавоволосым, большеглазым и крупногубым человеком. Он попросил меня перевести несколько стихотворений для его первой московской книги.

— А как же вы перевели — когда армянского не знаете? — заинтересованно спросил Левон Бабаевич.

— А так вот. Мы садились рядом с Паруйром, он русский язык знал, говорил мне, что у него значит это слово, эта строчка... Я обдумывал его слова; а потом уже из них складывал русские стихи.

Левон Бабаевич недоверчиво посмотрел на меня:

— А помните какие-нибудь стихи Севака, которые вы переводили?

Я перехватил умоляющий взгляд напарника. Ну вспомни! вспомни что-нибудь! сочини! придумай! — прочитал я в его глазах.

— Было у Паруйра, помнится, одно стихотворение вот об этой форели... Как же оно начиналось? — Откуда-то из глубины сознания — переводил-то все-таки двенадцать лет назад! — у меня всплыла строка:

Даже рыбы севанские
кармрахайт и бахтак...

Я сделал еще одно усилие, увидев преображающееся лицо Левона Бабаевича:

...носят пятнышки красные
на упругих боках.

И свершилось маленькое чудо: медленно, как буксующая машина, берущая глинистый подъем, я стал выволакивать из памяти строчку за строчкой:

Эти пятнышки-родинки,
словно память о времени,
словно память о пролитой
крови Армении.

Я читал по слогам, боясь сбиться, а Левон Бабаевич уже глядел мне в рот и словно бы просил взглядом: ну, давай дальше, молодец! Друг великого Паруйра!

Рыбы бьют плавниками,
а вода глубока,
а водица веками
моет рыбам бока.

"Неважная строфа, — мелькнуло у меня в голове. — Почему "водица"? — Для размера!" Но я сразу же отбросил все побочные размышления, понимая, что уже вспомнил стихотворение, которое никогда не читал вслух и не знал наизусть, и что последнюю строфу нужно произнести с особенным пафосом:

Разрушаются скалы,
в небе птицы парят,
только родинки-капли
все горят и горят!

Над нашими головами парили орлы. Красные скалы, полуразрушенные временем, окаймляли озеро. По глубоким морщинам темного лица Левона Бабаевича текли две слезы. В его глазах отражались сияющие контуры снежных хребтов. Шофер отложил монтировку на траву. И мы поняли, что атаки не будет.

Левон Бабаевич волосатым кулаком утер слезу, закашлялся, протянул руки и расцеловал меня, взмокшего от напряжения.

— Ловите рыбу. Я разрешаю. Одна просьба — возвращайтесь в Москву не через Азербайджан, а через Армению, через Горис, через мой дом... Гостями сердечными будете! Когда за вами машину прислать — скажите...

Но нам надо было возвращаться тем же путем, каким мы сюда приехали. Огорченный Левон Бабаевич, бескорыстный любитель родной поэзии, нарушивший ради этой любви служебные инструкции, на прощанье обнял браконьеров; мы выкурили с ним по сигарете и проводили этого прекрасного человека до машины. "Газик" развернулся и по едва заметным колеям, медленно покачиваясь на неровностях почвы, укрытых травой, пополз от озера к горизонту...

Через двадцать лет на этих просторах началась война. Она готовилась исподволь. И азербайджанские, и армянские пастухи, приходившие к нам вечерами погреться у костра, просили, чтобы в следующий раз, если мы приедем на Кара-Гёль, то привезли бы для них только одно: патроны.

Но к нам, русским, карабахские армяне и карабахские азербайджанцы относились с глубочайшим восточным радушием, с легендарным гостеприимством, с почти религиозным пиететом, словно бы чувствуя некой глубинной частью души, что не властвуй на этих просторах русская державная воля, они навсегда бы погрузились в пучину племенных страстей, чреватых кровной местью, пепелищами, перерезанными глотками, обугленной человечиной.

Когда мы въехали в цветущую, солнечную Шушу, в которой особняки из розового и желтого туфа утопали в гранатовых садах, в зарослях винограда и тутовника, я вспомнил стихи Осипа Мандельштама о страшной разгромленной и обезлюженной Шуше, которую поэт увидел в 1930 году, о "хищном городе Шуше", где на развалинах домов еще высыхала кровь резни и погромов, прокатившихся в эпоху развала Российской империи, в годы гражданской войны, словом, во времена русского безвластия и "национальных суверенитетов" по Карабахскому нагорью. Только во время взаимной резни 1920 года в Шуше погибло почти тридцать тысяч человек.

Надежда Яковлевна Мандельштам так писала в своих воспоминаниях о путешествии с Осипом Эмильевичем по Карабаху:

"Нам уже случалось видеть деревни, брошенные жителями, состоящие из нескольких полуразрушенных домов, но в этом городе, когда-то, очевидно, богатом и благоустроенном, картина катастрофы и резни была до ужаса наглядной. Мы прошлись по улицам, и всюду одно и то же: два ряда домов без крыш, без окон, без дверей. В вырезы окон видны пустые комнаты, изредка обрывки обоев, полуразрушенные печки, иногда остатки сломанной мебели. Дома из знаменитого розового туфа, двухэтажные. Все перегородки сломаны, и сквозь эти остовы всюду сквозит синее небо. Говорят, что после резни все колодцы были забиты трупами. Если кто и уцелел, то бежал из этого города смерти. На всех нагорных улицах мы не встретили ни одного человека".

Жаль только, что Надежда Мандельштам, с которой я встречался в Пскове в 1962 году и слушал ее рассуждения о необходимости демократических сдвигов в обществе, не вспомнила о том, что в молодости и она баловалась революционными идеями, и она была за права человека, за смену монархического мироустройства на другое, более прогрессивное... Но когда в результате этой муравьиной работы рухнула Российская империя, то каждая из карабахских семей

тут же воспользовалась правом резать и жечь иноплеменного соседа...

Выехали они из Шуши тогда лишь при помощи советской власти ("наутро не без труда получили билеты на автобус через обком"), которая только лишь начинала налаживать жизнь в полумертвом городе...

И вот через сорок лет после их путешествия мы шли по спокойной, благоустроенной, многолюдной Шуше. Где-то на улице познакомились с журналистом из местного радио рыжеватым смуглолицым Максимом, который тут же привел нас на веранду своего дома. Мы сидели на веранде, слаженной из гладкого коричневого дерева, вдыхали сухой благодатный воздух, стекающий с окрестных гор, пили душистую тутовую водку, закусывали фиолетовым инжиром, белой брынзой и алыми гранатами. Наши ноздри щекотали запахи горных лекарственных трав, свисавших пучками со стен веранды. А всего лишь сутки тому назад мы ужинали в азербайджанском селе Ахметли, и председатель колхоза Ашир угощал нас курицей, фаршированной изюмом, и шашлыком из ягненка.

И не хотелось думать о том, что всего лишь полвека тому назад мужчины из рода Ашира схватывались на улицах Шуши во взаимной кровавой резне с мужчинами из рода Максима...

Мы выпили за дружбу народов, и я начал читать нашему новому другу стихи Мандельштама о фаэтонщике, который вез поэта и его жену по пустынным улицам Шуши:

Так в Нагорном Карабахе,
В хищном городе Шуше
Я изведал эти страхи,
Соприродные душе.

Сорок тысяч мертвых окон
Там видны со всех сторон
И труда бездушный кокон
На горах захоронен.

И бесстыдно розовеют
Обнаженные дома,
А над ними неба мреет
Темно-синяя чума.

— А? Каково! — кричал я, захмелевший от тутовой водки, своим собеседникам. — Как сказал Осип Эмильевич о фаэтонщике? — "словно розу или жабу он берег свое лицо". — Ничего это вам не напоминает? А Есенина забыли:

Дар поэта — ласкать и корябать,
Роковая на нем печать.
Розу белую с черной жабой
Я хотел на земле повенчать.

— Так вот: роза и жаба — это неизбежное родство тьмы и света. “Страхи, соприродные душе”, — сказал Осип. А мог бы сказать и “страсти” — высокие и низкие, подземные и небесные! Да и вообще Есенин — тайная и глубочайшая любовь Мандельштама, о чем никто не догадывается.

Написал Осип Эмильевич “Сорок тысяч мертвых окон”, или в стихах про Москву: “Ей некогда, она сегодня в няньках. Все мечется. На сорок тысяч люлек она одна — и пряжа на руках”... Мистическая цифра “Сорок тысяч”, как бы печать жизни и смерти! Откуда она у Мандельштама? Никто не знает, что он, написав эти строки, как бы тайно перемигнулся с Есениным. У Есенина, помните, в стихах о повальном первомайском пьянстве рабочих в окрестностях Баку на той же азербайджанской земле:

Ну как тут в сердце гимн не высечь,
Не впасть, как в дрожь?
Гуляли, пели сорок тысяч
И пили то ж.

А в “Пугачеве” — из монолога о разгромленном войске, помните? “Вон они хохочут, выплевывая сгнившие зубы. Сорок тысяч нас было, сорок тысяч, и все сорок тысяч за Волгой легли, как один”. То ли однажды в юности Есенин запоем прочитал “Гамлета”, и слова “...как сорок тысяч братьев любить не могут” поразили его и навсегда легли в его цепкую память? А может быть, это отголосок слов Фортинбраса из того же “Гамлета” о том, что идут полки “сорок тысяч”, “готовых лечь в могилу, как в постель”? И Осип Эмильевич, видимо, почувствовал магическую силу этого цифрового заклинания. Да к тому же, я думаю, что в душе обоих поэтов не смолкала зловещая народная песня недавно прошедшей гражданской войны: “Как на черный ерик, как на черный ерик, ехали казаки — сорок тысяч лошадей. И покрылся берег...”

...Обессилевший от красноречия, тутовой водки и вечернего зноя, я обнял рыжеволосого Максима и на прощанье пробормотал: “Сорок тысяч мертвых окон...” Именно есенинские “сорок”, а не “тридцать”, как сказано в воспоминаниях его жены...

* * *

Напророчил Осип Эмильевич... В 1992 году в окнах туфовых особняков Шуши и Степанакерта опять же отразилось мертвенное чумное сияние карабахского неба.

Но войны могло не быть, если бы поэты и политики не раздули вражду в сердцах человеческих. Я всегда любил переводить стихи, в которых трепетала какая-то глубокая сущность национального бытия, но выраженная в картинах, в образах, в мелодии, в религиозном чувстве. Таковыми были для меня стихи Севака, прочитанные Левону Бабаевичу. Стихи же, где национальное чувство существовало в восклицаниях, в лозунгах, в патриотической риторике, никогда не нравились мне, и я всегда отказывался переводить их.

Однажды популярнейший в 60-е годы поэт Армении Ованес Шираз пригласил меня на свой вечер в Ереванский оперный театр. Народу в театре было битком. Мои знакомые армяне закатывали глаза, крутили головами, разводили руками, давая понять, что сегодня Шираз, "вай-вай!", прочитает нечто необыкновенное.

Толстый седовласый Шираз вышел на сцену и, яростно жестикулируя, стал читать стихотворение, каждая строфа которого заканчивалась словом "Арарат!" и вызывала бурю восторгов. Оказывается, все стихотворение в сущности и состояло из многократно повторявшейся одной строчки, которая по-русски звучала очень просто:

Ты наш, Арарат!

Но Арарат был турецким, и я отказался переводить стихи поэта Карапетяна, назвавшего себя звучным именем Ованес Шираз...

Галина Старовойтова использовала незаживающую армянскую боль, когда, чтобы ее избрали депутатом Верховного Совета СССР первого созыва, на уличных митингах в Ереване кричала подобно Ширазу: "Армяне! Карабах — ваша земля!" Она с демонической страстью раздувала пламя вражды, смертное дыхание которой в конце концов испепелило и ее самоё.

Евгений Евтушенко написал на смерть Галины Старовойтовой стихотворение "Контрольный выстрел":

"Мы, женщины, не начинаем войн..." —
сказала в речи — может, роковой

та женщина, как на передовой,
как депутат всех вдов, на всю страну
и получила от мужчин войну.

Стихотворение фальшивое, ибо нынешние войны, разрушившие “всю страну”, начинались на площадях Баку, Еревана, Тбилиси, такими ораторшами, как Старовойтова.

Политолог и специалист по Кавказу профессор В. Печенев в одной из опубликованных в 1999 году статей писал: “Сегодня известно (во всяком случае многие депутаты бывшего Верховного Совета РСФСР любят об этом рассказывать), что руку к свержению партократа Завгаева приложили не только Бурбулис и Старовойтова, но и сам Руслан Хасбулатов. 7—8 октября 1991 года штурмовики Дудаева захватили Верховный Совет в Грозном, избили и выбросили из окна Председателя Грозненского горисполкома, русского, низложили Верховный Совет республики и начали готовить ее к войне”...

Вот так-то, Евгений Александрович. А Вы пишете, что “женщины не начинают войн”.

Именно женщиной в борьбу была вброшена страшная мысль: армянская земля там, где живут армяне... Началось изгнание азербайджанцев из Карабаха. Азербайджанцы поняли: если там, где живут армяне — Армения, значит нельзя, чтобы они жили за ее пределами, и ответили резней в Сумгаите и Баку. А что же русские? Русских на этой земле представляла Галина Старовойтова, земля ей пухом, так же, как всем армянам и азербайджанцам, погибшим на карабахской бойне.

Но тогда, в 1971 году, Игорь Шкляревский проснулся с температурой в нашей палатке на берегу Кара-Гёля, и мы испугались, что у него аппендицит. Я пошел пешком километров за десять в деревню договориться о том, чтобы нас поскорее вывезли с озера.

Я заблудился в паутине горных тропинок и, время от времени встречая одинокого крестьянина на лошади либо чабана со стадом, без опасения, не понимая, кто из них армянин, кто азербайджанец, подходил и расспрашивал, как мне добраться до деревни, где есть телефон.

Горцы, как правило, плохо знали русский язык, переговоры шли трудно, но все искупалось радушием, улыбками, традиционным приглашением в гости. Никакого страха оттого, что я, русский, один брожу по легендарному плоскогорью, что со мной может что-то случиться, я не испытывал.

Тоже самое случилось с нами через год в Чечне, куда мы втроем — я, Игорь Печенев и мой сын Сергей — приехали на озеро Кизиной Ам, в самое сердце Чечни, где в 1996-м и

1999 году шли страшные бои. Но в те времена, когда Сергей почувствовал себя плохо, мы на "Жигулях" по горным дорогам бесстрашно исколесили все окрестности в поисках врачей, которых мы находили в сельских больницах...

Везде мы встречали участие, радушие, готовность придти на помощь. И это на земле, куда лишь пятнадцать лет тому назад вернулся народ, выселенный в 1944 году Сталиным в Среднюю Азию!

Так что не надо сегодня переписывать историю и лгать, что никакой дружбы народов не было и в помине.

...Из письма ко мне армянского поэта Размика Давояна от 27.09.86 г.:

"Спасибо за книгу "Пространство и время", где поселились твоя и моя родина. Я недавно был в Вологде, чтобы посмотреть в прозрачные незамутненные глаза России, и за очень короткое время успел увидеть многое.

Стихи Рубцова камнем лежат на душе и слезами капают из глаз.

Посылаю тебе книгу Киракосяна".

Книга Киракосяна была о геноциде 1915 года, о том, как было вырезано чуть ли не полтора миллиона соплеменников Давояна. И Россия, ослабевшая из-за войны и приближающейся революции, не смогла помочь им, взятым некогда, во времена Александра I, под защиту русских штыков. Но потомки католикосов и патриархов, посылавших слезные прошения императору, в наше время забыли об этом. Они, открыв рот, слушали Старовойтову и по ночам стреляли в спины русским солдатам, несшим патрульную службу на темных улицах Еревана, Шуши и Степанакерта.

* * *

1783, июль 24/ августа 4.

Договор о признании царем Картлинским и Кахетинским Ираклием II покровительства и верховной власти России.

"От давнего времени Всероссийская империя по единоверию с грузинскими народами служила защитой, помощью и убежищем тем народам и светлейшим владетелям их против угнетений, коим они от соседей своих подвержены были...

Его светлость царь Картлинский и Кахетинский именем своим, наследников и преемников своих... объявляет перед лицом всего света, что он не признает над собой и преемниками иного самодержания, кроме верховной власти и покровительства ее императорского величества. Сей договор делается на вечные времена".

Георгиевский трактат

...Село Константиново встретило нас, грузинских и русских поэтов, хмурой октябрьской погодой. Шли юбилейные торжества в честь Бараташвили. Может быть, впервые на земле этого села, "которое лишь тем и знаменито, что здесь когда-то баба родила скандального российского пиита", собралось столько литераторов. В благоговейном молчании делегация выслушала лекцию экскурсовода, потом одни пошли в сад к есенинскому овину, а те, кто помоложе, несмотря на пронизывающий ветер, спустились мимо церкви по крутому склону к Оке.

— Какой прекрасный вид! — восхитился кто-то из гостей.

А вид был обычный. В России много таких деревень, стоящих на высоком берегу реки; а за рекой — левобережье, заливной луг, еще дальше — темная зубчатая полоска леса. Вечный среднерусский пейзаж.

Синее небо, цветная дуга,
Тихо степные бегут берега,
Тянется дым, у малиновых сел
Свадьба ворон облегла частокол...

(Совсем недавно, прижатый к каменной стене страхом высоты и восторгом, я стоял в арке средневекового грузинского города Вардзии, вырубленного в отвесной горе. Передо мной расстилалась уходящая в голубую дымку долина, где-то внизу под ногами далеко-далеко шумела река...)

Во время обеда в деревянной константиновской школе звучали тосты, в искусстве произношения которых мы неумело соперничали с грузинскими друзьями, артист Иван Русинов к месту вспомнил стихотворение Есенина "Поэтам Грузии". А потом поэты Грузии запели свои древние народные песни. Закрыв глаза, хриплым тенором выдохнул первое слово Джансуг Чарквиани, и Отар Чиладзе вступил вторым голосом, и тут же рядом с ними возник профиль его старшего брата Тамаза.

Знаменитое грузинское многоголосье, которое можно

слушать часами: “Гимн солнцу”, “Гимн очагу”, “Песня о черной ласточке”. Звуки то сплетались, то расплетались, то становились воинственными, то нежными. Как удалось народу сохранить их чуть ли не тысячу лет? Из рода в род, из семьи в семью, из века в век переходили их слова и мелодии. Первое, что слышал слабым ухом ребенок, в честь рождения которого начинался пир в городе или в деревне, в семье князя или крестьянина, была старинная грузинская песня. Так объясняли мне секрет этого бессмертия мои грузинские друзья.

Я вышел на улицу, что-то бормоча. Постепенно из бормотанья выплыли несколько строчек, которые потом через какое-то время стали стихотворением.

Над равниной плывут журавли,
Улетают в горячие дали.
Вам спасибо, что вы сберегли,
Нам спасибо, что мы растеряли.
Но зато на просторах полей,
На своей бесконечной равнине
Полюбили свободу потерь
И терпенье, что пуще гордыни.

Над чахлыми тополями неслись тяжелые тучи, начинался дождь. У школьного крыльца толпились женщины, прислушиваясь к звукам неслыханного доселе в Константинове хора. Среди потемневших деревенских изб и разукрашенных масляной краской разноцветных домиков в центре села сиял магазин — куб из стекла и бетона. Со столба на площади неслась современная песенка о пароходах, расставаниях и встречах. А вокруг простирались холодные поля, поредевшие леса, осенние болота, — словом, просторы, поглотившие навсегда и безвозвратно за много веков столько русских песен, что лучше об этом и не вспоминать.

Но как же случилось, что закончилась вся эта история с песнями, плясками, тостами тем, что пришли “батоно Гамсахурдия” и “батоно Шеварднадзе”? Неужели я во сне видел Мцхету и серебряный извилистый стык Арагвы и Куры, над которым высится мрачный монастырь Джвари? Неужто мне пригрезились пенье в Константинове, праздники в Алазанской долине, шум воды, темное небо с крупными звездами, костры на берегу, вокруг которых веселятся и танцуют объятые то светом, то тенями люди? Я подхожу к ним и вдохновенно читаю из поэмы “Судьбы Грузии” Николо Бараташвили сцену о том, как царь Ираклий Второй после кровопролитного разорения Грузии войсками персидского шаха размышляет со своим советником Соломоном, как спасти родину:

Требуется некий перелом.
Надо дать грузинам отдышаться.
Только у России под крылом
Можно будет с персами сквитаться.
Лишь под покровительством у ней
Кончатся гоненья и обиды
И за упокой родных теней
Будут совершаться панихиды.

Братья Чиладзе бросаются ко мне, обнимают, кричат: "Стасык! Вахтангури! Гамарджвеба!", пьют за мое здоровье, за дружбу поэтов, за вечный союз между Грузией и Россией, завещанный нам Екатериной Великой, царем Кахетинским Ираклием, Николозом Бараташвили, Петром Багратионом, Ермоловым, Грибоедовым, Пушкиным... Льются струи вина, льются отсветы пламени на наши лица, льются из уст моих грузинских друзей в ответ мне стихи Сергея Есенина.

Поэты Грузии,
Я нынче вспомнил вас,
Приятный вечер вам,
Хороший, добрый час
Свидетельствует вещий знак:
Поэт поэту есть кунак...

И, конечно, как было не вспомнить в тот вечер великую лермонтовскую поэму "Мцыри", в которой русский гений в том же 1839 (!) году сказал чуть ли не те же самые слова, что и Бараташвили. "Мцыри" начинается с описания разрушенного монастыря, где сторож

Сметает пыль с могильных плит,
Которых надпись говорит
О славе прошлой — и о том,
Как, удручен своим венцом,
Такой-то царь, в такой-то год
Вручил России свой народ.

И Божья благодать сошла
На Грузию! — она цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасаяся врагов
За гранью дружеских штыков.

А как уютно было в домах грузинских евреев Эммануила Фейгина, Гии Маргвелашвили, Шуры Цыбулевского, Миши Лохвицкого. Они, усвоив все законы грузинского гостеприимства, крепко сдабривали их добродушной иронией, предупредительностью, интеллектуальностью разговоров.

В загородных духанах, изображенных на картинах легендарного примитивиста Пиросмани, куда меня привозил то Резо Амашукели, то Джансуг Чарквиани, то седовласый, похожий на громадную тыкву Карло Каладзе, я, чувствуя свою власть над застольем, вставал и молодым звенящим голосом читал только что написанное признание в любви к Грузии, к поэзии, к жизни, твердо веруя, что продолжаю путь к грузинской душе, начатый Пушкиным, Лермонтовым, Есениным.

Давно не доверяющий словам,
звучащим патетично и обманно,
я поднимал доверчиво стакан,
учился говорить высокопарно.

Высокопарно... Высоко парить!..
Забытый смысл я постигаю снова,
учись красноречиво говорить
и как вино продегустируй слово.

А север пьет, словами дорожа,
там хмурятся, свою судьбу поведав...
На юге тосты ходят не спеша
и азбукою служат для поэтов.

Не торопись, спокойно постигай
искусство говорить неделовито,
не суетись и смутно понимай,
что так в горах рождается лавина,

которая смешает все подряд,
а смешивать вино небезопасно
в стране, где птицы высоко парят
и люди говорят высокопарно.

А наутро меня осторожно будили поэты, и мы шли из гостиницы, где останавливались в свое время Есенин с Маяковским, по утреннему холодку вдоль Куры в хинкальную, где радушный хозяин “с круглыми плечами” ставил перед каждым из нас стопку виноградной водки, миску пахнущего чесноком разваристого хаши — требушиной похлебки, подернутой пленкой желтого жира, и тарелку свежей зелени.

Нет, недаром эта земля притягивала к себе Пушкина и Грибоедова, Есенина и Заболоцкого, Пастернака и Антокольского.

Недаром именно грузины сражались за Россию, как за свою родину, в 1812 году, всего лишь через тридцать лет после выбора царя Ираклия.

Генералы Багратион, Иашвили, Панчулидзе — а сколько вместе с ними офицеров! — пали смертью храбрых в сражениях с наполеоновскими оккупантами...

Из письма Симона Чиковани от 11.11.65 г.:

"Дорогой Станислав! Получил переводы, они у Вас получились прекрасно. Мне особенно понравился "Кахетинский цикл". Я приношу глубокую благодарность за Ваш вдохновенный труд".

Чиковани, друг Пастернака и Заболоцкого, был "классиком", и мне, конечно же, льстило такое признание.

Из письма ко мне Аиды Беставашвили, переводчицы и составителя книги стихотворений Георгия Леонидзе:

"Впечатление от переводов Леонидзе очень сильное. "Есенин", "Ниноцминда" и "Солнце Грузии" великолепны, а остальные четыре — задумалась, как бы определить их, и тоже решила, что великолепны, но только по-другому, по-эмоциональному.

Большой привет от Марики Чиковани. Она готовит для тебя много подстрочников (посмертных и чудесных) стихов Симона..."

Все это было. А как можно забыть утро, когда в окружную военную газету, где я был на сборах, вошел, заполнив собою казенный коридор, Гурам Гвердцители с Гурамом Асатиани:

— Стасик! В Ереване открылась выставка великого художника Фалька. Поехали посмотрим. Машина ждет тебя у подъезда.

И мы помчались за сотни километров через хребты и долины в столицу Армении, посмотрели не только выставку Фалька, но побывали в гостях у тогда еще живого Сарьяна, и в мастерской Минаса, стены которой были увешаны огненными полотнами.

А какая веселая драка была у нас с Аксеновым в Тбилиси, кажется, на юбилее Николоза Бараташвили.

Как-то с утра грузинские поэты подъехали к нам в гостиницу и уговорили "поправить головы" — съесть по горячей миске хаши и выпить по стаканчику чачи. Мы спустились на первый этаж в ресторан, который был еще закрыт. Но для желанных гостей... Словом, вскоре мы сидели

в громадном пустом зале и подымали тосты друг за друга.

Но Василий Аксенов, сидевший напротив меня, быстро захмелел и совсем некстати, вспомнив московскую жизнь, начал ругать моего друга Анатолия Передреева, имя которого почему-то возникло за столом. И что поэт раздутый, и что пьяница и хам, и антисемит... и вообще, — вдруг, распалив себя до предела, заключил Василий Павлович, — вы все любимцы черносотенного ЦК — и Передреев, и Кожинов, и Фирсов! Все вы там днюете и ночуете!

Увидев, что грузинские поэты внимательно слушают его речь и что-то мотают себе на ус, я сразу отрезвел и перебил Аксенова:

— Знаешь, Вася! Ни Передреев, ни я в ЦК дорогу не знаем. Но я допускаю, что если Володя Фирсов идет к Суслову с парадного входа, то в это же время Евтушенко или ты с черного хода от Суслова выходите!

Взбешенный Аксенов перегнулся через стол и попытался влепить мне пощечину. Но я был трезвее — успел уклониться, а мой ответный удар оказался более точным.

Падая со стола, зазвенели тарелки и бокалы. Соображая, что завтрак окончен и что надо избежать окончательного и крупного скандала, я рывком поднялся из-за стола и пошел через зал к выходу. Аксенов, вырвавшись из волосатых рук грузинских друзей, бросился за мной вдогонку. Я уже был у входной двери и мог бы уйти, чтобы избежать скандала, но на нас глядели ошеломленные грузинские поэты, и я понял, что сегодня же весь город узнает, что Станислав Куняев убежал от Аксенова! Я развернулся спиною к стене ресторана, обитой коричневым дерматином, и тут же мне пришлось, как боксеру, уклониться от аксеновского кулака раз-другой, одновременно отвечая ему своими мгновенно припомнившимися приемами уличной драки. Когда подбежавшие грузинские друзья разняли нас, синяков и ссадин на его лице было все-таки больше, чем на моем. Вечером нам обоим нужно было выступать в драматическом театре. Дабы спасти положение, жена Окуджавы Оля по просьбе Булата позвала нас к себе и умело при помощи крема и пудры заштукатурила все повреждения на наших лицах.

...Когда мы прилетели с Васей в Москву, то тут же во Внуково двинулись в буфет, взяли бутылку коньяку и долго изливали друг другу душу, мирились, обнимались... Но, конечно же, трещина между нами с того тбилисского утра постепенно становилась все шире и шире.

* * *

И, однако, была закавыка, над которой мне не хотелось глубоко задумываться, но которая всегда царапала душу.

Национальное чувство в стихах грузинских поэтов любого поколения — от Георгия Леонидзе до Резо Амашукели — было всегда очень сильным и резко выраженным. Но были и среди них поэты с особой глубиной и цельностью этого чувства. Меня, как я уже писал, влекло к ним гораздо сильнее, нежели к другим, жившим в сфере массовой культуры или расхожего "общесоветского" мировоззрения. Поэтому, к примеру, когда я подружился с Шота Нишнианидзе, вникнул в его стихи и начал переводить их, то одновременно с радостью постижения глубины его творчества во мне время от времени появлялись сомнения: а не таят ли в себе стихи такого национального чувства некой разрушительной силы?

Помню, с каким увлечением я осваивал стихотворение о сельском учителе-стихотворце и поклоннике Важа Пшавела, который учил в горной деревне крестьянских детей грузинскому языку.

Дух арагвинцев... Высший завет —
Клятва Родине... Верность обетам.
Говорил неудачник-поэт:
"Цель учения именно в этом,
Чтобы все-таки вырастить вас,
Чтобы знали: одна в целом свете
Есть отчизна — и этот наказ
Не забудьте, волчата Алгети!"
Мой учитель! От счастья дрожа,
Я твоим завереньям поверил.
Ты вручил меня в руки Важа,
Словно птенчика буре доверил.
....
А когда, пораженный стрелой,
Как олень, убегая от смерти,
Ты споткнешься — в тот миг над тобой
Разнесется тоскующий вой
Поседевших волчат из Алгети...

Даже название села — Алгети казалось мне чрезвычайно поэтичным, хотя потом оказалось, что это заурядная грузинская деревня, которая для Грузии значит не больше, чем для России Корекозово или Доможирово, что под Калугой.

Да, трагедия жизни заключались в том, что чем талантливее, чем "национальнее" были стихи, которые я переводил — будь то грузин Шота Нишнианидзе, бурят Дондок Улзытуев

или литовец Альфа Малдонис, — тем опаснее были они для нашей великой советской цивилизации. И чем вдохновеннее я переводил их на русский язык, тем неизбежнее я сам становился невольным соучастником грядущей нашей смуты.

Одно у меня есть оправдание — каждая такого рода переведенная мною книга была нашей общей радостью на унылом фоне изданий, состряпанных русскоязычными ремесленниками из переводческого клана.

Когда в Москве решено было издавать книгу Нишнианидзе "Черная ласточка" и я узнал, что строчкогон и бездарный рифмоплет Александр Глезер обхаживает издательских работников, чтобы получить эту рукопись для перевода, я встретился с ним и сказал ему со всей русской прямотой:

— Нишнианидзе тебе не по зубам. "Черную ласточку" буду переводить я. А тебе ведь все равно кого портить...

Немало воды утекло с той поры. Выбросил я из сердца и памяти многие встречи и разговоры минувших дней. Но летом 1999 года вдруг вошел в мой редакторский кабинет один из грузинских поэтов, которого я с трудом, но вспомнил.

— Батоно Станислав! — сказал он мне, раскрывая объятья. — Вы издаете лучший журнал в России, Вы написали изумительную книгу о Есенине. У меня есть стихотворение, Вам посвященное, есть статья о Вашем творчестве. Вот они! — и он протянул мне несколько листочков с грузинской вязью.

...Я растрогался. Ну, конечно же, выпили. И мои ребята ради такого гостя сбегали не просто за водкой, а за фантастически дорогой бутылкой настоящего "Киндзмараули"...

На прощанье поэт заверил меня, что по его возвращении в Грузию он начнет переводить и печатать в лучшем грузинском журнале книгу о Есенине и что осенью организует в Тбилиси вечер "Нашего современника", на который придут все мои друзья шестидесятых годов... Во время нашего горячего прощанья он между делом попросил в долг на две недели полтораста или двести долларов, чтобы заплатить за жизнь в переделкинском Доме творчества. В редакции были деньги, и я, конечно же, с радостью вручил ему две зелененькие бумажки... Он ушел и до сих пор не возвратился. И в Тбилиси мы не съездили. И "Есенин" остался не переведенным. Но я не жалею ни о чем. Я еще раз убедился в том, насколько талантлива нация, возглавляемая батоно Шеварднадзе, и насколько артистичны грузинские поэты. И этот худощавый, элегантный человек с печальными большими глазами, с застенчивой улыбкой и с волнующими душу интонациями при словах "батоно Станислав..."

...Недавно мне приснилась одна из грузинских рек — то ли Кура, то ли Алазань. Будто бы я с удочкой вышел на берег половить форель и вдруг слышу — с противоположного берега кто-то окликает меня: "Стасык!" Смотрю, там несколько человек — Отар, Шота, Резо, Мухран и еще кто-то. Но идут они не к реке — а в глубь берега, удаляются в еще густой утренний туман и растворяются в нем, как тени... Хотел было я отозваться, да язык как будто пристал к гортани, а они сделали еще шаг, другой и растворились в белом мареве, словно бы Лету или Стикс переплыли...

* * *

"Все мы, пребывающие в Молдавии, от несносного ига доведены до крайнего разорения и находимся в великом несчастии. Вседневно из крепостей сюда приходят турки и, насилием отнимая именья, убивают поселян наших... Пшеницу, рождающуюся на нашей земле, отымают с насилием и отправляют в Константинополь и в другие крепости. Поборы бараньим и коровьим маслом, дровами сверх определенных податей совершенно изнуряют нас.

Зло день ото дня умножается, и отечество наше от горести и притеснения погибает.

Не имея другого защитника, паки прибегаем к В. И. В., слезно прося: дабы высочайшей милостью нас и ныне не оставить, но щедротами и высоким своим покровом защитить и спасти несчастную землю нашу...

Прошение знатного молдавского боярства, логофетов и духовенства императору Александру I, 1802 г. январь 24".

Молдавских поэтов я знал хуже, нежели грузинских. Хотя с Грегоре Виеру был знаком, сидел у него в гостях как-то вместе со Станиславом Рассадиным, и невдомек мне было, что через несколько лет этот щупленький тихий детский поэт будет кричать на площадях: "Убирайтесь в свою Сибирь!", "Уходите с нашей земли", "Жос!"

В 1989 году он напечатал в кишиневской газете "Литература ши арта" насквозь демагогическое стихотворение о русском человеке, якобы угнетающем и оскорбляющем его, Виеру, то ли молдаванина, то ли румына, постоянным напоминанием о своих заслугах.

Эй, русский, — я устал
Непрерывно слушать тебя, говорящего,

Что я был освобожден,
Что благодаря твоей помощи
Я живу в грандиозное время...
Ты поешь из-под березы
И бьешь себя кулаком в грудь —
Мол, ты сражался и имеешь право
....
Но мы, остальные, что делали?
Белорус и армянин,
Латыш и американец,
Румын и поляк...

Особенно примечательны в этом перечне образ бездельника русского, "поющего под березой", и упоминание "сражавшихся румын", несколько сот тысяч которых, уверенных в непобедимости фашистского вермахта, бросились в июне 1941 года на Восток. А заканчивалась эта националистическая агитка таким обращением к русскому человеку, который "без других" — "латыша, американца, румына, поляка" —

по-немецки сейчас бы говорил
и выпрашивал бы кириллицу,
язык, песню, школу,
собственный храм и свое же дерево...

Поистине бесстыдству деятелей типа Виеру в те времена предела не было.

Буйная чернь, возбужденная стихами Виеру, криками теоретика соцреализма Михаила Чимпоя о том, что якобы в Тирасполе "жгут книги молдавских классиков", а также истерическими речами поэтессы Леониды Лари и писателя Иона Ходырко, осквернила памятник Пушкина, забила насмерть русского юношу Дмитрия Матюшина за то, что он громко говорил в центре Кишинева по-русски, а еще через два года те, кто окончательно захмелеют от истерики своих литературных вождей, бросятся на Бендеры, где многие из них найдут свою бесславную гибель, как их предшественники из "железных легионов" Антонеску.

Несколько строчек из письма, недавно полученного от одного из давних кишиневских знакомых, близкого к литературному миру:

"Русские смещены со всех должностей".

"Мне многие из молдаван сочувствовали, помогали. Но называть их фамилии — значит предавать людей".

"Ал. Бродский много шумел, помогал народному фронту, потом уехал в Израиль".

“Андрей Лупан выступал против сноса памятника Ленину. Умер коммунистом — единственный из всей писательской парторганизации”.

“Многие молдаване работают в России, здесь безработица страшная... На площади Великого Национального собрания сейчас митинги протеста пенсионеров, безработных, учителей — интернационал бедных. Там нет вражды”.

“Мы теперь не видимся годами и не дружим. О каких-то совместных действиях нет и речи. Каждый спасается, как может. И все...”

“Ребята талантливые, которых мы издавали — спиваются, кончают с собой, уезжают в Россию”.

“Детские садики для русских детей практически закрыты (ссылкой на отсутствие финансирования), русские школы (их осталось в Кишиневе 32 из 120) на грани закрытия. В вузах нет групп с русским языком, русский драматический театр им. А. П. Чехова — уже давно “нерусский”... Так что общая картина будущего русских в Кишиневе ясна”.

“Мы еще барахтаемся”.

“Грегоре Виеру и Леонида Лари живут в Румынии...”

* * *

“И приговорили в раде, что им от крестьянской веры не отступить: буде на них ляхи наступят, а их мочи не будет и им бить челом государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Русии, чтоб государь их пожалевал, велел принять под свою государскую руку”.

Из отписки казацкой рады в Корсуни,
28 сентября 1632 г.

“Просим: изволь Ваше царское величество нас, верных слуг и подданных своих, имати и от всех неприятелей боронити”.

Из письма Б. Хмельницкого царю Алексею Михайловичу,
январь 1654 года

...Львов, где в 60-е годы я дважды побывал на военной переподготовке, был прекрасен. Я жил в казармах Стрыйского парка. Каштаны шумели ясными теплыми осенними днями, листва желтыми реками колыхалась и плыла по аллеям парка. Бронзовый Адам Мицкевич глядел свысока на площадь, на знаменитый оперный театр, на футбольную биржу, где разбитной львовский народ делал свои ставки, бил по рукам, обмывал выигрыши.

Вместе со мной военную переподготовку во Львове проходили Андрей Вознесенский и Владимир Костров.

Вознесенский жил в одной из роскошных гостиниц, пользовался вниманием и заботами местной интеллигенции, особенно за то, что в стихах сопоставлял свою судьбу с судьбою Тараса Шевченко, насильно отданного в солдаты, которого время от времени держиморды-командиры прогоняют сквозь строй шпицрутенов.

...Львов, где судьба свела меня с поэтом и геологом Эрнстом Портнягиным, ставшим преданным моим другом вплоть до своей смерти... Львов, где я с наслаждением переводил стихи "националиста" Мыколы Петренко, круглолицего, рано полысевшего, проведшего юность свою на каторжных работах в Германии.

Его печальные воловьи глаза смотрели на меня с упреком: он никак не мог убедить своего русского друга в том, что Тарас Шевченко как поэт больше Пушкина. Мы пили с ним горилку и закусывали салом в его тихой квартире возле Стрыйского парка.

Со стены на меня глядела посмертная маска великого Тараса. Да и сам Петренко был похож на него — такой же круглолицый, лысоватый, лобастый, с шевченковскими грустно повисшими к подбородку усами.

Когда я хотел подразнить или чуть-чуть поставить его на место, я нарочно равнодушным голосом заводил речь о том, что да, Шевченко великий украинский поэт, но повести свои, и дневники, и даже некоторые поэмы он писал на русском языке. Мыкола слушал меня со страдальческим выражением лица, которое как бы говорило: да не может быть того! А если и так, то знать я того не хочу!.. Его воловьи глаза в такие минуты наполнялись слезами. А я еще щадил его, не напоминая бедному, что и полтавский мудрец Григорий Сковорода писал свои труды не на языке Ивана Драча, что "Кобзарь" и "Гайдамаки", а также книги И. Котляревского, Е. Гребенки и Г. Основьяненко впервые увидели свет не в Киеве и Львове, а в "имперском" Петербурге и "порфироносной" Москве, куда 600 лет тому назад уроженец Волыни святитель Петр перенес из Киева митрополичий престол.

А о Гоголе я уже и не вспоминал. Он для "захидника" Мыколы уже в те времена был сплошной незаживающей раной — с его Тарасом Бульбой, устами которого было сказано о "русском товариществе".

А когда я выходил из себя, поскольку Мыкола не желал в упор видеть очевидного, то жестко говорил ему:

— Перечитай дневники Тараса. Кого он там чаще других

вспоминал? Не Кулиша и Костомарова, а Гоголя, Лермонтова, Пушкина да Тютчева! И сослали его в солдаты не за стихи и поэмы, а за участие в Кирилло-Мефодиевском братстве, тайной киевской организации, похожей на кружок Петрашевского. Федора Михайловича ведь тоже сослали, да не в солдаты, а на каторгу! Царь еще великодушно поступил, потому что тремя годами раньше Шевченко написал поэму "Сон", где оскорбил не только помазанника Божьего, но и его супругу. Вот читай, как царь по залам

прохаживается важно
с тощей, тонконогой,
словно высохший опенок,
царицей убогой.

Она у Шевченко и "голенастая, как цапля" и "трясет головою". Словом, поиздевался поэт над женщиной, страдающей нервной болезнью. Это — благородно? Поэма по рукам ходила по всему Петербургу. Император ее знал, конечно, но даже пальцем не пошевельнул, чтобы хоть как-то приструнить хама!

Жаль, что я в то время не знал воспоминаний малоросса Г. П. Данилевского о разговорах с Гоголем. Однажды речь зашла о Шевченко, и Гоголь как бы возразил Тарасу на его выпады против императорской четы:

"— Нам, малороссам и русским, нужна одна поэзия, спокойная и сильная, — продолжал Гоголь, останавливаясь у конторки и опираясь на нее спиной. — Нетленная поэзия правды, добра и красоты. Она не водевильная, сегодня только понятная побрякушка и не раздражающий личными намеками и счетами рыночный памфлет. Поэзия — голос пророка... Ее стих должен врачевать наши сомненья, возвышать нас, поучая вечным истинам любви к ближнему и прощения врагам. Это труба пречистого архангела...

Я знаю и люблю Шевченко, как земляка и даровитого художника. Мне удалось и самому кое-чем помочь в первом устройстве его судьбы. Но его погубили наши умники, натолкнув его на произведения, чуждые истинному таланту. Они все еще дожевывают европейские давно выкинутые жваки".

У Мыколы текли слезы. Он ничего не мог сказать, кроме как:

— Давай лучше выпьем за гениального Тараса!

— Гениального? — взвивался я.

— От молдаванина до финна на всех наречьях все молчит! — торжественно декламировал Мыкола, указуя пальцем в потолок.

— А ты помнишь нашего Пушкина, который, как ты говоришь, не дорос до Шевченко, как бы в ответ Тарасу он говорил другое:

> Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
> И назовет меня
> всяк сущий в ней язык...

Я вскакивал, подбегал к книжным полкам, над которыми висела гипсовая маска кобзаря, хватал томик Пушкина, лихорадочно листал страницы.

— Твой Шевченко — замечательный национальный поэт, соглашусь, но он чем-то похож на Радищева, о котором Пушкин вот что пишет: "Он истинный представитель полупросвещения..."

— А "Гайдамаки"! — в ярости кричал Петренко.

Историю гайдамаков я представлял плохо. Но ни он, ни я тогда, к сожалению, не знали размышлений на эту тему историка В. О. Ключевского: "И казаку и хлопу легко было растолковать, что церковная уния — это союз ляшского короля, пана и ксендза и их общего агента жида против русского Бога, которого обязан защищать каждый русский... Так казачество получило знамя, лицевая сторона которого призывала к борьбе за веру православную и за народ русский, оборотная — к истреблению и изгнанию панов и шляхты из Украины".

Кстати, эти слова Ключевского я прочитал много позже в статье галичанина доктора В. Ю. Яворского, сына известного западноукраинского политика и культурного деятеля. Они были приведены в журнале "Свободное слово Карпатской Руси", издаваемого в Америке (1977 г.).

Мы с Володей Костровым в ту золотую осень 1965 года то коротали время в окружной армейской газете, то читали стихи студентам университета, то позировали скульптору Александру Флиту. Мы уютно устраивались в его светлой мастерской в центре города, а пока мирные потомки "жидов-арендаторов", скульптор и его жена Мина, священнодействовали с глиной или гипсом над нашими головами, потягивали красное вино, предусмотрительно запасенное Флитом для "натурщиков", и придирчиво наблюдали за работой супружеской пары. Не исключено, что сейчас наши головы стоят где-нибудь в одном из музеев Израиля.

А иногда мы собирались в старинном львовском доме, в профессорской квартире Эрнста Портнягина, где он читал нам свои стихи о Львове, полные восхищения и негодования:

Все смешалось в сознании детском
в этом городе прифронтовом,
полувражеском, полусоветском,
в чистом, светлом, стреляющем, злом...

Неужели я уже никогда в жизни не пройдусь по отполированной веками львовской брусчатке, не опущусь в винный подвальчик на улице "25-го жовтня", не постою возле бронзового Мицкевича, не обнимусь с "захидником" Мыколой, не позвоню по телефону Грише Глазову и его жене Донаре? Да и чего звонить? Наверняка они уехали либо в Америку, либо на родину предков. Ведь жить на Западной Украине, аура которой насыщена именами и деяниями Степана Бандеры или Романа Шухевича, советским евреям в годы очередной смуты стало небезопасно.

Вот отрывки из двух писем, полученных мною с Украины в 1991—1992 годах:

"Если бы Вы слушали республиканское радио, то ужаснулись бы — все об отделении нас от России! Ни одного журналиста нет, который сказал бы, что это противоестественно: резать наши души на части. Ведь был же наш референдум, но им наплевать! Где, в какой стране могло такое случиться? Все объединяются, а мы — врозь! Ведь лучше поменять руководителей, чем расчленить такую страну! Я и мои близкие пережили голод, войну, два брата погибли, защищая всю нашу державу, а теперь один живет в Курске, а другие родственники в Западной Сибири — значит, за границей! Что это такое? За что на старости лет? По какому праву?

Только и слышишь по радио эмиссаров из США и Канады, как лучше и скорее отойти от России. Куда же нам обращаться? Может, это покажется Вам смешным, но надежда какая-то есть на Вас, Станислав Юрьевич, на Распутина, на Шафаревича. Что-то предпринять Вы должны, не молчите! Вы лучше всех понимаете, насколько это страшно — отделить нас от всего родного, заветного. Такая обида берет за русских, украинцев, белорусов, что они не понимают всего ужаса так называемого "суверенитета"! От кого отделяться?! Пусть антихристы отделяются! Если возможно, ответьте мне, поддержите морально...

Искренне уважающая Вас

Изотова Екатерина Евгеньевна
и многие другие.
22.09.91 г.,
г. Днепропетровск,
проспект Кирова, 84, кв. 51".

Но что мы могли сделать в сентябре девяносто первого? Оклеветанные, смятые пропагандой, убитые предательством Кремля и Старой площади.

Гласностью в это время руководила успевавшая митинговать не только в Армении, но и на Украине Галина Старовойтова — советник Ельцина по национальной политике. В газете "Литературная Украина" она неистовствовала открытым текстом, вещая о том, что образование СССР явилось причиной "убийств миллионов людей пулей, голодом и холодом, прихода фашизма к власти в Германии, развязывания мировой войны и, наконец, Чернобыля".

Второе письмо я получил с Украины, из Киева, в сентябре девяносто второго, почти через год после беловежского расчленения:

"Я уже и не помню, сколько лет храню вырезку из газеты "Комсомольская правда" с Вашим стихотворением "Разговор с покинувшим Родину". Наверное, лет двадцать, а то и больше...

А сколько раз я прибегала к его помощи, не счесть!

Никогда не пойму ни умом, ни сердцем, как можно целому народу — евреям — подняться и в минуту беды покинуть Родину. Мой дед прятал евреев от Петлюры, мама — от немцев, а они бросили их внучку-дочку в минуту беды, когда страна нуждается в каждом из нас.

Когда 90% евреев нашего института стали собираться на "историческую Родину" (только потом мы поняли, что многие из них использовали Израиль в качестве трамплина...), я отпечатала и поместила Ваше стихотворение на стенде. Они срывают, а я снова вывешиваю. Потом мне пригрозили по телефону, а я снова:

Для тебя территория, а для меня —
это Родина, сукин ты сын...

А сейчас на Украине (кстати, кто-то приказал говорить и писать: "в Украине"...) гуляет необандеровщина. Теперь не из учебников истории, а наяву мы узнали, что это такое. Например, в прокуратуре г. Киева открыто "Дело" в связи с нападением оуновцев на меня и еще двух женщин во время распространения нами газет, призывающих славян жить в мире и дружбе.

Боже, какая же дикая, патологическая ненависть к русскому человеку пышет из украинских средств массовой информации! Только сегодня утром по радио, извините, "жрали" И. Касатонова... А в новых учебниках истории

Украины Великую Отечественную войну теперь называют... Советско-Германской войной.

16 сентября с. г. мы, коммунисты Киева, выходим на пикет к Верховному Совету Украины с протестом против реабилитации бандюг из ОУН-УПА и назначения им пенсий как ветеранам "национально-освободительной войны"...

На прощание говорю: "Дорогой "Наш современник", держись, выживи, без тебя мы задохнемся..."

С уважением Галина Петровна Савченко.
02.09.92, г. Киев".

К письму было приложено обращение киевских коммунистов к президенту. Вот несколько отрывков из него:

"С глубоким возмущением воспринимаем широкую кампанию по реабилитации действий ОУН-УПА, "торжества" по случаю которой начались 8 августа с. г. в Киеве собранием "героев" УПА в лучшем здании города Дворце "Украина" и продолжались 9 августа бандеровским шабашем на пл. Богдана Хмельницкого. "Торжества" пройдут по всей Украине и закончатся 30 августа во Львове.

В то время, когда боевики ОУН-УПА топчут сапожищами святую землю Крещатика, живы еще люди — свидетели черных злодеяний бандеровцев, которые рубили топорами не только взрослых, а и детей, сжигали живьем, вырезали на живых людях полосы и звезды, уничтожали целые семьи только за то, что они были в колхозах или в комсомоле. Не щадили и земляков, исполняя наказы своих идейных вождей:

"В период замешательства и хаоса можно позволить себе ликвидировать польские, московские и еврейские элементы: руководителей — уничтожать, евреев — изолировать, вышвыривать из учреждений; НАША ВЛАСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ СТРАШНОЙ!"

(Степан Бандера. Инструкция "Борьба и деятельность ОУН во время войны");

"Украинская повстанческая армия должна действовать так, чтобы все, кто признал Советскую власть, были уничтожены. Я повторяю: не запугивать, а уничтожать! Не надо бояться, что люди проклянут нас за жестокость. Пускай из 40 миллионов украинского населения останется половина — ничего ужасного в этом нет..."

(Из "Инструкции" главнокомандующего УПА Тараса Чупрiнки, он же — Роман Шухевич, капитан СС, август 1944 года)".

Да, такое не могло присниться Александру Сергеевичу в самом страшном сне. И все-таки, как ни крути, а у нас ведь все от Пушкина. Недаром мы с Мыколой Петренко так часто спорили о нем. "Пушкин — наше все". И даже памятник великому Мицкевичу, которым я любовался, гуляя по Львову, всегда вызывал в моей памяти строки: "Когда народы, распри позабыв..." Лишь много позже я понял глубокий смысл и пророческие откровения этого пушкинского стихотворения:

Он между нами жил
Средь племени ему чужого; злобы
В душе своей к нам не питал, и мы
Его любили. Мирный, благосклонный,
Он посещал беседы наши. С ним
Делились мы и чистыми мечтами
И песнями (он вдохновен был свыше
И свысока взирал на жизнь). Нередко
Он говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.
Мы жадно слушали поэта...

Ну чем не советская картина моих русских отношений с Симоном Чиковани, с Паруйром Севаком, с Альфой Малдонисом, с Рыгором Бородулиным?!

Но Пушкин смотрел глубже, чем мы.

Когда мы, русские поэты, были оглушены криками, буйством, демагогией, воцарившейся на площадях Тбилиси и Еревана, Кишинева и Киева, Минска и Вильнюса в конце восьмидесятых — начале 90-х годов, где поэты Бозор Собир и Рыгор Бородулин, Визма Белшевица и Юстинас Марцинкявичус, Грегоре Виеру и Дмитро Павлычко с пеной на губах требовали разрушения "империи", я понял тогда: Пушкин как бы предвидел все, поскольку так закончил свой отрывок об историческом типе т а к о г о   п о э т а:

...Но теперь
Наш мирный гость нам стал врагом — и ядом
Стихи свои, **в угоду черни буйной**,
Он напояет. Издали до нас
Доходит голос злобного поэта,
Знакомый голос!.. Боже! освяти
В нем сердце правдою Твоей и миром,
И возврати ему...

И это о великом Мицкевиче! Что уж говорить о наших современниках, невеликих, слабодушных, услужливых...

В те дни я пытался много писать. Статьи, нигде не

печатанные, речи, нигде не произнесенные, до сих пор хранятся в моем архиве. Нахожу. Листаю. Перечитываю. Странички, написанные осенью 1989 года.

"Да, литературное братство рухнуло. Все наши друзья из Литвы, Грузии, Таджикистана, Армении, Грузии предали Россию и великую русскую литературу и пошли за Ландсбергисом, Гамсахурдией, Дудаевым, Снегуром... А ведь получали за свой интернационализм Ленинские премии, ордена, звания, гонорары... Собрания сочинений издавали на русском языке Межелайтис и Марцинкявичюс, Абашидзе и Мумин Каноат, Иван Драч и Иван Чобану... Миллионы раз цитировались в 60—70-е годы строки Межелайтиса: "Я — человек, я коммунист"... Боже мой, как же можно так перекраиваться, так меняться, так притворяться и не заболеть шизофренией от раздвоенности сознания, не попасть в психушку? Да Бог с ними — всеми, с кем я встречался тридцать лет на наших литературных декадах, съездах, юбилеях, я вычеркнул их из памяти, вырвал с кровью из своего русского сердца. За исключением очень немногих — Бориса Олейника, Суюнбая Эралиева, Гранта Матевосяна... Очень немногие мои друзья по литературе избегли националистического угара, не отравились русофобией, бушующей вокруг них, и спасли честь своих народов и своих культур. Мир еще вспомнит об этом, когда пелена антирусского сумасшествия спадет с людских глаз".

"Я хочу обратиться к Эдуардасу Межелайтису, к Альфе Малдонису, к Альгису Балтакису...

Мы же люди культуры, наш долг — в трудные исторические моменты находить в себе мужество и говорить правду — толпе, массам, и не побоюсь этого слова, — народу... И широкие народные массы могут быть увлекаемы неправедными и опасными страстями. И тут человеку культуры должно проявить высшее мужество и сказать свое успокаивающее Слово... Я понимаю, что на такое в трудной обстановке надо решиться... Но кто же это сделает, если не мы, кто исправит ошибки и преступления политиков, дипломатов, юристов, прокуроров, работников НКВД, военачальников... Они — люди тоталитарных ведомств, мы — люди широкого гуманистического образа мыслей... Нам сейчас молчать нельзя.

То же самое я хотел сказать своим друзьям из Грузии — Ираклию и Григолу Абашидзе, братьям Чиладзе, Шота Нишнианидзе... Я жил у вас, переводил ваши стихи, мы изливали друг другу души в долгих разговорах, любовались красотой мира... Это длилось десятилетиями! Неужели

несколько месяцев словесной гражданской войны воспалили наши души так, что нам нечего сказать друг другу? Не верю! Я знаю, что и в Литве, и в Грузии для того, чтобы сейчас сказать доброе слово о России, нужно мужество. Надо его найти.

Подумайте, ведь вы предаете не империю, не Россию. Вы предаете заветы и клятвы Ираклия Второго, гениальную поэму Бараташвили "Судьбы Грузии", вы предаете пролитую кровь предков, предаете Искру и Кочубея, Богдана Хмельницкого и Слово Корсуньской Казацкой Рады, надежды и деяния своих бояр и логофетов, топчете молитвы и завещания своих патриархов Исайи и Нерсеса... Не может того быть, чтобы история не отплатила вам за такое предательство".

Написать написал я эти слова еще в начале 1990 года и даже хотел разослать их по адресам моих бывших друзей или напечатать в журнале, но руки сами собой почему-то опустились... Не было уже веры в то, что они поймут меня. Слишком уж далеко многие из них зашли "в угоду черни буйной"...

* * *

Ну хорошо. Армяне, грузины, украинцы, молдаване, заламывая руки, в достопамятные времена падали на колени перед российским престолом с одним только воплем на устах: "Спасите! Спасите чад и домочадцев наших, очаги наши, веру христианскую нашу от турок и персов, от татар крымских и ляхов. Даем клятву верности России на вечные времена..."

Но прибалты? Литовцы, латыши, эстонцы. Вера у них западная. Кто католики, кто протестанты. Язык не славянский, тяготения иные: кто к шведам тянется, кто к немцам, кто к полякам. Соединились они с нами, мягко говоря, не добровольно. Им-то какой резон был дружить с Россией?

Все так. Но ведь получал же я из Литвы письма от того же Межелайтиса (уже в 1987 году!), в которых он писал:

"Дружба поэтов и дружба людей. В этом наша сила и будущее в перспективе всего человечества. Иного пути в наш сложный век нету. Спасибо за прекрасную книгу, спасибо, что вспомнили меня".

Но ведь писал же мне Альфонсас Малдонис, которого я также переводил, письма с искренними словами благодарности:

"Переводы просмотрел. Рад. Большое спасибо тебе. Первый раз мои стихи переведены так, как надо. Ты здорово поработал. Я остаюсь в большом долгу. Завтра уезжаю на Украину — декада. Может быть, и ты там будешь?

Твой Альфа".

А когда в 60-е годы приезжал в Вильнюс, останавливался в центре города в уютной гостинице “Паланга”, разве не получал я чуть ли не ежедневные приглашения в гости в литовские семьи? То к Малдонису, то к Межелайтису, то к Жукаускасу...

А когда я оставался в иные дни в гостинице почитать, поработать, отдохнуть, то вечером в мой номер обязательно стучался художник Стасис Красаускас. Он возникал в проеме двери — двухметровый, подтянутый, литовский Аполлон с тщательно уложенным пробором шоколадных волос на голове, безукоризненно одетый в тройку:

— Тезка! Столик заказан. Одевайся!

Ну кто заставлял этого знаменитого на всю республику художника и чемпиона Литвы по плаванию проводить время со мной, молодым, еще малоизвестным русским поэтом? Я ведь не переводил его произведений на русский язык, никакой деловой корысти в наших отношениях не было. Просто воздух был такой в мире, насыщенный радушием и любознательностью.

Старый город, древний город.
Тусклый свет, негромкий дождь.
Ничего, что я не молод,
в этом городе я гость.
Здесь живут мои друзья,
молчаливые поэты,
и поэтому нельзя
не любить Литву за это.

Эта жизнь кончилась тем, что летом 1989 года я получил из Вильнюса от одного из своих читателей письмо:

“Лига Свободы Литвы в Нагорном парке (мы его теперь зовем Нагорный Карабах) сожгла советский флаг и чучело в форме сержанта с маленькими флажками союзных республик. Лозунг: “Оккупанты! Вас ждет матушка Россия!” 14 июня президент Буш выступил в связи с Днем Свободы Прибалтики и выразил удовлетворение процессами, которые в ней протекают. Он, понимаешь ли, доволен”.

К письму был приложен плакат с фотографиями, изображающими политический шабаш в литовском “Нагорном Карабахе”, и негодующим текстом: “Вчера ты был мигрантом, инородцем, сегодня ты оккупант, тебе грозят вторым Нюрнбергом... Это уже было в Сумгаите, в Фергане... Обыкновенный фашизм. Защищай свои права гражданина Советского Союза, защищай права своих детей. Если ты промолчишь — тебя раздавят”.

Но не эти патриоты Союза влияли на трагический ход событий. 16 января 1991 года в ответ на трусливую и неумелую попытку Москвы дать отпор литовским националистам (история с телецентром) в "Литературной газете" были опубликованы зловещие слова Джорджа Буша: "События, подобные происходящим сейчас в прибалтийских государствах, угрожают отбросить назад или, может быть, даже повернуть вспять процесс реформ, который столь важен для мира и создания нового международного порядка" (разрядка моя. — **С. К.**). В том же номере "Литгазеты" мыслям американского президента угодливо вторили наши вчерашние интернационалисты Давид Кугультдинов, Федор Бурлацкий, Тенгиз Буачидзе, Ростислав Братунь, Янис Петерс.

* * *

Басмаческое движение было окончательно подавлено властью Москвы лишь к середине 30-х годов. А всего лишь через 30 лет я, бродивший с Эрнстом Портнягиным в геологических маршрутах по самым глухим урочищам Тянь-Шаня, без страха мог подойти к темнолицым чабанам, попить чаю у костра, перемолвиться двумя-тремя словами, улыбнуться, пригласить их в наш палаточный лагерь.

Однажды в урочище Чош я увидел возле тропы чью-то могилу-мазар, увешанную цветными матерчатыми лентами, и спросил нашего проводника Гафура, кто здесь похоронен. Он ответил мне с печальным спокойствием: "Один знакомый басмач, убитый в тридцать втором году. Из нашего рода..."

...Мы разбили свой геологический лагерь в южном Таджикистане и после двух недель трудных маршрутов решили отдохнуть и отправились на лошадях поглядеть высокогорный кишлак Гелен.

Горные склоны вокруг Гелена были разрезаны ровными полосами, словно разлинованы. Это — система древних арыков, дожившая до наших времен. Местные жители говорили, что кишлаку восемьсот лет, — может быть, и больше. Чайханщик Изатулло, который не раз заворачивал на ишаке к нам в лагерь передохнуть по пути из райцентра и осушить пиалу-другую чаю, клялся, что через сай, где мы поставили палатки, проходили войска Александра Македонского. Действительно, где же им было еще идти? Другой дороги и нет просто.

— А откуда же у нас рыжие дети? — доказывал он свою

гипотезу. — Конечно, какие-то греки, которым воевать надоело, остались в нашем кишлаке. Вот от них и пошли рыжеголовые геленцы!

Дети самого Изатулло — черноголовые, любопытные, глазастые. Они частенько проезжали мимо нас на длинноухих замшевых ишачках — кто с вязанкой дров, кто с охапкой сена... Даже самые маленькие, пяти-шести лет, работали с утра до вечера: все чего-то собирали и, как муравьи, тащили в кишлак.

— Летом работать много надо! — говорил Изатулло. — Дров на зиму запасти, сена... Зима наступит — никуда не вылезешь. Полгода сидим в кишлаке, полгода кушать надо. Свадьбы играем. Мужчины — кто охотится, кто ножи делает — печаки таджикские. — Он показал свой нож с богато инкрустированной ручкой. — А женщины шерсть прядут да вышивают...

Из-за поворота показался Гелен. Он висел на склоне хребта, словно громадный кус надломленных пчелиных сот. Его глинобитные дома с плоскими крышами, с высокими дувалами под вечерним солнцем отливали медовым цветом. Кое-где по линии арыков из этой пчелиной архитектуры возносились к небу зеленые пирамидальные тополя.

Седой краснощекий Изатулло встретил нас, как дорогих гостей, пригласил в чайхану, поставил перед каждым по две пиалы — одна с красным горячим чаем, другая с густыми овечьими сливками.

— Может быть, гости хотят телевизор?

Изатулло, желая модернизировать чайхану, привез его на ишаке. Сорок километров... Целые сутки добирался до кишлака, осторожно, не торопясь, чтобы не повредить механизм. Однако горы мешают. Ничего не видно. Только волны бегают по экрану. Но все равно люди чаще стали заходить в чайхану. Глядишь, и попросят включить. Хоть и не видно ничего, а все равно интересно. Но мы отказались смотреть телевизор. Лучше поговорить. Один за другим в чайхану сошлись местные учителя. Их здесь много — двадцать человек. В Гелене из тысячи шестисот жителей — тысяча голов детей! У одного Изатулло восемь человек... В центре кишлака, окруженный пирамидальными тополями, стоял памятник геленцам, погибшим в борьбе с басмачами. Нам захотелось водки, и мы спросили ее у чайханщика. Он принес бутылку и стопки. Мы разлили водку, предложили учителям — те вежливо отказались. Предложили Изатулло. Он тоже мотнул головой:

— Я выпиваю раз в году. Но сильно выпиваю, как русские, — Девятого мая. Бывает, что и не помню, где и кто со мной

разговаривает. А когда меня ругают: "Изатулло, ну зачем ты пьешь? У тебя восемь человек детей! Ты мусульманин, Изатулло! Ты коммунист, Изатулло!" — я вспоминаю, что из моего кишлака в сорок первом году ушли на фронт сорок семь человек, моих друзей, а вернулся я один. И тогда я говорю тому, кто меня ругает: "А пошел ты..." — Изатулло с яростью произнес крепкое русское слово.

Где он сейчас, этот Изатулло? На чьей стороне он был во время гражданской войны 1991 года? Не сложил ли голову, и за кого? За моджахедов или за советскую власть?

А может быть, сидит в цветном грязном халате где-нибудь на московской улице, с ребенком на руках, и просит подать ему монету в темную ладонь. Недавно я встретил одного такого нищего из Курган-Тюбе. Спросил его, почему он приехал в Россию. Нищий таджик ответил коротко: "Все грабят: моджахеды — грабят, правительственная армия приходит — грабит. Куда деваться от голодной смерти? Только в Россию..."

То же самое в начале 90-х мне говорили турки-месхетинцы, которых погромили и сожгли в Ферганской долине и которых не пустила на землю пращуров, где когда-то они жили, демократическая Грузия. Я тогда даже стихотворение написал и о них, несчастных, и об их последней надежде — оклеветанной России.

Шовинистическая Русь,
Не убивайся и не трусь:
Покамест турки и абхазцы
Стремятся под твое крыло —
Тебе не надобно бояться,
Что ты — есть мировое зло.
Гляди, как подползает пламя
К извилинам твоих границ...
Терпи и стой, чтоб воля злая,
Вся выгорев, склонилась ниц.

...Долина прорыва (геологический термин) вывела нас на зеленый луг, посреди которого сверкало небольшое озеро. Отвесные скалы окружали его, придавая этому уголку загадочный и угрюмый вид. Две глинобитных хибары на берегу, корявая ветла. Пепелища. Закопченные казаны и чайники. В хибарах запах тлена, пыли и грязных лоскутных одеял... Здесь давно никого не было. Это — святое место. Хаус Мордан. Возле большого камня на берегу озера — груда козлиных рогов, остатки шкур, застарелый запах крови. Чуть поодаль — ограда из камней. Я бросил на нее взгляд и вздрогнул: из камней насыпи в центре ограды торчали две палки, к

которым были привязаны кисти рук. Подойдя поближе, я понял, что эти кисти вырезаны из ржавого кровельного железа... Языческий культ огнепоклонников, каким-то чудом сохранившийся в горном краю.

Камень... Вода... Пепел... Истлевшая кровь... Могила...

Аскетические и простые приметы, связующие древние времена с сегодняшним днем. Видимо, здесь когда-то собирались из местных деревень служители культа — только какого? Даже не мусульманского, а более древнего. О чем они здесь говорили и с какими заклинаниями опрокидывали на землю баранов, загибая им головы и поднося к бараньим гортаням острый нож, — о том никто, наверное, толком не знает.

Мне стало не по себе от запаха полусгнивших одеял, тлена, ржавых кистей, привязанных к палкам...

К вечеру мы возвращались в лагерь другой дорогой — через крохотный кишлак Чош. Всего несколько глинобитных хижин с хозяйственными постройками. Каждое хозяйство окружено плетнями из хвороста. Восемь месяцев в году люди живут отрезанные от всего мира снегами, лежащими на перевалах. Возле калитки на траве сидели два таджика. Молодой и старый. Проезжая мимо них, мы, не слезая с лошадей, прижали руки к груди и хором произнесли: “Салам!”. Они ответили нам тем же приветствием, но тут же мы услышали за нашими спинами их горячий спор, переходящий в ссору.

Я спросил студента из Душанбе, проходившего в нашей партии практику, о чем они так громко кричат.

— Плохо понимаю, язык у них какой-то странный. Но вроде вот из-за чего спорят. Вы не заметили девочку за плетнем — она нас разглядывала? Так вот, один — ее отец, а другой — жених. Жених говорит, что не имеет она права глядеть на других мужчин, потому что она — его невеста. А отец отвечает, что имеет, потому что не весь еще калым жених выплатил ему.

...Я оглянулся: девочка стояла на крыше сарая. Она была в красных цветных шароварах, в тюбетеечке, ее черные волосы были заплетены в десятки мелких сверкающих косичек. Она с любопытством, вращая глазенками, глядела нам вслед, не слушая мужчин, продолжавших свой спор.

И это общество, в котором рядом друг с другом жила семья советского солдата Изатулло и семья чуть ли не из каменного века, где чеченцы разделены на тейпы, где торгуют людьми и танцуют на своих сборищах древний ритуальный танец, — академик Андрей Сахаров с Горбачевым и Елена Боннэр с Галиной Старовойтовой хотели заставить жить в “правовом”

"демократическом", "рыночном" пространстве Европы?! Слабоумные...

Писатель Фазиль Искандер в одном из интервью с некоторым смущением признался как бы от имени "честных" соратников-демократов: "Мы не ожидали, что смена общественной формации приведет к крови..." Чего в этом признании больше — глупости или наивности, — сказать трудно. Они, "инженеры душ человеческих", мыслители и творцы, гуманисты и "прорабы перестройки", видите ли, "не ожидали". А чего же вы ожидали, господа? Вы что, не знаете вечную и непреложную истину истории: то, что созидается и укрепляется кровью, то и разрушается только той же силой, той же теплокровной энергией. Все, что создано при помощи жертв и жертвоприношений, разрушается точно такими же путями. При какой температуре рождается атомное ядро — лишь при той же оно может быть разъято и разрушено. Иного не дано. Это как бы отражение в человеческой истории вечного природного закона сохранения материи и энергии или освобождения материи и энергии того же рода и качества, которые были заложены во время рождения либо кристалла, либо государства, либо социального строя...

Не только трудом и духом, но и кровью сплачивалась на протяжении веков Российская империя, но отворили ей жилы в 1917 году, и потоки впитавшейся в ее фундамент крови омыли нашу грешную землю от Бреста до Владивостока...

Кровью была спаяна Югославская Федерация, а ныне ее куски дрейфуют, сталкиваются и отторгаются друг от друга в бушующих кровавых потоках. Железом и кровью было достигнуто невольное мирное единство Северного Кавказа, и вот уже несколько лет на наших глазах оно размывается горячей соленой влагой.

Вечный простой закон, понятный любому человеку, хоть немного думающему о последствиях своих слов и поступков... Любому, но не нашим прорабам духа и мародерам перестройки. Вольным или невольным провокаторам эпохи. "Мы не ожидали", — с недоумением пожимают они плечами, когда до них доходит, что за годы столь желанных для них перемен на просторах страны насильственной смертью погибло почти триста тысяч людей, что по России бродят миллионы беженцев, что мы недосчитались за эти годы нескольких миллионов неродившихся детишек...

А горы Тянь-Шаня и Памира, где шестьдесят с лишним лет тому назад ручьями лилась кровь басмачей-моджахедов? В отместку за разрушение порядка, покоящегося и на их костях,

таджикская сухая земля сегодня впитала в себя кровь чуть ли не ста тысяч своих заблудших сограждан. И писатели тоже были творцами и соавторами всенародной трагедии. Помню, когда с геологами я бродил по тропам Тянь-Шаня в шестидесятые годы, то не раз встречался в тенистом саду Союза писателей в Душанбе с тихим, застенчивым молодым человеком — поэтом Бозором Собиром, проникновенным лириком. Я переводил его стихи, в которых таял умиротворяющий зной осени в Рамидском ущелье, тянулись к холодному небу дымки чабанских костров, шумели желтогривые памирские реки. Потом мы не раз встречались в Москве, в Дубултах, в Пицунде... И вдруг в 1990 году я с ужасом узнаю, что мой Бозор стал одним из уличных вождей националистической черни, выходит на митинги, произносит речи и пишет о том, чтобы русские пьяницы убирались с его земли, а свои дома и квартиры отдали бы угнетенным и обездоленным таджикам. А рядом с ним в первых рядах возбудителей народного гнева носится, как фурия, бывшая любимица таджикского партийного и комсомольского истеблишмента поэтесса Гульрухсор Сафиева. Черноволосая Гуля. И тоже призывает изгнать русских с древней земли фарси.

А чем же все это кончилось? Таджикская оппозиция терпит поражение, и проигравшие свою гражданскую войну Бозор Собир и Гуля ищут спасение и прибежище в России, которую они так страстно проклинали в 1990 году... Где-то и сейчас болтаются в Москве в заслуженной ими роли политических эмигрантов.

В краю, где синева лилась
в мои глаза с хребтов Гиссара,
там нынче разгулялась власть
кровопролитья и пожара.

Без страха я бродил в ночи
по кишлакам Каратегина
и засыпал под шум арчи
и под молитву муэдзина.

Империя! Я твой певец,
не первый, но и не последний.
Я видел, как тяжел венец
твоей судьбы тысячелетней.

Твоя мистическая власть,
твои шоссе, твои проселки —
во мне...
    Когда ты взорвалась,
то — в душу все твои осколки!

Сожмись, чтоб не иссякла кровь,
чтобы свернулась от зажима...
Клиническая смерть? — И вновь
заводится твоя пружина.

Стихи 1991 года, в которых еще теплились какие-то мои иллюзии.

* * *

Ей-Богу, с нашими российскими тюркоязычными, угро-финскими, монгольскими, поволжскими народами и племенами нам в роковые годы перестройки было уживаться как-то легче, понятнее, надежнее, нежели с народами, некогда имевшими свою государственность, затем потерявшими ее и все-таки мечтавшими о ней, сохранившись "за гранью дружеских штыков". Помню, как Шота Нишнианидзе однажды сказал мне с печалью, что были времена, когда великая Грузия во времена царицы Тамары была в Закавказье похожа на тигра, а сейчас она всего лишь навсего котенок... Нет, вирус государственности и независимости, однажды попавший в кровь нации, бессмертен.

Другое дело племенное сознание. Мой друг охотник Степан Фарков, живущий в таежном эвенкийском селении, так выражал его сущность, размышляя о своем соседе: "Ну ён русский, хотя и мать у него эвенка..."

В 1958 году Ярослав Смеляков прочитал подстрочные переводы стихотворений студента Литературного института Дондока Улзытуева и впал в такой восторг, что серьезно решил напечатать эти подстрочники, так сказать, в "натуральном виде", настолько они "сочились" и дышали поэзией. Правда, в конце концов "Пятнадцать песен" все-таки были переведены поэтом Евтушенко и увидели свет в журнале "Дружба народов". Таким блистательным был дебют Дондока Улзытуева в Москве...

К югу от Улан-Удэ в окруженье бескрайних бурятских степей и плавных холмистых возвышений, на берегу небольшой речушки стоит древний бурятский улус Шибертуй. Здесь прошли детство и юность поэта, здесь до сих пор живут его родные.

А когда я бродил босиком
по крутым берегам Шибертуя,
и за радугой бегал бегом,
и свистел, подражая синицам,
молчаливый старик Шойсорон
повстречал мою мать и промолвил:
— Либо станет сказителем он,
либо просто чудным человеком.

Я перевел за годы нашей дружбы три книги его стихотворений. И это всегда была радостная работа.

...Мы прощались ветреной осенней ночью на рокочущем аэродроме Шереметьево. Ветер трепал черные волосы Дондока, хлопал полами плаща... Объявили посадку.

— Я жду тебя, — сказал он мне. — Будем ходить по Бурятии пешком, от улуса до улуса. Никаких машин. В крайнем случае на лошадях. Спасибо за книгу!

Много раз приглашал он меня в Бурятию. Много раз собирался я приехать к нему. В его степи. В его Шибертуй. Чтобы понять, откуда взялся поэт, который может петь, как птица, и рассуждать, как философ, одновременно. Даже в маленьком восьмистишии:

Там, где раскинул Хилок берега,
тянется к небу гора Хайранга.
С другом, навеки живущим во мне,
ныне встречаюсь только во сне.
Вижу — как трубка, дымится гора,
вижу улыбку твою, как вчера.
Вижу сквозь дымку улыбку твою,
истину в близких чертах узнаю...

Через какое-то время после его отъезда я получил из Улан-Удэ письмо:

“Мой дорогой европеец!

Уже несколько дней сижу на берегу. Много раз проштудировал книгу Керама “Боги, гробницы, ученые”, которую ты подарил мне прошлой осенью. Книга заворожила меня, взбудоражила всю душу, без того беспокойную. В детстве я копался в могильных курганах и находил разные штуки, которые мать повелевала выбрасывать вон. А сейчас я понял, что выбрасывал бусы из драгоценных камней, драгоценные украшения, не только ценности вообще, но и ценности археологические...”

Много раз сидя у меня на кухне за бутылкой вина, под традиционным буддийским знаком, оберегающим дом от сглаза и от злых духов (знак этот Дондок начертил на стене во время одного из застолий), мы вели жаркие споры о прошлом и будущем наших народов, о судьбах России и Азии, о кровной и духовной связи, сложившейся между нами в незапамятные времена... Как хорошо говорил Дондок обо всем этом, с каким напряжением и вдохновением глядел в книгу истории, читая, а порой угадывая, что в ней написано!

Но продолжу его письмо.

"...Под таинственными холмами моей земли лежат бесчисленные богатства. Ведь буряты — пришельцы на этой земле. Некогда на ее просторах процветала великая цивилизация какого-то народа, который в период ледников ушел неизвестно куда, может быть, на юг, может быть, к берегам Тихого океана и дальше на бесчисленные острова. Кто знает, те ацтеки, или тельтеки, или майя — может быть, это потомки тех, кто благоденствовал некогда на теплой земле Сибири?.."

Да не прочтут пристрастно и ревниво ученые-историки эти отрывки из письма, потому что если все и не так в свете науки, то кроме ее света есть свет поэзии и той любви к земле и человечеству, который живет в словах Дондока Улзытуева.

"...Зачем ты занимался спортом? Зачем читал книгу Керама? Может быть, ты готовился выкопать и открыть неизвестную поныне цивилизацию, а может быть, тебе угодно было найти и вытащить на свет божий могилы Чингисидов?.."

Не раз он говорил мне о том, что у бурят есть обычай бросать в речные воды статуи золотых и серебряных божков, словно для того, чтобы доказать, что не материальные символы, не предметы жизни и быта связаны с человеческой сущностью, а нечто непреходящее, что запечатляется навеки в песнях, мифах, легендах и живет даже тогда, когда и народы и цивилизации рассыпаются в прах под напором времени. А когда я спросил его, почему никому неизвестно, где же эти могилы, почему остались только предания и имена, он ответил мне приблизительно так:

— Чингис, уверивший своих подданных в том, что он сын неба, должен был сделать все, чтобы люди поверили, что после смерти он взят на небеса, а потому и нельзя было ему оставить свою могилу на земле... Культ личности на самой последней ступени, отвергающий земное поклонение — пантеоны, гробницы, мавзолеи! Как он это сделал? Как ему удалось истребить после своей смерти всех, кто мог знать, где его могила, — остается только гадать!.. А может, они сознательно забыли, где его могила, чтобы никого из живущих на земле не охватила жажда повторить кровавые деяния Чингиса? Как ты думаешь, мой русский брат?

"...О! И вдруг является чужеземец из страны, которая лежит в многих днях пути отсюда, и направляется прямо к нужному месту. Он берет палку и проводит линию: одну — сюда, другую — туда. "Здесь, — говорит он, — находится дворец, а там ворота", — и показывает нам то, что всю жизнь лежало у нас под ногами. "Откуда узнал ты об этом —

из книг? С помощью волшебства или тебе помогли твои пророки? Ответь мне, о белый человек из страны теней. Открой мне секрет твоей мудрости!"

Вот какими словами — то серьезными, то шутливыми умел он беседовать с прошлым и будущим!

Послание заканчивалось так: *"Жду тебя, бледнолицый брат мой, жду не дождусь, когда ты появишься в этих краях. Ведь недаром ты носишь фамилию баев, о великий Кунихан. Берите заступы и мудрые приборы, белую бумагу и пишущее чудо и снизойдите на обетованную землю моих предков! Кстати, где моя книга под названием "Большой перевал"? Не забывай об операции "С"...*

Твой Дондок сын Улзытуев".

Однажды я сказал ему:

— Дондок — ты замечательный поэт, ты себе цену знаешь, и я знаю ее. Но подумай — зачем беречь драгоценности в земле? Надо, чтобы люди знали о твоей родине, о ее прошлом и настоящем, о ее месте в семье человеческой. Ты один из тех, кто может познакомить мир с бурятской душой. Но учти, что мы живем в двадцатом веке, во время печатного слова, радио, телевидения, в эпоху массовой культуры. Не пустить ли нам твою поэзию на ее мельницу? Давай сделаем тебе прививку благородного честолюбия и начнем погоню за славой.

— Прекрасно! — воскликнул мой друг. — Надо уходить от степного одиночества и мне. Заключаем союз, а операцию по добыче славы зашифруем под кодом: операция "С"!..

Все мы сделали правильно: убедили друг друга во всем, составили планы, договорились, где, что и когда издавать (конечно, в большой степени все это было шутливой игрой!), да время распорядилось, как всегда, не по-нашему, а по-своему. От степного одиночества поэт ушел. От личного человеческого ему уйти не удалось...

Передо мною лежат несколько светло-зеленых школьных тетрадей, в которых Дондок записывал свои мысли и стихи, когда последние годы жил в старом домике в поселке Боярском, слушая шум ветра, рокот байкальских волн да перестуки редких поездов как напоминание о том, что время не стоит на месте. На первой странице тетради перечисление предметов, которые почему-то и как-то волновали его. Целый столбик слов, обозначающих что-то жизненно важное и необходимое для человека: "печь", "окна", "пол", "потолок", "лось", "звезды", "хлеб", "цветы", "снега", "третья встреча", "вино", "прощанье"... Зачем

ему нужно было их перечислять? Чуть пониже — две скрещенных компасных стрелки, в окружности — указания стран света. Рядом в квадрате, нарисованном чернилами, названия четырех ветров: “баргузин”, “сарма”, “култук”, “шелоник”.

Слова эти — словно бы вехи, затеси на деревьях, которые делает таежный охотник, чтобы не сбиться в тайге с дороги, чтобы вернуться обратно — к дому, к родным, к жизни, к истине.

Дальше мелким почерком с исправлениями, зачеркнутыми словами и фразами идет текст подстрочного перевода:

Сын бескрайних степей и дремлющих курганов,
я шел всю жизнь к другому простору, Байкалу.
Долог был путь — обошел города и горы,
через море слов и снов пришел к тебе, море.

В черновиках этих стихотворений я вижу, как Дондок всей своей творческой волей хочет вечные мысли соединить с жизнью, не дать им разрушить все земное, что связано со словами “дом”, “хлеб”, “цветы”...

“Под звездами с Байкалом наедине я говорю на их языке. Большая Медведица — Семеро старцев, сколько вам лет? Сколько лет эти звезды в небе гадают о твоих судьбах, Байкал?”

Но задавать такие вопросы — дело нелегкое для души человеческой, потому что не ответит она на них, а только охладеет от бессилия и потеряет вкус к огню, к хлебу, к теплой земле, потому и бежит мысль Дондока по школьной тетрадке в линейку обратно к земным очагам и человеческим ценностям: “Избушка на берегу обрыва. От ветров и дождей почерневшие кедровые бревна. Полсотни лет тому назад ее срубил и поставил молодой обходчик с Урала...”

Так я и не побывал в этой избушке. А жаль...

“Мэндэ, мой широкоглазый!

В последнее время я хотел написать что-то вроде “Великого сеятеля земли” М. Алексеева или “Мой Дагестан” Гамзатова. Очень отрадно, что не пытался все это излить в стихах; тогда — о Будда, от моего “Я” не осталось бы ничего, кроме глупой толстой оболочки навроде бы истертого баллона без камеры. Когда выйдет книжка, вышли несколько экземпляров срочно. Во время светлейшего писательского съезда держи себя загадочно, будто знаешь нечто такое, чего никто из них не знает. Надо бы немного еще напечатать стишки в центральных изданиях, продолжая операцию “С”. Подстрочники будут. Готовься к лету.

Дондок”.

Помню его рассказ о том, как буряты шли через тайгу в Петербург к Петру Великому на берега Последнего Моря — так они с незапамятных времен называли Балтику; как вела их сквозь тайгу знаменитая шаманка, и когда от голода и невзгод она умерла на полпути, то превратилась в птицу и продолжала, летя впереди, указывать путь своим соплеменникам. "Она была из рода Улзытэ", — закончил он. Слушая его, не хотелось разбираться в том, где правда, а где легенда, потому что все объединялось воедино его поэтическим даром.

Как-то он привез в Москву свою мать — маленькую сухонькую старушку — и сразу повел ее в Мавзолей.

— Ты знаешь, — сказал он мне, — она поглядела на Ленина и говорит: "Я сразу его узнала!"

Однажды на каком-то литературном празднике мы с Дондоком очутились рядом в застолье. Проходило оно под открытым небом за сколоченными из свежих досок длинными столами в одной из бурятских деревень. После нескольких тостов буряты, зная, что Дондок ведет свою родословную от древнего шаманского рода, предложили ему погадать на бараньей лопатке.

Дондок, вглядываясь в линии, начерченные природой на кости, стал медленно предсказывать будущее:

— Дожди будут падать на ваши луга вовремя, и тепло вовремя будет приходить к вам... Стада ваши будут хорошо размножаться. Мужчины будут сильными, а женщины верными своим мужьям...

После каждой его фразы прокатывался гул одобрения.

— Дети ваши будут здоровыми, а семьи — многолюдными.

Когда под радостные возгласы он закончил ритуальный обряд гадания, я потихоньку спросил его:

— Дондок, ты действительно умеешь гадать или наговорил от фонаря все, что пришло в голову?

Он повернул ко мне свое широкое лицо с улыбающимся ртом и грустными узкими глазами.

— Я действительно умею гадать. Бабка научила. Только, — он еще более сузил глаза, словно скрывая от меня их выражение, — как говорит баранья лопатка, многое из того, что я здесь вещал, случится наоборот.

Несколько раз я слышал от него мрачные и тревожные предсказания относительно будущего:

— Конец века, — говорил он еще в начале семидесятых, — будет отмечен яростными взрывами национализма, — и задумывался, впадая в длительное молчание.

В 1996 году Бурятия скромно отметила 60-летие со дня рождения Дондока.

Обещали пригласить на праздник и меня. Но не получилось. У целой республики не хватило денег, чтобы оплатить мне билет на самолет от Москвы до Улан-Удэ... Сбылось предсказание поэта, что "многое случится наоборот".

Ты умер, мой милый язычник
с монгольским строением глаз.
Крапива и тысячелистник
толкуют с тобою сейчас.

Ты вовремя, мой евразиец,
растаял в туманной дали,
ты счастлив не знать — что с Россией,
последней надеждой земли.

Раздумывая о глубочайших и древнейших взаимоотношениях русского народа с тюркскими племенами, живущими за Великим Уральским хребтом, я написал в 1977 году весьма либеральное стихотворение "Всесоюзная перепись".

На Тунгуске перепись идет,
и тунгус, что записался русским,
малой каплей влился в мой народ,
оставаясь зернышком тунгусским.

Русь моя! рождаемость низка,
но, как чудо, что в тебе исконно,
нынче ненца, завтра комяка
ты в свое усыновляешь лоно.

Испокон ведется на Руси:
власть грешит, а каяться народу,
потому, калмык, меня прости
за свою былую несвободу.

Лес рубили, сыпалась щепа,
иссякал запас добра и сердца,
потому горчит моя судьба
горечью изгнанника чеченца.

На Тунгуске перепись идет,
и тунгус, что русским записался,
в многокровный русский мой народ
влился, но самим собой остался.

Коль посильно платят за добро,
то как племя, думаю, не сгинут,
и еще достоинство одно:
никогда отчизну не покинут.

Словом, будь "всяк сущий в ней язык"!
Но, коль не хватает русской плоти,
выручает "друг степей калмык", —
изучите перепись — поймете!

Стихотворение было напечатано в "Литературной газете". Реакция одного из проницательных читателей оказалась моментальной.

"Уважаемая редакция!

В 21-м номере газеты за этот год была опубликована подборка стихов поэта С. Куняева, чтение которых вызвало у меня, мягко говоря, недоумение. Стихотворение, которое послужило основной причиной появления этого письма, называется "Всесоюзная перепись" и посвящено тому факту, что при переписи тунгусы и ненцы записываются русскими.

Сложный и неоднозначный факт, который может и должен стать предметом исследований ученых-социологов, у поэта вызывает восторг. И далее он объясняет — почему. "Русь моя, рождаемость низка!" Вот, оказывается, в чем дело. То, что происходит снижение рождаемости среди украинцев, белорусов, прибалтийцев и многих других народов нашей страны, его нисколько не волнует. Также не придает он значения и таким фактам, как национальный характер, национальные традиции, национальная культура и т. п. Главное — количество! Следующее четверостишие начинается так:

Испокон ведется на Руси:
власть грешит, а каяться народу...

Вряд ли правомерно под одну черту подводить деятельность властей от древней Руси до наших дней. А, по С. Куняеву, получается именно так. Далее следует:

Коль посильно платят за добро,
то как племя, думаю, не сгинут,
и еще достоинство одно:
никогда отчизну не покинут.

Значит, если ты молдаванин, узбек, латыш или представитель любой другой нации или народности, населяющей нашу страну, никакой гарантии в этом вопросе нет. Если ты в паспорте русский, тогда все в порядке. Не знаю, чего здесь больше: умысла или недомыслия. Хочу спросить С. Куняева: из кого же состояли полтора миллиона

эмигрантов, которые покинули страну после Октябрьской революции, или десятки тысяч предателей и пособников оккупантов, которые бежали из страны с гитлеровской армией? Разве среди них не было русских? Решать сложную демографическую ситуацию таким примитивным и странным способом, который предлагает С. Куняев, вряд ли возможно. В заключение хочу сказать: одно дело, когда такого рода поэтическая продукция, прямо скажем, с националистическим душком, появляется в каком-то поэтическом сборнике, выходящем тиражом несколько десятков тысяч экземпляров, и совсем другое, когда она публикуется на страницах издания, имеющего десятки миллионов читателей. Не имея в виду поучать редакцию, что ей следует печатать, а что нет, позволю себе высказать сожаление, что на страницах столь уважаемого и любимого мною издания появились такого рода стихи.

С уважением

Наймарк Эммануил Аронович, 46 лет,
заместитель начальника
лаборатории одного из московских НИИ".

Вот каких крупных демагогов в должностях зав и замзавлабов, будущих вождей перестройки (старовойтовых, шахраев, бурбулисов), вырастило наше время в недрах всяческих НИИ уже к середине 70-х годов. Ответил я ему холодно и резко:

"Уважаемый Эммануил Аронович!

Смысл последнего стихотворения в том, что понятие "русский" не только кровное, но и духовное. Ибо "Россия" — это не просто страна, но целый мир.

Вы требуете от меня, чтобы я изучил, как обстоят дела у прибалтов, белорусов и т. д. Но я себе такой задачи не ставлю: нельзя объять необъятное, и поэт пишет лишь о том, что близко ему и его сердцу. Вы неправильно толкуете мои строки: "И еще достоинство одно: никогда отчизну не покинут".

Не покинут они не потому, что записались русскими, а потому, что остались своей частью тунгусами, эвенками, то есть Ваша попытка здесь ухватить меня за великорусский шовинизм — неудачна. Наоборот, я здесь приветствую их "чукотский" или "эвенкийский" прирожденный патриотизм, который никогда не отпустит их с родины и которого нет, допустим, у евреев, у той их части, что добивается массового выезда и т. д.

Здесь, по-моему, тунгусы и эвенки — выгодно отличаются от них, и мое сердце и чувства с ними. А то, что они записались русскими — это лишь дополнительная помощь этому патриотизму.

Что же касается полутора миллионов эмигрантов эпохи гражданской войны, русских, о которых Вы пишете, ну что тут сказать? Надо отличать все-таки действия и решения человека, покидающего родину, потому что ему грозит смерть в застенках еврейского ЧК, от инженеришки, уезжающего в погоне за более высоким уровнем комфорта.

До свидания.
Ст. Куняев"

Но многое из нашей национальной жизни к тому времени уже было искажено настолько, что я чувствовал — добром такое положение не кончится, поскольку отравленные семена "интернационализма по Наймарку" давали все-таки свои уродливые всходы.

В 1988 году "Литературная Россия" напечатала размышления якутского писателя Софрона Данилова о наших национальных делах. Данилов был озадачен тем, что слишком рьяно взбивается пена вокруг национального вопроса, и вспоминал о том, что на фронте никто этой проблемой не болел, никто не интересовался, кто есть кто по национальности. Через сорок пять лет оставшиеся в живых фронтовые друзья встретились на берегу Лены.

"Когда говорил о себе участник войны, политработник и геолог Алеша Крамаренко, его закадычный друг Вася Колмогоров удивленно воскликнул:

— Да ты, оказывается, украинец. А я-то думал, ты просто Алеша Комар.

Не один он, Вася, видимо, так думал. Мы, дети разных народов и народностей, жили одной дружной семьей... И вот во время той встречи на берегу Лены с благодарностью подумалось: как хорошо, что нам до войны не вдолбили, кто какой национальности, и мы до сих пор остались друг для друга просто Васями, Алешами, Толями и Мишами!"

Я с горечью прочитал эти строки. Как могло случиться, что "закадычный друг" лишь на старости лет узнал об Алеше Крамаренко, что он украинец? Это же не интернационализм, а полное равнодушие к якобы близкому человеку. Подобная точка зрения "вдалбливалась" нам массовой прессой и выдавалась за вершину межнациональных отношений! Примеры чаще

всего брались из фронтового и лагерного быта, там, мол, люди не думают, кто есть кто. Но ведь это экстремальные, лишенные полноты и богатства жизни условия! Если ты не знаешь, что твой друг украинец, значит, не знаешь и того, что ему дороги Шевченко и украинская песня, значит, ты от невнимания к национальности и узбеку-мусульманину можешь предложить свинину или иронически отнестись к обряду намаза. В сущности, от непонимания того, что представляет из себя мусульманин-афганец, мы и зашли в тупик в Афганистане с нашей упрощенно понятой идеей "интернационализма". Вместо богатого, сложного, созданного культурой, религией, историей "национального человека" вокруг нас бродили безликие Васи, Алеши, Толи, Миши... Вот к какому интернационализму привела нас попытка тотальной денационализации страны, с кровавыми, а в данном случае с бескровными и, что самое страшное, с добровольными жертвами. И, однако, читая дальше размышления Софрона Данилова, я заметил в них одно живое обнадеживающее противоречие. Приветствуя и воспевая "казарменный интернационализм", якутский писатель одновременно жаловался на то, что "у нас десятилетиями культивировалось пренебрежительное отношение к родному краю. Для обличения тех, кто хоть с малейшей привязанностью высказывался о родном аласе, колхозе и районе, было выдумано уничижительное словосочетание "аласный патриотизм". А вот что писал Данилов о языке: "Приехавшие погостить летом из города в деревню юноша и девушка разговаривают со своим дедушкой или бабушкой через переводчика".

Читаешь и думаешь: как будто две ветви выросли из одного корня; одна ветвь — сухая, бесплодная, обескровленная, другая — живое, кровное чувство. В одном человеке, не знающем, как свести концы с концами. Но самое драматическое место в размышлениях Данилова таково. Он горестно недоумевал, почему его внук говорит деду: "Я не хочу быть якутом..." И тут горестное чувство пронзает сердце писателя. Однако все логично: круг сверхчеловеческого возмездия, которое приходит к нам, по мысли Блока, в лице наших потомков, замкнулся. Ты не хотел знать, что твой закадычный друг украинец, а твой внук не хочет быть якутом. Подобный взгляд в наше время усиленно пропагандируется "интернационалистами" то как призыв вычеркнуть из паспорта графу "национальность", то как предложение воспитывать детей так, чтобы они вообще никакого понятия о национальности не имели.

Чтобы показать, насколько мои выступления о сложностях

национальной жизни встречались в штыки представителями "малого народа", но одобрялись северо-кавказской и тюркоязычной интеллигенцией, приведу еще несколько примеров из писем, полученных мною в те годы.

В 1987 году я выступал на пленуме Союза писателей СССР и сказал, в общем-то, простые истины о том, что каждый народ, каждое племя имеет право заботиться о жизни и развитии своего языка, что дети каждого народа должны начинать познание мира с познания своей культуры, и что называть такое положение дел "национализмом" — бюрократическая глупость. Словом, я сказал все то, о чем думал, когда читал горькие сетования на судьбу якута Софрона Данилова.

В ответ на мое выступление неожиданно для меня самого посыпалась гора писем. Больше всего из Казахстана, который в 1986 году был первый потрясен алма-атинским бунтом.

"Здравствуйте, Станислав Юрьевич!

Я Ваша духовная сестра, хотя бы по проблеме тех, кто "в русском одеянии" (я их называю "советскими гражданами").

Благодарю Вас за яркое, искреннее выступление на пленуме! Стихи в "Литгазете" очень по мне (стихи, вызвавшие раздражение Наймарка. — **Ст. К.**).

Хотелось бы мне многое рассказать Вам и о наших проблемах, но пока молчу.

Шлю Вам свои книги, чтобы Вы имели представление о моем творчестве.

Искренне — Фариза Унгарсынова".

"Дорогой Станислав!

Я очень доволен Вашим выступлением на пленуме правления Союза писателей СССР. Благодарю за откровенность и честность в оценке взглядов к проблемам русского языка. Я родился, вырос и получил среднее образование в отдаленном казахском ауле. Даже после окончания казахского отделения факультета журналистики в г. Алма-Ате я на русском свободно не говорил. Но моя цель обеими языками овладеть, знать их до тонкостей, мыслить, говорить и писать и на казахском и на русском.

Без русской культуры не было бы Абая Кунанбаева, Чокана Валиханова, Ибрая Алтынсарина. Само слово "советский народ" для меня имеет особое значение. Я в своих даже самых обыкновенных статьях это слово никогда не писал хладнокровно.

Работаю заведующим отдела пропаганды Актюбинской областной газеты.

С уважением Серик Жолдыбаев.
31.V.1987 г."

"Дорогой Станислав Юрьевич!

У меня недавно умер дядя (мамин родной брат). Поминки в наших горах — это очень тяжелая обязанность. По суровым законам гор они отнимают не меньше сил, чем свадебное торжество.

Я была в горах, поэтому не смогла Вас поздравить с присуждением Государственной премии РСФСР. Она Вами давно заслужена. Я очень рада за Вас!

И вот, прочитав очередное нападение на Вас Е. Евтушенко, решила, хотя и с опозданием, поздравить Вас и сказать, что это Ваша большая победа — в такой обстановке стать лауреатом. Вы очень мужественный человек, такие примеры очень нужны сегодня и мне. У нас есть пословица: "На бесплодное дерево камни не летят".

Летят они и на меня день и ночь. Поэтому Чингисхану дагестанской литературы (речь о Расуле Гамзатове. — **Ст. К.**) *удалось и во время перестройки преподнести себя жертвой прошлого.*

Если бы Вы могли себе представить, что у нас здесь творится. Ежегодно уже в течение 25 лет от всего издательского гонорара он получает тут 70%. Каждый год у него на авторском языке выходит по 3 книги объемом 15 авторских листов, 8 авторских листов и по 30 авторских листов произведений переизданных, не говоря о Москве. Ужас, когда же наконец у нас в Дагестане установят в этом вопросе Советскую власть..."

Письмо было от известной поэтессы Фазу Алиевой.

В культурно-издательской политике советского государства было два как бы взаимно исключающих перегиба.

С одной стороны, ветер бюрократического казенного интернационализма естественным образом выветривал и разрушал жизнь языка и систему национальных школ, ассимиляционные процессы заходили столь далеко, что порождали глухой отпор и сопротивление национальных сил так называемой русификации. С другой — центральная власть, чувствуя этот свой интернационалистический первородный грех, бросала громадные средства и силы на всяческого рода

декады, юбилеи, а также на демонстративно чрезмерное количество изданий (особенно на русском языке) известных и малоизвестных, а подчас и вообще никому не нужных писателей и поэтов, как бы демонстрируя на искусственной почве другого языка расцвет национальных литератур...

О том, как все это происходило, свидетельствует моя запись из дневника от 20 мая 1974 года:

"В конце апреля был в Таджикистане. Участвовал в нашем всеобщем советско-литературном разврате. Банкеты. Сидение за столами президиума, черные "Волги", дети с тюльпанами вдоль дорог, вой карнаев (медных гигантских труб), хлеб-соль, орехи, колхозники, снятые с полевых работ... Два шута — Кулиев и Кугультдинов плясали, пели, паясничали, целовали ручки партийным дамам". Несколькими годами раньше во время одного из таких шумных и крайне расточительных торжеств я написал желчное стихотворение:

За банкетом банкет. Три часа
коллектив набивает желудки.
Речи. Тосты. Тяжелые шутки.
Опостылевшие голоса.
В результате казенных щедрот
багровеют тяжелые лица,
раздвигается вширь поясница,
глохнет совесть, жиреет живот.
Даровая еда, как всегда,
вызывает желанье отдачи —
появляется что-то собачье
в благодарных движениях рта,
оседают ферменты в крови...
Лишь один, чем-то родственный волку,
ест с ухмылкой, твердит поговорку,
смотрит в лес, как его ни корми.

(1966)

Впрочем каждая эпоха расточительна по-своему. Те банкеты хотя бы проходили на фоне мирной и стабильной жизни, а нынешние — куда более богатые! — это же пиры "во время чумы".

Беда была еще и в том, что эта неестественная стабильность достигалась часто за счет всяческого ущемления русских писателей. Сейчас я склоняюсь к мысли о том, что это была хотя и уродливая, но неизбежная плата за существующее положение вещей, но в 1973 году я, желая сдвинуть политику наших издательств "в русскую сторону", проделал колоссальную работу — изучил соотношение поэтических книг, изданных виднейшими поэтами — русскими и национальными —

за послевоенные четверть века. Картина выяснилась поучительная. У Расула Гамзатова за эти 25 лет (с 1958-го по 1973 год) вышло в свет 76 книг, из них на русском — 52. У Эдуардаса Межелайтиса — 65, на русском — 25. У белоруса Максима Танка — 53 книги, на русском — 24, у молдаванина Емилиана Букова — 56 книг, на русском — 29 и т. д.

У каждого из этих так называемых классиков на русском языке к 1973 году вышло изданий в 2—3 раза больше, нежели у Ярослава Смелякова, Леонида Мартынова, Сергея Маркова, которые были значительно старше своих поэтических собратьев из республик. Что уж было говорить о ровесниках!

Сообразив, что здесь позиции "национальных классиков" и стоявшего за ними мощного еврейского переводческого клана весьма уязвимы, я сочинил письмо в отдел культуры ЦК КПСС, где привел почти анекдотические примеры вопиющей диспропорции.

"Подумать только, — писал я в этом письме. — У Сильвы Капутикян вышло 57 книг. Ее переводили такие известные русские поэты, как Борис Слуцкий, Давид Самойлов, Владимир Соколов, Владимир Корнилов — в общей сложности издавшие все четверо 25 стихотворных сборников. А у Сильвы на русском вышло целых 30! Разве это нормально?"

"У чеченской поэтессы Раисы Ахматовой на русском языке вышло куда больше изданий, нежели у ее всемирно известной однофамилицы".

"У талантливых русских поэтов, которым сегодня от 30 до 40 лет — у Николая Рубцова — 5 книг, у Анатолия Передреева — 3 книги, у Олега Чухонцева — ни одной, у Глеба Горбовского — 5 книг, а в то же время (беру поэтов того же поколения) у украинца М. Сынгаевского — 13 книг, у белоруса Г. Бородулина — 13 книг, у абхаза К. Ломиа — 13 книг. Разве это справедливо?"

"А какой вздор пишет наша "Литературная газета", когда пытается уверить читателя, что "сегодня С. Вургун и М. Турсун-заде, Р. Гамзатов и Э. Межелайтис оказывают на стихию русского стиха не меньшее влияние, чем Е. Боратынский и А. Фет".

Из литературного дневника. Запись от 15.01.1971.

"Сегодня Семен Липкин в ответ на мои слова о том, что я не хочу заниматься переводами таджикской поэзии, потому что мне это неинтересно, заявил: "А где что интересно? Нигде ничего, в том числе и в первой среди равных. Конечно, какое ему дело до Рубцова, Соколова, Шкляревского, до меня в конце концов. Все, что они ценят во мне — так это

интеллигентность и терпимость. А стоило мне в нескольких стихотворениях повторить слово "Родина", как лицо у того же Кронгауза вытянулось. Я же это все помню".

Несколько страниц моего письма были посвящены издательскому беспределу, который насаждался строчкогонами-переводчиками типа Я. Хелемского, А. Кронгауза, А. Глезера, А. Наумова, Е. Николаевской, Н. Гребнева, А. Шацкова, Ю. Нейман и прочими русскоязычными ремесленниками, чьими муравьиными усилиями народные и государственные средства перекачивались в баснословные гонорары, становились сотнями тонн бумаги, превращенной в рифмованную макулатуру.

В сущности, это письмо 1973 года было первой моей попыткой вмешаться в большую идеологию. Власти поняли, что я нашел слабое место в нашей национальной политике. В ответ на письмо последовал звонок из отдела культуры ЦК КПСС. Я был приглашен на беседу к Альберту Беляеву (именно тогда я впервые переступил порог этого заведения). Беляев разговаривал со мной уважительно, осторожно, внимательно. Приглядывался. Изучал. Намекал на то, что по существу я прав, но никаких резких изменений в этой практике быть не должно.

Расстались мы вежливо и даже почти радушно. Беляев, видимо, оценил мой государственный подход к делу, но он, наверное, и не подозревал, что в отстаивании русских позиций я на этом не остановлюсь. До дискуссии "Классика и мы", до моего письма по поводу "Метрополя" оставалось всего-то 4—5 лет...

* * *

Кроме православных народов Грузии, Армении, Украины, Молдавии были и другие, вошедшие в Россию в XIX веке при разных исторических обстоятельствах. Иные из них страдали от внешних опасностей, другие — от собственных междоусобиц, и наиболее проницательные из правителей не без основания надеялись, что эти междоусобицы будут подавлены волей русской власти.

"Мятежи, происходящие в западной части Китая, кои покорены за 75 лет китайцами и населены магометанами, киргизами и частью Большой орды, доходят до ожесточения. Ополчение магометан, ревнующих свергнуть с себя иго Китая, простирается до ста тысяч человек".

Ив. Вельяминов, губернатор Западной Сибири, вице-канцлеру К. Нессельроде

“Приметe меня под императорский покров свой и будете защищать от соседних врагов моих — киргизцев. Истребите оружием вашим все делаемые киргизцами баранты (угоны скота. — **Ст. К.**)*, чтоб в моей власти у находящихся теперь народов господствовало бы спокойство, тишина, законные права и порядки”.*

Из прошения Казахского султана
старшего жуза Суюка Аблейханова
императору Александру I
о принятии его в подданство России

Вот и до киргизов постепенно дошло мое повествование. И в их землях много раз мне пришлось побывать. Где-то сейчас, может быть в столице, а может быть в своем аиле на просторах Таласа, доживает век мой друг фронтовик Суюнбай Эралиев. Ему уже под восемьдесят. Вместе с ним мы путешествовали по берегам Иссык-Куля, по горным дорогам Таласа. Я жадно вглядывался в незнакомую мне жизнь ослепительного киргизского Тянь-Шаня, стихи в те годы сочинялись легко и вдохновенно, но одновременно в них, независимо от моей воли, каким-то образом появлялись мрачные предчувствия...

Я увидел их с краю базара
в азиатском горячем краю.
Два слепца — неразлучная пара —
начинали программу свою.

Представители странного люда, —
он с гармошкой, кричащей навзрыд,
два слепца... Занесло их откуда?
И она под гармошку хрипит.

Ржали лошади. Солнце палило.
Полукругом толпился народ:
“Муж оставил...”, “Жена изменила...”
“Злая мачеха жить не дает...”

Не спеша кое-как подавали,
потому что киргизы вокруг
то ли плохо слова понимали,
то ли слушать стоять недосуг.

Видно, людям хотелось покоя,
видно, им надоела беда...
Словом, слышалось в этом такое
вымирающее навсегда.

И слезились глаза от сиянья
голубой иссык-кульской воды,
от сверкающих гребней Тянь-Шаня,
от отчаянья и красоты.

Таким я увидел русское горе еще в 1964 году на берегу Иссык-Куля, в центре Азии.

Я, как мог, выразил смутную тревогу о русской судьбе, слишком далеко оторвавшейся от своей пуповины. В одном ошибся: предположил, что горе, бедность, сиротство в чужом краю — все это "вымирающее навсегда".

Никто из нас и подумать не мог, что доживет до погромов и резни в Ошской долине, до изгнания русских врачей и учителей из киргизских городов и поселков. Но ведь это же он, Суюнбай, фронтовик, 1922 года рождения, писал стихи о русском учителе Тимофее, приехавшем из Саратова в киргизское село Арал, а я перевел его на русский язык.

С киргизской песней знался Тимофей,
душевно пел киргизские мелодии.
Он уважаем был деревней всей
за то, что прижился на новой родине.

Он сына на киргизке поженил,
а дочь его ушла в семью киргизскую,
и с той поры, конечно, весь аил
стал для него роднёю самой близкою.

Ну не во сне же все это происходило, а в жизни... В 1992 году, в год семидесятилетия Суюнбая, я послал ему письмо, в котором еще теплились последние наивные надежды на возрождение нашего литературного братства.

"Дорогой мой друг!

Протягиваю тебе руку через всю нашу несчастную разоренную страну, через пространства, насыщенные запахом крови невинных людей, через все границы и суверенитеты, через унижения и соблазны, витающие в воздухе густым маревом...

Не за такую жизнь ты, солдат Великой Отечественной, ныне оболганной, как и все святое, проливал свою кровь на полях Украины и России, не о такой расчлененной и полумертвой Державе думал ты, разговаривая в окопах с латышом Петерсонисом, или с рязанцем Яшкой, или с казахом Минбаем — подлинными героями твоих стихотворений... Не о таком будущем думал ты, когда тебя после тяжелейших ранений

возвращали к жизни руки сначала русской, а потом грузинской сестры милосердия...

Я вспоминаю наши встречи и разговоры на горячих берегах Иссык-Куля, в Таласской долине — родном твоем гнездовье, в Москве и в Пскове... Да не счесть всех наших встреч за тридцать лет дружбы, начиная с того дня, когда мы встретились и ты пригласил меня в Киргизию на праздники великого Токтогула... Сколько воды утекло с тех пор!.. И кто мог подумать, что мы доживем до такого черного дня, когда будем жить в разных государствах! Но вопреки всему напряжем нашу волю, распахнем сердца и докажем людям, что пока мы живы — есть нечто более сильное и властное, чем замыслы честолюбцев, митинговые вопли обманутой черни, проекты властителей мира относительно нашей родины... Есть наша дружба, есть наша поэтическая перекличка — и пока живы эти чувства, жива надежда на то, что еще вернутся лучшие времена и мы еще обнимемся и послушаем новые стихи, которые мы напишем, сопротивляясь расчленяющей нас силе. Да, мы слабые смертные люди. Но души наши бессмертны и живут в наших стихах.

Прекрасны вечера в аиле,
когда из синеватой мглы
выходит месяц в юной силе,
вонзаясь в краешек скалы...

Помню, как на твоей родине мы любовались этим серебряным месяцем.

Знаю, как тяжело тебе сегодня, старый солдат. Ты, один из лучших поэтов своей земли, никогда не гнался за званиями, наградами, орденами, премиями, должностями... Ты беззлобно и спокойно смотрел на собратьев, зараженных тщеславием, и с достоинством крестьянина и солдата продолжал свое дело. А я, когда переводил твои стихи на русский язык, радовался на тебя: не разменивает свою душу на мелочи мой друг!

Выстоял ты и дожил до своего серьезного юбилея. Много ли теперь надо поэту? И много и мало. Но главное — остаться верным в наше подлое время самому себе и всему лучшему, что есть в народе. Самое время настало — в тот отрезок жизни, когда твоя голова стала белой, как тянь-шаньская вершина, опереться на выработанные всей жизнью терпенье и мудрость, на любовь к истине и сказать самые главные слова, чтобы они стали завещанием грядущим поколениям твоего племени.

Твой русский брат".

Но это письмо уже было посланием в прошлое...

* * *

Я никогда не переводил только ради денег. Дело в том, что после первых же моих переводческих опытов меня буквально завалили знакомствами, звонками, предложениями приехать куда моей душе было угодно — в Тбилиси, в Ереван, во Фрунзе, познакомиться с местными поэтами или переводить покойных классиков — Лахути, Токтогула, Галактиона Табидзе, жить на всем готовом в местных Домах творчества или на правительственных дачах. Но нельзя было покупаться на эти соблазны и хвататься, как всяческие корыстные дельцы и рифмоплеты, за любую конъюнктурную, многострочную и высокооплачиваемую работу (когда переводились книги местных секретарей и литературных генералов вроде Мирзо Турсун-заде, Иосифа Нонешвили, Емилиана Букова). Ведь рядом со мной переводами занимались Леонид Мартынов, Ярослав Смеляков, Александр Межиров, Юрий Кузнецов, Анатолий Передреев. Работать без вдохновения и удовольствия от работы я себе не позволял. Более того, я сам искал и находил молодых малоизвестных поэтов из республик (Дондока Улзытуева, Мушни Ласуриа, Шамиля Махмудова), пусть менее выгодных в смысле денег, изданий и связей для переводчика, но работа над стихами которых не иссушала сердце и собственное творчество. Мне всегда казались смешными жалобы переводчика Арсения Тарковского: “Ах, восточные переводы, как болит от вас голова”. Голова может заболеть только от нелюбимой и неблагодарной работы, а я за такую не брался. В середине 70-х годов мне в руки попала поэма Николая Гуссовского, написанная латынью в начале шестнадцатого века. Автора считают своим и литовцы, и поляки, и белорусы. Поэма настолько восхитила меня, что я не пожалел ни сил, ни времени, чтобы перевести ее на русский язык просто ради удовольствия, не заручившись ничьим согласием на ее издание. Но оказалось, что в те прагматические времена рассказ о жизни и охоте в беловежских лесах оказался никому не нужным. Все центральные издательства отказались от издания. Четверть века поэма пролежала в моем архиве, и лишь в1998 году “Песня о зубре” наконец-то увидела свет в другой стране — в Белоруссии. До сих пор я помню наизусть отрывки из нее, как и наиболее дорогие для меня стихотворения из многих переведенных мною книг. Впрочем, их — а переводами я занимался всего лишь лет десять — было не так уж много. Но мой добросовестный подход к делу всегда находил благодарное признание.

Я говорю не о почетных званиях, грамотах и наградах: книги моих избранных переводов за это десятилетие были изданы на русском языке в Грузии, Киргизии, Таджикистане, Абхазии. Многие мои “соавторы” из республик стали моими настоящими друзьями.

Некоторые остались ими до сих пор. Среди них абхазский поэт Мушни Ласуриа, который четверть века тому назад писал мне: “Ты для меня больше, чем друг, в Москве ты очень часто заменял мне Родину, то есть был для меня тем миром, в котором я чувствовал тепло, доброту, улыбку и человечность”. Иных (только деловых) отношений я просто не признавал...

...Сто с лишним лет назад Достоевский в своей пророческой речи о Пушкине назвал русского человека всечеловеком, а русскую идею — Всечеловечностью. Он обошелся без слова “интернационализм” и нашел родное нам определение этого сложнейшего миропонимания. И когда я переводил талантливого поэта из какой-либо республики, то я как бы работал на “всечеловечность”, стараясь нащупать сердцевину национального бытия — грузинского, бурятского, татарского. Переводя Дондока Улзытуева, я погружался в мир кочевых дымов, плавных забайкальских холмов, степных запахов травы Ая Ганга, которая на поверку оборачивалась всего-навсего обыкновенной полынью... Но слово “Ая Ганга” звучало для меня как заветный символ бурятской души, рожденной на просторах, где пасутся отары овец и гуляют на вольной воле табуны лошадей.

Литературное познание мира обычно сливалось для меня в одно целое с моим образом жизни, когда в течение четырех лет, с 1968-го по 1971 год, я бродил с геологами по высокогорным тропам, глядел на голубые, сверкающие стремнины — Ягноба, Хонако, Кафирнигана, где плескалась форель, куда со звоном срывались истертые подковы моих лошадей, где я на скалистых прижимах встречался с таджикскими детишками, погоняющими осликов, нагруженных охапками хвороста.

Здесь синие реки гремят
в сверкающих мрамором руслах
и смуглые дети глядят
внимательным взором на русских...

Но я тоже внимательно вглядывался в их лица. Народы, по словам отца Сергия Булгакова, “суть мысли Божии”, а что может быть привлекательней желания попытаться познать мысль Творца...

Поэты, впавшие в "националистическую ересь", на мой взгляд, просто не выдержали испытания русской всечеловечностью и оказались недостойны жить в русском языке. Их национальная сущность была моим соблазном, но я пытался овладеть ею, чтобы сделать свой вклад в "русскую идею", чтобы по этому мостику, мной сооруженному, и они смогли войти в нее... У большинства не хватило воли и бесстрашия сделать этот шаг. Но что их винить за слабость? Может быть, их разрыв с Россией более естественен, чем нам это кажется? Может быть, окаймляющие Россию народы почувствовали, что не под силу им русский крестный путь, неподъемна тяжесть, которую она предложила нести всем миром?

Нет, не деньги и даже не славу (если считать по высшему счету) зарабатывал я переводами.

Скорее всего, выполнял часть программы, заложенной в мое существо русской историей и русской метафизикой. Задача, которую поставила перед "цивилизованным" и нецивилизованным миром Россия, равновелика цели, которую ставил перед собой Спаситель.

Но даже он уже при жизни, удрученный несовершенством людей, попечалился, что "царство мое не от мира сего", что человечество, может статься, будет недостойно Нового завета. Может быть, что оно оказалось недостойным и России с ее русской идеей. Потому и раздались вопли: "Хотим суверенитета!" с тех окраин, откуда 2—3 столетия назад неслось: "Россия, спаси..." Христос Спаситель, Россия спасительница...

Кое-кто из моих собратьев по перу прозрел за эти годы. Из недавно опубликованного интервью Гранта Матевосяна: "...самая большая потеря — это потеря гражданином Армении статуса человека Империи. Потеря имперской, в лучшем смысле этого слова, поддержки и имперского начала, носителем которого всегда была Россия... берусь утверждать, что армяне, начиная с 70-х годов прошлого века и до наших дней, — это более высокие, более могущественные и, как это ни парадоксально, более свободные армяне, чем те, которых освободили ныне от "имперского ига". Ведь это в 70-е годы прошлого века под крылом России вызрела и вновь состоялась армянская государственность. В армянской культуре появилась целая плеяда выдающихся людей. В прозе, поэзии, в историографии — всюду и везде, даже в политических партиях, эти люди были. И так могло быть "всегда и вечно"... Поэтому повторю: самая большая потеря — это потеря нами гражданства Великой Державы".

Опомнились, да поздно. История уже покатилась вспять, ко временам младотурков и шаха Аббаса. Не дай Бог, Турция еще раз напомнит Армении, что может ей стоить отступничество от России, а что такое нынешние турки, хорошо знают киприоты-греки и несчастные курды.

У поэта Юрия Кузнецова есть пророческое стихотворение о судьбе русской идеи, написанное им четверть века тому назад.

Отдайте Гамлета славянам! —
Кричал прохожий человек.
Глухое эхо за туманом
Переходило в дождь и снег.

Но я невольно обернулся
На прозвучавшие слова,
Как будто Гамлет шевельнулся
В душе, не помнящей родства.

И приглушенные рыданья
Дошли, как кровь из-под земли:
— Зачем вам старые преданья,
Когда вы бездну перешли?

Зачем Грант Матевосян плачет об империи? Зачем я вспоминаю о поэтических сновидениях молодости, в то время когда душа сжимается, словно пораженная неземным холодом, от окончательной мысли: "Зачем нам старые преданья, когда мы бездну перешли"?

В 1979 году делегация писателей — Серо Ханзадян из Армении, Азиза Джафарова из Азербайджана и я — приехали в Ирак. Ирак с его легендарным Вавилоном и угрюмой Хатрой, с руинами Ниневии и сказочным Багдадом поразил меня своим восточным величием. Я смотрел, а глаза не насыщались красотою, я думал, а мысли не могли проникнуть в тайну древнейших пластов истории. Но мои попутчики всю неделю, пока мы путешествовали по стране с юга на север и обратно, своими гортанными голосами спорили только об одном: кому принадлежит Карабах... В конце концов мне это надоело. Возле высеченных из камня дворцов Петры я попросил остановить машину и сказал им: "Зачем вы сюда приехали? Спорить о своем Карабахе? Мне надоело слышать каждый день: "Карабах!" "Карабах!" Я, как руководитель делегации, не могу вам этого запретить, но, как русский человек, слушать — не хочу. А если будете продолжать — то, вернувшись в Москву, напишу в отчете, что вы оба душевно больны". Вместо этого, вернувшись в Россию, я написал стихотворение, как я сейчас понимаю, о сущности русской идеи.

Два сына двух древних народов
такой завели разговор
о дикости древних походов,
что вспыхнул меж ними раздор.

Сначала я слышал упреки,
в которых, как корни во мгле,
едва шевелились истоки
извечного зла на земле.

Но мягкие интеллигенты
воззвали, как духов из тьмы,
такие дела и легенды,
что враз помутились умы.

Как будто овечью отару
один у другого угнал,
как будто к резне и пожару
вот-вот разнесется сигнал.

Куда там! Не то что любовью
дышали разверстые рты,
а ржавым железом, и кровью,
и яростью до хрипоты.

Что было здесь правдой? Что ложью?
Уже не понять никому.
Но некая истина дрожью
прошла по лицу моему.

Я вспомнил про русскую долю,
которая мне суждена —
смирять озверевшую волю,
коль кровопролитна она.

Очнитесь! Я старую рану
не стану при всех растравлять
и, как ни печально, не стану
свой счет никому предъявлять.

Мы павших своих не считали,
мы кровную месть не блюли
и, может, поэтому стали
последней надеждой земли.

"Последней надежды земли" для вас больше нет. Так что можете жечь дома, угонять овечьи отары, резать друг другу глотки. Россия больше не вмешивается в ваши древние распри.

“В нашей дружбе и волчьей и нежной...”

Ах, люблю я поэтов — забавный народ.
С. Есенин

Мое пятидесятилетие. Юноша из Могилева. Наши костры на берегах Сожа. Мать и сын. Минское окружение Игоря. Веселые шестидесятые. Письма, посвящения, клятвы. Обыкновенная история по Гончарову. Воспоминание в рифму

В ноябре 1982 года мне исполнилось пятьдесят лет. Все уважающие себя люди в таких случаях устраивали в Доме литераторов в Большом или Малом зале юбилейный вечер (залы давались бесплатно!), куда приглашались почитатели, друзья и знакомые. Не последним делом на такого рода торжествах был, конечно, состав выступающих со сцены: они, помимо юбиляра, служили дополнительной приманкой для любителей литературы.

“Ну кого же вставить в афишу? — размышлял я. — Без начальства не обойтись. Позвоню Егору Исаеву, Саше Михайлову, они борозды не испортят. Несколько друзей — поэтов и критиков: Вадима Кожинова, Таню Глушкову, Анатолия Передреева, Юру Кузнецова... Ну и, конечно же, Игорька... За двадцать лет нашей дружбы он не раз посылал к моим дням рождения вдохновенные стихотворные эпистолы”.

Помню, как из Ессентуков, где он лечил на водах свою язву, к моему сорокалетию в Москву пришла телеграмма:

"Еще веселый и не слабый,
в семье задумчивых стихов
надежной ты достоин славы —
так бей же в сорок сороков.

Поздравляю. Целую. Игорь Шкляревский".

А за два года до этого, когда я лежал с простудой в тбилисской гостинице и безрадостно встречал свой 38-й день рождения, меня поддержало его дружеское телеграфное четверостишие:

"Поздравляю, грустно обнимаю,
потому что каждый день и час,
словно ветер золотую стаю,
в бесконечность провожают нас.
Твой Шкляра".

Он щедро в течение двух десятилетий дарил мне свои экспромты, в которых порой встречались серьезные мысли и чувства.

В нашей дружбе и волчьей и нежной
было досыта боли кромешной,
и любовь, и отвага, и риск,
но никто не сбивался на визг.

Было в горле от горечи сухо,
но достоинство светлого духа
сохранили, зубами скрипя...
Что — любовь? — уважаю тебя!

Написано, видимо, уже в середине семидесятых годов.

А вот фотография: Игорь на берегу Сожа с громадной щукой и надпись: "Любимому другу Станиславу, где мы, там и удача". Сож. Июнь 1971 г.

И еще одна. Рыбак в позе победителя, со спиннингом, с крупной семгой в подсачеке на порожистой карельской реке: "Другу лучшему мою первую семгу. Порог "Собачья пасть". Шкляра".

"Ну, конечно же, Игорька надо в афишу!" — решил я тогда, осенью 1982 года. Впрочем, сомнения были. Наши отношения из-за каких-то мелочей иногда разлаживались, но пятьдесят лет — все-таки не шутка! Нет, без него мой юбилей — не юбилей, как и без Передреева и Кожинова. Главное, чтобы он в конце ноября был в Москве.

Вечером я позвонил ему и сказал, что очень прошу в конце ноября быть в Москве и выступить на вечере. В ответ вдруг услышал нечто странное:

— Друг, давай встретимся завтра, мне надо обо всем этом поговорить с тобой серьезно.

Мы встретились на улице Воровского возле монумента Льву Николаевичу Толстому, Игорь щелкнул зажигалкой, затянулся и сделал какое-то почти физическое усилие, от которого желваки напряглись на его лице:

— Знаешь, я обдумал твое предложение. Я не буду выступать на твоем вечере. Но в трудную минуту я всегда помогу тебе. Только тайно, а не открыто.

Я изумленно поглядел ему в глаза, как бы желая удостовериться, что это — не обмолвка, хотел сказать, что двадцать лет все-таки так легко из жизни не вычеркнешь, что я всегда помогал ему открыто, а порой демонстративно, но вдруг понял, что все напрасно, повернулся и пошел к железным воротам, оставив его наедине с Толстым...

А начиналось все — именно двадцать лет тому назад — совершенно замечательно.

* * *

В 1962 году мы впервые встретились, по-моему, в журнале "Смена". Провинциальный, бедно одетый в затертую курточку и несвежую рубашку, в какой-то заячьей облезлой шапке, юноша подарил мне тоненькую безвкусно оформленную книжечку с дерзким названием "Я иду"... И надпись на титульном листе сделал размашистую и вдохновенную: "Станислав! Люблю тебя и стихи твои. Еще много хотел написать, но ты и так все поймешь. Игорь Шкляревский. 1962 г".

Свежая была книга. Утренняя. Осенняя. Чистая... Ее героями были форели и птицы, заливные луга и весенние заморозки...

Как и положено в таком возрасте, была в книге и яростная жажда самоутверждения, время от времени неожиданно отступавшая перед способностью молодого поэта впадать в созерцательное оцепенение, когда он вдруг, как нечто самое важное, замечал:

и паутину у сосны,
и одинокую сороку,
и тельце высохшей осы,
и опустевшую дорогу.

Мы понравились друг другу, договорились встретиться, когда он вернется из поездки на Дальний Восток — на Сахалин, на Южные Курилы. Подобно своему тогдашнему кумиру

Артюру Рембо, решившему въехать в Париж через провинцию, Шкляревский с юношеской непосредственностью рассчитывал вернуться победителем в Москву через Охотское море. И обязательно с новой книгой, да такой, какую не в силах написать ни Евтушенко, ни Рождественский, ни Володя Цыбин.

Через два-три месяца он действительно привез с окраины страны рукопись, которую позже счастливо назвал "Фортуна", с вольными, романтическими стихами, навеянными не только воспоминаниями о "Пьяном корабле" Артюра Рембо, но и жизнью на рыбацком сейнере, о смытом за его борт матросе:

Лежал я на дне океана,
окутанный длинной травой,
и мертвое солнце вставало
над мертвой моей головой.

Медузы ко мне подплывали
и крабы светились во мгле,
а люди еще вспоминали,
о том, что я жил на земле.

Что был я матросом толковым,
свободу и женщин любил,
работал на флоте торговом,
надежным товарищем был.

Лишь только однажды забылся,
задумался, глядя в туман,
расслабился и поплатился,
и смыло меня в океан.

О как он звенит и хохочет,
в стеклянные бьет поплавки,
ласкает, зовет и бормочет,
прощает земные грехи.

Земные печали смывает
и учит себя забывать,
но слабостей нам не прощает,
ошибок не хочет прощать!

Вскоре я получил письмо из Могилева, в котором мой молодой друг приглашал меня на свою родину.

"6 июля 1966 г.

Мое воображение, незамутненное мелкими страданиями, рисует мне такие изумительные мгновения нашей жизни на берегу реки Сож, что я жду твоего появления, как в детстве праздника, ибо есть такие радости, которые одному узнать

и оценить не под силу. Там, где я рыбачу, правый берег весь в соснах, лес стоит стеною у самой воды, а на левом берегу долина в дубах и обрыв, заросший черной смородиной, которую можно собирать ведрами. Зная твое железное здоровье, уверен, что твоя разодранная пасть (я выздоравливал после операции. — **Ст. К.**) *через неделю-полторы начнет работать с веселым хрустом, как машина, перемалывая все и вся..."*

Жизнь на Соже до сих пор вспоминается, а иногда и снится мне. Деревня Александровка — на высоком берегу реки, темные белорусские хаты, обрывистый склон к воде... Тетка Соня, у которой мы ночуем, ужинаем бульбой со свиным салом, запиваем крестьянский ужин молоком, разводит в чугуне болтушку для поросенка, а сама пытает нас о судьбе несчастного негра Поля Робсона, про которого она недавно услышала по радио.

— Заусим яму в Америке жить не дают! — жалко ей, встающей в пять часов утра и засыпающей в полночь, всю жизнь проработавшей в "колгоспе", угнетенного негра-миллионера... Игорь уходил на сеновал, где писал стихи о деревенской жизни:

Руки болять! Ноги болять!
Клевер скосили. Жито поспело.
Жито собрали. Сад убирать.
Глянешь, а греча уже покраснела.
Гречу убрали. Лен колотить.
Лен посушили. Сено возить.
Сено сметали. Бульбу копать.
Бульбу вскопали. Хряка смолить.
Клюкву мочить. Дровы пилить.
Ульи снимать. Сад утеплять.
Руки болять! Ноги болять!

Каждое утро мы вставали и, зябко ёжась, входили в летящую с реки пелену тумана, садились в холодную лодку, брякали заиндевелой цепью, стучали влажными тяжелыми веслами, подымались вверх к семейству темно-зеленых дубов, к глинистому берегу, под которым в глубоких промоинах у самого дна стояли тяжелые красноперые, крупночешуйчатые язи, и с замирающими от предчувствия удачи сердцами разматывали удочки, под шум осенних берез.

* * *

Игорю

На рассвете холодная дрожь
вдруг встряхнет полусонное тело,
вздрогнешь радостно — и не поймешь,

дождь прошел или жизнь пролетела.
А вокруг осыпа́лись леса,
и деньки становились короче.
Выйдешь в рощу — кружится листва,
глянешь в небо — а там синева
сквозь просветы в осиновой роще.

И на этот разгул сентября
мы глядели с тобой чуть не плача,
и за это меня и тебя
бескорыстно любила удача.
Рыба шла и на деньги везло,
в пьяных драках спасались случайно,
и в руке не дрожало весло
и гитара звенела печально.
Мой простуженный голос хрипел,
что туманное утро настало,
а в то время, покамест я пел,
с легким звоном листва облетала.

А когда рыбалка надоедала, то брали у тетки Сони плетеные ивовые корзинки и отправлялись в дубовые рощи и березовые перелески, где дышали грибной сыростью, то и дело срезая под самый корень крепкие боровики с кофейными шляпками, оранжевые рыжики, темно-коричневые подберезовики... Однажды в березовой роще кто-то из нас наткнулся на старый, грубо сколоченный и уже ветхий крест над безымянной могилой. Вечером за ужином мы спросили тетку Соню, чья это могила.

— Та в сорок первом годзе, наши отступили, а мы, дзеуки, у лес пошли по ягоды, глядзим, а там хлопчик — красноармеец лежить. А немцы в деревню уже вошли, ну мы яго и закопали в лесу, и крест поставили.

В тихой деревне над Сожем
Добрые люди живут.
В этой деревне я прожил
Много счастливых минут.

В роще над Сожем траншеи
Черной водою полны,
Не было в мире страшнее
Нашей великой войны.

Сколько морозов и ливней
минуло! Сколько ночей!
...Не было крови обильней,
не было слез солоней.

Не было праведней славы...
Над потемневшей водой

Никнут привядшие травы,
Кружится лист золотой.

И озаренный закатом,
Врезан в березовый лес
Над неизвестным солдатом
Черный от времени крест.

Это мое стихотворение 1965 года.

Отправляясь к Игорю на рыбалку, я обычно доезжал до Минска или до Орши, а потом на такси — времена были вольные, не рыночные! — добирался до Могилева, иногда он встречал меня на оршанском перроне. Потом вспоминал:

Еду на станцию, друга встречаю.
В соснах фонариком путь освещаю.
Сердце сожмется от жалости вдруг:
Осень придет — и уедет мой друг.

День-другой мы чиним снасти, добываем леску, крючки, копаем червей, налаживаем поплавки и грузила, читаем друг другу стихи, шляемся по городу.

Его мать — седая тихая женщина Ксения Александровна — кормила нас скромными обедами, отец, Иван Иванович, внедрял в наши легкомысленные головы политические новости, почерпнутые из газет, а я с недоумением, а порой и возмущением постоянно осаживал неожиданные приступы несправедливого гнева, которые вдруг охватывали Игоря во время разговоров с отцом и матерью. Дело доходило до того, что я порой не выдерживал:

— Игорь! Или едем сейчас же на рыбалку, или я возвращаюсь в Москву, слышать, как ты кричишь на мать и отца, я больше не могу!

Он хмурился, засовывал в рот сигарету, плотно закрывал дверь комнаты, в которой мы жили, но молчал, ничего не объяснял мне, не оправдывался...

Его отец и мать были сельскими учителями из поселка Белыничи, после войны переехавшие в Могилев. Они трепетали перед ним, как родители Базарова перед своим сыном. Обстановка в маленькой двухкомнатной квартире была аскетическая, почти убогая, деревянные полы скрипели, самодельные стулья разваливались, и я чувствовал, как мой молодой друг стыдится этой естественной бедности.

Постепенно я узнал о причинах его гневных вспышек в разговорах с матерью и отцом. Сначала из стихов.

“Год 52-й играет на трубе. Поет над головой в сиротской синеве”, “Я о детдомовце забыл”, “Остриженные все под ноль”, “Плачут сиротские горны”, “Там вечерами хор детдомовцев поет”, “Стоит монастырь за Днепром. Веселый советский детдом”, “Словно я убежал из приюта”...

Случилось так, что, когда родился его младший брат и заболел отец, Ксения Александровна вынуждена была на какое-то время отдать Игоря в послевоенный интернат. Ребенок стал как бы сиротой при живых родителях. Что он там, тщедушный, болезненный подросток, пережил — одному Богу известно, но когда я все это уяснил, мне стал понятен жалостливый, неизбывно виноватый взгляд матери на взрослого, почти тридцатилетнего мужчину, ее покорное молчание в ответ на приступы порой почти беспричинной ярости и даже оскорблений, слетавших с его уст... Она выслушивала их, не возражая, трясла головой, брела на кухню, дрожащими руками двигала кастрюли, звенела посудой, потом робко высовывала голову, предлагая нам чего-нибудь поесть или попить чаю. Иногда он сменял гнев на милость, говорил ей что-то ласковое, и отблески грустного счастья начинали светиться в ее влажных виноватых глазах.

* * *

Так случилось, что и меня и несколько позже Игоря в Москве радушно принял и взял под опеку на первых наших шагах в литературе Борис Абрамович Слуцкий. Мы часто встречались с ним, одалживались деньгами, иногда добродушно подшучивали над мэтром, а когда он заболел тяжелой психической болезнью, навещали его в больнице и, однако, каждый по-своему, постепенно отдалялись от него. Мое отдаление от Слуцкого было связано с ростом во мне русского понимания жизни, истории, литературы, у Шкляревского же причины были иные... Хотя он стал со временем ближе Слуцкому, нежели я. Может быть, потому, что жена Слуцкого Татьяна была, как и Шкляревский, родом из Могилёва (по-моему, она и фамилию носила Могилевская), а может быть, и по каким-то другим причинам. Ведь молодость Игоря, когда он переехал из провинциального Могилёва в Минск, прошла в окружении русифицированной еврейской интеллигенции. Ближайшими его минскими друзьями были литераторы Наум Кислик, Валентин Тарас, Григорий Березкин, Михаил Шульман, художник Борис Заборов, поэт Рыгор Бородулин. Будучи много раз в Минске, я всегда видел, как естественно и вольготно Игорю в их окружении, где его принимали всегда

как близкого человека и единомышленника. Приезжая к нему и возвращаясь от него через Минск, я часто встречался с ними. Встречи были веселыми, шумными, чаще всего застольными. Восходящая звезда белорусской поэзии Рыгор Бородулин, ныне один из столпов белорусского националистического Народного фронта, в те времена воспевал Брестскую крепость, подвиги партизан, славил дружбу народов, "ільічовы думы", Крупскую и село Шушенское, бил челом Дивногорску и Енисею. Нас с Игорем всегда встречал с распростертыми объятьями, угощал "Беловежской", провожал до вокзала или аэропорта. В один из вечеров подарил мне на прощанье свою книгу "Неруш" с залихватской дарственной надписью: "Дорогой Стасик! Я твердо знаю — ты чистый классик. А друг твой Шкляревский Игорь — полосатый поэтический тигорь! Без вас мы — степи без дождя, хунвэйбины без вождя! Рыгор. Минск. 1.III.67". Но все было гораздо сложнее, чем показалось однажды молодому поэту Петру Пинице, который у меня дома в подпитии, желая уязвить Шкляревского, обратился к нему со словами: "ну а ты, Лева из Могилёва", за что был тут же нашими дружными усилиями изгнан из квартиры в московскую ночь.

Я бы не вспомнил об этом эпизоде, если бы случайно не прочитал книгу "Москва златоглавая", изданную в Америке, поэта Давида Шраера-Петрова, давнего знакомого Игоря еще по Белоруссии.

Шраер, в частности, рассуждая о том, какая кровь течет в жилах того или иного поэта, пишет: "Еще сложнее с Игорем Шкляревским. Я до сих пор не знаю, кто он такой". Но к предположениям и гипотезам Шраера трудно относиться серьезно, поскольку он всегда был несколько "сдвинут" на еврейском вопросе и считал, что если кто из поэтов и талантлив, то только благодаря примеси еврейской крови. Он даже меня поэтому считает в своей книге полукровкой по материнской линии, не удосужившись из высокомерия даже выяснить, что моя мать родилась в крестьянской семье из калужской деревни Лихуны.

"27.5.1967.

Стас!

Я весь день борюсь со сном и скукой. Писать не могу, читать рад бы, да нечего. Детективы надоели. Хоть бы кто-нибудь из современников хорошую книгу написал. А если и появляется книга, например ,"Фортуна", то ее или замалчивают, или рецензируют, ничего не понимая.

Прочел в 10 номере рецензию Абрамыча, я его люблю и

уважаю, но он совершенно не понял мой мир. Природа, свобода слов и чувств, мысль во плоти, в чешуе, в росе, в порыве — для него это не мысль, ему надо рассуждение, то есть голая формула, нужны философские потуги и намеки, так их мать. Все эти намеки — не дело. Истинный поэт хрен ложил на все рассуждения о добре и зле, пусть сосноры смещают исторические планы при помощи древнерусских словечек и современных общественно-политических новостей и сплетен.

Ну, сука, я разозлился страшно и Абрамычу напишу, он уже не понимает, кто что значит и кто что может. А все оттого, что не понимает самого пронзительного — пространство и жизнь, костер и ледяное небо.

Жаль, что нету человека, который мог бы ему ответить. Тебе нельзя, а кто еще есть? Какой-нибудь правый дурак все дело испортит, а левые дальше подначек поэзию не понимают. "Рядовые гаденыши" не осилят, вот ё-моё! Весело живем — сначала надо написать, а потом еще и объяснить. Помнишь, в лесу мы об этом с тобой говорили. Ну вот, немного успокоился, если в письме найдешь "нескладуху", не обращай внимания, пишу по горячим следам рецензии Слуцкого.

Обнимаю — Шкляра".

* * *

В течение двадцати лет нашей дружбы мы не раз побывали с ним не только на его Могилевщине, на берегах чистейшей в те времена, а ныне отравленной Чернобылем реки Сож, но и на северных реках Мегре и Сояне, Золотице, в Грузии и на озере Кара-Гель в Нагорном Карабахе, и на моей родной Угре.

Я привозил к нему на Сож своего маленького сына Сергея, был надежным защитником во всех наших уличных драках, которые, как правило, начинались из-за него.

В нашем московском доме он в те годы всегда находил приют, отлеживался во время недугов, моя жена Галя кормила и опекала его, как будто он был моим младшим братом.

А мы строили планы, как ему, студенту второго или третьего курса Литинститута, прорваться в большую литературу. Летом 1965 года Ярослав Смеляков, главный редактор особо престижного и высокогонорарного издания "День поэзии", поручил мне составлять альманах. Этим шансом надо было воспользоваться во что бы то ни стало. Мы с Игорем подобрали 15—20 его лучших стихотворений и, улучив в Доме литераторов момент, когда Смеляков был в хорошем расположении духа, я подсунул ему подборку.

— Кто автор? — скрипучим голосом спросил Смеляков, полистав стихи.

— Молодой поэт из Минска! Да вот, кстати, за дальним столиком — кофе пьет... Позвать?

— Позови! — приказал Смеляков. Игорь как на крыльях подлетел к нам.

— Белорус? — внимательно вглядываясь в него, с напускной строгостью спросил Смеляков.

— Белорус, Ярослав Васильевич, белорус, — радостно подтвердил Игорек. — Вот в документе написано! — он протянул Смелякову паспорт.

— Я тоже белорус! — добродушно сказал мэтр и обратился ко мне: — Стихи хорошие. Надо напечатать большую подборку. Если места не будет, выброси сам из сборника кого не жалко!

Громадная подборка стихотворений Игоря вскоре вышла, к радости любителей поэзии и к зависти коллег по цеху, и вся литературная Москва заговорила о новом поэтическом таланте.

Но не все наши авантюры по добыче “славы и денег” заканчивались столь успешно. В том же году, получив гонорар за “День поэзии”, мы шумно попраздновали удачу в Доме литераторов, а вечером возвращались ко мне домой. Жена была в отъезде, сын у бабушки, и мы, предоставленные самим себе, куролесили от души. Однако в те же дни произошли и неприятные события. За какую-то драку в общаге Литинститута его ректор Владимир Федорович Пименов отчислил на время моего друга из числа студентов...

— Погоди, Игорек, не расстраивайся, — успокаивал я его. — Меня Пименов пообещал взять в число преподавателей, осенью я буду вхож к нему, и мы все уладим.

Но на нашу беду вечером, когда мы приехали ко мне домой на ночевку, мы перед сном стали читать вслух недавно напечатанный в журнале “Москва” роман Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита”, и когда дошли до сцены, в которой нечистая сила избивает несчастного Варенуху в сортире, то впали в восторг и неистовый хохот до изнеможения. Когда успокоились, кому-то из нас (кажется, мне) пришла в голову мысль:

— Давай Пименову пошлем телеграмму в ялтинский Дом творчества (мы знали, что он отдыхает там).

Дурное дело нехитрое. Через несколько минут я уже диктовал по телефону:

“Ялта Дом творчества писателей Пименову. Немедленно восстановите поэта Шкляревского Литинституте. Противном случае Вас ожидает участь Варенухи. Смотрите журнал “Москва” страница такая-то. Доктор Воланд”.

Ну, похохотали от души, заснули и забыли о своей хмельной шутке.

Но в сентябре, через месяц, в моей квартире раздался телефонный звонок.

— Станислав Юрьевич, ректор Института Владимир Федорович Пименов просит вас подъехать к нему завтра в 12 часов дня.

Ну, слава Богу, — облегченно вздохнул я, — наконец-то буду вести поэтический семинар в Литинституте! — Почему-то в то время мне очень хотелось учить студентов стихосложению.

На следующий день в костюме, в белой рубашке и при галстуке я, улыбаясь, вошел в кабинет Пименова.

— Здравствуйте, Владимир Федорович! — Но старик буркнул в ответ что-то нечленораздельное, выдвинул ящик стола, молча покопался в нем, нашел какую-то бумажку и с угрюмым лицом протянул ее мне:

— Эта телеграмма послана с вашего квартирного телефона. В суд на вас за угрозу физической расправы подавать не буду, но естественно, что ни о каком преподавании в институте и речи быть не может, и о восстановлении Шкляревского тоже.

Я прочитал злополучную телеграмму и сразу все понял. Отпираться было бесполезно, но я нашел путь к достойному отступлению:

— Владимир Федорович! Когда Бунин с Куприным, крепко выпивши, послали царю Николаю Второму телеграмму о том, что они объявляют Одессу вольным городом, — он просто направил им ответ: “Пейте, но закусывайте”...

Однако ни один мускул на лице ректора не дрогнул, и я понял, что надо уходить. На прощанье успел задать глупый вопрос:

— А как вы узнали, что телеграмма послана с моего квартирного телефона?

Пименов мрачно улыбнулся и похвастался:

— Прежде чем стать ректором, я работал в разных учреждениях и на разных работах.

Игорь тянулся ко мне, словно отрок, обделенный в свое время родительской заботой, как мальчик, испытавший немало унижений во время детдомовского отрочества, как хрупкий человек, которому всю жизнь не хватало дружеской заботы и мужской поддержки.

Я чувствовал, с каким пристрастием, с какой ревностью он восхищался моей двужильной выносливостью, непри-

хотливостью, уверенностью в себе... Недавно копался в папках и нашел его фотографию с надписью:

"За веселую нашу дорогу
сквозь отчаянье, холод и мрак.
За твою золотую тревогу,
ясный разум и твердый кулак.

Люблю тебя. Твой Игорь".

В первые годы дружбы я со снисходительным добродушием относился к его сверхъестественной мнительности, боязни заразиться от рукопожатий, от плохо вымытых вилок и ложек в столовых общепита, от невыносимого болезненного внимания к каждому своему чиху, к горечи во рту, к прыщику на щеке, к малейшей боли под ложечкой. Даже дверь в туалет он, как правило, открывал ногой, а если рукой, то предварительно оборачивая ее в полу пиджака.

— Эх, друг, — с завистью как-то раз признался он мне. — Знаешь, почему Юлий Цезарь покорил варваров германцев? Потому что, когда римские легионы однажды попали в окружение и страдали от голода, он был способен есть прогорклое, испорченное масло! — Он размышлял о Цезаре и печально глядел, как я уплетаю сало, только что поставленное на стол теткой Соней, нарезанное ее темными от работы и, честно говоря, не особенно тщательно вымытыми руками...

При двадцатикилометровом переходе через тайгу и болота от озера Елдома до Сояны мы не раз падали от усталости на рюкзаки, и чтобы освежить рот, подчиняясь какому-то природному инстинкту, я часто принимался жевать неведомые мне побеги трав, лиственничную смолу, клейкие листочки различных кустарников. Это и восхищало и ужасало его.

Друг ел траву! Хрустели корни.
Жевал то стебель, то листок,
То сплевывал лиловый сок.
Так горечь сплевывают кони.

Я жевал траву, а Игорь, затягиваясь сигаретой, спокойно цедил сквозь зубы нашему третьему спутнику, тащившему на себе кроме своего рюкзака рюкзак моего друга, в ответ на его недовольное ворчание:

— Ты пойми, что несешь вещи лучшего поэта России. Это для тебя большая честь!

Они начинали ругаться под низким северным небом, а я, слушая их обоих, хохотал от души.

Но, как бы то ни было, мой друг смотрел на меня с завистью и восхищением, потому что сам не мог есть это сало и боялся отравиться этими травами, после рукопожатий с неприятными людьми обтирал руки носовым платком. Он, выросший на послевоенной улице, никогда не мог докурить за кем-нибудь половинку сигареты, что было для всех нас обычным товарищеским ритуалом.

Как он мечтал избавиться от всех этих комплексов, как мечтал быть сильным и здоровым, прочным и в то же время ощущал, что это невозможно и что у него есть лишь один путь, чтобы уменьшить количество своих непрерывных страданий — добиться известности, богатства, успеха, почитания, отгородиться стеной благополучия от убогого образа жизни, принесшего ему столько унижений. "Тот, кто в детстве настрадался, — в юности свое возьмет", — часто повторял он и время от времени изливал свою душу в письмах, избавляясь хотя бы таким образом от одиночества, взращенного в душе во время жуткой детдомовской жизни.

"Я страдаю от язвы, а тут еще грипп навалился, в комнате жарко, старые обои трещат и отклеиваются, и сам я расклеиваюсь и трещу.

Одна радость — мысленные разговоры с разными нашими знакомыми и чтение писем Лермонтова, писем и заметок Пушкина, прочел его историю Петра и историю Пугачевского бунта — почти все в 5-м и 6-м томах..." "А леса совсем еще зеленые, в полях светло, грустно, друг, если бы ты знал, как мне тяжело. Обнимаю тебя нежно. Не прощаюсь. Пиши мне. С трудом поддерживаю бодрость духа..."

"В Александровке у меня появились друзья, родители Лёньки, светлые люди, сплю у них на сеновале, пью молоко, ем супы и кисели, у деда покупаю мед... Кислик и Заборов нагрянут — покажу им класс. Приезжай скорее, ягод до черта, воздух такой, что можно тысячу лет жить, приезжай, друг".

Через двадцать лет весь этот рай был накрыт чернобыльским облаком.

Больше всего он любил рассказывать о своих мифических успехах на ринге и перечитывать Александра Дюма и часто повторять чью-то мысль, кажется, Гёте, о том, что образование к избранным приходит во сне. Впрочем, читая его письма, я начинал верить Гёте, хотя иногда его похвалы мне казались не то чтобы неискренними или льстивыми, скорее уж чересчур экзальтированными. Однако сейчас на склоне жизни я должен

признаться, что во многом он был нужен мне не меньше, чем я ему. Дело в том, что к тому времени, закрученный бытом, обремененный семьей, необходимостью постоянного заработка, московской борьбой за самоутверждение в литературном мире, я вдруг начинал сознавать, что задыхаюсь, что мне не хватает кислорода, что я теряю многие из природных связей с рекой, лесом, вольной жизнью, которой жил в послевоенное время. Знакомство с Игорем помогло мне вернуться к родному для меня образу мыслей и чувств, черты которого уже начинали стираться в моем мироощущении.

"Здравствуй, друг!

Через шестьсот сырых расхлябанных верст посылаю тебе несколько слов. Держись, родной, и люби себя, потому что ты один из самых умных людей в России и поэт не меньше Баратынского... И вот ведь, что интересно, в частностях ты проигрываешь иногда Соколову или мне, во всяком случае, в частностях ты нам больше проигрываешь, но в целом ты, сука, выигрываешь! В этом твоя тягучая сила, твоя золотая тяга, твоя длинная терпкая тоска и еще что-то.

Кстати, перелистал я Белинского, вот у кого "проколы" — один за другим, а иногда просто глухота. Что касается Писарева, то он довел меня до раздражения сразу несколькими страницами. Игра его ума для юношей и дерзость запланированная тоже для филологов второго курса пединститута. Читаю "Божественную комедию", вдруг откладываю, начинаю читать Блока — он совсем исключил мастерство из поэзии, он выше и беззащитнее, потом читаю Сельвинского — где мастерство, там еще ничего, "тигр, ленивый, как знамя", а где душа обнажена — там скука, слабина, глупость. Вот так я тасую, тасую века и поэтов и незаметно крепнет чувство собственного достоинства, особенно после чтения таких, как Ахмадулина. Кроме жеманства, ничего своего, все остальное из Пастернака... Живу плохо, потому что одиноко и язва болит..."

Ну разве не было наслаждением читать такое его письмо, в котором был он весь — с капризами, недугами, взлетами духа, тщеславием, прозрениями, стоицизмом, бесконечным эгоизмом, полной откровенностью, неизбывным ребячеством, неожиданными глубинами мысли, звериной остротой взгляда, мелочностью натуры и несомненным талантом.

"Я медленно восстанавливаю силы, выпущенные хирургом-стоматологом вместе с тазом крови и гноя, час сорок минут разрывали мою пасть, резали опухоль на надкостнице,

выламывали зуб, щипцы в рот не пролезали, врачи вспотели, я моргал, пока не отключился... Дали нашатыря.

Утром я проснулся и со всей реальностью ощутил то, что раньше воспринимал только одной стороной своей души — физические страдания Пушкина после дуэли, когда он лежит на снегу. Багрицкий, сука, написал слащавую х...ю:

И Пушкин падает в голубоватый
Колючий снег...

Все эти мои физические страдания и чтение "Войны и мира" сделали свое дело — что-то изменилось во мне, и, как я понял, навсегда. В двух словах об этом не скажешь, но если раньше мгновения моей жизни были мгновениями встречи осени, женщины, друга, смерти, то теперь это прощание с другом, осенью, женщиной и самим собой, которого я люблю, и если Гегелю не понятна сияющая бездна и совесть (Канту. — **Ст. К.**)*, то мне лишь одно — смерть.*

Дня три назад решил попрощаться с природой, обвязал пасть и уехал на "москвиче" в Александровку с юным ординарцем Лихой, который ловит каждое мое слово, боксирует, лучше меня владеет веслом, не трус и умен. Ночевали мы в пустом недостроенном доме деда Павлюка, окна еще без стекол, и всю ночь как раз там, где горел наш прошлогодний костер, кричали дикие гуси. Душа разрывалась! Арина с ведрами прошла и говорит: "Гуси кричат". Я чуть не разрыдался. А на плесе нашем пусто и мертво. Ни поклевочки... Да, у меня двустволка. Ночью я и Лиха бьем лампочки на обрыве, где Никольский собор, но на рыбалку не беру — все из-за этой надкостницы и боли. Жалко убивать птиц.

Обнимаю тебя.

Игорь.

16 сентября 1966 г."

И еще отрывок из письма, полученного мною в далеком узбекском городке Шахрисабзе, куда я в то время прикочевал в геологическую экспедицию с Эрнстом Портнягиным:

"В конце августа жду в Александровке, грибов будет очень много, земля звенит, а ночи стали холоднее, дело к осени. Вот и еще одно лето косыми лучами скользнуло по нашим лицам, уже немолодым. Привези какую-нибудь хрустальную друзу. Никогда я не был на Памире. 1968 г."

* * *

Летом 1971 года мы, трое заядлых рыбаков и путешественников (третьим был организатор поездки Игорь Печенев), добрались до озера Кара-Гель — дорога была трудная: на поезде, потом на машинах, потом по Карабахскому бездорожью на лошадях. Шкляревский растряс все свои болячки и на берегу озера, где мы поставили палатку и ловили форель, усилием воли продержался несколько дней, а потом свалился с резями в животе. Не дай Бог аппендицит! Глядя на его желтое лицо, впавшие щеки, на мокрые от жара жидкие пряди волос, прилипших ко лбу, я понял, что мне нужно по запутанным тропам легендарного нагорья выйти к какой-нибудь крупной деревне, где есть телефон, и дозвониться до азербайджанского селения Ахметли, откуда нас доставили на лошадях к озеру, чтобы, пока ему не стало совсем плохо, за ним прислали лошадей.

Целый день с утра до вечера я шел на восток, выпытывая у редких, плохо говорящих по-русски пастухов дорогу, сбивался с маршрута и снова находил его, опускался без сил на траву, жадно пил воду из ручьев, заставлял себя подняться, думая лишь о том, каково там ему на берегу озера... Но нет худа без добра. Обошлись мы без аппендицита, и в итоге родилась поэма "Карабахская хроника".

Но я забыл сказать, что вдруг
мой опаленный солнцем друг
свалился с приступом во чреве.

Если же собрать все мои стихи, посвященные ему, а также те, в которых он так или иначе присутствует, и его стихи, где присутствую я, то получится если не роман в стихах, то целая небольшая книга, замешенная на дружбе, ревности, преданности, разочаровании, клятвах, разрывах...

Однажды в порыве ревности он даже допустил непростительную ошибку: звериная проницательность на мгновенье покинула его — и он принял мои стихи, в которых я прощался с Анатолием Передреевым, на свой счет:

Прощай, мой безнадежный друг,
нам незачем вести беседу,
ты вожжи выпустил из рук,
и понесло тебя по свету.

Каково же было мое горькое удивление, когда в книге "Неназванная сила", которую Игорь подарил мне с подписью

“Дорогому Станиславу, автору гениальной “Карабахской хроники”, я вдруг прочитал:

“И понесло тебя по свету”, —
перечитал я строчку эту
и с горечью подумал вдруг:
чему ж ты радуешься, друг?
Зачем придумываешь мне
напасти? Их и так немало.
Теперь я одинок вдвойне
у Белорусского вокзала.

На Белорусском вокзале я обычно провожал его в Могилев, сажал в поезд, обнимал на прощанье.

Я переживал наши размолвки по-своему, но не меньше, чем он. Время от времени воскрешал в памяти безоблачные картины молодой жизни, листая его книги, перечитывал стихи, и это заживляло раны и ссадины от его же мелких пакостей, случайных предательств, недостойных его таланта интриг.

Люблю протяжный стон гусей,
березы желтое отрепье
и поздней осени твоей
угрюмое великолепье!

Люблю, когда прозрачный лед
звенит, расколотый о сваи,
и с крыльев золото течет
на деревянные сараи.

А ночью ветер ледяной
солому кружит во вселенной,
и не поймешь, где звук живой,
где только отзвук незабвенный.

В такую ночь уже нельзя
всю душу выболтать растеньям,
надежды, женщины, друзья —
все подвергается сомненьям.

Но ты — моя святая дрожь!
Где шум лесов, где вздох народа?
Где слезы матери, где дождь?
Где Родина, и где природа?

Нет, недооценивали его стихи Кожинов и Соколов, а я любил — вот почему на два десятка лет он и притулился ко мне, вот почему и открывался мне в письмах таким, каким его не знал никто, — проницательным эгоистом, отчаявшимся волчонком, ранимым сверхчеловеком, наивным мизантропом.

“Здравствуй, друг!

Это письмо ты получишь как раз в день рожденья. Я давно тайно подозреваю, что мир был задуман мудрее, но случился какой-то просчет, и лучшие люди этой земли обречены на ту же участь, что и ничтожества.

Мы не получаем за свои бескорыстные страдания ни одного десятилетия сверх, даже “северную надбавку” время не выделяет нам, наоборот, урезает отпущенное.

“Лицом к лицу лица не увидать”, нас еще оценят те, кто понимает, “где поза, а где свобода и полет”. Только не видать этих ценителей, оглядываюсь — не вообще, а вот сейчас, в Ессентуках — какая грусть!

Доступные уродки и жалкие подобия мужчин сосредоточенно шаманствуют в буфете; ужас, как берегут себя, и на кой хрен? Для чего? Для каких грядущих светлых поколений? Для каких высших замыслов? Для себя, и только. Стадные инстинкты — жить подольше и получше; что бы ни случилось, стряхивают с себя, как собака воду, в крайнем случае, реагируют периферийной нервной системой, и уж точно не центральной. Забывают мгновенно все, что мешает им быть счастливыми, этот мотылек с тяжелым задом, когда хочет сказать “череп”, то говорит “труп”, очень любит иностранные слова и тайно, сука, обожает песни Рождественского. Друг, люди очень изменились, вторая жизнь — надежда темных, никто в нее не верит, никто не боится пакостить.

В санатории даже лечатся “втихаря”, один другому не говорит, что поглощает кислородные коктейли или бегает на нарзанные ванны, вынашивают в своих больных печенках тайное злорадство: я лучше лечусь, я быстрее поправлюсь. Мерзость. И чем пристальней я смотрю на них, тем дороже мне ты и еще два-три человека. Недостатков, кстати, и у тебя до хрена! Но разве это по нынешним временам недостатки?.. Да это просто достоинства! И вообще у поэтов нет ни достоинств, ни недостатков. Ты все маслята, сыроежки, обабки и волнушки вовремя из корзины выбросил и набрел на боровую рощу. И берешь белые, благородные — молча, вдали от жалких ликований неразборчивых заготовителей. Мне это легко говорить, потому что дружба здесь ни при чем. Мы друг в друге не ошиблись, и слава Богу!

Поздравляю тебя и целую.

Твой Игорь
24.11.72”.

Годы, борьба за выживание и успех, болезни, неудачная женитьба с каждым годом все беспощаднее ломали его хрупкую натуру. И я, погрязший в своих драмах и поисках собственного пути, уже все меньше мог поддерживать и спасать его. Разве что пониманием. Болезненное презрение к людям, нарастающая с каждым годом замкнутость, одинокая гордыня ("И нет в творении творца". — **И. Ш.**) и какой-то тупиковый биологический материализм все глубже и глубже отдаляли его от меня.

Он порошки и капли пьет —
не спирт и не коньяк.
А если руку обдерет,
мрачнеет, как маньяк.

Что делать! Не его вина,
а возраст и недуг...
Но вспоминаю времена —
был дерзок юный дух.

Как любо-дорого смотреть
мне было на него,
когда он стоя пил за смерть,
как Блок или Рембо.

Смущались, слыша эту речь,
отважные друзья.
"Конечно... что себя беречь,
Но пить за смерть? — нельзя..."

Вольно смеяться над судьбой,
но будь готов тогда
к тому, что и она с тобой
пошутит иногда.

Сначала я думал, что дело только в особенностях судьбы, душевного склада и различного рода комплексов, но все, видимо, было гораздо банальнее.

Жизнь ломает нас — и каждого по-своему.

Когда он написал свои лучшие стихи, которые, кроме меня, может быть, по-настоящему не оценил никто, когда увидел, что к нему не пришла слава, на крыльях которой можно было летать, держаться на воздушных потоках, жить полной жизнью, то начал склонять голову перед силой обстоятельств. Это мало кто заметил, разве что я да еще покойный Передреев. Он начал осторожно и скрытно приспосабливаться к жизни, не то чтобы делать карьеру, нет. Для такого пути Игорь был слишком умен. Нет, он стал завязывать связи с нужными людьми такого склада и положения, которых в юности либо не замечал, либо при встрече с ними смотрел сквозь них.

До меня впервые это дошло, когда я увидел, как он дарит Сергею Михалкову однотомник своих стихотворений. Михалков по-барски обедал в ресторане Дома литераторов, а Игорь, наклонившись к нему, подписывал книгу, что-то говорил, с проникновенными просительными интонациями, пока "дядя Степа" для приличия держал книгу в руках, нетерпеливо ожидая, когда же этот молодой поэт даст ему спокойно съесть судака по-польски.

А потом вышла книжица Шкляревского "Поэзия — львица с гривой", где среди размышлений о "Слове о полку Игореве", о Лермонтове и Блоке, о Пушкине и Есенине были умело "вмонтированы" главы, посвященные переводам жены Михалкова Натальи Кончаловской, эссе о творчестве последнего заведующего Отделом культуры ЦК КПСС крохотного стихотворца Юрия Воронова, и что уж совсем было прискорбно для меня — "Письмо Сергею Бобкову" — маленькому, ныне прочно забытому модернисту 70—80-х годов. Плохо было то, что Сергей Бобков был сыном известного начальника из КГБ Филиппа Бобкова, ведавшего "работой с творческой интеллигенцией", скверно было то, что за дружбу с его сыном в те годы шла борьба между русскими и еврейскими литературными кругами, между Анатолием Ивановым и Михаилом Шатровым, Олегом Шестинским и Евгением Сидоровым. Все писали о Бобкове-сыне. Но хуже всего было то, что так, как написал Игорь, не додумался написать никто:

"Прочел твою "Судьбу..." Пронзительные и точные стихи... В твоей книге есть широко раскинутый невод... И не сухой! В этом ты — Сергей Бобков — и от города, и от поля, и с князем Игорем, и с Голиафом..."

Это был верный путь к фортуне, к квартирам, государственным премиям, привилегированным заграничным командировкам. Борьба за поэзию и чистую славу заканчивалась. Началась нешуточная борьба за существование на высшем уровне, за успех, за возможность время от времени попадать в чиновничьи кабинеты не только к Георгию Маркову, но и к своим всемогущим цековским землякам — Василию Филимоновичу Шауро и Михаилу Васильевичу Зимянину. Зачем при таких крупных ставках ему старый друг в придачу с дискуссией "Классика и мы", с его письмом в ЦК по поводу "Метрополя", с поисками какого-то русского пути? А куда девать помимо отношений с кланами Бобковых и Михалковых всю минскую ауру? А столь желанные связи с покровителями со Старой площади? Нет, на этой судьбоносной развилке надо сделать окончательный выбор, прислушаться к своему инстинкту

самосохранения, тем более что поводов для разрыва накопилось за двадцать лет более чем достаточно... Вот и пришли мы к тому, с чего я начал: “Я не буду на твоем пятидесятилетии, но всегда смогу помочь тебе тайно...” Впрочем, справедливости ради надо сказать, что когда я в машине возле площади Восстания вслух прочитал ему свою статью о Багрицком, то он, помолчав, сказал: “Гениально. Но это никогда не будет напечатано. Дай прочитать ее мне домой”. И вскоре ответил письмом.

“Дорогой друг!

Я дважды прочитал твою статью, сегодня для нашей поэтической жизни это переливание крови. С удовольствием пишу тебе, потому что никто меня за язык не тянет, статья живая, слова — веские, мысли беспристрастные! “Все свершается всерьез”.

Целую, твой Игорь”.

Но жить-то надо!

А тут еще незадолго до моего юбилея трагически погибает в 1977 году в Таджикистане поэт и геолог Эрик Портнягин, который посмертно добавил холода в пламя нашей тлеющей дружбы. В середине 70-х годов, он, хорошо знавший Игоря, написал о нем жестокое стихотворение:

Ворвался ты в большие города,
талантливый, ото всего свободный,
от совести лечила слобода,
от благородства жребий беспородный.

Там на базаре воля и разбой,
там подворотня с честью не знакома.
Из малого местечка вынес боль
и хилость из голодного детдома.

Прекрасен был твой искренний рассказ
о рыболовных, пригородных далях,
увидел много одаренный глаз,
открыл свою поэзию в деталях.

Их отдавая, старилась душа,
поправшая величие и жалость,
на праздник честолюбия спеша,
без мысли и потомства иссушалась.

На все есть цены, даже на друзей,
они растут... не сомневаясь долго,
ты продаешь их. В юности твоей
тебя не зря учила барахолка.

Не Бог весть какие стихи. Честные, жестокие, но прямолинейные, дидактические, однако Портнягин незадолго до смерти составил сборник и отнес его в издательство "Современник". После его гибели хлопоты по изданию книги взял на себя я. Написал к сборнику предисловие, и книга вышла со стихотворением, обращенным к Шкляревскому, в 1980 году. Может быть, это было последней каплей в наших отношениях с Игорем, и мне пришлось, после его обещания помогать мне "тайно", развязать узелок, завязывавшийся двадцать лет.

"20 октября 1982 года.

Милый Игорек!

Считай, что о твоем участии в моем юбилее разговора у нас не было. Я, правда, думал, что он тебе не менее нужен, чем мне. В сущности, предлагая тебе выступить, я больше думал не о себе, а о тебе. Хотелось хоть в какой-то степени сохранить тебя. Ты или не понял, в чем дело, или тебе сейчас это не нужно. Как бы то ни было — жизнь окончательно все прояснила. Забудем этот разговор. Прошу тебя ничего для меня не делать, ни перед кем меня не защищать и не оправдывать. Мне этой подпольной помощи не нужно. Вредить ты мне не будешь — в это я верю. И того хватит. Я — не человек интриги. Мне нужно, чтобы все было ясно, прямо, открыто.

Что же касается стихотворения Эрика Портнягина — то спорил бы с ним, а не со мной. Покойный наш друг сам оставил это стихотворение в рукописи, не боясь последствий. Почему я должен был нарушать его волю, не зная до конца ваших отношений и не зная всего, что дало Эрнсту повод для написания этих стихов?

Я пришел к окончательному выводу, что отношения наши настолько изжили себя, что продолжать их просто нелепо. Мы взаимно стали неинтересными и ненужными друг другу. Откажемся от формулы "мы со Стасиком", и я со своей стороны обязуюсь не произносить "мы с Игорем". Решение это созревало во мне не просто. Во многом тому способствовала смерть Эрика, после которой я как-то вдруг его глазами посмотрел на тебя. Обойдемся без лишних разговоров, тем более что каждый из нас уверен в своей правоте.

Прощай. Станислав".

В своей недавно (1997 г.) вышедшей новой книге Игорь Шкляревский, обычно всегда избегавший шагов и поступков, которые могли быть истолкованы как политические или

идеологические, сделал ряд “знаковых” посвящений. Посвятил стихи известному демократу Юрию Карякину, главному редактору “Московского комсомольца” Павлу Гусеву, “совести русской культуры” Дмитрию Сергеевичу Лихачеву.

* * *

Однажды в 1972-м или 1973 году Игорь приехал из Минска восторженный и возбужденный.

— Друг! Фортуна улыбнулась нам. Я разыскал в Минске средневековую поэму “Песня об охоте на зубров в беловежских лесах”. Автор Микола Гуссовский — могилевский лесничий. Всё в масть! Вещь гениальная. Давай на пару срочно переведем ее. Написана поэма на латыни. Подстрочник я уже заказал. Мировая слава — гарантирована. И гро́ши такие, что нам никогда не снились! Поэма не слабее “Слова о полку...”!

Он рисовал столь увлекательные перспективы, что мы помчались на Белорусский вокзал и утром в Минске в подробностях обсуждали великий проект, обещавший нам славу и деньги. Правда, дело оказалось не столь простым, поскольку поэму уже начал переводить на белорусскую мову Иосиф Семяжон, подстрочный перевод которому с латыни сделал Семен Порецкий, и делиться со своим земляком и каким-то приезжим москалем мировой славой, а тем более деньгами они явно не желали. Однако остановить Игоря было невозможно.

Через свою белорусскую агентуру он каким-то полулегальным образом достал на время подстрочник поэмы, снял с него копию, и мы, торжествующие, бросились обратно в Москву, чтобы засесть за работу.

Однако в несчастливый день, видимо, эта великолепная идея пришла в голову моему другу.

Поэма действительно замечательная, полная шума лесов, звона оружия, воинских и охотничьих страстей, созданная на латыни в начале XVI века, — в нашем вдохновенном переводе, к сожалению, не привлекла внимания ни одного столичного журнала и ни одного центрального издательства.

Разочарованию Игоря не было предела.

— Суки! — стучал он кулаком по столу. — Им бы все издавать Роберта Рождественского да Ваську Федорова! Где справедливость? Нет правды на земле!

Судьба “Песни о зубре”, или “Корриды в Беловежье” — как мы ее называли, долго не давала ему покоя.

"Друг! Я еще раз насладился чтением "Корриды". Надо показать ее начальству "Нового мира" и отнести в Гослит. Вероятно, я залягу с аппендицитом, надо его вырезать, хожу скорчившись. Если есть время, займись пока нашим делом один. Новостей нет. Хвораю. Ну вот и все, если не писать о главном — в Могилёве ранняя, теплая, бурная весна, лед на реке чернеет, в воздухе стоит запах сырых деревьев, а ночью всё звенит.

Обнимаю тебя. Игорь".

Так и пролежала "Песня о зубре" четверть века у нас в столах до нашего окончательного разрыва и до нашей старости. Несколько лет тому назад я перечитал ее, пожалел о затраченном вдохновении, и поскольку издавать перевод под двумя фамилиями было нелепо, взял и доперевел Игореву половину поэмы.

Полностью в моем переводе она наконец-то в 1998 году была издана не где-нибудь, а на родине Игоря в Белоруссии, где и положено ей быть изданной. Мне кажется, что Игорь тоже сделал свой вариант полного перевода. По крайней мере он пишет об этом в книге "Поэзия — львица с гривой". Но ни больших денег, ни славы не получилось ни у меня, ни у него. Правда, как бы продолжая осуществление авантюрного замысла, он в 1985 году вдохновенно пересказал "Слово о полку Игореве", заработав наконец-то деньги и славу. И совершенно заслуженно. В "Песне о зубре" есть строки, которые сейчас, когда я пишу эту главу, невольно вспомнились мне:

Ставлю ловушки для сердца, для памяти — сети,
Но невозможно поймать убежавшее время!
Коли ушло и погибло, то пусть погибает.
Мы не всесильны. Судьбе не навяжешь законов.

* * *

Конечно, любимым его поэтом был Лермонтов.

Земные взоры Пушкина и Блока
Устремлены с надеждой в небеса,
А Лермонтова черные глаза
С небес на землю смотрят одиноко.

Велик соблазн походить на Лермонтова сиротством при живых родителях, одиночеством, внешностью, капризами, презрением к роду людскому, словами "облитыми горечью и злостью", и полным нежеланием понимать чужую душу — особенно женскую... Но если кого он и любил "безумно,

безнадежно", то свою первую жену, с которой познакомился при мне на Новом Арбате, которую я сватал ему, смутно понимая, что ничего из этой затеи путного не получится, потому что все выглядело крайне смешным: и знакомство, и сватовство, и свадьба, и тем более семейная жизнь. Одно утешение, что у Лермонтова все было бы точно так же. Одни стихи только получились не смешными, можно сказать, с лермонтовским клеймом:

Два облака белых плывут по лазури,
Стоит ослепительный зной.
Ну вот мы и встретились после разлуки!
Невечной разлуки земной...

Над жизнью, в которой мы прочно забыты,
Над синим холодным Днепром,
Над кладбищем, где мы не рядом зарыты,
Сегодня мы рядом плывем.

Два облака белых... Одно розовеет,
Над миром приветствуя день.
Другое опять отдалиться не смеет,
Лежит на нем первого тень.

Нам встретится дым! И о юности милой
Ты вспомнишь и нежно взгрустнешь.
Я ливень пролью над твоею могилой...
А ты над моей не прольешь.

Ты первой иссякнешь в пылающем небе,
Рванусь за тобою, звеня!
Но в клевере, в глине, в полыни и в хлебе
Ты разве дождешься меня?

Два облака белых плывут по лазури.
Стоит ослепительный зной.
А может, и не было вовсе разлуки,
Невечной разлуки земной?

Нет, Передреев был неправ, упорствуя в своем неприятии Игоря: "Ну что ты в нем нашел? Он же такой маленький..." Поэт, пишущий такие стихи и такие письма, конечно же, не годился для семейной жизни:

"А еще в Могилеве я понял, что в этом мире нигде и никогда не бывало обоюдной любви. Дело это личное, сугубо одностороннее и полезное только до поры. Еще одна ошибка всей мировой литературы: женщина в ней нарисована существом более тонким, нежным и беззащитным, чем мужчина. Увы, все наоборот. Они на все смотрят трезвее и жопу детям вытирают, когда мы сочиняем элегии. Но

тратиться на них стоит, — дело верное, ведь мы гроши проживаем, а они вкладывают в недвижимость, которую можно опять превратить в гроши. И вообще не мы их, а они нас охмуряют, но так как мы тоньше и умнее, они предоставили нам делать это за них — охмуряться!

..."Жалуются на равнодушие русских женщин к нашей поэзии, полагая тому причиной незнание отечественного языка: но какая же дама не поймет стихов Жуковского, Вяземского или Боратынского? Дело в том, что женщины везде те же. Природа, одарив их тонким умом и чувствительностью самой раздражительною, едва ли не отказала им в чувстве изящного. Поэзия скользит по слуху их, не досягая души; они бесчувственны к ее гармонии; примечайте, как они поют модные романсы, как искажают стихи самые естественные, расстраивают меру, уничтожают рифму. Вслушайтесь в их литературные суждения, и Вы удивитесь кривизне и даже грубости их понятия... Исключения редки". А. С. Пушкин (Отрывки из писем, 1827 г.) Рука моя чуть не вывела 19... такой-то год, потому что как свое писал..."

* * *

Однажды я уезжал от него на такси в Минск. Вместе со мной в машине сидели трое: выпивший отец семейства лет тридцати пяти, а с ним жена и дочь. У отца семейства был стриженый короткий ежик, маленькие в глубоких глазницах глаза и лицо, воспаленное от солнца и отпускного хмеля. На полдороге он вдруг начал декламировать стихи:

Выткался на озере
алый свет зари...

А когда проезжали какой-то поселок, то потребовал остановить машину: решил встать в очередь за бочковым пивом. Но я был раздражен на пьяного человека и на шофера, который посадил его, и сказал:

— Я опаздываю на самолет...

Шофер машину не остановил: "Для меня закон, как пассажиры скажут".

На его лице появилось удовлетворение: мол, получил, алкаш! А вслух он добавил:

— Выпивши, какой вы начальник! Простой смертный...

— А ты бессмертный?! — возмутился отец семейства. —

Хорошие вы люди, далеко пойдете... — Он помолчал минуту, другую и снова запел:

> Чтоб всю ночь, весь день мой сон лелея,
> о любви мне сладкий голос пел.
> Надо мной чтоб, вечно зеленея,
> темный дуб склонялся и шумел.

Жена не выдержала:

— Толя, перестань, неудобно...

А мне вдруг стало стыдно: хорошему человеку — Есенина поет! Лермонтова! — пива не дали выпить. И шофер сразу стал неприятен...

— Замолчи, дура! — Голос у него был хриплый, но приятный. И обратился к шоферу: — Что, петь запрещено?

— Почему — если вы дома! — Шофер, аккуратный блондин при галстуке, в куртке под замшу... — если вы дома выпили — то пожалуйста! — (благопристойный, стандартный сукин сын.) — А здесь, в машине, люди каждый в своих мыслях, может, кому и неприятно.

— Люди, ну да, конечно! — пробормотал голубоглазый.

А шофер продолжал философствовать:

— У каждого своя судьба...

Отец семейства с отчаянием махнул рукой:

— Да нет, не о том мысль моя... Боимся друг друга. Природу не любим. Вот Пушкина помнишь? “И днем и ночью кот ученый всё ходит по цепи кругом”... Пушкин любил природу, и Есенин любил... Вот к чему я говорю!

А я вспомнил о темном дубе, под которым спал последние несколько дней... Он склонялся и шумел над нами, когда мы с другом усталые входили в его тень и падали на свежее сено...

Спали, как мертвые... Друг однажды заснул с сигаретой в зубах и прижег нижнюю губу... Небосвод... Какое звездное небо полыхало над нами!.. Дуб пушкинский, дуб лермонтовский... Темный дуб... А какое звездное небо сверкало по ночам, поворачиваясь вокруг Полярной звезды! Как там Кант сказал? Есть два чуда — совесть во мне и звездное небо надо мной...

— Совесть потеряли! — раздался голос голубоглазого, словно бы он прочитал мои мысли... — Не по-лермонтовски живете, не по-есенински!

На самолет я действительно чуть не опоздал. Расставались мы в Минском аэропорту. Я сказал его жене:

— Интересный человек ваш муж.

Она покраснела. Застеснялась:

— Ну что вы, мне так неудобно было!

* * *

Сейчас Игорь, как и все мы, доживает жизнь. Тихо, осторожно, незаметно. Славы уже не будет. Успеха уже не нужно. Деньги есть. Славу заменили премии, время от времени втихаря выдаваемые в долларах демократическими фондами, выросшими как опухоли на развалинах жизни. Детдомовская бедность и молодое высокое честолюбие давно в прошлом. Словом, он добился того, чего хотел. “Тот, кто в детстве настрадался — в старости свое возьмет”.

Все было так. Шумел зеленый дуб.
Вставало солнце над прибрежным лугом.
В густой тени дремал мой юный друг,
тот человек, что был мне лучшим другом.
Он почернел и вымотался весь
от ранних зорь, от золотого плена,
от страсти жить, от жажды пить и есть
так изнемог, что навзничь рухнул в сено.
А шум листвы и птичья щебетня
твердили нам, что наступило лето...
В его губах дымилась сигарета,
он спал как мертвый... Капелька огня
достигла рта.
  Он вскрикнул.
              В два прыжка
слетел с обрыва и, как зверь, губами
припал к струе, и чистая вода
слизнула боль и остудила пламя.
Вся наша жизнь шумела в лад с рекой,
совсем иными были наши лица...
Добычей, смехом, родиной, тоской —
мы всем готовы были поделиться.
Он был здоров и молод. Потому
глядел на мир так весело и юно...
Вот почему, вперяя взгляд во тьму,
я думаю печально и угрюмо:
неужто честь, отвага и душа
всего лишь результат избытка силы.
Но только плоть достигнет рубежа,
когда земные радости немилы,
как проступают в лицевых костях
отчаянья и замкнутости знаки.
Не дай мне Бог!
На старых тополях,
справляя свадьбы, раскричались птахи.
Опять весна. До самой синей тьмы
над гнездами хлопочет птичья стая,
и я внимаю шелесту листвы,
как по страницам жизнь свою листая.

(1975)

“Коммунисты, назад !”

Обаятельный Шурик-лгун. Наша эпистолярная дуэль. Увлечение и охлаждение. Неизбежность разрыва. Ночь у Татьяны Глушковой. Тайны еврейского менталитета

В конце шестидесятых годов в Доме литераторов постоянно пьянствовала шумная парочка: маленький — полтора метра с кепкой — детский писатель Юрий Коринец, человек с бугристым смуглым лицом, ежиком волос и стоящими торчком усиками, и громадный, расхристанный, похожий на бабелевского биндюжника, старый лагерник Юрий Домбровский... Терять им было нечего, замечательный писатель Домбровский отсидел семнадцать лет, Коринец вырос в казахстанской ссылке, — и махнувшие рукой на всякие условности советской литературной жизни друзья постоянно напивались и вели себя как душе было угодно...

В узком проходе, соединяющем пестрый зал с дубовым, величественно идут двое — впереди маленький Коринец с тарелкой, на которой закуска, а за ним, покачиваясь, мохнатый, словно снежный человек, с волосами чуть не до плеч, в расстегнутой до брючного ремня рубахе, с двумя фужерами водки в обеих руках, Юрий Домбровский. Навстречу им со стороны дубового зала появляется трезвый Межиров. Завидев его — благополучного вылощенного поэта, официально названного надеждой советской поэзии в тех же самых статьях и докладах 1947 года, которые выбрасывали из литературной жизни Зощенко и Ахматову, и, конечно же, не любя его, умного дельца и одного из влиятельнейших “боссов” переводческого клана, автора знаменитого стихотворенья “Коммунисты, впе-

ред", — два бесстрашных литературных бомжа, не сговариваясь, рявкнули в два пропитых голоса: "Коммунисты, назад!"...

Александра Петровича как ветром сдуло, он шарахнулся куда-то за дощатую перегородку, отделявшую коридорчик от кухни, и затаился в ожидании, пока отчаянная пара, забыв о нем, не усядется где-нибудь в дубовом зале, к ужасу метрдотеля Антонины Ивановны...

С Межировым я познакомился в один из сентябрьских вечеров 1961 года в Коктебеле. Мы сидели на веранде его номера, глядели на синюю полоску залива, нас овевал сухой жаркий ветер, льющийся с черных громад Карадага... Межиров вздымал вверх подбородок, становясь чуть-чуть похожим на Осипа Мандельштама, имитируя искреннее самозабвение, и читал мне стихи:

Прилетела, сердце раня,
Телеграмма из села.
Прощай, Дуня, моя няня,
Ты жила и не жила.

Стихи были о России, о крестьянке Дуне, которая вынянчила в двадцатые годы маленького еврейчонка Сашу... Сверхзадачей стихов, талантливо и вдохновенно написанных, как я теперь понимаю, была цель — доказать, что и скромная интеллигентская еврейская семья, и выброшенная из деревни ураганом коллективизации молодая крестьянка Дуня жили одной жизнью, ели один хлеб, терпели одни и те же тяготы.

Все, что знала и умела,
Няня делала бегом,
И в семье негромкой нашей,
В годы ранние мои,
Пробавлялась той же кашей,
Что и каждый член семьи.

Межиров в этот период "болел русскостью", стремился убедить себя и других в том, что он:

...русский плоть от плоти*
по жизни, по словам,
когда стихи прочтете —
понятней станет вам.

---

* Через 50 лет переехавший в Америку Межиров уже иначе писал о своем происхождении: "Даже если не по крови, а по слову состою и прописан в русском слове за особенность свою".

Проницательный, улавливавший в стихах любую фальшь, Анатолий Передреев, прочитав поэму о няне, которой, кстати, автор чрезвычайно гордился, обратил внимание на заключительные слова:

Родина моя Россия,
Няня, Дуня, Евдокия —

и холодно заметил:

— Россия — няня? Ну, слава Богу, что еще не домработница...

Его слова прозвучали с неожиданной и жестокой прямотой. Но в те годы я еще не задумывался о всех сложностях русско-еврейского вопроса и надолго забыл реплику Передреева. Вспомнилась она мне много позже, когда я вчитался в стихи Межирова о своих родителях:

Их предки в эпохе былой,
Из дальнего края нагрянув,
Со связками бомб под полой
Встречали кареты тиранов.
И шли на крутой эшафот,
Оставив полжизни в подполье, —
Недаром в потомках живет
Способность не плакать от боли.

Ну как же я раньше не понимал, что он из племени профессиональных революционеров, нагрянувших из дальнего края в революционную эпоху то ли конца XIX, то ли начала XX века на обессилевшую Россию! Скорее всего, что из местечка Межиров, что в Галиции, — я как-то разглядывал карту и наткнулся на это слово — отсюда и псевдоним, так же, как Шкловский — от Шклова, Могилевский — Могилева, Слуцкий — Слуцка, Львовский — Львова, Минский — Минска... ("Всю Россию на псевдонимы растащили", — мрачно шутил Палиевский.) Но зачем тогда было выдумывать: "был русский плоть от плоти"? Зачем разыгрывать этот театр? Ломать эту то ли трагикомедию, то ли мелодраму?

Как я понял позднее, приписывая своим предкам подвиги террористического самопожертвования, Межиров и тут самозабвенно мистифицировал читателя. Исполнителями террористических актов конца XIX — начала XX века, как правило, были обманутые русские люди: Софья Перовская, Желябов, Морозов, Халтурин, Каракозов — или поляки. Предки же Межирова могли быть идейными вдохновителями, организаторами террористических кружков, иногда вождями-

провокаторами вроде Евно Азефа, часто изготовителями бомб и взрывных устройств... На эшафот же, выполнив их планы и указания, чаще всего шли другие.

Впрочем, и Межиров, и другие близкие ему по духу шестидесятники чуть ли не до первых лет перестройки оставались верны заветам революционных “предков”, эмигрантов, “нагрянувших” в Россию “из дальних краев”.

Уже в начале 80-х годов Александр Петрович еще раз поклялся в преданности представителям этой породы Смилге и Радеку, написав стихи, посвященные ихнему клану:

...Но сегодня Саня Радек,
Таша Смилга снятся мне...
Слава комиссарам красным,
Чей тернистый путь был прям...
Слава дочкам их прекрасным,
Их бессмертным дочерям.

Стихи органически вписывались в кровавое романтическое полотно, на котором красовались окуджавские “комиссары в пыльных шлемах”, евтушенковский Якир, протягивавший в будущее “гранитную руку” из прошлого, где в дымке времени “маячила на пороге” целая когорта комиссаров — Левинсон из “Разгрома”, Коган из “Думы про Опанаса”, Штокман из “Тихого Дона”, Чекистов-Лейбман из “Страны негодяев”.

Впрочем, эти мысли сложились у меня гораздо позже, через несколько лет, а в тот коктебельский знойный вечер я с восхищением выслушал талантливо написанную, легко льющуюся поэму о няне, а Межиров, видя мой восторг, пригласил меня, начинающего бильярдиста, в бильярдную и с расчетливостью профессионала за несколько партий облегчил содержание моего кошелька наполовину.

Однако я не был на него в обиде. Мне нравился его артистический характер, его то восторженный, то скептический ум, его легкая, изящная манера письма, его демонстративное поклонение искусству. Увлеченный такими свойствами его натуры, я в 1965 году даже сочинил восторженную рецензию о его поэзии под названием “Она в другом участвует бою”, — имелось в виду, что не в житейском, не в общественном, политическом, а в высоком, в том, о котором думал Пушкин, когда писал: “Мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв”. Я, уставший к тому времени от постоянного комиссарского надзора Слуцкого, с готовностью прислонился к Александру Петровичу и даже стишок о нем написал: “Не жесток он и не желчен, просто знает про войну, мой товарищ

любит женщин, Блока, Библию, весну. Все прекрасно понимает, что не надо понимать, от познанья погибает и не хочет погибать".

Справедливости ради надо сказать, что на первых порах моей московской жизни и он был внимателен ко мне, с его помощью я наладил связи с грузинскими и литовскими поэтами, стал получать заказы на переводы их книг, начал зарабатывать деньги. Но тем не менее, выпивая с ним, или играя в бильярд, или размышляя о стихах Мандельштама, я всегда чувствовал на себе с его стороны какое-то особо пристальное внимание. Как будто бы он не забывал никогда, что, несмотря на наши дружеские отношения, за мной нужен глаз да глаз, что я не остановлюсь на этом рубеже пиетета и почтения. Поэтому его письма ко мне всегда были осторожны, предельно аккуратны и почти неуязвимы для комментариев в том случае, если отношения в будущем могли бы испортиться.

Из письма А. Межирова от 6.8.65 г. после того, как он прочитал книгу "Метель заходит в город":

"В вас заложено то, что должно воплотиться во множество прекрасных стихов и поэм. Все эти двадцать дней (мы с ним побывали в туристической поездке в Польше. — **Ст. К.**) *я чувствовал, как Ваша кровь единоборствует с холодным расчетом, ясным разумом. Это единоборство надо воплотить в слове, сохранив равенство двух великих сил. Для этого надо любить Передреева и Говорова. Они люди. Надо меньше импровизировать и дольше ждать. Надо освобождать душу, а не рифму. Надо осторожней отрицать — Маяковский великий поэт всех времен и народов"...*

Но к тому времени я уже лишь внешне соглашался с его советами. Пафос отрицания и поиска своей истины все более и более овладевал мной, и когда Межиров узнал, что я написал статью "Упорствующий до предела" о творчестве его друга Винокурова, которое я счел куда более ходульным, театральным и рациональным, нежели тогда было принято считать, он бросил на карту все свое влияние, лишь бы не допустить публикации этой статьи. Он звонил, настаивал, канючил, предупреждал. Он как будто бы предчувствовал, что с этого поворотного момента начнется мое окончательное охлаждение и к Слуцкому, и к Самойлову, и к нему, взявшему на себя роль моего учителя и покровителя. Статью о Винокурове я все же опубликовал. В журнале "Наш современник". В 1966 году...

Подводя сейчас какие-то предварительные итоги литературной жизни 60—90-х годов, надо сказать, что Александр Межиров обнаружил за это время удивительные способности к перемене своей сущности, своего "альтер эго", способности, столь свойственные породе людей, нагрянувших в свое время на Россию "из дальнего края". Он был куда более гибок и толерантен, нежели комиссар и государственник Борис Слуцкий, более сложен и загадочен, нежели прямодушный и наивный Наум Коржавин, более политизирован и социален, нежели эстет Давид Самойлов. Сначала он — один из любимейших учеников Антокольского (кстати, известного не только стихами о Пушкине, не только поэмой "Сын", но и книгой "Ненависть" — 1937 г., — воспевшей репрессии так называемого "большого террора"), известнейший из молодых советских поэтов, куда более популярный после войны, нежели Сергей Орлов или Сергей Наровчатов, автор "знакового", как говорят сегодня, стихотворенья "Коммунисты, вперед!" Именно оно обеспечило ему официальное признание, популярность и бытовое благополучие в первое послевоенное десятилетие...

Вторая его ипостась, дополняющая коммунистическую, — "русская национальная", умелая мистификация, отчаянная попытка стать "русским плоть от плоти". Ради нее он шел на многое, увлекался Константином Леонтьевым, даже мне (спасибо ему тем не менее!) со странной улыбкой передавал 8—9-й тома русского историософа, с наслаждением погружался в мысли "разочарованного славянофила", носился по Москве с книгами полузабытого и полузапрещенного в те годы юдофоба Розанова... В стихах же тех лет со скромным достоинством он писал:

Две книги у меня. Одна
"Дорога далека". Война.
Подстрочники. Потеря друга
Плюс полублоковская вьюга.

"Полублоковская вьюга", помню, и трогала, и забавляла нас с Передреевым и Кожиновым. Эту роль своеобразного еврейско-русского "почвенника" Александр Межиров играл сколько мог — талантливо и изощренно, до тех пор, пока судьба сегодня не определила ему его третью личину — разочарованного еврейского либерала, Однажды, когда мы проходили неподалеку от Кремля, он с характерным для него поэтическим завыванием вдохновенно прочитал стихи Осипа Мандельштама о кремлевских соборах:

А в запечатанных соборах,
Где и прохладно и темно,
Как в нежных глиняных амфорах,
Играет русское вино.

Архангельский и Воскресенья
Просвечивают, как ладонь,
Повсюду скрытое горенье,
В кувшинах спрятанный огонь —

и с какой-то истовой провокаторской страстью вдруг спросил меня:

— А верите ли вы, Станислав, что рано или поздно в Успенском соборе возобновятся богослужения?

В ответ я прочитал ему стихотворенье не о возрожденном богослужении, а о неизбежном, как я считал, историческом возмездии всем разрушителям храмов, "нагрянувшим" "из дальнего края"...

Реставрировать церкви не надо,
пусть стоят, как свидетели дней,
как вместилища тары и смрада
в наготе и разрухе своей.

Пусть ветшают. Недаром веками
в средиземноморской стороне
белый мрамор — античные камни —
что ни век возрастает в цене.

Реставрация трупов. Побелка.
Подмалевка ободранных стен.
Совершилась житейская сделка
между взглядами разных систем.

Для чего? Чтоб заезжим туристам
не смущал любознательный взор
в стольном граде иль во поле чистом
обезглавленный темный собор?!

Все равно на просторах раздольных
ни единый из нас не поймет,
что за песню в пустых колокольнях
русский ветер угрюмо поет.

Межиров все сразу понял, резко повернул тему разговора, и я так и не успел напомнить ему его мрачные и по-своему кощунственные стихи о Троице-Сергиевой лавре, описанной им как некое зловещее, почти разбойничье гнездо:

Там в окладах жемчуг крупен,
У монаха лик преступен,

Искажен гримасой рот...
В дымке Троица Святая,
А под ней воронья стая
Раскружилась и орет.

Я понял, о чем он думал в ту минуту — о моем выступлении на дискуссии “Классика и мы”, где я отважился вслух сказать не только о любви Осипа Мандельштама к России, но и о революционной ненависти к ней и ее истории поэтов карательно-чекистского склада наподобие Эдуарда Багрицкого. В эту секунду мы как бы прочитали мысли друг друга.

— Станислав! — с неожиданной резкостью, почти с угрозой остановил он меня, по-моему, возле стелы с именами великих революционеров всех времен и народов, что в Александровском саду, — неужели Вы не понимаете, что дело большевиков, как бы о нем сейчас ни думали, великое дело и рано или поздно мир в очередной раз, но обратится к их правде...

Он со страхом понимал, что такие люди, как я, хотят сделать советскую действительность более русской, настолько, насколько это позволит история, и в его глазах мерцала зловещая растерянность. В слово “большевики” он и я вкладывали совершенно разные смыслы.

Вечерело... Тонкая полоса кровавого заката загоралась над Москвой-рекой, над бассейном, пар от которого подымался, словно образуя колышущиеся призрачные очертания храма Христа Спасителя... Мы с Межировым знали, что недавно в бассейне было обнаружено тело поэта Владимира Львова, чьи строки: “Мои друзья расстреляны, мертвы и непокорны, и серыми шинелями затоплены платформы” — в те годы были широко известны в узких кругах. Скорее всего, что ему стало плохо во время плавания, а незаметно утонуть в адском облаке густого пара, смешанного со слепящим светом прожекторов, было легче легкого. Но злые языки распространяли по Москве слухи о том, что это возмездие иудею, чьи соплеменники разрушили храм Христа Спасителя и специально, чтобы надругаться над православными, построили на святом месте гигантскую купель для кощунственного плотского омовения.

Именно в это время Межиров написал мне письмо, в котором предпринял титанические усилия, чтобы не дать мне уйти из-под его влияния:

“Вы знаете, что я не хочу разрыва и душой болею, думая о внутренних изменениях наших отношений. После получения “Рукописи” перечитывал Ваши книги, из которых она

составлена. Находил любимые стихи, радовался. Все же заметил и совсем иное: дарственные надписи — от сыновье-влюбленных, до последних, почти надменных, во всяком случае, почти отчужденных. И вдруг подумал, что в наших беседах с некоторых пор часто мелькают эвфемизмы. Хочу написать без них.

Сами по себе слова Достоевского (в одной из бесед я в доказательство своей правоты вспомнил какие-то слова Достоевского. — **Ст. К.**)*, конечно, прекрасны и в чьих-то похвалах не нуждаются. Но любой самый средний западник более прав в вопросе о Константинополе и Польше, чем Достоевский, впадающий порой в пошлые стереотипы ("французишки", "жиды"). Истина есть ложь, когда Достоевский начинает говорить от имени народа-Богоносца, то есть... Христа. Существуют свидетельства, что Достоевский ждал конца мира (через десять лет), — значит, не верил в "почвенность". Всякая партия относительно права в борьбе со злом. Страшен дух ненависти в сраженьях за правое дело. Достоевский доходил в борьбе с бесами до бесовщины, до оправдания доноса, до доноса на Тургенева, как Шевцов. И все это там, где Петр разрушил основы понятий о чести, а новые — утверждает Шевцов — из Сергиева города, почти из Лавры. И борьба чистой идеи с "Багрицким" незаметно переходит в кооперативно-квартирно-автогаражную статистику.*

Розанов, Мережковский в конце жизни думали и об этом. "Живите", — говорил Розанов. "Семиты создают религии, арийцы их разрушают. Слово "жид" кощунственно над плотью Господа, ибо плоть его оттуда", — писал Мережковский в сороковые годы. Простите мне, Станислав, это напоминание. Все сказанное известно Вам и так. И писал я только ради надежды на действительное "воссоединение людей", на спасение нашей дружбы.

Ваш А. Межиров.

Январь 1978 г."

Письмо написано через месяц после дискуссии "Классика и мы"...

Мне не хочется задним числом подробно рассматривать, где в этом письме передержки, где тонкое лукавство, где нарочитое упрощение Достоевского, Петра Великого, Василия Розанова. Скажу только о том, что странно было читать в письме высокое слово "честь", поскольку все, кто близко знал

Межирова в те годы, считали его не просто мистификатором, но изощренным интриганом, светским сплетником и просто лжецом. "Шурик-лгун" — под этим прозвищем он был известен всей литературной Москве — и еврейской и "антисемитской".

Помню, когда я читал упрощенные до идиотизма размышления Межирова о Достоевском, то с горькой улыбкой вспоминал его же рассказ об одном профессоре, который преподавал ему литературу в стенах Литинститута в конце сороковых годов.

"Профессор, когда размышляя о Толстом, время от времени повторял: — Ну, в этом вопросе старикашка заблуждался!

И однажды я на семинаре, набравшись храбрости, — продолжал Межиров, — поднял руку, встал и озадачил профессора: "Объясните нам, как может так случиться, что Толстой заблуждался, а вам, профессор, все на свете ясно?"

Ах, Александр Петрович, Александр Петрович! Как же так, старикашка "Достоевский заблуждался", а вам, средненькому русско-еврейскому поэту, ясны все "заблуждения" гениального русского провидца! И не стыдно?

Письма наши друг к другу в конце 70-х годов с упреками и объяснениями становились все жестче и жестче и, объективно говоря, отражали раскол, окончательно оформлявшийся в русско-еврейских отношениях. В некотором смысле наша переписка затрагивала многое из того, что в середине 80-х вспыхнуло в эпистолярной войне между Виктором Астафьевым и Натаном Эйдельманом.

"Вы за последние годы ничего не поняли и ничему не научились, — писал я Межирову. — Мне жаль книг, подаренных Вам. Я ошибся, говоря о том, что Вы любите русскую поэзию. Это не любовь, скорее ревность или даже зависть. Не набивайтесь ко мне в учителя. Вы всегда в лучшем случае были лишь посредником и маркитантом, предлагающим свои услуги".

Межиров не оставался в долгу. В ответном письме осенью 1980 года он негодовал, осуждал, клялся, становился в благородную позу.

"Станислав! Вы ответили мне злобной площадной руганью. Я не хотел обидеть Вас. Значит, обидела правда. Когда-то Вы подарили мне книги с надписями "с любовью", "одному из немногих близких". Я мог бы вернуть их Вам, но не

сделаю этого. Я прожил жизнь и умру в России. На миру да в надежде и смерть красна".

Но судьба не дала ему до конца сыграть непосильную для него роль русского человека. Последние годы его жизни в нашей стране были постыдны, смешны и унизительны. Сначала он чуть не тронулся умом оттого, что от его дочери ушел муж, молодой поэт, которого я хорошо знал. Еврейское чадолюбие Александра Пинхусовича ударило ему в голову, как хмель. Он прибегал ко мне, в Московскую писательскую организацию, где я работал секретарем и где стоял правительственный телефон "вертушка", умоляя меня позвонить начальникам из Спорткомитета СССР, где работал его зять, чтобы те подействовали на молодого человека, дабы он вернулся к постылой жене. Я с брезгливостью выслушивал его, звонил, но, естественно, какой-то из начальников спорта поднял меня на смех.

Потом, когда из этого плана ничего не вышло, Межиров помчался в Тбилиси. Отец его зятя работал завкафедрой в каком-то грузинском институте. Межиров добился свидания с Шеварднадзе, умолял его подействовать на бедного отца, чтобы тот, в свою очередь, заставил сына воротиться к межировской дочке. Надо отдать должное Шеварднадзе, который выслушал шизофренические монологи Межирова и, вспомнив, что он, Шеварднадзе, все-таки грузин, сказал по-сталински:

— Пусть молодые поэты спят с теми женщинами, с которыми им хочется спать...

Окончательно наши отношения испортились после одного ночного разговора. Как-то раз в полночь мне позвонила Татьяна Глушкова:

— Волк, — сказала она, чрезвычайно волнуясь, — Вы должны немедля приехать ко мне. У меня сидит Лангуста (так она звала Межирова. — **Ст. К.**) и ведет всякие гнусные речи, запугивает, шантажирует... У меня нет сил возражать ему. Помогите...

Через полчаса я вошел в квартиру Татьяны Михайловны... Разъехались мы только на рассвете. Словно посланцы двух потусторонних сил, мы сражались с ним за ее душу, а Татьяна, еще колебавшаяся, стоит ли ей прибиваться к русскому стану, ждала исхода поединка. О чем только не было переговорено в эту роковую ночь. О ветхозаветном израильском Боге возмездия, об Аммоне, Мордохае и Эсфири, о десяти заповедях, о русскости и еврействе Мандельштама, о еврейском чадолюбии и о русском разгильдяйстве, об антисемитизме Розанова и

юдофильстве Владимира Соловьева, о том, кому из нас должно каяться, а кому принимать покаяние. Словно еврейский ангел смерти Малхамовес, Александр Петрович кружил над душой несчастной Татьяны, а я то крестным знамением, то стихами Есенина, то меловой чертой, то просто крепким русским словом отгонял его и с удовлетворением наблюдал, как его атаки становились все более неуверенными. А Татьяна всю ночь сидела почти молча и непрерывно курила, не зная, в чьи руки — русские или еврейские — попадет ее судьба.

К рассвету крылья нашего Малхамовеса окончательно отяжелели и сникли, он допил последнюю рюмку, докурил последнюю сигарету, мы попрощались со спасенной для русского дела хозяйкой, сели в его автомобиль и поехали домой. Всю дорогу молчали, лишь когда я выходил из машины, серый от усталости Межиров произнес:

— Не радуйтесь... Она и от вас тоже когда-нибудь уйдет, как сегодня ушла от меня...

Из моего дневника от 8 января 1978 г.

"Говорили о доносе Гофмана, о Гофмане младшем и вообще об отце и сыне. Межиров, как за последний якорь спасения, хватался за Библию: "Откройте пророка Иону — там все сказано!" (когда я призвал его к раскаянию). На другой день я "открыл Иону" — а там о раскаянии ни слова.

В ответ на мое предложение поглядеть, как по-разному относились к своему народу Пушкин, Гёте и Гейне, залепетал что-то невразумительное об "исторических обстоятельствах".

Утром он позвонил опять: — Глушкова — а она одна из лучших, говорит: "У всех евреев есть машины, а у меня нет". Станислав! Я люблю Сергея Маркова и не люблю Сергея Острового! Станислав! Ну кто правит бал? Ганичев, Лесючевский, Осипов — где же евреи? где? Петр Первый, Станислав, делал тоже самое, что Багрицкий.

...Он взвизгивал, искал сочувствия, вымогал уступки, добивался льгот и послаблений, а когда я к этому остался холоден, вернулся в накатанную колею и стал симулировать погромные настроения.

— Что же остается? Депортация?

Я отвечал: не впадайте в панику. Русский народ ужился с семьюдесятью языками, и с евреями уживется, если они откажутся от своего высокомерия, от претензий на то, чтобы быть новым русским дворянством, и покаются за все злодеяния своих революционных отцов".

А в начале 80-х годов Александр Петрович, не раз употребивший в письмах ко мне слова "честь" и "благородство", будучи за рулем, сбил глубокой ночью в зимней Москве актера Юрия Гребенщикова из театра им. Станиславского. По иронии судьбы произошло это в январе, когда в компании актеров, где был Гребенщиков, и в каком-то дружеском кругу, где был Межиров, поминали Высоцкого в его день рождения.

А Высоцкий был кумиром Александра Петровича, я помню, как в начале 60-х годов немолодой уже Межиров буквально носился по всей Москве с записями песен Высоцкого и в любом доме, куда он приезжал, тут же включал магнитофон, заставлял всех слушать "Охоту на волков", "Их было восемь", "Я "Як"-истребитель", вздымал очи небу и бормотал: "Гениальный мальчик, гениальный".

Но в ту роковую ночь он оттащил еще живого товарища Высоцкого в кусты (несчастный актер после этого целый месяц пролежал в коме и умер) и подло сбежал с места преступления, потом спрятал машину в укромном месте... Словом, сплошной позор. На его беду одна старая женщина, страдавшая бессонницей, увидела все происшедшее из окна, запомнила номер машины. Бесчестного и трусливого "фронтовичка" вскоре разыскали. Милиция в те годы еще работала толково. Пользуясь своими связями и деньгами, ревнитель "воссоединения людей" замял дело. Но, видимо, страшась будущего возмездия, понимая, что невозможно жить в России с такой репутацией, принял решение уехать в Америку ...Врет, что покинул родину от страха перед погромами. Уезжали расчетливо, не торопясь, как и положено у людей его племени. Сначала отправили дочку с внучкой, обжили небольшой семейный плацдарм, потом уехал Межиров — глава семьи, и после всех — его жена Леля, завершившая все дела по продаже квартир, дач, гаражей и прочих атрибутов, о которых с такой иронией писал Александр Петрович в одном из писем ко мне ("Борьба чистой идеи с "Багрицким" незаметно переходит в кооперативно-квартирно-автогаражную статистику"). На деле же в "кооперативно-квартирно-автогаражную статистику" перешла межировская "полублоковская вьюга". "Дорога далека" — так называлась его первая книга 1947 года... Напророчил. До Америки довела Межирова его далекая дорога. Впрочем, может быть, не из Восточной Европы "нагрянули" в Россию его предки, а из Америки?

Вспомним, что после февральской революции в Россию для окончательного ее покорения прибыл корабль

“американских революционеров”, укомплектованный самим Львом Троцким. Знаменитый американский публицист Джон Рид, похороненный в Кремлевский стене, однажды с удивлением встретил в Моссовете той эпохи одного такого “нагрянувшего из дальнего края” пассажира с этого корабля, который в Нью-Йорке работал часовщиком, а тут сразу стал комиссаром и крупным чиновником, и описал эту встречу в книге “Десять дней, которые потрясли мир”: “Через зал шел человек в потрепанной солдатской шинели и в шапке... Я узнал Мельничанского, с которым мне приходилось встречаться в Байоне (штат Нью-Джерси). В те времена он был часовщиком и звался Джоржем Мельчером”. Видимо, вот такие “мельничанские” и были предками Александра Пинхусовича.

Однажды, году в 84-м или 85-м, заикаясь от хорошо разыгранного волнения, Александр Петрович обратился ко мне в поисках сочувствия:

— Станислав! Вы же читали огоньковские статьи Андрея Мальгина. Вы понимаете, что этот бесстрашный юноша бросил вызов многим сильным мира сего: Михаилу Алексееву, Бондареву, Проскурину! Он же на амбразуру ложится! Да они же его затравят и убьют, как Лермонтова!..

Литературная судьба этого “Лермонтова” сложилась в годы перестройки вполне естественным образом. Он стал главным редактором журнала “Столица” в эпоху идеолога взяточничества Гавриила Попова, за заслуги в борьбе с красно-коричневой опасностью, видимо, фантастически разбогател, потому что Сергей Есин в своих дневниках, опубликованных в “Нашем современнике” в 2000 году, так пишет об этом “идеалисте” рыночной демократии:

“Вечером за мной заехал и повез на дачу Андрей Мальгин. Я уже традиционно смотрю его новую дачу — третью — и по этим крохам представляемой мне действительности изучаю новую жизнь...

В “мерседесе” нет шума, потому что в окнах сильнейшие стеклопакеты. Машина не покатится с горки, потому что включится один из восьми ее компьютеров и включит тормоза. При парковке компьютер не даст коснуться другой машины...

На первом конном заводе у Андрея стоит своя лошадь, на которой ездит его ребенок, поэтому новую его дачу не описываю... Андрей Мальгин решил строить у себя на последнем этаже дома зал-библиотеку в два этажа...”

Жаль, что Александр Петрович Межиров не увидел всего, что увидел Есин. Как бы он порадовался за бескорыстного, бесстрашного юношу, боровшегося в восьмидесятые годы с

литературными генералами Алексеевым, Бондаревым, Проскуриным...

Беседуя с тем же Сергеем Есиным, я узнал, что когда Межиров уехал в Америку, то литературное окружение, ему близкое, целых два года держало Сергея Есина, ректора Литературного института в напряжении: "Межиров уехал не навсегда, он вот-вот вернется, поэтому отчислить его из штата преподавателей нельзя, неудобно..."

И целых два года жена Межирова Леля аккуратно приходила в кассу Литинститута в труднейшие времена, в начале девяностых — и ежемесячно получала "заработную плату" за своего мужа... Словом, "русский плоть от плоти" Александр Пейсахович до конца-таки сумел попользоваться последними благами советской родины. ("...Родина моя Россия, Няня, Дуня, Евдокия".)

Ну как тут не вспомнить строчки из "Василия Теркина": "Ну не подлый ли народ!" — правда, это у Твардовского сказано о немцах...

Сейчас Межиров доживает свой век в каком-то нью-йоркском пригороде, по слухам, подрабатывает на жизнь бильярдной игрой, даже стишки еще какие-то пописывает, в которых борется с национализмом Николая Тряпкина и, естественно, с "антисемитизмом", и какие-то книжонки издает. Вот уж воистину, человек, сменивший не только кожу, но и душу.

Если бы он не дрогнул в последний момент, не уехал, сыграл бы свою роль до конца, я бы не стал писать этих страниц. Но он сорвался, погубил пьесу, не доиграл, обнаружил, что слова "был русским плоть от плоти по жизни, по словам" — остались поэтической фальшивкой. Так же, как и его роковая и неосторожная фраза из последнего письма: "Я прожил жизнь и умру в России". Умрет он в Америке. В России умру я. А значит, в нашем историческом споре я прав.

Впрочем, даже сейчас, когда мне почти все ясно в этом споре, я не рискую все-таки сделать окончательный вывод о глубинных причинах его отъезда. Ведь евреи люди не только скрытные и таинственные, но их драма заключается в том, что они, по крайней мере большинство из них, сами себя не знают или знают не до конца, и знание самих себя к ним приходит в течение всей жизни.

Вот актер Михаил Козаков в своих мемуарах "Третий звонок" излагает любопытные откровения:

"Один замечательный актер старшего поколения той самой пресловутой национальности, фронтовик, прошедший Отечественную, часто говорил: "Запомни, Миша! Мы здесь, в

России, в гостях. Запомни: в гостях. И перестань чему-либо удивляться". Я возражал: "И это говоришь ты, фронтовик? Актер, которого любят миллионы?!" — "Да, все это так, Миша, и все-таки мы в гостях".

Признаться, я так не думал, по крайней мере тогда, лет пятнадцать назад, когда впервые услышал от него эту фразу. А вот сравнительно недавно задумался" ("Знамя", 1996, № 6).

Может быть, и Александр Межиров задумался о том же, как задумался некогда историк литературы Михаил Гершензон.

В 1920 году в "Переписке из двух углов" он писал: "Я живу подобно чужеземцу, освоившемуся в чужой стране; любим туземцами и сам их люблю и радуюсь их радостью, но и знаю себя чужим, тайно грущу о полях моей родины, о ее иной весне, о запахе ее цветов и говоре ее женщин. Где моя родина? Я не увижу ее, умру на чужбине".

И это писал абсолютно ассимилированный еврей, исследователь творчества Пушкина и Чаадаева, Огарева и Ивана Киреевского, автор книг "История молодой России", "Грибоедовская Москва", "Мудрость Пушкина". Тот же самый мотив я нашел в книге современного поэта Михаила Синельникова, изданной в 80-е годы: "И слову не внемлют, и ждут меня, помнят упрямо в отеческих землях, в зеленых шатрах Авраама".

Примеров такого "состояния души" можно приводить много — из стихов С. Липкина, Ю. Мориц, Я. Вассермана, который прислал мне такие стихи:

Я лишен национальной спеси,
Рос от той проблемы вдалеке.
Так случилось — ни стихов, ни песен
На родном не слышал языке.

Но бывает — будто издалече
Слышу я гортанный, древний крик,
Бронзою мерцает семисвечье,
И в ермолке горбится старик.

Со всеми с ними я спорил, встречался, переписывался в прежние времена, пока не понял, что напрасно трачу время и чувства. Меня всегда останавливало от окончательного разрыва с людьми подобного склада то, что в другом крыле ассимилированного еврейства такая способность соплеменников к перевоплощению, к перемене души и родины, к вечному поиску судьбы нередко оценивалась иначе.

Вот как отвечал на этот религиозно-исторический вопрос русскоязычный поэт Оскар Хавкин:

11 Зак. 426

Богом проклятый род — ты как птица,
Что ж на месте тебе не сидится!
Ты бросаешь и землю и дом,
Вырываешь приросшие корни,
Ищешь мир, где вольней и просторней,
Чтоб ничто не мешало кругом.

И решеньем, жестоким и скорым,
Покидаешь и друга, с которым
Ты и горе, и радость делил...
Все, что было вам дорого с детства,
Все, что было вам отчим наследством, —
Отряхнул от себя и забыл.

Пусть ты будешь и сыт, и доволен
Новым домом, и небом, и полем,
Только знай — ты не прежний, не тот, —
Час пробьет, снова все ты разрушишь,
Сменишь кожу, и чувства, и душу...
Чтобы в новый пуститься полет.

Опасные и непредсказуемые особенности еврейского менталитета в том, что он автоматически, инстинктивно, стихийно изменяется в зависимости от изменения жизненных обстоятельств.

В русской среде еврей становится русским, в советской эпохе — советским, но попади он в окружение соплеменников — сразу же из состояния анабиоза в нем оживают еврейские гены, и, забывая всю свою прошлую жизнь, он начинает чувствовать себя евреем. Как Протей, он меняется на ваших глазах, не испытывая никакой особенной драмы, слома, угрызений совести, боли, линьки души или убеждений. Это — "человек-толпа", род пойкилотермного организма, у которого температура тела всегда равна температуре окружающей среды.

Думаете, не был искренен Даниил Гранин, принимавший 15 лет тому назад премию имени Гейне и радовавшийся от всей души тому, что его "чествовали как писателя в свободной, идущей по пути социализма Германской Демократической Республике..."

С той же искренностью и естественностью тот же Гранин сегодня издевается над социализмом.

С той же искренностью и естественностью Александр Галич одновременно сочинял советские комсомольские и антисоветские лагерные песни, а на вопрос Юрия Андреева в 1967 году "Как же так можно?" — с улыбкой ответил: "Так ведь жить-то надо!"

Даже творчество "лучших и талантливейших" из них отмечено этой уникальной особенностью.

Вы помните величественное и несомненно искреннее прославление Ленина Борисом Пастернаком в поэме "Высокая болезнь", созданной к 10-летию Великого Октября?

Столетий завистью завистлив,
Ревнив их ревностью одной,
Он управлял теченьем мыслей
И только потому страной...
Он был, как выпад на рапире.

Но ведь тот же несравненный Борис Леонидович всего лишь за несколько лет до "Высокой болезни" нарисовал совсем другой образ вождя всемирного пролетариата, сидящего в немецком пломбированном вагоне на пути в Россию:

Он. — "С Богом, — кинул, сев;
и стал горланить, — к черту —
Отчизну увидав, — черт с ней, чего глядеть!
Мы у себя, эй жги, здесь Русь да будет стерта!
Еще не все сплылось; лей рельсы из людей,
Лети на всех парах! Дыми, дави и мимо!
Покуда целы мы, покуда держит ось.
Здесь не чужбина нам, дави, здесь край родимый.
Здесь так знакомо все, дави, стесненья брось!"

Эти, увы, косноязычные стихи, рисующие Ленина как патологического русофоба, тщательно и не зря скрывались публикаторами Пастернака вплоть до перестройки, до 1989 года... Да не смутит читателя то, что я в один ряд ставлю посредственного беллетриста Гранина и талантливого поэта Пастернака. Я ведь говорю лишь о том, чем они похожи друг на друга — их способностью приспосабливаться к историческим обстоятельствам. Ведь не случайно же, что создателями фильма "Ленин в 1918 году" были сценарист А. Каплер, режиссер М. Ромм, оператор Б. Волчек.

Вот что писал журнал "Огонек" о Ромме, будущем создателе кинобестселлера "Обыкновенный фашизм": "Он говорил в те годы, что совершенно по-другому поставил бы теперь оба ленинских фильма, и сдержанно оценивал свой новый монтажный вариант (после XX съезда КПСС Ромм выбросил из фильмов шестьсот тридцать метров "культа", все эпизоды со Сталиным Ромм безболезненно вырезал в 1956 году)".

Видите, как все просто, вырезал — и все. Не то что в литературе, где "что написано пером — не вырубить топором". А кинопленка, да еще под рукой такого мастера, все стерпит. ("Не вырезал" только из своей судьбы все ордена, звания, гонорары и премии, полученные за эпохальный фильм.) Вполне

закономерно и то, что первые камни в фундамент сталинской всемирной славы с формулировками "вождь всех народов", "вождь всемирного пролетариата", "лучший друг детей" и т. д. вложили своими статьями, речами и целыми книгами еще на рубеже 20—30-х годов самые яркие пропагандистские умы той эпохи — Карл Радек, Михаил Кольцов-Фридлянд, Емельян Ярославский-Губельман. Обижаться на них за это так же бессмысленно, как обижаться на изменение погоды. В этой способности и безболезненной для себя смене образа мыслей и убеждений их органическая суть, как писал их же Хазанов: "Замечательная особенность нашего земляка состоит в том, что он всегда действует в соответствии с обстоятельствами".

А потому Виктор Астафьев еще может опомниться и р а с к а я т ь с я. Александр Межиров — никогда. Он может только сменить кожу...

Сучий паспорт

Знакомство с Евгением Евтушенко. Поездки в Швецию, в Калугу, на Вологодчину, в Грузию. Начало разлада. Вражда. Августовский рубеж 1991 года. Мемуары сталиниста и ренегата. Ласковое теля, сосущее всех маток. Презрение и патриотов и диссидентов. Конец его эпохи

Видит Бог — наши отношения с Евтушенко в 60-х и даже 70-х годах были вполне приличными. Вместе с ним мы както побывали на таежном Бобришном угоре — на могиле Александра Яшина, бродили по берегам северной лесной реки Юг, на обратном пути заехали в Кирилло-Белозерский монастырь, фотографировались возле могучих кирпичных стен, а в Вологде сидели в гостях у покойного ныне Виктора Коротаева. В те времена он казался мне талантливым русским парнем с авантюрной жилкой, с большим, но еще неотвратительным тщеславием, с нимбом фортуны, колеблющимся над его светловолосой головой... Взгляд только настораживал: расчетливый, холодноватый, прибалтийский. Раздражала разве что естественная, природная, неистребимая пошлость его чувств и мыслей — о стихах, о политике, о женщинах, о чем угодно. Но не такой уж это роковой недостаток, особенно в молодости. Да и кто знал, что подобное свойство его натуры с годами будет укореняться в ней все глубже и прочнее?

А какие памятные вечера были у нас в Грузии, когда в загородном духане в обнимку с братьями Чиладзе — Тамазом и Отаром, возбужденные высокопарной дружеской патетикой,

стихами и красным вином, мы подымались до немыслимых изощренных высот застольного красноречия, осушая друг за друга, за Грузию, за Россию бокалы пурпурного "Оджалеши", и после каждого тоста по обычаю тбилисских кинто разбивали вдребезги тарелку, чистая стопка которых была предусмотрительно принесена официантом и поставлена на краешек стола...

Познакомились мы с ним еще в 1956 году, когда к нам, филологам, на Моховую вдохновенный Павел Антокольский, руководивший нашим литературным объединением, привез его, длинного, худого, белобрысого, и юную, румяную Беллу Ахмадулину. Оба они уже были популярны в студенческой среде, которая благосклонно в Круглой аудитории слушала стихи — и наши и наших гостей. Я читал свое стихотворение "Марш-бросок", которое до сих пор включаю в книги. Так сказать, на фоне приезжих знаменитостей в грязь лицом не ударил.

Помню радостное впечатление от его стихов в 1958 году, когда я работал в тайшетской районной газете "Сталинский путь". Кажется, мне попал в руки журнал с поэмой "Станция Зима" и "Литературная газета" со стихами. Одно мне понравилось особенно — о партизанских могилах и о том, что автор, с которым я знаком по вечеру на филфаке, жил во время войны в Сибири, что его родина — станция Зима, где-то рядом с Тайшетом, всего лишь несколько сот километров восточнее, что именно о своей жизни в этих краях он писал в уже знаменитом тогда стихотворении "Свадьбы":

Дорогой зимней, снежною,
сквозь ветер, бьющий зло,
лечу на свадьбу спешную
в соседнее село,

походочкой расслабленной,
с челочкой на лбу
вхожу, плясун прославленный,
в гудящую избу.

Я сам тогда соразмерял свои поэтические опыты с опытами моих ровесников, естественно, каждый их успех был дорог мне. Приедешь из дальнего таежного лесопункта или колхоза в свою промороженную однокомнатную избушку, натопишь печь, развернешь газеты, раскроешь журналы — и чувствуешь себя счастливым, и начинается пиршество духа...

В шестидесятые годы я еще не был столь суров и ожесточенно требователен к своим современникам, историческая

трагедия, в которой мы сегодня живем, еще не просматривалась на горизонте, а всякого рода частные разногласия, — да, они были, но чтобы из-за них отворачиваться друг от друга, не видеть в упор, презирать, обличать? О том, что такое время наступит, я даже и подумать не мог.

Однажды я гостил летом в Калуге у матушки, возвращался с рыбалки — обросший щетиной, в резиновых сапогах, в телогрейке, и вдруг увидел возле нашего дома странную пеструю толпу, какие-то фанерные декорации, грузовик, на котором стояла киноаппаратура... Шла съемка фильма о Циолковском, в котором, естественно, главную роль играл Женя Евтушенко. В парике, с бородой, в длиннополой шляпе и в плаще, он изображал человека, похороны которого я смутно помнил. А может быть, это была годовщина его смерти, году в 1936-м... Калужане толпами шли в Загородный Суд, в осеннем небе над крутым откосом, сбегавшим к черному бору, кружил тупоносый дирижабль, из которого, как разноцветные куклы, высыпались парашютисты... Об этом обо всем я рассказывал ему вечером в гостинице, где мы выпили по рюмке и где он познакомил меня со своей женой-англичанкой, приехавшей с ним на съемки в мой родной город. Наши литературные пристрастия и симпатии к тому времени уже окончательно сложились, но это обстоятельство не мешало нам вполне радушно относиться друг к другу.

"В 1962 году, — как вспоминает сам Е. Е., — *Булат, Роберт, я и Станислав Куняев собирались ехать с женами в туристическую поездку в Швецию, но нас вызвал оргсекретарь Московской писательской организации — бывший генерал КГБ Ильин и сообщил, что Булата где-то "наверху" вычеркнули из списка. Мы единодушно, и Куняев в том числе, заявили, что без Булата никуда не поедем. Только в результате нашего прямого шантажа возможным скандалом Булата первый раз выпустили за границу..."* (Из книги "Волчий паспорт", М., 1998 г.)

Все правда. В те времена и шантаж такого рода воспринимался нами, как веселая и почти безопасная игра. Все правда, но тем не менее прожитая жизнь и пути, выбранные нами, развели нас окончательно и навсегда. Да так и должно было случиться после всяческих диссидентских демонстраций и процессов, после дискуссии "Классика и мы", после моего письма в ЦК КПСС, после его стихов о "русских коалах", после моих статей — о культе Высоцкого, о поэзии Окуджавы и Багрицкого, после его письма в августе 1991 года о необходимости закрытия Союза писателей России. В последние двадцать лет — с конца семидесятых — он замечал каждый мой

рискованный шаг, как в свое время КГБ отслеживал его шаги. Впрочем, он не стремился уязвить меня лично. Его цель была в том, чтобы, пользуясь своей бешеной популярностью, оттеснить русское патриотическое сопротивление, которое с конца семидесятых годов стало поперек дороги силам, постепенно начавшим разрушение страны. Вот всего лишь несколько фраз обо мне из его статей и выступлений последних 10—15 лет:

“Присуждение государственной премии РСФСР им. Горького С. Куняеву как критику-публицисту у меня вызвало чувство возмущенного недоумения. Признаться, я не верил, что ему могут присудить эту премию, которая носит имя человека, плакавшего, когда он слушал чужие стихи... Я возражаю против решения”.

“Неплохо бы Куняеву помнить, что зависть подобна лисенку, который был спрятан за пазуху обуянным гордыней спартанцем и в конце концов выел ему внутренности”.

“Шовинистическое оплевывание таких дорогих для нас поэтов, как Багрицкий, Светлов, а заодно издевательство над целой плеядой погибших на войне поэтов...”

“Он написал письмо в ЦК, жалуясь на засилье евреев и прочих нацменьшинств в издательствах, приписал поклонникам Высоцкого, что они якобы растоптали могилу некоего полковника Петрова, выступил против песен Окуджавы, поддержал ГКЧП...”

“Мне не нравится — и очень серьезно не нравится его точка зрения на национальный вопрос”.

И это лишь малая часть всяческого рода выпадов, шпилек, осуждений. Так что я имею моральное право раз в жизни ответить ему сразу на все обвинения, тем более что предлог есть — вышла книга мемуаров “Волчий паспорт”, подводящая итог его шумной публичной судьбы. И я не откажу себе в удовольствии сказать все, что думаю и о жизни и о книге. Он всю жизнь считал, будто я завидую ему и другим популярным поэтам. Наивный человек. Как будто у людей нет других, более серьезных причин для отторжения, нежели зависть! Ну вспомнить бы ему, как двадцать лет тому назад, когда мы были с ним на родине Яшина, между нами вдруг вспыхнуло пламя взаимной неприязни.

Мы сидели большой и шумной компанией московских и вологодских литераторов в гостинице городка Никольска — только что вернулись с родины Яшина из деревни Блудново и продолжили свое праздничное общение в двухэтажном деревянном доме, в большой комнате со скрипучими полами.

Стояло раннее лето, и в распахнутые окна ветерок, дующий с реки Юг, вносил в комнату сладкие запахи отцветающей черемухи. Настроение у всех было превосходное.

Но все испортил мой тезка критик Станислав Лесневский. Он встал со стаканом в руке и предложил здравицу в честь "знаменитого, великого русского национального поэта Евгения Евтушенко". Слова Лесневского покоробили всех — все-таки Вологодчина, родина Николая Клюева, Александра Яшина, Николая Рубцова. Бестактно...

Взглянув на улыбающегося Евтушенко, принявшего как должное грубую экзальтированную лесть, я решил вернуть своего тезку на грешную землю.

— Да, я готов выпить за знаменитого, может быть, даже за великого, но за русского национального — никогда. Ты уж извини меня, Женя.

— А кто же он такой, по-твоему? — сорвался на провокаторский визг Станислав Стефанович Лесневский. — Если не русский, то еврейский что ли?

— Может быть, никакой, а может быть, и еврейский. Вам лучше знать, — ответил я.

В состоянии истерики Лесневский выскочил из комнаты. Вслед за ним ушел и "великий" поэт.

— Станислав! — с мягким упреком обратился ко мне вологодский писатель Александр Грязев, — неудобно как-то. Может быть, позвать Лесневского обратно?

— Обойдется! — отрезал я. — Еще сам извиняться придет...

Лесневского мы нашли лишь к вечеру, спящего тяжелым похмельным сном в зарослях черемухи на берегу реки. А по возвращении в Москву я вскоре получил от него письмо.

"Дорогой тезка! Высоко ценя тебя, как поэта, литератора и деятеля, я чувствую себя крайне виноватым перед тобой за свою невыдержанность в приснопамятный день. Прими, пожалуйста, мои искренние извинения. От души желаю тебе блага, здоровья и удачи во всем задуманном.

Твой Ст. Лесневский".

Однако буду справедлив: популярность Евтушенко в 60—70-е годы была фантастической. Но его отношения со своими поклонниками были таковы, что завидовать ему было и глупо и смешно. Он, как наиболее расчетливые звезды "масскульта", знал цену своему поклоннику и невысоко ставил его обожание, понимая, видимо, примитивность взаимоотношений. Однажды, после большого поэтического концерта, Олег

Чухонцев, Евгений Евтушенко, только что отработавший часа три на эстраде, и автор этих строк очутились в кафе за столиком. К нам тут же подлетел поклонник. Вернее, не к нам, а к нему.

— Подпишите! — задыхаясь от удачи, он протянул своему Кумиру его же книгу.

Кумир, не прерывая разговора с нами, вытащил авторучку — и не то чтобы спросить поклонника, как того зовут или что-нибудь другое, — повернулся к нему лишь настолько, чтобы не промахнуться золотым пером "Паркера" мимо обложки, и коряво черканул на ней что-то отдаленно похожее на свою фамилию.

— Молодой человек, — обратился я к поклоннику, — вот, — я показал на истинного, но малопопулярного поэта Чухонцева, — возьмите и у него автограф, он тоже пишет стихи и — замечательные...

Почитатель поглядел на меня как на ненормального:

— Какой еще поэт? Вот он — поэт! А этого вашего я не знаю, да и знать не хочу...

Мы рассмеялись, и, когда поклонник гордо удалился, я сказал Кумиру:

— Ты бы хоть именем поинтересовался, написал бы два слова, а то неудобно как-то!

Тут уже Кумир посмотрел на меня как на ненормального:

— Да ты что? С него и автографа за глаза будет! Им больше ничего не надо, я этот народ знаю, уж поверь мне...

В чем, в чем, а в этом ему действительно можно было верить...

Я не придаю большого значения тому, что в 1987 году Евтушенко выступил против присуждения мне Государственной премии. Премия — это пустяки. Насильно, как говорится, мил не будешь. Вот противостояние, возникшее к августу 1991 года, было делом серьезным.

Через несколько дней после августовской провокации в Союз писателей России пришла толпа — некий 267-й "батальон нац. гвардии". На второй этаж из нее поднялись трое шпанят-хунвейбинов с бумагой, подписанной префектом Центрального округа Музыкантским, о том, что наш Союз закрывается, как организация, "идеологически обеспечившая путч". Я тогда разорвал эту бумагу напополам и бросил обрывки к ногам хунвейбинов. Именно тогда мы узнали, откуда ветер дует: оказывается, не кто-нибудь, а Евтушенко в эти подлые дни отправил за своей подписью письмо Гавриилу Попову с требованием закрыть "бондаревско-прохановский" Союз писателей. Сам автор письма уже восседал в бывшем

кабинете Георгия Маркова на улице Воровского. Незадолго до этого он и его соратники — Черниченко, Адамович, Нуйкин, Савельев выгнали старых секретарей из кабинетов (якобы за связь с ГКЧП), плюхнулись в их теплые кресла и вцепились в правительственные телефоны-вертушки.

Памятуя о наших некогда неплохих отношениях и не до конца веря, что поэт Евтушенко мог написать Гавриилу Попову такой донос, я вскочил в машину и помчался с Комсомольского проспекта на Воровского.

Евгений, сидевший в кабинете один, поднял на меня свои холодные глаза.

— Женя! Как бы мы ни враждовали, но так опускаться! Ведь в нашем Союзе Распутин, Белов, Юрий Кузнецов, которых ты не можешь не ценить. Зачем вы возрождаете чекистские нравы? Одумайтесь!

Он с каменным лицом и ледяным взором поджал и без того тонкие губы:

— Стасик! Хочу сказать тебе откровенно: не ошибись, сделай правильный выбор, иначе история сомнет тебя. Не становитесь поперек дороги. Ты что, не понимаешь — время переломилось. Извини, больше разговаривать не могу. Мне надо ехать...

Мы вышли во двор усадьбы Ростовых, где у дверей Союза стоял его черный “мерседес”. Я шел за ним, еще не потеряв последней глупой надежды в чем-то переубедить его... Но он уже открывал сверкающую дверцу лимузина, и тут, как на грех, когда он уже садился в кресло, натянулась пола его пиджака и одна из роскошных золотистых пуговиц отлетела и покатилась под машину. Раздосадованный поэт, чертыхаясь, присел на корточки и стал искать пуговицу, чуть ли не ползая по асфальту. При виде его согнувшейся озабоченной фигуры я вдруг понял, что зря приехал к нему и зря начал этот пустой разговор. Пуговицы он так и не нашел — терпения не хватило, и, наверное, мое присутствие раздражало его, — выпрямился, отряхнул брюки на коленях, сел с несколько перекошенным от такой неожиданной неудачи лицом за руль, молча закрыл стекло, включил зажигание, нажал на газ, и “мерседес” с мягким шумом рванулся, огибая согбенную статую Льва Толстого — молчаливого свидетеля нашего короткого разговора. Я тупо и растерянно взглянул на асфальт, где стояла машина, увидел золотистую пуговицу, пнул ее ногой так, что она отлетела в траву, и вспомнил строки из своего стихотворенья, написанного в 1987 году.

Ах, Федор Михалыч,
Ты видишь, как бесы
Уже оседлали свои "мерседесы",
Чтоб в бешеной гонке
И в ярости лютой
Рвануться за славою и за валютой...

К сожалению, полемические обстоятельства заставляют меня снова возвращаться памятью к августовским событиям 1991 года.

В ночь с 19-го на 20-е меня разбудил телефонный звонок. Звонила корреспондентка "Независимой газеты" Юлия Горячева. Она спросила о моем отношении к ГКЧП. Я ответил, что понимаю и поддерживаю людей, сопротивляющихся горбачевщине, что согласен на все ограничения свободы слова ради сохранения государства.

С тем же вопросом той же ночью ко мне обратились из радиостанции "Свобода", и я ответил им приблизительно теми же словами.

Через три месяца в интервью для "Независимой газеты" я сказал следующее: "Если бы мне предложили подписать "Слово к народу", считающееся идеологическим обеспечением действий ГКЧП, я не сомневаясь подписал бы его".

Я бы не стал так подробно вспоминать о прошлых событиях, если бы не очередные лживые воспоминания Евгения Евтушенко, который таким образом изображает в "Комсомолке" (3.8.2000) мой вышеописанный приезд к нему:

"После неудавшегося путча ко мне в кабинет секретаря Союза писателей пришел Станислав Куняев... У него тряслись руки от страха и он почти шептал: "Женя, ты же помнишь, мы с тобой дружили". Это был самый отвратительный момент в моей жизни, когда я увидел человека, который боится..."

Ах ты, жалкий сочинитель... Да я на глазах десятков людей разорвал бумажку префекта, спровоцированную твоим письмом к Гавриилу Попову, и при этом руки у меня не тряслись. Открытым текстом выразил свою поддержку ГКЧП, и голос у меня не дрожал... С чего бы мне перед тобой "лепетать" и просить о помощи, ну кто тебе из людей, знающих меня, поверит? Не ври и перестань во всех своих интервью вспоминать о своей популярности в мире, о своих 92-х поездках в разные страны, о десятках книг, переведенных на разные языки, о бешеной своей известности в Европе и Америке, о том, что твои стихи были нарасхват у читателей всей земли, и даже, как ты пишешь, "спасали их от решения уйти из жизни".

Ты же знаешь, как издавались эти книги, но никогда об

этом не напишешь. Я помогу тебе. У меня в руках письмо секретаря посольства СССР в Нидерландах А. Лопушинского. В Союз писателей и ВОАП от 5.11.82 г. Лопушинский пишет:

"В сов. посольство обратился директор прогрессивного нидерландского издательства "Амбобукен" Вим Хазеу с просьбой оказать содействие в издании перевода на нидерландский язык романа Е. Е. Евтушенко "Ягодные места". Учитывая то, что расходы на уплату авторских прав и переводческую работу в значительной степени повлияют на себестоимость голландского издания романа и продажную цену книги, издательство считает, что она таким образом не дойдет до широкого читателя в Нидерландах. По предварительным оценкам цена каждой книги составит 30—35 голландских гульденов, что превышает среднюю цену на книги подобного объема (20 гульденов).

В этой связи издательство предлагает посольству субсидировать перевод книги суммой от 5-ти до 10 тысяч гульденов".

Вы понимаете, дорогой читатель, что книга Евтушенко фактически издавалась за советские народные деньги, за которые же его приглашали на презентацию и из которых же ему выплачивали гонорар?

Вот как устраивались в советские времена эти борцы с привилегиями.

А заканчивалось письмо так:

"В случае, если с нашей стороны будет проявлена заинтересованность, просим ориентировать сов. посольство относительно дальнейших переговоров с издательством "Амбобукен", в том числе для издания в Нидерландах не только художественной литературы, но и общественно-политических работ мемуаров советских руководителей и т. д."

Вот так-то! Просто не мог жить голландский читатель без книг Евтушенко, мемуаров Брежнева, выступлений Юрия Андропова... И все эти сочинения издавались за наши же деньги.

* * *

Однако он был прав в том, что время сломалось. Пора подводить итоги. Книжные развалы забиты воспоминаниями. Кого тут только нет! В глянцевых блестящих обложках Юрий Нагибин рядом с Эльдаром Рязановым, Нонна Мордюкова улыбается Андрею Вознесенскому, Михаил Козаков подмигивает Анатолию Рыбакову. Чекисты, политики, кумиры эстрады... А в серии "Мой XX век" готовятся к выходу в свет

Григорий Бакланов и Юрий Сенкевич... Ну как было Евгению Евтушенко отставать от них? Вот и он написал про всю свою жизнь.

"Я писал не чернилами, а молоком волчицы, спасавшей меня от шакалов. Не случайно я был исключен из школы с безнадежной характеристикой — с "волчьим паспортом". Не случайно на меня всегда бросались, чуя мой вольный волчий запах, две собачьи категории людей, ущербно ненавидящие меня — болонки и сторожевые овчарки (профессиональные снобы и профессиональные "патриоты")... Шестидесятники — это Маугли социалистических джунглей".

Вот такой патетической тирадой начинается эта весьма любопытная книга. "Болонки" — это, как я понимаю, литераторы типа Иосифа Бродского, Александра Зиновьева, Натальи Горбаневской, которые на дух не переносили нашего "вольного зверя", всегда считая, что от него тянет не "волчьим" запахом, а пованивает коридорами большой идеологии и КГБ, стукачеством и карьеризмом. А "овчарки" и "профессиональные "патриоты" — это, видимо, люди моей судьбы.

Однако надо кое-что добавить к самохарактеристике нашего Маугли. Хотя он и волчонок, но дрессировке начал поддаваться уже в юности. Более того, напросился на щедрую зоопарковскую кормежку сам, когда чуть ли не в отроческом возрасте воспел величие усатого Шер-хана в своей первой книжечке "Разведчики грядущего", изданной аж в 1952 году.

Я знаю, вождю бесконечно близки
мысли народа нашего.

Я верю, здесь расцветут цветы,
сады наполнятся светом,
ведь об этом мечтаем я и ты,
значит, думает Сталин об этом.

Я знаю: грядущее видя вокруг,
склоняется этой ночью
самый мой лучший на свете друг
в Кремле над столом рабочим.

"Я верю", "Я знаю"... Но этих личных чувств ему было недостаточно. Не только сам Маугли, но и северные люди эвенки, по его мнению, тоже были полны такого рода обожанием:

Слушали и знали оленеводы эвенки:
это отец их Сталин им счастье вручил навеки.

Я верю, я знаю, что эти строки никогда не истлеют и не забудутся, поскольку история идет по спирали и культ Сталина возвращается в нашу жизнь в какой-то новой ипостаси. А потому не рано ли разболтал волчоныш, что его совратили и, как он признается в своих мемуарах, нечаянно сделали сталинистом, несколько подпортив волчий запах, исходивший от него, его старшие друзья-поэты. Николай Тарасов, которого я тоже неплохо знал, однажды, оказывается, позвонил ему и сказал: *"Женя, главный редактор в панике. Обнаружилось, что в Ваших стихах нет ни одного слова о Сталине... чтоб не мучить Вас, я сам за Вас написал четыре строчки. — Ладно, валяйте, — весело сказал я. Вскоре я очень хорошо усвоил: чтобы стихи прошли, в них должны быть строчки о Сталине"*.

Кроме Николая Тарасова, "инъекцию сталинизма" нашему вольному зверьку сделал еще один поэт-ветеринар.

"В 1950 году литконсультант газеты "Труд" Лев Озеров вписал в мое стихотворение... следующие строки: "знаем, верим (Ах, вот откуда эти "я верю", "я знаю"! — **С. К.**) — *будет сделано здание, которое будет поставлено, то, что строилось нашим Лениным, то, что строится нашим Сталиным"*.

Словом, все случилось, как в знаменитой песне Высоцкого: "И на троих зазвали меня дяди".

Лев Адольфович Озеров был человеком тихим и поэтом никудышным. Возможно, что, напрягши все свои способности, он сочинил и бескорыстно подарил Е. Е. лучшие четыре строчки из своего забытого ныне творчества. Тому бы благодарить услужливого старика-еврея, ан нет — до сих пор недоволен. Поистине, ни одно благодеяние не остается безнаказанным.

Вот так старшие друзья-поэты превращали вольнолюбивого волчонка в сторожевую дворняжку сталинской эпохи. Но вот что совсем забавно: оказывается, наш сталиненыш-Маугли уже в тринадцать лет узнал, каков негодяй этот самый Шер-хан.

"Родная сестра отца "тетя Ра" была первым человеком на земле, сказавшим мне, что Сталин убийца".

Случилось это, по словам несмышленыша, аж в 1945 году, когда *"тринадцатилетний племянник"* читал ей *"свои тошнотворно искренние стихи о Сталине"*. Ну совсем голова кругом идет! Так кто же автор бессмертных строчек (Тарасов? Озеров? Евтушенко?) из книжицы, за которую, в сущности, нашего собачоныша, как он вспоминает, "приняли в литинститут без аттестата зрелости и почти одновременно в

Союз писателей, в обоих случаях сочтя достаточным основанием мою книгу" (Ну попробовали бы не принять, прочитав: "Он думает обо мне"... "самый мой лучший на свете друг"!).

Но несмотря на уроки тети Ра наивный оборотень еще не раз попадал в тоталитарные и даже антисемитские капканы и волчьи ямы. Несмотря на то, что он *"впервые слово "жид" услышал в Москве"*, несмотря на то, что *"трижды видел на сцене великого Михоэлса", "влюбился в него"* и даже был на похоронах и чувствовал, что *"Михоэлса убили", "несмотря на брезгливость с детства к антисемитизму..."* И вдруг: *"Я все же поверил тому, что врачи хотели отравить нашего родного товарища Сталина, и написал на эту тему стихи"*. Вот каков! Написал да еще прочитал вслух не кому-нибудь, а еврейской семье Барласов: *"Никто из убийц не будет забыт, они не уйдут не ответивши. Пусть Горький другими был убит, убили, мне кажется, эти же"*. О святая простота! Так вот из нашего дикого волчонка время лепило послушную, виляющую хвостиком псинку.

Но когда "великий вождь всех времен и народов" почил в Бозе, наш охвостыш, почувствовавший, что лишается "покровителя", обратился к великой тени другого основоположника. Сам он вспоминает об этом с искренней образностью, достойной восхищения:

"Я принадлежу к тем шестидесятникам, которые сначала сражались с призраком Сталина при помощи призрака Ленина. (Ну как не вспомнить слова самозванца из великой трагедии: "Тень Ленина меня усыновила, Евгением из гроба нарекла"? — **С. К.**) *Но как мы могли узнать, раздобыть архивные материалы об ином, неизвестном нам Ленине, которые пылились за семью замками?"* И это пишет расчетливый и вольнолюбивый дикий звереныш, обводивший, по собственному признанию, вокруг пальца таких дрессировщиков, как Хрущев, Андропов, Крючков, Ильичев, Зимянин, Фурцева, Демичев! Я уж не говорю о всякого рода мелких сошках вроде крупных кагэбешников, секретарей ЦК комсомола, руководителей Союза писателей, всяческих послов, высших начальников советской цензуры... Да через него Роберт Кеннеди передавал советскому руководству сведения о том, что имена Даниэля и Синявского были выданы нашему КГБ американскими спецслужбами, чтобы шум от международного скандала, который неизбежно должен был разразиться во время суда над ними, несколько отвлек мировое общественное мнение от американских бомбежек Вьетнама... Вот какие

поручения и на каком уровне выполнял выкормыш отечественного тоталитаризма! Вот каков наш волчоныш, по его собственному признанию, и "целе- и нецелесообразный"!

Вроде бы должно было у него хватать всяческой информации о том, что такое советская власть, кто такой Ленин, поскольку гибрид волка и собаки был неглупым и весьма эрудированным, любознательным книгочеем. Весь мир он изъездил. За тридцать лет, начиная с 1959 года, по собственному его признанию: *"Я побывал в 94 странах и мои стихи переведены на 72 языка"* (на большее количество языков были переведены только труды его бывшего кумира Ленина). Какое грамотное дитя "социалистических джунглей" — все безошибочно посчитало! Его библиотека собиралась во время этих путешествий. В 1972 году возвращался он из очередной Европы или Америки:

"Я вез книги Троцкого, Бухарина, Бердяева, Шестова, Набокова; Алданова, Гумилева, Мандельштама, "Окаянные дни" Бунина, "Несвоевременные мысли" Горького..." "Согласно описи, я привез 124 нелегальные книги", "...семьдесят два тома лучшего журнала эмиграции "Современные записки"...

Отобрали, конечно, у книголюба на границе таможенники это богатство, опись составили, однако не подозревали, бедные, с каким матерым человечищем имеют дело. Поскольку у него всегда был при себе личный телефон шефа Лубянки Андропова, то наш букинист тут же призвал на помощь своих лубянских покровителей-дрессировщиков. Все книги до одной ему были возвращены. Представляете, что в этих книгах было написано про советскую власть и про Ленина, призрак которого в это время помогал ему бороться *"с призраком Сталина"*? Особенно у Бунина в "Окаянных днях", у Горького в "Несвоевременных мыслях", в трудах высланных Ильичом из страны философов и ученых — Бердяева, Булгакова, Шестова? Но наш Маугли настолько верил в торжество и справедливость советской власти, что и после 1972 года, прочитав всю эту литературу, переиздавал во всяческого рода томах, двухтомниках, собраниях сочинений все свои афоризмы, похожие на клятвы Павки Корчагина: *"Погибну смертью храбрых за марксизм", "Не умрет вовеки Ленин и коммуна не умрет", "Считайте меня коммунистом", "Коммунизм для меня самый высший интим"* (я со смехом вспоминаю эту строчку, когда сейчас вижу секс-шопы с вывесками "интим"). После окончательного укомплектования в 1972 году с помощью Андропова своей уникальной библиотеки, аж до 1988 года

вольнолюбивый книгочей, разочарованный в усатом Шер-хане, продолжал по ночам скулить, глядя на Луну, на поверхности которой он смутно различал очертания профиля настоящего справедливого вождя и хозяина: *"Люблю тебя, отечество мое, за твоего Ульянова Володю, за будущих Ульяновых твоих"* (из поэмы "Казанский университет", написанной к столетию Ленина. — **С. К.**). Скулил он и о всех его соратниках, оплакивал Бухарина — *"крестьянский заступник, одно из октябрьских светил"*, о его семье — *"отобрали у Ани ее годовалого Юру"*; мечтал о памятнике невинно убиенному Ионе: *"Якир с пьедестала протянет гранитную руку стране"* (1987 г.), о времени, когда *"продолжится революция и продолжится наш комиссарский род"* (1988 г.). Это лишь потом, оказывается, в разгар горбачевской перестройки, прочитав маленький самиздатский конспект всем известных ленинских цитат, составленный несчастным Веничкой Ерофеевым, наш библиофил наконец-то понял, что из себя на самом деле представлял Ильич. Удивительно, как это талантливый пьяница Веничка Ерофеев, ни разу в жизни не выезжавший ни в одну страну из Малаховки, смог научить чему-то коллекционера, который побывал в 92 странах, волоча из каждой ящиками антисоветскую и антиленинскую литературу! Однако якобы только тогда и пришло к нему прозрение:

"Небольшой сборничек цитат из Ленина, составленный Венедиктом Ерофеевым под названием "Моя Лениниана", поверг меня в глубокую депрессию, сильно поколебал меня в моих прежних самых искренних убеждениях".

Вот так-то: тетя Ра открыла ему глаза на Сталина, а Веничка на Ленина. Нервы к этому времени у волчатки действительно были изношены, да и как было не впасть в депрессию, ежели до 1988 года он находился в полном неведении о том, что Якир "расказачивал" Дон, что Блюхер подписывал смертный приговор Якиру. Однако в период между любовями к Сталину и к Ленину чувственное дитя джунглей успело завести короткий, но бурный роман с Никитой Хрущевым: *"Меня глубоко тронули, заставили задуматься слова Никиты Сергеевича о том, что у нас не может быть мирного сосуществования в области идеологии... если мы забудем, что должны бороться неустанно, каждодневно за окончательную победу идей ленинизма, выстраданных нашим народом, — мы совершим предательство"*.

Представляете себе его состояние в конце 80-х, когда кумиры начали рушиться на глазах? И не только наши, отечественные... Уж как он боготворил Фиделя (*"И вдохновенный, как Моцарт,*

Кастро"), но пришлось отречься и от него: началась перестройка, отношения с Кубой испортились, надо было сочинять стихи об очередном хозяине — Горбачеве: (*"Как он прорвался к власти сквозь ячейки всех кадровых сетей, их кадр — не чей-то?! Его вело, всю совесть изгрызя: "Так дальше жить нельзя!"*). Однако, к несчастью для нашего хищника, только было прирученного Горбачевым, коварный и сильный Ельцин начал побеждать не менее коварного, но более слабого своего конкурента, и волчушок, понюхав воздух, инстинктивно понял, что без стихов о Ельцине ему не обойтись. Стихи сочинились как раз вовремя — 20 августа 1991 года на митинге у Белого Дома, где надо было подтвердить свою преданность новому хозяину, чтобы припасть к новой кормушке. Довольный тем, что он успевает прочитать стишок в самый нужный исторический момент, *"дитя социалистических джунглей"*, наученное дрессировкой и горьким историческим опытом, однако, засомневалось: стоит ли упоминать в стишке фамилию нового хозяина. Он разом вспомнил (память у него была неплохая — *"я не пью водку, потому что она убивает память"*), как прокалывался со Сталиным, с Хрущевым, с Лениным, с Фиделем, с Горбачевым: *"Опасно упоминать в стихах живых политиков, даже если в данный момент истории они вызывают восхищение... Не надо слова "Ельцин" в этом стихотворении... Откуда ты знаешь, каким он станет потом? Но я резко осадил себя. Стоп-стоп, Женя. Хватит отравлять себя подозрениями... Я не вычеркнул фамилии..."*

Да, гены есть гены, черного кобеля не отмоешь добела. Ох, лучше бы уж пил!

К сожалению, жизнь -- штука длинная, если считать ее количеством имен, мундиров и сапог, прославленных и облизанных в стихах и в прозе. Привычка иметь кумира и хозяина — вторая натура, она и подвела любимца публики в очередной раз, утвердив за ним славу певца и фанатика демократии и доблестного защитника Белого дома. Впрочем, он совершенно искренне уверяет нас, что во все времена его *"придворность была не больше, чем придворность Пушкина"*. Вот таков он у нас, "невольник чести".

Однако в августовские дни 1991 года бесстрашный подкидыш, *"вскормленный молоком волчицы"*, испытал самый настоящий собачий страх весьма подлого свойства, затрепетал, ну, просто как шакал Табаки, спрятавшись от волков-гэкачепистов за очередного полосатого Шер-хана: *"Неужели снова будут ГУЛАГ, психушка, цензура?" "Неужели посадят? Неужели я исчезну, как исчез в 1937 году мой дедушка?"*

Перетрусивший волчонок очень испугался за волчиху-маму, *“которая в одно прекрасное утро теперь сможет прочитать в продаваемых ею газетах, что ее сын расстрелян, как враг народа”*. Чувство страха жило в волчьей душе на протяжении всей жизни, и он искренне признавался в этом: *“На своей шкуре я испытал этот страх в 1957 году”* (когда его впервые вербовали в КГБ). *“Этот ненавидимый мной страх вернулся ко мне в 1962 году”* (когда Хрущев распекал интеллигенцию), *“и утром 19 августа 1991 года... я был выброшен за шкирку бесцеремонной бандитской рукой истории в страх сегодняшнего Акакия Акакиевича”*. *“Этот проклятый рабский страх все равно жил и живет во мне”*. Все правильно. Так и должно быть. Чует существо “из социалистических джунглей”, чье мясо съело.

Волки, как известно, плохо обучаются и почти не поддаются дрессировке. Помните, у Высоцкого: “Мы, волчата, сосали волчицу и всосали: нельзя на флажки”. А наш хоть и боялся, но обучился всему: и перепрыгивать через флажки, и проползать под ними, и бегать по всей планете с флажками в обеих лапах. Именно это свойство заставляет меня предположить, что в его жилах гораздо больше собачьей крови, нежели волчьей. А может быть, он всего лишь навсего помесь либеральной болонки и тоталитарной овчарки? Словно способный цирковой пудель, смышленыш обучался тому, как надо поступать в сложных обстоятельствах, у кого угодно — даже у своих соперников и недругов.

В одной из глав книги вольнолюбивый полукровок вспоминает, как недоумевал и возмущался Пастернак, когда *“Ваня Харабаров и Юра Панкратов пришли к Пастернаку и попросили, чтобы он разрешил им подписать письмо, осуждающее “Доктора Живаго”, их вынуждали сделать это в Литературном институте...”*

Возмутившись своими сокурсниками по Литинституту, автор “Волчьего паспорта” тем не менее запомнил их простодушный порыв и намотал на ус их опыт. Он написал стихотворенье “Ограда” на смерть Пастернака, но чтобы напечатать его, испросил у вдовы Луговского *“милостивое разрешение временно переносвятить мои стихи о Пастернаке Луговскому”* (во каков сучонок! — “Волчий паспорт”, страница 226 — для тех, кто не верит этому). Ну как им не восхищаться?! Восславил Сталина, проклял Сталина, заклеймил еврейских врачей-отравителей, а в “Бабьем яре” — антисемитов, посвятил стихи Пастернаку, потом переносвятил Луговскому... Ну какому чистопородному зверю под силу такие превращения, такие мутации?

...Отдельные главы “Волчьего паспорта” посвящены Александру Галичу, Александру Солженицыну, крупному кагэбешнику Филиппу Бобкову, секретарю ЦК КПСС Михаилу Зимянину, с которым автор постоянно встречался в 60—80-е годы. Но я не хочу касаться этих глав и имен. Лучше предоставлю слово Александру Зиновьеву, который четверть века тому назад в своей книге “Зияющие высоты” написал несколько веселых страничек о марьинорощинском мутанте и персонажах его будущих мемуаров. Евтушенко у Зиновьева выведен, правда, под какой-то несерьезной кличкой “Распашонка”, в то время как Галич именуется Певцом, Солженицын Правдецом, Бобков — Сотрудником, а Зимянин — Заведующим, Андропов проходит под кликухой “Сам”. Все они живут в государстве Ибании и говорят на ибанском языке. Итак, слово Александру Зиновьеву.

“Что Вы скажете о поэзии Певца, спросил Журналист у Распашонки. Поэзия непереводима, сказал Распашонка. Меня, например, невозможно перевести даже на ибанский язык. А на каком же языке Вы говорите, удивился Журналист. Каждый крупный поэт имеет свой голос и свой язык. Попридержи свой язык, сказал Начальник. А не то останешься без голоса. Собирайся-ка в Америку. Вот тебе задание: покажешь всему миру, что и у нас в Ибанске полная свобода творчества. Только с тряпками поосторожнее. Знай меру. А то сигналы поступали. Не больше десяти шуб, понял.

Приехав в Америку, Распашонка прочитал стихи.

Не боюсь никого,
Ни царей, ни богов.
Я боюсь одного —
Боюсь острых углов.
Где бы я ни шагал,
Где бы ни выступал,
Во весь голос взывал:
Обожаю овал!

Как он смел, кричали американцы! И как талантлив! Ах, уж эти ибанцы! Они вечно что-нибудь выдадут такое! Мы так уже не можем. Мы зажрались. Как видите, я здесь, сказал Распашонка журналистам. А я, как известно, самый интеллектуальный интеллектуал Ибанска. Когда я собрался ехать сюда, мой друг Правдец сказал мне: пропой, друг Распашонка, им всю правду про нас, а то у них превратное представление.

А ведь в самом деле смел, сказал Учитель. Цари и боги — это вам не какие-то пустячки вроде Органов. Тут ба-а-альшое мужество нужно. Сослуживец, завидовавший мировой

славе Распашонки, сказал, что это вшивое стихотворение надо исправить так:

Где бы я ни стучал,
Чей бы зад ни лобзал,
С умиленьем мычал:
Обожаю овал!

Вернувшись из Америки, Распашонка по просьбе Сотрудника написал обстоятельную докладную записку о творчестве Певца. Для Самого, сказал Сотрудник. Так что будь объективен. И Распашонка написал, что с точки зрения современной поэзии Певец есть весьма посредственный поэт, но как гражданин заслуживает уважения, и он, Распашонка, верит в его искренность и ручается за него... Граждан у нас и без всяких там певцов навалом, сказал Заместитель номер один, а посредственные поэты нам не нужны. Посадить! Либерально настроенный Заведующий предложил более гуманную меру: выгнать его в шею! Зачем нам держать плохих поэтов? У нас хороших сколько угодно!

И я смог бы написать что-нибудь такое, за что меня взяли бы за шиворот, говорит Распашонка. А смысл какой? Сейчас меня читают миллионы. И я так или иначе влияю на умы. В особенности — на молодежь... А сделай я что-нибудь политически скандальное, меня начисто выметут из ибанской истории. Двадцать лет труда пойдет прахом. Конечно, сказал Учитель. А надолго ли ты собираешься застрять в ибанской истории? В официальной? А стоит ли официальная ибанская история того, чтобы в ней застревать? А расчет на место в истории оборачивается, в конечном счете, тряпками, дачами, мелким тщеславием, упоминанием в газете, стишком в журнальчике, сидением в президиуме. Ты на что намекаешь, возмутился Распашонка. Погоди, сказал Учитель. Учти! Ибанская история капризна. Она сейчас нуждается в видимости подлинности. Пройдет немного времени, и тебя из нее выкинут, а Правдеца впишут обратно. Торопись, тебя могут обойти! Распашонка побледнел и побежал писать пасквиль на ибанскую действительность. Пасквиль получился острый, и его с радостью напечатали в Газете... Молодому поэту Распашонке, любимцу молодежи и органов, за это дали сначала по шее, а потом дачу!"

Об этой же способности к адаптации нашего биогибрида беспощадно написала в своих мемуарах не "либеральная

болонка" и не "патриотическая овчарка", а настоящая, если говорить языком Киплинга, "пантера Багира" — Галина Вишневская:

"Быстро научился он угождать на любой вкус, держать нос по ветру и, как никто, всегда хорошо чуял, когда нужно согнуться до земли, а когда можно и выпрямиться... Так и шарахало его с тех пор из стороны в сторону — от "Бабьего яра" до "Братской ГЭС" или того хлеще "КамАЗа", который без отвращения читать невозможно — так разит подхалимажем..."

Однажды она сама прямо прорычала ему в лицо:

"Вы подарили Славе несколько книжек Ваших стихов. Я их прочла, и знаете, что меня потрясло до глубины души? Ваше гражданское перерождение, Ваша неискренность, если не сказать вранье, Ваше бессовестное отношение к своему народу".

Да, крепко царапнула своими стальными когтями пантера Багира нашего Кабыздошку. Так что не только "либеральные болонки" и "патриотические овчарки" на дух не принимали его, но, что обиднее, — презирали крупные и независимые особи — Вишневская, Зиновьев, Вл. Максимов.

Но если отвлечься от вишневской ярости и зиновьевской иронии, то надо признать, что в книге "Волчий паспорт" есть немало занимательного: рассказы о любовных приключениях в самых разных краях земного шара, о своих четырех женах, со всяческими пикантными подробностями их интимной жизни, темперамента, телосложения, цвета кожи, с откровениями о том, чем они болели, у кого из них где и в какой части тела была то ли киста, то ли опухоль, кто из них когда и с какими последствиями делал от него аборты, какая из них и почему отказывала нашему герою в выполнении супружеских обязанностей, как и по чьей вине родился у него психически неполноценный ребенок. Я, честно говоря, читая эти страницы, думал, что эти жены, о личной жизни которых автор написал столь откровенно, давно померли. Ан оказалось, что нет, еще живы и, видимо, читают эти уникальные страницы о себе. Вот образец одной из таких весьма высокохудожественных и вдохновенных страничек: *"В ее жилах скакала необъезженная татарская кровь и величаво всплескивала итальянская, как медленная вода венецианских каналов, качающая на себе золотые решетчатые окна постепенно погружающихся, словно Атлантида, аристократических палаццо..."* Да эта штука посильнее, чем "Девушка и смерть" Максима Горького, не говоря уже о "Фаусте" Гете.

Очень подробно исследовав всю свою родословную аж с XVIII века, автор убедился, что в его жилах нет ни капли еврейской крови. Так что нашим патриотам, много лет склоняющим его настоящую фамилию "Гангнус", придется эту кампанию прекратить. Почему не взял отцовскую фамилию? Вы что, не понимаете, что с такой фамилией невозможно было и во сне мечтать о всемирной известности... А она так и манила его всю жизнь! Ради нее он угождал кому угодно: евреям, русским, партийным вождям, космополитам, патриотам, кагэбешникам, диссидентам, американцам, кубинцам!

В конце книги Е. Е. выказывает трогательную преданность своим подельникам по перестройке, с которыми он помогал Горбачеву и Ельцину разваливать великую державу:

Мы сами не добрее, чем Чека,
нас мучают ли тени ночью поздней
Коротича, отшвырнутого в Бостон,
и преданного нами Собчака.

Бедный серенький фантазер! То ему призрак Сталина являлся, а потом его вытеснил "призрак Ленина", теперь приходят по ночам тени Собчака и Коротича, пока еще не из ГУЛАГа, а всего лишь навсего из Бостона и Парижа.

* * *

Кончилась эпоха демократического хмеля. Скончалась. Смердит. Наступило похмелье. Очень тяжелое. Е. Е. боролся якобы за то, чтобы наши лесорубы во время отпусков отдыхали на Гаваях (роман "Ягодные места"), чтобы в наших магазинах лежало множество сортов колбасы. Помнится, как в 1989 году он описал фантастическую сцену, будто бы советская девушка упала в обморок, увидев в ГДР витрину с десятками колбасных сортов. *"Девушка была из алтайского колхоза, работала на комбайне, на тракторе, на заработки не жаловалась. Девушку премировали за трудовые успехи поездкой в ГДР"*. Выдумал, конечно, все про обморок, но что лучшие колхозники и рабочие ездили за границу по профсоюзным путевкам — правда. Я сам не раз встречал их в странах Восточной Европы, на улицах Праги, Берлина, Белграда. И никто в обмороки не падал...

А теперь в голодные обмороки падают учителя и офицеры, шахтеры и лесорубы, вымирающие от недоедания и холода в брошенных северных поселках. Не то что до ГДР или Гаваев — до Красноярска и Архангельска добраться не могут. По улицам

родной нашему Маугли станции Зима бродят тени его земляков, пропадающих от безденежья и безработицы, в моей родной Калуге, где мы когда-то встретились с ним на съемках кинофильма, мои земляки с утра становятся в очереди за молоком (из цистерн подешевле), за костями (они все-таки в пять раз дешевле мяса). Мне стыдно в этом же магазине рядом с ними покупать колбасу и глядеть на их измученные лица. Пусть этот баловень судьбы, выкормыш "социалистических джунглей", этот сволочоныш, столько сил положивший для разрушения нашей жизни и воцарения ельцинской эпохи, пожинает плоды своих деяний — глядит на старух с протянутыми для подаяния ладонями, на мужчин, копающихся в помойках, на подростков с остекленевшими от наркотиков зрачками и мечтает только об одном, чтобы мы пожалели шакалов из его стаи — Собчака и Коротича...

"Волчий паспорт"? Да какой там волчий — сучий...

Жизнь и смерть в небесных горах

Счастливые годы дружбы с Эрнстом Портнягиным. Паром через Каспий. Под черным небом Каракумов. Русские люди в Средней Азии. Первые маршруты. Заболоцкий и Пушкин о сотворении мира. Поэзия и геология. Тяньшаньские грезы. Товарищ Быков и товарищ Юсупов. Предчувствие вечной разлуки. Эпистолярный роман. Попытка вернуться в прошлое

* * *

На стене моей квартиры среди книжных полок висит любительская фотография. Два молодых человека, положив руки на плечи друг другу, едут на лошадях по долине реки Каниз. На горизонте в голубой дымке тают горы — отроги Гиссарского хребта. А лошади шагают рядом, так что их вытянутые шеи соприкасаются и нежно трутся одна о другую. Долина — цветет. Громадные лисьи хвосты, мощные медвежьи дудки, зеленые ворохи ядовитой, но прекрасной юган-травы тянутся к холодному сверкающему небу справа и слева от тропинки, по которой медленным шагом едут два всадника. Один из них я. Другой — Эрнст. Я — на белой лошади. Эрнст — на черной.

Он, нелепо погибший в своем последнем маршруте, во время своего, как он считал, последнего полевого сезона, был

одним из самых ярких людей, с которыми мне посчастливилось пройти бок о бок часть жизни.

Он умел блистательно делать все, за что брался: объезжал лошадей, читал по-французски лекции в Гренобльском университете, в двадцать три года железной рукой диктовал свою волю геологической вольнице в дебрях амурской тайги, выкладывался в многочасовых маршрутах по ледникам и горным тропам Памира, по первому зову приходил на помощь другу, попавшему в беду... Словно бы предчувствуя сроки своей жизни, Эрнст торопил время, брал его словно лошадь в шенкеля, чтобы успеть сделать все, что возможно. Будучи уже известным геологом, он разделил сердце между двумя стихиями — наукой и поэзией. Но с каждым годом поэзия занимала в этом сердце все большее и большее место. И не только две талантливые книги, выпущенные им, были подтверждением тому. Уважение, которое образовалось в нашем кругу вокруг его личности, тоже что-нибудь да стоило. Он одновременно был ученым, поэтом, рабочим, интеллигентом — да всего не перечислишь. Родина и любовь, дружба и работа: "бремя страстей человеческих" и бремя человеческого долга, который каждый из нас несет добровольно, — вот чем была наполнена его жизнь.

Первой юношеской любовью Портнягина, которой он оставался верен до конца, стал Таджикистан. Он говорил о реках, хребтах и кишлаках Гиссара или Тянь-Шаня с таким чувством, словно родился и вырос на этой земле. Местные люди, уроженцы Оби-Гарма и Пенджикента, Джиргиталя и Рамида знали и любили веселого человека Эрнста Портнягина. Им было приятно, что русский геолог и поэт из года в год приезжает работать в их края, что жизнь его навсегда связана с землей их предков. Подъезжая в Душанбе на стареньком "газике" к развилке двух дорог, одна из которых вела к Союзу писателей Таджикистана, а другая к Геологическому управлению, Эрнст иногда шутил: "Вот эта развилка и есть моя судьба..."

Спасибо уральской породе
За первопроходческий путь,
За свойство — в далеком народе
Открыть его добрую суть.
И как бы судьба ни сложилась
В мельканье просторов и стран —
Душа отовсюду стремилась
В край юности — Таджикистан.

Вот что я прочитал в черновиках, найденных после гибели Эрнста в командирской палатке...

“Спасибо уральской породе”, — не случайная фраза. В последние годы тяга к малой родине — Зауралью, где прошли его детские годы, приобрела характер ностальгии. Он только и думал о том, когда вырвется из круга дел и забот на уральскую землю. После первого посещения ее Эрнст целыми днями рассказывал мне о родных, с которыми встретился в Свердловске и в родовых деревнях — Кобылино и Стариково, о лесах и озерах Зауралья, о семейных преданиях, о долгожданном и всепоглощающем чувстве родины, овладевшем его душой.

— На следующий год, летом обязательно поедем вместе, все тебе покажу! И до озера Портнягино на Таймыре доберемся... Ведь мой предок имя ему дал!..

Но я так и не смог поехать вместе с ним, а он, вернувшись, прочитал мне чуть ли не целую книгу новых стихотворений. В одном из них было сказано, что в последний миг земной жизни ему вспомнятся “отмытые холодом звезды Урала”.

Вот оно, обновление духа,
Вот одно, перед чем я в долгу.
Я вошел в эти двери без стука,
Я — родной в пятистенном дому.

На его стихи, казавшиеся мне порой несовершенными, после смерти вдруг легла тень подлинной значительности.

В моей памяти его облик останется неизменным: на черной лошади, с чуть небрежной молодцеватой посадкой — одно плечо немного скошено вперед, бородатый, кареглазый, с широкой улыбкой, в линялой штормовке — а вокруг снеговые хребты, орлиная чета над ними, да сурки свистят на зеленых склонах, да шумит в мраморном ложе ледяная вода Ягноба. Как сама вечность...

В этих воспоминаниях о нем и нашей жизни, написанных в доперестроечное время, я сегодня не изменил ни строчки. Я не хочу подлаживаться к нынешним фальсификаторам и переписчикам истории. Я хочу, чтобы мои страницы были честным свидетельством, голосом из нашего времени, из той жизни, когда мы все были сыновьями и гражданами одной великой державы. Все, о чем я пишу, было и прошло. Но я дерзаю воскресить прошлое.

* * *

Лето 1967 года. Западный ветер кружит над Каспием, срывает пену с гребешков, и ноздреватая пена, превращаясь в стелющиеся нити белой пряжи, со свистом летит над зеленой пучиной, как поземка.

Паром “Советский Азербайджан” медленно ползет от Баку к Красноводску. В его громадном железной чреве, устланном рельсами, лежащими в бетонных подушках, — целый железнодорожный состав, десятки автомашин и автобусов, груды контейнеров, словом, вся та материальная мощь, которая как по сообщающимся сосудам перетекает по земле из густонаселенных городов в еще существующие пустыни, леса, горы.

Уже много раз казалось мне, что я насытился пространством, что нет ничего лучшего, как сидеть дома, читать хорошие книги, встречаться с друзьями, растить сына, а выпадет счастливое мгновение — и самому что-то написать... ан нет, проходит год-полтора, и снова “охота к перемене мест” начинает смущать душу.

Пучина каспийская глухо
О плиты бетонные бьет.
И древнее слово “разлука”,
Как в юности, спать не дает...

Нет, я еще все-таки молод,
Как прежде, желанна земля,
Поскольку жара или холод
Равно хороши для меня.

...И этот солдат непутевый,
И этот безумный старик.

Внизу шумит плохо различимое в тумане море, вдали в белесом рассвете мерцает обозначенная электрическими огнями подкова Красноводска. Мы подплываем к восточному берегу Каспия, и пассажиры медленно скопляются на палубе — посмотреть, куда же они прибыли.

А вот и “безумный старик”... Сутулый, почти двухметрового роста человек в старой фетровой шляпе с грязными подтеками, в порыжевших от старости яловых сапогах, седобородый, желтоглазый. Вчера, запахнувшись в рваный кашемировый плащ, он собрал вокруг себя толпу любопытных, открыл фанерный чемодан и, достав затрепанную библию, медленно и громко начал читать: “Прелюбодеи и прелюбо-

дейцы! Не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу..." Я заметил его еще на пристани в Баку. Он стоял на пирсе с чемоданом в руке, на крышке которого белой масляной краской были выведены слова: "Мир божий на земле и разоружение". А на потертой кирзовой сумке — еще лозунг: "Свобода народу. Земля крестьянам". Должно быть, из арсенала партии эсеров.

Глядя на него, я вспомнил калужских юродивых— немого Славку, припадочного Порфишу; как мы гонялись за ними по еще зеленым незаасфальтированным улицам Калуги, как дразнили этих убогих и, весело визжа, бросались в бегство, когда блаженный Порфиша с красными глазами и перекошенным ртом бросался за нами в погоню, как за назойливой мошкарой. Юродивые или блаженные были как бы последним осколком не России, а — Руси. Культ блаженных, мистический страх перед их словом, жалость к ним и мысль о том, что они ближе к святости — всего лишь несколько десятилетий назад выветрились из народного сознания. До революции в Калуге, насчитывавшей 70 тысяч жителей, было тридцать восемь церквей. При каждой из них кормились свои немые, припадочные, калеки. Еще Пушкин, как само собой разумеющееся, вкладывает слово истины и правды в уста человека не от мира сего, который произносит приговор царю-убийце: "Не буду, Борис, за тебя молиться. Богородица не велит!"

Вот какие мысли пронеслись в моей голове, пока я смотрел на его сгорбленную спину, на грязную седую бороду, под которой болтались и тяжело звенели несколько серебряных и медных крестов.

А старик, не теряя времени даром, уже заговорил с пафосом проповедника, клеймя пороки современного мира:

— Нет правды! Ложь-победительница опутала нас! Лжефашисты...

Народ, безмолвствуя, смотрел на него по-разному: кто враждебно, кто с брезгливым любопытством, кто равнодушно. А молодой солдат, так картинно и хмельно прощавшийся на бакинском пирсе с невестой, осклабившись, спросил:

— Дед! А кто такие лжефашисты? — Старик сразу как будто бы на землю с небес спустился, полез в карман изношенных милицейских брюк и достал старые кировские часы.

— В Тбилиси пошел починить к греку. Заплатил два рубля. Утром починил, а к вечеру стали. Прихожу к греку опять, а он

говорит: “Не знаю, не помню ни тебя, ни часов!” Шпионы и лжефашисты! Ложь-победительница!

Людям скоро наскучила эта проповедь. Один за другим они стали расходиться. Старик печально огляделся и, обратившись ко мне, последнему его слушателю, вдруг задал совершенно нормальный вопрос:

— А вы на палубе или в каюте?

Не помню, что я ему ответил, думая о том, шизофреник он, или просто мелкий проходимец, или не от мира сего человек, или и то, и другое, и третье... Что гонит его по свету? Зачем ему нужно в Среднюю Азию, где почти нету церквей русских, возле которых еще может прокормиться этот один из последних юродивых?

* * *

Красноводск встретил нас зябким ветром. До полуденной жары было еще далеко, и город с пустынными чистыми улицами, домами из белого ракушечника и красноватого теплого камня, с палисадниками, наполненными мальвой, был похож на Гурзуф или Феодосию.

Мы выгрузились на набережную. Редкие прохожие останавливались возле нашего “газика”, иронически поглядывая, как мы пытаемся втиснуть в небольшую машину необъятное количество геологического имущества: рюкзаков, спальников, палаток, вьючных сум, молотков и прочего барахла. А путь наш лежал через Каракумы от Красноводска до Ашхабада.

Споря и соглашаясь, мы постепенно увязывали тюки, укладывали продукты, когда к нам подошел светловолосый юноша в больших темных очках с обожженным лицом, розовым от шрамов. Он держал в руке воблу, и ему очень хотелось поговорить с нами.

— Далеко собрались, ребята?

Портнягин, не любивший разговаривать во время авральных работ на посторонние темы, пробурчал что-то негостеприимное. Юноша вздохнул, не надеясь на продолжение разговора. А когда я с удовольствием разогнул спину и отошел от “газика”, он как-то сразу за двумя сигаретами рассказал мне о своей судьбе военного летчика.

Два месяца назад на ученьях он взлетел на реактивном истребителе и, когда вышел на заданную высоту, почуял, что кабина наполняется дымом. Через минуту, когда в кабине уже плескались языки пламени, принял приказ с земли — садиться

на аварийную полосу. Но плексиглас скафандра начал плавиться, и в последнюю секунду летчик рванул рычаг катапульты. Нашли его в песках, лежащим без сознания с обгоревшим лицом и руками...

Мы шли с ним по приморской улице, и он, покалеченное дитя своего времени, жаловался мне, что его хотят демобилизовать, а он еще не налетался.

— На комиссию предлагают...

Солнце поднималось из пустыни, и с каждой минутой все явственней ощущалось дыханье горячих пространств, лежащих рядом с городом.

— А лет-то сколько тебе?

— Двадцать четыре.

В черных очках, прикрывающих половину спекшегося лица, в цветной тенниске, джинсах и сандалиях, он был совсем мальчиком, худым, белобрысым.

Взлет... Короткое замыкание... Пожар... Госпиталь... Демобилизация...

Мы вернулись к машине, где, недовольные моим отсутствием, ребята уже закончили погрузку и, рассевшись прямо на бортике тротуара, пили пиво.

Юноша протянул Портнягину воблу.

— Вот вам к пиву, геологи. Вы на земле, а я на небе. Хорошее дело земля.

* * *

— Вот и пустыня, — сказал Эрнст.

Я крутил головой, но не видел ни желтых барханов, ни песчаных бурь, ни зеленых оазисов, ни голубых миражей. Вокруг машины простиралось ровное, как паркетный пол, пространство, словно выложенное крупными глиняными плитками. Это был знаменитый такыр, растрескавшееся от солнца плато. Кое-где серая полынь, тусклый блеск солонцов, а на горизонте черная линия Копетдага. Но кто радовался этой дороге — так наш шофер Миша Громов. Он почувствовал, что нет ГАИ, нет встречного движения, нет запрещающих знаков, сигналов, поворотов, а есть только идеальная поверхность такыра. Третья скорость! Полный газ и стрелка спидометра, дрожащая на цифре 90!

Все, что видит поэт, может показаться ему или удивительным, или никаким... Я думаю об этом, глядя из машины на однообразные пространства такыра, на редкие юрты, возле которых с удивлением в глазах стоят черноголовые малыши в цветастых одеждах. Возле юрт лежат линяющие верблюды с

клочковатыми боками и так же, как дети, провожают громадными и печальными глазами навсегда непонятное для них гремящее железное существо.

Возле каждой юрты дымится тандыр — глиняная печь для приготовления лепешек. Над тандыром хлопочет женщина в неизменном красном, почти огненном, платье. А где-то рядом, у края такыра, начинается асфальтовая или бетонная дорога первой категории, и горьковатый дымок почти библейского очага соседствует с отблесками ракетодромного пламени.

А я под шум колес, под храп утомленных товарищей думаю о том, что для поэта не имеет никакого значения, роскошный или убогий мир окружает его. Потому что в любом случае его долг одухотворить и сцементировать своим дыханьем весь этот обильный или бедный беспорядок, это мельканье людей, земель, телеграфных столбов, скромных очагов и поворачивающихся, как настороженные уши, локаторов. И если твою душу мучит немота и неизреченность, значит, в тебе самом еще не затеплился тот огонек, который тускло или ярко, но осветит внешний мир и даст тень каждому предмету и явлению...

Все спят. Шофер курит сигарету за сигаретой. Машина мчится за пучком света, исходящего из фар. А справа и слева — тьма кромешная. Только крупные звезды над головой.

Каждый раз, когда я гляжу в звездное небо, я думаю, что давно уже надо узнать имена и место созвездий, чтобы, глядя на них, повторять прекрасные слова: "Стрелец", "Скорпион", "Овен"... Каждый раз мне доставляет истинную радость найти Большую Медведицу, ухватиться глазом за две крайних звезды по прямой, протянуть через них пять отрезков, — и тогда взгляд обнаружит Полярную звезду — ось нашей Вселенной. Там — север.

А звезды над Каракумами ярче и крупнее, чем в России.

* * *

Как ни старался Миша, к вечеру нам стало ясно, что до районного центра Кызыл-Арвата мы не доедем — мгла в пустыне опускается мгновенно, на такыре сотни следов и ни одной накатанной дороги. Видимо, вторую ночь нам придется заночевать в пустыне... Так бы и вышло, если бы мы не встретились в каком-то поселке возле бензозаправки с начальником 5-го дорожного участка Жуковым. Он предложил нам, чтобы не заблудиться, держаться за его "газиком". Нашему Михаилу пришлось крутить баранку не жалея ни себя, ни нас, чтобы не отстать от человека, знающего это бездорожье как свои пять пальцев.

В Кызыл-Арват мы приехали поздно ночью и остановились у двухэтажного дома с палисадником.

— Здесь и спать ляжете, — сказал хозяин, показывая на палисадник. — Умывайтесь — и прошу отужинать.

Мы устроились в уютной кухне за столом, накрытым в этот поздний час чем бог послал. Кто-то из наших львовян вытащил из сумы пару бутылок украинского первача, и языки, несмотря на усталость и ночь, развязались весьма скоро. Жуков, которого я не рассмотрел в темноте, оказался крепким двадцативосьмилетним человеком — архангельским мужиком, "с небольшой, но ухватистой силой". Он сам добился своего положения. Он гордился своими дорогами, своей квартирой, палисадником, водопроводом, возможностью принять и угостить случайных знакомых. Немного захмелев, он страстно заговорил о главном деле своей жизни — о работе.

— Конечно, плохо мы еще строим дороги. Бетонку или асфальт настоящий только во сне видим! Всё как в семье натягиваем: что купить — пальто или телевизор? Так и мы. Проложить пятьдесят километров бетонки или триста битумного покрытия? Подумаешь, подумаешь и скажешь: не до жиру — быть бы живу! Техники не хватает! Привезут щебенку — навалим на дорогу, тут бы и битумную смесь класть, а ее нет. Или укладчик сломался. А машины идут, гравий разбивают! Пока смеси дождешься — снова полотно ровняй, лишние деньги выбрасывай!

Он пригорюнился, словно эти деньги его собственные. Самогона становилось все меньше, разговор — все оживленнее. В конце концов дошли и до стихов. В ответ на мои стихи начальник участка прочитал свои, которые он писал еще в автодорожном техникуме. Потом, конечно же, дошли до Есенина и, пугая полуночную южную тишину, запели: "Ты жива еще, моя старушка..." и "Вечер черные брови насопил". А когда под всеобщее одобрение я подарил Жукову свою книгу, ему пришла в голову авантюрная мысль:

— Хочу к юбилею закончить дорогу Кызыл-Арват — нужно мне позарез сорок тысяч тонн битумной смеси!

Он говорил с такой страстью, что я видел: любит Жуков свои дороги и свою чернобитумную смесь и будет любить, пока хватит у него энергии, чтобы избороздить пустыню тонкими красными линиями, обозначающими на картах автомобильные шоссе.

А начальник пятого дорожного участка продолжал, веруя в могущество писательского слова:

— Будете в Ашхабаде — умоляю, зайдите к замминистра

Шутову. Он хороший человек — из рабочих. Попросите у него для меня сорок тысяч тонн смеси!

Я расслабился и дал слово зайти к Шутову. Да и кто бы отказался на моем месте?

Через два дня я сидел в кабинете замминистра... Бедный Жуков! Энергичный начальник пятого участка! Я постарался выполнить твою просьбу. Как дипломат, я начал разговор издалека. Хочет, мол, московский писатель отразить трудовые будни строителей дорог...

Замминистра поднял седые брови, нависшие над красным от ветра и солнца лицом, и тут же предложил мне:

— Добре! Поезжайте в хорошее место — Барса-Гельмес. По-туркменски — "пойдешь — не вернешься". Есть там люди. В сплошных песках работают, в вагончиках живут...

Я робко попытался перехватить инициативу: по дороге от Красноводска видел я образцовое дорожное хозяйство, где начальником Жуков — молодой, энергичный специалист! Показалось мне, что о нем вот хорошо бы написать...

Брови у замминистра задергались.

— Ну, нашли чего, Кызыл-Арват — курорт! Жуков бойкий, можно и его поднять... но часто делает не то, что нужно. Не по закону действует! Власть превышает!

И тут я совершил роковую ошибку: сказал, что нужно тебе, Жуков, сорок тысяч тонн смеси и тогда можно будет всерьез написать о трудовых победах пятого дорожного участка.

Шутов, прошедший всю суровую школу служебной лестницы снизу доверху, сразу раскрыл все наши карты:

— Ясно... Напел вам Жуков. Поезжайте-ка в Барса-Гельмес, а с Жуковым я поговорю...

И если поговорил — то поверьте мне, что я сделал все, что мог. Просто мы переоценили возможности прессы и недооценили проницательности заместителя министра, недаром же он из рабочих.

* * *

Делового строителя дорог Жукова я еще не раз вспоминал в скитаниях по Средней Азии, чаще всего думая о судьбе русского человека на Востоке...

Однажды наш "газик" перед тем, как выкатиться из душного Шахрисабза, пристал на окраине города к чайхане, откуда местный люд выносил в тяжелых кружках мутноватое, но, видимо, холодное, а потому прекрасное шахрисабзское пиво...

— На дорожку! По паре кружек!

“Газик”, подымая пыль, съехал на обочину, и мы, загорелые, в рубахах, узлами завязанных на мускулистых животах, ввалились в чайхану, с грохотом сдвинули два столика на алюминиевых ножках и загремели пивными кружками.

— Командир! — раздался хриплый голос за спиной Портнягина. — Командир, угости пивом!

Я поднял глаза. Перед нами стоял человек с выгоревшими до белизны волосами, с лицом, должно быть, навсегда и не только от солнца приобретшим кирпичный цвет. В глазах у него зияли тоска и жажда... Ну, словом, это был настоящий “самарский” — так в Средней Азии со времен поволжского голода, когда в “Ташкент, город хлебный”, в сытую Азию хлынул, спасаясь от голодной смерти, поволжский люд, стали называть всякого, кто не прижился на чужбине, не нашел своего места под новым солнцем, кто оказался выброшенным из родного лона, оторванным от отчей земли, и кто поэтому опустился, не выдержав нужды, одиночества, чуждого ему быта. Много ли надо человеку, чтобы пасть духом, сдаться на милость судьбы? Вот так и появилось с той поры в Средней Азии слово “самарский”, звучащее как “никчемный”, “пропащий”...

Он и стоял перед нами — в заношенной майке, в сандалиях на босу ногу, в линялых спортивных шароварах.

— Командир! Угости пивом...

“Самарские” не раз встречались нам на азиатских тропах, и потому Эрнст досадливо отмахнулся: отойди, мол, друг, дай спокойно посидеть... Однако “самарский”, видимо, был телепатом, а иначе он бы не сообразил, как найти путь к сердцу командира.

— Угостите пивом, ребята, а я вам Есенина стихи почитаю...

— А что ты знаешь? — встрепенулся Эрнст.

— Что пожелаете — хоть “Письмо к матери”, хоть “Черного человека”... — “Самарский” оперся на гнутую спинку ширпотребовского стула:

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль...

Минут через пять он уже по-хозяйски сидел за столом и, осушая очередную кружку, излагал сказочную историю судьбы, в которой присутствовал и генерал Ватутин, и прави-

тельственные награды, которые его не нашли в госпиталях, и уголовник Петя Римский, и всенародно известная после войны киноактриса, из-за которой, собственно, и сломалась его молодая жизнь...

А я глядел в его выцветшие желтые глаза и думал... О чем же?..

О том, как легко русский человек сходится с другими народами, как охотно роднится с ними, принимая в свою жизнь их быт, нравы, обычаи. Может быть, потому, что громадные азийские просторы лесов и пустынь государственной волей освоить было невозможно — а где государство, там больше насилия, железа, крови, диктата, — русский человек сумел сам распространиться на восток мягко и естественно, ужиться и с якутом, и с бурятом, и с киргизом. Помнится, как на Тунгуске дед Роман Фарков, в смуглоте и разрезе глаз которого были явственны приметы какого-то сибирского племени, размышляя о своем годке-соседе, обмолвился: "Да ён, хоть у него мать эвенка, наш, преображенский, русский..."

Не надеясь на государство, русский человек искал, как ему по своему рассудку ужиться с племенами Востока, и сумел сделать это за несколько столетий ладно, прочно, естественно. "Ён русский, только мать у него эвенка"... Впрочем, дело не только в том, что "уживание" было как бы частной задачей человека. Американцы тоже осваивали Дикий Запад во времена, когда отдельные семьи, частные отряды энергичных авантюристов, словом, различных представителей народа и общества, без особой поддержки государства — скорее оно шло за ними — с кольтами и винчестерами двинулись к Тихому океану, предавая на своем пути огню и мечу индейцев и бизонов. Так что дело в национальном складе, в натуре народной. Культ и ореол хищной романтики над лихими головами шерифов, ковбоев, конквистадоров у нас не сложился, хотя осваивали мы просторы несравненно бо́льшие... Русские и Восток — с одной стороны, американцы и Дикий Запад, англичане и Индия, французы и Африка — с другой. Вот два пути рождения многонациональных общин человеческих. Не потому ли от избытка насилия, законов и крови индейцы существуют в нынешней жизни Америки как миф? Не потому ли развалилась Британская империя? Не потому ли арабская Африка выгнала французов обратно за море в Европу? А русский человек, начав несколько веков тому назад незаметную работу по созданию величайшего в мире государства с семьюдесятью семью народами, достиг в мировой истории невиданного...

Однажды вечером в каком-то райцентре Зеравшанской долины я вдруг услышал слова незнакомой мне песни, сложенной, видимо, во времена этой исторической работы. Пелась песня протяжно, с долгими вздохами и выдохами — словом, по-народному:

Эх, не дое-е-схал я до до-о-ому-у-у!
Затерялся-а где-то в кишлаке-е-е!

Разве мог деловой англичанин затеряться, раствориться где-нибудь в негритянской деревне или энергичный американец в индейской общине? А русский человек не только смог, но даже песню об этом сложил...

Вот о чем думалось мне за кружкой пива в чайхане на окраине Шахрисабза. И еще о том, насколько необъятна слава Есенина, который может владеть сердцами самых разных людей — и рафинированного столичного интеллигента, и волевого дорожника Жукова, и безвестного, не до конца истрепанного жизнью “самарского”...

* * *

Я сопровождаю от Мары до Ашхабада нашу технику — две автомашины и всякую хурду-мурду. Ребята поехали пассажирским поездом. Синь. Жара. Раскаленная железная платформа. Станционные тупики, на которых часами ждет своей очереди наш товарняк. От солнца я спасаюсь, залезая под “газик”. На ходу — еще терпимо. Я взял с собой ящик местного пива. Обматываю пиво в мокрую тряпку, выставляю на встречный ветер — и оно как-никак охлаждается. Сбиваю с бутылки о борт платформы железную пробку и глотаю желтое, пузырящееся, вылезающее из бутылки пиво... Все-таки легче.

Рядом с моей платформой — еще одна. На ней трясутся два змеелова. Два русских человека, в жизни не ловившие змей. Только по воле судьбы занявшиеся этим странным делом.

Илья — толстый, уже пожилой мужик родом из Смоленщины. Всю жизнь он враждовал с колхозным начальством, работать в деревне не хотел, был настоящим “летуном”, вербовался каждый год то шурфы долбить в Якутию, то рыбу ловить на Сахалин, то шабашничать куда-нибудь на Север. А прошлой осенью новый председатель колхоза, человек крайних действий, приказал отобрать у Ильи, как у бесполезного

элемента, приусадебный участок. Всю зиму Илья сомневался: а может, зажить оседлой жизнью да помириться с колхозом! Но как только пригрело апрельское солнце — вспомнил, что лежит у него за бабкиной иконой письмецо от случайного друга из города Фрунзе, в котором друг пишет, что есть еще на этой земле калымное дело — ловля змей в каракумских песках... И через три дня Илья уже дышал жарким воздухом, смешанным с духом железнодорожной гари.

Напарником Илье в пустыню дали бывшего московского таксиста Андрея. Во время мартовского гололеда не вывернул он баранку у трех вокзалов и разбил вдребезги новую машину. Все бы ничего, да экспертиза подтвердила состояние легкого опьянения... И подался Андрей на заработки в Каракумы.

Полтора месяца два неудачника на "газоне" бороздили пустыню. Где ловить этих проклятых змей — кобру, за которую платят четвертной, и песчаную эфу, чья голова оценена в тридцатку, они знали очень плохо и возвращались во Фрунзе с двумя щитомордниками да несколькими пятирублевыми гадюками. Но чем была набита деревянная клетка в их "газоне" — так это степными черепахами.

Проснешься утром где-то на станции и грустно думаешь, что пока твой состав будут переформировывать и с грохотом гонять по путям, отцепляя и прицепляя платформы, — пройдет несколько часов под беспощадным солнцем. А Илья с Андрюшей в это время заняты делом. Накладывают в мешок черепах и становятся в ряд с бабами, торгующими яблоками да виноградом. Со свистом прибывает на станцию экспресс "Москва— Ашхабад— Ташкент"... Эйркондишен... Ресторан... Мягкие вагоны... Пассажиры высыпают на перрон. Кто к орехам, кто к винограду, кто к помидорам... А большинство к моим змееловам, печально держащим в руках древнейших животных земли, молчаливо шевелящих когтистыми лапками.

— Сколько стоит?

— Рубль!

Ну как же не купить за рубль такое чудо? Свисток электровоза, лязг буферов... Пассажиры с черепахами несутся к вагонам, а Илья с Андрюшей к единственному на станции раскаленному от зноя ларьку и берут бутылку "Московской" ашхабадского разлива.

— Где ты, геолог? Иди, согреемся! — слышится с платформы...

* * *

К вечеру я проснулся с легкой головной болью от грохота и лязга — товарняк медленно одолевал пустыню. Мои машины поскрипывали и пытались прокатиться по платформе, но их удерживали проволочные связки и чурки, забитые под колеса. В голове, как продолжение сна, теснились звонкие строки:

В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит — один во всей вселенной.

Мимо проплывали барханы. Кое-где над ними возникали и тут же пропадали песчаные смерчи. Вдали светилась саксауловая роща — искривленные зноем и жаждой жизни деревца без единого листика... Нет, не растет в пустыне анчар. Нет такого дерева здесь — есть песчаная акация с многометровыми корнями, ищущими в глубине влагу, есть тяжелое дерево саксаул — его древесина тонет в воде и горит, словно каменный уголь, оставляя после себя серебристую золу; есть полынь... Анчара — нет. Это дерево рождено гением Пушкина.

Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила
И зелень мертвую ветвей
И корни ядом напоила.

Школьные учебники уродовали мой вкус, уныло утверждая, что стихотворение "Анчар" образец "вольнолюбивой лирики" Пушкина, что анчар — это отвратительное самовластье... Или нет, не анчар, а тот князь, который посылает бедного слугу к анчару за ядовитым зельем.

Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом,
И тот послушно в путь потек
И к утру возвратился с ядом.

Игра мировых сил, величие власти и страстей, притягательность добра и зла, их извечная борьба, составляющая содержание жизни, наслаждение царственным жестом... Все это несколько больше, чем "вольнолюбивые мотивы".

Принес — и ослабел и лег
Под сводом шалаша на лыки,
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.

Разве не напоминает эта смерть сумасшествие бедного Евгения, загнанного “кумиром на бронзовом коне”?

* * *

Три дня подряд шли дожди. Как ни толково выбирали мы место для лагеря, к вечеру третьего дня мутные ручьи стали подбираться к палаткам. Пришлось окапываться, чтобы нас не залило. Обычно синяя, со сверкающими гребнями белой пены, Майхура превратилась в ревущий мутный поток, по дну которого с грохотом катятся каменные глыбы. Ночью проснулись от оглушительного треска, выскочили из спальников, откинули полог... Уж не землетрясение ли? Или, может быть, отломилась часть вершины Сангинавишта и покатилась в ущелье Вардзоба? Но это всего-навсего была гроза. Голубые ножи, распарывая черное небо, взлетали над хребтом Османтала, мертвенным светом высвечивая снеговую линию, — и тут же погружались в кромешную мглу, а вслед за вспышками следовали удары грома, от которых сотрясалась палатка и гранитные глыбы срывались с размокших от трехдневного дождя древних палеозойских склонов.

Жутко и весело было дышать воздухом, в котором скопилось столько электричества, и мне почудилось, будто я вижу во тьме голубой венчик, пляшущий над головой Эрнста.

Однако он был озабочен.

— Не дай бог, сель пойдет! Раздавит — и не поймешь, в чем дело... Из палатки выскочить не успеем. А на улице дежурить под таким ливнем — тоже глупо... Ладно, друг, пошли в палатку. Оденемся на всякий случай, а в спальники залезать не будем...

Эрнст зажег свечу, стоявшую у нас в головах на плоском камне, достал походную пикетажку, чего-то забормотал. Тень его со всклокоченными волосами закачалась на полотне. А я свернулся калачиком — и погрузился в дрему...

Эрнст сочиняет стихи. Два года тому назад он пришел ко мне во львовскую гостиницу “Интурист”. Я в тот вечер был недоволен собой и потому мрачно начал “вещать”:

— Да у тебя профессиональная болезнь геологов — жажда рифмовать и неистребимая любовь к Гумилеву. Зачем тебе это? Ты человек бывалый, но одного не знаешь, какая это отрава! Сколько людей я видел, искалеченных ею, сколько сломанных судеб... И за что? За слова, за рифмы, за любовь к искусству, которая съедает тебя как ржавчина, ничего не обещая взамен... Разве что одиночество, потому что человек, признавший над

собой власть искусства, — не принадлежит себе. Потому-то его жизненные связи с близкими ненадежны, что не хозяин он сам себе. Не он управляет судьбой, а судьба им!

Эрнст слушал меня молча и жадно. В конце длинного разговора спросил: "А не поздно в тридцать лет все начать сначала?" Я понял, что решенье принято им, и полюбил его за это.

Стихи он писал с каждым годом все лучше и лучше, все больше правды и свободы обретали его слова, все значительней и серьезней становились суждения о поэзии. Я хвалил его — но сдержанно: он уже заслуживал большего.

Ничего, не сломается, говорил мне какой-то педагогический инстинкт. Человек с характером и талантом. Коль решился в зрелом возрасте переломить судьбу, то лучше на первых порах недохвалить, пусть набирает запас прочности. Главное — самому в себя поверить, а не с чьих-то слов...

...Гроза чуть-чуть утихла, и я заснул под шум дождя, барабанящего в полог. Мне снится мой первый маршрут, в который мы ходили с Эрнстом неделю тому назад. Нам нужно выйти на коренные обнажения по ту сторону хребта. Идем медленно — с непривычки и дышится тяжело, но хочется к тому же не торопясь насладиться простором, по-новому открывающимся с каждого возвышения.

Семенов-Тян-Шанский, один из первых исследователей Высокой Азии, писал: "Ни одна из вершин, как бы она ни была трудна, не бывает неблагодарной. Она ответит путнику за его пот и слезы фантастическим простором, открывающимся с ее высоты, и вернет человеку чувство достоинства и величия".

Мы с остановками подымаемся сначала по тропе вдоль Майхуры, потом берем круче, проходим полосу горных трав и выходим на снежник. Всю долгую зиму на склоне горных распадков — в Средней Азии их называют саями — падает снег, а летом его полуледяные спрессованные кристаллические массы, дымясь от зноя и давая пищу сотням талых ручьев, медленно оседают. Это снежники. В длину они могут достигать нескольких километров, в толщину — десятков метров сцементированного снега и льда. От ледников отличаются тем, что неподвижны. Цвет поверхности снежника зависит от окружающих его горных пород: буро-розовые подтеки образует красная известковая пыль или слои, насыщенные окислами железа; грязно-зеленые оттенки дает сланцевая крошка; угольные шлейфы на слепящем фирне — следы черных известняков. Идешь по хрустящей зернистой массе и слышишь, как где-то глубоко под тобой на дне сая грохочет река, пропилившая русло в ледяной толще. А там, где снежники разрезаны в поперечном

сечении, взору предстает льдистый свод, словно виадук, опирающийся о стены террасы, а из-под основания виадука, как поезд из туннеля, вылетает дышащий холодом бешеный поток... Такой снежник, образующий арочный мост над рекой, называется по-местному "тарма". В жаркие дни с ее источенного зноем свода сыплются блистающие капли ледяного душа.

Солнце жжет обнаженные спины. А снизу тянет холодом, свежестью — там, в глубинах, вечная мерзлота. Снежник усеян камнями — черные камни с матовой поверхностью прогреваются сильнее, чем снег, и постепенно погружаются в него, образуя глубокие стаканы, а светлые плоские сланцевые плиты или куски сверкающего на изломах мрамора отражают солнечные лучи, снег вокруг них тает быстрее, и они возвышаются как фантастические грибы на ножках, образуя нам "столы" и "стулья" для отдыха и обеда во время маршрутов.

На снегу кое-где лежат куски дерна, из которых выглядывают эдельвейсы и примула. А там, где снежный покров смыкается с зеленой террасой, сквозь почти истаявший тонкий слой рыхлого снега пробиваются мясистые, изогнутые, как бивни, нежные побеги щавеля и лисьих хвостов. Они долго ждали своего часа и наконец розовыми фонтанчиками брызнули из почвы, насыщенной влагой и семенами. Они растут на глазах. Им надо наверстать потерянное время и за короткое, усеченное для них лето созреть и уронить в землю свое потомство.

Чуть выше начинаются непроходимые заросли медвежьей дудки — вдвое выше человеческого роста, пахучей, похожей на кусты гигантского укропа, юган-травы; охапки белого и желтого шиповника, колеблющиеся как облака; фиолетовые соцветья альпийского горошка... А из затвердевшего селевого потока, разломав грязевую корку, торчат венчики белого ириса. Там, где почва помягче, алеют пионы. Рядом я нахожу странное растение: сочный упругий стебель, увенчанный мохнатым фиолетовым шаром величиной с кулак. Нюхаю, разглядываю, пробую на язык — да это же дикий лук! А в тенистых влажных местах мелькают желтые звездочки болотных фиалок. Цветы высокогорья благоухают, особенно после дождя, так что голова идет кругом. В них много эфирных масел, и прошлогодние, шуршащие на ветру сухие стебли эфироносов, если поднести к ним спичку, вспыхивают как порох.

Сурочий свист стоит над этой зеленой волей, и, словно бы прислушиваясь к нему, на белом фоне гиссарских вечных снегов в слепящей синеве, скользя на потоках горячего и холодного воздуха, медленно кружатся орлы...

Сквозь сон я слышу, как Эрик тушит сигарету, закуривает снова, достает из-под спальника ножницы, обрезает нагар со свечи...

— Друг, ты спишь?

— Да так, дремлю. Сон только что снился, как мы с тобой ходили в маршрут...

— Я стихотворенье написал. Вот послушай...

Как забыт и как снова глубок
Сон у края глубокой стремнины,
Где судьбой управляет Ягноб,
Безразличный к законам равнины.

Слишком воздух насыщен грозой,
Слишком дороги сны молодые,
Слишком рано архангел трубой
Призывает нас в дали иные.

Он читает, а я радуюсь за него — в стихотворенье есть воздух, свобода, ощущение судьбы.

Я обнимаю кудлатую голову тридцатипятилетнего бородатого ребенка, пропахшего табачным дымом, лицо которого обожжено солнцем Гиссара и душа поражена высокой болезнью.

— Молодец, Эра! Стихи настоящие! Только прошу об одном — какую бы ты книгу ни написал — не бросай геологии. Я буду бродить с тобой всю жизнь!

Он радостно смеется.

— Что ты! Как ее бросишь. Наступает весна — и покоя себе не нахожу. Все просится в горы — и тело, и душа. Это в крови — двадцатый сезон в поле! Вся молодость прошла в маршрутах... Ну что, поспим до рассвета? Авось селя не будет. Да будет — так от судьбы не уйдешь...

Мы гасим свечу и слушаем равномерный шум дождя.

* * *

Позавтракав, ребята уходят в маршруты, а я остаюсь за повара. Тушенка надоела, макароны с хлопковым маслом в рот не лезут, надо порадовать друзей, когда вернутся к ужину, жареной картошкой, луку побольше навалить, салат из последних помидоров нарезать, алычи набрать для компота, сварить целое эмалированное ведро — и в ледяную воду, ох как он пьется, когда, разморенные жарой, работой и дорогой, в рубахах, загрубевших от соли, мы возвращаемся к лагерю: зараз по три-четыре кружки с холодной кислинкой!

Я набрал в кастрюлю картошки и побрел к реке. Наклонившись над водой, вдруг увидел, что на песке в заводи лежит, поблескивая, тонкая полоска золотистого песка. Осторожно, стараясь не замутить воду, зачерпнул полоску железной эмалированной миской. Вода все равно помутнела, и золотистый песок в тарелке оказался смешанным с обычным песком и всякой дрянью. Я взболтал смесь, слил мутную воду из тарелки — концентрация золотистого вещества стала на глазах погуще... Сердце мое радостно екнуло: тяжелая порода, не смывается, неужели золото? Я знал по разговорам, что в здешних реках оно бывает, но чтобы вот так найти золотоносную струю случайно, рядом с лагерем?! Ох и будет сюрприз моим ребятам, когда они вернутся из маршрутов!

Работая железной миской, как лотком, я стал промывать песок, ползая по берегу взад-вперед, ссыпая отмытое золото в кружку. Солнце жгло мои плечи и голову, время катилось к вечеру, тени удлинялись, но я лихорадочно работал, ничего не замечая, от восторга позабыв и о жареной картошке, и о салате, и о компоте из алычи...

Очнулся я только тогда, когда услышал на тропинке голоса. Возвращаются! Ну сейчас я им покажу!

Опытный Портнягин заглянул в кружку, потом остановил взор на холодном очаге и понял все сразу. "Золото мыл?" Я радостно кивнул головой. "Типичная ошибка студента-первокурсника на полевой практике! Желтая слюда!.. Ну да ладно, на первый раз прощается... Давай варить макароны..."

Я засыпал, а голова у меня — видимо, оттого, что целый день работал, склонившись над бегущей водой, — кружилась, и во сне я до утра работал лотком, мыл золото, не какую-то желтую слюду, а настоящее, принесенное рекой из мощных рудных жил с вершин Гиссара...

* * *

С утра у нас неувязка. Маршрут задерживается. Гнедой мерин Шарабан стоит невеселый. Конюх-таджик говорит, что мерин второй день ничего не ест. Эрнст понимает толк в лошадях. Он умеет подойти к лошади, погладить ее, потрепать по холке, что-то сказать, а когда надо — и прикрикнуть, и животные быстро проникаются послушанием. Ездит он как настоящий горец, с киргизской посадкой — плечо немного вперед; лошади доверяют его командам — легко понимая, чего он хочет от них. Он научил меня в прижимах — там, где тропа

одной стороной лепится к отвесной скале, а с другой бушует река, — или на узких тропах, где лучше не смотреть по сторонам, потому что закружится голова, когда ты увидишь глубоко под собой серебряную ленту потока, — доверять лошадям, не брать их в шенкеля, не работать уздой; животное само сообразит, куда, на какой надежный кусочек земли поставить копыто. А в сумерках лошадь куда лучше человека чувствует край тропы, кромку обрыва, препятствие... Однажды моя чалая кобыла, которую я, торопясь к лагерю, жестко послал вперед, скользнула на повороте по отполированному гладкому камню, и я с ужасом почувствовал, что ее задние ноги повисли над пропастью и что мы лишь чудом держимся на краю осыпи. Тело ее задрожало, словно бы отзываясь на дрожь мелких камней, сыпавшихся из-под копыт.

"Ну, милая, выноси!" — молча взмолился я, понимая, что не смогу разом выдернуть ноги в трикони из стремян и что я не должен ничего делать, кроме как не мешать ей. Я склонился к ее потной холке и, отпустив узду, обнял лошадиную шею, перенеся центр тяжести немного вперед... Кобыла за два-три мгновения, показавшихся мне бесконечными, нащупала наилучшее положение своему мускулистому телу, ее грудные мышцы и сухожилия напряглись — и она, тяжело дыша, усилием одних передних ног вытянула себя и меня на тропу... Похолодев, я услышал, как с ее заднего копыта со скрежетом слетела подкова и, звеня о камни, понеслась, набирая скорость, в синюю реку Кафандар...

Весь этот сезон я работал с ней. Я привык к тому, что она — моя лошадь, и что-то сердечное было в этом чувстве собственности. У нее был жеребенок— тонконогий, большеголовый. Я брал с собой в маршруты несколько лишних кусков сахара и на привалах подкармливал и мать, и сына. На каждой остановке жеребенок подлезал под кобылу и жадно присасывался к ее маленькому вымени. Мне жалко лишать его радости, я жду, не погоняю лошадь, отстаю от ребят, и каждый раз приходится догонять их. Жеребенок обычно убегал по тропам вперед, но возле опасных мест всегда ожидал мать, подзывая ее тревожным ржаньем. А она ржаньем успокаивала его. Вообще когда они теряли друг друга из виду — то время от времени перекликались...

Однако гнедой мерин Шарабан стоял невеселый. Эрнст подошел к нему, погладил холку. Наклонился — потребовал поднять ногу. Шарабан послушался. Все четыре копыта были здоровыми. Может быть, наелся ядовитой юган-травы? У нас был такой случай, когда мы всю ночь гоняли начавшую биться

в конвульсиях кобылу — конюх недосмотрел за ней, и она полдня паслась в роскошных зарослях этой травы, похожей на гигантские кусты укропа... Да нет, последние два дня Шарабан не отлучался от лагеря. Тогда Эрнст взял мерина за морду и рукой попытался открыть ему пасть. Шарабан, к нашему удивлению, сам охотно распахнул ее.

— Ну, конечно, пиявки...

Мы заглянули в пасть Шарабану. Эрнст отвернул ему язык. Под языком чернели клубки извивающихся червей. Оказывается, в некоторых застойных лужах и водоемах живут мелкие горные пиявки. И когда лошадь пьет воду — то личинки их остаются во рту, со временем начинают жить и размножаться на нёбе и под языком, и лошадь перестает есть. Эрнсту было это знакомо.

— Путы на ноги Шарабану! Плоскогубцы мне! Спирт из палатки! — скомандовал он и, засучив рукава, принялся за операцию. Мы держали Шарабана за седло и подпругу, но он и сам стоял спокойно, тяжело работая боками, пока Эрнст выгребал у него из пасти комки членистоногих, разбухших от темной крови. Они тут же лопались, и руки у Эрнста были окровавлены по локоть. У Шарабана, из его громадных, отливающих нефтяной пленкой глаз, текли слезы, но он, благодарный, терпел боль, переминаясь с ноги на ногу. Наконец полость рта была очищена, смазана спиртом, Шарабан сразу же повеселел, напился ледяной воды из Кафирнигана и потянул свою волосатую губу к зеленой траве.

— По коням! — кричит Эрнст. — По маршрутам!

Перед тем как сесть в седла, мы рассматриваем топоснову. Это приятное занятие. Отрадно видеть, что зеленые альпийские луга, коричневые возвышения, голубые ленточки рек и ручьев — все отмечено на бумаге, кем-то уже изучено. Обозначены высоты хребтов и цифры на голубых полосках рек — скорость их течения. Даже отдельная горная арча — видимо, старая и могучая — удостоилась чести быть нанесенной на карту. Даже развалины древнего кишлака... Интересно, сохранились ли они еще? Изучение топосновы рождает в душе какое-то надежное чувство: это не просто бумага — а карта, на которой все точно, надежно, и если уж указано озеро, то, когда мы перевалим хребет — оно конечно же там и будет.

* * *

После двух месяцев изнурительного поля мы скатываемся с гор в Душанбе, на базу. Мишаня Громов, вцепившись в баранку, гонит наш потрепанный "газик" по пыльному

серпантину вдоль мутного Вахша. В машину неведомо как — на палатки, вьючные сумы, ящики с образцами — буквально втиснуты аж под самый тент наши коричневые тела. Жми, Мишаня! В город — с его шумными базарами, с роскошными алыми арбузами, с грудами помидоров, с шашлыками, с газированной водой! В город — с его гомоном, многолюдьем, соблазнами, разноцветными женщинами! В город — с его почтамтом, где в окошке с надписью "до востребования" лежат для каждого из нас груды писем — от родных и друзей! В город — с его прохладными арками, с шелестящими листвой бульварами, с искрящимися фонтанами! В город — с его... банями!

И мы с Эриком пошли в баню, чтобы выйти оттуда — блистая отмытыми до позолоты атлетическими телами, благоухая после бритья и компресса самым дорогим одеколоном, в белых рубашках с индийскими агатовыми запонками, в наглаженных парусиновых брюках и в желтых сандалиях...

От пара, от горячей воды, от радости возвращения, от избытка кислорода в низине — наши головы пошли кругом.

— Эра, лови! — Я выплескиваю на него шайку ледяной воды! Он, поджарый, мускулистый, с животом, расчерченным на квадраты, с торсом, вылепленным из мышц, сухожилий и связок — ни единой капли городского жира, заливается дионисийским смехом. Бородатый и захмелевший, как сатир с древнегреческой вазы... Мы идем в парную, хлещем друг друга вениками, трем свои задубелые шкуры мочалками — и хохочем, хохочем! Я бросаю шайку под кран, открываю воду — не соображаю, что из крана льется крутой кипяток. Эрнст кричит мне что-то смешное, я захожусь смехом... и опрокидываю воду на стопу. Через несколько секунд мы молча наблюдаем, как кожа на моей драгоценной легкоатлетической ноге сморщивается, словно бумага, и начинает сползать, обнажая розовое мясо... Вот тебе и пир плоти! А через два дня, за которые мы хотели успеть насладиться всеми благами цивилизации, надо выкатываться снова в поле.

Грустные, сидим на базе и молча тянем домашнее вино — угощение нашей хозяйки Натальи Сергеевны. Она намазала мою ногу каким-то зельем от ожогов и успокаивает меня, что недели через две "новая кожа нарастет, ишшо лучше прежней". Наталья Сергеевна вообще философски относится к жизни.

— И что ты грустишь! Хужей бывает. Вот пока вы там по горам лазили, сосед наш себя из ружья застрелил. Вчера пошла его поминать, а батюшка велел из поминанья имя-то

вычеркнуть. Сам на себя руки наложил — все равно помин не дойдет. В милиции работал, Алексеем звали. А хоронили тихо, в штатском, как негодного элемента... Я покойников не боюсь. Обмываю... И ни один никто не снился. А вот Алексея третьего дня видела. Словно бы пришел, а я виноград собираю. Он и говорит: "Дай, кума, винограду". Я бросаю ему, а все мимо рук. Так и ушел без ягодки. Значит, правильно батюшка сказал, что помин не дойдет...

Наталья Сергеевна вообще профессор по всем делам, касающимся похоронного ритуала, загробной жизни; сама она поет на клиросе в местной церкви, отец настоятель иногда заходит к ней чайку попить, а то и винца домашнего попробовать. Дом у нее полная чаша. А ведь были времена — лучше не вспоминать. Однако Наталья Сергеевна вспоминает всё: хорошее и плохое — видно, вся нынешняя жизнь ее питается одними воспоминаниями.

— Первый-то муж мой с одной деревни, с-под Саратова. Когда голод начался в тридцать втором году, мы сюда и побегли. Так ён тут быстро спился. В кибитке жили, спали на полу, детей трое. Однажды привел таджика-железнодорожника, бутылку принесли, сели, он мне и шепчет: "Ты с него двести рублей проси!" А я говорю: "Креста на тебе нет! Телом моим, вишь ты, начал торговать!" Он на меня с кулаками, а таджик тот и спрашивает: "А вы, гражданка, кто ему будете?" Я говорю: "Жана!" А он: "Какая ты мне жена!" Ну, таджик смутился: "Извините, гражданка, я не думал". И за порог. А мой-то бить меня: "Ты что от двести рублей отказалась!" Ну, война началась — слава Богу, взяли его сразу. Прислал письмо, мол, ранен под Новочеркасском. А потом пропал без вести. Видно, где-то лупанули. Ну и хорошо, чтобы такой никому не достался. Как-то приходит ко мне Маруся-соседка: "Твой благоверный снился мне: говорит, мол, чтой-то Наталья свечку на меня жалеет..." Ну, пошла в церковь, в помин его записала, свечку за рубль купила. Пусть успокоится. А то будет по ночам тревожить, будто в жизни я от него мало натерпелась...

Наталья Сергеевна замолчала, а губы сами чего-то шепчут, а пальцы шевелятся, словно она все продолжает какие-то споры, седая, с гладко зачесанными волосами, грузная, в стеганой безрукавке, очень похожая на мою родную бабку Дарью Захарьевну. Мы сидим во дворе ее дома за дощатым самодельным столом. Над нашими головами густая зеленая крыша из ветвей виноградной лозы, в которой шебуршат, склевывая ягоды, азиатские скворцы — майнушки. В редких просветах между листьями, ветвями и тяжелыми гроздьями

сизого винограда кое-где на черном небе остро поблескивают ранние звезды. Этот дом, и этот виноградник, и маленькие цементные арыки для полива, и беседка со столом и лавками — все дело рук ее второго и тоже покойного мужа Петра Савельича.

— Стал ко мне свататься Петр Савельич. А я, как ирод-то мой пропал без вести, так думаю, лет десять замуж не пойду, пока детей не выращу. Ну, сестра меня уговорила: "Смотри, мужчина тверезый, самостоятельный..."

Пришел он свататься. Давай, мол, распишемся, детей я усыновлю, дом построим, а ты свою кибитку продай. А я ему отвечаю: "Ну, Николай пропал вроде без вести, а никак придет? Ить он все-таки отец детям?" Тогда Петр Савельич и говорит: "Давай сделаем все, как я думаю. Коль Николай вернется, то отдадим ему полдома. А ты живи тогда, как сердце тебе подскажет, хоть с им, хоть со мной..."

Наталья Сергеевна поднимает с колен тяжелые опухшие руки с выпуклыми венами, чтобы налить нам из графинчика по стакану мутноватого терпкого вина, которое еще в прошлом году перед самой смертью успел заготовить Петр Савельич.

— А мы ведь с им семнадцать лет как брат с сястрой жили! — И, перехватив мой недоумевающий взгляд, Наталья Сергеевна бесстрастно продолжает: — Ему внучка как-то родинку сковырнула под глазом, загноилась. То пройдет — то снова нарывает. К врачам пошли. Говорят, рак. И моего Савельича под рентген. Три раза облучали. С той поры он как мущщина и стал инвалидом. А я-то не понимаю ничего. Смотрю, сестра к ему ходит, уколы масляные делает, болезненные. Я у ей спрашиваю: "Зина, ты от чего деда колешь?" — а она говорит: "Ты сама его спроси..." Затопили мы баню, моемся, тут я деда и спрашиваю: "Дедуль, а от чего тебя колют?" Заплакал мой дед и все мне рассказал. "Я, — говорит, — Наташ, вешаться хотел..." А я ему и отвечаю: "Дурак ты, дедка! Если бы ты от дурной болести мужскую способность потерял — дело другое. У нас, не забывай, трое детей — на кого мы их оставим..." А перед операцией пришла я к ему. Сижу, плачу. "Петр, — спрашиваю, — ну как же мне жить?" А он и говорит: "Крыша над головой у тебя есть, пенсия, хоть маленькая, — есть, было бы тебе лет пятьдесят, я бы сказал: найди себе старичка. Так ведь ты седьмой десяток разменяла... А потому живи как живется". Думала, что раньше его помру: я же старше. Все ему говорила: "Ты гроб мне материей не обивай, шушелью да лачком пройдись, и хватит, обойдусь..." А он мне так всегда отвечал: "Нет, мать, ты меня раньше на горку проводишь".

Вчера приснился. Смотрю, стоит в дверях — и ко мне, ко мне на кровать садится. "Наташ, говорит, подвинься". А я ему: "Да куда же ты лезешь, ты же помер..." Смотрю — снова в двери и уходит, как бы тает, и — пропал. Они, мертвые, недолго ходют — полгода, от силы год. А весной соседку Евдокию еще живую во сне видела. Стоит она будто с Петром Савельичем рядом. А я им венки плету да в подоле ношу. А Петр Савельич меня хвалит — мол, молодец, Наташа, на сто рублей мы уж твоих венков продали... Проснулась и думаю: сон не к добру, со мной что-то случится или с Евдокией. Вроде она ближе к Петру Савельичу стояла, чем я. Ну а через неделю ее в больницу положили — муж избил, сотрясение мозга сделал да четыре ребра сломал да позвонок, да на ляжках мясо от костей отошло. Пять ден всего пожила. Мать ее навестила, а Дуся ей ни слова не сказала, только пальцем под глазом провела: мол, помру — плакать не надо... Всю ночь плелось: как глаза закрою, одни упокойники снятся. Да много их. Ждут, наверно...

— Наталья Сергеевна, — желая увести старуху от невеселых мыслей, я попытался поменять разговор, — а внуки-то как живут?

— Письмо недавно получила, сейчас покажу. — Старуха тяжело поднялась и пошла в дом. Я знаю, что у нее две внучки в Германии — старший сын Костя женился после войны на поволжской немке, которая лет пять назад разыскала где-то под Штутгартом своих родственников, развелась с пьяницей мужем и уехала, видимо, навсегда и увезла с собою двух бабкиных любимых внучек,

— Во, гляди-ка, фотографию Светланка прислала, замуж вышла.

Я гляжу на цветные фотографии — как из кирхи выходит разноцветная веселая толпа молодежи, невеста в белом платье, жених — блондин, скуластый красавец, настоящий Зигфрид в черном костюме, а вот он крупным планом с невестой, белокурый, голубоглазый, и она — круглолицая, с чуть-чуть раскосым, как у бабки, разрезом глаз, с такими же гладкими, блестящими волосами, счастливая, породистая, румяная.

На обороте фотографии дарственная надпись: "Дарагой бабушки от Светланы и Фрица в день когда свадьба". Грамоту уже маленько забыла...

— А отец-то ее как — пишет дочерям?

— Да какие ему дочери. Звонят недавно с вытрезвителя: бабушка, у вас сын или внук есть? Ну, думаю, нечистая сила, есть, говорю. "Так мы его привезти можем?" — "Ну, привозите". — "А денежки у тебя есть, бабка?" — "Скоко надоть?"

"Да двадцать пять рублей!" А ен недавно мне аккурат четвертной дал на харчи. "Есть, — говорю, — везите". Привезли моего Костю... Хоть бы женился. Да разве его теперь женишь! — Наталья Сергеевна сокрушенно машет рукой...

Когда мы выезжали в поле, я, как пострадавший, сидел на командирском месте, вытянув вперед закутанную белыми бинтами ногу.

На высоте, где в воздухе почти нет болезнетворных бактерий, нога заживает быстро. На третий день я уже снял бинты, но в маршруты ходить еще не могу и работаю кухонным мужиком под началом поварихи Евдокии.

Мы сидим у костра и чистим картошку. Скоро ребята возвратятся к ужину. Вечереет. От становища исходят запахи дыма, баранины, лекарственных трав — Евдокия сушит их на зиму. На склонах сая, куда ни глянь, растут шелковица, алыча и дикий виноград, из которых мы каждый день варим по ведру компота.

Коричневые склоны, покрытые лессовыми подтеками, к вечеру источают ровное тепло, накопленное за день, словно истопленные громадные печи.

Начистить на восемь мужиков картошки — дело нудное, и Евдокия начинает мне рассказывать про свою жизнь.

Она женщина славная, но потрепанная жизнью. Маленькая, худая, скуластая. Всегда в темном платочке и выцветшем жакете. Муж у нее совершил недавно аварию — дали пять лет, и чтобы свести кое-как концы с концами, она нанялась к нам поварихой подзаработать на жизнь. Все-таки полевые да высокогорные... Мы уже привыкли к тому, что каждое утро она барабанит палкой по пустому ведру и кричит: "Подъем! Кушать! Вставайте, окаянные!" А сегодня она разговорилась, и я узнал, что наша Евдокия чуть ли не девчонкой прошла всю войну от первого до последнего дня.

— Сначала работала в пункте питания. А потом перевели на прожектор, да не просто перевели, а с "губы"! Да, и на "губе" сидела, — перехватив мой вопросительный взгляд, продолжает она. — Комвзвода табуреткой ударила! Под Наро-Фоминском жду комиссию, стол белой скатертью накрыла, а он ввалился, на скатерти насвинячил, да еще и лапать меня полез... Пьяный! Я ему так заехала, что со стула повалился. На "губу" меня упек! А ночью сам не справился с обстановкой. Приехал генерал Бескровный (до сих пор боюсь!). "Где комсорг?" — На "губе". — "За что?" Вызывают меня. Я рапортую, как и что. Ну, взводного в штрафную, а меня — на прожектор. Первым номером. Луч на немецкие самолеты наводила... да ты слушай, слушай, а про картошку-то не забывай!

Второй день мы с надеждой поворачиваем уши к вершинам хребта, откуда за нами должен прилететь вертолет. Время от времени в синем пространстве раздается гул моторов, но ухо Евдокии Дмитриевны, со времен войны научившееся различать марки самолетов, по звуку безошибочно определяет: это местная "аннушка", это "Як-40"...

А между тем вчера приходили чабаны и принесли тревожные вести. Километрах в пятнадцати выше по течению в русло реки рухнула тарма, громадная масса спрессованного снега, под которым протекала река. Вода, конечно, пробивается сквозь завал, но часть ее накапливается за этой плотиной. И накопилось уже много. Чем шайтан не шутит, — еще день-другой — прорвет вода плотину, и тогда вздувшийся поток за десять минут докатится до нашего лагеря. А мы стоим на пологом месте. Если ночью хлынет — то будут большие неприятности... Поплывут наши шмотки, палатки, пикетажки, кружки, ложки в Кафирниган.

Евдокия заохала, уложила паспорт, трудовую книжку и деньги в целлофановый мешочек и уговаривает нас ночевать на склоне. Портнягин шутит: "Кто в Бога верует, тот не пропадет!" Повариха ворчит, обижаясь на него за суетное упоминание о Боге.

Но на всякий случай глубокой ночью мы встаем, чтобы посмотреть, каков уровень воды. Из-за черной двуглавой вершины Кызылычмека выплывает белая луна — и все вокруг преображается. Засверкали мощные листья конского щавеля, заблестели камни в реке, дрожащий свет луны смешался с черно-глянцевыми струями ревущего, как поезд, потока.

В эти часы взоры миллионов людей были прикованы к мертвому спутнику Земли: по ее поверхности бродили американские астронавты. Случись что с ними — весь мир захлебнется от радиоволн, газетных заголовков, речей и соболезнований. А если нас накроет паводок — ни одна собака не узнает... Обидно как-то.

Мы приглядываемся к реке, видим, что уровень воды не подымается, и, успокоенные, залезаем в палатку досыпать. Утром нас будит ликующий крик Евдокии:

— Вставайте, окаянные! Вертолет!

* * *

Сегодня камеральный день. Мы разложили на траве образцы пород, сортируем их, наклеиваем на камни кусочки пластыря с обозначением маршрутов, укладываем в

маленькие полотняные мешочки, потом во вьючные ящики.

Наша тематическая партия каждый год отправляется в поле, чтобы зимой в лабораториях можно было определить по остаткам древней фауны и флоры возраст пород. С определением их возраста и состава постепенно год за годом на геологической карте Тянь-Шаня наши маленькие маршруты обозначат очертания гигантского глубинного разлома, всколыхнувшего Гиссарский хребет в давние геологические эпохи.

Лагерь разбит на берегу реки Хонако. Две тысячи метров над уровнем моря. Вокруг невысокие желтые горы, кое-где поросшие арчой. Вдоль реки кусты темного можжевельника, тугая, миндального дерева; кое-где семьями растут березы, мало похожие на своих среднерусских родственниц. Потому что каменистая почва, горный воздух, вечнохолодные воды, омывающие круглый год корни, изменили их привычный облик. По несколько корявых — видимо, скрученных ветрами, снегами и каменными осыпями — стволов растут из каждого корневища: а кора у них тонкая, как папиросная бумага, бледно-желтого цвета, свисающая нежными клочьями...

Однообразная камеральная работа утомила нас, и Эрнст начинает популярно рассказывать мне и нашему радисту Грузинкину о том, как образуются горы.

— Спроси об этом несведущего человека — что он скажет? Какая-то сила сморщила поверхность Земли — так ведь? А скорее всего, было по-другому. Сила, конечно, была, но выдавливала она не хребты, собранные в гармонику, а округлую выпуклость... Ну, к примеру, помнишь, после войны из резины клеили футбольные камеры? Так, бывало, когда надуваешь ее, там, где резина потоньше, — вдруг вздувается пузырь... А потом миллионы лет — работа воздуха, воды, солнца... Более слабые породы разрушаются, на поверхности пузыря образуются морщины, в морщинах каждую весну начинают бушевать реки. Каменные глыбы во время половодья углубляют русла... И так продолжается миллионы лет!

Грузинкин, открыв рот, слушает популярную лекцию, а я заползаю в палатку и разыскиваю в рюкзаке томик Заболоцкого:

— Эрик, а вот послушай, как поэты представляют себе горообразование:

В огне и буре плавала Сибирь,
Европа двигала свое большое тело,
И солнце, как огромный нетопырь,
Сквозь желтый пар таинственно глядело.

И вдруг, подобно льдинам в ледоход,
Материки столкнулись. В небосвод
Метнулся камень, образуя скалы;
Расплавы звонких руд вонзились в интервалы
И трещины пород...

И мой друг, кандидат геолого-минералогических наук, и радист Грузинкин, ни разу в жизни не слыхавший о Заболоцком, отложили мешочки с образцами и слушают меня, открыв рты. А мой голос крепнет, и, впадая в актерский пафос, я начинаю декламировать:

...подземные пары,
Как змеи, извивались меж камнями,
Пустоты скал наполнили огнями
Чудесных самоцветов. Все дары
Блистательной таблицы элементов
Здесь улеглись для наших инструментов
И затвердели. Так возник Урал.

Эрнст взволнован. Он не знал этих стихов Заболоцкого.

— Какая смелость! “Расплавы звонких руд вонзились в интервалы” — да это же картина образования интрузий! Он что — геологию изучал?

Я сказал, что, может быть, и работал Николай Алексеевич в геологических партиях; но не по своей воле и не больше чем простым рабочим.

— Но ведь как точно все изображено! Да я на лекциях своих буду пользоваться этими стихами. Ну конечно же, друг, поэзия на один порядок выше науки!

Я — не спорю. Я рад за поэзию, что она не подвела. Мы снова садимся завязывать мешочки. Солнце стоит прямо над головами. Предметы почти не отбрасывают теней. Наши темные, уже, казалось бы, лишенные лишней влаги тела постепенно начинают блестеть.

— Грузинкин! Да сними ты рубаху, чего паришься!

Радист стаскивает рубаху. На груди у него от одной подмышки до другой выколот силуэт военного корабля с клубами дыма, уходящего к плечу через левую ключицу.

— А это что такое, Толя?

— Кто же тебе такую красоту изобразил?

— Да один мой матрос. Был я старшиной второй статьи при орудии на спардеке. Уговорил я его: сделай наколку. Он большой мастер был! Ну, колоть начали в двенадцать. До четырех я терпел. Осталось пустяки — только дым и флаг. “Не могу, — говорю, — перекурить надо!” А он мне отвечает, что,

мол, надо кончать дело без перерыва. Иначе — не выдержишь... А курить — нет мочи как охота. “Перекурим! — я ему приказываю. — Вытерплю. Грудь все равно задубела”. Перекурили. Снова начинаем. Я лег. Он садится на грудь — и за работу. А дверь не закрыли. Хлоп — входит командир. “Что такое?” Пятнадцать суток мне строгого. Горячее — раз в неделю. Ему — двадцать суток простого...

Мы с Эрнстом хохочем.

— Ну Грузинкин, ну артист!

— А названия у корабля почему нет?

— А названия и не было. Корабль-то военный. Номер был. Но если бы номер выколоть — так не пятнадцать суток, а трибунал!

Грузинкин рассказывает спокойно, деловито, поглядывает на грудь, через которую плывет двухтрубный современный крейсер. Скосив глаза, он показывает пальцем на левый сосок:

— Мое орудие как раз вот тут было, на спардеке... — Мы катаемся по траве от хохота, а со стороны кухни уже подает голос Евдокия:

— Мальчики! Обедать!

В палатке на высоте две тысячи метров сны снятся совсем другие, нежели в домашней постели, то ли от горного воздуха, плывущего над землей, то ли от духа горных трав-эфироносов, то ли от прекрасной, развинтившей все тело, каждую косточку и каждую жилочку усталости, которая к утру обернется упругой походкой, свежестью и способностью к работе. Сны резкие, яркие, которые долго помнятся после пробуждения. Но перед сном надо выкурить из палатки мокреца. Разводим дымокур, ломаем сучья турая, потом сухие арчовые ветки, источающие смолистый дух, а сверху наваливаем охапку растения, похожего на нашу белену, от которого исходит едкий белесоватый сок, которым местные люди травят в реках форель. Я засыпаю, а шофер Миша Громов, страстно желающий рассказать мне о своей службе в армии, не замечает, что мои глаза закрылись, что я уже слышу его голос из туманного далека:

— Армия моя родная! Я такой: пять раз одно дело сделаю, а пойму до конца — всю машину разберу по винтикам...

Мишаня живет в Ашхабаде, куда приехал из Подмосковья. Женился. Родил сына. Посадил две грядки огурцов — на каждую грядку поставил по чучелу. Сложил цементную “бассейку”, в которой, пошевеливая плавниками, важно ходят семь сазанчиков. По вечерам в тенистом дворе раздается голос его жены Анюты: “Миша! Иди Юрку укладывать, я замучилась!”

...Снится Ирина. Конечно, это было в Калуге. Будто бы я прихожу вечером в наш старый дом, открываю дверь — меня встречают растерянные мать и жена. Я вхожу и вижу Иру, толстую, румяную, с глазами-щелочками, с гладкими зачесанными назад волосами. Жена удивленно смотрит на нас, а мы пытаемся поцеловаться, но и во сне у нас ничего не получается — что-то детское, неуклюжее; Ира собирается уходить, и я хочу проводить ее, а сам думаю о том, что мы с ней пойдем по темным калужским улицам и там я где-нибудь поцелую ее, но тут же с ужасом вспоминаю, что ел лук и рот мой пахнет луком. Судорожно бросаюсь к нашему алюминиевому умывальнику и к всеобщему недоумению начинаю чистить зубы... Боже мой, ведь все это было четверть века тому назад! В горах вообще чаще, чем обычно, снятся женщины...

Светло-коричневые склоны, арча, дикий виноград, ежевика. В ноздри бьет усилившийся к вечеру запах горной полыни...

Повариха соседней геологической партии — яркие накрашенные губы, черные брови, синие глаза. В легком ситцевом халатике. Она сидела под тентом и аккуратно резала лук. А когда мы подошли, нежнейшим голосом предложила: "Мальчики, а не хотите ли холодного какао!" Мы, обалдев от счастья, пили холодное какао, говорили ей комплименты, за что вскоре были награждены горячими пирожками с повидлом... Потом мы закурили, и она закурила с такой грацией, что кто-то из нас не выдержал: "Мы вас украдем..." Она захохотала, демонстрируя белые зубы, и не без умысла поведала нам, что прошлой ночью какой-то дикий зверь с наружной стороны палатки ткнул ее в бок...

Долина Коняска. Голубая дымка над хребтами. Табуны лошадей в зеленых зарослях. Заброшенный полуразвалившийся кишлак. Тропа, угадываемая по медвежьему следу.

Целый день, пока я продвигался вдоль реки по ущелью, передо мной все время летела, то садясь на камни, то бесшумно поднимаясь в воздух, какая-то крупная черная птица.

Я вдруг почувствовал, что зыбкое равновесие жизни и смерти во мне нарушилось в сторону жизни. Я ощущаю себя здоровым и спокойным существом, инстинктивно сторонюсь всего, что может вывести меня из этого состояния в другое, плодотворное, но разрушительное и тревожное.

...К утру мне явился Николай Рубцов, худой, лысый, плохо одетый. В каких-то коридорах издательских или журнальных мы встретились.

"Коля! Ты живой?" — изумленно спросил его я. "Да вроде

бы живой", — застеснявшись и помолчав, тихо ответил Коля. "А где же ты был до сих пор?" — "Жил в деревне Карасевке..." — "Так ты и выпить можешь?" — "Могу, но лучше не надо..."

В руках у него была стеклянная книга: Бернс в переводах Маршака.

Бормочу названия рек, гор, хребтов и вслушиваюсь в звуки: Чильдухтар, Туполанг, Кызылычмек, Риваляйляк, Гурт-куйлюк... Всё звучное, сочное, многогласное, цокающее...

Утро. Короткая прохлада. Над палаткой щебечут сизоворонки, в пожелтевших горных березах шуршит ветер, в двух шагах от палатки шумит река. Обрывки снов тают в сознании... Пора просыпаться... Скорее в ледяную воду — и в путь.

Не доезжая Оби-Гарма, мы свернули на грунтовку и через час-полтора вышли на берег реки Хомарово, несущей прозрачные ледяные воды с Каратегинского хребта, чей гребень просвечивался тонкой снежной полоской сквозь толщу осеннего воздуха.

Голубая вода несла вдоль берегов узкие желтые листья ивняка, от хребта тянуло холодом, наступала пора последних маршрутов.

Но не успели мы разгрузить машину и поставить палатки, как на берегу появились два человека на лошадях.

— Кто такие? Зачем приехали?

— Геологи; работать здесь будем.

— Нельзя работать...

— Почему?

— Заповедник! Тут товарищ Ибрагимов отдыхает и охотится.

— А кто такой товарищ Ибрагимов?

Егеря-таджики из Оби-Гармского лесхоза изумились: как, мы не знаем товарища Ибрагимова? А еще из Москвы! Нет, сейчас же собирайтесь и уезжайте, откуда приехали!.. В бесплодных разговорах о всякого рода правах мы провели часа два, покамест я не сказал, что поеду в районный центр и попытаюсь все утрясти с местным начальством.

Ребята остались разбивать лагерь. Мишаня, чертыхаясь, завел "газик", и мы поползли обратно к Оби-Гарму.

Директор лесхоза, толстый человек в синем френче, в галифе, в цветной тюбетейке и полотняных сапогах, оказался несговорчивым.

— Нэ магу я пустить вас в запаведник! Ты панимаишь! Из Москвы?.. Ну и что! Москва далэко, а товарищ Ибрагимов близко! Он балшой чэловэк! Атдыхаит тут. Ахотитца... Как я магу вас в запавэдник пустить? Вот тэлэфон, звани товарищу

Ибрагимову... Нэт, иди на почту, закажи междугородний разговор. Разрешит товарищ Ибрагимов в запавэднике работать — пусть телеграмму дадут на мое имя, заверенную афициально...

Чертыхаясь, я вышел на улицу, послонялся по пыльной площади, зашел на почту, где узнал, что междугородная связь повреждена. И, совсем обалдев от полуденной жары, стекшейся со всех сторон к Оби-Гарму, вдруг заметил на обширном деревянном строении вывеску "Райисполком". Я прошелся по прохладным коридорам и поглядел на таблички инструкторов, завотделов, заместителей и, прочитав на одной из дверей простую фамилию "Быков", постучался....

Быков, широкоплечий крупноголовый человек, внимательно и устало выслушал меня.

— Да, конечно, дело не простое, но сейчас чего-нибудь придумаем. — Он набрал номер телефона. — Юсупов? Здравствуй, зайди ко мне, пожалуйста, разговор есть!

Через полминуты дверь отворилась и директор лесхоза Юсупов с необычной для такого тяжелого тела грацией, кланяясь и улыбаясь, вошел в кабинет.

— Садись, Юсупов!

— Благодарю, товарищ Быков, я постою!

— Да нет, ты уж садись, разговор у нас долгий.

Юсупов вежливо и бесшумно присел на краешек стула, с опаской поглядывая на меня.

Быков покопался в бумагах, что-то переложил из одного ящика в другой, сделал довольно длинную запись в календаре и, внезапно подняв лицо от стола, резко спросил:

— Ты кроликов государству почему до сих пор не сдал?

Юсупов встрепенулся было встать, но Быков взглядом оставил его на стуле.

— Тавариш Быков, — неожиданным для такого крупного тела жалостным и высоким голосом заверещал Юсупов, — падеж у кроликов! Эпидемия! Падохла многа, как план выполнишь?

— Ну конечно, развели антисанитарию! А нам теперь ломай голову, чем детдомовцев кормить...

— Тавариш Быков...

— Ну ладно, ладно, — досадливо отмахнулся Быков, — ты об этом еще на райисполкоме докладывать будешь...

Он опять погрузился в бумаги, вызвал секретаршу и передал ей конверт — словом, вроде бы отвлекся от Юсупова, который вытащил из синих галифе с вытертыми добела швами носовой платок и убрал пот со лба. Быков опять поднял голову:

— У тебя, товарищ Юсупов, какие-нибудь вопросы есть ко мне?

— Никаких, тавариш Быков, вопросов нет, никаких.

— Ну, тогда до свидания!

Юсупов облегченно вздохнул и заторопился к двери, но не успел дойти до нее.

— Погоди, товарищ Юсупов... А что у тебя со строительством дома для рабочих?

— Рабочих рук нэ хватает, тавариш Быков, — опять заголосил директор лесхоза еще жалостней, чем в первый раз. — Страительных матерьялов нэ хватает, цэмэнта...

— То-то у твоего заместителя цементные дорожки во дворе появились... Может быть, ты сообщишь, откуда, из какого цемента?

— Тавариш Быков, спасибо, что сказали! Все проверю, вам доложу, — скороговоркой забормотал Юсупов.

— Ну хорошо, иди работай! — Быков откинулся на спинку стула, давая понять, что разговор на сегодня окончен. Юсупов встал и задом начал медленно пятиться к двери, комкая платок в руках. Но когда он самой тяжелой частью тела уже отворял дверь и в последний раз кивнул головой, перед тем как пропасть в коридоре, Быков вдруг, словно бы вспомнив что-то, энергично поманил его ладонью обратно в кабинет. Юсупов на полусогнутых ногах подошел к столу, но сесть уже не решился.

— Люцерну скосил?

— Скасыл, тавариш Быков, скасыл! — оживился Юсупов. Но радость его была недолгой.

— А почему не полили, перед тем как скосить? Что, тебя учить надо, как люцерну косить?

Убитый горем Юсупов уже ничего не отвечал и даже не вытирал пот, блестевший на его темном круглом лице. Он только тяжело дышал и умоляюще смотрел на Быкова.

— Ну хорошо, иди, товарищ Юсупов, придется о тебе вопрос все-таки ставить. Не хотелось, а придется...

Юсупов тяжело вздохнул и в третий раз потащился к двери, но когда он переступил порог, безжалостный Быков в третий раз окликнул его:

— Юсупов!

Тот обернулся, но к столу уже не пошел, видно, сил у него не было.

— Ты почему людям работать не даешь?! — Быков кивнул в мою сторону.

— Так ведь, дарагой тавариш Быков! Сами знаете... Запавэдник... Товарищ Ибрагимов... Ахотитца... Атдыхает... А

вдруг таварищи фарэль паймают или кабана убьют? Кто отвэчать будит?

— Как кто? — удивился Быков. — Конечно, ты! Ну-ка пиши записку своим егерям, чтобы не мешали работать товарищам геологам. Вот тебе бумага, вот чернила...

Трясущейся рукой бедный товарищ Юсупов нацарапал несколько слов, передал мне бумажку и умоляюще посмотрел на Быкова.

— Можно идти, тавариш Быков?

— Можно, товарищ Юсупов!

Когда за директором лесхоза захлопнулась дверь, Быков печально улыбнулся и развел руками:

— Видите, как трудно работать! Ну, слава богу, у вас все в порядке! Поезжайте заниматься своей съемкой. Будет время, я к вам загляну на чай...

Я поблагодарил его, развернул записку с несколькими корявыми словами и спросил у Быкова на прощанье:

— А скажите мне, что хоть наш товарищ Юсупов здесь написал?

Быков поглядел в записку и расхохотался

— Ну, конечно, он не поверил, что вы работать приехали, и дал такое распоряжение своим егерям: "Пусть дорогие гости хорошо отдыхают!.." Что делать, привычка!

* * *

Я — коллектор Портнягина. Мы ходим с ним в маршруты — в одной связке. Мои обязанности — подготовиться с вечера к маршруту. Проверить снаряжение — тяжелые геологические ботинки с зубцами — "трикони", геологические молотки, положить в рюкзак пикетажные книжки, пластырь, мешочки для образцов; не забыть котелок для чая, заварку, две кружки, хлеб, соль, сахар, огурцы, помидоры. Все должно быть с вечера уложено, пригнано, затянуто. Из лагеря уходим рано, чтобы успеть до жары выйти на маршрутные отметки — а порой это километров за пять от лагеря, да еще превышение километр-полтора — и начать по утренней прохладе работу. Эрнст ходит в маршруте легко. Четко замеряет углы залегания пород, записывает их характеристики, а я в это время выбиваю из обнажений образцы, обколачиваю грани, наклеиваю на свежий излом кусочек пластыря, пишу на нем номер маршрута.

К полудню килограммов пятнадцать камней уже оттягивают мои плечи... А еще маршрутить километра три,

покамест выйдем на берег Сардай Мианы. Фляга чая, взятая в маршрут, уже выпита во время первого перекура. Пот заливает глаза. Рубаха пропиталась солью — чувствуешь спиной, как она задубела... И нет большего наслаждения, чем услышать в эти минуты бульканье родника! Эрнст пьет расчетливее, скупее и подсмеивается над моей ненасытностью:

— Ты знаешь, как Александр Македонский создал свою гвардию? В каком-то походе на Восток его войско одолевало пустыню и чуть не обезумело от жажды. Из последних сил вышли к воде. Солдаты бросили щиты, мечи, копья и, оттесняя друг друга, рванулись в реку, падали в нее, пили, пускали пузыри, кричали... Словом, вели себя, как... ты. Только немногие из них переждали, пока все стадо напьется, отложили оружие, сняли бронзовые шлемы, умыли руки, лицо и лишь после этого с достоинством утолили жажду. Вот из них-то Александр и сформировал гвардию. Кстати, он напился последним...

Я восторгаюсь, мне нравится рассказ, но у очередного ручья виновато оглядываюсь на Эрнста, сбрасываю с плеч рюкзак и припадаю к влаге потрескавшимся ртом.

Высокогорная вода! Холодная, снежная, ледяная, прозрачная, разламывающая зубы, синяя, обжигающая, сладчайшая, пенящаяся, летящая серебряными нитями водопадов, журчащая в мраморных трещинах, — я пил ее везде, где бы ни встречал. Уже не хотелось, но от одного взгляда на эту воду жажда вновь вспыхивала в горле. Я знал, что много пить нельзя, что потом будет тяжело идти, но глаза — жаждали. Я каждый раз с сожаленьем уходил от ручья — все равно всю не выпьешь! Но встречался следующий ручей, и я останавливался, снимал с затекшей спины груз и не торопясь выбирал удобное место, опускался на колени или ложился всем телом на влажную траву, на холодные камни, на отполированную яшмовую глыбу, погружая сначала воспаленные губы, а потом все лицо в освежающую струю, и, хмелея, начинал пить медленными маленькими глотками. Потом делал большой глоток, потом, чтобы не утолить жажду чересчур быстро, втягивал влагу сквозь зубы, пробовал ее вкус на язык и с сожалением отправлял в горло. Напившись досыта, я любил посидеть рядом с водой, слушая ее искрящийся шум, ощущая прохладу, исходящую от нее. В эти минуты, глядя на красные, белые и зеленые камни, светящиеся на дне, я чувствовал связь синего холода и воздушной свежести со своей судьбой, с присутствием в душе и в теле вечно молодой силы. Только боги и звери достойны пить эту воду.

К середине дня мы вышли к водопаду. Крутизна двухсотметрового плато, сложенного из коричневых пластов мезокайнозоя, была такова, что поток не скатывался по обрыву, а от верхнего края его и до глубокой выдолбленной чаши на уровне нашей тропы сверкающим жгутом висел в воздухе. Сердце заныло: а что там наверху — ручей, или громадное озеро, или какой-нибудь затерянный мир, где еще не ступала нога человека?

— Эрик? Подымемся!

— А зачем?

— Да посмотреть, что там...

Он улыбается улыбкой человека, прошедшего через такие детские искушения:

— Я тебе, чтобы не тратить полдня на подъем, скажу: там то же, что и здесь...

Уже четвертый час пополудни. Эрнст делает последнюю запись в пикетажке, и мы выходим на каменную осыпь, внизу голубой лентой вьется Сардай Миена.

— Что-то старею, друг! — грустно усмехается Эрик. — Бывало, такой маршрут я за полдня делал. Один делал, без коллектора. Сколько можно маршрутить? Сорок лет скоро! А все по горам прыгаю... Ну, поехали к реке, чаю сварим, да ты, глядишь, и форелью накормишь начальника. Пошли! Голеностоп держи плотнее!

Мы прыгаем с тропы в “живую” сланцевую осыпь, и она, медленно шурша, начинает ползти по склону, а вместе с ней, удерживая равновесие и перенося центр тяжести с одной ноги на другую, мы скачем вниз, опережая мощную шевелящуюся массу.

— Эрик! — в восторге кричу я. — Сма-а-три!

Эхо скачет по скалам к вершинам хребтов, обложенных розоватой дымкой.

На берегу с наслаждением сбрасываем рюкзаки, расшнуровываем тяжелые трикони и спускаем намятые, черные от сланцевой пыли ноги в ледяную синюю воду.

Пока Эрнст разводит костер в тени столетнего орехового дерева, я налаживаю удочку...

Ловля форели — нечто среднее между рыбалкой и охотой. Осторожно, чтобы не спугнуть рыб, прячась между кустами и камнями, я подхожу к берегу. Небольшой водопад, клокочущий, чуть выше меня, впадает в глубокий базальтовый бассейн. На корточках подползаю к воде, переворачиваю камень — ага! Вот он, букаш, любимое блюдо форели. Беру самого крупного, нанизываю на крючок. Делаю бесшумный

взмах удилищем — гибкий фиберглас легко посылает грузило и наживку под водопад. Мерными движениями, чтобы не зацепить грузило за камни, начинаю подтягивать леску к себе... Удар! Я знаю, что в эту секунду хищница с разгона схватила букаша вместе с крючком и рванулась обратно под камень. В ту же секунду я рву удилище на себя — форель не язь и не плотва: чуть замешкаешься — и она, разрывая себе рот, сорвется с крючка, — ее надо сразу выдергивать из воды, пока не опомнилась. Фибергласовый конец сгибается в крутую дугу, в следующее мгновение кончик распрямляется, выбрасывая из синей стремнины что-то трепещущее и разноцветное, рыба с глухим шмяканьем ударяется о гранитную стенку за спиной, слетает с крючка на тропу и, отпрыгнув от нее, летит обратно к воде! Вслед за ней, словно доставая безнадежный мяч на волейбольной площадке, летит мое тело — я падаю на все локти и колени, пытаясь прижать собой этот извивающийся упругий и холодный кусок жизни! Вырвалась?! Нет! Вот она! Держу! Все... Можно передохнуть и разглядеть свою добычу.

...Золотистый чай заваривается в котелке. Ореховые ветви уже прогорели. Я разгребаю угли ровным слоем, кладу по обе стороны кострища два ряда камней, на них — параллельно друг другу несколько сырых веток и на ветки осторожно укладываю одна к другой четыре крупных форели, натертых солью. Через две минуты они начинают томиться, дергаться от жара, как живые, их спинки снизу покрываются коричневой корочкой, я переворачиваю рыбу, сок с нее каплет на угли, и аромат благоуханных испарений щекочет наши ноздри.

Я обрываю с ореха несколько крупных листьев, кладу на них огурцы, помидоры, хлеб — и на два подогретых листа отдельно — царскую рыбу, испеченную в собственном соку.

— Обед готов, начальник!

Портнягин ест с жадностью, чмокая и постанывая от удовольствия. А я смакую форель не торопясь, чтобы не испортить себе впечатление от рыбалки; вспоминаю, как я подсек ее, как она рванула леску, соблюдаю достоинство добытчика и веду себя как гвардеец Александра Македонского. Словом, роли наши — поменялись.

А потом по кружке золотого чая! Да по сигарете! И развалиться на мягкой траве, разбросать по траве руки и ноги, бессмысленно глядя в бездонное небо. Так и заснули мы на земле. Я — в рваной красной футболке, Эрнст в линялой выношенной штормовке, оба в заплатанных джинсах, босые, счастливые, и проснулись на вечерней прохладе. Заходящее

солнце уже очертило длинные синие тени от нашего ореха. Костер догорел. Угли покрылись серым пеплом, и только еле заметная струйка дыма уходила в потемневшее небо...

Но почему во всех моих стихотворениях, где хоть как-то присутствует его образ, закладывалась мысль о смерти или предчувствие ее?

...Расстаемся с ним у истоков Ягноба: часть партии отправляется к югу, мы с Валентином Павловым на лошадях к северу. Склонясь над топографической основой, уточняем место, где встретимся через несколько дней — в устье Каниза...

Помню, что я начал писать это стихотворенье в седле, когда ехал к устью по долине, заросшей сочными травами, в которых бродили табуны необъезженных трехлеток. Справа и слева, постепенно уходя к небу и тая в рассеянной утренней дымке, виднелись горные складки. Стихи сами собой слагались под мерный шаг лошади, под ее шумное дыханье, под скрип седла:

Где встретимся? В устье Каниза.
Там, в матовом свете луны,
Склоняясь над травами низко,
Разгуливают табуны.
....
Где встретимся? Слушай, не много ль
Таких расставаний и встреч?
Смотри, как потупился тополь,
Услышав столь дерзкую речь!

Еще бы! Есть высшие цели
И планы на этой земле.
Сегодня на водоразделе,
А завтра на смертной постели,
В наполненной звездами мгле.

Он жил так широко — так безжалостно и щедро раздавая себя друзьям, работе, женщинам, науке, поэзии, что тревожно становилось на душе, глядя на эту щедрость. Словно бы человек чувствовал, что недолго жить ему на этом свете, что не много у него времени, как у того розового стебля, пробившего от нетерпения снег, чтобы успеть за короткое высокогорное лето совершить все, что предназначено природой... Да еще и цыганка однажды в поезде, когда он ехал к себе, на родину своих прадедов в Зауралье, в холодном ночном тамбуре, куда он вышел покурить, нагадала, что проживет он сорок лет. У Заболоцкого сказано: “ведь каждое сердце предчувствует час, когда оно канет на дно”... Предчувствия, исходящие от него, становились как бы и моими прозреньями:

Мой друг! Под проливным дождем,
Под синим азиатским зноем,
Мы начинаем наш подъем,
Необходимый нам обоим.

От временных привалов дым
Летит и в поднебесье тает
И над твоим виском седым
Как венчик голубой витает.

Послушай, в мире высоты
Немного проку исподлобья
Глядеть, как будто ищешь ты
Хороший камень для надгробья...

Стихи написаны после маршрута, когда мы, опьянев от высоты, от дыханья вечных снегов, от ощущения силы и вольности, вдруг начали, весело кощунствуя, выбирать себе среди глыб красного гранита, белого мрамора и черного базальта надгробные камни.

Он всегда тревожился за меня, когда я уходил в маршруты без него, или когда отправлялся вдоль рек и распадков за форелью, или на охоту за куропатками. Я иногда не рассчитывал время и возвращался в темноте. Хорошо еще, если луна, повиснув на краю черной скалы, озаряла мою тропу, а вдали, отражая ее мертвый свет, сияла призрачная гряда снеговых вершин Гиссара. Не раз, возвращаясь в лагерь, я по огоньку сигареты угадывал: Эрнст вышел на тропу — встречает своего неопытного друга.

К опасной работе приучен давно,
Я знаю: привычка надежней отваги.
За друга тревожусь. В долине темно,
Луна задыхается в облачной вате.

А я задыхаюсь в табачном дыму:
Неужто в потемках он сбился с дороги?
Курю и гляжу в непроглядную тьму
И скоро отряд подниму по тревоге.

Других не найти — он единственный друг.
Храните поэта, Небесные горы.
Он первый заметил, как сузился круг,
Такой необъятный в недавние годы.

* * *

В день твоей смерти я жил на берегу северной реки Мегры. Вечером, вернувшись после неудачной охоты к нашей палатке,

я залез в спальник и от усталости сразу заснул под шум мелкого осеннего дождя. Но внезапно глубокой ночью ни с того ни с сего проснулся и, пока приходил в себя, сделал попытку избавиться от тяжкого чувства, навеянного сном, приснившимся мне, видимо, перед самым пробуждением. Со временем я забываю почти все свои сны. Но этот помню. Мне снилось, что я встречаю в каком-то многолюдном и ослепительном аэропорту самолет, на котором прилетает мой сын. Но вдруг по ожидающей самолет толпе, словно ветер, проносится глухая весть о том, что самолет разбился. Люди начинают вполголоса переговариваться, что-то бормотать, шушукаться, волноваться. Тревога в зале ожидания нарастает, и вдруг по радио раздается нежный женский голос, называющий мою фамилию и вслед за этим говорящий, что "ваш сын погиб во время воздушной катастрофы при изящнейших обстоятельствах". Стряхивая с себя наваждение, я попытался заснуть снова, но сосущая боль не оставляла душу. Я вылез из палатки. Предрассветный ветер разогнал тучи. Дождь перестал. В черном небе чуть ли не прямо над головой сверкала Полярная звезда. В темноте под обрывом шумела река. Из-под полога время от времени доносился скулеж собаки, которой тоже снились какие-то сны. А в это время твое, уже холодное, тело лежало, укрытое брезентом, за несколько тысяч километров от меня на берегу горной речки... Может быть, когда ты упал на галечный берег, прижимая руки к груди, развороченной зарядом картечи, видения прошедшей жизни на прощанье пронеслись перед тобой, всё ускоряя свой бег, чтобы в конце концов слиться в сплошное крутящееся пятно. Может быть, в какую-то секунду перед твоим внутренним взором промелькнул и мой лик, чтобы навсегда исчезнуть. Может быть, ты сделал слабое усилие что-то сказать мне, но был уже не властен этого сделать... Может быть, я, находящийся на другом краю земли, проснулся именно в эти минуты... Может быть...

Кто знает? В известном смысле я вырастил тебя и потому сон о сыне был сном о тебе.

Наши тропы, костры, пепелища, сборы, лошади, маршруты, реки, стихи, женщины, — всё, все, всё, словно бы со свистом втянутое гигантским сквозняком, черным ветром, вырвавшимся из-под взревевшего лайнера, понеслось черт-те знает куда, в какую-то дыру, в туннель, в темное пространство, и ты делаешь последние усилия устоять на ногах, а волосы, плащ, одежда, руки уже тянутся вслед за вихрем, всасывающим тебя в громадную воронку.

* * *

Наша последняя с ним стоянка была в устье Хонако. Река вошла в обычное русло. Там, где летом шумели потоки, в их пересохшем ложе, занесенном плодородным илом, разноцветной галькой и семенами растений, — горели алые острова дикого мака.

* * *

Из писем Эрнста Портнягина любимой женщине.

Я долго сомневался: стоит ли публиковать? Но прочитал их несколько раз и подумал: без этих писем облик его будет недорисован, а к тому же нынешнему молодому поколению небесполезно будет прочитать их. Вдруг кто-нибудь и вспомнит после чтенья пушкинские строки “да, он любил, как в наши лета уже не любят...”

“21.12.75

Ты знаешь, моя милая, розы, которые я тебе подарил, до сих пор стоят в вазе с надписью: “За нашу победу!” — и ни один лепесток с них не облетел. Мне даже начинает казаться, что это знаменье, и я смотрю на них с суеверным ужасом и восторгом... Давно я не предавался такому эпистолярному разгулу — то ли виной твои письма, отчаянные, открытые и прекрасные — по два письма подряд! — это заставило бы содрогнуться всех, кто меня знает, — не по-портнягински!

С трудом прихожу в себя после хворобы, не помню, чтобы в последние годы меня так сбивало с ног. Работы — тьма! И я в нее погружаюсь. Неприятности одна за другой.

В здешний обком и университет пришло письмо из ЦК КПУ с тщательной хулой поэмы о Федорове (великорусский шовинизм и антиукраинские настроения). Да тут еще в Югославии является рецензия на ту поэму, где меня именуют “панславистом” и “русским националистом”. В понедельник сражение на идеологической комиссии — вызван для ответа.

Детка моя милая, солнышко мое ненаглядное, пойми меня правильно — дороже тебя из женщин у меня, наверно, сейчас никого нет! Видишь, какие слова исторгнул я из своей груди! Чего ты хочешь, радость моя, чтобы я, седой, лысый старый

сатир и бродяга, думал только о себе? Если бы это было так, я бы тебя давно сгреб в охапку и никуда бы не выпустил. Но я никогда не был смешным и не смогу быть.

Я — русский дворянин, как это ни странно звучит в наш демократический век. Ведь понятия о чести и достоинстве у меня болезненно живут в крови. Я счастлив тем, что твоя, может быть, первая серьезная любовь — это я. Ты счастлива тем, что любишь меня. Зачем это омрачать и губить. Ведь если у тебя это пройдет, ты сможешь еще (дай-то Бог!) от этого излечиться, а для меня это будет последняя трагедия.

Моя нежность глубже, ибо она печальней и радостней, чем твоя, вдвое или втрое. Так отличается кипение в пучинах от пара на поверхности. Пиши еще. Пиши как можно чаще. Целую, целую...

Твой Э. П."

"12.12.76

Слушай, милая, когда ты отвыкнешь от таких слов, как "уродство", "гад", "ужасный" и т. п.? Впечатление от твоих писем таково, будто ты живешь в каком-то фильме ужасов — все и вся преувеличено до крайности... Мир нужно любить — такова наша, литераторов, судьба — и людей тоже. Ты должна относиться к ним как царица и богиня, то есть прощая, но не приближая к себе. Все мещане злы, ибо самодовольны и высокомерны. Помни об этом. Ты ведь у меня добрее и мудрее, а ты теряешь чувство юмора — вместо веселого и трагического взгляда на окружение у тебя вырабатывается издевательски-унылый.

Даже если кто-то говорит правду обо мне — какое его собачье дело. Жалко: собаку обидел! А я их очень люблю, и лошадей, и тебя.

Мой отец — прекрасный наездник и лошадник — объяснялся маме в любви и говорил: "Ты знаешь, какие у тебя красивые ноги? Ну как, ну как у... лошади". Он за это схлопотал, но не понял, за что. Ибо это у него было высшим мерилом красоты. И у меня тоже. Наследственность.

Обязательно прочти альманах "Поэзия", № 15, 1975 г. Там любопытная рецензия на Андрея Вознесенского. Какой-то мальчишка разнес его основательно. В еврейско-либеральных кругах паника. Катаев лезет на стенку. Ведь Андрюша рупор "свободы" (а по совместительству и ЦК, но чернь этого не знает).

Твой вопрос: человек ли я, очень уместен. Я сам нередко его задаю. Вероятно, нет. Я поэт, стареющий, но цельный, полюбивший на закате сумбурную деваху. Я существо

решительное, но кроме дурного глаза в жизни боюсь одного — быть или стать смешным.

Я должен быть уверен в твоей (не знаю даже, как это назвать — задумался) жертвенности, что ли, или в умении понимать меня всегда, везде и во всем... И верности (как это ни банально!) до гроба! Представь себе: через десять лет мне 50, а тебе 30. Вдумайся в эти цифры. Сможешь ли, сможешь ли, сможешь ли! Ибо спутница поэта — это подвиг самозабвенный. Довела все-таки такого мужика до крика!

Твой. Целую. Э. П. Пиши. Пиши. Пиши. Твои письма прекрасны".

"15.12.75

"Учитесь властвовать собою..." "Смиряй себя молитвой и постом..."

Все оттуда же: от Бога!

Ну что ты, милый мой, сходишь там с ума! Бесишься, психуешь, грызешь себя, обижаешься на какую-то чушь и нечисть! Что это за пижонство: стакан водки с твоей бедной головкой! Ты извозчик или божий человек поэтесса?! Царица или совинститутка? Любимая Цезаря вне подозрений, а ты забыла? Прокляну!

В моих мыслях не умещается: как ты можешь любить меня и выделывать такое. Может быть, я внушаю тебе склонность к пороку? Тогда прискорбно... Твоя любовь должна подвигать тебя на творчество — иначе ты просто баба. Прости меня, любимая, за резкость, но выбираю самые тяжелые слова, чтобы вернуть тебя на стезю горнюю и истинную. Не могу думать о тебе без волнения, понимаю, что разбудил в тебе прекрасную женщину, радуюсь тому до печенок, но печалюсь, что разлуку так выносишь не крепко, а ведь это спутница любви. Со мной, бродягой, придется привыкнуть к этому. Прости мои сентенции, но я живу в мире напряженном и постоянно требующем предела воли и веры. Урываю свободные минуты для Достоевского и Константина Леонтьева, великого византийца и русопета.

Тоскую по тебе, может быть, сильней тебя, но не дергаюсь, ибо я мужик и мне нельзя. Очень хочу тебя всю, всю, всю... Вот! Письма мои все сжигай, если к кому-то попадут — не переживу и тебя прибью.

Целую. Люблю. Пиши все время, кстати, чем откровенней, тем лучше, дороже.

Эрнст.

P. S. В слезах перечитал "Братья Карамазовы", "Подросток". Выше этого в мировой литературе нет ничего. "Пора приниматься за дело, за старинное дело свое"... Тоже забыла? Эх, ты, сибаритка!"

"Ось Гиссара. 17 июля

Радость моя!

Прилетел вертолет и привез твою нерадостную весточку. Все, что с тобой происходит, конечно, горько и трудно невыносимо. Но ты опять впадаешь в крайности, как ребенок.

Ты взрослая женщина и, мне бы хотелось верить, достойная и разумная. Я пережил трагедию развода и знаю только одно: чем сдержанней и корректней ведут себя люди при разрыве, тем впоследствии будет легче им всем троим. Тут очень много зависит, конечно, от мужика, но я думаю, что и матушка твоя не даст все это низвести на базарный низменный уровень, на котором идут многие разводы. Тебе ее нужно поддерживать не истеричностью, свойственной, к сожалению, тебе, а твердостью и гордостью женской, ей, конечно, сейчас хуже всех, ты это должна понимать и забудь о своем эгоцентризме. Помни, что она от отчаянья сейчас теряет голову, о чем потом будет жалеть.

Каким бы ни был твой отец, называть его так, как ты называешь, — ты не имеешь никакого права. Ты его плоть от плоти.

Проклиная его, ты унижаешь себя. Они зрелые люди, и мать и отец. Но не забывай о том, что они мужчина и женщина еще достаточно молодые. Не берись быть судьей в этой неразгаданной стихии — отношениях двух миров духовных, сексуальных и т. д. Это бесконечно сложно, и суждения типа "он — негодяй, она — ангел!" и наоборот свойственны мещанскому и крайне ограниченному способу мысли.

Ты хочешь быть художником, поэтессой, посягаешь на высшее понимание судеб и душ человеческих — и если это так, то не будь же судьей и прокурором. Помоги матери, но не топчи отца. Отец и мать любили друг друга, и ты их детище. Все, что было, — все прекрасно, все это ваше, только не нужно все это в горячке поспешно затаптывать в грязь...

Акклиматизация в горах была мучительной. Первые четыре дня какой-то удар, едва оклемался. Потом начал маршрутить, вошел в форму, голова прояснилась, скоро, Бог даст, начну писать. Пока вертолет заходит на посадку,

дописываю письмо, сейчас он перебросит нас на Ягноб, а мое письмо увезет к тебе. Высокогорье — спасение и возрождение мое. Дай Бог тебе взрослости и разума. Целую.

Твой Эрик".

"Солнышко мое!

Вторую неделю хандрю, потому что не пишу — не пишется. Не пишется потому, что хандрю. Причина и следствие сошлись в одном лице и терзают друг друга. Тот самый "кафар" — "необъяснимая восточная тоска". У меня редко бывают такие депрессии — обычно от усталости. Вероятно, сказалось длительное двухмесячное напряжение — студенты, отчет по глубинам Азии, научные и литературные бои. Ночами бессонница. После Достоевского перечитал рыцарский роман 16 века, потом по-французски Бальзака и еще за ночь какой-то бред про киношников в "Иностранной литературе". Пиши. Твои письма прекрасны, но глуповаты. Ты — лучше их, а я хуже тебя. Люблю.

Твой Э. П.".

"21.1.76 г.

"Нам пора обратно ехать в Русь!"

Через 10 дней еду в Москву. И теперь уже не знаю, когда вернусь в Западный Город. Вот уже месяц гоним карту Памиро-Гиссара (глубины). Это — результат моей десятилетней геотектоники. От этой карты зависит судьба всей моей команды (четыре диссертации) — кроме меня, никто сделать не может основного — продумать! Нарисовать! Материалов — гора. Зрение сдает. Кончаем каждый рабочий день в двенадцать ночи. Прихожу, падаю мордой вниз и отключаюсь. Стихи не пишутся — это меня угнетает.

Черпаю силы в том, что прижимаю тебя к груди своей. И целую как никто, никогда, никого... Но что же ты молчишь? Мне начинает казаться, что пропасть между влюбленной девчонкой и любящей женщиной ты не сможешь преодолеть никогда. Быть одной из твоих влюбленностей я не могу и не хочу. Любящая женщина знает о вольном стрелке все, все понимает и принимает. Решенья у нее свои собственные и судьба тоже. Она пишет письма, звонит и ничего не может забыть. Она одна, она может быть навеки.

Влюбленная девочка готова на все в какое-то мгновение. Она пишет на стене "Я люблю Портнягина" (на наших немытых стенах эта надпись уцелела до сих пор), терзается

еще неделю, а потом, "стиснув зубы", все забывает и на первое слово якобы возлюбленного недовольным тоном отвечает — вопрошая: "Что случилось!" Она папенькина дочка. (Это прекрасно, когда есть понимающие и помогающие родители. Я с юности был этого лишен. Все решал и делал сам.) Ведь все, что было и есть у нас, — это только и только наше. Ну, зачем мне говорить о наших отношениях с твоим умным батей? Ведь ты, зная мой характер, могла бы сообразить, что такой разговор может погубить все. Я начинаю думать, что ты просто этого хочешь...

Мое мнение о твоих последних стихах не изменилось: лучше, чем все, что до этого. Постарайся вытянуть всю книжку на такой уровень. Беспощадность в нашем деле нужнее, нежели сопливое "все хорошо". От первой книги в твоей судьбе зависит очень многое.

Все. Целую.

Твой Эрик".

"Львов. 14 октября

Радость моя!

После твоего звонка я, как и во всех разговорах с тобой, тебя не слышал, не слышал ни сердца твоего биения, ни биения души. Ты словно немеешь и каменеешь, хихикаешь или молчишь.

Я очень суров с тобой при встречах — что поделаешь! Во-первых, это мой бродяжий характер, а во-вторых, я хочу, чтобы ты точно знала, с кем имеешь дело: мужик довольно угрюмый. Не хочу создавать иллюзий — только в открытую, только правду. Даже беспощадную.

А правда в том, что мне 40, а тебе двадцать, чтобы у нас что-то могло выйти. Твоя влюбленность — а это именно она, не спорь! — должна стать любовью единственной, верной, страстной и жертвенной. А в твоей зыбкой и неустоявшейся душе все еще может измениться, причем за короткий срок.

Человек я очень гордый, никакого кокетства твоего провинциального не принимаю и не понимаю. Пойми, что я не тот, кого можно этим увлечь: слишком искушен. Признаний наслушался от баб, в том числе и от твоих ровесниц. Только чистота и высокая любовь (я не боюсь этих слов) меня еще могут задеть за живое.

К тебе я отношусь очень нежно. То, что происходит у нас с тобой, прекрасно и неповторимо. Не могу вспоминать о тебе без волнения. Мне иногда кажется, что все это было возможно лишь в "золотом" веке. Боже, как редко я в своей жизни пишу письма и как это трудно! Теперь самое главное.

"Служенье муз не терпит суеты". Ты много суетишься. Стихи твои пока очень слабы по форме. Они разваливаются на слова и строки. Для поэтессы ты безобразно мало читаешь. Если ты думаешь, что у тебя впереди много времени, ты глубоко заблуждаешься. Все нужно делать сейчас! Разболтанность и лень могут быть допустимы лишь после очень напряженной работы. Иначе ничего не выйдет. И тогда моя вера в тебя напрасна! Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, Блока, Заболоцкого, Ахматову нужно читать не один раз, а всю жизнь. Так же как и русскую прозу.

Перешли мне готовую рукопись. По возможности отредактирую. Обнимаю.

Эрнст".

* * *

Ровно через пять лет после его гибели, чтобы избавиться наконец-то от постоянно сочащейся печали о нем, чтобы заживить ее и сделать просто далеким воспоминанием о далеком, почти сказочном молодом времени, я, возродив прошлые геологические знакомства, приехал на берег Хомарово, где когда-то стояли наши палатки. Место нашего тогдашнего лагеря я, конечно, не нашел, потому что несколько мощных весенних паводков с Каратегинских хребтов нанесли в долину столько обкатанной гальки, да и сама река столько раз поменяла свое подвижное русло и столько новых ивовых рощ на ее берегах! Словом, столько воды утекло...

Я приехал проститься с тобой —
Страшно вымолвить слово — навеки,
Потому что нельзя, чтобы боль
Слишком долго жила в человеке.

Я люблю эту теплую дрожь,
Что в пространстве под вечер струится,
Но ты видишь, серебряный ковш
Над хребтами бесшумно кренится!

Видишь сам — побелели хребты,
Предвещая ненастье и стужу,
Я не знаю, что чувствуешь ты,
Но прошу: отпусти мою душу,

Чтобы воспоминанья не жгли,
А бесшумно и медленно плыли,
Поднимаясь от влажной земли
К звездной стуже, к искрящейся пыли.

Вечером одиннадцатого сентября, в пятилетнюю годовщину его смерти, я оставался один в нашем лагере — к восьми часам вечера еще никто не вернулся из маршрутов. Я достал бутылку водки, зажег в палатке свечу, разлил бутылку на две кружки, выпил залпом свою долю и заснул до утра крепким сном без сновидений. Утром проснулся с легкостью в душе и в теле, собрал снасти и решил уйти по реке как можно дальше, потому что к середине сентября форель уже уходит к подножию хребтов на нерест.

...Возвращался я уже затемно — не рассчитал время — с целым мешком рыбы, холодящим спину. Тропа была вроде бы широкая, но луна еще не выкатилась из-за горы, и потому идти приходилось почти наугад, осторожно ощупывая ногами каждый камень: в темноте да на узких прижимах ведь все может случиться. Однако я был как никогда уверен в себе, да и какая-то ночная птица постоянно летела впереди меня, присаживаясь на тропу, со свистом поднимаясь в воздух, когда я подходил близко к ней, словно бы указывая мне дорогу в кромешной горной тьме. Когда я проходил мимо спящей чабанской отары, почуяв ноздрями овечий запах и услышав шумное дыхание овец, я тут же с тоской подумал: “Ну держись, сейчас собаки порвут тебе шкуру!” И они действительно вырвались с отвратительным лаем откуда-то из тьмы, покружились в нескольких метрах рядом со мной, но, вопреки своим привычкам, не решились пустить в дело зубы и, глухо ворча, вскоре побежали обратно к овцам. Окончательно измотанный от ночной ходьбы, я увидел наконец-то вдали огонек и подумал, что это наш лагерь. Но вышел к кишлаку, который был километра за два в стороне, повернул обратно и кое-как по контурам речного берега, чуть-чуть засветившимся от восходящей луны, угадал, где стоят наши палатки. “Спят, обормоты, — подумал я. — Хотя бы кто догадался “летучую мышь” на столе оставить для ориентира. Ведь знают, что не все еще вернулись. А Эрнст, бывало, не дождавшись меня, выходил в сумерках на тропу, и я издалека видел нервно плавающий во тьме огонек его сигареты...”

Ночью я проснулся — может быть, оттого, что почувствовал на своих веках свет от костра, пробившийся сквозь желтую ткань палатки. Я вылез из спальника. Вокруг костра сидело несколько человек, которым тоже не спалось. Геолог Пашка Хоботов, громадный, как медведь, вологодский мужик, заросший гривой сивых волос, грея у костра руки, медленно читал вслух:

Стояла зима. Дул ветер из степи,
И холодно было младенцу в вертепе
На склоне холма...

Пламя высвечивало из тьмы его большую голову, лицо девушки-практикантки, уронившей подбородок на колена, черную фигуру таджика-конюха, очертанья близко подступивших к лагерю горных берез, за которыми находился древний мазар, обнесенный изгородью с шестом посредине, увенчанным витыми рогами архара. А Пашка Хоботов, протянувши руки к пламени, словно бы обращаясь к нему, читал, погрузившись во тьму, в свет, в самого себя:

Его согревало дыханье вола...

1978—82

“Да сгинет тьма!”

Моя скандальная статья о массовой культуре и Высоцком. Террор среды. Письмо от Георгия Свиридова. Переписка и разговоры с ним. Его дословные монологи. Свиридов о русофобии, о продажности массовой культуры, о человечестве, о сильных мира сего. Похороны великого композитора

Помню, как в мае 1982 года я лихорадочно засобирался в дорогу. Мне все чаще стала сниться таежная река, впадающая в Белое море, ее зеленые острова, окаймленные золотыми лентами кувшинок, рокочущие пороги с гладкими, влажными валунами, серебряная рыба, выпрыгивающая из черной воды, белесоватые ночи, когда особенно тревожат душу звонкие голоса лебедей с безымянного озера.

Но за несколько дней до отъезда раздался звонок из “Литературной газеты”:

— Станислав Юрьевич, приглашаем вас выступить со статьей в дискуссии о массовости и народности культуры.

Проклятая тема давно мучила меня и, отложив на несколько дней сборы, я сел к столу и написал все, что пожелал — о Пушкине, о нашем телевидении, о Моцарте, о вульгарной экранизации классики, об Аркадии Райкине, о Федоре Достоевском, о братьях Стругацких, о Владимире Высоцком и т. д.

Когда я вернулся из поездки на Север, в редакции “Лит. газеты” меня ждал мешок писем, негодующих и восторженных, проклинающих и одобряющих... Поскольку я не пощадил в своей статье многих кумиров массовой культуры, то “террор среды”, обрушившийся на мою голову, носил тотальный характер. Я понял, что замахнулся на “святая святых”

современного упрощенного человека. И тем более долгожданным и дорогим было для меня каждое умное и серьезное письмо, выражавшее понимание и поддержку. Одно из таких писем было подписано: "Ваш Георгий Свиридов". После него мы познакомились, и наши, смею сказать, дружеские отношения продлились более пятнадцати лет, вплоть до смерти великого русского композитора.

"3.09.1982 г.

Дорогой товарищ!

*Не имея чести быть знакомым с Вами лично, хочу пожать Вам руку и поблагодарить за Вашу замечательную статью. Эпиграф статьи выбран Вами изумительно верно!**

Как я понимаю, речь идет о сохранении крупных духовных ценностей, без которых жизнь теряет смысл. И дело не только в тех или иных именах литературного обихода.

Я давно Вас знаю, люблю и ценю Ваше строгое слово. Читал прекрасную подборку стихов в газете "Советская Россия", журнальные и хрестоматийные публикации. Читал Ваши воспоминания о Н. Рубцове в журнале "Север". К сожалению, сборника Ваших стихотворений у меня нет (правда, я не коллекционер поэзии). Четыре ваши строки сидят у меня в голове прочно, как будто это я сам их сочинил:

Синий холод осеннего неба
Столько раз растворялся в крови,
Не оставил в ней места для гнева,
Лишь для горечи и для любви.

Это, знаете ли, мне очень близко! Дай Вам Бог здоровья и сил для Вашего достойного дела.

С большим уважением Г. Свиридов, Москва".

В ответ я послал Георгию Васильевичу сборник стихотворений и вскоре получил от него еще одно письмо.

"10.12.1982 г.

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Спасибо за новую книгу, спасибо за ту, присланную прошлый раз, и за великолепно подобранную В. Кожиновым маленькую антологию современной лирики. Она (книга)

---

* "Ты уснешь надолго, Моцарт!" (А. Пушкин)

открыла мне глаза на существование целой плеяды прекрасных подлинных русских поэтов. Там есть новые для меня имена, например, Казанцев, Балашов, Чухонцев, и у каждого из участников сборника есть настоящие стихи. В моем понимании это — подлинная поэзия, берущая свои заветы из первых рук. Живу я одиноко. Друзей у меня немного. В своей профессиональной среде я — пария, чужой человек. От этого мне особенно дорого то, близкое, что я вижу вокруг. Ваш "Путь" со мной в больнице, я его перечитываю: много мысли, но не рассудочной, а от восприятия мира — сердцем. "Реставрировать церкви не надо" — изумительно. Мне только непонятно, отчего Вы заменили "ни единый из них" на "ни единый из нас"? Из нас кто-нибудь да поймет. Надо в это верить!

"Чего нам не хватало на просторе", "А где дурачки городские"... все это прекрасно и трагично. Прекрасно также о "цыганском" пении. Знаете ли Вы, что это "цыганско-русское"? В Европе цыгане поют по-другому, и вообще меньше поют, хотя там поэты тоже воспевали их внутреннюю свободу — Ленау или Мериме. Но это — другое!

И лирика Ваша — хороша... Все это мне близко очень.

Жалею, что не мог быть на Вашем вечере, жена многое мне передавала из того, что видела и слышала, но это только возбудило мое любопытство. Лишь самолично присутствуя в зале, можешь ощутить напряжение, вызываемое поэзией столь жгуче современной, как Ваша. Хотелось бы мне также увидеть Кожинова; посмотреть, что это за человек, хоть внешне. Он меня поражает. Какая глубина и целеустремленность!

После Нового года, даст Бог, буду дома.

Может быть, навестите меня?

Желаю Вам здоровья и всего самого доброго.

Г. Свиридов".

К этому письму следует сделать необходимое пояснение.

В одной из моих книжек Свиридову чрезвычайно понравилось стихотворение "Реставрировать церкви не надо". Поскольку он в своих письмах дважды пишет о нем, подробно разбирая отдельные строки, я должен еще раз (оно приводится в главе об А. Межирове) его процитировать, дабы читатель понял, что волновало в этом стихотворении Свиридова.

Реставрировать церкви не надо —
пусть стоят, как свидетели дней,

как вместилища тары и смрада,
в наготе и в разрухе своей.

Пусть ветшают...
                    Недаром с веками
в средиземноморской стороне
белый мрамор — античные камни —
что ни век возрастает в цене.

Штукатурка. Покраска. Побелка.
Подмалевка ободранных стен.
Совершилась житейская сделка
между взглядами разных систем.

Для чего? Чтоб заезжим туристам
не смущал любознательный взор
в стольном граде иль во поле чистом
обезглавленный темный собор?

Все равно на просторах раздольных
ни единый из нас не поймет,
что за песню в пустых колокольнях
русский ветер угрюмо поет!

(1975)

В первом варианте стихотворения, который был прочитан Свиридовым, третья от конца строчка у меня читалась так: "ни единый из них не поймет..." Но потом мне стало казаться, что в этом есть какая-то внутренняя нечестность, какая-то попытка скрыть и нашу собственную вину за все происшедшее с Россией в XX веке. С большими колебаниями, но я все-таки исправил строчку, взяв часть исторической вины самоубийственного кощунства и беспамятства наших отцов и дедов — на себя: "Ни единый из нас не поймет..." Но когда Георгий Васильевич получил от меня очередную книгу моих стихотворений, в которой я, перепечатывая некоторые главные стихи своей жизни, оставил и "Реставрировать церкви не надо" с исправленным словом, он чутьем пристрастного и внимательного читателя сразу понял все: зачем и почему я исправил одно слово на другое. И написал об этом короткое, но чрезвычайно важное и для него и для меня примечание.

А потом, в письме от 3 декабря 1983 года, снова вернулся к этому стихотворению и даже предложил добавить одну букву в одном слове. И с железной логикой обосновал необходимость такого изменения. Но об этом чуть дальше.

Я посылал Георгию Васильевичу новые книги, он иногда звонил мне, приглашал на дачу в Академический городок, где снимал на лето жилье у вдовы одного известного академика.

Мне было всегда горько смотреть на то, что крупнейший русский композитор не имеет средств для того, чтобы жить на собственной загородной даче в соответствии со своими привычками и характером. Но он не придавал этому особенного значения. Он встречал меня возле крыльца, дача находилась в самом глухом углу поселка, вокруг нее росли высокие сосны, кусты дикой малины и смородины. Мы бродили с Георгием Васильевичем по заросшим лесной травой дорожкам, глядели на мерцающие нити осенней паутины, скользящей в воздухе, на низкое небо, уже чреватое осенним холодом, и разговаривали о Чайковском, о Шостаковиче, о Бахе...

Свиридов на прогулки надевал теплое ратиновое пальто, подшитые валенки — в последние годы он плохо переносил холода — и, похожий на вельможу екатерининских времен в изгнании, показывал, словно свои владения, самые глухие уголки не принадлежащей ему усадьбы... Иногда он резко менял течение разговора, и после скупых жалоб на то, что у него в столах лежат духовные сочинения, которые он не может издать, да и исполнять их некому! — он вдруг начинал пристрастно спрашивать меня о сегодняшнем времени, о поэтах моего поколения, о критиках, о друзьях, о хулителях и ненавистниках русского искусства...

— Вы Кожинова обязательно как-нибудь ко мне приведите, очень мне интересен этот человек... А Юрия Селезнева знали? Да? Замечательный был человек, независимый, штучный! А с Костровым дружите? А чьи стихи посоветуете мне почитать? Юрия Кузнецова? Откуда он, сколько ему лет?

Современность, какая бы она ни была, привлекала его чрезвычайно, не меньше, чем великое прошлое.

Я привез к Георгию Васильевичу Вадима Кожинова, потом как-то был у него в гостях с Валентином Распутиным, познакомился в его доме с Евгением Светлановым, с Николаем Мининым, с Владиславом Чернушенко.

Он был чрезвычайно разборчив в новых знакомствах и одновременно жаждал общения и встреч с новыми людьми России. Как будто хотел поделиться с нами всеми своими горестными и тайными думами о ее судьбе, всем своим жизненным опытом, всем, чем жил он, великий отшельник нашего времени, опекаемый ангелом-хранителем Эльзой Густавовной, изредка звонившей мне и требовательно просившей: — Приезжайте, Юре надо поговорить...

Я понимал, что в нем накопилась усталость от работы, от одиночества, от независимости, от усилий, с которыми он сохранял чувство собственного достоинства и чести: "Я очень

одинок. В музыкальной жизни пахнет псиной, мафией, интригами. Опереточный Хренников, порнографический Петров, правда, есть и Гаврилин — настоящий талант. Русская современная жизнь слышна в его музыке — и драма, и раёк, и улица. Мне завидуют, меня не любят и не понимают". Иногда мне казалось, что он выбрал меня, чтобы я потом рассказал — после него, как жилось ему в его молчанье и в его почти монашеском обетном, аскетическом подвижничестве последних лет жизни. Я посылал ему новые книги, и не только свои, он, получив их, почти всегда отвечал мне благодарственными письмами, в которых размышлял и о поэзии Николая Рубцова, и об Андрее Вознесенском, и о Федоре Абрамове...

ИЗ МОНОЛОГОВ ГЕОРГИЯ СВИРИДОВА

"Я ведь недаром люблю литературу, поэзию, слово. Вот с Вами встречаюсь, с Распутиным, Клюева перечитываю — гигантский поэт! С монументальным народным, христианским ощущением жизни!

Все дело в том, что музыка сегодня не та, что была в прошлые века. Религиозный дух оставляет ее, отделяется от нее, она как бы эмансипируется. И сегодня она может жить только в союзе со словом. А это ведь — совместная жизнь слова и музыки — издавна присуще русской культуре. Наша народная музыка — это пение, как для русских, так и для белорусов с украинцами. Наши народные песни, целый пласт! Наши былины были немыслимы без мелодического исполнения, "Слово о полку" так же исполнялось, как песенный речитатив, я уж не говорю о наших молитвах, о церковных песнопениях. А народные песни? Целая сокровищница, которую мы забыли, загубили, разбазарили за последние десятилетия. Я пытался создать в современной музыкальной жизни своеобразную антологию русской песни, но музыкальная среда, верхушечно-чиновничья композиторская братия отвергла эту мысль. Да уж если так относиться к великой русской народной песенной культуре, то что говорить о фольклоре других народов? Северных, сибирских, дальневосточных. А ведь в их ритуальных песнях такое слияние с природой, такое древнее представление о мироздании, такое наивное и мудрое детское восприятие мира!

И однако современная музыка, даже плохая, даже примитивная в худшем смысле слова, даже неприятная многим из нас, — все равно отражает время, его страсти, его эгоизм, его атеизм, его движение к концу света. А потому она, эта музыка, достойна внимания и изучения. Так что вам, литераторам,

хочешь не хочешь — надо слушать эту музыку, анализировать ее, понимать, разгадывать, чем она близка и понятна душе сегодняшнего одичавшего от цивилизации человека. В Америке есть большая музыка. Американские "чувственные псалмы", в которых выразились чувство и темперамент "черных", замечательны. Там есть поворот к национальному, к "реакционному", как пишут всегда "прогрессивные" еврейские музыкальные критики".

"24.07.1983 г.

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Посылаю Вам забытые у нас фотографии и стихотворения. Как мне пришло в голову (к сожалению — поздно, ибо русский человек крепок, как известно, задним умом!), стихи предназначались для прочтения, но я не был столь догадлив и не попросил Вас почитать, по своей непривычке к общению с поэтами. Но я надеюсь, мы как-нибудь устроим литературно-музыкальное "суаре" и тогда — все станет на свои места! Мне было очень хорошо беседовать с Вами и Кожиновым, которого я видел впервые, и тоже, надеюсь, не в последний раз (дай Бог).

Сообщите мне, будете ли Вы в Москве — август и первую половину сентября. Может понадобится встретиться по делу небольшому.

Рыба Ваша произвела ошеломляющее впечатление, я съел ее — один, никому не дал ни кусочка, подобного лакомства мне не доводилось пробовать, хотя я — человек избалованный.

Привет Галине Васильевне.

Крепко жму Вашу руку.

Г. Свиридов".

Сюжет с рыбой возник в письме после того, как я, вернувшись из архангельской тайги с рыбалки и охоты, угостил Свиридовых семгой и хариусом, которых и поймал, и засолил собственноручно.

"3 декабря 1983 г.

Дорогой Станислав Юрьевич,

спасибо за "огоньковскую" книжечку "По белому свету". Получил с большой радостью. Бандероль была послана по неточному адресу, но в нашем почт. отд. меня знают и доставили в сохранности куда надо. Стихи Ваши, собранные в ударный кулак, производят на меня большое впечатление.

Мне нравятся Ваша страсть и напор, мужество и умение смотреть на трагическое строго, сурово, без дряблости, сентимента или любования тяжелой стороной жизни. Например, стихи про юродивого. Да многое я бы Вам мог написать, поверьте — я человек с большими требованиями! Стихи Ваши действуют на меня неотразимо. Но критика, который заглянул бы в их глубину, еще не нашлось! И это не упрек Кожинову, который Вас любит, просто тут нужен другой особый глаз для смотрения. Мне не кажется (я позволю себе судить, любя Вас!), что крупная форма, например "Поэма", явится итогом Вашего пути. Большие, заранее заданные формы не производят на меня теперь впечатления, наоборот, предельно миниатюрная, сжатая как прессом форма — очень действенна. См. напр. потрясающую книгу покойного Ф. А. Абрамова — "Трава-мурава", это грандиозно по силе, эпично — несмотря на то, что рассказы иногда — короче лирического стихотворения. Эпос. Автор не вылезает на первый план со своими "самовыраженческими" чувствами. Воздействует лишь сама правда жизни, но написанная минимумом максимально точных и выразительных слов. И в поэзии я ценю более — сжатое, спрессованное. Большую же форму вижу — как ряд спрессованных (каждую саму по себе) миниатюр, точно со смыслом выстроенных в ряд.

* * *

После всего этого "наукообразия", которое меня почему-то сегодня одолело, скажу Вам, что читаю стихи Ваши (хорошо уже мне знакомые!) со слезами на глазах. Это без всякой гиперболы.

Одно из любимых моих стихотворений "Реставрировать церкви не надо"... Вы переделывали его. Теперь оно обрело стройную прекрасную форму! Но я хочу быть похожим на того сапожника, который правильно "в обуви ошибку указал", а потом начал говорить: "Мне кажется, лицо немного криво" и т. д. Пушкин хорошо это изобразил, и я этому изображению следую, а именно: "Штукатурка. Покраска. Побелка". Эти три слова напоминают как бы вывеску нашей мастерской, где производят подобные работы. И в этом (в их грубом бытовизме) есть недостаток, отвлекающий от возвышенной речи стиха. Это просто перечень работ. Не смейтесь надо мной! Я говорю это потому, что стихи эти мне особенно близки. Подобная же мысль мне давно и часто приходила в голову, когда я смотрел на разрушенные церкви, похожие на

живого человека, с которого сняли кожу, такой это у меня вызвало образ.

Так вот: не сердитесь на меня. "Штукатурка. Подкраска. Побелка. Подмалевка" и т. д.

"Подкрасить" разрушенную церковь, как подкрашивается продажная женщина. Но покрасить — бытовое дело. А "подкрасить", то есть нанести некий фальшивый тон на то, что внутри уже разрушено, убито и т. д. Другой смысл, более, мне кажется, глубокий возникает от этой одной буквы.

Только не сердитесь, пожалуйста! Я желаю Вам хорошего Нового года — здоровья и возможности трудиться над любимым делом, благополучия и мира в доме. Сердечный привет Вашей жене!

Я нахожусь в больнице, тоскую, естественно.

Не показывайте моих замечаний никому, это должно быть между нами, замечать Вам в стихотворном деле дает мне право только моя большая любовь к Вашим стихам.

Крепко жму Вашу руку.
Г. Свиридов".

* * *

"Русские хоры — и народные и церковные — это чудо! Живое, теплое, трепетное многоголосье! Разве с ним может сравниться западноевропейский орган — это же механический Бог!" О русской хоровой стихии он размышлял постоянно.

Но чаще всего в разговоре о музыке Георгий Васильевич вспоминал Мусоргского: "В его музыке слышится грохот разрушающихся царств". Мусоргского он ценил как композитора, слышавшего тайные, материковые сдвиги человеческой истории, для чего нужно кроме музыкального гения великое личное мужество. Часто вспоминал и музыку Римского-Корсакова. Помнится, как он рассказывал о возобновленной в 1984 году постановке оперы "Сказание о граде Китеже".

— Написана опера в 1902 году. При Советской власти ни разу не ставилась. Пытался поставить Голованов в 30-е годы, его смяли, затоптали, даже термин ввели — "головановщина". А Светланов сделал грандиозную постановку! — Свиридов был восхищен и оперой, и постановкой. С особым чувством он, как бы говоря о современной русской жизни, передавал свое впечатление от образа спившегося негодного русского человечишки, который провел захватчиков ордынцев по неведомым им тропам к таинственному граду Китежу...

— Пьяница, готовый продать все самое родное, самое заветное, “вор”, как говаривали в старину, русский средневековый люмпен. А сколько их в нашей жизни, — сокрушался Свиридов и вспоминал поджигателей-архаровцев из повестей Валентина Распутина “Пожар” и “Прощание с Матерой”... — Я без слез не могу слушать, когда в финале оперы звучит вопрос: а что же дальше будет на Руси? — и герой поет: “Вижу церкви без маковок, дворцы без князей...”

ИЗ МОНОЛОГОВ ГЕОРГИЯ СВИРИДОВА

“Самый великий наш композитор — конечно же, Мусоргский. Совершенно новый для всего мирового музыкального искусства язык, обогащенный мощным религиозным чувством, да еще в ту эпоху, когда оно уже начало выветриваться из мировой жизни, да и из русской тоже. И вдруг — “Хованщина”! Это же не просто опера, это молитва, это разговор с Богом. Так могли мыслить и чувствовать разве что только Достоевский и Толстой.

Великие ученики и последователи Мусоргского — Римский-Корсаков в “Сказании о граде Китеже” и Рахманинов во “Всенощной” и “Литургии” продолжили религиозное, православное понимание мироустройства. Но первым в России его выразил Мусоргский. Его сочинения — это настоящее религиозное искусство, но на оперной сцене. Его речитативы не сравнить с речитативами Верди. У Верди речитативы непевучие, механические. У Мусоргского же речитатив — это голос священнослужителя, произносящего Божественные, великие по своему значению слова, которые две тысячи лет произносятся в христианских храмах. В этих словах есть и простота, и детскость, и глубина удивительная. Ведь Христос сказал: “Будьте как дети”. И недаром же у Мусоргского есть гениальное сочинение о детях — “Детская”. Душа ребенка — чистая, простая, вопрошающая, живет в этой музыке. А способностью проникнуть в душу человеческую Мусоргский ближе всего к Достоевскому. Он не признавал оперной европейской музыкальной условности в изображении человека. Его оперные люди по сравнению с людьми Вагнера, Верди, Гуно — совершенно живые, стихийные, загадочные, бесконечные, как у Достоевского. А у западных композиторов их герои — это как бы герои Дюма, в лучшем случае Шиллера или Вальтера Скотта. Нет, у него не романтизм, не приукрашивание мира, не упрощение его, а стихийное выражение жизни со всей ее сложностью и бесконечностью.

Словом, русское ее ощущение. Потом это назвали музыкальным реализмом. Но простейший быт, при всей своей тяге к реализму, он в музыку не впускал. Потому и не получилась его попытка с речитативом к гоголевской “Женитьбе”. Слишком содержание ее ничтожно, ничтожно настолько, что Гоголь сам поражался этой ничтожности, пошлости жизни, обыденности. Мусоргский же — композитор трагических страстей, на которых стоит и зиждется жизнь. Он единственный настоящий композитор-трагик. Его “Борис Годунов” куда ближе к древнегреческим античным трагедиям с их хорами, нежели к легкому и изящному европейскому оперному искусству. “Борис Годунов”, “Хованщина” — это музыка крушения царств, это музыкальное пророчество грядущих революций. И одновременно это апология русского православия. Звон колокольный гудит в его операх! Звон великой трагедии, потому что народ, теряющий веру, — гибнет. А сохранивший или возродивший ее — доживет до торжества христианства. Вот что такое Модест Петрович Мусоргский. Потомок Рюриковичей. Умер в богадельне. Его травили либералы — Тургенев, Салтыков-Щедрин. Один лишь журнал “Гражданин” (реакционнейший!) поместил некролог со словами: “Умер великий композитор...” Но насколько был силен в идеях — настолько был слаб в оркестровке, она у него на уровне XVIII века. За это его ругали, и правильно. И еще настоящая литургическая музыка у нас, конечно, Рахманинов. Не Чайковский, не Бортнянский. У них чувство религиозно-сентиментальное. Не более того.

Кабалевский? А что вы о нем спрашиваете? Слабенький композитор. Такой круглый весь, неоригинальный. Несколько неплохих мелодий есть, правда”.

“Дорогой Станислав Юрьевич,

пишу по делу. Месяца два с половиной назад появилась идея сделать передачу Ваших стихов по радио (вместе с музыкой!). Идея была близка к осуществлению, но обнаружились трудности, и дело — стало! Причин тут несколько: 1. Подборка стихов оказалась не так удачной (делал ее не я!). 2. Само Ваше имя, да еще в целой передаче (на час времени), вызвало у кого-то из лит. сотрудников Радио, очевидно, протест либо боязнь, причем не боязнь даже начальства (хотя радиоцензура исключительно строга!), а боязнь и литературных людей, с которыми этот литотдел завязан “мертвым узлом”. Но это — Бог с ним, не хочу лезть в подробности.

Что надо сделать? 1. Вам — отобрать примерно 20 сти-

хов (из "огоньковской" книжки, известных, и прибавить к ним что-то по желанию). Пойдет из них 15 (больше не входит). Остальное место должны занять: вступительное слово Свиридова (ибо передача — музыкально-литературная!), такое слово мной уже было произнесено и записано, но я его немного доделаю (слово недлинное), и музыка Чайковского П. И. и Рахманинова С. В. — компания почетная! Музыка (в отрывках) уже мной подобрана, но ее также надо пересмотреть в связи с переменой текстов.

Прошу Вас отнестись со всей серьезностью к этому делу, оно может дать высокий художественный результат. Имелось в виду пригласить чтецом Юрия Яковлева, хорошего артиста, но пару-другую стихов могли бы прочесть и Вы. Желание сделать такую передачу есть и у моих музыкальных друзей по Радио и у меня. А теперь, когда поставлен препон, это надо постараться сделать особенно. Выберите время и постарайтесь исполнить мою просьбу. Я думаю, у Вас это не вызовет возражения? А мы будем "толкать" этот "вопрос". Правда (говорю Вам по секрету!), я почувствовал, что помимо общих цензурных строгостей к слову на Радио (что м. б. и естественно!) "завязанность" с "литгруппировками" там тоже есть! Но мы будем стараться преодолеть этот барьер. М. б. нам это и удастся.

В нашей музыкальной жизни дело ведь обстоит м. б. и еще хуже: вся музыка находится в сфере влияния "преступного синдиката", стоящего во главе Союза композиторов и творящего пагубное дело для нашей культуры, в первую очередь русской. Но надо жить, делать то, в чем убежден и без чего жизнь теряет смысл.

Крепко жму Вашу руку. Жду письма.

Г. Свиридов.

19/1—84 г."

...Свиридов еще не конца представлял себе, насколько силен в литературном мире свой "преступный синдикат", творящий то же пагубное дело для русской литературы. Я предчувствовал, что едва ли что-нибудь может получиться из его затеи с передачей на радио. "Хотя, — сомневался я, — знаменитое имя Свиридова — как они смогут с ним не считаться?" А они просто "заматывали" его идею, чинили ей всякие мелкие препоны, понимая, что рано или поздно он махнет от усталости на все рукой и отстанет от них.

"Консерватории — это унификация музыкальной жизни, своеобразная борьба цивилизации с музыкальной стихией, живущей в недрах любого народа. В Европе до середины XIX века не было никаких консерваторий.

Первая была создана в Германии сыном крупного еврейского банкира Мендельсоном Бартольди, замечательным композитором. С переходом на консерваторское образование наша церковная музыка стала оттесняться на обочину музыкальной жизни. Началась европеизация русской музыки, которую энергично поддерживали приехавшие в Россию братья Рубинштейны. Их нашли менеджеры Мендельсона, которые искали по всей Европе способных молодых музыкантов, чтобы обучить их в лейпцигской консерватории, а потом распределить, говоря современным языком, по разным странам в разные национальные консерватории. Но великие немецкие композиторы не приняли этих музыкальных новшеств. Ни один из них в консерваториях не учился: ни Шуман, ни Вебер, ни Лист, ни тем более Вагнер, ни Шуберт, ни Брамс. А ведь это не случайно! Лист вообще презирал унифицированное консерваторское образование, и когда встречал бездарного молодого музыканта, то иронизировал: "А Вам, молодой человек, надо обязательно поступить в консерваторию!" Антон Рубинштейн стал монополистом вкусов, определял репертуар, замалчивал Мусоргского. Когда Репин рисовал "Могучую кучку", ему все приходилось согласовывать с Рубинштейном, а тот ему прямо сказал: "Ну, а Мусоргский-то зачем?" Однако музыкальных критиков европейские консерватории вскоре после создания их сети наплодили к концу XIX века очень много! Поэтому у Листа было два ругательных слова: "музыкальный критик" и "консерватория". Правда, русскую консерваторию спасло появление Петра Ильича Чайковского, который вскоре перерос Рубинштейна и стал представлять русскую музыку не только в Европе, но и в Америке. Да и наша "Могучая кучка" — Бородин, Римский-Корсаков, Балакирев, Кюи, ну и, конечно же, Мусоргский — созрела как непрофессиональная среда. Стравинский — явление незаурядное. Именно он проложил в русской музыке путь к чистому модерну, гиперболизовал форму, сознательно лишил музыку духовного начала. Но на этом пути он сделал немало открытий. И, однако, я знаю, что крупнейший композитор XX века — Рахманинов. Его "Всенощная" изумительна! За 2 месяца я прочитал более 6000 тысяч страниц партитуры

18 Зак. 426

Рахманинова, Мусоргского, Римского-Корсакова, даже глаза заболели! Учился сопрягать оркестр с голосом. Но есть у Рахманинова и слабости — сентиментальность".

"21 февраля 1984 г.

Дорогой Станислав Юрьевич,

подборку стихотворений получил, навел справки на радио. Будем стараться сделать передачу, хотя это оказалось гораздо сложнее, чем я предполагал. Время идет — жизнь меняется! Но я не опускаю рук и не теряю надежды. Теперь у меня — трудное время. Живу я скверно, болею, жизнь как-то быстро вдруг пошла под откос: дел много, помощи нет, живу в чужом углу, на старости лет это неудобно, неуютно. Работа моя — стала. Уже пошел четвертый год, как я ничего нового не могу сделать, быт разлезся по швам. Грустно мне очень, и не знаю, как поправить дело. Книги, посланные Вами, получил. "День поэзии" произвел своеобразное впечатление, думается, он в известной степени отражает состояние нынешнего духа стихотворцев. Читал и критическую заметочку т-те Друниной (весьма, надо сказать, противной особы). Заметочка эта — хорошая реклама!

Ваши стихи мне близки, поэтому понравились. Они современны, по лирическому движению, но не добавляют ничего нового в Ваш облик, каким он у меня сложился. Любя Вас — позволю себе говорить откровенно, в этом ведь нет ничего обидного?

Книга воспоминаний о Рубцове произвела сильное и очень, надо сказать, гнетущее впечатление. Если нашей поэзии еще суждено существовать как "Русской поэзии", в ее главном, коренном качестве, то Рубцов должен остаться в ее истории со своими стихами и своей страшной судьбой. Многое, конечно, роднит его с Есениным, но тот был еще человеком здоровой, неотравленной крови, погибал более натужно, форсил, красиво хулиганил в стихах, а этот шел на дно уже безропотно...

Одинокая, бесприютная душа, потонувшая в северном необъятном мраке. Его стихами говорит послевоенная, разоренная Россия, Россия детдомов, общежитий, казармы или кубрика и кабака, но не старого кабака, общего (как у Некрасова или Есенина), а кабака уже "домашнего" (в каждой квартире, в каждом жилом углу). И, наконец, могила с "шикарным" казенным надгробием от Союза писателей. Ужасом веет от этой книжки! Вы с ним были дружны. Это меня не удивляет. Вы очень дополняете Рубцова в том смысле,

что совсем (как я понимаю) непохожи на него и вместе с тем несете нечто общее. Желаю Вам бодрости и вдохновения. Пусть будут рассказы! Но я жду и Ваших стихов. Ваше страстное мужество мне по душе! А я его как-то потерял... Крепко жму Вашу руку.

P.S. В музыке у нас появилось прекрасное произведение: "Перезвоны" Валерия Гаврилина. Грандиозная штука для хора, идет целый вечер.

Vale. Г. Свиридов".

Георгий Васильевич вспомнил о Ю. Друниной лишь потому, что поэтесса, прочитав в "Дне поэзии" мое короткое стихотворение:

Надо сигарету в зубы сунуть
и на мировую смуту плюнуть,
а иначе душу съест печаль,
только жаль тебя, моя подруга,
только жаль беспомощного внука,
только красоты и жизни жаль —

отзывалась о нем в статье, опубликованной в 1984 году в газете "Правда", как о стихотворении, полном пессимизма и упадничества.

"Дорогой Станислав Юрьевич — с Новым годом, и да минуют нас беды и несчастья! Пусть будет свет и хоть немного радости.

Галине Васильевне — счастье, здоровье и сохранение ее прелести на долгие годы. Очень хочу Вас видеть! Немножечко могу писать. Какое это счастье! Радиопередача — будет!

Любящий Вас Г. Свиридов".

Но все произошло, как и должно было произойти. Никакой передачи, подготовленной им, не состоялось. Мне было жаль его энтузиазма, времени и сил, потраченных на безнадежное дело. Когда стало ясно, что передачи не будет, я во время одной из наших встреч вспомнил о том, что Шостакович написал музыку на стихи Евтушенко "Бабий Яр", и несмотря на сопротивление чиновников от идеологии, оратория была-таки исполнена в Большом консерваторском зале. Свиридов нахмурился: "Значит, мировая антреприза, которой было нужно это исполнение, сильнее партийной идеологии, а мы с Вами — слабее..."

Впрочем, о Шостаковиче он всегда говорил, как об одном из своих учителей, без горячих чувств и восторгов, но с уважением. В отличие от Евтушенко, при упоминании о котором его лицо принимало брезгливое выражение.

— А Вы не боитесь, — сказал он, обращаясь при мне к Кожинову, — так открыто и резко писать о Вознесенском? Он же входит в мировую антрепризу. — И видя, что мы не совсем понимаем, о чем он говорит, Свиридов пояснил:

— Это давняя традиция дельцов от искусства — держать в своих руках организацию приглашений за рубеж, гастролей, рекламы, системы международных премий, гонораров, создания "звезд", подавления инакомыслия в творческой среде. Система эта создавалась в двадцатые—тридцатые годы, у нас мировая антреприза была представлена салоном Лили Брик с ее мужем Осипом, с окружением из художников, критиков, журналистов, импресарио... Этот салон был связан с салоном Эльзы Триоле и Луи Арагона в Париже, ведь Эльза Триоле — родная сестра Лили Брик, а девичья фамилия у обеих сестричек — Каган; через американского дельца Соломона Юрока наши представители мировой антрепризы устраивали гастроли угодных им людей в Америке... А после Лили Брик связи ее салона во многом унаследовала Майя Плисецкая, недаром же Вознесенский хвалу ей вознес в стихах...

О, Вы не знаете! Возможности этих салонов, образующих сеть мировой антрепризы, могущественны, и те, кто это сознают и подчиняются ее законам, обречены на успех! Я, помню, спросил композитора Щедрина, когда узнал, что он женится на Плисецкой: "Родион, зачем тебе это нужно?" Он ответил мне: "Я сейчас известный композитор, а после женитьбы на Плисецкой стану композитором знаменитым..."

— А как Вы относитесь, Георгий Васильевич, к Плисецкой-балерине?

Свиридов пожал плечами: "Как к ней относиться? Техничка..."

Через несколько лет, когда в комиссии Совмина по Российским государственным премиям обсуждался вопрос: присуждать ее или нет Станиславу Куняеву за книгу "Огонь, мерцающий в сосуде", самым яростным противником выступил Родион Щедрин, хотя было странно, что человек из музыкального мира столь решительно взял на себя смелость судить о книге критики и публицистики. Особенно раздражала Щедрина моя оценка творчества Владимира Высоцкого. Из чего я заключил, что фигура популярного барда тоже находилась под опекой мировой антрепризы.

А недавно хоронили Альфреда Шнитке. "Последнего великого композитора XX века", "гения", как говорили с телеэкрана Андрей Вознесенский, Юрий Любимов, Виктор Ерофеев — "люди близкого круга", как назвал их Юрий Кузнецов. О Свиридове никто из них и не вспомнил... А зачем? Свиридов, в отличие от Шнитке (о котором только и могли сказать, что он написал музыку к 60 (!) кинофильмам, да намекали, что последняя его симфония не зря называется "9-й" — почти бетховенская судьба!), не входил в круг "творян", охваченных мировой антрепризой.

"16/X-85 г.

Дорогой Станислав Юрьевич!

*Получил Ваше письмо. Сердечно Вам соболезную, дорогой друг, и призываю Вас к мужеству (Георгий Васильевич узнал о смерти моей матери. — **С. К.**).*

Звоню Вам каждый день, телефон не отвечает, либо Вы в отъезде?

Хотел бы теперь же повидать Вас, есть у меня эта возможность, с 21 октября на квартире будет у нас человек (три дня в неделю), как бы для секретарских обязанностей, звоните или дайте знать телеграммой или открыткой, когда можно Вас застать.

*Жизнь у меня довольно хлопотливая, дел очень много в связи с концертами будущего сезона, выходом книг и пр. Приходится много репетировать, немножко сочинил и нового, но главная работа моя — увы! — стоит, и это меня прямо-таки тревожит. Мои друзья рассказывали мне о впечатлении от Вашей полемической статьи в журнале "Наш современник", там же, говорят, была и хорошая статья М. Любомудрова о театре, которую обругали в "Правде" и "Сов. культуре", но я ничего этого не читал по занятости своей работой и болезни глаз. Теперь глаза немного стали лучше, хотя болезнь осталась, конечно (болезнь моя главная верно называется — **старость**, куда от нее денешься). Особенно хороших новостей нет, кроме того, что произведение В. Гаврилина "Перезвоны", кажется, будет удостоено Гос. премии (среди кучи говна, в том числе и литературного). На меня ужасное впечатление произвели случайно попавшиеся на глаза стихи Вознесенского в "Лит. газете", где он называет Христа — собакой. Есть ли управа на этого супернегодяя? И непонятно, зачем это печатают! Ведь такие стихи только отталкивают людей от власти, которая как бы поощряет хулиганство этого духовного*

сифилитика. Жаль кончать письмо на этой поганой ноте. Но — да сгинет Тьма!

Дайте о себе знать, хочу Вас видеть и потолковать хочется.

Г. Свиридов".

Я подарил Свиридову "Избранное" Николая Клюева, составленное мной и моим сыном Сергеем. Свиридов даже разволновался. Оказывается, поэзию Николая Клюева он ценил не менее, а может быть и более, нежели Сергея Есенина. Он видел в ней нечто свойственное только русской и очень древней поэтической традиции: монументальную мощь, сравнимую в музыке разве что с мощью Мусоргского, и какое-то присутствие общенародного, еще не расщепленного XX веком, еще не "атомизированного" сознания. И религиозное ощущение Клюевым смысла человеческой истории и мировой жизни Свиридову казалось более цельным и значительным, нежели религиозное чувство Сергея Есенина, куда более раздробленное, личностное и противоречивое.

— А о Горьком не говорите ничего плохого, — твердо сказал он мне, когда я поделился с ним мыслями о том, что Горький не любил и не знал русского крестьянства, а потому не желал спасать в тридцатые годы ни Николая Клюева, ни Павла Васильева, ни Сергея Клычкова...

— Все гораздо сложнее, все не совсем так, — горячо возразил мне Свиридов. — Я помню те времена! До Первого съезда писателей, до 1934 года русским людям в литературе, в музыке, в живописи не то чтобы жить и работать — дышать тяжело было! Все они были оттеснены, запуганы, оклеветаны всяческими авербахами, бескиными, лелевичами, идеологами РАППа, ЛЕФа, конструктивистами... А приехал Горький, и как бы хозяин появился, крупнейший по тем временам русский писатель... Конечно, сразу все ему поправить не удалось, но даже мы, музыканты, почувствовали, как после 1934 года жизнь стала к нам, людям русской культуры, поворачиваться лучшей стороной... И все же, во время войны в эвакуации, когда на каком-то плакате я встретил слова "Россия, Родина, русский", у меня слезы потекли из глаз...

ИЗ МОНОЛОГОВ ГЕОРГИЯ СВИРИДОВА

"Так называемое буржуазное искусство существует. Это не миф. Что такое вырождение европейской оперы? Это есть приспособление жанра к вкусам буржуазной публики.

Благодаря деньгам и способностям Мейербера (он был сыном еврейского банкира) во Франции расцвело в XIX веке творчество Оффенбаха, Обера, Галеви с их музыкальной и исторической легковесностью. Никакого проникновения в глубины национального характера европейских народов в этом буржуазном музыкальном мире не было, именно тогда началась полная дегероизация музыкальной жизни, буржуазное искусство Парижа и Вены бросило тогда вызов еще могучему немецкому музыкальному романтизму. Эта традиция в разных вариантах и сейчас правит бал в так называемом оперном европейском жанре. Недавно в России был музыкальный фестиваль. Один западный композитор-миллионер привез на фестиваль оперетку про Иисуса Христа. Как Вы думаете, где она сейчас ставится? В старом оперном венском театре, где играли Шуберта, Моцарта, а сейчас в его стенах идет оперетка-спектакль, которая называется "Кошки". Европа сегодня повторяет азы венской школы, в которой изначала выхолащивалась национальная природа музыки. А мы, к сожалению, после полутора веков успешного все-таки противостояния европеизации русского мелоса (вспомним "Могучую кучку", Рахманинова, даже Прокофьева) впадаем в еще более пошлую американизацию русского мелоса".

"30.12.1983 г.

Дорогой Станислав Юрьевич, спасибо за память, за привет! Он — дорог мне, как и Вы сами. С Новым годом! И желаю Вам бодрости душевной, глубокого размышления и покоя, для осознания того из жизни, что в наших силах осознать. И вперед, не торопясь — за работу. В ее плодах сконцентрирована вся энергия творческого бытия, иначе она растекается бесцельно почти, ибо не обретает формы. Привет жене Вашей и всей Вашей семье здоровья и благополучия.

Эльза Вам кланяется.

Г. Свиридов".

Приближалось девяностопятилетие со дня рождения Сергея Есенина. Мне было поручено Союзом писателей вместе с Прокушевым и Валентином Сорокиным руководить работой юбилейной комиссии. Свиридов, которому в ту осень исполнилось семьдесят лет, тут же откликнулся письмом.

“Дорогой Станислав Юрьевич! Поздравляю Вас с юбилеем Октября. Прочел свое имя в списке Есенинской комиссии и обрадовался тому, что Вы ее возглавляете. Имейте в виду, что теперь нужно и можно кое-что сделать, например, организация в Москве Музея и установка памятника поэту в центре города, там, где он жил, в воспетых им переулках. Но для этой цели нужно, чтобы комиссия действовала, то есть действовало бы прежде всего ее ядро. И надо поощрять исследовательскую деятельность есениноведения, которое очень популярно, но не так идет в глубину. Но это все при встрече. Обстановка жизни какая-то напряженная, тревожная, а в музыке — мрачная, кладбищенская. Злобные силы пока “перестроили” ряды и укрепили свою деспотию. Но это уже в порядке вещей.

Дайте о себе знать. Жму руку.

Г. Свиридов”.

ИЗ МОНОЛОГОВ ГЕОРГИЯ СВИРИДОВА

“Есть в мире сообщества людей, объединенных идеей владычества над миром. Они берут под свое крыло творцов, обладающих большим или малым талантом, действуют на их честолюбие, подчиняют своим целям, указывая им, что исполнять, что петь, что писать, изображая свою волю, как мировую, существует настоящий свод правил о том, как делать знаменитым художника, композитора, поэта. Иногда делают “знаменитость” буквально из ничего.

Наше время вообще характерно небывалой, неслыханной ранее концентрацией власти в руках совершенно заурядных людей. В их руках находятся целые страны, их власть чудовищна. В руках этих клерков, бюрократов, ничтожных марионеток, избранных ареопагом мировой финансовой власти, и бомбы, и смертоносные бактерии, и газеты, и медицина, и, наконец, вода, воздух, хлеб... Недиктаторской власти теперь вообще нет. Она лишь чуть-чуть замаскирована театральным механизмом выборов, “свободой” абсолютно несвободной печати. Все эти марионетки — ставленники концерна богачей — отравлены ядом властолюбия. За “место в истории” — мать родную продадут, народ предадут, от Бога откажутся”.

* * *

В последние годы жизни Свиридова мы встречались реже. Он подолгу болел, а я был занят журнальными заботами и политической борьбой, да и жизнь сама настолько быстро и катастрофически разрушалась на глазах, что следовать прежним привычкам, устоям не было ни сил, ни времени.

Редким и ярким праздником в эту мерзкую эпоху было лишь его восьмидесятилетие, когда мы с Валентином Распутиным приехали к Свиридовым на дачу, поздравили его, посидели, поговорили и распрощались до встречи в консерватории, где в декабре 1995-го Москва справляла его юбилей... К сожалению, из всех моих писем к нему у меня сохранилась лишь копия одного, написанного, видимо, в 1992-м или 1993 году.

"Дорогой Георгий Васильевич!

Где Вы? Что делаете? Как живете? Простите, ради Бога, меня за молчанье — я на последнем издыхании от физических и душевных перегрузок, но о Вас вспоминаю часто, чуть ли не каждый день. Наши беседы у Вас на даче, на Грузинской... Можно ли было предположить, что времена станут еще хуже, еще подлей, еще безнадежней. Все силы уходят на борьбу за существование журнала, на оборону от клеветы и глумления. Да думаю, что Вы сами многое знаете. Очень бы хотелось осуществить мою давнюю мечту — сделать для журнала беседу с Вами на самые вольные темы — о музыке, о литературе, о России, словом, обо всем, что Ваша душа пожелает. Возможно ли это? А собеседника — выберите себе сами, любого близкого Вам писателя, искусствоведа, критика. Думаю, что Вы не представляете, сколь важно будет именно сегодня Ваше слово. Вы же очень давно нигде ничего не печатали — никаких статей, никаких интервью не давали, насколько я помню. Но, конечно, все зависит от Вашего здоровья. Дай Бог Вам силы и бодрости в наше время, обессиливающее всех. Я по себе это чувствую. Как Эльза Густавовна? Передайте ей мой сердечный привет.

Ваш Ст. Куняев".

Поздравление писателей и вообще деятелей культуры с юбилеями — хлопотное и рискованное дело для журнала. Всех не упомнишь, да и незачем, а обид и претензий много. Почему о том-то вспомнили, а обо мне нет? Почему одного поздравили

17 Зак. 426

с пятидесятилетием, а про шестидесятилетие другого забыли... Но тем не менее, поскольку хочешь не хочешь история подводит в конце века итоги советской эпохи, в которой мы все жили, в последние годы "Наш современник" чаще, чем в прежние времена, отмечал писательские юбилеи, печатал хвалебные слова товарищей в адрес того или иного юбиляра, помещал их портреты, иногда сегодняшние, печальные, а иногда те, на которых они изображены в расцвете лет, молодые, известные, почитаемые. Надо хоть как-то приободрить людей в трудное время! И, однако, ни один из них не прислал в журнал ничего хотя бы похожего на те слова, которые в начале 1996 года мы получили от великого русского человека и подлинного интеллигента Георгия Васильевича Свиридова.

"Дорогой Станислав Юрьевич!

В номере 12 "Нашего современника" за прошлый год помещена заметка В. Г. Распутина по поводу моего 80-летия. Сердечно благодарю Вас и в Вашем лице редколлегию журнала, оказавшую мне столь высокую честь.

С глубоким уважением Г. Свиридов.
3 февраля 1996 г.,
Москва"

* * *

Мы хоронили его в лютый мороз перед Крещеньем. Легкий ветер струил поземку по дорожкам Новодевичьего кладбища — великого имперского пантеона, между черными гранитными стелами и застывшими на свежих могилах, словно изваянными из белого молочного стекла, гладиолусами. Рядом с Эльзой Густавовной стояла сестра Свиридова, как две капли воды похожая на покойного, племянник Александр Сергеевич, дирижер Владимир Федосеев, русские литераторы — Валентин Распутин, Владимир Крупин, Юрий Кузнецов... Порывы леденящего январского ветра задували огоньки свечей, прикрытых замерзшими ладонями...

"О время! О бедное дитя!"

Русские в Австралии. Фантастические судьбы соотечественников. "Старые контрпропагандисты". Америка изучает нас. Визги русскоязычной шантрапы. Встреча с родными безработными. Русское и еврейское диссидентство. Томас Вулф и Леонид Бородин — мои спутники. Американские крестьяне. Питирим Сорокин против "Конгресса русских американцев". Письма Нины Виноградовой и Надежды Ковтуненко. В путах прекраснодушной риторики. Олег Михайлов как зеркало советской горбачевщины

1

После концерта нас повезли в какой-то частный дом на окраину Мельбурна, где в просторном гараже — поскольку гостей набралось столько, что больше нигде они не разместились бы — был накрыт немудреный, но обильный стол. Во дворе на мангалах шипели шашлыки, в гараже хозяйничали женщины — активистки Русского Дома, каждого из нас быстро окружили соотечественники, и начались разговоры, расспросы, тосты...

Рядом со мной сидели мать с дочерью. Мария Шиклуна родилась и выросла в Китае, а дочь ее — была уже австралийкой, но обе чудесно говорили по-русски и, что мне уже показалось совершенным чудом, оставались "русскими душою".

— Как изгнали нас с Китая, — рассказывала Мария, — куда деваться? Ну, дедушка говорит: "Бог не выдаст, свинья

не съест", — поехали в Австралию. Первое время мучились, бедовали. Я и уборщицей была, и пирожками торговала, потом жизнь наладилась...

— А мама и стихи, и песни пишет и поет их сама! — вмешалась в наш разговор дочка.

— Спойте что-нибудь, Мария!

Обстановка в гараже была шумная, непринужденная, и упрашивать Шиклуну долго не пришлось...

Видимо, очень волнуясь — все-таки с нами были солисты и Большого театра, и Киевского оперного! — Мария поднялась и, закрыв глаза, начала песню.

Я в тебе, Россия, не родилась,
я в тебе, Россия, не росла.
Лишь от деда с бабушкой слыхала,
что Россия матерь им была.
Там, где детство ихне проходило
в полной вере, радости любви,
но взыграли вихри боевые,
унесли от матери земли...

Бледное скуластое лицо Марии похорошело, голос — грудное природное контральто — лился естественно и с таким чувством, что мы все замерли, у мужчин посуровели лица, а некоторые женщины вытащили из сумочек платочки...

А Мария вся жила своей песней — по-русски самозабвенно, и голос ее, сильный и чистый, был в таком ладу с простыми словами, что я сам почувствовал себя частицей этой великой сверхчеловеческой драмы, которая называется — разлука с родиной.

Россия, Россия далекая,
в каком-то чудесном краю,
тебя я не знаю, не ведаю,
словами дедов люблю.

Разная бывает эмиграция. По ненависти, по убеждению, по гордыне, но чувство, жившее в этой женщине и в этой песне, было другим. Оно выражало частицу народного чувства, бесхитростного и недоумевающего, переданного Марии ее, может быть, неграмотными предками, которых "вихри боевые унесли от матери земли". Ничего интеллигентски рефлексирующего, никакой экзальтации, никаких упреков не было ни в мелодии, ни в словах — только боль и любовь:

Брал меня мой дедушка на руки,
говорил такие мне слова:

— Помни, помни, внучка дорогая:
Русь святая матерь мне была.

Сбереги в душе любовь и правду,
сбереги навеки русску честь,
сбереги ты русские обряды,
что Россия не смогла сберечь...

Когда Мария допела последнюю ноту и открыла глаза, — все бросились к ней с поздравлениями и объятиями, а она — счастливая, похорошевшая, сама пораженная тем, что произошло, всплакнула от переживаний.

Ее дочь Татьяна, пока мать приходила в себя, рассказала о том, как родилась песня.

— Мы с мамой в прошлом году путешествовали на советском теплоходе "Лермонтов", и так нам все понравилось: и теплоход, и люди, матросы — такие все веселые, дружелюбные, надежные. И вдруг в этом году известие: "Лермонтов" затонул!" Ну, мы сразу разузнали, что виноват новозеландский лоцман, а русские моряки вели себя героически, ни один пассажир не пропал, не пострадал, и так мы разволновались, что я говорю маме: сочини песню про Россию. Мама и сочинила...

* * *

В том же 1987 году в моем номере сиднейской гостиницы раздался телефонный звонок.

— Мне надо обязательно повидаться с вами. Поговорить.

Вечером мы встречаемся и разговариваем до утра.

— Хорли Владимир Владимирович... Вообще-то настоящая моя фамилия Хороще, но никто ее здесь не выговорит... Я из Харькова. Генеральский сын. Отец командовал резервами танкового тыла. В тридцать седьмом году арестовали. Нас с матерью из генеральского дома выселили. Первые дни жили в подъезде, потом скитались по городу. Из института меня исключили... Я к прокурору. Ну, тут другое поветрие пошло, что, мол, сын за отца не отвечает, восстановили. Закончил я электротехнический институт — и война... Попал в окружение под Киевом — пошел по лагерям... Что в лагерях самое страшное — унижают так, чтобы человек ни о чем, кроме куска хлеба, не думал. Бросят кусок хлеба — куча мала, а немцы да полицаи смеются... Кашу, помню, на этапе раздавали. А котелка нет. Я в кепку. Отвлекся на миг — ни кепки, ни каши. "Братцы!" А в ответ матюги: "Смотреть надо!"

Худой, подвижный старик, в свитере, нервничает, хрустит пальцами, речь сбивчивая, перепрыгивает с одной мысли на другую, хочет рассказать мне за один час всю свою жизнь...

— А Хорольский лагерь? — братская могила. Там сорок тысяч лежат. Весной немцы собрали священников, поставили кресты, приказали отпевать — с кадилом! Оркестр из заключенных прислали...

А когда мы слышали самолеты советские, одни кричали: "Наши!", а другие: "Какие наши? Это коммунисты!" Много было раскулаченных... Помню, жили мы в кошаре — сахарную свеклу копали. Седьмого ноября приходит в кошару немецкий офицер и говорит: "Радуйтесь, Москва и Ленинград взяты". Кое-кто закричал: "Ура!" А когда немец ушел, мы их избили...

В Холме как-то в баню нас повели. Какая там баня — не успеешь вымыться — тебя палками гонят. Скорее! В предбаннике груда одежды. Одевайтесь! Елдашам специально немецкую форму привезли, те отказались ее надевать, вызвали солдат. В приклады елдашей... По-всякому было.

Привезли нас на каменоломни возле Кельна. Камни на гипс перемалывать. Но это уже после Сталинграда. Маленько лучше кормить стали. Дробили камень — и на вагонетку... Норма в день — семь вагонеток. Я с немцем работал, с антифашистом, ему было семьдесят четыре года. Он меня так учил: "Спешить нельзя. Надо потихоньку. Перекуривай, чуть только можно — отдыхай. Медленно работай... Все равно Германия войну не выиграет..."

А когда мы уже канонаду слышали, он говорит: "Надо хоть прутьями железными вооружаться, эсэсовцы придут — сопротивляться будем". Загнали нас в штольню — но не успели. Утром слышим — танки идут, выскочили мы — немцы бегут по полю, от американских танков...

Пошел я к американцам на кухню, поваром работал до сорок седьмого года недалеко от Лимберга. А сам все думаю: "Возвращаться или нет?" Отец репрессирован, сам — в плену прожил. А слухи все хуже и хуже: к немцам пленным советские относятся лучше, чем к остарбайтерам.. Как с врагами обращаются. А у меня мотоцикл уже был. Сели мы с товарищем — и в Лимберг. Там украинцы были и русские, убежавшие из Берлина. Посмотрим, как за ними приедут, как их брать будут. Чего нам поперек батьки в пекло соваться... Приехали в наш лагерь американские грузовики, а лагерь был в шестиэтажном доме. Ликвидировать! Американцы, они, так же как и советские, крушить все любят. Все полетело из окон — столы, вещи, все, что я нажил за два года — все пропало! И стал я

снова нищим перемещенным лицом. Торговал на черном рынке сигаретами, консервами. Накопил 500 тысяч марок, оккупационные деньги поменял, доказать надо было, что марки твои, тобой заработанные. Продуктов накопил года на два. А все чувствовал себя неполноценным человеком. Когда вас столько лет унижают — надолго остается. Чувствую — не могу в Германии жить, немцев ненавижу. И в Россию боюсь возвращаться. Куда ехать — в Америку? В Аргентину? Пошел по консульствам... В австралийском мне и говорят: шахтеры нужны... Ну и получил визу в Австралию. Повезло мне. Как приехал — устроился помощником повара в отель. Поваром был югослав. Я ему говорю: возьмешь — половина зарплаты тебе. А тоже непросто: халат, ножи — все свое надо иметь. Потом опять повезло — стал преподавать русский язык. Сижу среди преподавателей и себе не верю, что я, бывший доходяга, — Владимир Владимирович закашлялся, достал носовой платок, вытер глаза, — из мертвых воскрес, человеком себя почувствовал!

Ну, я вижу, что вы уже торопитесь. Простите меня. Поговорить захотелось. И жена с утра твердила — поди, выговорись. Мне ведь ничего не надо. Душу отвести — и хватит. За то, что приехали — спасибо. За стихи спасибо. Жена хотела со мной прийти — да приболела. Одни мы здесь. Никого нет у нас. Поддерживаем друг друга...

Наш автобус отъезжает от гостиницы, и я смотрю, как Владимир Хороще, бывший харьковский студент, сын советского генерала — худенький старичок в очках, в толстом свитере, болтающемся на иссохшем старческом теле, — глядит вслед автобусу, вытирая платком слезящиеся глаза...

* * *

Чубатый скуластый мужик, чем-то похожий на Гришку Мелехова из кинофильма "Тихий Дон", Александр Лизогубов, продававший билеты на наш концерт в Аделаиде, привез нас поужинать к себе домой.

По дороге рассказывал кое-что из своей жизни.

— В шестьдесят втором году Мао Цзэдун всех русских из Китая стал выгонять. Куда нам ехать? Австралия принимает. Кое-кто, правда, в Союз вернулся. Без копейки денег, без вещей — все китайцы отобрали: дома, скот, магазины, если кто имел, посадили нас на самолеты — и на Зеленый континент.

Трудно пришлось в первое время. В Китае-то мы хорошо обжились... А здесь — кто куда. Больше на черные работы. В

глубь континента — дороги строить, рудники. Женщины — кто в уборщицы, кто пирожки печь. Несколько лет себя не жалели.

Он крутит баранку своего "форда" медвежьими ладонями — каждая чуть ли не в два раза больше моей, — и я верю, что они себя не жалели.

— А потом денег заработали, кто землю купил — фермерами стали, а мы в город вернулись. Артель сколотили — дома строим. В артели только свои — братовья, племянники, ну а я вроде бы как бригадир. Мое дело — выгодные подряды найти, материалами артель обеспечить — но при нужде и каменщиком, и плотником, и сантехником, и столяром могу... Вот, кстати, мой домик, сам я его проектировал, сам и строил...

Дом у Саши двухэтажный. Шесть комнат вверху, шесть внизу. Бар. Биллиард. Гараж. Отопление газовое, вмонтированное в стены. Три машины — одна полуфургон для перевозки стройматериалов, другая семейная дешевая для хозяйственных повседневных нужд, третья — праздничный выезд — "форд", на котором мы едем...

Витая деревянная лестница из какого-то красивого желтого дерева ведет на второй этаж. В гостевом зале нас возле накрытого человек на двадцать стола встречает хозяйка...

Немало я поездил по белому свету, но честно скажу — ни в одной стране я не видел, чтобы простой рабочий человек жил так, как Александр Лизогубов и его братья — у каждого в сущности такие же особняки. Но ведь он не просто благополучный рабочий или заурядный потребитель. У него большая библиотека, он выписывает газеты и журналы, в том числе из России, он болеет за то, чтобы его трое детей, которые, кстати, учатся в русских школах, выросли в любви к России, чтобы они читали русские книги... Его интересует политика, экономика, религия...

— Я был в секте старообрядцев, с молоком матери этот дух впитал. А потом надоело. Вышел. Стал изучать все религии — ведь религии нужны великим государствам. Знаю христианство, буддизм, иудаизм... Иначе не поймешь, что в мире творится. Я не социалист. Но я понимаю, что такое еврейские международные банки и что такое национальные долги и кто на них живет. Даже мы — Австралия — богатейшая страна — и то в долгах, девяносто миллиардов задолжали. Я знаю, почему плачу с каждого заработанного доллара налог — сорок девять центов — и кто живет на эти деньги; я знаю, почему плачу за рубашку двадцать долларов, а красная цена ей семь...

Ссорят нас с вами эти силы. Если бы не они — мы давно

бы поняли друг друга. Вытесняйте их из своей жизни. Если прямо бороться трудно — идите рядом, и плечом, плечом их — на обочину. Они уже многие страны подмяли, поглядите на наш австралийский флаг — и там вписана звезда Давида...

Я слушал этого сорокалетнего крепкого мужика, уверенного в себе, и, ей-Богу, было радостно за русского человека, за то, что не пропал, укоренился, заставил уважать себя на новой земле, и за то, что, укоренившись, остался русским.

Словно бы прочитав мои мысли, Саша помрачнел:

— Не у всех хватило сил, чтобы выжить; кто спился, кто жизнь самоубийством кончил. Недавно один в гараж зашел, заперся, сел в машину и мотор включил. А перед этим незадолго в Россию съездил. И у меня были минуты отчаянья. Однажды так плохо стало, что напился. Просыпаюсь — не понимаю, где я, что со мной.

За столом у Саши рядом со мной присел элегантный старик, в синем костюме, в белой рубашке с отложным воротничком.

— Позвольте представиться — поэт Михаил Волин. Вы мои стихи знать должны, ибо пел некоторые из них Александр Вертинский.

Мы заговорили о Блоке, о Есенине, об Ахматовой.

Михаил Волин показал несколько иную грань русского характера, обработанного жизнью за границей. Он говорил на чистом русском языке, тонко комментировал многие строки моих стихов, демонстрируя безукоризненный вкус и своеобразное эстетство в духе Михаила Кузмина. Он не волновался, как многие эмигранты, разговаривая о России. Он подчеркивал свою культурную независимость и, видимо, гордился своим спокойствием.

— Я как-то отошел от квасного патриотизма. Стал вроде бы гражданином мира...

И все-таки в этих нарочито спокойных словах, произнесенных с тонкой улыбкой, я расслышал глубоко запрятанную горечь, которую должен скрывать интеллигентный и владеющий собой человек...

* * *

Женщина преклонных лет, бывшая советская актриса из провинциального смоленского театра.

— Пришли немцы, говорят, что, мол, открывайте театр. А где я возьму актеров? — А поищите в лагере, среди военнопленных.

Я и вытащила оттуда человек сорок. Ну, мы начали репетиции, пьесы ставили. Кое-кто из моих актеров скрылся — кто в партизаны убежал, кто линию фронта перешел... А когда немцы отступили — и мне пришлось уходить. Ну как же — работала на немцев! И ничего не объяснить... А что сейчас скажешь? Все равно работала на немцев.

...Мои блокноты десятилетней давности переполнены записями, исповедями, судьбами русских людей, заброшенных в Австралию. Кого только я не встречал там в самих что ни на есть неожиданных местах.

В Старческом доме в полусотне верст от Сиднея в русской богадельне доживал свою жизнь среди книг и дореволюционных фотографий Владимир Афанасьев — родной внук великого русского собирателя сказок Афанасьева.

В маленьком провинциальном городе Кайтоне я обедал у Георгия Коринфского — племянника весьма популярного на рубеже веков поэта Аполлона Коринфского. Мой хозяин перед войной учился в ИФЛИ с Наровчатовым и Симоновым, хорошо помнил их — юных, красивых. А в Кайтоне жил с молодой женой-полькой, воспитывал пятерых детей, занимался историей и доказывал мне, что на дворе у нас не 1991-й, а 2000 год, что каким-то образом со дня сотворения мира прошло не 5500, а 5509 лет. Одновременно он писал множество исследований о временах древней Руси и стихи, уже тогда проклинающие Бориса Ельцина.

В маленьком игрушечном поселке на берегу океана в громадном доме, срубленном из эвкалиптовых, источающих пряный запах стволов, я встретился с бывшим танкистом из Запорожья — Виктором, со странной для русского человека фамилией — Америков. Под шум моря в просторном, словно корабль, поскрипывающем от напора океанского ветра доме, пока жена по-быстрому накрывала стол, он рассказывал мне историю своей жизни.

— Бой под Ельней, плен, работа в Германии. Там и познакомился с Дусей, — показывает на сухонькую старушку, которая ставит на стол креветки и мидии... — Она нас в лагере навещала, подкармливала...

Дуся, закончив застольные хлопоты, подходит к нам и показывает пожелтевшие листочки с плохо различимыми полустертыми карандашными строчками. Это благодарные письма от лагерных пленных, написанные ими для нее в конце войны.

Виктор живет тем, что ремонтирует телевизоры, но вечерами, чтобы избавиться от тоски, выходит к базальтовым

скалам, облепленным зелеными водорослями. Волны моря, набегающие с юга, с грохотом разбиваются о черные вулканические камни. Америкову хотелось бы глядеть на север, в сторону России, но за влажной соленой дымкой, прямо по направлению к южному полюсу, лежит сказочная Тасмания.

В Мельбурне несколько дней мы с женой жили в тихом доме милой русской женщины Натальи Ивановны, которую молоденькой девушкой немцы из Донецка угнали на работы в Германию.

Двор был полон запахами цветущих магнолий, по ночам я просыпался от шума — под окнами по глянцевым засохшим листьям тропических деревьев носились опоссумы... Наталья Ивановна кормила нас ужинами и знакомила с книгами из своей библиотеки. Однажды она показала мне неизвестный в России роман Жюля Верна “Hector Servada”, в котором великий фантаст описывал жизнь в космосе на далекой планете землян различных национальностей. Одним из главных героев романа был еврей, который забрал всю торговлю на планете в свои руки и нещадно обирал русских, немцев, французов. А когда они бунтовали и возмущались, то произносил яростные монологи, один из которых мне дословно перевела Наталья Ивановна:

“О небо! Вы обкрадываете меня, лишаете меня моих прав и привилегий. Монополия на рынок принадлежит мне — это традиция, это мое право, это моя привилегия. Рынок принадлежит мне!” Ну как тут было не вспомнить недавний разговор с Александром Лизогубовым!

* * *

Литературный вечер в Аделаиде... Мы с актерами выглядываем время от времени из артистической в зал, который быстро наполняется, слышим обрывки речи на самых разных языках — английском, украинском, русском, литовском, эстонском... Велика и разноречива наша эмиграция. Во время выступления я внимательно следил за тем, как зал реагирует на мои стихи... Стихи о родине, об Оке, о России... Все хорошо — аплодисменты, внезапный, стихийный сердечный отклик...

Попробую-ка стихи о войне... Начал читать и почувствовал отторжение от себя нескольких стариков, плотной маленькой кучкой сидевших недалеко от сцены.

Опять разгулялись витии.
Шумит мировая орда:
Россия! Россию! России!
Но где же вы были, когда,
от Вены и до Амстердама,
Европу, как тряпку, кроя,
дивизии Гудериана
утюжили ваши поля...

При словах "а где же вы были, когда" я просто физически ощутил, как напряглись лица у этих семидесятилетних мужчин. Кто знает, о чем они подумали и вспомнили в это мгновение? О плене? О лагерях? О сломанной жизни? А может, кто-то и о том, что у него руки замараны русской кровью? Все может быть. Во всяком случае, когда я закончил стихи:

Недаром вошли как основа
в синодик гуманных торжеств
и проповедь графа Толстого
и Жукова маршальский жезл, —

то у них, до того аплодировавших, высохшие старческие руки не поднялись для аплодисментов. Но большинство зала — женщины, люди моего возраста и молодежь хлопали чистосердечно и самозабвенно, и аплодисменты обтекали маленький угрюмый островок из нескольких доживающих свою жизнь на чужбине людей...

А после концерта, когда мы вышли на улицу, окруженные толпой, просившей автографы, задававшей вопросы, приглашавшей в гости, ко мне вдруг протиснулся один из "обитателей островка" и просто сказал: "Спасибо за стихи о калужской земле, я Ваш земляк, из-под Перемышля..." Мы отошли в сторону, и началась короткая, но страстная исповедь о жизни: служба в армии перед войной, война, плен, лагеря, послевоенная Германия, Австралия... Два двоюродных брата до сих пор живут на калужской земле: один в самой Калуге, другой — в Перемышле... Что-то давно не пишут. Если будет возможность — разыщите, скажите, что жив-здоров... Почему сам до сих пор не навестил Родину? Да вот по разным причинам... А впрочем, в течение двух последних дней, пока мы перелетали по Австралии из города в город, я написал под впечатлением от этой встречи стихотворение, в котором все, пожалуй, сказано точнее и полнее:

Я говорю ему: "Решись
и навести свою отчизну.
На ней шумит живая жизнь,
О прошлом хватит править тризну".

Он отвечает: “Ваша власть
изгнаннику не будет рада”.
Я говорю: “Слова не трать,
земля ни в чем не виновата!”

В ответ: “Мой брат бывал в плену,
бежал и вновь прошел войну,
вернулся — и ему награда:
в вагоны — и на Колыму.
Мне больно за родного брата”.
Я снова говорю ему:
”Сибирь ни в чем не виновата!”

Я говорю: “Ты мой земляк,
ты помнишь синь Оки и Жиздры”.
Он говорит: “В родных полях
живет лишь эхо прошлой жизни!
Но эта жизнь давно прошла.
Я видел слишком много зла...”

Я говорю: “Тернистый путь
лежит за вашими плечами.
Я мог бы в чем-то упрекнуть
и вас, но умножать печали
нам незачем: и гнев и гной —
все превратилось в перегной!
Пора пахать другое поле.
Довольно ржавый меч точить.
Душа Руси кровоточить
устала — мы достойны доли
иной!..”

В ответ: “Ну коли так,
коль понял жизнь мою, земляк,
Стряхнем обиды и печали.
Ты передай поклон Оке,
земле, которую во сне
я вижу южными ночами!”

Когда я прочитал эти стихи через три дня в Сиднее в переполненном зале на пятьсот человек — то впервые почувствовал, что такое настоящий успех. Люди встали и рукоплескали несколько минут, потом, как сказали мне, от переживаний одной женщине стало плохо, вызвали врача... А в перерыве я был окружен толпой поклонников и поклонниц, какой никогда у меня не было и не будет на родине. Одна женщина со слезами на глазах сказала: “Если бы такие стихи можно было у вас опубликовать лет десять—пятнадцать назад, я без колебаний вернулась бы на родину. А сейчас уже поздно. Слишком стара стала...”

Из исповеди худого крупного человека, который в свои

шестьдесят лет не утратил мускулистой ширококостной стати, знающей, что такое тяжкий физический труд:

— Жили в Дальнем. Отец — советский гражданин, работал на КВЖД. Когда разгромили японцев и пришли наши, то отца и меня посадили. Меня отправили в норильские лагеря. Выпустили через десять лет, в пятьдесят шестом году. От обиды советского гражданства брать не стал. Жил в Казахстане. Женился на вдове с тремя детьми. Детей воспитал в строгости. Но вскоре умерла жена. Дети выросли и разъехались. Остался один. А обида все не проходила. Два раза попросил путевку на курорт — поправить здоровье, подорванное в Норильске, — отказали. Махнул на все рукой и уехал к сестре в Австралию. А сестра оказалась такой антисоветчицей, что плюнул — и подался на черные работы в австралийскую пустыню: рудники, дороги... Мучился от климата и одиночества. Заработал какие-то деньги. Вернулся в город. Отношения с эмиграцией не сложились: и антисоветчики есть, и русофобы — особенно из среды последней, еврейской эмиграции. А я за Россию — какая бы там власть ни была. Западная жизнь — красивое яблочко, а изнутри гнилое. Вернусь, все равно вернусь! Чего бы это мне ни стоило! Лишь бы разрешили, лишь бы приняли... Не хочу здесь, в этом раю жизнь свою доживать, хочу напоследок русским воздухом надышаться!..

В конце разговора он вдруг включил транзистор, судорожно оглядел гостиничный номер и перешел на шепот:

— Они — цэрэушники, сколько раз пытались вербовать меня. Я все их пароли за эти годы разгадал...

Где он теперь, этот русский человек, Иван Иванович Гуменюк, который в 1987 году с презрением отозвался об одном литераторе-эмигранте, выступавшем по Сиднейскому русскому радио:

— Да он же антисоветчик! Вы слышали, как он заявил: "Ленинград? — Такого города нет, есть Петроград!" — И перед тем как расстаться, печально добавил: — Зрение портится. Хочу в Москву приехать в глазной институт. Пока не пускают, но я все равно вернусь в Россию.

* * *

А "харбинские русские" Буровниковы-Максимовы, семейство, с которым я дружу уже более десяти лет, живущее в Сиднее. Они, в сущности, спасли мою жену Галю, когда она внезапно тяжело заболела во время нашего путешествия по Австралии...

Вере Николаевне Буровниковой при расставании я подарил на память маленькое стихотворение:

Русская женщина в жарком Сиднее
перекрестила меня на прощанье...
Возле куста австралийской сирени
мы постояли в глубоком молчанье.

Мы помолчали о чем? Не о том ли,
что повстречались случайно на свете,
что не бывало горестней доли
той, что изведали русские дети.

А по существу это стихотворение обо всех русских, проживших жизнь вне России.

Мои добрые знакомые — поэты Игорь Смольянинов и Анатолий Карель. От них я до сих пор получаю письма из далекого Мельбурна. Супруги Беликовы из Аргентины, которые еще в 1990 году привезли в журнал книги русского подвижника Бориса Башилова, живущего в Австралии; обрусевший художник литовец Владас Мешкенас, мечтающий заработать денег и перевезти в Россию прах его любимой жены Евдокии Киприановны, русской женщины...

Если отвлечься от политических страстей, от споров о советскости, о Власове и Сталине, то в конечном счете поражаешься одному — жажде русского человека — где бы он ни был, в каких бы обстоятельствах ни находился — жить какой-то сверхъестественной духовной, по сравнению с другими землянами, жизнью.

Наша духовная пассионарность феноменальна. Где бы они ни жили — везде русские люди сочиняли стихи и романы, создавали театры, писали картины, собирали домашние музеи, строили церкви. И в этом смысле русская пассионарность не уступает еврейской. Они любили далекую Россию, может быть, даже более истово, нежели мы...

Видимо, разлука с родиной и предчувствие того, что им придется упокоиться не на родной земле, а на чужбине, придавало их чувству особенно экзальтированный и страстный оттенок. На сиднейском русском кладбище я увидел могилу. Над ней стоит черное гранитное надгробие, на котором высечены слова, тронувшие меня чуть ли не до слез:

"Да здравствует Великая, Единая, Неделимая Россия! Мою любовь к тебе, дорогая Родина, я уношу с собой в могилу. Русская молодежь! Не забывайте православную Веру, Русскую Культуру и Русские обычаи наших предков. Они понадобятся Вам всегда и особенно, если Бог даст вам возможность вернуться на Родину. Аркадий Домачук".

— А ведь всего-то навсего был торговец рыбой! Мы его по Китаю знали, — со вздохом сказала Вера Николаевна Буровникова, сопровождавшая меня в прогулке по кладбищу.

А в последние годы происходит то, что должно было произойти. Некоторые из них возвращаются в Россию, чтобы навсегда остаться в ней. Возвратился в Москву из Америки поэт Иван Буркин с женой; собирается поселиться в Шамардинском монастыре мой земляк девяностопятилетний калужанин Игорь Леонидович Новосильцев, принял постриг в Донском монастыре бывший священник власовской армии Александр Киселев, дочь которого Милица Александровна как-то была в "Нашем современнике" и горько упрекала нас в том, что мы опубликовали повесть Юлия Квицинского, по ее убеждению, порочащую генерала Власова...

Мне всегда тяжело вести такие разговоры. Но что делать? А им разве легко сознавать, что после крушения советской цивилизации в клочья и навсегда разорвана "белая" идея о "великой и неделимой России"!.. А разве легко им глядеть на нынешнюю карту родины, где словно из окровавленной туши вырвана грудь — Украина, отсечено подбрюшье — Кавказ, Казахстан и Средняя Азия!.. Не мучает ли их совесть, гнездящаяся в тайных глубинах души, видимых только Господу Богу, что вольно или невольно они всей своей непримиримостью способствовали такому трагическому исходу?

Иногда мне хочется поехать в Донской монастырь к седовласому старцу Александру Киселеву и тихо спросить его: "Отче, Вы хотели этого? За кем русская правда — за Андреем Власовым или за Георгием Жуковым?"

А может быть, ничего не надо спрашивать, а просто взять "Бориса Годунова" (у нас ведь все от Пушкина!) и прочитать сцену, где разговаривают два русских отступника, ведущих польские войска на Москву, — сын Курбского и самозванный сын Иоанна Грозного, а на самом деле русский человек из народа Гришка Отрепьев. Молодой Курбский счастлив, он человек боярской элиты, мстит режиму за своего изгнанного и "репрессированного" отца — и этим похож то ли на Василия Аксенова, то ли на Булата Окуджаву. Но человек не из номенклатуры, не из "элиты", а из народного слоя Гришка Отрепьев чувствует все происходящее глубже и трагичнее: "Кровь русская, о Курбский, потечет!", — печалится он. Вот и течет она до сих пор и будет течь еще долго, пока "русские бояре" пытаются заставить народ поклониться теням Андрея Курбского, Андрея Власова, Андрея Сахарова... Имя какое-то нарицательное и роковое, если вспомнить красавца предателя

Андрия Бульбу или дезертира Андрея Гуськова из распутинской повести "Живи и помни" или перелистать полупорнографический журнал под названием "Андрей". Ей-Богу, представить себе, чтобы на его обложке стояло "Иван" или "Петр", немыслимо. Слишком просты и незамысловаты они по сравнению с "Андреем" — изысканным и достаточно редким именем для простонародной среды. Словно бы враг рода человеческого все силы свои бросил на то, чтобы опорочить в русском сознании святое для Руси имя Андрея Первозванного.

2

В 1990 году американцы, видимо, решившие всерьез поглядеть, что из себя представляет "патриотическая элита", пригласили группу известных писателей, публицистов и редакторов на целый месяц в Америку...

Приглашение это было необычным потому, что до сих пор в Северную Америку, да и в крупнейшие страны Европы наша иностранная комиссия посылала, как правило, узкую группу одних и тех же писателей, выражавших интересы еврейско-либерального крыла русской литературы.

Как формировались делегации в Америку, Канаду, Францию, Англию, Западную Германию, видно хотя бы из документов, которые принес мне в 1991-м году после развала Союза писателей один из работников ликвидированной тогда иностранной комиссии. Первый документ — это письмо тогдашнего посла СССР в Канаде небезызвестного ренегата Александра Николаевича Яковлева в Союз писателей. Выдержки из письма Яковлева от 1 ноября 1982 года. "Выступление поэта Андрея Вознесенского на международном фестивале Харборфронт в Торонто было успешным и полезным. По существу направление А. Вознесенского в этом году на фестивале закрыло его для антисоветских эмигрантских писателей. (Во какой борец с антисоветизмом! — **Ст. К.**). В беседах с советскими представителями организатор фестиваля Грэг Гэтенби высказал заинтересованность в приезде советского поэта на очередной фестиваль 1983 г. Считаю целесообразным предусмотреть в планах Союза советских писателей направление советского поэта на фестиваль 1983 г. Кроме того, представляется полезным передать Г. Гэтенби приглашение посетить Советский Союз, желательно для участия в одном из литературных мероприятий, проводимых в СССР. Конкретные соображения на этот счет имеются у поэта А. Вознесенского"...

А вот выдержка из отчета другого крупного путешественника по западному миру Виталия Коротича от 29 октября 1982 года, которое также проливает свет на то, как формировались делегации в Америку. Коротич встретился с влиятельным американским литератором Гаррисом Солсбери, который "подтвердил, что Университет штата Калифорния на будущий год имеет деньги для проведения большой (примерно по десять участников с каждой стороны) встречи писателей СССР и США. Солсбери подчеркнул, что они готовятся к этой встрече, как чрезвычайно важной, но едва ли не ультимативно потребовал, чтобы американская сторона могла влиять на состав советской группы участников, добиваясь того, чтобы в советской делегации были люди, достаточно хорошо известные в США".

Конечно, никакой Николай Рубцов или Анатолий Передреев и мечтать не могли, чтобы посмотреть мир. Настоящими невыездными (в том смысле, что их никогда не включали ни в какие зарубежные делегации) были русские — Дмитрий Балашов, Николай Тряпкин, Виктор Лихоносов, Федор Сухов, Владимир Крупин, Глеб Горбовский, Виктор Коротаев, Сергей Семанов, Татьяна Глушкова, Петр Краснов, Валентин Курбатов да и многие другие. Талантливые, умные русские поэты, прозаики, критики. Особенно живущие в провинции. Но зато представителям "еврейского крыла" советской литературы, как свидетельствуют документы, представлялись для путешествий по миру за народные деньги неограниченные возможности.

Вот еще несколько документов из архива иностранной комиссии: "Посольство поблагодарило за хорошую работу участников делегации, находящейся в Париже, советских драматургов Г. Горина, Э. Радзинского, В. Славкина, Л. Зорина, В. Гуровского".

Из телекса на имя Р. Рождественского:

"Приглашаем В. Коротича — главного редактора журнала "Огонек" на Второй международной салон книги и прессы в Женеве. Были бы рады, если бы В. Коротича будет сопровождать переводчица из комиссии Р. Генкина".

Вот так и жила в те времена международная компания маркитантов. Они приглашали к себе наших гориных и коротичей, а мы в благодарность принимали то и дело их соплеменников из Старого и Нового света — Г. Солсбери, Ф. Саган, Лию Сегал, племянницу Шолома Алейхема и т. д.

Многие заявления и ходатайства представителей "выездного народа" восхищают изощренностью аргументации, красотами стиля и смелостью запросов.

Из заявления М. Сагаловича, мужа некогда популярной, а ныне заслуженно забытой писательницы Галины Николаевой (Волянской):

"Сейчас я работаю над биографическим романом о Галине Евгеньевне Николаевой, чье творчество, как показало время, глубоко корреспондирует с проблемами, которые решает после XXVII съезда КПСС наш народ во всех областях жизни.

Последние годы жизни тяжело больная писательница по советам врачей в осенние и зимние месяцы проживала во Франции (Париж, Ницца, Канны, Анжиб, Монте-Карло, Биот) и в Италии (Рим, Венеция, Неаполь, Сорренто, остров Капри). До сих пор живы люди, окружавшие ее вниманием в чужих краях. Для написания глав, относящихся к этому периоду ее жизни (и в экстремальных условиях моя покойная жена плодотворно работала), мне необходимо поехать в названные страны, что позволит правдиво воссоздать все памятные места... 18 августа 1986 г."

Конечно же, на заявлении положительные резолюции Маркова, Верченко, Р. Рождественского...

"В секретариат Союза писателей СССР

Уважаемые товарищи!

В 1979 г. по инициативе главного редактора журнала "Русский язык" д-ра Мунира Сендича 25 американских университетов пригласили меня для выступлений о советской литературе, с уклоном в малую прозу, которой я и сам занимаюсь. Итоги подвел журнал "Русский язык", посвятив Вашему коллеге более половины XXXIII номера; здесь были и развернутые отзывы университетов о моих выступлениях — более чем лестные. В свое время я передал номер журнала вместе с письмом-отчетом Георгию Мокеевичу Маркову.

Путевой дневник я опубликовал в "Нашем современнике" (отрывки в "Новом времени", "Литературной России", по радио и телевидению). Материал получил хорошую оценку партийной печати (статья в "Правде", тов. Черноуцан поблагодарил меня от лица Отдела культуры). Несмотря на сильную критическую струю, этот дневник вышел отдельным изданием в США (книжка у меня есть).

Но, пожалуй, самой примечательной оценкой поездки явилось новое приглашение, присланное профессором Сендичем от лица четырнадцати университетов — ныне их число приблизилось к тридцати.

Мне не хочется витийствовать по этому поводу. Скажу

просто: советскому писателю в нынешнее трудное, тревожное время дается возможность два месяца х о р о ш о говорить о его Родине, народе, культуре и литературе в стране, где сейчас говорится столько плохого и вздорного. Как старый контрпропагандист (год служил во время войны в системе 7 отдела политслужбы Советской Армии) я думаю, что такой возможностью следует воспользоваться. Надеюсь, что и секретариат Союза писателей согласится с этим. Полагаю, что принесу пользу нашему общему делу.

С уважением —

Юрий Нагибин
1 марта 1982 г."

Перестройка набирала темпы, советский народ "решал во всех областях жизни проблемы", а любители путешествий заваливали иностранную комиссию шедеврами эпистолярного жанра.

"В июне 1987 г. было принято решение о моей поездке во Францию сроком на год. Поездка мне необходима прежде всего для ознакомления с важными материалами о Пушкине, декабристах и их окружении, которые, как мне известно, за последнее время выявлены в парижских архивах, но ожидают своего исследователя (! — ***Ст. К.****).*

Знакомство с этими документами имеют для меня особое значение в связи с работой над двумя договорными книгами...

Н. Эйдельман
8 марта 1988 г."

От литературоведа Михаила Эпштейна:

"У меня возникла насущная необходимость обсудить ряд теоретических проблем с видными современными литераторами и мыслителями Франции... кроме того в связи с работой над темой "литературный и живописный образ" мне необходимо побывать в ряде парижских музеев, выставляющих новейшие образцы концептуального искусства.

В связи с вышесказанным прошу Вас предоставить мне командировку во Францию".

От члена СП СССР Самария Великовского:

"Прошу направить меня в творческую командировку во Францию сроком на два месяца... для встреч в редакциях таких

органов французской левой печати, как "Революсьон", "Либерасьон", "Деба", "Комментер", "Пуэн де ля Роз" и др. и бесед с деятелями французской культуры ради пополнения материалов, предназначенных для моих очерков о состоянии умов и гражданских самоопределениях французской интеллигенции сегодня.

8.2.1988 г."

А вот этот шедевр Леонида Израилевича Лиходеева-Лидеса стоит того, чтобы его процитировать целиком.

"В ИНОСТРАННУЮ КОМИССИЮ СП СССР

По договору с журналом "Дружба народов" я работаю над романом о Николае Бухарине и его времени. Рукопись должна быть представлена в сентябре сего года.

Одним из ключевых моментов жизни Бухарина является период его пребывания в Париже после написания им проекта Конституции, которую вскорости назовут "сталинской".

Говорят, Сталин сам предложил Бухарину "прокатиться".

Почему он "выпустил" Бухарина после убийства Кирова и накануне процессов Каменева и Зиновьева?

Роковые взаимоотношения вероломного Сталина с прямодушным Бухариным представляют собою тягчайшую драму нашего века, драму, которая в определенной мере дает разгадку восхождению Сталина к чудовищной власти, о которой говорил и от которой предостерегал умирающий Ленин.

Известна странная привязанность Сталина к Бухарину, к "Бухарчику", как он его называл. Возможно, это была та самая ситуация привязанности палача к жертве.

Возможно, Сталину было нужно, чтобы "Бухарчик" остался на Западе вместе с семьей. Это дало бы Сталину возможность держать Бухарина в постоянном страхе, поскольку руки Сталина все удлинялись и Бухарин не мог не знать об этом. Но главное — Сталину совершенно необходимо было, чтобы Бухарин, которого он вскорости сделает главою правотроцкистского блока, "бежал, спасая свою шкуру от гнева народа, и бежал к своему хозяину Троцкому". Сталин был весьма примитивен в построении своих пропагандистских схем. Бегство Бухарина дало бы ему возможность воочию доказать некое единство этих двух необъединяемых и разномыслящих лидеров и оказаться в желательной для

Сталина роли доверчивого и обманутого благородного вождя. Кроме того, это дало бы Сталину возможность еще раз подчеркнуть свою прозорливую настороженность к Бухарину (цитат для этого было предостаточно), прозорливую настороженность, отвергнутую Каменевым, Зиновьевым, Пятаковым и вообще старыми вождями, готовящими "ликвидацию советской власти".

Сталину нужно было, чтобы Бухарин не вернулся.

Для Сталина "спасение собственной шкуры" казалось важнейшим фактором человеческого поведения. Он презирал людей.

Однако для Бухарина важнейшим фактором человеческого поведения были совсем другие мотивы. Революционная преданность его социализму, как строю цивилизованных кооператоров, надежда окоротить власть Сталина оказались сильнее личных мотивов. Бухарин был очень органичен в своих поступках. В романе я пытаюсь проследить именно эту черту его характера. Трагические парижские дни дают, как мне кажется, немало объяснений решению Бухарину вернуться на верную смерть.

Я прошу Комиссию предоставить мне командировку в Париж на 10—12 дней для ознакомления с деталями и реалиями, совершенно необходимыми для достоверности романа. Прошу Комиссию ускорить свое решение, учитывая сжатые сроки, в которые я поставлен работой.

С уважением —

Л. Лиходеев,

14 марта 1988 г."

И подобных заявлений от всякого рода эпштейнов, сагаловичей и эйдельманов — десятки, если не сотни.

Пушкину, чтобы написать свои великие "Маленькие трагедии", не нужно было писать заявление Николаю I, чтобы его за казенный счет послали в Испанию, Англию и Францию, а вот наши "старые контрпропагандисты" не могли, видите ли, создавать свою нетленку, не побывав на берегах Гудзона, на Елисейских полях, в Монте-Карло.

* * *

Но причины нашего приглашения в Америку были иными. Думаю, что американцам надо было узнать наши убеждения, нашу мировоззренческую оснащенность, поглядеть, способны ли мы на всяческого рода компромиссы и уступки, изучить весь спектр наших патриотических убеждений — от монархических

до коммунистических... Словом, как я понимаю, уже тогда в Америке складывался план грядущего разрушения Советского Союза, который начал осуществляться в августе 1991 года, и американскому истеблишменту вкупе со спецслужбами надо было уяснить, кто в какой степени будет им противостоять, есть ли у нас и за нами общественные и политические силы и надо ли с ними считаться... Поездка готовилась на весьма высоком уровне: помимо Союза писателей, в подготовке принимали участие работники посольства США. С одним из них, Фишером, я постоянно встречался у Вадима Кожинова. Фишер все время консультировался с моим другом о том, кого пригласить в Америку, уговаривал его самого поехать, но тот, не любящий путешествовать по миру, отказался... Я никогда не восхищался Америкой, даже в студенческой молодости, когда такое поветрие возникло, не был, как говорил о себе Василий Аксенов, "штатником", ее джазовая экспансия — на что были падки в 50-е годы молодые люди — всегда оставалась для меня чуждой. Я и сейчас с раздражением, а порой просто с негодованием отношусь к тому, что половина эфирного времени российского радио заполнена безвкусными и примитивными американскими шлягерами. Они вколачиваются в наши уши и в наше сознание в таком количестве, что поневоле начинаешь думать: нас хотят приучить к осознанию того, что Россия всего-навсего лишь один из штатов Америки. Даже в обзорах спортивных событий дикторы и телеведущие навязывают нам совершенно абсурдную российскому человеку информацию о том, с каким счетом баскетболисты Лос-Анджелеса выиграли у своих соперников из Нью-Джерси и сколько штрафного времени хоккеисты Буффало отсидели на скамейке во время матча с "Пингвинами" из Питсбурга.

Из американской культуры я ценил лишь плеяду замечательных американских прозаиков 20—50-х годов: Эрнста Хэмингуэя, Уильяма Фолкнера, Джона Стейнбека, Торнтона Уайльдера, Скотта Фицджеральда, Томаса Вулфа. Книги об Америке последнего я ставил особенно высоко, и одну из них — роман "Домой возврата нет" — взял с собой в дальнюю дорогу. И не зря. Великий американец не раз помог мне разобраться в особенностях американского менталитета. Уже сидя в самолете, я, листая роман, наткнулся на его размышления об "элите" свободного мира: *"Эти люди создали мир, в котором все ценности были ложны и мнимы, однако же, околдованные роковыми иллюзиями, они воображали себя самыми проницательными, самыми трезвыми и практичными людьми на свете. Они считали себя вовсе не игроками, одержимыми*

азартом обманчивых биржевых спекуляций, но блестящими вершителями великих дел и не сомневались, что ежедневно и ежеминутно "ощущают, как бьется пульс страны". И когда, оглядываясь по сторонам, они всюду видели неисчислимые проявления несправедливости, мошенничества и своекорыстия, то твердо верили, что это неизбежно, что "уж так устроен мир".

Ну чем не характеристика российского демократического истеблишмента начала 90-х?

В творчестве великих американцев, как мне казалось, Америка нащупывала путь гуманистического развития своей цивилизации. Но, увы, усилия этих талантов, многому, кстати, научившихся у русских классиков, оказались недостаточными. Несколькими десятками блистательных романов им не удалось поколебать хищный прагматический уклад американского общества. Сопротивляясь ему в течение нескольких десятилетий, эти своеобразные американские диссиденты все-таки потерпели поражение и ушли с исторической сцены, окончательно проиграв схватку за душу Америки Голливуду, телевидению, Фрэнку Синатре, Майклу Джексону, Чаку Норрису, словом, шоу-бизнесу, подчинившему себе сегодня всех и вся. Никогда больше не будет в Америке писателей такой величины, как Фолкнер или Вулф, гениев американской провинции... А поэзия американского континента всегда казалась мне вообще поверхностной, экзальтированно-материалистической, даже в своих самых знаменитых образцах, если вспомнить Уитмена, или пораженной дешевым мистицизмом, как у Эдгара По. Об остальных-то и вспоминать нечего. С детских лет я, правда, любил только "Песнь о Гайавате" в бунинском переводе, поскольку жизнь в этой поэме была похожа на жизнь сибирской северной деревни и никакого, собственно, отношения к жизни Соединенных Штатов не имела.

...Вот о чем я думал апрельским утром девяностого года, складывая свой чемодан и перелистывая программу нашего пребывания в Америке. Нет, надо все-таки своими глазами поглядеть на этого монстра, не только поглядеть, но и руками пощупать. К тому же у нас в это время на каждом шагу в газетах, журналах, на телеэкране царило какое-то сумасшествие: все славили американскую демократию, убеждали друг друга, что нам всему надо учиться у них — дружелюбных, улыбчивых, энергичных...

К Нью-Йорку мы подлетали вечером, и пока наш "Боинг" приближался к земле, я со странной смесью восхищения и тревоги вглядывался в эту словно бы груду пылающего

каменного угля, с пробивающимися из огненного чрева языками то синего, то оранжевого, то белого пламени, протянувшуюся на десятки километров вдоль побережья и чуть ли не до горизонта в глубину материка...

На другой же день мы почувствовали, что действительно приземлились на раскаленную почву.

Ряд американских изданий, выливших на нас поток клеветы устами и своих журналистов, и бывших наших функционеров советской печати — Резника, Когана, Ремника, Гольданского и др., объявил нас "нацистами", "фашистами", "националистами"... Причем они для подъема "большой волны" не гнушались ни мелкой ложью, ни прямой клеветой, ни грубой дезинформацией.

Так, Семен Резник в первой же встретившей нас в Америке статье "Десант нацистов в Вашингтоне" сознательно извратил даже состав нашей делегации, заявив, что ее возглавляет член президентского совета Валентин Распутин — "антизападник и антисемит", что в составе группы член редколлегии "Литгазеты" Светлана Селиванова, которая старается в своей газете "проводить нацистскую линию", что вместе с нами в Америку приехала народный депутат Евдокия Гаер, которая борется "против рыночной экономики и за "равноправие" русского народа, якобы угнетаемого евреями и другими инородцами"... Мы ахнули, прочитав эту стряпню, потому что Распутина с нами не было и Евдокии Гаер тоже. А уж изображать кроткую нанайку, с обожанием во время I съезда народных депутатов смотревшую на академика Сахарова, русской националисткой — ничего смешнее нельзя было придумать, глупее этого, разве что, было утверждение Резника о том, что "Литгазета" усилиями Селивановой "проводит нацистскую линию" (это при редакторе А. Б. Чаковском!)... Словом, все это было бы смешно, когда бы не было так нагло и глупо. И, однако, статья Резника определила весь лживый тон американской прессы — крупнейших газет Вашингтона, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско... "Эта статья стала своеобразной "шпаргалкой" для всех журналов, занимающихся этим вопросом", — писала газета "People"... А на одной из пресс-конференций я даже съязвил, что американская пресса, освещающая наш визит, похожа на наш ТАСС худших времен, когда ТАССовские материалы, одинаково освещающие события, обязаны были печатать все газеты — от центральных до районных... "Вашингтон пост" опустилась до того, что в статье Вадима Когана опубликовала заведомую ложь, будто бы я, главный редактор "Нашего современника", в шестом номере журнала за 1989 год

опубликовал “постыдные “Протоколы сионских мудрецов”... “Любой читатель, — сказал я на пресс-конференции, — может взять этот журнал и прочитать там мою статью “Палка о двух концах”, в которой есть лишь одна фраза о том, что “Протоколы” — “плод тщательного анализа всей политической истории человечества”, что эта книга “создана незаурядными умами, злыми анонимными демонами политической мысли своего времени”... А тут на всю Америку заявлено, что “Наш современник” опубликовал их! Ну как после этого можно было серьезно относиться к американской демократической прессе! Вот эта ее способность по-геббельсовски безнаказанно лгать и не извиняться, монопольно обрабатывая общественное мнение, — и есть основной признак идеологического информационного тоталитаризма”.

Правда, во время нашего посещения Верховного Суда его сотрудники успокаивали нас, говоря, что мы можем подать в суд на клеветников, и, видимо, у нас есть шансы выиграть процесс, и тогда газетных лжецов могут подвергнуть большому штрафу, но для этого нужно время, большие деньги и хорошие адвокаты...

У нас не было ни того, ни другого, ни третьего, и мы удовлетворились тем, что на встречах с нормальными американцами из их уст (а они тоже были возмущены этой травлей) мы часто слышали: “Не обращайте внимания: во-первых, взгляды ваших противников не отражают мнения Америки, а во-вторых, так уж принято в нашей прессе, что “хорошие новости не интересны”, и потому каждый газетчик хочет обязательно скандала любой ценой, не гнушаясь ничем...”

Чтобы завершить эту неблагодарную тему, процитирую короткое письмо, которое я получил из Америки уже по возвращении в Москву:

“Я с большим интересом следил за Вашей поездкой по Соединенным Штатам. Сожалею, что она была омрачена “вечно преследуемыми”. Прилагаю статью из последнего номера “еврейского вашингтонского еженедельника”, где сказано, кого вам надо благодарить за все неприятности. Это некий “русский” Семен Резник, один из тех, кто хочет представить американской публике свое видение истории и чего угодно. Радуйтесь, что Россия отделалась от него...”

Однако радости было мало. Изо дня в день “Новое русское слово” публиковало одну прокламацию за другой: “Память” — это новые нацисты! Когда Станислав Куняев приехал в Нью-Йорк — лишь одна организация протестовала. Когда правительство США пыталось закрыть границы для советских

евреев, лишь одна организация высказала протест". "Советские писатели-националисты Распутин и Куняев будут выступать в Нью-Йорке. Призываем всех присоединиться к протесту против растущей волны антисемитизма в СССР. Демонстрация протеста состоится в среду 9 мая в 7 часов вечера по адресу..." (Тут же давался адрес нашего отеля!)

"Россия 1990 — Германия 1933? Хоральная синагога в Москве разрисована свастиками. Избиение евреев в Ленинграде. Все это произошло в течение последних недель! Ни слова об этом не было сказано ни в одной американской газете! Для того, чтобы спасти евреев в России, надо заявить о себе в полный голос! Когда русский нацист Куняев прибыл в Нью-Йорк, наша группа устроила ему такой прием, что он запомнит его на всю жизнь!"

...А прием был устроен весьма смешной. Пришли мы в какую-то организацию, а у дверей встречает нас пожилой лысый функционер, с выпученными глазами, похожий на актера Михаила Козакова. Увидев нас, он поворачивается лицом к стене, раскидывает руки, раздвигает ноги и, словно ишак, грубым голосом через каждые десять—пятнадцать секунд отрабатывая свой небольшой гонорар, начинает завывая, с акцентом произносить одно и то же слово: "Па-м-ь-ять!" Ну разве такое забудешь!

В Америке, если глядеть на поверхность правовой жизни, наказываются поступки, действия, а не слова и пропагандистская шумиха... Крайне показательна история, о которой нам рассказали в Верховном Суде. В одном из маленьких американских городков Скоки штата Иллинойс американские антисемиты, протестуя против "еврейского засилья" в их штате, решили пройти с соответствующими лозунгами по улицам города. Городские власти запретили им это. Устроители демонстрации подали протест в Верховный Суд, и тот разрешил им провести шествие. Кстати, права "демонстрантов" демонстративно защищал адвокат еврей.

Однако это по закону, ибо лицемерное фарисейство американской жизни постигается не сразу. Во всяком обществе есть, кроме закона, свод сложившихся обычаев, правил и внеюридической, но достаточно жесткой системы отношений. И этот свод правил бывает порой гораздо более влиятелен, нежели правовой фасад. Известный в Америке противник сионизма Альфред Лилиенталь (еврей по национальности) по этому поводу так сказал в одном из своих интервью:

"В Соединенных Штатах ситуация такова, когда просто нет свободы дискуссий по вопросу о сионизме. Люди боятся. Не

обязательна даже прямая угроза со стороны сионистов. Когда вы об этом говорите, то вы уже знаете, что угроза существует. Сионисты шантажируют и элементарно затыкают рот каждому, кто хотел бы наладить свободный и открытый диалог об их деятельности. При этом о христианах тотчас же утверждают, что они антисемиты, а о нас, евреях, чьи взгляды схожи с моими, заявляют, что мы ненавидим собственную принадлежность к еврейству..."

С фарисейством "антитоталитарной" и "свободной" американской демократии мне пришлось столкнуться при весьма забавных обстоятельствах...

На другой день после нашего прибытия в Вашингтон, ранним апрельским утром я вышел в спортивном костюме и кроссовках из гостиницы и, вдыхая всей грудью свежий воздух самой свободной в мире страны, побежал к зеленым лужайкам Белого дома. На почтительном расстоянии от него я увидел несколько спальных мешков на дощатых помостах. В них спали бездомные люди, американские бомжи, весь скарб которых умещался в сумке или картонной коробке и которых впоследствии я встречал лежащих, как громадные коконы, в скверах, на лавочках, газонах Нью-Йорка, Питсбурга, Сан-Франциско. Вопреки мнению покойного актера Зиновия Гердта, заявившего однажды в печати: "В Америке есть богатые и бедные, но нищих и бездомных нет".

Подбежав к двум таким коконам, я, разминая плечевой пояс, стал разглядывать какие-то плакаты, стоявшие у их изголовий. Между тем из маленьких отверстий в спальных мешках высунулись руки и синей струйкой потянулись сигаретные дымки. Затем одна из рук выползла на свет с банкой пива, а потом тишину утра огласили слова, по которым я понял, что в спальниках находятся мои соотечественники. На плакатах, стоявших у их изголовий, как я с трудом разобрал, были изложены на ломаном английском языке протесты против ущемления прав человека в благословенной Америке.

Но вот из отверстий в спальниках вылетели пустые пивные банки и за ними высунулись две взлохмаченные головы...

— Привет соотечественникам! — весело крикнул я, продолжая разминку.

— Привет, привет, а ты откуда?

Вылезли, еще раз закурили, разговорились. Один из них, бывший механик торгового флота из Одессы, сошел на берег и остался в Штатах по доброй воле. Свободу захотел посмотреть! Другой, весь украшенный российскими татуировками, не стал особенно распространяться о своем прошлом. Как бы то ни

было, два русских невозвращенца встретились, подружились и начали новую жизнь на американской земле. Для начала через какую-то фирму по трудоустройству нашли работу. Однако спустя несколько месяцев выяснили, что в стране правовой рыночной экономики им платят гораздо меньше, чем стоит их труд, ибо немалая часть заработка уходит на содержание фирмы, подыскивающей для работодателей таких вот бедолаг-иммигрантов. Они, возмущенные, пришли к своим посредникам, устроили шумный русский скандал. Дело дошло до полиции. Судить не судили, но в участке несколько дней продержали и с работы выгнали. Друзья поняли, что на Атлантическом побережье им правды не найти, и завербовались на Аляску — валить лес... Там они тоже начали борьбу за какую-то социальную справедливость, опять дело дошло до полиции, опять их выгнали с работы, а еще, после одного-двух подобных случаев борьбы за права человека, их фамилии попали, как они говорят сами, в компьютер.

— Это что?

— А это хуже любого КГБ!

Информация о тебе, о твоих привычках, послужном списке, характере, о твоих конфликтах с хозяевами закладывается в компьютерную сеть, и когда ты, допустим, пытаешься поступить на работу, то хозяева, прежде чем принять тебя, знакомятся с этой компьютерной характеристикой.

— Мы этого не знали — ткнешься куда-нибудь, а нам от ворот поворот. В другом месте то же самое. Не сразу догадались, что теперь в Америке нам ничего не светит, словно мы какие-нибудь пуэрториканцы. Вот и пришли к Белому дому, плакаты нарисовали и живем здесь целый месяц.

— А пиво и сигареты?

— Ну, подработать везде можно. Где машину разгрузим, где общественный туалет вымоем.

Оба уже вылезли из спальников — жилистые, худые, загорелые, с клочьями пуха в крепких нечесаных волосах...

— А ты кто?

— Я писатель!

— Ну вот и напиши, как русским людям в Америке живется!

Осенью этого года ко мне в редакцию зашел весьма модный в конце восьмидесятых годов кинорежиссер Александр Аскольдов, с которым я когда-то учился на филологическом факультете МГУ. Разговор у нас зашел о спецслужбах.

— Да что сравнивать! — усмехнулся он. — Я уже много лет живу на Западе и знаю, что ЦРУ похлеще бывшего КГБ. В

Америке встретил своего давнего товарища, работавшего на радиостанции "Свобода". Обнялись, обрадовались... Когда увидимся? А он смущается, глаза отводит и говорит:

— Телефона и адреса дать не могу. Моя жена работает в Военно-морском ведомстве США. Мы подписку давали, что не имеем права без разрешения встречаться с иностранцами.

О циничном тоталитаризме западной демократии и бесцеремонности ее спецслужб свидетельствовало объявление, открыто напечатанное в дни нашего путешествия по Америке в русскоязычной газете "Новое русское слово":

"*Федеральное бюро расследования снова обращается к русскоязычной общественности США и новоприбывшим эмигрантам из СССР с призывом помочь своей новой стране.*

Многочисленные функции и обязанности ФБР по соблюдению законности в США включают сферу контрразведки. На протяжении многих лет эмигранты из СССР оказывали содействие ФБР в его контрразведывательной деятельности. Некоторые эмигранты обладают непосредственной информацией о методах и деятельности КГБ в СССР и за его пределами, в особенности в США.

ФБР просит лиц, располагающих вышеупомянутой информацией, сообщить об этом в ближайшее отделение бюро.

Тем лицам, которые проживают в пределах города Нью-Йорка, в ФБР следует звонить по новому номеру телефона: (212) 335-2700, добавочный 3037, или обращаться по адресу: 26 Федерал-Плаза, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10278.

Вся полученная информация будет содержаться в строгом секрете.

Федеральное бюро расследования
Министерства юстиции США".

Наше КГБ вербовало сотрудников секретно, тайно, а тут через газету предлагают: "Стучите, доносите, помогайте!"

Вот и началось по всей прессе доносительство на русских писателей, приехавших в Америку.

"Русские националисты исповедуют фашизм".

"За счет американских налогоплательщиков восемь махровых шовинистов совершают путешествие с одного берега Америки на другой".

"Приглашение этих лиц выглядит так же, как, допустим,

выглядело бы приглашение группы куклуксклановцев для обсуждения этнического многообразия на американском Юге".

"Русские националисты всех оттенков стремятся слиться в одну сплоченную группу. Их объединяет тоска по "сильному кулаку", ненависть к евреям и панический страх перед демократией..."

Я читал всю эту злобную галиматью и понимал, насколько права русская женщина Нина Бахтина, письмо от которой я получил в номере вашингтонской гостиницы недели через две после того, как мы ступили на американскую землю.

Нина приехала в Америку из России еще в середине 70-х годов, хорошо разобралась в американской жизни и в нравах третьей эмиграции, и ее письмо открыло мне глаза на многое, чего мы не успевали понять и осмыслить:

"Вы должны знать, что вас пригласили сюда с заранее сложившимися предубеждениями и даже ненавистью. Исходит это от сионистов. Они хотят добиться статуса беженцев для советских евреев, на этом собрать и получить большие деньги. В залах, где вы выступаете, постоянно присутствуют группы евреев, цель которых — заставить вас выйти из рамок приличия, в которых вы должны находиться, будучи в гостях...

Они также хотят знать, насколько вы их серьезные противники и смогут ли они, поборов русских, стать единственными хозяевами на русской земле... Евреи пытаются дать вам тест на стойкость духа и твердость мышления. Не раз уже в "Новом русском слове" назывались даты сфабрикованных погромов. Последняя была намечена на 5 мая с. г. "Новое русское слово" писало, что уже сформированы еврейские оборонительные отряды, чтобы дать отпор погромщикам. Когда-то они кричали о погромах в Германии. Гитлер посадил их на пароход и отправил в Америку, но только почему-то их здесь не приняли и отправили обратно. Кому-то было это не выгодно, а может, для того, чтобы потом кричать о "шести миллионах".

К тем, кто оскорбляет вас, относитесь, как к психически больным людям. Они без бранных слов не могут.

Ни в коем случае нельзя дать им чувствовать нашу слабость в чем-то. Они только и ищут наши болевые точки. Помните — они верят только в деньги и силу".

Верят только в деньги...

Об этом нам напомнили на второй или третий день нашего визита в Америку, когда делегация была приглашена в какой-то нью-йоркский финансовый центр. В уютном полутемном

зале, спроектированном и по интерьеру и по размерам для узкого круга людей, серьезные, лощеные специалисты прочитали нам не то чтобы несколько лекций, а скорее, несколько правил, на которых зиждется со дня основания финансовая мощь Америки. Главным правилом было, по их словам, благоговейное, почти религиозное отношение к доллару, как к иконе. Голос человека, рассказывавшего о том, что изображено на долларе — и всевидящее ветхозаветное око ревнивого Господа Израиля, и вершина пирамиды, олицетворяющая власть над миром, и лики пророков золотого тельца — Джексона, Франклина, Гамильтона, — подрагивал от волнения — он читал нам не лекцию, а произносил проповедь, служил своеобразную литургию, зачитывал наизусть священное писание...

Ну, конечно, я, как всегда, не удержался и испортил впечатление от этой "песни песней" в честь золотого тельца, когда попросил слово и сказал нечто совершенно бестактное, вроде того, что в России никогда деньгам не поклонялись и, видимо, никогда не будут, а потому нам такого рода изыскания чужды и ничего дать не могут...

Однако на уровне абсолютно бытовых отношений в американской жизни я не раз убеждался в том, что жрец и толкователь из масонского клуба знал, что говорил.

В городе Феникс, когда мы собирались из гостиницы ехать в аэропорт, укладывая чемоданы и выбрасывая в мусорную корзину ненужные, накопившиеся в дорожной сумке бумаги, я случайно выбросил авиабилеты от Феникса до какого-то города, куда мы вылетали. Я это обнаружил в аэропорту перед посадкой... Все уже пошли к самолету, а мы с переводчицей Татьяной Ретивовой все выясняли отношения с администрацией аэропорта. Я горячился:

— Ведь билеты были заранее заказаны на мою фамилию, посмотрите в компьютере — там все должно быть, вот мой паспорт, никто по этому билету, кроме меня, полететь не сможет, так что вы вполне можете пропустить меня на посадку. Вот, кстати, компьютер и мое место выдает на экране!..

Но строгий, худой администратор был неумолим. Аргументы его были железными и абсолютно непонятными для меня.

— Вы потеряли билеты, а это значит, что вы потеряли деньги! — Тут он начинал волноваться и негодовать, не в силах объяснить мне, что потеря денег — своего рода нарушение высших моральных и религиозных догм общества. Больше всего, как я теперь понимаю, его возмущали мои легкомысленные оправдания происшедшего: "Ну потерял и что

такого! Все равно же — я в компьютере, а значит, можно посадить меня и без билета..." Такие речи, в его сознании, были издевательством над высшими ценностями жизни, над здравым смыслом, над верой в сверхчеловеческую силу денег...

Пришлось мне второй раз брать билет и снова заплатить двести долларов. Когда аэропортовский администратор добился этого, на его лице выразилось полное удовлетворение, как будто он принудил грешника к раскаянию и спас его заблудшую душу.

Свидетелем нашей мировоззренческой схватки был Леонид Бородин, с которым бок о бок я прожил целый месяц нашего путешествия.

— Станислав Юрьевич! — сказал он мне. — Ты их не переубедишь. Они не понимают, о чем ты говоришь, да не просто говоришь, а богохульствуешь...

Вся наша восьмерка для проживания в гостиницах была разделена на пары, и мы с Бородиным как-то, не сговариваясь, выбрали друг друга. Мне сразу же понравился этот подтянутый, сдержанный, немногословный человек.

О Бородине в еврейском альманахе "Панорама" было написано так:

"При Брежневе он был диссидентом и подвергался репрессиям. Его русский национализм всегда носил не просталинский, как у Кожинова или Куняева, а антисталинский характер. Однако можно думать, что эти различия остались в прошлом: в годы гласности и перестройки русские националисты всех оттенков стремятся слиться в одну сплоченную группу..."

Однажды на обеде у священника Виктора Потапова мы встретились с нашим "бывшим" журналистом, носившим комическое имя — Гарри Табачник. Весь вечер он жаловался нам на государственный антисемитизм, от которого "страдал в Союзе". В руках у Гарри была его книга под названием "За вашу свободу, сэр!" Мы с Бородиным посмотрели на обратную сторону обложки. Под портретом Гарри Табачника было несколько абзацев из его биографии: "Работал корреспондентом радиостанции "Маяк". Писал и сам читал у микрофона свои передачи об интересных людях, литературе, музыке, искусстве. Вел интервью со многими знаменитостями, среди которых были и маршал Жуков, и Ю. Гагарин..."

"Печатался во многих московских газетах и журналах, включая "Юность", "Огонек", "Молодой колхозник", "Вокруг света"..."

"Страну изъездил от залива Посьет до Минска, от Петрозаводска до Ашхабада".

“Закончил факультет журналистики Московского университета, юридический институт, аспирантуру факультета журналистики. Получил степень”.

И все это при махровом государственном антисемитизме!

— Забавный народ! — сказал Бородин, глядя на Табачника, который тут же понял, что в своих жалобах на жизнь хватил лишку, и стушевался, растворившись в толпе гостей. А об известном еврейском диссиденте Алике Гинзбурге, с которым они сидели в мордовских лагерях, Бородин отозвался холодно и отчужденно:

— Ему это для биографии было нужно!

Мы только что опубликовали в “Нашем современнике” замечательную повесть Леонида “Третья правда”, после которой читающая Россия узнала Бородина как писателя. Он был благодарен мне за это, но благодарность свою высказывал ободряющей улыбкой в минуты жарких дискуссий с нашими оппонентами, доброжелательной шуткой по поводу моего утреннего похмелья, скупой похвалой в адрес Распутина, Кожинова или Белова.

Два лагерных срока, выпавших на его жизнь, научили Бородина быстро и точно оценивать людей, он хорошо изучил типы и характеры диссидентов, в том числе и из еврейской среды, и понимал, как с ними надо разговаривать.

Зная его судьбу, они несколько придерживали языки и не решались при нем нагло и демонстративно расписывать свои страдания во время жизни в Союзе.

К своей радости, я обнаружил в нем во время нашего путешествия немало ребяческого, искреннего, открытого приятия жизни, неожиданного в человеке столь трудной судьбы.

Когда мы приехали в штат Колорадо и разместились в гостинице, то Леонид Иванович вдруг сверкнул по-детски оживившимися глазами и заговорщически обратился ко мне:

— Тут рядом Большой каньон — одно из чудес света! Пошли поглядим!

Мы вышли к Большому каньону, громадная расщелина которого разрезала земную кору. Его берега, сложенные из каких-то красных, фиолетовых, бурых отложений, заросших цветущими кустарниками, сужаясь, устремлялись вниз и соединялись на головокружительной глубине сверкающим швом легендарной реки Колорадо.

— А может быть, попробовать быстро спуститься к реке, в нашем распоряжении есть два часа, успеем! — с горящими от восторга глазами обратился Бородин ко мне, и я едва-едва

отговорил его от этой авантюры. Мы бы и к вечеру не вернулись оттуда!

А само русло каньона, разрывающее поверхность земли, его лоно, берега и края, терялось на горизонте в утренней голубой дымке, в бесконечности.

Я поглядел на лицо своего спутника и увидел на нем столь редкое для людей такого склада выражение счастья.

Наверное, такое же выражение он увидел на моем лице, когда по возвращении в Россию мы прощались на аэровокзале, и он сказал мне:

— Если бы мне пришлось сидеть еще один срок и дали бы право выбора, с кем сидеть, — я бы выбрал в напарники вас, Станислав Юрьевич...

...Люди такого склада не меняются с возрастом. Недавно один мой друг рассказал мне, как несколько русских литераторов неожиданно для Бородина на “круглом столе” в журнале “Москва”, не сговариваясь, каждый по-своему стали размышлять о том, что борьба с советской цивилизацией неизбежно должна была повлечь за собой разрушение России.

— Так неужели я два срока зря отсидел? — вспылил вдруг Леонид Иванович...

По вечерам, оставаясь в гостинице, мы с любопытством и отвращением смотрели рекламные клипы, живописно показывающие, как жареные цыплята летят в рот тучным американкам, широко разевающим рты и становящимся похожими на идиоток. Леонид Иванович, постаревший юноша, революционер-заговорщик, страстно затягивался сигаретой, впадины его щек во время затяжек нервно подергивались, легкой походкой человека, вечно сражающегося с призраком коммунизма, он прохаживался взад-вперед по гостиничному номеру, саркастически комментируя телесериалы, в которых обязательная парочка полицейских — негр и белый — самоотверженно, рука об руку боролись с наркодельцами и маньяками.

А на другой день священник Сесиль Вильямс рассказывал нам о настоящей жизни, и после его рассказа мы понимали, что голливудские мифы о “дружбе черных и белых” похлеще наших “Кубанских казаков”.

— Мы в нашей церкви, — говорил темнокожий пастырь, — пытаемся вырвать черных детей из бедности, спасти от наркотиков и неизбежных тюрем, словом, от новейшего геноцида. Мы уже не думаем о спасении души — лишь бы накормить, обучить, дать хоть какую-то профессию.

А ровно через год после нашего посещения Америки по

Лос-Анджелесу прокатилась волна погромов. В ответ на полицейскую жестокость и судебную несправедливость черные разгромили центр города... Разграбленные и сожженные магазины, несколько десятков убитых, сотни раненых — таков был итог схватки, во время которой белая звериная морда Америки сцепилась с не менее жестокой и не менее расистской черной.

Вскоре по возвращении на родину я получил из Рима письмо соратника Бородина по политическому процессу Евгения Вагина, которого я однажды мягко упрекнул в том, что он, боровшийся за свободу России от коммунизма, не возвращается на "освобожденную" родину. Вагин отвечал мне:

"В конце своего письма Вы пишете о "странности" того, что часть из нас (впрочем, не столь уж и значительная количественно), которые "боролись, страдали, сидели", находимся за границей сейчас, когда появилась возможность "работать и бороться на родине". Я вспомнил Л. И. Бородина (с которым нас когда-то связывала одна судьба): представляя недавно в "Лит. России" очерк В. Осипова, он с содроганием признается: "...я даже (!) допустил мысль об эмиграции". Но я-то помню наше с ним прощание — и ведь были уверены, что навсегда, — если и возникли у него такие мысли, он гнал их от себя... Я смотрел на вещи несколько иначе; и сейчас моя позиция еще далека от "возвращенческой". Смущает меня и то, сколь многочисленная "шпана" — не только литературная, но и политическая, роем устремилась обратно, в "страну" (как они называют нашу родину), где естественно смыкаются со шпаной местной, типа Коротича. Представляю, между тем, что ожидает русского изгнанника, вернувшегося к родным осинам..."

В последние годы патриот Евгений Вагин, православный человек, работал на радио "Ватикан". Какой бесславный конец судьбы, некогда начинавшейся так дерзко и самоотверженно...

...По красноватой плодородной почве штата Аризона, где расположен Большой каньон, мы доехали на машине до резервации племени хоппи.

Председатель племени на вопрос, является ли он вождем, отрицательно покачал головой.

— Я был всего лишь навсего преподавателем школы, но меня выбрали главой администрации обычным способом. А вождь-престолонаследник — совсем другое. Он должен быть духовным наставником, он у нас пока ребенок, и его надо еще многому научить.

Мы сели в машины и через час-полтора подъехали с нашим

хозяином к индейскому селению. Глядя на него, я вспомнил иллюстрацию к повести Конан Дойла "Затерянный мир". На красноватой полупустынной равнине, словно гигантская шкатулка, возвышалось каменное плато. Один склон шкатулки был более-менее пологим, и по нему наш автобус не без труда въехал на ее поверхность, заполненную сложенными из серого песчаника домами, узкими лабиринтами улиц.

— Некоторым домам, в которых здесь живут люди хоппи, более тысячи лет! — сказал сопровождавший нас Феррен Секакуку.

Плато, конечно же, издревле было священным местом. Я вышел из машины и огляделся. Ветер, свистевший над вершиной плато, пронизывал одежду, вдоль заборов, сложенных из грубо отесанного камня, с мертвенным звоном перекатывались пустые жестяные банки из-под пива, улицы, несмотря на полуденное время, были пустыми.

— Женщины сейчас занимаются хозяйством и детьми, — сказал Феррен. — А мужчины? У них мужской ритуал — у нас есть и женские и детские ритуалы. Мужчины сегодня сидят в укромном месте — в подземном храме и поклоняются духу дождя. Вождь — мальчик — находится вместе с ними. Там у них горят масляные светильники — электричества в поселке нет... Мы не жалуемся, хоппи — самое мирное из всех индейских племен, мы приняли политику белого человека... Он не вмешивается в нашу религию, в наши отношения с духами. У нас самоуправление. Власти штата не могут править нашей жизнью, но и мы не можем уходить из нашей резервации...

А что? Если не опомнимся, то наше великое племя русских через несколько поколений, глядишь, и будет жить, как индейцы племени хоппи. Наследники Чубайса лишат нас электричества, нам будет запрещено покидать наши резервации, но зато отправлять православные ритуалы не в катакомбных церквах, а в новых, возведенных сегодня, и древних, намоленных, нам при новом мировом порядке, конечно же, будет великодушно разрешено.

* * *

Поездка наша по Америке продолжилась в атмосфере любопытства и ненависти, дружелюбия и провокаций.

Из "Нового русского слова" от 11 мая 1990 года:

"В интервью с корреспондентом "НРС" 28-летний Леви, который характеризует себя как "бухгалтер и отчасти рево-

люционер", заявил: "Пока евреи не могут ходить в безопасности по улицам Ленинграда, русские нацисты не будут ходить в безопасности по улицам Нью-Йорка!"

Вчера утром Леви и четверо членов Организации защиты евреев попытались, по его словам, сорвать встречу делегации писателей и представителей Национальной конференции христиан и евреев. Пятеро демонстрантов с лозунгами "Куняев — нацист", "Нацистов — вон!" и "Евреи не должны встречаться с нацистами" поднялись на 11-й этаж здания, где проходила встреча, и сделали попытку прорваться в конференц-зал, но были остановлены дверью из толстого стекла. Как говорит Леви, во время этого инцидента демонстранты ударили кого-то по лицу, хотя пострадавший оказался не одним из русских писателей, а американцем. Леви замечает на это, что "двуличные американцы, якшающиеся с нацистами", еще хуже последних.

"У вас большой список врагов", — заметил автор этих строк. "Да, он растет не по дням, а по часам", — засмеялся Леви.

Но Бог с ними, этими, как писала мне в письме Нина Бахтина, "больными людьми". Что говорить о них, если в "Лос-Анджелес таймс" от 4 мая 1990 года мы прочитали слова раввина Ицхака Гинзбурга, защищавшего четырех убийц палестинской девушки в одной из арабских деревень: **"Должно признать,** — писал Гинзбург, — **что еврейская кровь и кровь неевреев имеют разную цену"**. Эти слова я вспоминал в самых разных, вполне цивилизованных и респектабельных еврейских аудиториях, где нам пришлось побывать — в еврейском этническом центре в Питсбурге, на кафедрах различных провинциальных университетов при встречах с профессорами и преподавателями, в казенных офисах министерств и радиостанции "Свобода". Там все было хоть порой и напряженно, но вежливо, прилично, цивилизованно. И, однако, снова в суть такого рода встреч, визитов и разговоров мне помогал вникнуть великий американец Томас Вулф.

В его романе Джейк Абрамсон в кругу своих племянниц рассуждает об английской кухне, издеваясь над капустой, рыбой и безвкусными соусами:

"— *Такая еда годится только для несчастных христиан.*

Это упоминание об иноплеменниках, в котором сквозила пренебрежительная усмешка, как-то по-особенному соединило всех троих, и внезапно они предстали в новом свете. На губах старика играла чуть заметная умная и холодная улыбка, женщины веселились безмерно, и все они отлично понимали друг друга. И теперь видно было, что они по-настоящему

заодно — дети древнего, одаренного, всезнающего племени, — и со стороны отчужденно, с насмешливым презрением глядят на темных и невежественных людей иной, низшей породы, не причастных к их познаниям, не отмеченных той же печатью. И тотчас оно миновало — мгновенье, в котором сказалась их извечная обособленность. На лицах женщин теперь светилась лишь спокойная улыбка, все трое вновь принадлежали всему миру".

Поистине, читая это, поверишь, что "еврейская кровь и кровь неевреев имеют разную цену".

Для них. Но не для нас.

* * *

Во глубине Америки, на ферме штата Иллинойс, куда нас на несколько дней отправили наши хозяева, я вставал рано и по утрам под одобрительными взглядами Глена и Кэт в спортивном костюме и новеньких американских кроссовках выходил из дома и, вдыхая свежайший воздух, насыщенный запахами травы и молодых кукурузных полей, начинал медленный бег по равнине, разглядывая приметы жизни и раздумывая о феномене Америки.

Зеленые пространства, тянущиеся до горизонта, были разрезаны аккуратными дорожками, посыпанными галькой. Справа от меня лежали поля под парами, слева — посевы кукурузы.

Олень выскочил из небольшой рощи, увидел меня, но не испугался, а медленно покрутил плюшевой головой и ушел обратно в заросли. Вскоре я перебежал по мостику через чистый ручей, поглядел в воду и заметил форелей, стоящих в прозрачной воде головами против течения и подрагивающих хвостами.

Время от времени я спугивал дроздов и чибисов, вылетающих из травы. Через каждые два-три километра в некотором отдалении от главной дороги стояли фермы с постройками...

Влага, тепло, тишина окружали меня. Когда я приблизился к зарослям каштанов и грецких орехов, из гнезда выскочила белка и зацокала язычком, негодуя на чужеземца, нарушившего ее покой... А где же находят последнее успокоение американские крестьяне? Ведь не может же быть земли без кладбища?

Пока я вскользь думал об этом, то незаметно для себя вбежал по гравийной дорожке в зеленое чистое пространство, отличающееся от лугов и пастбищ только тем, что на нем в шахматном порядке были расставлены прямоугольные и

квадратные стелы из серого гранита. На них я увидел выбитые надписи:

"Блейк — 1831—1900", "Кларк 1842—1910", "Джон — 1856—1919"... Никаких там сантиментов вроде "Любимому мужу от скорбящей жены и детей" или "Зачем ты нас так рано покинул?" Кладбище чистое, безо всяких православных излишеств, без оград, без европейских изысков с каменными бордюрчиками и цветниками, без склонившихся к надгробию ангелов, без самодельных стихотворений и переведенных на фарфор фотографий, каких так много на надгробных камнях Пятницкого кладбища в моей родной Калуге.

Трава, гранитные прямоугольники, похожие на противотанковые надолбы, фамилии и даты. Все рационально, упрощенно, деловито, аккуратно до последнего предела.

Вечером во время ужина Глен и Катя рассказывали мне и Светлане Селивановой о своей жизни. Богатый дом, двести гектаров земли, целый гараж сельхозмашин и автомобилей. В время уборки урожая к ним приезжает отец Глена помочь — не просто так, а за плату. У двоих сыновей детская комната с компьютерами. Когда же я спросил у них, в какой стране они были в последний раз (ведь люди не бедные!), Глен грустно махнул рукой: "Какой туризм! Всю жизнь сидим на земле. Даже в Канаде не был, нет времени".

...По вечерам в маленькой уютной комнатушке, отведенной для меня четой американских крестьян, я перед сном продолжал чтение романа "Домой возврата нет" и поражался тому, насколько громадна, разнообразна и противоречива Америка. Ну разве Катя и Глен могли себе представить жизнь американской элиты в преддверии Великой депрессии, жизнь элиты, столь похожую на нынешнюю безумную жизнь правящей верхушки ельцинской России:

"Очутившись у дверей своих небоскребов, они взлетали на лифтах в облака, где помещались их конторы. Там они покупали, продавали, заключали сделки в атмосфере, насыщенной безумием. Безумием дышало все вокруг, весь день напролет, и они сами это чувствовали. О да, они прекрасно это замечали. Но вслух об этом не говорилось. Такова уж была одна из особенностей того времени, что люди видели и ощущали безумие везде и во всем, но никогда о нем не упоминали, никогда не признавались в нем даже самим себе".

* * *

От всех "еврейских кошмаров" у нас была отрада и отдохновение: трогательные встречи с "русскими

американцами", седовласыми опрятными стариками и старухами, еще помнящими свое детство в старой России, революцию и гражданскую войну, галлиполийские лагеря и сербские скаутские школы и довоенные бульвары Парижа... В их жилищах, обязательно украшенных портретами последнего императора и императрицы с цесаревичем и великими княжнами, а также ликами генералов, предавших монархию, мы садились за столы, пили смирновскую водку, закусывали красным украинским борщом, дымящимися сибирскими пельменями, читали стихи, потом хозяева, как правило, вели нас в свои библиотеки, где мы жадно тянулись к стеллажам, листали книги Ивана Солоневича, Ивана Ильина, Льва Тихомирова...

На прощание хозяева щедро предлагали нам взять с собой в Россию любые книги, которые нам пришлись по душе.

Со стариками, помнящими времена гражданской войны, нам было, как ни странно, легче найти общий язык, нежели с эмигрантами, поклонившимся знаменам Власова.

Мы были готовы к тому, чтобы воспринимать Октябрьскую революцию во многом как революцию антирусскую, и мы и они прекрасно знали роль еврейской партийной и чекистской верхушки в репрессиях, гонениях на церковь, в разрушении культуры. Здесь наши взгляды на антирусскую сущность государства и власти в ленинскую эпоху почти совпадали, что позволяло нам искренне и откровенно вести вольные беседы и радоваться друг другу, как это умеют русские люди...

Однако кое в чем наши взгляды на советскую историю расходились коренным образом. Именно в Америке в одном из гостеприимных русских домов мне подарили книгу воспоминаний социолога Питирима Сорокина, которую я взахлеб прочитал чуть ли не в тот же день.

Питирим Сорокин был непримиримым врагом Ленина и советской власти, воевал с нею с оружием в руках, был приговорен к смерти, потом выслан за границу, последние годы жил в Америке. Вот уж настоящий враг социализма! И однако он, умный человек и реалист, так рассуждал в начале 1960 годов о природе революций. По Сорокину, всякая великая революция проходит три фазы:

"Первая из них — короткая — отмечена радостью освобождения от тирании старого режима и большими ожиданиями реформ, которые обещает каждая революция. Эта начальная стадия лучезарна, правительство гуманное и мягкое, полиция умеренна..." (Вспоминаем керенщину и горбачевщину.) Дальше Сорокин пишет:

“Короткая увертюра обычно сменяется второй, деструктивной фазой. Великая революция теперь превращается в яростный вихрь, сметающий на своем пути все без разбора. Он безжалостно разрушает не только отжившие институты общества, но и вполне жизнеспособные заодно с первыми, уничтожает не только исчерпывающую себя элиту, но и множество людей и социальных групп, способных к созидательной работе”. (Да, это так, если вспомнить уничтожение казачества, чиновничества, духовенства и высылки интеллигенции, — все это в первые годы Октябрьской революции... А чем лучше нынешняя экономическая эмиграция из страны научной элиты, превращение в рыночную пыль высококвалифицированных кадров нашей промышленности — военной, космической, угольной, металлообрабатывающей? А если вспомнить беженцев из бывших республик, превратившихся в миллионы люмпенов? Формы расчеловечивания разные — результаты похожи...) Но самое интересное то, что Сорокин пишет о третьей фазе:

“Если ураганная фаза не полностью превращает нацию в руины (это очень важно! — **Ст. К.**), то революция постепенно начинает строить новый социальный и культурный порядок... Этот порядок создается на основе не только новых революционных идеалов, но включает восстановленные, наиболее жизнеспособные дореволюционные общественные институты, ценности, образы жизни, временно порушенные на второй стадии революции, но которые выжили и вновь утвердились независимо от желания новой власти... Грубо говоря, с конца двадцатых годов русская революция начала входить в свою конструктивную фазу, которая в настоящее время находится в полном развитии. Советская внутренняя и внешняя политика сейчас более конструктивна и созидательна, чем политика многих западных и восточных стран. Весьма жаль, что эта важная перемена все еще не замечается политиками и правящей элитой этих государств”.

Написано в 60-м году...

Но, к сожалению, “эта важная перемена” не замечалась не только “правящими элитами” западных государств, но и многими русскими патриотами, живущими на Западе.

Достаточно только сказать, что, когда мы были в Америке, Конгресс русских американцев сочинил декларацию, в которой обращался к американской государственной элите с просьбой объявить 7 ноября “Днем скорби и непримиримости”.

“Мы, как и прежде, обращаемся к Президенту и Государственному секретарю Соединенных Штатов с просьбой

прекратить практику поздравления населения Советского Союза с Днем революции...

Мы просим штатных губернаторов и мэров городов издать соответствующие прокламации с выражением скорби по всем жертвам коммунизма и с пожеланиями населению Советского Союза обрести долгожданную свободу от тоталитарного гнета..."

Боже мой! Какая ненависть, какая непримиримость через 70 с лишним лет после революции, через сорок пять лет после 9 Мая еще обуревала души этих людей! Эта ненависть к Советскому государству застилала им глаза на те формы мирового зла, которые вечно рождала западная цивилизация, возникшая в конкурентной борьбе всех против всех. Вы за свободную конкуренцию во всех сферах жизни? Тогда признайте, что в 30-е годы все политические лидеры партийной оппозиции оказались неконкурентоспособны рядом со Сталиным, все европейские народы оказались неконкурентоспособны в сравнении с фашистской Германией. (В конце концов, война — высшая и самая напряженная и драматическая форма конкуренции.)

Теория о неконкурентоспособности тех или иных народов сегодня ведет к новому витку расистского мышления и оправдывает любые преступления — истребление цивилизации майя и ацтеков испанскими грабителями, уничтожение северных индейцев англосаксонскими негодяями, я уж не говорю о десятках миллионов негров, перевезенных насильно из Африки в Северную Америку, косточки и рабский труд которых легли в фундамент американского благополучия, о сотнях миллионов вьетнамцев, китайцев, индусов, малайцев, филиппинцев, мексиканцев, арабов и прочих неконкурентоспособных землян, сведенных с лица планеты более конкурентоспособными англичанами, французами, бельгийцами, голландцами, японцами, испанцами, евреями.

В конце концов и сомнительную цифру — шесть миллионов евреев — можно представить себе, как свидетельство того, что в 30-е годы и в годы 2-й мировой войны жертвы Холокоста не выдержали конкуренции с белокурыми бестиями.

Нынешние счетоводы до сих пор на лживых счетах и зараженных вирусом демагогии компьютерах считают, во сколько десятков миллионов обошлось русскому народу и народам России строительство советской цивилизации за 70 лет... Посчитали бы лучше, во сколько сотен миллионов настоящих, а не мифических жизней обошлось для человечества строительство капитализма и "демократии" за несколько веков

кровавого наступления на “неконкурентоспособные” народы!

Первой великой колониальной империей, установившей законы и традиции мирового грабежа — то кровавого, то бюрократически военного — была, конечно, империя Римская. И хищные европейские народы, возникшие на ее обломках, ее бывшие провинции, унаследовавшие железную хватку Рима, сохранили волю к колонизации всего неевропейского мира и пронесли гены “Pax Romana” до поры великих географических открытий, до времен Колумба и Кука, и как подобает возмужавшим и окрепшим после Реформации и религиозных войн хищникам, на несколько веков разделили между собой беззащитные “неконкурентоспособные” миры Африки, Южной Азии, арабского мира, океанических архипелагов, Южной Америки, где сначала железом и кровью, а потом торговлей и водкой, опиумом и деньгами установили свое господство, принявшее ныне изощренные формы банковского господства над миром. Только один из европейских народов к XIX веку остался без своего куска добычи — самый сильный, самый жестокий, самый государственно и биологически молодой — немецкий народ, не успевший сложиться из-за религиозных войн в одно государственное целое. Но когда его старшие и более удачливые собратья увидели, что он возмужал, то они пришли в ужас оттого, что возник конкурент небывалых способностей и гигантского колониального аппетита, и стали нашептывать ему на ухо: “Зачем тебе Африка, арабский Восток, далекий Китай и недоступная Индия? У тебя под боком куда большие богатства — необъятная Россия с ее лесами и золотом, черноземом и нефтью, с ее крестьянским “неконкурентоспособным”, разбросанным на тысячи километров народом. Мы, англичане, французы, испанцы, поляки, итальянцы, бельгийцы, шведы, австрийцы, не смогли завоевать ее, сил не хватило ни тевтонским магистрам, ни норманнам, ни варягам, ни Карлу XII, ни Сигизмунду I, ни даже великому Бонапарту с его “двунадесятиязыковой” армией, ни Тройственному союзу... Даже мощь Ватикана оказалась бессильной против России, огородившейся бастионом православия. Так слушайте нас, самые сильные, самые молодые наши европейские братья германцы: как когда-то ваши легионы разрушили Римскую империю, так сегодня ваша историческая миссия поработить Россию! Вы — передовой отряд Запада, вы его спецназ, и мы завещаем вам рано или поздно, независимо от наших внутренних распрей, завоевать для себя и для всей Европы эту могучую, неизвестно какими судьбами возникшую на краю Ойкумены варварскую страну!..”

Вот суть, сердцевина тайного вопля, который слышится последние триста лет европейской истории из-под груза шелестящих хартий и договоров, из вальяжных речей меттернихов и дизраэли, чемберленов и пуанкаре, черчиллей и де голлей, розенбергов и бжезинских. Этого никогда не слышали участники и историки власовского движения, до сих пор верящие, что Гитлер всего лишь "метил в коммунизм", да промахнулся. Попал в Россию.

Жертвы? Да, они были исполинскими. Но независимости без жертв не бывает. А Россия свою независимость могла построить лишь при полной монолитности общества, при абсолютной, в несколько раз превышающей норму, мобилизации сил. Но попробуй добейся этого единства без жертв. Ведь на любую, даже самую справедливую и освободительную войну лишь малая часть народа может пойти добровольно. Остальных призывает и доставляет на борьбу железная длань государства.

Вот и сегодня цивилизованные европейские пираты, пользуясь тем, что их оружие столь же убийственное и совершенное, как ружья и пулеметы их предков, уничтожавших вооруженных луками и ножами северных и южных индейцев, сводят с лица земли менее конкурентных иракцев, ливийцев, сербов... Да, да, русские американцы, — сербов, которые приняли вас или ваших отцов и дедов, обогрели, вырастили после исхода из России...

Сербия для многих из вас — я вспоминаю благороднейшего старика Игоря Леонидовича Новосильцева! — вторая родина. Но что-то я не слышал во время бомбежек американскими летчиками вашей Сербии, чтобы вы сочинили послание протеста президенту США, губернаторам, мэрам городов...

Впрочем, не буду упрекать облыжно всех русских, с которыми мы встречались в Америке. Мои упреки адресованы лишь привилегированной политизированной элите, а многие простые русские люди во время встреч с нами мыслили куда более терпимо и здраво, нежели "вожди" эмиграции, а порой и нас учили уму-разуму.

Вот несколько записок, полученных нами из залов Вашингтона и Сан-Франциско.

"Дорогие писатели! Не преуменьшайте благородства русских на Родине. Мы слышали, что вы за сепаратизм, то есть за отделение от России Украины и Беларуси. Этого не может быть, развейте этот навет!"

"Почему русские поддерживают Ельцина, который выступает за расчленение страны? Почему русские кричат

"свободу Литве"? Неужели русские заинтересованы в распаде Великой России?"

"Разговаривала с вашими туристами. Многие не знают, что Прибалтика входила в состав России до 1917 года. Поскольку Прибалтика аннулировала договор 1940 года, то почему тогда не аннулирован Брест-Литовский договор, который был вынужден?"

Эти записки были написаны в мае 1990 года, их писали немолодые люди, и надо отдать им должное — их патриотизм в известной степени был исторически глубже нашего. Ведь мы, ничтоже сумняшеся, уже заявляли, что с Прибалтикой, видимо, придется расстаться, что Закавказье — это тяжелая гиря на ногах России, что достаточно нам будет в грядущем обновленном Союзе России, Украины, Белоруссии и Казахстана, словом, несли этот геополитический умозрительный бред, почерпнутый в основном из брошюры Солженицына "Как нам обустроить Россию". В ответ наши собеседники молчали, хмурились, покачивали головами...

А вскоре по возвращении в Союз я получил из США письмо от нашей соотечественницы, которая слышала нас на одной из встреч в Нью-Йорке.

"Была на собрании, где все вы выступали. Должна сказать, что многие были разочарованы. Оказывается, ваши представители не прочь, чтобы советская страна была расчленена, чтобы республики отошли. Удивляюсь, как могут об этом даже думать российские патриоты?

Сколько крови пролили наши предки, собирая отечество, отстаивая его от врагов и интервентов. А теперь вы сами этого хотите...

До Горбачева русское советское общество было морально здоровым. Не было проституции, не было наркомании. Ученики в школах были замечательными. Дикарская музыка с пошлыми кривляниями запрещалась. И правильно. Запреты нужны, особенно для молодежи. Все это погибло с приходом Горбачева. Он сам помог Западу развратить общество. После страшных войн — Гражданской и Второй отечественной — общество оставалось самым высокоморальным в мире. Какая была замечательная молодежь! Я же помню те времена!

Немцы не могли поверить, что все остовцы-девушки были девственницами. Какие были герои во время войны! Голод и холод ту молодежь сломить не могли. А теперь в мирное время ее разложили за несколько лет.

В некоторых ваших выступлениях идеализируется монархия. Живя в России до войны, я симпатизировала

монархии. Но, поселившись в Штатах, многое прочитала о ней. И пришла к выводу: революции не быть не могло.

Почему были побеждены белые в гражданскую войну, да когда еще им помогала Европа? Потому что народ не хотел монархии. А вы ее сейчас захотели. Так кто же виновен в революции, не те ли, из-за кого миллионы русских солдат погибли в Первую мировую?

Отменили крепостное право в 1861 году, и лишь в 1910-м Столыпин решил провести земельную реформу. Не могли разрешить аграрного вопроса за 50 лет!

Кто-то из вашей делегации сказал: "Историю народа не писали после 1917 года". Неправда! Я училась на историческом факультете и свидетельствую — в общих чертах история преподавалась правильно. Кроме окончательных выводов. (Я не говорю об истории 30-х годов.) Да и вообще истории объективно точной нет ни в одной стране. Я интересовалась, живя за границей, польской и немецкой историей. В них искажений преднамеренных куда больше, чем было у нас. Недавно прочла книгу "History of the Russian civil war" W. Brucl Linkoln. Автор — антикоммунист. Но он описывает, как вела себя во время гражданской войны белая армия. Не удивительно, что они не победили. Народ не поддерживал их. Автор пишет об этом с сожалением, ибо он хотел бы, чтобы они победили...

Извините за длинное письмо и ошибки. Я ведь училась на украинском языке, я украинка, но не сепаратистка. Я хочу, чтобы была Великая Россия. Надежда Ковтуненко. 2.7.1990 г."

Вот какие советы давала русская патриотка нашим монархистам — Святославу Рыбасу, Олегу Михайлову, Виктору Лихоносову, Павлу Горелову да и всем нам, живущим в Советском Союзе, видевшим изъяны и пороки советского образа жизни, но в упор закрывавшим глаза на достижения ее великой цивилизации.

Поистине — "большое видится на расстоянии". Да, мы не "прогнулись" перед сворой еврейских журналистов, но в разговорах с русскими людьми вели себя растерянно, непоследовательно и порой желали понравиться им, забывая многое или умалчивая о многом, о чем мы не должны были ни забывать, ни молчать. Но как хотелось почувствовать себя одним народом с ними! Как не хотелось омрачать их радость и огорчать наших гостеприимных соотечественников!

Впрочем, многое зависело от того, с кем из русских людей приходилось нам встречаться за рубежом. Повторялась обычная, старая как мир история. Эмиграция тоже была как бы разделена на "элиту" и "народ". Простые, рядовые, обычные

русские люди вроде Надежды Ковтуненко, Марии Шиклуны, Владимира Хороще, Николая Немытченко, Натальи Евангелисты, Ивана Гуменюка, Александра Лизогубова понимали историю и жизнь куда естественней, терпимей, нежели Родзянки, Будзиловичи, Гагарины, Шаховские, Трубецкие, Волконские... и другие представители любой эмигрантской знати — либерально-масонской, монархической, власовской, церковной. Последние были более ангажированы, более тесно связаны с властями и высшим чиновничеством тех стран, где они проживали, со спецслужбами, с департаментами, с радиостанциями, с газетами и журналами, с деньгами, с идеологией "свободного мира".

До сих пор "непримиримые" историки из высшего слоя русской эмиграции никак не могут спокойно и объективно осознать антирусскую суть власовской идеологии и власовского движения. В краткой справке о "жизни и гибели генерала Андрея Андреевича Власова" председатель Конгресса русских американцев до сих пор клеймит большевиков, "отдавших немцам половину России и заключивших с ними позорный Брестский мир"...

(Как будто не те же большевики вскоре вернули все, что было отдано, обратно, а к 1946 году восстановили "единую и неделимую" в прежних ее границах.)

При этом Будзилович стыдливо умалчивает о том, "что Власов не был противником отделения прибалтийских государств от России, так же как и кавказских и среднеазиатских республик, "что программа Власова предусматривает национальное освобождение всех народов СССР и при желании их полное отделение от Российской империи" (газета "Русская жизнь", издающаяся в Америке, от 5.12.1998).

Так кто же был разрушителем, а кто собирателем "единой и неделимой" — большевики или Власов, которым, по словам того же Будзиловича, "был создан Комитет освобождения народов России (КОНР), на равных заключивший с Германией договор о совместных действиях против СССР". Конечно, ельцинизм, окончательно разрушивший "единую и неделимую", был обязан объявить Власова своим предшественником. Однако узник сталинских лагерей Иван Солоневич так писал в послевоенные годы о Власове: "Ни Власову, ни его движению я не сочувствовал никогда. Это обреченное движение. Из него ничего не выйдет и ничего выйти не может.

То, что я пишу... будет для власовцев неприятно, вся эта эпопея была сплошной политической ошибкой".

* * *

"Америка — свободная страна", — первое, что мы услышали из уст одного из руководителей сан-францисской общины В. Гранитова. Думает ли он, как мне помнится, выросший в Сербии, сейчас так же, как 10 лет тому назад?

Русские люди, свободные от идеологических шор, думали об Америке и России иначе, в отличие от "эмигрантской знати", считающей Америку "самой свободной страной".

В течение нескольких лет — с 1991-го по 1995-й — я переписывался с подписчицей "Нашего современника" русской женщиной Ниной Виноградовой, 50 лет живущей в одном из маленьких городов американского Юга. Отдельные заметки из ее писем всегда были интересны для меня.

"Американцы не знают ни Майн Рида, ни Твена, ни Купера. О Кервуде и других писателях никогда не слышали. В школах учили 15—20 лет назад "Крестный" Поццо, а теперь только о Холокосте и СПИДе".

"Посылаю Вам вырезку из сегодняшней нью-йоркской газеты. "Коммунистка" жжет фото Ельцина". Я этому не верю. Кошерная газета врет. Они называют русских, которые не хотят разврата, воровства, расчленения, голода, засилия нерусских — коммунистами. Но я этого не хочу! Это так же, как здесь порядочные, моральные враги педерастии называются "нацистами".

"Надо, чтобы Ваш журнал читали русские дома. Здесь настоящих русских почти нет. К сожалению, русские здесь 98 процентов читают "Новое русское слово" и повторяют его русофобию и ложь. Но кто они? Дети и внуки масонско-либеральной интеллигенции, которая сделала февральскую революцию, дала "права" "Богом избранному народу", съела, как термит, Русскую монархию и бросила остатки сионистам.

Эти потомки никогда не осуждали своих отцов и дедов. В "Конгрессе русских американцев" их гнездо. Я к нему не принадлежу, так как не считаю себя "американкой", а русской, случайно попавшей в Америку".

"Меня убивает настроение русских в Вашей стране — обожают США! Не за что! Не в еде и джинсах дело. Убийства, аморальность, читать нечего, смотреть — тоже. Я была 4 раза в кино за 12 лет. Оперу закрыли — только рок. Цензура — страшная..."

"Банки и чеки в США — это паутина, которая опутала всех нас, гоев. Теперь еще везде эти компьютеры, которые всю информацию собирают, хранят и употребляют против граждан.

Каждый раз, когда выдаешь чек, компьютер знает, кому и за что. В магазинах даже спрашивают адрес. Я не даю!"

"Эмигранты умирают. За январь к нам в библиотеку, где я работаю волонтером в русском отделе уже 13 лет, внуки умерших пожертвовали 140 книг. Умерло трое стариков. Один застрелился. Старики умирают не от старости, а с горя, я в этом уверена. Мы все надеялись, что хоть умрем на Русской земле".

"Мы ведь шабры. Мои корни нижегородские, как и Ваши. Все Виноградовы, начиная от отца, родом из городишки Сергача. "Сергач — славный городочек, много в нем цветет садочков. На реке стоит Сергачке, смотрит задом к селу Ачки". Я страшно горжусь, что я нижегородская, как Минин..."

А вот к характеристике западного общества отрывок из еще одного письма, правда, не из Америки, а из Парижа, от известного в эмиграции журналиста и писателя Вл. Рудинского. Я познакомился с ним и с его другом, бывшим казаком Сергеем Слюсаревым, в 1990 году во время поездки во Францию.

"Умер наш общий знакомый Сергей Степанович Слюсарев. Фактически от голода. Он получал мизерную, совершенно недостаточную пенсию.

В Париже Вам никто не помешает умереть с голоду, умирают, бывает, и французы. Как-то раз в газетах писали, что умерла мать с тремя детьми, запершись в комнате. Никто, конечно, помочь и не подумал. Зато когда другая, тоже с голодными детьми, украла в большом магазине кусок мяса, — ее засудили надолго в тюрьму. Частная собственность священна и неприкосновенна! Такова Западная демократия, а вы ее так боготворите...

Впрочем, недавно с триумфом оправдали и отпустили на волю мерзавца, изнасиловавшего семилетнюю девочку, но имевшего влиятельных родственников и потому первоклассных адвокатов (некоего Романа). А родных жертвы и даже жандармов, выполнявших свой долг, на суде строго отчитали, аж с угрозами... В теперешнем мире сплошное безумие, впрочем, теперь у Вас тоже, с чем и поздравляю! 27.04.1994 г.".

Парадоксальнее всего то, что Рудинский всю жизнь послевоенную в своих писаниях оставался ярым антисоветчиком, а теперь причитает, что, мол, у Вас теперь тоже "сплошное безумие".

...Во время путешествия по Америке нами и нашими хозяевами произносились потоки восторженных, искренних и

сентиментальных слов, признаний во взаимной любви и симпатии, клятв о том, что мы вместе будем возрождать грядущую Россию...

"Скоро упадут последние баррикады, которые были созданы искусственно и так долго разделяли нас, и любой русский человек, по своему усмотрению, сможет в любое время ездить из России в Америку, из Сан-Франциско в Россию", — так говорил мой покойный товарищ Эрнст Сафонов. Картина в его воображении рисовалась аналогичная той, которую представляли себе Троцкий и Луначарский после победы мировой революции и которую живописали в своих поэмах великие поэты революционной эпохи Есенин и Маяковский.

Все эти речи сдабривались рукопожатиями, объятиями, улыбками, стопками смирновской водки, грудами домашних пельменей на громадных блюдах, все это повторялось в Русских центрах, в частных особняках, в номерах наших гостиниц, куда, как правило, провожали нас все жаждущие продолжить радостную эйфорию общения...

Мы еще не прочитали книги Ивана Солоневича "Великая фальшивка февраля", еще не задумались о том, что многие из тех, с кем мы обнимаемся и обмениваемся визитными карточками и тостами, бывшие офицеры и солдаты власовской армии, мы еще не подозревали, что рано или поздно они потребуют от нас проклясть победу в Великой Отечественной, отречься от крови, пролитой нашими отцами и старшими братьями, и склонить голову перед лживым мифом о том, что Советский Союз победил Германию лишь потому, что Сталин забросал телами солдат жерла немецких орудий и гусеницы "тигров".

Монархист Олег Николаевич Михайлов клялся нашим соотечественникам: "Господа! Мы создаем общество "Россия" по связям с русскими, подлинно русскими людьми зарубежья. Мы предполагаем осенью созвать Всемирный Собор, куда хотим пригласить всех русских людей, включая и Владимира Кирилловича! С нами Бог, господа!"

Это состояние, эта эйфория была, конечно же, сродни той, которую испытывала русская либеральная интеллигенция во время "бархатной" и "бескровной" февральской революции, когда все — вплоть до Великого князя — украсили себя красными бантами и обнимались, приветствуя свободу и демократию...

Из газетного отчета сан-францисской "Русской жизни" от 5 мая 1990 года:

“После молитвы вновь вспыхнули горячие разговоры, вопросы, ответы. Публика шумела, все были взволнованы встречей, ощущением единения, причастности всех присутствующих к великой культуре. Но вот слово взял Николай Николаевич Петлин — и публика в зале смолкла.

— Я хочу сказать, что такого момента — встречи с нашими русскими соотечественниками, тем более — представителями литературы, мы такого момента ждали всю жизнь. Семьдесят лет у нас не было никакой связи, диалога с нашим народом. Мы жили в разных мирах, мы знали, как страдал, как был уничтожен, угнетен наш русский народ, но мы не могли помочь ему, мы не могли связаться с нашими людьми. Мы не могли с ними поговорить, сидя за столом, как это происходит в данный момент. Нет слов, чтобы выразить глубину нашего чувства, русского чувства. На пороге громадных событий, которые происходят в России, в тот момент, когда мы чувствуем и знаем, что русский народ просыпается, что он осознал, понял — кто он, люди вернулись к своим историческим корням и уверены в том, что будущее России будет светлым. Россия будет свободной страной, основанной на принципах справедливости и взаимоуважения”.

Вот какой прекраснодушной риторикой заполнялись многие наши встречи с соотечественниками в Америке, и, как это ни печально, ответные наши чувства были не самыми трезвыми. Когда Олег Михайлов в доме богатого русского человека Алексея Ермакова с талантом и вдохновением после нескольких рюмок стал своим красивым баритоном исполнять советские песни о Сталине — “От края до края”, “Артиллеристы, Сталин дал приказ”, “В бой за родину, в бой за Сталина”, — это было не просто веселым хулиганством. Бывшие власовцы и старики из первой эмиграции встретили его артистическое кощунство с восторгом и бурными аплодисментами... Они почувствовали в этот момент некую свою историческую правоту в противостоянии “совдепии” “коммунистам”, “Сталину”... Да, да, ему. Имя, которое несколько десятков лет тому назад повергало их души в мистический ужас, ныне на их глазах высмеивалось и умалялось не кем-нибудь, а представителями той державы и той эпохи, с которой они вели борьбу не на жизнь, а на смерть...

“Наше дело правое”, — можно было прочитать на их старческих вдохновенных лицах...

“Человечество, смеясь, прощается со своим прошлым” — этот коварный тезис Маркса всегда вызывал во мне сопротивление. Когда в университете мы проходили античную

литературу, то я с брезгливостью читал Аристофана, высмеивавшего героическую эпоху Эсхила и Софокла.

Самой антирусской и глумливой книгой русской классики XIX века для меня была “История одного города” Салтыкова-Щедрина. О литературных мародерах нашего времени — Войновиче, Искандере, Жванецком и вспоминать-то не хочется.

— Господа! — завершил наше сан-францисское застолье Олег Михайлов. — Когда в нашей армии политическое воспитание будет заменено чтением молитв, когда место политруков займут полковые и ротные священники, то Россия будет непобедима! — он лихо опрокинул рюмку, утер рукавом новенького твидового пиджака, только что подаренного ему Ермаковым, губы и, к восторгу русских американцев, выбросил руку вперед: — Слава России!

Точно такую же сцену через десять лет (летом 1999 года) я увидел во время встречи художника Ильи Глазунова с молодежью. Тот же возглас, та же вскинутая длань. Только Илья Сергеевич заявил, что русские войска будут непобедимы, если в каждой воинской части кроме православного священника солдат будут еще “окормлять” и “раввин и мулла...”

С Олегом Николаевичем Михайловым я приятельствовал с начала 60-х годов.

До сих пор помню впечатление, которое произвела на меня его блистательная статья об “одесской школе” советской литературы.

При наших встречах он нередко с удовольствием артистически юродствовал:

— Я, братец, только что из Переделкино. Помыл спинку Мише Алексееву, на очереди Юрий Бондарев, за ним Ваня Стаднюк (так он говорил о своих статьях или даже монографиях, посвященных творчеству вышеупомянутых писателей).

— Жить-то, братец, надо! — как бы оправдываясь, разводил руками Олег Николаевич. Он не был фанатичным крамольником, скорее, главным свойством его талантливой натуры было то, что выражено в народной пословице: “Ради красного словца не пожалеет ни мать, ни отца”. Вот он и заливался как соловей на наших встречах и пресс-конференциях, то сообщая о том, что советская власть вот-вот рухнет: “достаточно было народу пошевелить бровью, я говорю о забастовке шахтеров, как земля содрогнулась”, то, к восторгу высшего слоя русских американцев, живущих в “свободном мире” и потому никогда не желавших касаться опасного еврейского вопроса, заявлял: “Главным дьяволом был не еврей, а Ленин”. Кстати, наше трехчасовое словесное сражение с еврейскими журналистами

в Кеннановском центре, опубликованное аж на шести полосах (!) в трех номерах русскоязычной газеты “Новое русское слово”, было озаглавлено именно этой михайловской сакраментальной фразой.

В предпоследний день нашего пребывания в Америке я был приглашен на разговор в “Нью-Йорк таймс”. Наш переводчик Николай придавал очень большое значение этому визиту.

— В “Нью-Йорк таймс” обещали подвести итоги вашей поездки, объективно рассказать о ее результатах, защитить вас от клеветы и нападок... Так что будьте внимательны в разговоре с сотрудниками...

Но все произошло не так, как предполагал наш русский друг. Меня встретили трое или четверо вылощенных, прекрасно одетых и мрачно настроенных высокопоставленных журналистов, похожих то ли на Александра Чаковского, то ли на Александра Кривицкого, и устроили мне на прощанье чуть ли не перекрестный допрос все на ту же тему: “антисемитизм”, “погромы”, “русский национализм”.

Положение осложнялось тем, что я был один, без своих товарищей, все-таки вместе нам всегда было легче отбиваться, но тут, сообразив, что надеяться не на кого, я, закусив удила, пошел в контратаку и наговорил много такого, отчего у моих собеседников глаза загорелись зловещими огоньками, их ноздри от возбуждения, вызванного нашим спором, стали хищно подрагивать, и вскоре, перекинувшись двумя-тремя словами друг с другом, они заявили мне, что наша пресс-конференция закончена.

Чертыхаясь и упрекая переводчика Колю за то, что он настроил меня на совсем иной тон разговора, я выбежал из роскошного подъезда на улицу.

Вечером, дочитывая в гостинице все тот же роман Томаса Вулфа, я понял, с людьми какого склада мне пришлось разговаривать в “Нью-Йорк таймс”.

В одной из лучших сцен романа Вулф изобразил, как перед Великой депрессией писатели и актеры встречаются в доме их общего мецената, пьют, влюбляются, острят, прожигают жизнь. В центре внимания беспутная, хмельная красавица англосаксонского происхождения, окруженная похотливыми стариками (Сусанна и старцы!). Писатель Хук Стивен глядит на нее и с печалью думает:

“Бедное дитя! Наша жизнь такая короткая, мимолетная, преходящая, оба мы отпрыски младшей ветви человечества. А посмотри на этих! Он огляделся: вокруг надменной усмешкой кривятся губы, раздуваются чувственно вырезанные ноздри.

Да, эти — более древней закваски, эти не дряхлеют, вечно возрождаются, вечно дерзают, но мудро остерегаются пламени... они-то не сгинут! О, время! О бедное дитя!"

Я вошел в вестибюль гостиницы, огляделся, увидел в углу толстого человека с одутловатым лицом, который при моем появлении торопливо поднялся с кресла и пошел ко мне навстречу. "Борис Парамонов!" — с досадой подумал я. Этот журналист с радиостанции "Голос Америки" постоянно надоедал мне по телефону, упрашивая, чтобы я дал интервью. Но я, не желая иметь с ним дело, постоянно отказывал ему.

— Станислав Юрьевич! — жалким голосом произнес Парамонов.

— Нет, нет, извините, я уже все Вам сказал, никаких интервью, — холодно отрезал я. — Вы много выдумываете и лжете в своих передачах.

— Стасик, милый! — вдруг раздался за моей спиной родной, рокочущий голос. Я оглянулся. Возле лифта стояли два красавца.

Паша Горелов, талантливый молодой человек, в недавнем прошлом боксер, которого за выправку и стать я звал "юнкером"... На его крепкое плечо опирался другой наш пожилой бонвиван, седовласый, хмельной и, наверное, потому трогательный и артистичный Олег Михайлов.

— Стасик! — он не просто протянул, а выбросил навстречу мне каким-то изысканным движением свои руки... — Нам пора в Россию! А мы почему-то еще здесь... Спиритус Морти — неотступно преследует меня. Я не могу заснуть! Посиди со мной вечером, друг мой!

Леонид Бородин, стоявший в вестибюле с неизменной сигаретой в сурово сжатых устах, с брезгливым отвращением глядел на замечательную сцену. "И это — надежда России!" — было начертано на его скорбном, аскетическом лице.

— Олег Николаевич! Пойдемте в номер, пойдемте! — юнкер Паша Горелов ловко и твердо затолкал прослезившегося Олега в лифт и, не дав ему произнести больше ни слова, нажал кнопку....

Я только что и успел погладить на седую шевелюру Олега, уронившего в отчаянье свою голову на мое плечо, и прошептать вслед за Томасом Вулфом: "О время! О бедное дитя!"

“Отойди от меня, сатана!”

Мое сопротивление “перестройке”. 19 августа 1991 года. Захват Евтушенко и К° кабинетов Большого Союза. Маразм победителей. Женщины Великой Криминальной. Схватка на Комсомольском проспекте. Нашла коса на камень. Зализываю раны на берегах Мегры. Облава. Русскоязычные наследники культуры, “цестные евречики и прочая шволочь” (А. Чехов). Мы с Прохановым в краю Серафима Саровского

Надо сказать, что мы, поколение русских литераторов, вошедших в писательскую среду в начале шестидесятых, серьезнее и точнее ощущали все опасности, надвигающиеся уже в то время на нашу жизнь, нежели поколение наших отцов и старших братьев.

Все они, по-своему незаурядные и популярные, а иные и талантливые писатели, Герои Соцтруда, лауреаты, формально обладавшие большой властью, на деле были людьми осторожными, расчетливыми, чересчур бережливыми по отношению к себе и своему литературному имени, чересчур зависимыми и от воли каждого идеологического чиновника той эпохи, и от привычек ко “льготам и привилегиям”, которыми они пользовались за верную службу...

Во многих делах они шли на сомнительные компромиссы с властью, трепетно оберегая свои репутации, собрания сочинений и гонорары, иногда поступаясь в судьбоносные минуты и национальными интересами, и честью, и правдой...

Помню, как они “сдали” идеологам из ЦК Юрия Селезнева. Один Проскурин разве что на секретариате пытался защитить его...

В отличие от многих своих литературных соратников, я, сделавший ставку в своей судьбе на независимость, старался никогда ничего ни у кого не просить. Я понимал, что писатель, если он хочет обладать свободой выбора, не должен "продавать душу" ни государству, ни литературным чиновникам. А потому, когда мне понадобилась квартира, я заработал денег и купил кооперативное жилье, появилась нужда в даче — поездил по Подмосковью, нашел и приобрел деревенскую избу.

Но зато я всегда имел право с брезгливой усмешкой глядеть на Межирова, Шкляревского, Преловского, часами сидящих перед кабинетами Маркова, Михалкова, Селихова, дабы получить квартирку либо дачку в Переделкино, урвать лишнее изданьице либо престижную командировочку в "капстрану".

А мне было интересней съездить туда, куда никто не жаждал ехать: в Афганистан, либо на Кубу, либо на съезд палестинских писателей... Даже своим любимым поэтам я не позволял вторгаться в сферу моей независимости. Помню, как послал куда подальше Ярослава Смелякова, который с хамской бесцеремонностью попытался учить меня уму-разуму. А со Слуцким у нас вышла настоящая ссора, когда он за мою жесткую статью о творчестве Окуджавы начал было воспитывать меня, что я, мол, "борюсь не с теми, с кем следует".

Помню, как я буквально заставил секретариат Союза писателей России в 1990 году выслушать прочитанную вслух мою статью "Обслуживающий персонал" об Александре Яковлеве, только что введенном Горбачевым в Политбюро. По тем временам статья была предельно резкой и стала откровением для наших литературных генералов. Под одобрительный их ропот по моей подсказке было принято решение опубликовать ее в "Литературной России", что было бы чувствительным ударом для "архитектора перестройки". Статью набрали, и я со дня на день ожидал ее выхода в свет.

Но, увы, время шло, а статья в газете не появлялась. Эрнст Сафонов — честный, но послушный человек — при встрече со мной отводил глаза и лишь спустя года полтора признался, что ему позвонил Юрий Бондарев и отсоветовал печатать... И это Бондарев — самый смелый из писателей военного поколения, произнесший незадолго до этого знаменитые фразы об "украденном фонаре гласности" и о самолете, поднявшемся во время перестройки с аэродрома без обозначения маршрута и места посадки. Видимо, он еще надеялся на какие-то разумные соглашения с властью, на чем я уже поставил крест.

Произносить на съездах и пленумах эффектные фразы в

то время было легче, нежели организовать сопротивление высокопоставленным ренегатам.

Ореол популярности, тепличный климат государственного внимания и лести в условиях перестроечного дискомфорта часто "выбивал из седла" наших русских советских классиков. Я помню, каким ударом для Бондарева было то, что его, постоянного депутата многих созывов Верховного Совета СССР, вдруг в 1990-м не выбрали в высший орган власти... Да где?! На Сталинградской земле, его, автора бессмертных повестей "Горячий снег" и "Батальоны просят огня"... Его, знаменитого фронтовика, променяли на какого-то мальчишку-демагога, молокососа, комсомольского работника! Как тогда торжествовал "Огонек", смакуя поражение русского писателя. Конечно, никто сейчас и не помнит фамилию бондаревского конкурента, и никто знать не знает, куда он делся, но и Бондарев тогда сам был виноват в происшедшем. Он, понадеявшись на свое имя, в той избирательной кампании не вышел в народ, не убедил людей в своей правоте, не понял, что эпоха бесстыдной демагогии требует полного напряжения сил, чтобы не проиграть евтушенкам и коротичам, ставшим нардепами и властителями дум последнего съезда Советов... Их агрессивная наглость, помноженная на энергию нового поколения политиков типа Бурбулиса, Гайдара, Шахрая, Собчака (ну не имена, а клички собачьи!), тогда восторжествовала над здоровым консерватизмом, привычкой к дисциплине, растерянностью и политической робостью многих казавшихся сильными и влиятельными русских людей. К тому же крыша у нашего избирателя-обывателя к 1991 году от ежедневного мощного промывания мозгов поехала окончательно. Я понял это в один из своих приездов в Калугу, в тот страшный год...

Мой старый калужский товарищ задрал небритый седой подбородок так, что напряглась морщинистая, исхудавшая шея, и в несколько глотков засосал полстакана домашнего дурного самогона, осторожно поставил стакан на липкую клеенку и, выдержав долгую паузу, ни с того ни с сего произнес, как бы продолжая с кем-то невидимый давний спор:

— Нет, что ни говори, а Сталин — тиран!

Я смотрел на него — худого, старого, одетого в какую-то рванину. Один ботинок лопнул, и сквозь трещину торчат грязные скособоченные пальцы — носков почему-то нету. Смотрел и думал о том, что всего лишь несколько лет тому назад он был весьма преуспевающим инженером на своем заводе, но началась смута, он заразился ее вирусом, бросился в политические споры, демократические тусовки и даже не

понял, как случилось, что его завод начал медленно разваливаться, — и в один прекрасный день мой правдоискатель очутился за воротами проходной... Вот тогда-то я впервые с ним, уже безработным, попытался поговорить о тайных целях перестройки. Он молча и недоверчиво слушал, а когда я закончил, то ни с того ни с сего выпалил:

— Нет, что ни говори, а Сталин — тиран!

Его жена, властная, практичная женщина, отправила его, почти старика, на заработки в Карелию — строить дороги. Целый год он мучился там в общаге бок о бок с бомжами и вчерашними зеками, не выдержал, сбежал и сейчас сидел на дачном хозяйстве, в щелястом деревенском домике, окучивал картошку, кормил кур, гнал самогонку... И когда я говорил ему: посмотри на себя в зеркало — как ты, вчерашний инженер, опустился, перестал бриться, в чем ты ходишь, тебе даже не с кем здесь поговорить, живешь, как батрак на выселках, о такой ли жизни ты мечтал на старости лет, — когда я говорил ему это, он недоверчиво слушал, его "компьютер" медленно обобщал все сказанное мною, — и вдруг выдавал нечто такое, что заталкивалось во все клеточки его существа в последние годы:

— Нет, что бы ты ни говорил, а Сталин — тиран!

И довольный, он ухмылялся, словно бы в очередной раз победил меня в тяжелейшем споре.

Когда таких несчастных роботов в нашем государстве стало большинство, демократическая власть пошла ва-банк.

Из дневника тех времен

Удручает непроходимая пошлость нынешней политической и идеологической жизни. На экране Шеварднадзе. Мямлит на ломаном русском языке нечто общечеловеческое; что, мол, готов способствовать демократическим реформам где угодно, куда бы ни пригласили: в Тбилиси, в ООН, в любой американский университет, в фонд имени Горбачева, произносит слова "цивилизованный мир", "рыночные отношения", а я вспоминаю запись из дневника Александра Блока, который в голодном Петрограде 1918 года приходит в свою вымерзшую квартиру, слышит за стеной громкий голос какого-то благополучного дельца, проникающий с нечеловеческой энергией пошлости сквозь стену, и несчастный, уже предчувствующий свою гибель великий поэт шепчет в мировое пространство: "Отойди от меня, Сатана! отойди от меня, буржуа. Только так, чтобы не соприкасаться, не видеть, не слышать; лучше

я или еще хуже его, не знаю, но гнусно мне, рвотно мне, отойди, Сатана".

Выхожу на улицу. Голодные орды великих стариков и старух, победителей фашизма, уныло толпятся у магазина, в Карабахе только что рухнул на землю и сгорел вертолет с детьми и женщинами, у моего знакомого взломали дверь в квартиру и унесли все, что попалось под руку, но Александр Яковлев, только что вслед за Шеварднадзе возникший на экране, опять вальяжно размышлял про общечеловеческие ценности. А вслед за ним даже астрологи — вроде бы по звездам читающие судьбу земли — толкуют о том, что завтрашний день будет благоприятным для коммерческих сделок лишь до обеда... "Звездное небо работает на "Менатеп" и "Экскарамбус"!".. Отойди от меня, Сатана!

Неужели народу не понятно, что "демократические свободы" для населения неизбежно связаны с резней в Карабахе, с обугленными телами в Фергане, с растерзанными русскими юношами в Андижане. "Порвалась цепь великая"... На одном конце цепи освободившаяся мафия и продавшаяся ей так называемая творческая интеллигенция, пьющая из хрустальных фужеров на сходках предпринимателей шампанское, а на другом — обугленные тела с перерезанными глотками, без принесения в жертву которых не было бы возможности вещать по Российскому телевидению дурными голосами: "Рэмбо! Вас раздевают, но мы Вас оденем!!"

* * *

...19 августа в Калуге меня разбудил телефонный звонок моего друга Алексея Золотина.

— Станислав! В Москве переворот... Горбачев отстранен от власти... Говорят, по болезни...

Я умылся, прыгнул в машину и помчался в Москву. После Малоярославца вклинился в танковую колонну (лишь бы случайно не раздавили!). Я махал рукой из машины танкистам, по пояс торчавшим из люков, они улыбались, жестикулировали и тоже что-то кричали мне. На душе было и радостно (неужели кончается горбачевское гнилое время?!) и тревожно... Зачем такая громада стальных чудовищ?

Знают ли они, зачем движутся в Москву? Все чаще и чаще на шоссе встречались заглохшие танки и бэтээры, съехавшие в кюветы, выползающие на шоссе с помощью других машин. На душе от этой неразберихи по мере приближения к столице становилось все надсаднее.

20 августа 1991 года собрался секретариат Союза писателей СССР. Он стал последним секретариатом, поскольку на него явился человек из окружения Янаева — поэт Сергей Бобков и потребовал, чтобы писательская верхушка поддержала ГКЧП...

Сергей Бобков был сыном Филиппа Денисовича Бобкова, одного из самых влиятельных чиновников КГБ, со времен Андропова ведавшего отделом по “работе с интеллигенцией”, первого заместителя министра КГБ.

Стыдно было смотреть, как этого бездарного стихотворца-авангардиста, носившего на себе все признаки физического вырождения — узкогрудого и мутноглазого, соперничая друг с другом, обхаживали вожди и лидеры двух номенклатурных кланов — русского и еврейского.

С одной стороны в поисках пути к сердцу Бобкова-старшего под его сынка подбивал клинья крупный функционер московского литературного еврейства — драматург Михаил Шатров. Он даже свой революционный этюд “Синие кони на красной траве” написал в соавторстве с Бобковым-младшим.

Однако наши русские умельцы тоже не дремали: в середине восьмидесятых годов Сережа Бобков вдруг стал человеком, близким Анатолию Иванову и Владимиру Фирсову, книги его одна за другой начали выходить в главном комсомольском издательстве, фамилия сразу появилась в списке редакционных коллегий “Молодой гвардии” и русско-болгарского журнала “Дружба”. И вообще о нем начали заговаривать как о крупном явлении русской поэзии то Игорь Шкляревский, то Олег Шестинский, то Егор Исаев... Об этих страницах нашей литературной жизни можно вспоминать лишь со стыдом, особенно отдавая себе отчет в том, что Филипп Бобков ныне один из главных советников Гусинского в Мост-банке, а имя его сынка-литератора, “как струйка дыма”, навсегда растаяло в постперестроечном воздухе.

Тем не менее 20 августа умудренные жизнью секретари Большого Союза — Сергей Михалков, Феликс Кузнецов, Николай Горбачев, Юрий Грибов не клюнули на провокацию Бобкова-младшего. Опытные функционеры, как им показалось, нашли выход из щекотливого положения. Они заявили эмиссару Янаева, что ситуация с ГКЧП еще не ясна и надо какое-то время подождать, присмотреться к событиям, словом, не торопиться...

Однако дело было сделано. “Малая провокация”, заключавшаяся в том, что троянский жеребенок проник в кабинет Маркова и вел какие-никакие, но все-таки переговоры с писа-

тельским ареопагом, была зафиксирована апрелевцами, жаждущими власти.

23 августа они (Евтушенко, Черниченко, Бакланов, Евг. Сидоров, Адамович, Карякин, Оскоцкий, Ананьев и другие, ну и, конечно же, соавтор Сергея Бобкова Михаил Шатров!) съехались на ул. Воровского и постановили:

"Рабочий секретариат СП СССР в течение длительного времени поддерживал антидемократические тенденции в Союзе писателей и в дни переворота 20 августа вел недопустимые переговоры на своем заседании с С. Бобковым — представителем главы заговора Янаева — и не выразил в этот решающий момент своего осуждения действий хунты". (Формулировки по своему фарисейству и демагогии достойны того, чтобы остаться в истории!)

Далее литературные ренегаты, захватившие коридоры власти, естественно, приняли решение "отстранить от работы секретарей Союза писателей С. Колова и Н. Горбачева за недостойное поведение во время путча", а "секретарям правления СП СССР Ю. Грибову, Ф. Кузнецову, Ю. Верченко предложить подать в отставку за их двусмысленное (! — **С. К.**) поведение".

Второй пункт постановления был также замечателен по накалу чекистской злобы и литературной зависти, которыми дышала каждая буква эпохального документа: "Расценить публикацию "Слова к народу", подписанного Ю. Бондаревым, В. Распутиным, А. Прохановым, как идейное обеспечение антигосударственного заговора и потребовать подать в отставку с постов секретарей правления СП СССР и СП РСФСР".

Третий пункт был доносом и одновременно малограмотным заверением в своей лакейской преданности новому нарождающемуся режиму:

"Расценить идейную направленность газеты "День", "Литературная Россия" и журналов "Наш современник" и "Молодая гвардия", как проповедь национальной розни, как призыв к антидемократическим действиям..."

Тут же временщики "в связи с чрезвычайными обстоятельствами" ввели в секретариат А. Рыбакова, Ю. Карякина, А. Нуйкина, А. Приставкина, ну и, конечно же, Виктора Астафьева, с радостью принявшего почетное предложение. Наконец-то осуществилась мечта его жизни и он стал литературным генералом!

С садизмом победителей они зафиксировали слабодушие и жалкую жажду самосохранения у некоторых членов прежнего секретариата, дезертировавших или сдавшихся на их милость:

“Удовлетворить просьбу Ю. Грибова об освобождении его от обязанностей секретаря правления СП СССР”, “принять к сведению заявления секретарей СП СССР тт. Суровцева Ю. П. и Скворцова К. В. в том, что они не присутствовали на заседании рабочего секретариата СП СССР 20 августа 1991 г. и факт переговоров с представителем Янаева С. Бобковым осуждают”, “осудить бегство от столь ответственного секретариата С. Колова, Н. Горбачева и считать их выбывшими из секретариата”...

Снисходительно отнеслись лишь к одному Михалкову. Дело в том, что в это время шла подготовка к 9-му съезду писателей, но для захвата власти и имущества надо было сломать жизнь Союза и его структуру, похоронить съезд, чему и помог “дядя Степа”: “поддержавший эту идею С. Михалков добровольно сложил с себя обязанности председателя Оргкомитета по подготовке 9-го съезда”, — с удовлетворением отметила услужливость Михалкова евтушенковская хунта...

Дни могучей организации, созданной по воле Иосифа Сталина и Максима Горького, были сочтены.

Из дневника тех времен

“Эмигрируют лучшие умы, уезжает техническая, культурная, научная элита, утекают мозги!..” Эти панические комментарии то и дело вспыхивают на страницах самых разных газет. Чаще всего “элита, мозги, ум, честь и совесть” населения идентифицируются с еврейской эмиграцией, журналистские перья посылают проклятья обществу, выталкивающему своих “наиболее талантливых и образованных сыновей”, которые вместо того, чтобы внести решающий вклад в возрождение отечества, едут черт-те знает куда продавать свои знания и свой гений за доллары, марки, фунты стерлингов.

Одновременно эти же органы печати и эти же журналистские перья клеймят наше государство, нашу систему и русский народ — которые вечно притесняли евреев, не давали им развиваться, ограничивали их возможности и таланты.

Однако, если журналистские перья правы в обоих случаях — и “насчет утечки мозгов”, и на счет всякого рода “притеснений и ограничений”, то дело заходит в тупик. Как же при традиционном русском государственном, имперском, а потом сталинском, а потом бюрократически брежневском государственном антисемитизме, при якобы жесточайших

ограничениях по приему в вузы, при бдительных кадровиках, "бывших кэгэбэшниках", не спускавших глаз с пресловутого пятого пункта, — как при всем этом сформировался мощнейший слой технической, научной, культурной и управленческой элиты, целый океан мозгов, настолько громадный и масштабный, что их нынешняя утечка становится чуть ли не катастрофой во всех областях знания? Дорогие мои коллеги из "Огонька", "Московских новостей", "Литературной газеты", объясните мне, как случилось, что если еврейская интеллигенция эмигрирует, то страна, как вы утверждаете, останется без специалистов чуть ли не во всех областях современного цивилизованного производства? Я-то, наивный человек, читая ваши размышления о том, что бедному еврейскому мальчику из интеллигентной семьи было в сталинские или брежневские времена получить высшее образование столь же трудно, как верблюду пролезть в игольное ушко, а потом столь же трудно устроиться на работу, одно время поверил в то, что они были забиты и подвержены такой же дискриминации, как индейцы в XIX веке в США, или как пуэрториканцы сегодня, или как темнокожие в ЮАР, или, в лучшем случае, как осетины в независимой Грузии... Ан вдруг вы же сами мне объяснили, что ваши угнетенные — это океан мозгов! Так ответьте мне прямо: "мозги" уезжают или несчастные, вымирающие от бедности люди второго сорта, не получившие ни знаний, ни дипломов, ни научных званий, забитые, оттесненные могущественными антисемитскими силами на задворки жизни? Достал я недавно коллективную фотографию нашего первого курса филологического факультета Московского университета. 1951 год. Как раз в период между двумя сильными "кампаниями против евреев" — борьбой с космополитизмом (1949 год) и "делом врачей" (1953 год). Ну, думаю, может, "Огонек" действительно прав, уж в такое-то зверское время государственный антисемитизм достиг, видимо, высшей точки, и, наверное, прием евреев в университет был сведен до нуля. Гляжу на фотографию: молодые красивые лица в овальных рамочках, под каждым изображением — фамилия. Читаю: Владимир Блауштейн, Сергей Будковский, Леонид Кацев, Арон Подольский, Фаня Малкина, Даль Орлов... Так и насчитал из двухсот двадцати первокурсников — около сорока еврейских юношей и девушек... Двадцать процентов! 1951 год.

Вот вам и государственный антисемитизм в разгар сталинизма.

* * *

По приезде в Москву из Калуги в ночь с 19-го на 20 августа меня разбудил телефонный звонок.

— Станислав Юрьевич! Вам звонит корреспондент "Независимой газеты" Юлия Горячева. Извините за позднее время, но нам хотелось бы знать, как Вы относитесь к тому, что указом ГКЧП закрывается ряд газет и тем самым ограничивается свобода слова, насколько Вы находите действия ГКЧП конституционными? — Чертыхнувшись про себя, я взглянул на часы: была половина третьего ночи. Конечно, если бы меня разбудил мужской голос, я бы послал интервьюера куда подальше, но голос был женский, молодой, привлекательный...

— Знаете, Юля, я хочу видеть свою родину единой, неделимой и независимой, я хочу, чтобы наша жизнь была надежной и прочной, как в прежние времена. Горбачевская смута разрушила устойчивость жизни. Ее надо вернуть или, по крайней мере, остановить сползание к окончательной разрухе. Счастье Родины — говоря высоким слогом — для меня дороже, чем свобода печати или даже свобода творчества. Если ради борьбы с горбачевщиной моя свобода будет в чем-то ограничена — я приму это как должное. А что касается "конституционности", то действия ГКЧП не менее конституционны или антиконституционны, нежели указ Ельцина о департизации. Он так же ущемляет мою свободу...

С тем же вопросом той же ночью ко мне обратились из радиостанции "Свобода", и я ответил им приблизительно теми же словами...

В течение нескольких последующих дней после "подавления путча" яростные шавки демократической прессы, сладострастно урча, обгладывали мои откровения, демонстративно злорадствовали: "Наконец-то, мол, проговорился", "пойман за руку", "вот они, его подлинные тоталитарные взгляды"...

Но через три месяца, за несколько дней до Беловежской катастрофы, в самый разгар охоты на ведьм в большом интервью, данном той же "Независимой газете" и той же Юле Горячевой, я еще раз, стиснув зубы, подтвердил, что убеждений своих, несмотря ни на что, — не меняю:

"...если бы мне предложили подписать "Слово к народу", считающееся идеологическим обеспечением действий ГКЧП, я не сомневаясь подписал бы его... Не думаю, чтобы Валентин Распутин был глупее мальчиков, шедших защищать Белый дом".

"Это была попытка спасти Союз от хаоса, анархии, развала. А если смотреть глубже — то произошло столкновение двух

сил в высшем эшелоне власти — национал-государственников с космополитической, компрадорской кастой".

И еще один отрывок из того же интервью:

"Слова об "идеологическом обеспечении" путча провокационны и демагогичны. С тем же успехом Сахаров, который выступал за отделение Карабаха, "идеологически обеспечивал" карабахскую резню. Собчак, который заключением своей комиссии способствовал приходу Гамсахурдии к власти, "идеологически обеспечивал" сегодняшнюю тиранию в Грузии, Шеварднадзе, который выработал унизительные условия исхода наших войск из ГДР, "идеологически обеспечил" недовольство армии против нынешней государственной власти".

Так думал не один я. Мой друг Александр Проханов в те же дни высказался в интервью "Комсомолки" не менее прямо и резко:

"Если выбирать между свободой и государственной идеей — то все мы отречемся от личной свободы. Пропади она пропадом, эта свобода: либо невыход иных газет — либо спасенное государство!"

В моем архиве сохранились краткие информации ТАСС тех дней. Некоторые из них весьма любопытны.

"22 августа. Заявление Высшего Совета Либерально-демократической партии от 19 августа 1991 года, в котором было заявлено о полной поддержке Высшим Советом перехода всех полномочий власти в руки ГКЧП, рассмотрено Министерством юстиции СССР. В этой связи председатель ЛДП Владимир Жириновский был приглашен в Минюст. Министр юстиции СССР Сергей Лущиков вынес Высшему Совету ЛДП предупреждение".

Забавно, что когда Жириновский днем 19 августа рискнул появиться у Белого дома, то, увидев его, с утра поддерживавшего ГКЧП, возбужденная толпа с криками "фашист!" обратила будущего непримиримого борца с коммунистами и советской властью в позорное бегство. Но ЛДПР не закрыли, справедливо рассчитав, что Жириновский теперь "на крючке" и еще пригодится режиму в будущем. Попытались закрыть компартию, которая, ошеломленная предательством Горбачева, ничем по существу не поддержала ГКЧП. Самое большое ее преступление в эти дни состояло в том, что, по словам Гавриила Попова, в ходе путча (цитирую тассовцев): "аппарат московской организации компартии занимался антиконституционной деятельностью, отказавшись осудить заговорщиков". (Ситуа-

ция, как мы видим, в горкоме была такой же, как и в Союзе писателей.)

Мэр призвал создать комиссию, "которая должна решить вопрос о лишении депутатской неприкосновенности, привлечении к уголовной ответственности, а возможно, и немедленном аресте виновных, так как сейчас ими уничтожаются компрометирующие их документы".

Тассовка по Ленинграду сообщила, что на своей пресс-конференции 22 августа мэр города Собчак подчеркнул, что "в нынешней ситуации необходимо ускорение процессов приватизации и разгосударствления собственности". Собчак, надо сказать, уже глядел орлиным алчным взором далеко вперед, и его соратник, тогда еще никому не известный Чубайс, уже, видимо, разрабатывал экономический план "великой криминальной революции".

На второй день после возвращения из Калуги я решил все-таки сходить к Белому дому, чтобы поглядеть своими глазами на вакханалию победившей демократии. Оставив дураков, демагогов и прекраснодушных демократов митинговать на площади Свободы, ее подлинные творцы расхватывали кабинеты, министерские портфели, ордена, звания, должности.

Гавриил Попов даже предложил дать Ельцину звание Героя Советского Союза. Сам Ельцин, как пишет в воспоминаниях Коржаков, войдя в Кремль со своим помощником Львом Сухановым, в ответ на восторженное восклицание Суханова "смотрите, Борис Николаевич! Какой мы кабинет отхватили!" — деловито уточнил:

— Да не только кабинет — смотри, какую мы отхватили страну.

За несколько дней демократическая номенклатура отхватила все, к чему стремилась годами, а может быть, и десятилетиями.

Маршалу Ахромееву невыносимо было глядеть на этот шабаш. Он не был замешан в заговоре против Горбачева, имя его нигде не фигурировало, но честный служака понял, что случилось, и написал, перед тем как наложить на себя руки: "Рушится все, чему я отдал всю свою жизнь..."

На сороковой день после его смерти, когда родные и друзья пришли на Троекуровское кладбище, то увидели посреди разрытой и оскверненной могилы тело маршала, выброшенное из гроба. Маршальский мундир, в котором его похоронили, был украден.

Вот так начиналась историческая жизнь нового режима — мародерством и расправой руками наемных киллеров с мерт-

вым Героем Советского Союза, солдатом Великой Отечественной...

На площади Свободы, видимо, только что наступила передышка в стихии непрерывного митинга, на котором, как мне рассказали, выступали среди прочих и Елена Боннэр, и Геннадий Хазанов. Возбужденная их речами толпа шумела, выпивала, бренчала на гитарах, пела демократический гимн на слова Окуджавы "Возьмемся за руки, друзья", слушала рок-музыку. Под ногами то и дело хрустели жестяные банки из-под пива, несколько молодых жизнерадостных мародеров в обнимку раскачивались и весело кощунствовали:

— Забил заряд я в тушку Пуго! — Видимо, только что узнали о самоубийстве (или убийстве?) министра МВД Советского Союза Б. К. Пуго, человека присяги и долга... Несчастный Борис Карлович, бедный Михаил Юрьевич! Я аж сплюнул на асфальт площади Свободы от брезгливости и отвращения.

Какой-то ряженый солдат в бронежилете, надетом на голое тело, вздымая к небу руки, орал:

— Я горжусь тем, что я, простой солдат, стоял здесь, на этой площади, рядом с президентом России, где выступали такие великие люди, как Боннэр, Ельцин и Хазанов!

...С Еленой Боннэр я был знаком чуть ли не с середины 60-х годов. В то время я увлекался игрой в "пирамиду" и часто пропадал в нашей клубной биллиардной. Заглядывал туда и поэт Семен Сорин, которого, как правило, сопровождала немолодая, черноволосая, похожая на ворону женщина. Пока Семен, изгибаясь над зеленым сукном своим длинным телом, спасал или проигрывал очередную партию, его подруга, сидя в прокуренной бильярдной, терпеливо ждала окончания игры. Иногда мы с ней выходили в соседний зал скоротать время за чашкой кофе и в болтовне о всяческих пустяках.

Ленка Боннэр... Все, в том числе и я, запанибратски называли ее именно так. В конце концов то ли она сообразила, что выпивоха и бильярдист Сеня не подходит для желанной роли мужа, то ли вообще разочаровалась в поэтах (до войны она была женой сына Эдуарда Багрицкого Всеволода), но через какое-то время исчезла. Я забыл бы о ней навсегда, если бы лет через десять мне не попала в руки книга антисоветчика и советолога Ричарда Пайпса с демонстративным названием — "Русские". В книге было множество фотографий всяческих диссидентов в различных позах и компаниях (русских, кстати, среди них почти что не было) — и вдруг я набрел на фотографию, где был изображен академик Сахаров в кругу семьи и

друзей. О Сахарове в те годы я уже что-то слышал по "голосам", но, вглядевшись в лицо жены, стоявшей рядом с ним, ахнул: "Да это же Ленка Боннэр! Так, значит, она, исчезнув из бильярдной, рассталась с литературной средой ради среды научной!"

Эх, Семен, Семен, вел бы ты себя в те бильярдные годы более разумно и ответственно, — глядишь, и у Сахарова судьба сложилась бы иначе, а может быть, и держава не развалилась бы...

Из дневника тех времен

Не думал я, что на свете есть силы, которые могут проиграть меня, как крепостного в карты. А именно так и проиграли. Старая государственно-коммунистическая бюрократия проиграла меня новой бюрократии — космополитически международной. Горбачев, Яковлев, Буш и Тэтчер оказались более ловкими игроками, нежели Язов и Крючков. А я попал из огня да в полымя.

Настоящий заговор и настоящий военный переворот были совершены в Тбилиси. Именно на дымном кровавом фоне горящего Дома Правительства, на фоне круглосуточного его расстрела в упор из танков и орудий, на фоне десятков погибших и сотен раненых стала очевидна фарсовая изнанка августовского путча со всеми его главными действующими лицами. Бедный Гамсахурдиа, я бы посочувствовал тебе, если бы не воспоминание о том, что в апреле 1990 года ты фактически выиграл борьбу за власть только потому, что комиссия Собчака и средства массовой информации сфабриковали подлую ложь о шестнадцати мирных гражданах Грузии, "искромсанных саперными лопатками"... А ведь их раздавила обезумевшая и не владеющая собой толпа... Ты ведь это знал, Звиад Гамсахурдиа, но такая ложь была выгодна и, более того, необходима тебе... Армия и Россия были оклеветаны с головы до ног. Но, видимо, все-таки есть Божий Суд. Режим, утвердившийся на великой лжи, оказался непрочным, а потому ты заслужил такой юридически сомнительный, но по существу справедливый конец своей карьеры. Более удачливый и более расчетливый соперник смахнул тебя с исторической сцены и даже спасибо тебе не сказал за то, что ты проложил ему дорогу к власти.

* * *

Зимой 1991 года, собираясь засесть за работу над книгой о Есенине, я написал несколько писем в КГБ. Суть их состояла в

том, что мне необходимо ознакомиться с несколькими десятками уголовных дел, заведенных в свое время на родных, друзей, поэтических соратников, литературных и политических врагов поэта, репрессированных, расстрелянных и отсидевших свои сроки в 20—30-е годы. Дело Алексея Ганина, Николая Клюева, Сергея Клычкова, Якова Блюмкина, сына поэта Юрия, сестры Екатерины, жены Зинаиды Райх... Знал я также, что и на самого Сергея Есенина в те годы были заведены дела, которых в глаза не видел ни один исследователь творчества поэта.

Несколько месяцев я терпеливо ждал ответа на свои запросы, но, потеряв терпение, приехал в Союз писателей, сел за "вертушку" и позвонил в секретариат шефа КГБ Крючкова.

— Можно мне поговорить с кем-нибудь из помощников Владимира Александровича?

— А в чем дело, и кто со мной разговаривает?

Я рассказал, в чем дело, представился и в ответ услышал:

— С вами говорит Крючков. Я распоряжусь, и вы на днях получите разрешение работать в наших архивах.

Спасибо Крючкову. Наконец-то в просторном зале для заседаний на длиннющем столе полковник Сергей Федорович Васильев, интеллигентный и знающий дело, разложил передо мной груды папок, ко многим из которых не прикасалась рука ни одного историка литературы.

Месяца два мы с сыном, которого, видя неимоверный объем работы, я взял себе в помощники и соавторы, приезжали в архив, листали папки с грифами "Совершенно секретно", делали выписки, но понимая, что переписать от руки две или три тысячи нужных нам страниц невозможно, оставляли в делах закладки, договорившись с Васильевым, что по окончании работы нам сделают ксерокопии страниц, необходимых для будущей книги о Есенине.

Но тут грянул август 1991 года. Приехав на Лубянку, мы не обнаружили на площади аскетическую чугунную фигуру легендарного Феликса, а еще через несколько дней любезный полковник со смущенной улыбкой сказал мне:

— Станислав Юрьевич! В вашем распоряжении осталась всего неделя. Мы вынуждены сдать дела обратно в архив. Перепишите за эти дни все, что возможно, архивы вновь будут заперты, и, видимо, надолго.

Мы с сыном впали в отчаянье, но потом выход все же нашли. На другой день принесли с собой магнитофон и всю оставшуюся неделю с утра до вечера надиктовывали драматические истории из уникальных дел ЧК-ОГПУ-НКВД на пленку.

Всего получилось около тридцати кассет разного объема — 40 или 45 часов записанного в скоростном режиме текста. Последнее дело было закрыто — и на другой день захлопнулись свободно открытые доселе двери архивов.

"Весна демократии" отцвела за какие-то две недели.

В дни работы на Лубянке мы волей-неволей обживали ее, забегали в буфеты перекусить, шли по коридорам в курилку, заходили в кабинеты к Васильеву и его сослуживцам. Атмосфера в грозном некогда комитете была чрезвычайно любопытной. Всякого рода новые чиновники, журналисты, иностранные корреспонденты вели себя там, как подлинные хозяева, надменно, а порой и скандально обращались с вежливыми и тактичными офицерами КГБ.

Помню, как уходили офицерские головы в плечи, когда они сопровождали по своим апартаментам по-хозяйски надменную Беллу Куркову, бесчинствовавшую в ту эпоху на телевидении в "Пятом колесе", либо какую-нибудь, говоря словами Лермонтова, "жидовку младую", похожую на Евгению Альбац.

Вообще женщины августовской революции — прелюбопытнейшая тема. Глядя на них, невозможно было не вспомнить великую мысль Достоевского о том, что "красота спасет мир". С каким прокурорским апломбом появлялись в те годы на экране Куркова или ее демократические соратницы — Валерия Новодворская, Елена Боннэр, Ирина Хакамада, Алла Гербер, Марина Салье, Галина Старовойтова — одна другой интереснее.

Видимо, не случайно образы женщин Великой криминальной революции как бы подчеркивали всю ее антирусскую и безобразную пошлость. Символами Великой Октябрьской все-таки были иные женские лица, если вспомнить Ларису Рейснер, Инессу Арманд, Александру Коллонтай. Недаром Борис Леонидович Пастернак в поэме "Девятьсот пятый год" так очертил такое женское лицо т о й революции:

В нашу прозу с ее безобразьем
С октября забредает зима.
Небеса опускаются наземь,
Точно занавеса бахрома.

Еще спутан и свеж первопуток,
Еще чуток и жуток, как весть,
В неземной новизне этих суток,
Революция, вся ты, как есть.

Жанна д'Арк из сибирских колодниц,
Каторжанка в вождях, ты из тех,
Что бросались в житейский колодец,
Не успев соразмерить разбег.

Ты из сумерек, социалистка,
Секла свет, как из груды огнив,
Ты рыдала, лицом василиска
Озарив нас и оледенив.

Отвлеченная грохотом стрельбищ,
Оживающих там вдалеке,
Ты огни в отчужденье колеблешь,
Точно улицу вертишь в руке.

И в блуждании хлопьев кутежных
Тот же гордый, уклончивый жест:
Как собой недовольный художник,
Отстраняешься ты от торжеств.

Как поэт, отпылав и отдумав,
Ты рассеянье ищешь в ходьбе,
Ты бежишь не одних толстосумов:
Все ничтожное мерзко тебе.

Это, конечно, лицо эсерки и террористки, но с каким вдохновением Борис Леонидович обессмертил ее в своей революционной поэме! А стихотворение Ярослава Смелякова, который словно бы кистью Петрова-Водкина изобразил свой, более народный, нежели у Пастернака, но не менее величественный женский лик революции:

Сносились мужские ботинки,
Армейское вышло белье,
Но красное пламя косынки
Всегда освещало ее.

Любила она, как отвагу,
Как средство от всех неудач,
Кусочек октябрьского флага —
Осеннего вихря кумач.

Да, у той революции были великие поэты, и не только поэты: и композиторы, и прозаики, и скульпторы, и художники, если вспомнить Мухину, Булгакова, Коненкова, Шолохова, Шостаковича, Петрова-Водкина. В этом смысле ельцинская революция столь же бесплодна, как и гитлеровская. Впрочем, августовскую революцию пытались увековечить в стихах, но поскольку не нашлось у них ни Блока с Есениным и ни Маяковского с Пастернаком, то журнал "Новый мир" в одном из осенних номеров 1991 года напечатал стихи некой Анны Наль, сделавшей попытку превратить фарс в высокую трагедию:

Белый дом в баррикадном
Терновом венце,

и накатом
в предместья
поверх головы
катакомбное "Эхо Москвы".
Девять суток вослед
поминальный пикет
из туннеля — на свет,
как преграда убийцам.
И Давида звезда (! — **С. К.**) —
словно в пепле гнезда
шестикрылая птица.

Словом, вылупился под косноязычную радость новомировской местечковой музы с благословения главного редактора Сергея Залыгина чудовищный шестикрылый птеродактиль. Эх, Сергей Павлович, Сергей Павлович, большой русский писатель...

* * *

Через неделю после грязных трех дней августа начался чрезвычайный пленум писателей России. Мы заседали на Комсомольском проспекте, когда в здание Союза буквально ворвалась группа юнцов и потребовала к себе "начальство". Вышедшему к ним тогдашнему оргсекретарю СП РСФСР Геннадию Гусеву было сказано буквально следующее: "Мы — 267-й батальон московской национальной гвардии (?! — **С. К.**)". Затем двери зала распахнулись, и трое политических шпаненков, посланных из префектуры Центрального округа с бумагой за подписью префекта Музыкантского, заявили о том, что Союз писателей России как бы закрывается. Юрий Бондарев тут же бросился к правительственной вертушке звонить в префектуру. Дозвонился. Музыкантский иезуитски согласился с ним, что юридических оснований для закрытия Союза писателей нет, но "есть общественное мнение, что некоторые российские писатели идеологически подготовили выступления путчистов".

Несколько позже мы узнали, чье это было "общественное мнение". Оказалось, что Евгений Евтушенко, захвативший власть в Большом Союзе на Воровского, тут же настрочил мэру Москвы Гавриилу Попову донос, в котором Бондарев, Распутин и Проханов, подписавшие "Слово к народу", назывались "государственными преступниками", заодно потребовав закрытия нашего Союза. А за услугу властям попросил отдать писательский дом на Комсомольском новому секретариату во главе с ним, с Евтушенко.

У самозваных "национал-гвардейцев" оказалась и печать СП СССР, которую надлежало "приложить" к бумажным

пломбам на дверях нашего здания. Забавно, что среди пришедших забирать для Евтушенко наш дом был даже какой-то бездарный стихотворец, игравший роль полицейского с особым рвением.

Президиум, где заседали Бондарев, Феликс Кузнецов, Петр Проскурин, Василий Белов, в первые секунды оцепенел, потом в зале начался шум, писатели были разгневаны и растеряны, вскочили со стульев, курили, спорили, кричали, не зная, что делать. Юрий Васильевич Бондарев был тверд и немногословен:

— Я отсюда уйду только в наручниках!

— Не уйдем, — воззвал к народу Геннадий Гусев. — Если нас арестуют — пойдем под арест!

Я подошел к "чекистской" троице.

— Покажите мне документы, удостоверяющие вашу личность! — Демократический отморозок по фамилии Харчев с неохотой, но все-таки протянул мне ксерокопированную бумажку, на которой типографским способом было отпечатано:

"Следственный комитет
по антиконституционной деятельности

Мандат

По предъявлении сего мандата тов. (ф. и. о) предоставляется право участвовать в рассмотрении антиконституционной деятельности граждан, их причастности к государственному перевороту.

А. Бабушкин".

— А теперь покажите-ка мне документ, по которому вы хотите опечатать наш дом.

Я взял в руки послание префекта, прочитал его вслух:

"30.08.91. № 31. О взятии под охрану здания Союза писателей РСФСР.

Учитывая имеющиеся данные об идеологическом обеспечении путча и прямой поддержке руководителями Союза писателей РСФСР действий контрреволюционных антиконституционных сил в период с 19-го по 21 августа 1991 г. и учитывая постановления Союза писателей СССР и Московского отделения Союза писателей, временно до выяснения степени участия в подготовке и проведении путча приостановить деятельность правления Союза писателей РСФСР и опечатать помещение. Комендантом здания назначить тов. Дуськина.

А. И. Музыкантский".

Холодная ярость, всегда помогавшая мне справляться в уличных драках с более сильными соперниками и никогда не позволявшая отступать или сдаваться во время литературных рукопашных схваток во враждебных аудиториях, овладела мной. И в приступе справедливого и безотчетного гнева я совершил некое движение. Через секунду разорванный пополам листок трепыхался на паркете.

Дуськин и Харчев остолбенели. Вечный гений компромисса Феликс Кузнецов в отчаянье всплеснул руками и бросился ко мне:

— Стасик, что ты наделал!

Но Василий Белов, оказавшийся расторопнее всех, наклонился, подобрал обе смятые половинки документа и помчался на проходящее в этот день заседание Верховного Совета, где, с трудом пробившись к микрофону, зачитал поли-цейское распоряжение Музыкантского и обратился к депутатам с просьбой защитить Союз писателей. Его партизанский рейд подействовал, но депутатам было уже не до нас. Силы, разрушавшие державу, выходили на финишную прямую. До конца жизни великого государства оставалось три месяца. А на бумажке Музыкантского, факсимильно воспроизведенной "Литературной Россией" в сентябре 1991 года, так и остался черный зигзаг, располовинивший ее сверху донизу...

В эту ночь и в несколько последующих мы, забаррикадировавшись, не покидали наш Дом писателей России и не позволили захватить его. Не хочу, как некоторые мемуаристы, героизировать эту осаду. Нас не собирались брать штурмом — просто припугнули, но мы не испугались. Если бы члены КПСС в своих обкомах и райкомах поступили бы, как писатели, то возможно, что история державы пошла бы по другому пути.

Из дневника тех времен

Да и коммунисты хороши. "Мы не виноваты! Не замешаны ни в чем! Конституцию не нарушали!" — скулят нынешние ивашки и дзасоховы. Да лучше вы были бы во всем виноваты, лучше, если бы вы сидели в Матросской Тишине или Петропавловской крепости! Да лучше, чтобы вы были рядом с Варенниковым, Шениным и Баклановым или с авторами воззвания "Слово к народу"!.. Хоть было бы за что предстать перед судом... А то ни за что — и судят! Вот в чем позор...

Нашли чем гордиться: ни в чем не участвовали. Тьфу! Нет бы с гордостью сказать: мы сделали все, чтобы спасти

страну от гибели, позора и разложения. Но у нас, преданных кликой Горбачева, не хватило сил... Судите нас, победители. Мы сядем в ваши тюрьмы и лагеря, но завтрашняя история оправдает нас, и завтрашние русские люди склонят свои головы перед нами, побежденными коварством!

А ведь ваши генетические предшественники, какими бы авантюристами по сравнению с вами они ни были, заслуживают куда большего уважения. В безвыходном положении они с яростью кричали: "Есть такая партия!" — и брали ответственность на себя за кровь, за будущее государства, за все великие потрясения, превращая судебные процессы в победоносные пропагандистские шоу... А вы в звездный час (он мог бы быть вашим) прошептали: "Нет такой партии! Ни к чему не причастны! Ни в чем не виноваты!"

Как в сказке — "крокодилы в крапиву забилися, и в канаве слоны схоронилися". Конечно, на этом фоне и Ельцин глядится чуть ли не героем...

Да, с гордостью признайтесь, что рождалась партия, как подпольная организация фанатиков, готовых идти на эшафоты, в тюрьмы и ссылки за свои убеждения.

Гражданская война украсила чело партии кровавым и героическим венком. Индустриализация, коллективизация, Отечественная война — эпоха предельного риска, поиска, самопожертвования и жертвоприношений. Целина, двадцатипятитысячники, аскетизм, партийный долг — вечное неконституционное напряжение всех сил, вечное чрезвычайное положение... А вы забыли от страха свою историю, сложили лапки и бормочете, что мы, мол, самые что ни на есть послушные холопы Конституции.

Когда шел XXVIII съезд КПСС и небольшая, лучшая часть съезда заподозрила Горбачева в целенаправленном разрушении партии и державы, генсек, понимая, что он еще не до конца разрушил организацию, пошел на риск — и с актерским возмущением (не доверяют, мол!) заявил, что готов подать в отставку.

Тут законопослушный съезд дрогнул: ну как мы без генсека, без отца родного, без "социалистического выбора", и все дружно бросились уговаривать Михаила Сергеевича не делать этого.

Когда я увидел эту сцену, то вспомнил о том, что северные таежные охотники, чтобы не кормить старых, уже не работающих охотничьих собак, — пристреливают их, отслуживших службу. Дряхлая собака тянется к хозяину, с

которым она охотилась всю жизнь, пытается лизнуть ему руку, а он уже поднимает свою двустволку...

Жалко мне было эту партию, которая когда-то подымала своих солдат на смерть и победу возгласом "Коммунисты, вперед!" — а в дни своего последнего съезда в последний раз попыталась неуклюже лизнуть руку замыслившего убийство хозяина...

Эх, законопослушники... не виноватые ни в чем, ничего не замышлявшие. Да воздастся вам по вере вашей.

* * *

31 августа на последнем пленуме Союза писателей СССР в Центральном Доме литераторов мы встретились лицом к лицу с нашими жалкими врагами — евтушенковским "спецназом", захватившим власть в особняке Ростовых. Я сознательно по истечении многих лет подчеркиваю — "жалкими", потому как ну кто они такие — Владимир Савельев, Юрий Черниченко, Валентин Оскоцкий, Анатолий Приставкин, Юрий Карякин, Михаил Шатров, Евгений Сидоров, Андрей Нуйкин? Ну, сейчас страсти поулеглись, живем мы словно бы в разных государствах, они не читают нас, мы не читаем их (хотя у них и читать-то нечего). Слава Богу, история оформила наш развод навсегда. Но я хочу спросить самого себя, своих друзей, которые еще помнят прежние времена, читателей, которые тоже еще не забыли эти фамилии: вы что-нибудь помните из написанного целым десятком литераторов, которых я перечислил несколькими строчками выше? Бесплодные, бесталанные, "безъяичные", как сказал бы Василий Васильевич Розанов, они всю свою жизнь были обречены со скрежетом зубовным завидовать таланту и заслуженной славе Валентина Распутина, Василия Белова, Юрия Бондарева, Юрия Кузнецова, Вадима Кожинова... Так что окончательный раскол между нами — развод между литературой и пустотой — был неизбежен. Он и произошел, когда после нескольких жестоких словесных схваток делегация Союза писателей России ушла из зала, оставив их наедине с их вечными комплексами вечной неполноценности.

Но, по правде говоря, и мы себя чувствовали скверно. В полной надсаде и растерянности, не зная, что нам делать, на кого опереться, где найти сочувствие, поддержку, а может быть, и помощь, ночью 31 августа мы с Володей Бондаренко поехали в гостиницу "Россия".

Дело в том, что в дни августовского переворота в Москве проходил Всемирный русский конгресс, куда съехались многие русские люди — старики из первой эмиграции либо их дети, бывшие власовцы и энтэзсовцы, дипийцы, о судьбах которых не раз писал Володя, а главное, многие из них были читателями, поклонниками и даже авторами "Нашего современника" и газеты "День". Мы полагали, что, симпатизируя нашим изданиям, зная и любя творчество Валентина Распутина и Василия Белова, Владимира Солоухина и митрополита Иоанна Санкт-Петербургского, Игоря Шафаревича и Леонида Бородина, эти люди помогут нам связаться с газетами, журналами, радиостанциями Запада, чтобы рассказать о первых русофобских шагах нового режима, увидевшего в русских писателях-патриотах одну из главных опасностей для идеологов и практиков августовского переворота.

Наивные люди! Загнанные в угол, мы невольно закрыли глаза на то, что наши зарубежные соплеменники с восторгом встретили "преображенскую революцию", что "кричали женщины "ура!" и в воздух чепчики бросали". Никому из них и в голову не пришло, что она, эта революция — начало расчленения "великого и неделимого" государства, за идею которого умирали их отцы и деды.

В номере одного из лидеров НТС Романа Редлиха нас встретили с плохо скрытым высокомерием и начали поучать, как побежденных:

— Поздно вы, патриоты, спохватились! Надо было раньше возглавить восстание против коммунистов!

Номер выглядел роскошно, блистал зеркалами, шелковой обивкой кресел, красным деревом, хозяин с хозяйкой были, несмотря на наш поздний визит, одеты изысканно — он в костюме с иголочки, в галстуке с золотой заколкой, выбритый, благоухающий дорогим одеколоном, его жена в европейском вечернем туалете, сверкающая кольцами, серьгами.

А тут мы после бессонной ночи на Комсомольском, небритые, в измятых куртках, в изношенных кроссовках, с отчаянием в глазах.

Нет, мы не туда попали, здесь нас не поймут... Отец Александр Киселев, духовник власовской армии, благообразный, аскетического обличья старик с белой бородой, вышел на наш стук в коридор.

— Тише, тише, чада, матушка спит...

Мы отошли в конец коридора к громадному окну, из которого как на ладони был виден собор Василия Блаженного, Спасская башня, брусчатка Васильевского спуска.

Слушая наши негодующие и сбивчивые речи, отец Александр молчал, теребил бороду, опускал глаза. На прощанье сказал:

— Оставьте надежду на Запад. Он не поймет вас и ничем вам, русским патриотам, не поможет. Да храни вас Господь! — и осенил нас крестным знамением.

* * *

К осени 1991 года давление на очаги патриотического сопротивления достигло предела. Опричники и особисты демократии отслеживали каждый наш шаг, разглядывали в лупу каждую статью, каждое стихотворение, публичное выступление, включали все механизмы своей пропагандистской машины, чтобы подавить, обескровить, измотать...

Борьба эта, впрочем, длилась всегда, но особенно бесчестные формы она приняла после августа. Но довести до отчаяния им меня не удавалось, поскольку каждый раз, доходя до предела усталости, я уезжал на пару недель в беломорскую или североуральскую тайгу на охоту и на рыбалку, а возвращался похудевший, надышавшийся таежным воздухом, облученный незакатным северным солнцем, как будто заново рожденный для борьбы.

— Что они могут сделать со мной, эти изможденные от злости демократические крысенята, сидящие в кабинетах, в телестудиях, в приемных своих крестных отцов, когда меня сама мать сыра земля насыщает здоровьем?!

Однако я не знал всей меры их коварства, когда осенью 1991 года высадился из Ан-2 на берег Белого моря в поселке Ручьи. А добираться мне надо было до устья Мегры — на восток еще верст тридцать. Море штормило, и я не мог выехать на моторке. Пришлось полегче одеться и пешком идти вдоль берега. Береговая дуга гигантским изгибом уходила к востоку, и лишь где-то далеко-далеко в дымке на горизонте чуть брезжили очертания мыса; не верилось, что туда можно дойти к вечеру.

Я шел не торопясь то по высокому берегу, круто обрывавшемуся к морю, то по накатному плотному песку, откуда утром сошла большая вода. Каждые час-полтора останавливался в пустых рыбацких избушках — кипятил кружку крепкого чаю, отдыхал, глядя с берега на белую шипящую кромку прибоя, на косяки гусей, которые уже тянулись в синем небе с Канина Носа к югу, на громадные глыбы берега, рухнувшие вниз, оттого что море в конце концов подмыло их.

Вот так и надо упорно, размеренно, рассчитывая силы, идти

к цели, не боясь ничего. Пускай она так далеко, что кажется, и дойти до нее невозможно. А ты иди. Видишь: очертания мыса уже темнее, он уже не плавает в тумане, уже видно, что он вырастает из земли... Только не сбейся с шага, не нарушай ритма дыхания, не сбавляя шага, расслабляйся на ходу и береги себя, чтобы всегда прибавить ходу, если понадобится...

Часа через четыре я дошел до Вазицы. Передо мной шумела река, поуже Мегры, но перейти которую было невозможно. Я поднялся чуть выше по течению, увязал обрывками металлического троса в плот три сухих бревна и, пихаясь шестом, начал переправу. Чуть-чуть не доплыл до берега — развалился мой плот, и я с бродними, полными ледяной воды, вылез на песок, снял сапоги, вылил воду, выжал шерстяные носки, попил пригоршней воды из реки и пошел дальше. До Мегры я добрался лишь к вечеру, когда солнце за спиной прикоснулось алым краем к морю. Мыс, который издали казался мне висящим в воздухе, стоял передо мной, как черная гора. От усталости хотелось спать, и в ожидании какой-нибудь попутной рыбацкой лодки я прилег на песок.

Устье. Шум впадающей в море реки. Ветер поет в пустых проржавевших бочках из-под солярки. На откосах черного мыса языки первого снега. Из-под них к морю тянутся ниточки ручейков. На песке бревна, щепа, сучья, куски дерева — все сухое, серебристое, серое, изглаженное волнами, песком, ветром.

Рядом со мной стремительно, с ровным шумом река вливается в море, словно время стекает в бесконечную жизнь, в вечность.

...На Мегре меня уже ждали, мы поставили палатку, развернули спальники, натаскали дров, развели костер и выпили по первой за последние крупицы счастья, еще доступные нам...

Однако вода была высокая, что ни день, шли дожди, и в первые несколько дней мы едва-едва добывали себе на уху...

Холодным солнечным утром мы вылезли из спальных мешков, искупались в ледяной воде, позавтракали кашей с тушенкой и пошли к берегу, к нашей байдарке. Тропинка петляла среди зарослей желтолистого низкорослого березняка, и когда мы уже выходили к реке — вдруг из прибрежных кустов, как по команде, поднялись три человека и пошли к нам навстречу, на головах у них были фуражки инспекторов рыбнадзора.

К счастью, ни одной пойманной семги у нас не было, лишь под пологом палатки в целлофановом мешке инспекторы обнаружили трех подсоленных харьюзков да двух щучек.

Один из инспекторов — Эдуард — был давно знаком мне,

я даже не раз выпивал с ним в Архангельске, и, улучив минуту, отвел его в сторону:

— Эдуард! Ну зачем все эти протоколы, засады, санкции?.. Ты же нас знаешь, еще неделю отдышимся — и домой. У нас же ни сетей, ни моторов, одна байдарка да спиннинги.

— Станислав Юрьевич! Я человек подневольный. Нам приказ из Москвы пришел — поймать тебя, целый план наш новый начальник выработал. Специальный вертолет заказали. Чтобы не спугнуть вас, мы на озерах высадились и сплавлялись на лодке, бесшумно, просматриваем каждый километр берега. Целую неделю плывем. Дело-то серьезное, а мы люди подчиненные... Кто-то из Москвы на вас стукнул.

Бригадир группы захвата составил протокол, я расписался, что готов заплатить штраф за двух щурят и трех хариусов, допили с ребятами на прощанье последнюю бутылку, проводили их до резиновой надувной лодки и распрощались...

Вроде бы пустяковое дело. Но когда я вернулся в Москву и в один из осенних дней (27 октября) включил информационную программу, то ушам не поверил, услышав, как Юрий Ростов по попцовским "Вестям" докладывает всей стране, что главный редактор "Нашего современника" "ставил на реке Мегра сети на семгу и был пойман с поличным".

Через час, в 21.00, во "Времени" то же сообщение повторил Александр Гурнов: "Ловили семгу сетями..." Дальше началась целая вакханалия в столичной и провинциальной прессе. "Северный комсомолец" от 26.10.91: "Наши ребята к Куняеву приглядывались уж давно... На этот раз решили действовать наверняка. Правда, семги на этот раз не оказалось. Наложили штраф 69 руб. 90 копеек".

"Литгазета", 30.10.91: "Главный редактор журнала "Наш современник" проводил незаконный лов рыбы..."

"Губернский вестник" (Самара), 8.11.91: "Известные русские шовинисты — главный редактор "Нашего современника" Станислав Куняев, его сын Сергей и писатель Игорь Печенев были пойманы на том, что ловили семгу... Борцам за русскую державность и природу захотелось семужки. Если судьи не будут столь же беспринципными, как "русские патриоты", нашим литераторам придется сменить писательское поприще на физический труд в местах заключения".

Ленинградская "Смена", 29.10.91: "Лидеры СП РСФСР уже не первый год браконьерствуют на мезенских реках. Проводником их был уроженец здешних мест, тоже писатель, Владимир Личутин, без труда получавший в обкоме КПСС лицензии на отлов семги".

(Личутина с нами вообще не было, а порога архангельского обкома КПСС, да еще за лицензиями "на отлов семги", он в жизни не переступал.)

А одна из провинциальных газет придумала такое: что Куняев и компания "ловили осетров, и рыбьи туши выбрасывали", — не понимая того, что осетры в архангельских реках не водятся.

В кампанию тут же подключились демократы из моей родной Калуги. Они, правда, уже писали в молодежной газете не о сетях, а о том, как в послевоенное время на яченском лугу "юный Станислав гонялся с лопатой за лягушками и с наслаждением рубил их в куски, если успевал догнать".

"Утку" о "сетях и семге" передала из Мюнхена "Свобода", два или три раза с комментариями на ту же тему выступило российское радио, "Комсомолка" тоже не преминула отметиться.

Словом, технология массированной клеветы и одновременной, как по приказу, мобилизации всех СМИ отрабатывалась еще до появления в нашей жизни Сванидзе, Доренко, Киселева.

Я даже ельцинскому Геббельсу Олегу Попцову позвонил и пристыдил его:

— Олег! Я понимаю, что мы враги, но нельзя же так бессовестно врать!

Попцов, с которым раньше мы вместе работали в Союзе писателей, оправдывался тем, что не может проследить за всеми передачами, обещал разобраться.

Я понимал, в чем дело. У "Нашего современника" тогда был гигантский тираж — более 300 тысяч, и читали его несколько миллионов. Шла подписная кампания — и демократам во что бы то ни стало надо было унизить и оболгать главного редактора в глазах читателей.

Однако они добились совершенно противоположного результата. Письма в мою поддержку посыпались в редакцию со всех сторон России. Вот одно из них, которое очень понравилось мне по стилю.

"Искренне уважаемый С. Ю. Куняев (к сожалению, не знаю Ваше отчество). Я решила написать Вам о том, что написала в передачу "Вести". Вот что я им написала:

Да вы что?! Совсем обабились!!! Так не врут даже женщины, а вот именно бабы. Базарные! У Куняева промысел что ли рыбный, чтобы на всю страну говорить? Это что — 150 миллиардов матерого мошенника Фильшина, с которым

вы умильно разговариваете на телевиденье? Или Т. Заславская с погубленными с ее помощью деревнями? Или Илья Заславский с его квартирными махинациями?

Да будьте вы прокляты, русофобы!

Вы думаете, измените наше отношение к истинным защитникам русского народа? Вы думаете, мы изменим отношение к захваченным вами радио, телевидению, передачи которых в основном настолько чужды, враждебны, даже противоестественны каждой русской душе, что никакие "русские шапки" (русские названия и пр.) не обманут нас.

Этот ведущий (забыла его фамилию), у него еще рот, будто прорезанный осокой, Куняева почему-то назвал Сергеем. Забрехались, запутались, помню, как вы, этакие живчики, лающие какой-то агрессивной скороговоркой, смельчаки в базарно-безопасных масштабах, захлебывающиеся от сознания своего, дорвались. — Как вы клеветали на Талькова ("во время перестрелки", "из-за выхода на сцену"). Из-за выхода на сцену не убивают.

Неужели вас женщины любят? Баб? Мелких базарных вруш?

P.S. Даже если что-то там случилось (допустим) во время рыбалки — это так все смехотворно по сравнению с тем кромешным и оголтелым русофобством, которое так и прет изо всех щелей, даже когда вы маскируетесь.

Да воздастся вам по заслугам!

Запомните это".

Впрочем, моя шкура и мои нервы в то время уже научились переносить даже такое массированное давление.

В течение нескольких доавгустовских лет "Наш современник" и его главный редактор были постоянными мишенями издевательства, клеветы и насмешек центрального телевидения. Особенно часто безнаказанно изгалялись над нами Любимов и Политковский из "Взгляда", сатирик Александр Иванов, ведавший программой "Вокруг смеха", да и комментаторы даже из информационных программ от них не отставали. Доходило до смешного. Так, незадолго до сюжета с браконьерством Татьяна Миткова в программе "Ночные новости" сообщила, что жители Москвы протестуют против того, что ресторан "Якорь" переносится с улицы Горького в Трехпрудный переулок, что инициаторы этого переноса русские писатели, "любящие рестораны", и вдруг ни с того ни с сего Миткова заявила, что в Моссовете есть на этот счет письменное ходатайство писателей, инициатором которого был

главный редактор “Нашего современника” Станислав Куняев. Конечно, никакого такого письма русские писатели не писали, я даже в этом пресловутом “Якоре” ни разу не бывал. Но что было делать? Судиться с этой целлулоидной лгуньей?

* * *

Широкий лес. Высокий песчаный берег. Обрыв, заросший брусникой, ягелем, мелким березняком. Внизу черно-синяя река, разделенная на два рукава островом с песчаными отмелями. Остров огибают две шумящие струи — сливаются и единым потоком текут дальше на Север. Там море. Высоко надо мной кружит коршун — он, наверное, видит море. Над морем облака сияют особым сияньем, розовым, колеблющимся, — видимо, от потоков воздуха, что исходят от морского лона. Я сижу на обрыве, не в силах сдвинуться с места. Может быть, это самое красивое место в мире... Запах привядшей травы, дикой смородины, бурых зарослей иван-чая, буйно взошедшего на пепелищах и гарях от лесных пожаров...

Однако пора сплывать. Лодка готова. Все уложено. Что остается? Опуститься на колени и неожиданно для себя, почувствовав слезы на глазах, неловко ткнуться лицом в эту землю, пока в умиротворенной памяти, то уходя из нее на мгновенье, то вновь возвращаясь, живут строчки Николая Рубцова:

Я воздавал своей земле
Почти молитвенным обрядом...

Неловко прикладываю лицо и губы к жесткой траве, к замуравелой тропинке, к песчаной почве, в ноздри ударяет дух земного чрева, брусничного листа, привядшей хвои...

Почти молитвенным обрядом...

А Мегра шумит, растворяя в Белом море свою черную воду, и слышится в ее шуме неизбежное, вечное, жестокое: “Попрощался — и хватит, от жизни и от борьбы не убежишь, пора тебе в дорогу...”

* * *

Помню, как в середине 70-х годов я увидел в каком-то зарубежном издании исповедь литератора Б. Хазанова, эмигрировавшего куда-то в Европу. Он изливал печаль об утрате России в таких словах:

“Мы бы не ощущали так живо свою утрату, если бы не были наследниками великой и рухнувшей культуры. А мы ее наследники, пусть скудные и полузаконные, но наследники. Недаром мы говорим по-русски лучше, чем большинство русских”.

В начале девяностых, когда накал русофобии на страницах демократической прессы стал чуть ли не обязательным признаком хорошего тона и достиг пика, заявления такого рода о языке посыпались как град:

“Многие из тех, что нынче объявили себя российскими патриотами, в знании какого-нибудь языка вообще не нуждаются. Я знал патриота, который слово “Россия” писал через одно “с”, зато слово “Русь” через два. У патриотов грамота не в чести”. Это из статьи В. Войновича “Заговор патриотов”, дважды прочитанной им в 1990 году по “Свободе”, а потом перепечатанной во многих российских газетах.

Валентин Распутин, Василий Белов, Игорь Шафаревич — вот главные мишени статьи Войновича, сердцевинный пафос которой он выразил в следующих словах: “Между прочим, слово “патриот” я употребляю только в негативном смысле, потому что позитивного смысла оно вообще не имеет... Это чувство, как правильно сказал, кажется, Б. Окуджава, доступно и кошке”.

Честно говоря, читая такое, я всегда приходил в ярость. А потом подумал: стоит ли обращать внимание на хамство всяческих хазановых — тем более что его настоящая фамилия Файбисович? Однако в 1991 году, когда я приехал в Нижний Новгород, чтобы провести литературный вечер журнала, мне пришлось поневоле вспомнить о “наследниках рухнувшей культуры”. Нижегородская земля дорога мне хотя бы потому, что здесь до революции работали врачами мой дед с бабушкой, что имя деда увековечено на фасадах двух знаменитых нижегородских больниц. Тем более я был уязвлен, когда прочитал в местной газете “Ленинская смена” интервью с актером Зиновием Гердтом, посетившим Нижний Новгород приблизительно в одно и то же время со мной. Очередной “наследник”, подобно Хазанову, также ратовал за чистоту и величие русского языка: “Я думаю, ну что такое этот Куняев и весь этот “Наш современник”... Бондарев, Куняев, Проскурин и Алексеев... А как они разговаривают по-русски? Какая темная безграмотная речь. Я когда что-то читаю куняевское, то думаю: “Господи, хоть бы создали какую-то межпланетную комиссию, очень независимую, по русскому языку. И дали бы нам диктант и изложение. Куняеву и мне. И я посмотрел бы, где был бы

этот Куняев". Словом, я получил вызов на поединок от тогда еще живого Зиновия Гердта. Но поскольку противника, перед тем как согласиться на дуэль, надо все-таки знать, мне пришлось тщательно прочитать его громадное, чуть ли не на газетную полосу, интервью. Русский язык Зямы, как и следовало ожидать, был весьма своеобразен. Вот как наш отличник рассуждал о декабристах: *"Понимаете, им было отвратительно что-то есть, зная, что народ живет худо"* ("есть" в смысле питаться. — **С. К.**).

Очень печалился наш отличник-грамотей о том, что зритель плохо знает все его актерские возможности: *"Я должен сломать стереотип восприятия меня как комика. С этим покончено, хотя внутри обязательно должно быть смешно".*

Не всеми ролями, которые ему предлагались в те времена, он был доволен: *"Вот недавно я снимался в пустой роли, не совсем пустой, конечно, там есть вещи, куда можно приложить душевные усилия".* И т. д. и т. п. Не удержусь, впрочем, от соблазна процитировать еще один отрывок из интервью киноактера, полный красоты, стиля и темперамента: *"Борис Николаевич умен, абсолютно совестлив (это безусловно), обаятелен... Я однажды провел час в его обществе и влюбился в этого человека. А главное — у него есть колоссальный козырь! Я хочу, чтобы весь народ этой огромной трехсотмиллионной страны увидел его жену. Залюбят Ельцина, просто падут ниц перед этой немыслимой потрясающей женщиной..."* После этого стоит ли удивляться, что похороны Зиновия Гердта и сопутствующие им траурные дни, организованные телевидением, проходили так, как будто мы прощались с величайшим русским актером двадцатого века.

А я, прочитав интервью-исповедь Зиновия в нижегородской газете, с печалью подумал: куда мне состязаться в знании русского языка с ним! К тому же и корреспондент по фамилии Кропман (тоже, видимо, "наследник"), бравший интервью у актера, с пиететом писал в своем маленьком предисловии: "Зиновий Гердт. Добрые умные глаза, изысканно красивая речь".

В третий раз я столкнулся с блистательными изысками в русской речи, вышедшими из-под пера еще одного наследника (ох, сколько наследили!) русской культуры Марка Розовского. Он опубликовал летом 1993 года в русскоязычной газете "Новое русское слово", которая выходит в Нью-Йорке, сочинение, озаглавленное им "Песьмо в гозету "Зафтра". Вот его текст:

"В свези с тем, шта руский език нуждаица в риформе рускаво езыка придлагаю слово "карова" писать через "ю", а

букву “г” отменить вобче как недостойную рускавва езыка па причине ея нехарошаго запаха. Ва всем винаваты цегане и явреи каторым руский езык не великий не могучий. Ани иго не уважают пусть уизжают в свой израэль и там гаварят на своем радном езыке а наш езык аставьте нам штобы мы магли на ем писать разгаворивать.

Мы есть патриоты Росии и не дадим всяким жидам и масонам. Мы им врежем штобы знали и не магли. Ани хатят апоганить и опарочить нашу культуру и историю но мы будим на страже бить им па роже.

Расея должна принадлижать только руским и то многа сичас развелось лицов кавказской национальности и других чукчей на нашу голову. Рускому езыку нада помоч. А кто яму поможид есля ня мы. Кто ишчто им будет хронить в нашем обществе память о езыке пушкино и Дастаевского, Талстово и Тургеньева, Гогля и Проханова, а не этих Патернюка и Ианделштурма, Булдакова и Плутонова.

Пастаянный читатель вашей газеты —

(Подпись неразборчива)”

Ну вот, а еще за грека себя выдавал!

Володя Бондаренко через газету “Завтра” ответил тогда театральному режиссеру и актеру Розовскому (что-то все время именно людей театра тянет затевать дискуссии о языке), но чересчур раздраженно и серьезно. А надо было, на мой взгляд, просто продолжить лингвистические изыски Марка несколькими чеховскими пассажами, исполненными в том же стиле. Я даже подозреваю, что Розовский, как театральный человек, хорошо знающий наследие Чехова, сочиняя “песьмо в гозету “Зафтра”, вольно или невольно пытался переплюнуть своего кумира Антона Павловича. Ну посмотрите сами, как слабо по сравнению с Розовским писал Чехов в 1887 году, осуждая антисуворинскую кампанию в прессе: **“Но никто так не шипит, как фармачевты, цестные евречики и прочая шволочь”**.

А вот поглядите, каким беспомощным (не то что у Розовского!) стилем написано письмо братьев Чеховых сестре, в котором Ал. Чехов как бы выпендривается и в то же время просит рекомендацию в журнал “Курьер” к неким Коновицерам:

“Я послал бы и сам, но они мне, как Седого (псевдоним Ал. Чехова)... не жнаютъ и могут пожнакомить моево

рукопись з/подпольного корзина. А ежели Вы пошлете и шкажете, кто такова Седой, тогда я въеду в "Курьер" ни через кухню, и чирез параднава дверь, как будто из банкирского контора".

Однако невозможно выдерживать постоянно столь изощренную стилистику, и Чехов, уступая в этом отношении Хазанову, Гердту и Розовскому, частенько переходит в своих "песьмах" на более примитивный и безыскусный язык:

"На такой же точно желтой бумаге, как у Ваш пишет ко мне один очень недоедливый шмуль, и его письма я читаю не тотчас, а погодя денька три и Ваше письмо я отложил в сторону, подумав, что это от шмуля".

А вот Антон Павлович как бы упрекает Володю Бондаренко, вступившего в полемику с Розовским, да и меня заодно, за то, что выясняю отношения с покойным Зиновием ("Зямой", как называли его ласково в народе) Гердтом:

"Не печатай, пожалуйста, опровержения в газетах... опровергать газетчиков все равно, что дергать черта за хвост... и шмули, особенно одесские, нарочно будут задирать тебя, чтобы ты только присылал им опровержения".

А напоследок из письма Чехова к Щеглову:

"Засядьте писать повесть или пьесу из русской жизни, да и вообще нашей жизни, которая дается только один раз и тратить которую на обличение шмулей, право, нет расчета".

Спасибо Антону Павловичу за науку...

Из дневника тех времен (1991 г.)

В декабре получил письмо от своего однокурсника Виктора Старостина. Работает учителем в Тульской области. Филфак МГУ вместе кончали, литературу преподает, мои стихи любит. Пишет в письме: "читал ученикам твои "Русские сны". Какая сердечная боль в главе о внуках! Читал вслух и сам чуть не разревелся... Через литературу пытаюсь объяснить детям то, что сейчас происходит в обществе. Куда пришли? К чему идем? Дело не только и не столько в пустых полках магазинов. Меня страшит другое — пустые души. У меня трое внуков, и они лишены даже того, что естественно было в детстве их пап и мам... Скоро Новый год, но жаль, что нет шампанского, впервые такое. На КПСС надели намордник. Да, это победа. Но рабская психология в крови людей. По-прежнему всего боятся. Сегодня Ельцин, а если завтра Лигачев?"

Бедный Виктор! недавно он помер, так и не поняв коварства времени, поймавшего его в капкан. Сам же писал о том, что его внуки лишены всего, что имели их отцы и матери в 50—60-х годах, когда на КПСС еще не "надели намордник". Бедный запутавшийся русский человек! Почему даже на склоне жизни ему не стало ясно, что мы, люди из простонародья, дети учителей, врачей, служащих и даже уборщиц, могли достойно существовать и учиться в лучшем вузе страны — в Московском университете — лишь потому, что были защищены от всех мировых рыночных ветров "железным занавесом" советской власти?..

* * *

В конце страшного года, в сумрачном декабре, я, раздавленный расчленением страны, уговорил Сашу Проханова хоть на несколько дней уехать в Заволжье, в Арзамасский уезд, в глухие русско-мордовские леса, где в начале века работали земскими врачами в Карамзинской больнице мои дед с бабкой и где на берегу холодного, чистого Сатиса протекала в молитвенном подвиге жизнь преподобного Серафима Саровского...

Морозной ночью мы добрались до больницы, где нас встретила хлебосольная семья земских врачей — Олег Михайлович Бахарев с женой Мариной Владимировной.

Мы обнялись, расцеловались, сели за стол, поужинали, за разговором отмякли душой, а наутро Олег Михайлович предложил нам поехать не в Дивеево и не в Саров, а в лесную глушь. Часа два или три сряду наш "газик" пробивался сквозь заснеженные, заросшие березняком и осинником дороги. Тихий снегопад струился с небес, склоненные над лесными дорогами деревья время от времени не выдерживали снежной тяжести, с глухим шумом выпрямлялись, снег сухой шелестящей тучей осыпал меня и Александра, в очередной раз толкавших забуксовавшую машину. Сороки, негодуя на то, что мы нарушили их покой, с верещаньем кружились над нашими головами, а красногрудые снегири, молча и степенно покачиваясь на кустах жимолости, разглядывали нежданных пришельцев.

— А вот и Дальняя Пустынька наконец-то! — с облегчением сказал Олег Михайлович. — Я, грешным делом, сомневался, думал, что заблудились...

В Дальней Пустыньке протекли несколько лет одинокого затворничества русского народного Святого. Здесь он отмаливал у Бога грехи мира сего, здесь совершал подвиг смирения и

аскетической жизни. Небольшая поляна посреди соснового бора, легкий дощатый навес над головою. Когда-то здесь, видимо, стоял шалаш или крохотная землянка... На почве лежат два плоских камня с углублениями, оставшимися от колен святого Серафима: сотни ночей и дней простоял он в молитвах на этих гладких, отполированных глыбах песчаника.

Саша вытащил две свечи — поставил их на камни, Олег Михайлович достал спички, свечи вспыхнули, но под легким ветром, несущим над землей снежинки, заколебались, затрепетали — и вдруг погасли. Мы с Александром огорченно и молча переглянулись, но, словно бы в укор нашему сомнению, порыв ветра тут же затих, и язычки пламени сами по себе снова возникли над желтыми восковыми свечами...

"Отойди от меня, Сатана!"

"Я воздавал своей земле почти молитвенным обрядом".

"Да воздастся нам по вере нашей".

Воздух пораженья

Открытие памятника Достоевскому 1 октября 1993 года. Кто бесы? — спор с Юрием Карякиным. Ночь со 2 на 3 октября. Москва рекламная. День рождения Есенина. О событиях в Останкино моими глазами. Непроизнесенное слово. Михаил Барсуков во время октябрьской бойни. Он же через полтора года. Размышления о русских шабесгоях. Опозорившиеся писатели: Окуджава, Нагибин, Черниченко. Защитники "демократии от Куняева". Воспоминания о Городне. Знакомство с будущим Патриархом. Великодушие гаишников. Карьера ренегата

— Действуйте, Борис Николаевич!

М. Чудакова

Первое октября 1993 года. Поздняя, но еще золотая осень. Синее чистое небо. Желтые березы, липы, клены — любимые есенинские деревья — нехотя роняют листья на еще теплую рязанскую землю... Сотни людей на поляне неподалеку от села Даровое. Открытие памятника Федору Михайловичу Достоевскому в его родовом имении...

А в покинутой нами Москве кипят страсти — противостояние Кремля и Белого дома достигло предела. О, если бы это была схватка двух кланов в борьбе за власть! — Нет, дело пострашнее и посерьезнее: за каждым из этих властных кланов так или иначе стоят надежды, страхи, воля, корысть, гнев, жажда справедливости и возмездия не то чтобы сотен тысяч —

миллионов граждан! И если вспыхнет война — то и называться она будет гражданской...

Однако меня приглашают выступать. Я оглядел поляну, разноцветную толпу, оглянулся на своих писателей и собратьев, и недругов, вдохнул полной грудью холодный, настоянный на привядшей листве осенний воздух и, словно бы почувствовав еще раз горячую волну людского раздора, долетевшую от Москвы до рязанской земли, поднялся на трибуну:

— Поистине в роковые дни мы открываем памятник Достоевскому: бесы правят бал в сердце России — Москве, и в сердце Москвы — Кремле. Святое место! Но именно туда их тянет, поближе к святости!

Я сделал паузу, поднял глаза и увидел пылающее гневом лицо Юрия Карякина, вспомнил, что некогда он написал любопытную книгу о Достоевском, и втиснул свои мысли в единственно возможное в эти дни русло:

— Достоевский проклял бесов революции, но лишь после того, как прошел через социалистические соблазны. Соблазны же капитализма, рынка и демократической антихристианской власти денег для него были настолько ничтожны и омерзительны, что он в них никогда даже и не впадал. Тайна Достоевского — это тайна русской народной души, русской истории, русского Бога, которых всегда страшился и ненавидел Запад. И тот, кто сегодня пытается подчинить Россию западной рыночной воле, — тот враг Достоевского и слуга Великого Инквизитора.

Ах, Федор Михалыч, ты видишь, как бесы
уже оседлали свои “мерседесы”,
чтоб в бешеной гонке и в ярости лютой
рвануться за славою и за валютой!

...Я сходил с трибуны, а навстречу мне с горящими глазами уже рвался Юрий Карякин. Он стал выкрикивать в толпу слова о том, что я не прав, что настоящие бесы сидят не в Кремле, а в Белом доме, но мне все это уже было неинтересно, потому что я и говорил, и думал о чем-то другом... Когда Карякин сошел с трибуны — мы оказались рядом, и каждый из нас сказал друг другу еще несколько “ласковых” слов.

Послу шумного и многолюдного банкета мы возвращались на “Икарусе” по ночному шоссе в Москву, без обычного в подобных случаях бестолкового веселья, скорее угрюмо и почти молча. Завтрашний день по всем предчувствиям не сулил никому из нас ничего хорошего.

Из литературного дневника тех времен:

"Кто с мечом к нам придет — от меча и погибнет"... Тысячи раз слышал я эту гордую патриотическую наивную похвальбу! Да, наша история доказала, что так оно и есть на самом деле. Ну а если не с мечом? Если с деньгами, с дипломатией, с хитростью и коварством, приемы которых отработаны в веках? А если с лестью, с гуманитарной помощью, с кредитами, с долговой удавкой, с тайными соглашениями?.. Если с советниками, которых Россия перевидала неисчислимые множества, начиная от жидовствующих проповедников до петровских немцев, от Бирона и маркиза де Кюстина до нынешних протестантских ораторов и Джеффри Сакса? Богаты приемы и возможности мировой закулисы, а мы все талдычим: "Иду на вы", "Вот ежели с мечом, то дело серьезное, а без меча нам не страшно!"... И хвалится в стихах поэт Феликс Чуев, "что обмануть нас можно, но победить нельзя!" А разве обман, дипломатические ловушки, непосильные долги, международное ростовщичество не есть победа над нами? Может быть, хватит уповать на князя Святослава и князя Александра Невского и пора бы не только за меч, но и за ум браться, а то так и останемся храбрыми, доверчивыми, наивными и обманутыми аборигенами в холодном и жестоком мире грядущей мировой истории?"

* * *

Вечером второго октября я вышел из краснопресненского метро и пошел по мокрой, холодной брусчатке к тыльной стороне Белого дома... Я подошел к зловеще поблескивающей паутине "спирали Бруно", окружившей молчаливое здание. Возле прохода сквозь проволоку толпились мордатые омоновцы, в бушлатах, бронежилетах и тяжелых ботинках, с автоматами наперевес.

— К Белому дому нельзя! Не нужны мне ваши документы, я и смотреть их не буду! — отрезал старший из них в ответ на мою просьбу.

— Я представитель Конституционного собрания! — раздался чей-то голос у меня за спиной. — Чинить мне препятствия вы не имеете права!

Я оглянулся. За мной стоял высокий худой человек в очках, в легком светлом плаще, он поеживался от холодного ветра и протягивал омоновцу какое-то удостоверение. "Да это же Олег Румянцев!" — вглядевшись в него, сообразил я.

— Мне приказано внутрь заграждения не пропускать! — отрезал омоновец.

— Ну вот, Олег Александрович! — обратился я к Румянцеву. — Где она, ваша Конституция?

Румянцев беспомощно и демонстративно развел руками, и мы, повернувшись, отправились обратно к метро...

Но спускаться в чрево метрополитена мне расхотелось, и я решил добраться до дома через "Белорусскую" и "Динамо" пешком.

Я шел по пустынным, притихшим в ожидании близкой беды улицам и вглядывался в Москву, за два года ставшую чужой и непонятной. Я остановился, рассматривая рекламные щиты, вчитывался в тексты, пытаясь понять время, врасплох окружившее меня, раздумывал, делал какие-то записи в блокноте, фиксируя все язвы и метастазы новой эпохи...

Всякий общественный строй волей, верой, коллективным разумом вырабатывает свою идеологию. Она живет в речах и книгах, выявляется в действиях и поведении политиков. Но политики имеют дело с массами, и для них правящая элита всегда стряпает выжимки, концентраты, сгустки из своих политических программ и своего мировоззрения.

Помните лозунги советской эпохи? "Мир народам! Земля — крестьянам! Фабрики — рабочим!", или "Пятилетку в четыре года!", или "Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!"

Они, эти лозунги и клише, были в свое время необходимы и полны живого биения общественной крови.

Потом их сменили казенные, лишенные энергии формулы, от которых никому не было ни холодно ни жарко: "Экономика должна быть экономной", "Народ и партия едины", "Храните деньги в сберегательной кассе".

Сегодняшнее время также тужится сочинить свои идеологемы.

Это даже не плакат, а скорее громадный экран: путана с томным взглядом предлагает новому русскому: "Поедем в Сохо!" Для широкого читателя поясним, что Сохо — это известный злачными местами, игорными и прочими сомнительными домами район Лондона...

А что стоит перл философско-рыночного агитпропа возле стадиона "Динамо": "Если хочешь быть счастливым — будь им", — нарисованы мужчина с женщиной, в руках у мужчины пачка каких-то американских сигарет. Но рекламируются не только сигареты, рекламируется идея, что в этом мире все

зависит от тебя самого. Текст по холодному цинизму напоминает изречения, висевшие в Освенциме: “Труд делает человека свободным”. Вершина рыночно-демократической идеологии.

А как целенаправленно и подло на уличных и площадных стендах и на телеэкранах выхолащивается священный смысл высоких (“сакральных”) слов и понятий. Обратите внимание: чуть ли не в любой рекламе есть хотя бы одно высокое и близкое душе любого человека слово: “Колготки Сан-Пелегрино прочные, как истинные чувства”. “Магги — вкус к творчеству”, “Страсть, как люблю казино Шатильон”... “новая эра напитков”. Ну “эра” — и ничуть не меньше! У Белорусского передо мной возник Илья Муромец, распрямивший на фоне ночного неба мощные плечи, раскинувший крепкие руки лишь для того, чтобы произнести: “Богатырский шоколад, а цена все та же!” Слово “богатырский” осквернено, выпотрошено, использовано на потребу. Все, как в повести Шукшина “До третьих петухов”, когда черти, осадившие монастырь, предлагают монахам такие условия мира: “А вы вместо ликов своих святых — наши рожи на иконах намалюйте, и кланяйтесь им, и молитесь!”

Случайностей в этой коварной системе выхолащивания высокого смысла слов нет. “Это для мужественных мужчин, сильных духом” — три сакральных слова ради рекламы какого-то паршивого одеколона.

А как не повезло слову “совершенство”! Передо мной на металлических опорах щит, на котором изображены сначала обезьяна, потом питекантроп, потом современный человек в обнимку с бутылкой какого-то немецкого пива, и все украшено надписью: “Путь к совершенству”.

Поистине, в такого рода сюжетах дьявол хихикает и потирает руки, видя, как со свистом выходит дух святости из слов, который копился в них всю историю человечества, поскольку власти денег могли противостоять лишь святость, мужество, самоотверженность. Но этого мало. С особенным рвением мелкие бесы, ненавидящие все величественное, сводят счеты с советской историей.

Вот он — у часового завода — громадный квадрат; на фоне синего неба летят куриные тушки, а над их вереницей строка из гимна авиаторов 30-х годов: “Все выше, все выше и выше стремим мы полет наших птиц”.

А такой шедевр вам не встречался? — Бритоголовый молодой толстячок с накачанными бицепсами в спортивной форме. “30 часов в сутки спорт” — и дальше фраза, в которой выплеснулась вся лакейская ненависть торгашей к героям:

“Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы”. Плевок в роман “Как закалялась сталь”. Мародеры и импотенты издеваются над эпохой Чкалова, Водопьянова, Стаханова, Николая Островского...

Да, чтобы понять, что случилось с Россией, надо, сосредоточившись, пройти по пустынной ночной Москве. “Рабочий и колхозница” — поддерживавшие некогда, как атланты, равновесие мировой жизни, ныне вздымают на своих мускулистых руках какую-то ничтожную пачку сигарет. Скульптура гениальной Мухиной, словно огненный сгусток расплавленного металла, вырвавшийся из жерла Магнитки и Кузбасса и застывший в холодном воздухе вечности!

А что дальше? Поскольку на водочных этикетках, на сигаретных пачках и в рекламных клипах давно уже мелькают лики Пушкина и Чайковского, Есенина и Гагарина — людей с духовным ореолом, — то остается только ждать, что скоро в рыночно-рекламный обиход враг рода человеческого внедрит лики Спасителя, Богородицы, Николая Угодника.

А как подло-продуманно оскорбляется женское естество рекламой пресловутых прокладок. Дело тут даже не в прямом натуралистическом комментарии к интимнейшим сторонам жизни женской природы. Если бы только это!..

Раз в месяц, согласно таинственным законам естества и лунного календаря, разработанного и утвержденного Создателем, женщина приготовляется к мистическому акту зачатья жизни. Се — тяжелый подвиг, требующий внутренней собранности, почти молитвенной сосредоточенности, целомудренной самоуглубленности... А на экранах TV — подобное состояние изображается как пустяковый, досадный и почти постыдный недуг, вроде инфекции или насморка, мешающего прыгать, танцевать, “оттягиваться”... Это и есть десакрализация самых что ни на есть священных для всех народов и религий глубин жизни. Расстреливать людей за то, что они не желают жить под властью тотальной “рыночной тирании”?! А Иисус Христос, который за всю свою земную жизнь, глядя на различные грехи, пороки и слабости людские, лишь однажды испытал чувство ярости: когда столкнулся с рыночным чудовищем, вторгшимся даже в храмы. И тогда он “начал выгонять продающих и покупающих в храме”; и “столы меновщиков (обменные пункты. — **Ст. К.**) опрокинул”, “и, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех”... (Евангелие от Иоанна 2, 21.)

Поистине — “вначале было слово”, и потому сатанинский рынок в первую очередь пытается уничтожить его святость.

...Вот о чем я думал, когда брел по Москве сквозь строй

рыночного агитпропа в холодную, пустую, чреватую бедой ночь второго октября 1993 года.

А осенью 1999 года — ровно через шесть лет — я убедился, насколько за эти годы жизнь приблизилась к апокалипсису, когда увидел на Зубовской площади — над фасадом десятиэтажного жилого дома — необъятный, занимающий полнеба стенд, который мог бы украшать какую-нибудь центральную площадь Содома или Гоморры: громадная рожа декольтированного существа, украшенная дебильной улыбкой, выпученные глаза, вывалившийся язык и текст: "Оргия гуманизма в гостинице Редиссон-Славянская. Ежедневно с 24 часов. Дети до 16 лет не допускаются"...

Ну как тут не возненавидеть "гуманизм", вместе с "мужеством", "совершенством", "богатырством" и "творчеством"!

В октябре 93-го на берегу Москвы-реки был расстрелян не просто парламент...

* * *

Третьего октября в шесть часов вечера я на своей машине подъехал к телевизионному центру "Останкино".

В восемнадцать тридцать в передаче "Русский дом" должен был начаться наш разговор с ведущим Александром Крутовым и поэтессой Ниной Карташевой о Сергее Есенине, разговор, приуроченный ко дню рождения поэта — четвертому октября.

Я вышел из машины, проверил, со мной ли несколько четвертушек бумаги — мои размышления о Есенине, которые я обдумывал последние два дня и очень дорожил ими, считая, что сделал некоторые открытия, и двинулся к центральному входу... Мелькнула беглая мысль: почему-то перед центральным входом нет машин — обычно тут бывает трудно припарковаться. На ходу отметив подобную странность, я толкнул вертящуюся стеклянную дверь и попытался войти в вестибюль. Но не тут-то было. Два человека в пятнистой форме с автоматами на груди перегородили мне дорогу:

— Телецентр закрыт!

— Как закрыт? У меня через полчаса передача, меня ждет Александр Крутов.

— Ничего не знаем. Все сотрудники отпущены уже в 4 часа. Бюро пропусков закрыто. Уходите. Только поворачивайте сразу налево. А то, если пойдете направо, вас могут обстрелять...

Совершенно ошеломленный, я вышел из вестибюля и огляделся: пустынная площадь, лишь возле углового входа, близкого к концертному залу, стояла небольшая толпа —

несколько десятков человек — и слушала какого-то оратора. От нечего делать я подошел к кучке людей, сгрудившихся на ступеньках наглухо закрытого бокового вестибюля. Человек с мегафоном что-то говорил о преступлениях режима, о фашиствующем ОМОНе, рядом, вдоль стены, сливаясь с серым камнем, стояла цепочка солдат, к которым время от времени подходили женщины и уговаривали солдатиков-дзержинцев не ввязываться в борьбу с народом. Солдаты молчали, слушали, не спорили.

— Да здравствует наша народная армия, которая никогда не станет стрелять в народ! — провозгласил человек с мегафоном. — Ура-а!!! — его возглас подхватили люди, стоящие на ступенях. Солдаты молча и растерянно переглядывались, крутили головами, явно чувствуя себя не в своей тарелке...

— Читайте списки палачей России! — раздался голос у меня за спиной. Я оглянулся: желтоволосый паренек в замызганной голубой куртке торговал какими-то тощенькими брошюрками.

— Что у тебя?

— Списки палачей России 1919—1939 годов.

Я перелистал брошюрку с фамильными списками ЦК, Комиссариата иностранных дел, ЧК, ОГПУ, НКВД... Ягода, Агранов, Френкель, Гамарник, Берман, Фриновский, Якир...

— Спасибо, я все это знаю.

— Все знать невозможно!

Паренек отвернулся от меня и замахал брошюркой:

— Читайте списки палачей России!

А между тем народ стал прибывать со стороны ВДНХ, как вода во время половодья. Повалили сразу толпами, какие-то автобусы подъезжали с людьми — возбужденными, разгоряченными, только что, как я потом выяснил, прошедшими горячий путь от Крымского моста к мэрии и Белому дому.

— Мэрия наша!

— Белый дом освобожден!

— Блокада прорвана!

— Ура баркашовцам!

Я оглядывал снующих взад-вперед людей — в куртках, в сапогах, в телогрейках, безоружных (лишь у некоторых, вновь прибывших на автобусе и пытавшихся ровным строем войти в ворота перед вестибюлем, были щиты, видимо отобранные у омоновцев). Но на лица было радостно смотреть — живые, возбужденные, одухотворенные, с горящими от победного восторга глазами.

— Мэрию взяли — даешь Останкино!

“Вот так же пугачевцы взяли Белогорскую крепость и закричали: “Даешь Оренбург!” — подумалось мне.

Неожиданно в клубящейся толпе я столкнулся лицом к лицу с журналистом, когда-то работавшим в Останкино:

— И чего они шумят, кругами ходят? Если брать Останкино, то надо брать вон то маленькое здание, где технические службы. А тут делать нечего...

— Ну, скажи им об этом!

— А кому сказать-то? — он поглядел на меня выпученными глазами. — Я только что от мэрии! Ну, баркашовцы молодцы, бесстрашные ребята. Заместителя Лужкова Брагинского захватили, главного мафиози!

Чтобы унять волнение, мы отошли в сторону, закурили.

— А где твоя машина? — спросил он. Я показал ему на моего одинокого "жигуленка", стоявшего перед центральным входом.

— Слушай, дело серьезное, тут кровью пахнет, ты бы его отогнал куда-нибудь в переулок.

Я послушал его, отогнал машину в торец техцентра и вернулся обратно. Интересно, чем все-таки все закончится. История на глазах творится!

...Холодный осенний закат освещал волнующуюся и все увеличивающуюся толпу, не знающую, что ей делать дальше, и какое-то внутреннее напряжение от этого незнания нарастало в воздухе с каждой минутой. Время от времени некие авторитетные лидеры, стоявшие на ступеньках возле микрофона, выбегали на проезжую часть и из-под ладони вглядывались в приближающиеся машины и автобусы:

— Наши едут или не наши?

Машины приближались, и вздох облегчения вырывался из глоток:

— Наши!

Вдруг меня осенила мысль: а почему бы не пробиться к мегафону и не прочитать две странички из моих размышлений о Есенине? Ведь в них идет речь об освобождении России, а это освобождение вершится сейчас на моих глазах. К тому же не худо напомнить мятущейся толпе о том, что завтра день рождения ее великого поэта. Подавши плечо вперед, я стал протискиваться по ступенькам к человеку с мегафоном, но через несколько шагов уперся в плотную людскую массу.

— Куда лезешь?

— Я слово хочу сказать!

— Какое слово, кто ты такой?

— Я редактор журнала "Наш современник", должен был выступить сегодня по телевидению, у меня есть небольшое слово о Есенине...

— Ну, мы Есенина уважаем и ваш журнал тоже, но разве

не видите, что творится? Народное восстание, конец оккупационному режиму! Вот возьмем Останкино, тогда и расскажешь о Есенине... А сейчас смотри, народ к техцентру двинулся, пошли!

Мы перетекли через дорогу и расположились возле бордюра, обрамлявшего подземный переход. Вечерело. Осенние сумерки наваливались на Москву, лишь алая полоса заката со стороны Ботанического сада освещала море людей, отсвечивалась в стеклянных стенах техцентра, где на втором этаже можно было видеть сквозь щели в шторах какое-то движение, перемещение фигур, не предвещавшее всем стоявшим внизу ничего хорошего.

— Какая сволочь Ельцин! — выругался кто-то за моим плечом. — До чего довел народ — до бунта. Ну, теперь все рухнет... Анархия... Пугачевщина!

Я оглянулся. Трое молодых людей, упакованных в дорогие модные пальто и кожаные куртки, стояли за мной и нервно всматривались в стеклянную громаду телецентра. Один из них узнал меня:

— Здравствуйте, а мы из "Коммерсант Дейли". Ну, скажите честно, если вы придете к власти, вы наше издание не закроете?

— Ну что вы, — как можно радушнее улыбнулся я. — Вот у нас-то и будет настоящая демократия!

...А людское половодье все прибывало и разливалось все шире, захватив широкий тротуар и проезжую часть перед телецентром. Резкий октябрьский ветер трепал в наступающих сумерках и красные, и черно-золотые монархические флаги, московские гавроши, как галки, торчали на деревьях, вглядываясь в группу людей, пытающихся пройти через центральный вестибюль в осажденное здание.

— Макашов приехал, Макашов! — зашелестело в толпе, и как будто в ответ на этот шелест мелькание теней на втором этаже стало более быстрым и лихорадочным.

Я обратился к "дейликоммерсантам":

— Давайте-ка, ребята, поближе к бордюру, в крайнем случае, когда что-либо начнется, укроемся.

— А начнется? — со страхом спросил меня один из них.

— Конечно же, начнется...

И как бы в подтверждение моих слов из сумерек, раздвигая толпу, словно громадный звероящер, выполз то ли "КрАЗ", то ли "КамАЗ", развернулся и уставился своим рылом в застекленную дверь центрального входа. У меня сжалось сердце: идиоты, неужели будут таранить двери? Ведь для того чтобы войти в вестибюль, достаточно взять длинные водо-

проводные трубы, которые грудой были навалены на тротуаре вдоль всего застекленного первого этажа, выбить стекла, и через пять минут хоть сто, хоть тысяча человек гуляла бы по коридорам и аппаратным техцентра. Но кому-то захотелось эффектного зрелища, которое потом сотни раз тиражировалось на экране!

Почти уже в полной темноте металлический звероящер подполз к входу, чуть разогнался и с ревом ударил в стеклянную дверь своим тупым рылом. Зазвенели стекла, толпа взвыла от ужаса и восторга. Звероящер дал задний ход и опять с разгона попытался въехать в вестибюль, но его высокая кабина не пролезала под перекрытие, и машина, вонзив рыло в дверной проем, застряла. Водитель, видимо, ошалев от ярости, снова включил задний ход, снова разогнался вперед, пытаясь протиснуть машину в чрево здания, и снова она загрохотала, застонала, заскрежетала и не пролезла под бетонное перекрытие первого этажа. Во тьме ревел на холостом ходу мотор, с криками колыхались туда-сюда людские массы, звенели стекла, и мы, как оглушенные, смотрели на эту отчаянную попытку взять бастион четвертой власти в конце двадцатого века пугачевским нахрапом... "КрАЗ" снова дал задний ход, и вдруг от вестибюля донеслись угрожающие крики:

— Отойдите! Отойдите от дверей как можно дальше!

Толпа, видимо, узрев что-то недоступное моему взору, — мы все-таки стояли метрах в пятидесяти от входа — подалась, и вдруг меня ослепил блеск пламени и оглушил грохот.

"Гранатомет!" — мелькнуло у меня в сознании, и в следующий миг над нашими головами раздались автоматные очереди со второго этажа, оттуда, где все время мелькали какие-то тени. Гильзы звонко зацокали о бетонные плиты, и мы рухнули за спасительный гранитный бордюр, прижимаясь друг к другу... Когда через несколько минут стрельба ослабла, я поднял голову, увидел в темноте лежащих, встающих, шевелящихся, начинающих передвигаться людей и сам короткими перебежками, почти на четвереньках, выбрался, как мне показалось, в "мертвую", непростреливаемую зону в направлении цоколя и побежал к моей одиноко стоявшей машине. Нескольких автомобилей, возле которых я поставил свой, уже на тротуаре не было...

По дороге я вдруг заметил лежащего за фонарным бетонным столбом паренька в голубой куртке, рядом с ним валялись разбросанные, шевелящиеся от ветра брошюрки. Одну из них, наклонившись, я схватил на память об этом дне: "Списки

палачей России 1919—1939 годов". 3-го и 4 октября эти списки щедро пополнились...

Вечером, возбужденно и судорожно рассказывая дома обо всем, что видел, я вдруг нащупал в кармане и эту брошюрку и мои несколько листочков-четвертушек — записей о Сергее Есенине, которые мне не удалось прочитать ни на "Русском доме", ни на улице... Вот они, эти странички. Не пропадать же им.

Если бы сегодня Сергей Есенин поглядел на нашу воровскую приватизацию, на нашу Москву, облепленную вульгарными иностранными ярлыками, на наше пошлейшее рекламно-телевизионное безобразие, поглядел бы на псов-рыцарей, защищающих режим на Пресне со щитами, касками и дубинками, он, конечно, повторил бы свою бессмертную строчку: "В своей стране я словно иностранец" и снова бы вспомнил: "Страна негодяев"... Иностранцем можно быть только в стране негодяев. Я думаю о сегодняшнем противостоянии сил и вспоминаю отрывки из мемуаров Галины Бениславской. Во время работы над "Страной негодяев" однажды ночью хмельной Есенин сказал ей: "Это им не простится. За меня отомстят. Пусть лучше не трогают. Посадят — пусть сажают. Еще хуже будет. Мы злые, когда нас озлобят. Лучше не трожь. Не надо". Слова, записанные Галиной Бениславской в одну из московских роковых ночей 1924 года. В этих словах — пророчество. Троцкий, Ягода, Зиновьев, Свердлов, Агранов... Действительно, Есенин жил в стране негодяев. А что, сейчас в стране Чубайса, Гайдара, Бурбулиса — лучше? Но меня могут спросить: если Есенин думал о России как о стране негодяев, чувствовал себя то иностранцем, то пасынком, то как же это совмещается с его признаниями в любви к Родине, с желанием быть гражданином в "великих штатах СССР"? И вообще, советский или антисоветский поэт Сергей Александрович Есенин? В приговорах 1937 года, вынесенных его друзьям, он проходит как поэт "антисоветский". Из дела Петра Орешина: "Материалами следствия установлено, что еще в 1923 году обвиняемый Орешин являлся участником антисоветской группы реакционных поэтов С. Есенина, С. Клычкова, Н. Клюева, вместе с которыми в 1923 году за активные антисоветские действия привлекался к уголовной ответственности". В сущности, антисоветским поэтом объявил Сергея Есенина главный идеолог эпохи 20-х годов Николай Бухарин в "Злых заметках". Да и сам поэт не раз давал к тому прямые поводы: "Перестаю понимать, к какой революции я принадлежал" (1923 г.), или "какую-то хреновину

в сем мире большевики нарочно завели"... Да примеров много! Но можно и возразить: как же так! Есенин не раз признавался в любви к революции и книги свои называл "Русь советская", "Страна советская", клялся в том, что "отдам всю душу октябрю и маю..." Да. При желании можно доказать, что Пушкин — поэт свободы, а можно доказать и другое, что Пушкин — поэт империи. Можно убедительно изобразить Есенина и певцом советской власти и, если очень захотеть, — стихийным противником коммунистического режима. И то, и другое будет справедливым. Все дело в двойственной природе нашей революции. Есенин, так же как Блок и Клюев, как легендарный казак Миронов или Нестор Махно, принял революцию как надежду на возрождение и расцвет России, как выход России к народовластию, к русской народной демократии, идущей на смену бюрократическому имперскому государству. Говоря современным языком, он был "национал-патриотом". Вспомним "Анну Снегину". Ее герои Прон Оглоблин, Лабутя — люди с большими изъянами, комбедовцы, голытьба, своего рода деревенские шариковы, и все же они куда ближе и роднее Есенину, чем комиссар Чекистов из "Страны негодяев" или Карл Маркс, которого "ни при какой погоде" Есенин, по собственному признанию, "не читал". А его земляки — вожди низов, деревенской черни, родственные Хлопуше, — люди русского народовластия. Но это народовластие чаще всего сосредотачивалось не где-нибудь, а именно в Советах и объективно противостояло интернационально-масонскому криминальному братству партийной и чекистской верхушки, которая в борьбе за власть оказалась куда более подготовленной и изощренной, нежели русские национал-патриоты. И Прона Оглоблина, и Лабутю, и Замарашкина, и Номаха гораздо естественнее можно представить себе в антоновских дружинах, нежели в кремлевских кабинетах. Есть много свидетельств того, что Есенин, как никто другой, ощущал борьбу двух этих сил, волею судьбы запряженных в одну систему, но и в ней продолжавших бороться друг с другом.

Противостояние еврейского функционера Чекистова-Лейбмана и русского революционера-технократа Рассветова из "Страны негодяев", в голоса которых вливается голос поэта, четко обозначает борьбу национального и космополитического в недрах режима той эпохи:

Еще не изжит вопрос,
Кто ляжет в борьбе из нас.

Честолюбивый росс
Отчизны своей не продаст.
Интернациональный дух
Прет его на рожон.
Мужик, если гневен не вслух,
То завтра придет с ножом...

Это мысли то ли Есенина, то ли Рассветова... Но все продолжается, как было в начале 20-х годов. Снова, но в другом обличье, "интернациональный дух", на этот раз не коммунистический, а буржуазный, "прет на русский рожон"...

Есенин понимал антирусскую природу верхушки большевистской компартии (она обрусела лишь через двадцать лет после сталинских чисток), когда писал в стихотворении о Ленине: "Ведь собранная с разных стран, вся партия — его матросы"...

Так что советский или антисоветский поэт Есенин — решайте сами. Русское движение к демократии и к народовластию он принимал. Антирусскую деятельность всемирного интернационала — "граждан из Веймара" — отвергал с брезгливостью и ужасом. Но драма поэта была в том, что и та, и другая силы жили под вывеской одной идеологии и одного режима. И Есенину в конечном счете оставалось одно — поставить свое призвание выше всех политических пристрастий. Что он и сделал: "Отдам всю душу октябрю и маю, но только лиры милой не отдам..."

А потому он и великий русский поэт.

* * *

Пятого октября ко мне в редакцию пришел пожилой человек, небритый, с землистым лицом и безумным взглядом.

— Вы знаете, что вчера творилось в Останкино? На моих глазах две женщины, хорошо одетые, прогуливались в роще за прудом с собачками... Дорогими, породистыми... Бэтээры начали стрельбу по деревьям, под которые убегали от телецентра люди. Одну женщину с собачкой ранило в плечо, а другой пуля разбила голову. И я видел, как собачка-такса бегала вокруг мертвой хозяйки и скулила!

В тот же день в газете "Известия" было опубликовано позорное письмо 42-х писателей, озаглавленное так: "Писатели требуют от правительства решительных действий". Судить, сажать, закрывать газеты, арестовывать. Ну, с Черниченко и Оскоцкого взятки гладки, они поистине бешеные. Но каково

было читать, что это письмо подписали Ахмадулина, Левитанский, Кушнер, Таня Бек... Тонкие лирики, сердцеведы, поклонники Мандельштама. Помнится, что Мандельштаму очень нравились строчки Есенина: "не злодей я и не грабил лесом, не расстреливал несчастных по темницам". Да и сам Осип Эмильевич исповедовался эпохе: "не волк я по крови своей"; "чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, ни кровавых костей в колесе". А этим, якобы любящим Мандельштама, нашим поэтам хочется "решительных действий", они жаждут увидеть "кровавые кости в колесе", они "волки" по своей крови, до сих пор носившие для маскировки овечьи шкурки. Впрочем, Кушнер иногда проговаривался и раньше: "Дымок от папиросы да ветреный канал, чтоб злые наши слезы никто не увидал".

Немного времени прошло, а из этого списка призывавших к репрессиям многих уже нет с нами: Адамовича, Анфиногенова, Ал. Иванова, Нагибина, Лихачева (да, да, "совести" русской литературы! — **Ст. К.**), Савельева, Окуджавы, Разгона, Рождественского, Селюнина, Левитанского, Дудина, Иодковского... Они жаждали людского суда над своими коллегами, ан все случилось иначе. Поистине вспомнишь вещие слова русского поэта: "Но есть, есть Божий суд"...

Из литературного дневника тех дней:

"Раздавите гадину!" — заклинал с пеной у рта один из сорока двух подписантов, Юрий Черниченко, компанию молодых ребят, встретившихся ему на вечерней московской улице в кровавые октябрьские дни. Тут же рядом с Черниченко каким-то образом оказался телеоператор, записавший на пленку каннибальские призывы летописца брежневской эпохи. Откуда молодым людям было знать, что перед ними брызжет слюной не просто рассерженный пожилой человек, а один из главных певцов целины, автор киносценария о косноязычном генсеке, придворный журналист одного из самых могущественнейших и криминальных секретарей обкомов КПСС — краснодарского князька Медунова? Если он под "гадиной" подразумевал коммунистическую партию, то надо признаться, что он очень хорошо обслуживал ее в свое время. Но дело уже не в политическом лакействе, а в позорном невежестве писателя. Забыл он, должно быть (а может, и никогда не знал), что призыв идеолога кровавой французской революции Вольтера "Раздавите гадину" относился к католической церкви Франции и что этим призывом воспользовались палачи якобинцы. Воплощая в жизнь безумный

лозунг Вольтера, они жгли и грабили по всей Франции монастыри и церкви, вспарывали животы провинциальным священникам, топили их в Сене и Луаре сотнями, насиловали монахинь и справляли атеистические шабаши по всей несчастной стране, предвосхищая деяния нашего антицерковного чекиста Губельмана-Ярославского, который тоже призывал "раздавить гадину" — русскую православную церковь.

Если бы молодые люди, перед коими у ночного костра на московской улице выступал Черниченко, знали, чем закончился призыв "Раздавите гадину" во Франции, — они бы отшатнулись в ужасе от полуночного агитатора, как от зачумленного. А именно таким он остался на телевизионной пленке: сумасшедшие, выкатившиеся из орбит глаза с кровавыми отблесками в них ночного пламени, лысый, сверкающий от бликов, потный, крупный, почти ленинский череп, искаженное, перекошенное от ярости и страха лицо, оскаленный рот с кариесными зубами, из которого несется утробное "Раздавите-е!!".

...Возле стадиона "Авангард", что на Красной Пресне, стоит Крест, окруженный временной оградой, у Креста горят свечи, лежат цветы, шевелятся под ветром траурные ленты... На стене стадиона имена погибших, стихи, проклятья палачам, фотографии погибших и пропавших без вести. На том месте, где стоит Крест, погиб в октябрьские дни украинский священник. Когда из бронетранспортера лихие таманцы полоснули по толпе свинцом, отец Виктор бросился навстречу машине в священническом одеянии с крестом, поднятым над головой. Он надеялся, что стрелок, сидящий за пулеметом, прекратит стрельбу. Но молодой палач нажал на гашетку, и отца Виктора прошила свинцовая очередь, он упал, и стальная громада переехала бездыханное тело. Вот так буквально исполнилось требование писателя и члена Государственной Думы Юрия Черниченко: раздавили...

* * *

В 1995 году слуги и пропагандисты ельцинского режима, чтобы оправдать октябрьское кровопролитие, издали громадную семисотстраничную книгу "Москва. Осень-93. Хроника противостояния".

Я, как очевидец останкинских событий, первым же делом перелистал страницы, их касающиеся, и сразу понял: книга эта замешена не только на крови, но и на лжи.

“К 19.00 подъехали несколько десятков грузовиков с вооруженными защитниками Белого дома... Они были вооружены автоматами” (стр. 381).

Ложь. Свидетельствую: кое-кто был вооружен омоновскими щитами и дубинками, отобранными у защитников мэрии. Автоматов ни у кого не было.

“Один из боевиков Макашова произвел выстрел из гранатомета по ГТЦ...” (стр. 383).

“Два оглушительных взрыва прогремело возле самых дверей, и сразу же с обеих сторон заговорили автоматы” (стр. 385).

“Прорезав толпу, два “Урала” стали попеременно таранить стеклянный холл здания” (стр. 384).

Ложь и в большом и в малом.

До сих пор неизвестно, что за провокатор (“боевик Макашова”!) произвел единственный выстрел из гранатомета; автоматы заговорили лишь с одной стороны — со второго этажа телецентра, где, словно бы ожидая гранатометного сигнала, сидели наизготовку спецназовцы из “Витязя”; и “Уралов” было не два, а один...

Я понимаю, каков был заказ составителям и авторам этого сборника: убедить общество, что в Останкино был настоящий многочасовой бой с могучими, до зубов вооруженными “профессионалами-боевиками”, а не просто хладнокровный расстрел безоружной толпы.

“Выйдя на “переговоры”, нападавшие открыли огонь из-под белого флага” (стр. 388).

“Около семи вечера Александр Шашков, готовивший выпуск “Вестей”, сообщил, что начался обстрел здания телецентра, вокруг вооруженные гранатометами боевики, разбиты окна концертного зала” (стр. 389).

“А вокруг шел бой” (стр. 392).

Все неправда. Однако, чтобы выдать ложь за правду, дополнительно к профессиональному лгуну Шашкову приводится мнение “профессионала”.

“Из докладной записки зам. командующего внутренними войсками МВД России генерал-лейтенанта П. В. Голубца (стр. 405—415):

“Мятежники готовятся к штурму... Они убрали отсюда безоружных людей, на площади остались одни боевики”.

“О том, что действуют профессионалы, я понял сразу: по выбору объекта, интенсивности огня и настойчивости штурма”. (А на стр. 384 читаем нечто противоположное: “По их осанке и оснащению было видно — непрофессионалы” — совсем запутались в своей мелкой лжи!)

“Нами были отбиты три атаки. Поймите, состоялась не просто короткая перестрелка, а три атаки”. (Свидетельствую: не то что трех атак — даже “короткой перестрелки” не было. — **Ст. К.**)

“Тремя выстрелами из гранатометов (на стр. 385 — сказано, что было два, на самом же деле один. — **Ст. К.**) был дан сигнал для начала штурма”.

А вот как излагает генерал историю гибели французского журналиста Ивана Скопана, который оказался “в толпе штурмующих” (да, я видел, как он упал, когда “витязи” осыпали толпу автоматными очередями), а потом, когда его, раненного, выносили с площади, откуда-то раздалась прицельная очередь, по поводу которой Голубец “профессионально” заключает: “Мятежники его добили”. Вот вам и “честь имею”! Получил орден “За личное мужество”. Еще бы, так расписать геройство частей, которыми он командовал: “...мужество наших ребят, которые два с лишним часа выдержали жестокий огневой бой” (стр. 413).

“Под огнем лежали два часа. И просто чудом не были поражены, ведь огонь был сумасшедшим. Как эти люди остались целы, это просто счастье. Бог спас” (стр. 415).

Еще бы не чудо: в окрестностях телецентра осталось лежать более сорока трупов. Но как “хорошо подготовленные профессионалы, вооруженные автоматами и гранатометами”, не нанесли никакого урона спецназовцам и бэтээровцам, которые расправлялись с ними, как с цыплятами?!. Эх, генерал, генерал, “три атаки” отбил, звездочку очередную получил на погоны, орден “За личное мужество”... Да за такую ложь — погоны срывать надо!

В заключение хочу только добавить, что эта книга, вышедшая двумя изданиями (тираж 100 тысяч), была за баснословные гонорары составлена несколькими журналистами и одним известным литератором Валентином Оскоцким. А чего холуям было осторожничать, когда их пахан Ельцин, не стесняясь, лгал в “Записках президента” (стр. 381, 130) о том, что “боевики, в арсенале которых были гранатометы, бронетранспортеры”, “захватили два этажа телецентра “Останкино” и Дом звукозаписи и радиовещания на улице Качалова”.

...На другой день был сыгран последний акт российской трагедии — расстрелян парламент.

Министр МВД Ерин “за мужество и героизм” получил звание Героя Российской Федерации, генералы Грачев и Кобец — ордена “За личное мужество”, но ближе всех в эти роковые

дни к Ельцину были, наряду с Гайдаром и Лужковым, его верные опричники Коржаков и Барсуков.

Через три года после октябрьской трагедии я приехал по приглашению тульского губернатора Василия Стародубцева на Куликово поле. После наших выступлений перед многотысячной толпой по знаку губернатора его свита и гости двинулись в направлении небольшой рощицы на краю поля, вошли в нее и очутились возле громадной армейской палатки, внутри которой на простых, вкопанных в землю дощатых столах стояла водка, хлеб, колбаса и огурцы. Продрогшие на поле под порывами сентябрьского ветра мы стоя (ни стульев, ни лавок в палатке не было) выпили из пластмассовых стаканчиков за защитников России всех времен, и вдруг представитель президента по Тульской области предложил тост за здоровье своего хозяина. Многие демонстративно отодвинули пластмассовые стаканы, а я, обратившись к своему соседу — рыжеусому человеку средних лет, сказал:

— Наверное, здесь есть местный фээсбэшник, и представитель президента, зная это, поднял лакейский тост, чтобы в Москве о нем доложили...

Рыжеусый усмехнулся:

— Да, вы правы, и местный фээсбэшник здесь — это я. — И не дав мне времени удивиться, видимо, для того, чтобы показать, каких он убеждений, добавил:

— Видите рядом со Стародубцевым генерала и полковника? Так вот эти суки из Тульской ВДВ Белый дом Ельцину помогали расстреливать...

Из литературного дневника тех времен:

Свежий номер еженедельника "Литературные новости" открывается горестной и сногсшибательной сенсацией: над портретом Булата Окуджавы напечатан следующий абзац: "40 миллионов погибших — вот страшный вывод совместной российско-американской комиссии по оценке потерь в Великой Отечественной войне. Соотношение с потерями врага 10:1. Вот цена победы".

Поскольку официальная цифра немецких потерь, всех — и военных, и среди мирного населения, и умерших от ран и бомбежек, — общепринятая в Европе, приблизительно равна 8 миллионам, то по логике "Литературных новостей" (десять к одному) мы должны потерять не сорок миллионов, господа журналисты, а восемьдесят. То есть ровно половину населения тогдашнего Советского Союза.... И не стыдно вам врать-то? Ну хотя бы бывшие фронтовики, члены редколлегии, тот же

Окуджава или Нагибин, пристыдили своих присяжных борзописцев. Ну хотя бы Артем Анфиногенов, который на этой же полосе объявлен "честным летописцем фронтового братства", сказал своим молодым мерзавцам: "Ребята, побойтесь Бога. Мы и так понесли тяжелейшие потери — двадцать с лишним миллионов... Неужели вам этого мало? Неужели вы так ненавидите Россию и победоносный Советский Союз, что со сладострастным садизмом хотите, чтобы погибших было не двадцать миллионов, а сорок или, еще лучше, — восемьдесят?!"

Стыдно, господа! Но вам ведь, как говорит народная пословица, "хоть ... в глаза — все божья роса!".

Недавно праздновали юбилей Окуджавы — бесчисленные передачи, затмившие День Победы, радио с утра до вечера гоняло окуджавские песенки, газеты пестрели его портретами, а я глядел на все это и думал: "Нет, все-таки талантливый человек! Как умеет перевоплощаться! Когда нужен был патриотический шлягер, когда за патриотизм хорошо платили — написал знаменитую песню к фильму "Белорусский вокзал": "А значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим". Помню, как со слезой пел ее покойный Евгений Леонов... А когда мода на патриотизм прошла, когда за "антипатриотизм" стали платить больше, тот же Окуджава быстро сформулировал, что патриотизм, мол, никчемное чувство, что "чувство патриотизма есть даже у кошки", и потому незачем гордиться этой модой.

А кровавая бойня третьего—четвертого октября? В сущности, она была гражданской войной в миниатюре. А ведь тот же Окуджава когда-то пел знаменитые строки: "Я все равно паду на той, на той единственной гражданской..." Вспоминал я эти строки в часы октябрьской бойни и думал: "Где Окуджава? В ряду головорезов Ерина, а может быть, рядом с Руцким и Хасбулатовым? Вроде звездный час его наступил, гражданская война, обещал пасть на ней, последний шанс: не упустил бы" ...Ан нет! Недооценил я талант поэта, способность его гениальную к перевоплощению. Посмотрел он на все происходящее по телевизору и заявил на всю страну, что для него эта трагедия была как захватывающий душу детектив и что он с нетерпением ждал развязки, чем это кончится...

Нет, что ни говори, удивительно талантливый человек!

* * *

В книге "Москва. Осень-93" есть много исторических фотографий. В одну из них я вглядывался особенно пристально. Ночь с 3-го на 4 октября, брусчатая площадь перед собором Ивана Великого. Над землей плотный слой мрака, который по мере восхождения к небу рассеивается, и на небесном фоне, словно бы вырастая из тьмы, восстает знаменитая колокольня.

На переднем плане вертолет и три мужские фигуры, лица которых высвечены фотовспышками: Ельцин, Коржаков и Барсуков, породистые мрачные мужики в плащах и костюмах с иголочки, в модных галстуках, сверкающих ботинках...

Их лица, выступающие из мрака, предельно сосредоточенны. Еще бы! Решалась судьба каждого из них. К вечеру следующего дня Коржаков и Барсуков пришли доложить Ельцину об окончательной победе над парламентом и его защитниками. А у президента уже шло пиршество: "Торжество в честь победы началось задолго до победы... Мы с Мишей Барсуковым умылись: вода была черная от копоти, ружейного масла и пыли... Гулять начали с четырех часов, когда мы самую неприятную работу делали" (А. Коржаков. "Борис Ельцин: от рассвета до заката", М., 1997, стр. 198—199).

М. Барсуков, удостоверившись, что спецподразделения "Альфа" и "Вымпел" не желают штурмовать парламент, вел себя особенно подло:

"Тактика у Барсукова была простая: пытаться подтянуть их как можно ближе к зданию, к боевым действиям. Почувствовав порох, гарь, окунувшись в водоворот выстрелов, автоматных очередей, они пойдут и дальше вперед" (Б. Ельцин. "Записки президента", стр. 11—12).

...Через полтора года, весной 1995-го, в необъятном зале за громадным полированным столом человек двадцать русских писателей встретились с Михаилом Барсуковым.

Барсуков — во главе стола на председательском месте под портретом Ельцина. Над входом в кабинет висел портрет Феликса. Дзержинский и Ельцин глядели в глаза друг другу, и Феликс с иезуитской тонкой усмешкой как бы говорил Борису:

— Зачем памятник снес? Ведомство, созданное мною, тебе понадобилось... А памятником в угоду черни пожертвовал? И не стыдно?

Отвлекшись от этого безмолвного разговора, я вслушался в слова Барсукова:

— Новолипецкий металлургический комбинат стоит 3,5 млрд долларов. Акции его скуплены за 50 миллионов, за 3 процента истинной стоимости! Коллектив завода вначале владел 51 про-

центом акций, сейчас у него всего лишь 3 процента. Мы вынуждены были начать операцию в Чечне, поскольку шел захват чеченской мафией Краснодарского и Ставропольского края, туапсинского нефтяного терминала, сорок восемь миллионов тонн нефти ежегодно пропадало в Чечне... План создания Великой Ичкерии — не химера. Чеченские беженцы — составная часть этого плана. Двести тысяч чеченцев перебрались в Дагестан, они выживают с родных мест аварцев и кумыков. Под Волгодонском их живет двадцать тысяч, под Волгоградом — более тридцати. Идет ползучее завоевание России, вытеснение русских со Ставрополья, из Краснодарщины. А в Москве что творится? Чеченский рейнджер Ходжа Нухаев контролирует семь казино! Сколько денег через эти казино идет на вооружение Чечни — даже мы не знаем (напоминаю: все это произносилось открытым текстом в кабинете шефа службы госбезопасности. — **С. К.**).

Я, озадаченный, оглядел своих товарищей, все сидели, не понимая, почему министр госбезопасности столь рискованно, откровенно и серьезно докладывает нам, писателям, факты и цифры, о которых он должен бы информировать президента, премьер-министра, Совет Безопасности.

Зачем мы ему? С какой целью? Как будто бы он у нас просит понимания и помощи? Да еще полтора года назад, во время октябрьского восстания, он вместе с Гайдаром и Чубайсом прижимался к Ельцину, а сейчас говорит почти как Зюганов или даже Анпилов... Что случилось?

А Барсуков продолжал:

— Экономическая политика приватизации — главная причина чеченской войны. Поглядите на карту — вам не страшно чувствовать, как сжимается вокруг России южный мусульманский пояс — Чечня, Абхазия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Турция? Целостность России — сегодня на карте...

В стране процветает региональный финансовый эгоизм, разрывающий ее. На юге России средняя зарплата 128 тысяч рублей, а в Тюменском крае у нефтяников и газовиков — 5 миллионов. Там работают вахтовики, среди которых многие не являются гражданами России. Деньги, заработанные ими, уходят из России. Но главные каналы бегства денег за рубежи России — это наши коммерческие банки. Их сейчас — две тысячи шестьсот, полторы тысячи из них — банки типа "Чара". Они неизбежно должны лопнуть, западный капитал захватит их, и Россия будет банкротом. Никакого контроля за вывозом денег через эти банки, которые в основном находятся в руках еврейской финансовой мафии, нет...

Я ушам своим не верил: руководитель службы безопасности сознательно бросает вызов — и кому? Еврейской финансовой мафии! На это можно решиться лишь в двух случаях: если в государстве созрели все условия для ее свержения и внутреннего переворота или... если ты проиграл в тайной схватке с нею, завтра тебя вышвырнут из кабинета, а ты на прощанье принял решение так хлопнуть дверью, чтобы весь мир услышал! Или от полной русской самонадеянности...

А Барсуков уже совсем закусил удила:

— В МВД у нас сегодня два с половиной миллиона человек, в армии меньше двух, денег не хватает ни тем, ни другим. Долг перед армией — десять триллионов. Почему? Да потому, что налоги собираются всего лишь на сорок три процента. Разгосударствление жизни — вот главная причина наступившей катастрофы. Записки нашего ведомства о ее причинах и методах борьбы с нею, которые мы посылаем в правительство, возвращаются назад... Думаете, мне легко наблюдать все это? — голос Барсукова задрожал, неожиданная драматическая нота личной боли появилась в нем. — Я же из крестьянской семьи, из липецкого села, я сам до двадцати лет косу из рук не выпускал, приезжаю на родину, вижу — все хозяйство на боку лежит. А Запад? Он радуется. Еврейские деньги разрушили Советский Союз, и надежды на западную помощь — нам надо давно зарыть. Клинтон — наполовину еврей, его преемник Альберт Гор — еврей в чистом виде... А наших воров надо сажать! — и, словно бы продолжая заочный спор с кем-то, добавил: — Но Чубайса оставьте мне...

Я обвел взглядом кабинет Барсукова. Чуть поодаль от него спокойно сидели два генерала, слушая все, что говорит начальник, как само собой разумеющееся. У дверей помощник — бравый офицер, который и приглашал всех нас на встречу с министром. Перехватив мой взгляд, он подмигнул мне. Мы с ним знакомы по архивным делам, когда с сыном писали книгу о Есенине...

...Через год общими усилиями Березовского, Гусинского, Чубайса и еврейских банкиров Барсуков вместе с Коржаковым были вышвырнуты из своих кабинетов и лишены всякой власти... Особую роль тарана при этой операции сыграл русский человек Александр Лебедь. Вот так и идет наша история: руками русских усмиряется русский бунт 3—4 октября 1993 года, а через три года русские Грачев, Барсуков и Коржаков русскими руками Лебедя изгоняются из власти. Жалкие пешки! У Барсукова перед концом карьеры то ли пелена с глаз спала, то ли совесть проснулась, чему свидетелями были мы, русские

писатели. Спохватился Михаил Иванович, да поздно. Использовали его, а когда что-то понял и взбунтовался, выпустили на телеэкран Чубайса, Лебедя да энтэвэшника-энкавэдэшника Евгения Киселева — и “ату его!”

Плохо читали в школе Барсуков с Коржаковым “Тараса Бульбу”. Там о русском предательстве наперед до конца света все сказано. О породистом красавце Андрее: “Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?”; “И пропал казак!” О хитром Мосии Шило, который в плену, чтобы войти в доверие к туркам, отказался от веры православной, “вошел в доверенность к паше, стал ключником на корабле и старшим над всеми невольниками. Много опечалились оттого бедные невольники, ибо знали, что если свой предаст веру и пристанет к угнетателям, то тяжелей и горше быть под его рукой, чем под всяким другим нехристом”. Не в бровь, а в глаз многим сегодняшним ренегатам русским! А разве можно забыть вещие слова Гоголя — его прозрение самых темных глубин русской души, непонятной для рационального западного человека:

“Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства, и проснется оно когда-нибудь, и ударится он, горемычный, об полы руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело”.

Не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься... Начал было каяться Михаил Барсуков. Анатолий Куликов — министр МВД, замаранный кровью 93-го, через два года собрался с духом и отверг попытку Кремля втянуть его в очередное преступление. Вывернул наизнанку всю грязную подноготную жизни своего хозяина “верный Личарда” Александр Коржаков. Тоже хотя и уродливое, но своеобразное покаяние. Где-то на дачах, в охотничьих домиках, в саунах, в номерах фешенебельных гостиниц, в губернаторских особняках с безотчетным ужасом ждут пробуждения совести “последние, — говоря словами Тараса Бульбы, — подлюки” — генералы Ерин, Грачев, Лебедь. И те, кто поменьше калибром — Полторанин, Шумейко, Черномырдин.

Задумаешься, перечитывая Гоголя, над грядущими судьбами нынешних, живущих в силе и власти, русских (о евреях — что говорить, с них спрос, как с Янкеля), сидящих в Кремле, в Белом доме, на Лубянке, и мороз по коже — нет-нет да и пробежит...

Днем 4 октября 1993 года я не выходил на улицу. Не мог оторваться от экрана, на котором кумулятивные снаряды влетали в окна Белого дома, охваченного смрадным пламенем

и чернеющего на глазах. Когда все было кончено, я достал бутылку коньяка, подаренного мне год тому назад к шестидесятилетию Леонидом Бородиным, выпил ее в два приема и погрузился в тяжелый сон...

Через несколько дней в редакции, обдумав очередной ноябрьский номер журнала, мы поняли, что, поскольку введена цензура, он, судя по его содержанию, может не увидеть света. В это время лишать читателей журнала ой как не хотелось.

— Гена, — попросил я своего заместителя, — у нас ведь сейчас есть главный цензор, защитник "свободы печати" Михаил Лесин. Созвонись с ним, поговори...

Гусев дозвонился до Лесина, приехал к нему, и тот с циничной прямотой ответил ему:

— Сколько у вас тираж? Сорок тысяч? Это не страшно. Печатайте, что хотите. Вот если бы миллион — мы бы вас помотали так, что мало не покажется...

Из литературного дневника тех времен:

Одним из самых оголтелых писателей-демократов, призывавших в октябре "всенародно избранного" к "решительным мерам", история запомнит Юрия Нагибина. Он подписал позорное письмо 42-х, он заявил, что "брезгливое неучастие в политике — это такая же низость, какой в прежние годы было участие". Он и после расстрела не раз одобрил все содеянное властью. Его "Воспоминания", вышедшие вскоре после 93-го года, прояснили мне все, что произошло с ним.

"Новая семья сильно русифицировала меня. Я научился не пить, а осаживаться водкой, научился опохмеляться так основательно, что это нередко переходило в новую пьянку... Были важные открытия. Одно из них: пьяный русский человек не отвечает за свое поведение во хмелю... Один пукнул в лицо домработнице, помогавшей ему надеть ботинки; другой кончил на единственное выходное платье нашей приятельницы, когда та ему позволила ночью прилечь к ней на диван; третий наблевал в ванну, потому что в уборной блевал другой гость; кто-то вынул член за столом и пытался всучить малознакомой соседке; сестра тещи обмочилась во время пляски..."

Это из воспоминаний о своих близких. И написано не Юзиком Алешковским, не Виктором Ерофеевым, даже не Эдиком Лимоновым, а певцом русской природы, тонким лириком пришвинско-паустовской школы, беллетристом, издавшим к 1984 году восемьдесят книг рассказов и повестей, написавшим множество пьес и сценариев, в том числе к фильмам "Чайковский", "Председатель".

Человек, воспевший в фильме "Председатель" подвиг послевоенного крестьянства, в новом времени, потребовавшем новых песен, стал пробавляться заявлениями о том, что знаменитая трактористка Паша Ангелина была лесбиянкой.

Но Бог с ней, с Ангелиной. Выворачивая всю интимную изнанку жизни, мемуарист, вспоминая сексуальные возможности близкой ему женщины, пишет: "Мы занимались любовью там, где нас застало желание: в подворотнях, подъездах, на снежном сугробе, на угольной куче, на крыше, на дереве, в реке, в машине, в лесу, на лугу, в городском саду, где всегда играет духовой оркестр, просто на улице, у водосточной трубы... И каково же было мое потрясение, когда оказалось, что она еврейка".

В мемуарах Нагибина похотливость щедро смешана с политикой и с пресловутым еврейским вопросом. Бедный автор! В каких сумасшедших комплексах — сексуальных, национальных, политических — протекла его долгая жизнь! "Мы гуляем по улицам Кохмы, и слово "жид" преследует меня. Жид! Жид! Жид! — кричат прохожие, уличные мальчишки, собаки с потными грязными языками, козы в огородах, шальные кусты акаций, рослые вязы, кирпичные стены Ясюнинской фабрики, где служит отец. Конечно, никто не кричит, но что мне до этого, если э т о с л о в о к р и ч и т в о м н е..." (типичная паранойя! — ***Ст. К.****). А "потные грязные языки" у собак — невероятно! Но, возможно, художник слова хочет дать понять, что это русские собаки.*

На протяжении своих мемуаров автор долго, тщательно, мучительно выясняет, кто же он на самом деле — еврей или русский. То внутренний голос кричит ему, что он "жид", и страдания Юрия Марковича становятся невыносимыми. То, выяснив, что его отец-еврей, возможно, и не настоящий отец, а настоящий отец русский, автор впадает в другую шизофреническую фазу и стонет: "Боже мой, почему я не могу быть евреем, как все"... Словом, причин для раздвоения личности и впадения в маразм у Нагибина сколько угодно.

Десятки книг написал беллетрист в свое время, прославляя нашу армию-победительницу, в том числе и солдат, защитивших от немецкого агрессора Москву, и вдруг на старости лет он заявляет: "Вскоре подъем, испытанный оставшимся в Москве населением в связи со скорым приходом немцев и окончанием войны — никто же не сомневался, что за сдачей столицы последует капитуляция, — сменился томлением и неуверенностью. Втихаря ругали Гитлера, расплескавшего весь наступательный пыл у стен Москвы...

Многие оставшиеся в городе ждали немцев, но боялись признаться друг другу в этом и потому городили несусветную чушь, чтобы объяснить, почему не эвакуировались..."

Нет, такого еще не было в нашей военной мемуаристике! Счастье автора, что ополченцы, погибшие под Москвой, не смогут прочитать эти мародерские откровения.

Мемуары Нагибина — богатый материал для психиатра и психоаналитика. Только специалисты смогут установить, на чем свихнулся человек — то ли на русско-еврейском вопросе; то ли на осознании того, что по большому счету никакого писателя Нагибина не существует, есть удачливый, ловкий беллетрист и драмодел; то ли на ненависти к России; то ли — и это скорее всего — душевное заболевание автора имеет под собой сексуально-патологическую почву.

Вокруг Есенина в Америке крутился в свое время беллетрист подобного же масштаба по фамилии Рындзюк (еврей), издавший на Западе книгу "Записки мерзавца", в которой вывернул наружу все свое вонючее нутро. Мемуары Нагибина, хотя и называются скромно "Тьма в конце туннеля", очень похожи на откровения Рындзюка.

Вот такого рода психопаты требовали в дни октябрьских событий расправы над писателями-патриотами.

...Начал я эту главу встречей с Юрием Карякиным у памятника Достоевскому на рязанской земле и заканчивать приходится так же, вспоминая его.

Зимой девяносто третьего в Москву приехал Андрей Синявский, осудивший в широко известном по тем временам письме вместе с Владимиром Максимовым и Петром Егидесом октябрьскую бойню.

"Литературка" пригласила к себе Синявского, и Юрий Карякин с Мариэттой Чудаковой стали воспитывать бывшего диссидента.

Чудакова, незадолго до октябрьских событий на "встрече Ельцина с интеллигенцией" призывавшая его "действовать решительно" ("Мы ждем от вас решительности", "не нужно бояться социального взрыва", "нужен прорыв!", "Действуйте, Борис Николаевич!" — "ЛГ" 22 сентября 1993 г.), на этот раз с пеной у рта доказывала Синявскому, что расстрел парламента был необходим ("применение силы в октябрьской ситуации было неизбежно"), Карякин покорно вторил демократической фурии и убеждал Синявского поддержать письмо 42-х "сторонников решительных мер": "Мы не должны позволять себе ссориться сегодня".

Синявский, зажатый в угол, защищался как мог: “Призывы интеллигенции к президенту формально ничем не отличаются от известного афоризма “Добро должно быть с кулаками” — по Куняеву”. Услышав мою фамилию, Чудакова истерично взвизгнула: “В октябре защищали, в сущности, демократию от Куняева!” (“Литературная газета”, 2. 03.1994 г.)

Кто-кто, а Синявский знал, как Александр Сергеевич в “Скупом рыцаре” изобразил сатанинскую силу Золотого тельца, да и Карякин мог бы вспомнить, что Настасья Филипповна бросила в камин пачку ассигнаций на глазах у несчастного Ганечки, который повредился умом, почти как Германн в “Пиковой даме”.

А гневный Блок, презиравший рыночную Европу:

Ты пышных Медичей тревожишь,
Ты топчешь лилии свои,
Но воскресить себя не можешь
В пыли торговой толчеи!

Да и Марина Цветаева была их родной сестрой по русской музе, когда клеймила все “демократические и рыночные ценности” в пророческих стихотворениях “Хвала богатым”, “Стол”, “Читатели газет”...

Сергей Есенин, Владислав Ходасевич, Осип Мандельштам — каждый по-своему опрокидывали “столы меновщиков” и выгоняли “продающих и покупающих в храме”.

А русский народ был с ними, поскольку жил согласно своим пословицам и поговоркам: “От трудов праведных не наживешь палат каменных”, “В аду не быть — богатства не нажить”, “Богатому черти деньги куют”, “Не жили богато — нечего начинать”.

Поистине, у страха глаза велики. Преувеличила Чудакова мое участие в трагедии. В ней я был всего лишь навсего негодующим, печалящимся и пристрастным свидетелем и летописцем. А защищали вы “демократию, рыночную экономику и свободу слова” в октябре 1993-го не от меня, а от Пушкина, Достоевского, Есенина, от русского народа и от всей русской истории.

Поздней осенью я уехал в Калугу, к реке, к бору, к родовому погосту, к родным стенам. Отлежаться и прийти в себя.

Зябко трепещут ивы
в береговом ветру...
Господи, дай мне силы
перемолоть беду.

Лавры уничиженья
я не хочу стяжать,
воздухом пораженья
я не могу дышать.

* * *

И еще один сюжет, связанный с октябрем 1993 года. Правда, его интрига завязывалась гораздо раньше, лет за десять до нашего поражения. Однако начну излагать все по порядку.

Я нередко вижу этого молодящегося, лощеного чиновника на телеэкране, встречаю его фамилию в газетных репортажах об открытии выставок и фестивалей, а однажды столкнулся с ним в фойе консерватории, на концерте, посвященном памяти Георгия Васильевича Свиридова. Наши взоры на мгновенье встретились, но мы тут же сделали вид, что незнакомы друг с другом. Хотя познакомились еще при советской власти на освящении церкви Рождества Пресвятой Богородицы, что уже шесть с лишним веков стоит в селе Городня на высоком берегу Волги.

Мои друзья, художники Алексей Артемьев и Искра Бочкова, которые расписывали церковь, пригласили меня на торжественную церемонию освящения. Конечно, с согласия настоятеля храма отца Алексея Злобина...

— Церковь старинная! В ней еще при Дмитрии Донском молебен служили по пути на Куликово поле. Митрополит Таллинский на освящение приедет, Володя Солоухин обещал, они друзья с отцом Алексеем. Отец Алексей тебя ждет и стихи твои любит!

— Да у меня как раз двадцать седьмого ноября день рождения.

— Ну и что? Там отпразднуем! — простодушно обрадовался Алексей Артемьев. — Даже хорошо — в день обновления храма!

Алеша с Искрой уехали в Городню днем раньше, а мы с художником Сергеем Харламовым отправились в Тверскую землю на моей машине утром двадцать седьмого ноября.

В Городне все началось по-церковному торжественно и по-домашнему тепло: и сверкающий благолепием храм, и встреча со знакомыми и незнакомыми русскими людьми — священниками, художниками, семинаристами, местными прихожанами, и необычное для меня застолье в просторной горнице отца Алексея. Вдоль стен горницы стояли ряды столов, художники с писателями устроились поближе к дверям, чтобы легче было выйти, перекурить, а напротив по диагонали, в красном углу под иконами разместились вокруг митрополита Тал-

линского Алексия епископы и духовенство тверской епархии. Однако рядом с митрополитом занял место молодой человек в модных очках с тонкой оправой, в дорогом костюме, с внешностью и манерами комсомольского работника брежневской эпохи. В соседней же комнате устроились человек двадцать то ли иподьяконов, то ли семинаристов, — помню только, что они были из Троице-Сергиевой лавры. Вели они себя в меру шумно и весело, в то время как в нашей горнице царило чинное спокойствие и иерархический порядок. Но вскоре после первых возлияний за отца Алексея, за матушку Любу, за реставраторов-художников, за местное начальство и в наших стенах то тут, то там стали возникать очаги непринужденного общения, постепенно размывшие атмосферу первоначальной чинности.

Вот тут-то я и решил, как мне помнится — по просьбе Искры и Леши, прочитать одно стихотворенье, приличествующее празднику, встал, естественно, со стопкой в руке, и обратился к иерархам, сидевшим в белых подризниках в красном углу:

— Мне было необычно легко и радостно на сегодняшней службе, — сказал я. — Дай Бог здоровья всем, кто замыслил и завершил это святое дело. Я вот вспоминаю мою Калугу. В ней до революции было сорок церквей. Писатель Сергеев-Ценский в романе “Севастопольская страда” описывал, как в Севастополе праздновали во время его обороны в 1855-м какую-то небольшую победу, и заметил, что по этому поводу “колокольный звон стоял как в Калуге на Пасху”. А сейчас что в моем родном городе? Всего лишь две действующие церкви, остальные либо снесены, либо превращены в склады, в кинотеатры, в спортзалы. Приезжаю на родину, брожу по улицам, смотрю на каменные скелеты, на обесчещенные без крестов купола — и горько до слез... Слава Богу, что на Вашей тверской земле дела обстоят лучше. А стихотворенье о моих калужских храмах я написал давно, почти двадцать лет тому назад, в тысяча девятьсот шестьдесят четвертом году...

Церковь около обкома
приютилась незаконно,
словно каменный скелет,
кладка выложена крепко
ладною рукою предка —
простоит немало лет.

Переделали под клуб —
ничего не получилось,
то ли там не веселилось,
то ли был завклубом глуп.

Перестроили под склад —
кто-то вдруг проворовался,
на процессе объяснялся:
“Дети. Трудности. Оклад...”

Выход вроде бы нашли —
сделали спортзал, но было
в зале холодно и сыро,
результаты не росли.

Плюнули, и с этих пор
камни выстроились в позу —
атеистам не на пользу,
верующим не в укор.

Только древняя старуха,
глядя на гробницу духа,
шепчет чьи-то имена,
помнит, как сияло злато,
как с причастья шла когда-то
красной девицей она...

Тишина во время моего чтения стояла полная, я, чувствуя, как меня слушают, некоторые строки произносил чуть ли не полушепотом, еще внимательнее заставляя гостей вслушиваться в каждое слово. Закончив чтенье, под бурные восторги слушателей я выпил и хотел было сесть, но увидел, как митрополит Алексий поднял бокал с шампанским и пригласил меня жестом подойти к нему. Кто-то из сидевших рядом тут же снова наполнил мою стопку, я пересек горницу и почтительно склонил голову перед митрополитом, который поздравил меня со стихами, сказал какие-то одобрительные слова и даже пригубил, чокнувшись со мной, глоток шампанского.

Но когда я воротился на свое место, то неожиданно для всех сосед митрополита, молодой человек в очках с золотой оправой, с искусно подвитыми в парикмахерской кудрями, встал во весь рост под иконами:

— Я вот послушал стихи поэта и не согласен с ним. Партия и правительство везде заботятся об интересах верующих, все храмы, если даже они и не действуют, охраняются государством. Во всех областях есть люди, ответственные за соблюдение норм религиозной жизни... Так что наш поэт либо плохо знает то, о чем пишет, либо клевещет на советскую действительность...

Кровь бросилась мне в лицо. Я приподнялся было, чтобы ответить прилизанному демагогу, но почувствовал на своих плечах ладони матушки Любы, шептавшей мне на ухо:

— Станислав Юрьевич, дорогой, промолчите, мы так

зависим от этого человека. Он у нас в области большой начальник, не отвечайте ему, Бог терпел и нам велел...

А тут еще подоспел отец Алексей:

— Станислав, митрополит спрашивает — напечатаны ли где-нибудь эти стихи. Если напечатаны — подари ему книжку!

Ну как мне было не внять их душевным увещеваниям! Я сел, налил себе очередную стопку, с молчаливым презрением прослушал речь своего коллеги — поэта Алексея Маркова, который ни с того ни с сего, видимо перепугавшись, решил обнародовать свою лояльность властям и заявил, что он не разделяет моих взглядов и что он вообще из "другой команды"...

Словом, Алеша опростоволосился, но это уже не особенно расстроило меня. У входа в гостиницу стоял оживленный шум. Я поднял глаза и увидел нескольких молодых бородатых иподьяконов-семинаристов, которые всяческими одобрительными знаками приглашали меня выйти в коридор. Я вышел, и они чуть ли не на руках затащили меня в свою компанию, заседавшую в соседней по коридору комнате:

— Станислав Юрьевич, читайте нам стихи!

После каждого стихотворенья подвыпившие молодцы в двадцать луженых глоток пели мне "многая лета", да так, что крыша у дома чуть ли не приподымалась, а в главной горнице вздрагивали иконы, висевшие в красном углу над головой партийно-советского функционера из города Калинина. Словом, компенсацию за свой моральный ущерб я получил многократную: и с семинаристами многажды чокнулся и, когда в доме появился однокашник отца Алексея по учебе, уже весьма известный в те годы Александр Мень, я и с ним познакомился и даже по самонадеянности своей ввязался с прославленным проповедником в какие-то богословские споры...

Однако часам к трем ночи гости начали расходиться, хозяева валились с ног от усталости, и до меня дошло, что надо уезжать в Москву. Адреналина в крови было хоть отбавляй, на меня всегда во время предельного возбуждения алкоголь почти не действует, и я, как ни уговаривала нас чета Злобиных переночевать, решил вместе с друзьями-художниками возвращаться в Москву.

Мы сели в машину, и она ринулась в сырую ночь, разрезая фарами тьму и освещая дорогу, усыпанную желтыми листьями, плавающими в мокроснежной слякоти...

Я вроде бы достаточно быстро отрезвел, и все было бы хорошо, если бы километров через семьдесят на полдороге к Москве на каком-то шоссейном перекрестке не совершил

мелкого нарушения. Сотрудник с жезлом возник передо мною как из-под земли. К своему ужасу, я почувствовал, что у меня почти нет сил, чтобы выйти из машины. Бдительный сержант заподозрил неладное, открыл дверцу машины, помог мне вылезти. Мы побрели через дорогу к его скворечнику, куда надо было подыматься по многоступенчатой металлической лестнице. В скворечнике было светло и даже уютно. За стеклами шумели листья, сыпался мокрый снег, а сержант и его напарник стали определять степень моего опьянения. Когда я дунул в ихнюю трубку, то с отчаяньем увидел, что в прозрачном сосуде, куда вошло мое отравленное дыханье, образовались завитки черного дыма, которые, как я читал, должны были быть всего лишь навсего светло-зелеными.

Гаишники покачали головами и, заглядывая в мои права и техпаспорт, начали составлять протокол. Они не торопились, до утра было еще далеко, на шоссе в такую непогодь не было никакого движения, и ребята откровенно скучали. Я попытался воспользоваться этим обстоятельством.

— А рассказать вам, как все произошло? — в отчаянье начал я свою исповедь, понимая, что никуда отсюда уже не уеду и что придется мне и моим друзьям коротать время в машине до утра, а потом кое-как добираться до Москвы, и что водительских прав я лишусь — и надолго. Отчаянье придало мне вдохновения, и я весьма живописно, кое-что приукрашивая, рассказал им, как был на обновлении церкви, как прочитал стихотворенье, за что был привечен митрополитом (которого, правда, я тогда, оговорившись, назвал патриархом!), с которым не посмел не выпить, как был оскорблен советским чиновником, как в мою честь несколько раз хор иподьяконов исполнял "многая лета"... И все это в день своего собственного рождения!

— Ну как после всего, что произошло, ребята, я мог остаться трезвым как стеклышко? — картинно разводя руками, оправдывался я.

— А какое стихотворенье ты прочитал? — спросил меня сержант. Градус вдохновенья в моей душе моментально поднялся, и я продекламировал в милицейском скворешнике "Церковь около обкома" с таким чувством, которого не испытывал никогда.

Ребята переглянулись и задали мне тот же вопрос, что и митрополит:

— А оно напечатано?

И тут, словно молния, меня осенило — вот он шанс на спасение!

— Ну, конечно же, напечатано! Книжка у меня в бардачке! Сейчас принесу!

На совершенно трезвых ногах я скатился по мокрой железной лесенке, подбежал к машине, вытащил из бардачка тощенькую книжицу и как на крыльях взлетел в скворешник.

— Глядите! Напечатано! Только одно слово цензура заставила переделать — "Церковь возле гастронома"!

— Ну дари, подписывай!

Сержант протянул мне шариковую ручку, а пока я писал что-то размашистое и сентиментальное, он на моих глазах демонстративно разорвал уже составленный протокол и протянул мне права и техпаспорт.

— Держи, поэт! Езжай осторожно, дорога скользкая! Впереди еще один наш пост. Мы туда позвоним, чтобы тебя не задерживали, не беспокойся. А когда переедешь в Московскую область — то молись, чтобы пронесло. На московской земле нашей власти нету. С днем рождения!

До Москвы мы доехали благополучно.

Лет через десять после этой ночи я, уже главный редактор "Нашего современника", вместе с Распутиным и Крупиным удостоился приема у Святейшего Патриарха Всея Руси Алексия II, бывшего митрополита Таллинского. Мы готовили пасхальный номер журнала, который собирались открыть словом Патриарха к верующим читателям нашим.

После душевной и довольно длительной беседы мы стали прощаться с Патриархом, и я осторожно напомнил ему:

— А мы, Ваше Святейшество, встречались в прежние времена в день обновления храма в Городне.

Алексий II внимательно посмотрел на меня и спокойно, но строго произнес:

— Да, я помню...

Что же касается лощеного чиновника, о котором одна из центральных газет в 1991 году писала, что он нечист на руку и замешан в грязных делах, связанных с хищением икон в Тверской губернии, то он, естественно, превратился из напыщенного партийного идеолога в ярого демократа, был замечен Ельциным, который сделал его начальником Останкинского телецентра, и сыграл весьма подлую роль в проведении кровавой октябрьской провокации 1993 года. Честный английский журналист, заведующий корпунктом английской газеты "Гардиан" в Москве Джонатан Стил так писал о нем в своей газете 13 ноября 1993 года:

"Председатель телецентра Вячеслав Брагин, выдвиженец Ельцина, приказал прекратить передачу новостей из Остан-

кино. Они возобновились позже вечером, но из другого телецентра. Этот перерыв в передачах имел целью раздувание несуществующей опасности атаки Останкино в глазах россиян, которые следили дома за развитием событий. А последовавшие за этим репортажи контролируемого правительством радио и телевидения давали извращенную картину того, что происходило, словно бы сражение за Останкино с непредсказуемым результатом длилось многие часы..."

В роковые дни 3—4 октября 1993 года все главные действующие лица того далекого и светлого праздничного вечера в Городне были словно бы некой сверхчеловеческой волей задвинуты в эпицентр исторической катастрофы. И каждый из них занимался своим делом.

Вячеслав Брагин осуществлял сценарий останкинского кровавого спектакля.

Я, приехавший на телецентр, чтобы выступить в "Русском доме" в день рождения Сергея Есенина, когда началась стрельба, укрылся за каменным бордюром и с ужасом глядел, как вокруг мечутся и падают люди, как звенят и поскакивают на бетонных плитах автоматные гильзы, летящие со второго этажа.

Отец Алексей Злобин, депутат Верховного Совета России, на другой день, как и положено русскому православному священнику, причащал, крестил и исповедовал мужественных смертников Белого дома в коридорах, наполненных дымом и кровавым смрадом.

Патриарх в эти роковые сутки молился за Россию, раздумывая о том, кто первый пролил русскую кровь на камни Москвы и кого предать анафеме...

Мне остается лишь добавить, что Брагин ныне (1998 г.) является заместителем министра культуры Российской Федерации. Четверо министров сменилось при нем.

Министры приходят и уходят, а такие, как он, остаются несменяемыми ренегатами всех режимов, вечными талейранами, фуше, яковлевыми.

Бывали хуже времена, но не было подлей.

Нижегородский отшельник

Федор Сухов — редкий вид русского человека. Его первое письмо ко мне. Судьба провинциального поэта. Неизвестное стихотворение Николая Клюева. Моя многострадальная книга. Поддержка нижегородского отшельника. Спор об ифлийцах. Солдат, проклявший войну

В начале 80-х годов я несколько раз побывал в Нижнем Новгороде — тогдашнем Горьком. Дело в том, что местные краеведы решили открыть на здании больницы, где когда-то работал врачом мой дед Аркадий Николаевич Куняев, памятную доску в его честь. Я приезжал в Нижний, копался в областном архиве, расспрашивал о судьбе деда и бабушки, Натальи Алексеевны, которая тоже работала врачом в той же больнице, у их сына — моего дядьки Николая Аркадьевича, составлял текст надписи на мраморной доске, договаривался с местным начальством о дне торжественного открытия. Вскоре памятная доска была изготовлена, собрались к больнице старейшие медицинские работники города, помнившие деда и бабку, умерших от тифа во время гражданской войны (больница их в то время была тифозным лазаретом), я приспустил с доски традиционное покрывало, произнес несколько слов благодарности городу и после небольшого банкета в гостинице уехал в Москву. А через какое-то время получил из Нижнего Новгорода письмо, написанное красивым, ровным почерком. Оно было от поэта Федора Сухова.

Он воплощал в себе редкую разновидность русского человека, очерченную в литературе нашей, может быть, полнее всего Иваном Сергеевичем Тургеневым.

Помните Касьяна из Красивой Мечи, Калиныча, Яшку Турка — персонажей "Записок охотника", одной из самых

любимых моих книг. Все они — хрупкие, поэтические, созерцательные натуры, сторонящиеся борьбы и крови, певцы и знахари, отшельники и сказочники. Они помнят названия русских трав и лечебные их свойства, умеют заговаривать кровь, восхищаются голосами лесных и полевых пташек, их трелями, пересвистами, чириканьем, наслаждаются перезвонами русской народной речи, живут, как Божьи легкокрылые создания, в ее стихии и потому, может быть, сухонькие, даже тщедушные, артистичные от природы, до старости сохраняют в своем облике нечто вечно отроческое... Да и похож он был тонким очертанием впалого худого лица, мерцающими птичьими глазами, хохолком, свисающим со лба, острым подбородком, легкой, словно бы чуть-чуть прыгающей походкой на какую-то диковинную птицу, опирающуюся во время ходьбы на легкий самодельный посох.

И вот именно человеку такого склада, как говорится, не от мира сего, в июне 1941 года Россия в минуту смертельной опасности вложила в руки оружие.

Провожали меня на войну,
До дороги большой провожали.
На село я прощально взглянул,
И вдруг губы мои задрожали.

Ничего б не случилось со мной,
Если б я невзначай разрыдался, —
Я прощался с родной стороной,
Сам с собою, быть может, прощался.

А какая стояла пора!
Лето в полном цвету медовело.
Собирались косить клевера.
Рожь от жаркого солнышка млела.

Поспевала высокая рожь,
Наливалась густая пшеница,
И овес, что так быстро подрос,
Прямо в ноги спешил поклониться.

Заиграла, запела гармонь,
Все сказала своими ладами,
И платок с голубою каймой
Мне уже на прощанье подарен.

В отдалении гром громыхнул,
Весь закат был в зловещем пожаре...
Провожали меня на войну,
До дороги большой провожали...

Лучше всех много лет тому назад об этом замечательном стихотворении написал Вадим Кожинов:

"В чем тайна этого стихотворения? Именно в том, что перед нами не "картина", а цельное огромное переживание. Родина, народ провожают своего сына на войну. И отдельные лица уже неразличимы. Есть стихия Родины, в которой все слилось. Но если вглядеться, угадываешь и все слагаемые этой стихии: "губы мои задрожали", и "ничего б не случилось со мной, если б я невзначай разрыдался..." Сквозь это видишь идущую рядом плачущую мать и скорбное лицо отца. А вот и голос друга — гармонь, которая "Все сказала своими ладами". И девушка, ибо, конечно, именно она подарила "платок с голубою каймой". И, наконец, рожь, пшеница — то богатство, то добро и красота, в которые веками укладывались и труд и любовь односельчан, так что это как бы уже живые существа, кланяющиеся в ноги уходящему молодому хозяину.

Мальчишка — а возраст героя отчетливо выражается в этих "вдруг задрожавших губах" — прощается с Родиной, уходит в зловещий пожар войны. Что ж, может, слаб и боязлив он, если готов невзначай разрыдаться? Герой не сияет на прощание показной белозубой улыбкой. Он по-русски откровенен и открыт и не соблюдает "форму". Но совершенно ясно: больше уже не дрогнут ни губы его, ни рука. Здесь, на пороге родного дома, он уже заранее как бы пережил и преодолел страх смерти, "попрощался сам с собою".

Ко всему сказанному мне разве что хотелось бы добавить, что все-таки такие люди рождаются в народе не для войны, а "для вдохновенья, для звуков сладких и молитв". Федор Сухов из Красного Осёлка, тургеневский Касьян из Красивой (Красной!) Мечи. Даже имена их деревень родственны друг другу.

"Дорогой Станислав!

Спасибо за с в е т. По всей вероятности, тебе неизвестно, как давно, как пристально я слежу за твоим светом, среди моих книг есть и твои книги, даже те, которые вышли за хребтом Кавказа, в Грузии.

Когда бываю в Нижнем, проходя по набережной, гляжу на памятную доску, которую (как мне говорили) благодаря твоим стараниям прикрепили к стене спецбольницы во славу твоих дедичей и отчичей. Да святится их имя, их дело в памяти народной!

Что касается поэтов фронтового поколения, мне думается, у поэтов нет возраста, поэт всегда во времени,

нельзя, например, назвать Есенина поэтом первой мировой войны или революционной, как и дореволюционной эпохи, то же самое можно сказать про Пастернака, поэтому у меня с тобой много может быть общего, несмотря на разницу в летах. (В этом выразилось несогласие с тем, что я, послав ему книгу своих стихов, называл его в дарственной надписи поэтом фронтового поколения. — **Ст. К.**). *Впрочем, ладно, я плохой теоретик, мне хочется только одного: ухватить за пятку уходящий день, запечатлеть его в каких-то словах, звуках. На большее я не рассчитываю. Вот сколько лет я хожу-брожу по местам своего появления на свет, казалось бы, все известно, все знакомо, но вчера я узрел такое местечко, которое меня убило своей красотой, своей необычностью. Ах, как хорошо, что я еще могу что-то зреть, что-то видеть.*

Знаешь, изо всех стихов Твардовского мне больше всего по душе, по нутру одно стихотворение, никем не замеченное.

Как после мартовских метелей.
Свежи, прозрачны и легки,
В апреле —
Вдруг порозовели
По-вербному березняки.
Весенним заморозком чутким
Подсушен и взбодрен лесок,
Еще одни, вторые сутки,
И под корой проснется сок.
И зимний пень березовый
Нальется пеной розовой.

Кланяюсь тебе нашей приволжской вербой, ее умиленной слезой.

Федор Сухов.
24 марта 1983 г.,
с. Красный Осёлок".

Письмо было неожиданно личным, сердечным, доверительным, "неожиданно" потому, что до сего времени мы с Федором Григорьевичем Суховым случайно раз, другой встречались то ли в Доме литераторов, то ли в Доме творчества и ни о чем всерьез поговорить не успели. А тут такие слова, как будто мы давно знакомы, и даже засохшая веточка вербы приколота к письму, как прямое свидетельство того, что письмо написано в конце марта, и как живое дополнение к чудному стихотворению Твардовского.

С той поры и началась наша переписка, закончившаяся только после смерти Федора Сухова. Следующее письмо было

как бы благодарностью его за то, что я написал в издательство "Современник" рецензию, в которой настаивал на скорейшем издании его книги.

"Дорогой Станислав!

Давным-давно послал тебе письмо, в котором я оповещал тебя, что мой знакомый, бывший директор средней школы города Первомайска, ныне краевед-пенсионер Клюев Николай Федорович, просил у меня твой адрес. Он хотел уведомить тебя о построенной твоим дедом больнице в бывшем Ташине (ныне Первомайске), или (лучше) в нынешнем Ташине (бывшем Первомайске). Не знаю, получил ли ты это письмо или нет. И еще. Послал тебе свою книгу "Подзимь". Тоже не знаю, получил ты ее или нет. А я вот получил твою рецензию из издательства "Современник" на мою рукопись. Благодарен тебе за преувеличенно-высокий отзыв. Меня слезы прошибли, я ведь до сих пор в черном теле пребываю. К сожалению, издательство не может издать мою книгу, оно перешло на издание только новинок. Ничего, переживем. И еще. Ты меня считаешь поэтом войны, себя я таковым не считаю. Если я действительно поэт, то поэт наших российских пажитей, поэт своего Красного Осёлка, ибо "более всего любовь к родному краю меня томила, мучила и жгла".

Дорогой Станислав, может, махнешь в наши нижегородские пределы, в которых пребывали не забытые нижегородцами твои родичи.

А у меня в Красном Осёлке уже поют соловьи, поют оттого, чтобы согреться, холодно, да и голодно в сельской местности, впрочем, сам я довольствуюсь ромашками-кашками, всякой съедобной и несъедобной травкой, поэтому продовольственная программа меня особо не волнует, вернее, она меня не довольствует, я ее не ем. Шучу! Что же, можно и пошутить от радости, ты действительно утешил меня.

Кланяюсь тебе нашей Волгой, моим Красным Осёлком.

Федор Сухов.
3 (день Пасхи) 1986 г.,
с. Красный Осёлок".

Повторюсь, что поводом для этого письма была внутренняя рецензия на рукопись Федора Сухова, которую я написал для издательства "Современник". Рукопись восхитила меня. Что же касается сообщения Сухова о больнице, якобы построенной моим дедом в Ташино, то здесь Федор что-то напутал. До

перевода в Нижний Новгород дед с бабкой в 1905—1912 годах работали в земской карамзинской больнице в поселке Рогожка, что неподалеку от Дивеевского монастыря и Арзамаса-16.

Кстати, и на той больнице в начале 90-х годов была открыта памятная доска, увековечившая имя деда.

А письма Федора Сухова я всегда получал с особым волнением. В них встречались и короткие, но точные оценки поэтов России, и краткие, но выразительные картины родной природы и деревенской жизни, и живые подробности жизни собственной. Угадывалось по письмам, что одиноко ему было в эти годы на родине, не с кем было поговорить душевно и откровенно. Власть тогдашнюю он не любил, да и она его не жаловала, в круг официально признанных поэтов, в привилегированную фронтовую обойму попасть не стремился, потому и жил замкнуто и, найдя во мне сочувствие и понимание, время от времени отводил душу в письмах. Иногда обращался со мной на "ты", а иногда вдруг, от природной деликатности, что ли, переходил на "вы".

"Дорогой Станислав Юрьевич!

В Ялте приобрел Вашу книгу "Пространство и время". Ваши книги у меня и до этого были, я их читал и хорошо знаю Вашу поэзию. Но так уж бывает, только по последней Вашей книге почувствовал (ощупал), как мы с Вами близки. И эта близость радует, приятно знать, что ты не одинок. Я всю жизнь искал какой-то близости, в свое время восхищался Н. Тряпкиным, М. Исаковским, А. Твардовским, А. Прокофьевым... Мне кажется, наша поэзия утратила ту образность, начало которой так блистательно являли Н. Клюев, С. Есенин, утрачена музыка, без которой не мыслили А. Блок, А. Ахматова, Б. Пастернак, М. Цветаева.

Мне близка Ваша музыка, Ваша словесная весомость.

Был бы очень рад увидеть Вас в наших нижегородских пределах. Кланяюсь Вам последней улыбкой нашего русского лета.

Федор Сухов.
16 октября 1986 г.,
с. Кр. Осёлок".

К листку был подколот высохший, пожелтевший цветок луговой фиалки... А еще стихотворение Федора Сухова, написанное также от руки. Стихотворение — доверительное, очень личное, а по тем временам и крамольное.

Обезглавлены колокольни,
Наземь сброшены колокола...
Кони, кони, каурые кони,
Больше нет ни двора, ни кола.

Да и нету коней-то. Нету.
Ни телеги нет, ни дуги.
Возвышая глаза свои к небу,
На свои возвращаюсь круги.

Я к тебе возвращаюсь, о Господи,
Сына блудного не отринь!
Упаси от дьявольской гордости
На свет вышедшую полынь.

Лебеду мою к давней истине
Через гати свои проведи.
Знаю — выживет, выстоит
Только тот, кто идет впереди;

Кладет свою душу,
Умирает за други своя,
В холодь майскую, в майскую стужу
Своего прибодрит соловья.

Отогреет дыханье яблонь
На рассветной студеной заре, —
Только доброе семя прозябнет,
А недоброе сгинет в земле.

2 мая 1986 г.

Возможно, что стихи ("на свет вышедшую полынь") написаны и под впечатлением от Чернобыля... Не знаю, успел ли Федор Сухов опубликовать их. Кажется, что нет.

Поводом для следующего письма послужило то, что мы с сыном издали в 1986 году в Архангельске самую полную по тем временам книгу стихотворений и поэм Николая Клюева, и я, зная, как любит поэзию Клюева Федор Сухов, сразу же послал книгу ему в Нижний Новгород.

"Дорогой Станислав!

Мое ретивое замерло от неожиданного подарка. Если бы ты знал, какую радость доставил мне...

Начало января 1942 года, наша 14-я противотанковая бригада была переброшена из-под Воронежа под Сторожевое, мой взвод противотанковых ружей занял позиции в самом селе. Была оттепель. В брошенных и разбитых домах беспризорно валялось всякое барахло. В одном разбитом доме с листа дореволюционного журнала жалобно глянули на меня сточенные подтаявшим снегом стихотворные строки.

Черны проталины навозом,
Капустной прелью тянет с гряд,
Ушли метелицы с морозом,
Оставив марту снежный плат.

И за неделю март-портняжка
Из плата выкроил зипун,
Наделал дыр, где подзапашка,
На воротник нашил галун.

Кому останется обнова?..
Трухлявы кочки, в поле сырь,
И на заре в глуши еловой,
Как ангелок, поет снегирь.

Капели реже, тропки суше,
Ручьи скатилися в долок...
Глядь, на пригорке лен кукушкин
Вздувает синий огонек.

Тогда-то я испытал великое блаженство от первого знакомства с поэзией Николая Клюева. Раньше я знал (из автобиографии С. А. Есенина) только фамилию этого поэта. Беспризорно кричащие, вернее, плачущие строки навсегда нашли приют в моей памяти. После войны в Москве в букинистическом магазине я приобрел два сборника Н. А. Клюева "Сосен перезвон" и "Избяные песни", сборники эти когда-то принадлежали Пясту. Потом стали попадаться стихи Н. И. Тряпкина, стихи эти я воспринимал, как продолжение той поэзии, родоначальником которой был олонецкий чудодей...

В 1974 году попал я в Малеевку, в Дом творчества, ко мне часто заходил Н. И. Тряпкин, много говорили об олонецком чародее. Как-то сами собой сложились строки, которые я посылаю тебе (и твоему сыну) как благодарение за великую радость. Кстати, у меня есть стихотворение Н. А. Клюева, которое не входило ни в одно его издание. Будь здоров, жду тебя в нижегородские пределы.

Федор Сухов.
21 марта 1987 г.,
Н. Новгород (б. Горький)".

(до возвращения Горькому исторического имени оставалось еще несколько лет)...

А вот и стихотворение Ф. Сухова, написанное под впечатлением от чтения книги, изданной нами:

Станиславу Куняеву,
Сергею Куняеву с благодарностью.
Федор Сухов.
21.03 87, Н. Новгород.

ПОВЕСТВУЕТ СИВЕРКО

Осыпается, падает под ноги
Золотое убранство осинника.
О каком-то неведомом подвиге
Голосит набегающий сиверко.

Повествует о сказочной Ладоге,
О былинном кручинится витязе,
Что играл не на гуслях — на радуге,
Что всего себя песнями высветлил.

Перезвонами утренней сосенки
Упивался олонецкий гудошник,
Колобродил по клюквенной просеке
Баско, зная все глобочки тутошны.

Все промоины, все перемоины
Ведал он да по всей по окружине,
Что была, как невеста, помолвлена,
Со своим уговорена суженым.

Ну а суженый тешился песнями,
Душу клал не на гусли — на радугу,
Золотыми волшебными перстнями
Одарял и Онегу и Ладогу.

И тогда-то пошла хороводиться,
В пляс пустилась просторная улица,
Из озерного хрупкого хвороста
Воскрылила залетная утица.

Приподнялся и селезень. На полночь,
На Полярное глянул сияние.
Ядовитой росою окаплилась
Волчьей сыти глубокая ямина.

Пала на пожни белая изморозь,
Свинцовея, угрюмилось озеро,
Там, где дикая, гиблая низменность
Каменеючи обезголосила.

Сгиб безвестно олонецкий гудошник,
Отходил он по клюквенной просеке;
Только здравствуют иволги тутошни
С перезвонами утренней сосенки.

Сентябрь 1974 г. Малеевка

В последние годы жизни Федор Сухов ревниво и пристрастно читал книги поэтов моего поколения, искал единомышленников по русскому слову и русскому чувству... В 1986 году, за год с лишним до смерти Анатолия Передреева, была издана его последняя прижизненная книга "Стихотворения"... Федор сразу же прочитал ее.

"Дорогой Станислав!

Рад твоей весточке. Благодарю за память. Жду в наши нижегородские пределы. Недавно приобрел новую книгу Анатолия Передреева, какой замечательный, по-русски чистый, редкий в наше время действительно талантливый поэт! Жаль, что он так мало пишет. Впрочем, мал золотник, да дорог. Я сейчас сижу в Нижнем, зима больно в этом году сердитая... Ну, ладно. До встречи.

Федор С.
28 января 1987 г.,
Н. Новгород (б. Горький)".

Весной 1987 года я опубликовал в "Новом мире", где доселе никогда не печатался, несколько стихотворений...

"Дорогой Станислав!

Радостно воспринял твою подборку в "НМ". Мне думается, что ты шагаешь через самого себя и приближаешься к тому искомому слову, которое давно утрачено нашими стихотворцами.

Радостно встретил доброе слово о Н. Тряпкине. Пожалуй, он единственный, кто верен тому же слову, по крайней мере, он наш патриарх. Думаю, ты меня хорошо понимаешь.

Кланяюсь твоей супруге последней улыбкой нашего красного лета.

Федор Сухов.,
30 августа 1987 г.
с. Кр. Осёлок".

В прорезь на бумаге, как традиционный привет от Федора, был вставлен "цветок засохший, безуханный..."

"Дорогой Станислав!

Посылаю, возможно, неизвестное тебе стихотворение Н. А. Клюева. Рад был встрече в ЦДЛ. К сожалению, мало поговорили. Но о Клюеве успели. Он действительно великий поэт, родоначальник той новой поэзии, которая дала нашей

словесности С. Есенина, П. Васильева, М. Исаковского, Н. Тряпкина, А. Прокофьева. На образности Клюева (возможно, через Есенина) развилась поэтика А. Веселого, М. Шолохова, не чужд этой поэтики был и А. Чапыгин и многие другие прозаики.

Кланяюсь нашим небом, его зорями.

Федор С.
27 июня 1987 г.,
с. Кр. Осёлок".

В Доме литераторов мы в радостной суматошности проговорили целый вечер. И Передреев был с нами. Федор, в отличие от своих молодых друзей, пил водочку осторожно, уважительно, небольшими глоточками, как птица. Его лицо, прорезанное морщинами, постепенно разглаживалось, тонкая улыбка к концу вечера все чаще высвечивала глубоко запавший рот. Чистый Калиныч.

Вопреки обыкновению, в прорезь на письме были вставлены не один, а два цветка — фиолетовый и розовый, и приложено стихотворение Клюева "Не качнутся под бегом лосиным", датированное 1927 годом и стоящее особняком в его творчестве. Стихи о строительстве советской цивилизации.

* * *

Не качнутся под бегом лосиным
Приозерные берега,
Не стучат по застывшим осинам
Завитые оленьи рога.
И мелькает повадка медвежья,
Поднимая упрямые лбы,
По крутым большакам Заонежья
Телеграфные встали столбы.

На болотное это пространство
Город жаркие руки простер,
Вышки дымные электростанций
Озаряют несметный простор.

Грохнут волны в тяжелом разбеге,
Перекличку ведут облака.
Пароходы бегут по Онеге,
Колыхая тугие бока.

К шумной пристани по откосам,
Где высокая гнется трава,
Носят девушки смуглым матросам
Прионежских грибов кузова.

О страна, — в синеяростном дыме
Ты в грядущее строишь мосты,
Завитыми и золотыми
Проводами опутана ты.

(1927)

В конце 1987 года я послал Ф. Сухову свою книгу критики и публицистики... Ответ из Красного Осёлка не заставил себя ждать.

"Дорогой Станислав!

Был в Нижнем, увидел присланный тобой "Огонь, мерцающий в сосуде". Рад, что твой огонь выдвинут на соискание премии имени А. М. Горького.

Я погрелся у твоего огня, стало теплее на душе. Думаю, что ты совершаешь великое дело, — Клюев, Есенин, Васильев истинно народные поэты, пожалуй, только они вобрали в себя дух русского человека, его поэтические воззрения, вовремя — среди воя и свиста заговорил ты о В. Высоцком (твою статью о нем я читал раньше). Короче — будь самим собой. Жду новых встреч.

Федор Сухов.
11 ноября 1987 г.,
с. Кр. Осёлок".

В 1987 году была выдвинута на соискание Государственной премии моя многострадальная книга "Огонь, мерцающий в сосуде". Я не зря называю ее многострадальной, в ее основе лежала книга статей "Свободная стихия", изданная в том же издательстве несколькими годами раньше. Даже дружески настроенные ко мне работники издательства Евгений Лебедев, Александр Байгушев и Валентин Сорокин, читая многие главы, общие для обеих книг, в свое время хватались за головы, наперебой предлагали мне такие-то абзацы снять, такие-то страницы переделать, особенно смущал их еврейский вопрос. Я понимал их и не осуждал. Ведь они отвечали за судьбу целого издательства. Но и своего детища было жалко.

В конце концов верстка "Свободной стихии" попала на чтение к самому директору издательства Николаю Шундику, который находился в больнице, но тем не менее решил лично заняться скандальной книгой. Из больницы я получил письмо Шундика на двенадцати страницах. По существу, он предлагал мне начать работу под рукописью чуть ли не сначала.

"В книге оказался ряд таких мест, которые ставят ее под сокрушительный удар".

"Очень неосмотрительно цитировать Лермонтова, писавшего в личном письме: "А их (горцев) 600 осталось на месте, кажется, хорошо". Это надо убрать... Цитата звучит нынче страшно".

"Твои размышления о внутреннем рабстве двусмысленно проецируются на наши дни. На подразумеваемое нами "сегодняшнее". Причем понимай его как хочешь — и как сионистское рабство можно прочесть, а можно прочесть еще и пострашнее".

"На стр. 266 герой говорит: "Взяли в плен 250 человек (это про эсэсовцев), тут же на путях и расстреляли, некогда с имя было возиться". А вот "Немецкая волна" найдет время повозиться, целую передачу построит. Зачем это нам?"

Я вспоминаю все обстоятельства этой давней истории лишь потому, чтобы нынешние молодые писатели воочию убедились в том, сколько лишних сил, воли, терпения приходилось тратить нам в свое время, чтобы донести до читателей свои заветные чувства и мысли. Николаю Шундику я ответил страстным посланием.

"Дорогой Николай Елисеевич!

Горестно мне писать это письмо Вам — но другого выхода у меня нет. Вы сделали немало замечаний по верстке моей книги и предлагаете, чтобы я их учел... Если бы Вы знали, как я сдавал эту книгу! Полгода непрерывной работы по замечаниям и предложениям Лебедева, Карелина, Байгушева, Сорокина. При всем при том, что рецензенты и все работники издательства с восторгом отзывались о книге в целом... Одну статью о Багрицком я переделывал четыре раза (!), потому что и Карелин, и Байгушев, и Сорокин гарантировали, что после очередной доработки она все-таки останется в рукописи. Но в последний период ее прочитали Вы, и я, буквально скрепя сердце, пошел навстречу Вашему пожеланию и убрал статью из книги, хотя, на мой взгляд, она необходимо должна была там остаться. — Ну, подумал я тогда, — наконец-то книга сдана и мои мытарства кончились... Однако они начинаются снова. Зачем же тогда была проведена вся эта громадная редакторская работа? Почему же Вы не доверяете своим работникам? Давайте тогда, если Вы хотите редактировать мою книгу, начнем все сначала, с первоначальных вариантов глав — потому что не со всеми сокращениями и правками я был согласен, — может быть,

Вы к иным страницам подойдете более объективно, чем мои редактора! Вы же прекрасно знаете, Николай Елисеевич, что каждый лишний читающий редактор — это очередная правка. Не может быть такого, чтобы в книге все было бесспорно и чтобы редактор на сто процентов был согласен с автором. Я известный поэт, автор четырнадцати поэтических книг, двадцать лет работаю в поэзии и критике. Как все писатели, особенно в жанре этой книги, я имею право на субъективные оценки, на свое понимание поэтического творчества того или иного поэта... Прошу Вас проявить широту и оставить мне эту возможность. Я сам отвечаю за свою книгу, в первую очередь и как поэт, и как член партии, и как секретарь правления Московской писательской организации. Конечно, за книгу отвечаете и Вы, но коль по главным идейным параметрам она прочна — то всякого рода эстетические оценки — их можно принимать широко. Измучился я с этой книгой, Николай Елисеевич. Она — плоть и кровь моя. Не режьте по живому. Я человек не слабый. С недругами бороться умею. Но хуже нет отстаивать себя в спорах с единомышленниками... Руки опускаются. И это в то время, когда нам, как никогда, нужны широта по отношению друг к другу, желание понять друг друга, терпимость к разного рода оттенкам наших взглядов... Ведь мы каждый по-своему боремся и утверждаем значительность и жизнеспособность русской советской литературы, и главная наша беда в этом деле — разобщенность, а главная задача — единство, единство и еще раз оно.

Карелин, Сорокин и Байгушев берут всю ответственность за книгу на себя, поскольку Вы в больнице... Зачем Вам подменять их всех, когда я с ними столько работал, что рукопись трижды (!) пришлось перепечатывать. Я шел на очень многие уступки.

Прошу Вас по-человечески подписать книгу, чтобы мы все облегченно вздохнули. Прошу у Вас понимания и поддержки. Если ее не будет — в таком искромсанном виде я книгу издавать не стану. Слишком она мне дорога.

Выздоравливайте скорее.

Ваш Ст. Куняев".

Но как бы то ни было, книга "Огонь, мерцающий в сосуде" вышла, и я был рад тому, что меня выдвинули на премию имени Горького. Мне исполнилось к тому времени уже пятьдесят пять лет, ни одна из моих книг не выдвигалась до сих пор ни на какую премию, и я, естественно, очень волновался. Как

оказалось, не зря. Либеральный террор и диктатура среды тут же показали свои когти. Родион Щедрин несколько раз брал слово на заседании комитета по премиям, устраивал истерику: как можно присуждать премию человеку, "поднявшему руку" на самого Высоцкого! Евгений Евтушенко опубликовал открытое письмо во всемогущественной тогда "Литературной газете", в котором обвинял меня в "зависти" и "сальеризме". Было от чего опустить руки, но вдруг — получаю письмо, написанное знакомым изящным почерком, из далекого уголка нижегородской земли:

"Дорогой Станислав!

Прочитал недостойное не токмо литератора, но просто-напросто порядочного человека письмо Евтушенко. Показал свои клыки серый волк, думаю, ты не убоялся, и все же считаю нужным как-то тебя оградить от обнаженных клыков, от ядовитой слюны.

Я мог бы сочинить какой-то ответ, но мне неловко, серый волк упоминает твою статью, в которой я как-то присутствую, может, лучше сочинить коллективный ответ, будет более весомо, и напечатать его в "Литературной России". Безоговорочно ставлю свою подпись. Жду весточки. Держись, крепись.

С приветом
Федор Сухов.
17 января 1988 г."

Дальнейший сюжет нескольких писем Федора Сухова связан с откликами на мою статью "Ради жизни на земле", опубликованную в 1987 году журналом "Молодая гвардия". Главная мысль статьи была в том, что поэзия о Великой Отечественной войне — разная, один ее пласт брал исток в понимании войны как продолжения всемирной революции, рисовал ее контуры в романтически-книжных тонах, а другой ощущал войну как тяжкую народную страду, как великое несчастье, как национально-патриотическое бытие России.

Героями первого пласта — "романтиками войны" были, в основном, поэты, вышедшие из русского еврейства, второго — коренные, почвенные русские люди. Какой поднялся хай! Какие проклятия посыпались на мою голову с перьев О. Кучкиной, Е. Евтушенко, А. Туркова, Л. Лазарева и других... Но один из тех, кто выступил в мою защиту, был Федор Сухов, возмутившийся статьей Л. Лазарева-Шинделя, опубликованной в "Знамени". Однако ответ Сухова Лазареву тогдашний

редактор "Литературной России" Колосов публиковать отказался, о чем я узнал из очередного письма моего нижегородского отшельника, которого я вольно или невольно, но втянул-таки в свою национально-идеологическую борьбу.

"Дорогой Станислав!

Читай для ознакомления мое послание редактору "Литературной России". Мне непонятно, почему ее редактор так враждебно воспринял твою статью. А статья твоя — смелая и вне всякого сомнения справедливая. Жаль, что нет такого органа печати, чтоб как-то усмирить разбушевавшихся "романтиков". Кланяюсь.

Федор Сухов.
2 марта 1988 г.,
с. Кр. Осёлок.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

"Хочу просто предупредить читателей, что в статье "Ради жизни на земле" нельзя принимать на веру ни одного факта, ни одной цитаты, ни одного утверждения", — это заклинание из статьи Л. Лазарева, напечатанной в журнале "Знамя", это-то заклинание и заставило меня выступить с данным письмом. Дело в том, что автор статьи "Ради жизни на земле" Станислав Куняев приводит (цитирует) строки из моих стихов. Сразу же заявляю, приводимые (цитируемые) строки не искажены, даны в том виде, в каком они напечатаны в моих книгах, верно расставлены даже знаки препинания. Возможно, Л. Лазарев сомневается в достоверности моих строк, тогда как быть со строками А. Твардовского, С. Орлова, А. Прасолова, В. Кочеткова? Неужели и им нельзя доверять?! Да и не только им, но и "выдранным", "перетолкованным Куняевым до полной неузнаваемости" цитатам из стихов К. Симонова, Б. Слуцкого, А. Межирова. Не знаю, как можно перетолковывать "до полной неузнаваемости" "выдранные с мясом, с хрустом" (какой живодер!) отдельные строки, но мне хочется сказать несколько слов о стихотворении Б. Слуцкого "Как делать стихи". "Это единственный случай, — пишет Л. Лазарев, — когда Куняев полностью цитирует критикуемое стихотворение".

Стих встает, как солдат.
Нет, он как политрук,
что обязан возглавить бросок,
отрывая от двух обмороженных рук
землю всю. Глину всю. Весь песок.

Стих встает,
а слова, как солдаты, лежат,
как славяне и как елдаши,
вспоминая про избы, про жен, про лошат,
он-то встал, а кругом ни души!
И тогда политрук...
Впрочем, что же я вам говорю,
стих хватает наган,
бьет слова рукояткой по головам,
сапогами бьет слова по ногам,
и слова из словесных окопов встают,
выползают из-под словаря.
И в атаку бегут, и при этом поют,
мироздание все матеря.
И, хватаясь, перечеркнутые, за живот,
умирают, смирны и тихи...
Вот как роту подъемлют в атаку, и вот
как слагают стихи.

"Политрук Слуцкого стремится к своей цели любой ценой, а — "славяне и елдаши" для него всего лишь винтики войны", — так пишет Станислав Куняев об этом стихотворении. Следует сказать, Л. Лазарев отказывает Станиславу Куняеву в праве прикасаться к тому, что сказано о войне тем же Б. Слуцким. Отдавая должное ныне покойному поэту, я все же разделяю точку зрения Станислава Куняева, больше того, как старый окопник, как не раз и не два поднимавшийся и поднимавший своих бойцов в атаку, считаю, что полностью процитированное стихотворение искажает действительную картину боевой обстановки. Хорошо известно, что в атаку первыми поднимаются рядовые бойцы (так предписывает боевой устав пехоты), а ежели их кто-то поднимает, так это командир, командир отделения, командир взвода, командир роты. Я нисколько не умаляю роли политрука, часто он увлекал за собой роту или батальон, но пока жив командир, он и только он командует той же ротой, тем же батальоном. Считаю кощунством пренебрежение к рядовому бойцу, "славяне, елдаши" (?!), они, в сущности, везли весь воз войны, они на своем хребте несли минометные плиты, противотанковые ружья, станковые пулеметы, они рыли траншеи, блиндажи (по всей вероятности, и Б. Слуцкому). Не случайно маршал Г. К. Жуков посвятил свои мемуары — советскому солдату, советскому бойцу. Брать под защиту надуманное, явно неудачное стихотворение вроде бы нет никакой надобности, но ведь на него (вполне справедливо) покусился — кто? Станислав Куняев — да это преступно, аморально. Но ведь всякий знает, когда бывает мороз, земля, глина, тем более

песок не налипают на руки, поэтому не надо их отрывать от двух (конечно, от двух) обмороженных рук, обе руки обморожены, тогда как же можно оторвать ту же землю, ту же глину, тот же песок?

Странно читать письмо Юлии Друниной (напечатанное в том же "Знамени").

"Неужели журнал "Знамя", название которого говорит само за себя, не защитит детей сорок первого года", — взывает Юлия Друнина.

Спрашивается, кто нападает на "детей сорок первого года"? Тот же Станислав Куняев везде отдает должное тем, кто пал за Родину даже "на той войне незнаменитой", задача статьи Станислава Куняева, как мне представляется, в том, чтоб расширить суженный до пяти-шести имен круг поэтов-фронтовиков. Мне не раз приходилось выступать перед школьниками, в их представлении Павел Коган, Михаил Кульчицкий — поэты-герои, они пали за Родину, они писали удивительные стихи. Отдаю должное поэтам-героям, склоняю голову и перед Павлом Коганом и перед Михаилом Кульчицким, но рядом с ними есть и другие имена. Вряд ли той же Юлии Друниной (я уже не говорю о школьниках) известен Иван Рогов, чудесный поэт-нижегородец, который погиб как рядовой боец, боец переднего края.

Наш читатель хорошо знает Б. Слуцкого, Д. Самойлова, А. Межирова, но плохо знает А. Недогонова, а уж А. Недогонов знал, что такое война... А часто ли попадают в поле зрения (того же Л. Лазарева) такие поэты-окопники, как В. Кочетков, В. Федотов, В. Жуков, А. Николаев...

И еще. И это-то, пожалуй, самое главное: в статье Станислава Куняева — неприятие войны как таковой. Нет, не уничтожение врага — сосуществование, всеобщий мир и взаимопонимание — вот что самое главное в жизни и в искусстве.

"Эту страшную и радостную книгу написал Анри Барбюс, человек, лично переживший весь ужас войны, все ее безумие. Это не парадная книга гениального Льва Толстого", — писал А. М. Горький в своем предисловии (к русскому изданию) к книге "Огонь". Можно подумать, что знаменитый пролетарский писатель допустил бестактность к гениальному Л. Н. Толстому, к его роману "Война и мир", но ужас войны, впервые явленный А. Барбюсом, настолько велик, что самые блистательные страницы гениального романа не могут скрасить всех тех ужасов, которые ежедневно, ежечасно являла всемирная бойня.

"В ней нет изображений, романтизирующих войну, раскрашивающих ее грязно-кровавый ужас во все цвета радуги", —

справедливо утверждал А. М. Горький, имея в виду роман "Огонь". Насколько известно, А. М. Горький не был на войне, но никто ему никогда не отказывал говорить об ужасах войны. На каком же основании запрещают Станиславу Куняеву сказать свое слово, и — не о войне — о стихах, написанных о войне?

Против романтизации войны и выступил Станислав Куняев, так почему же поднялся такой переполох?

"Неужели кому-то действительно непонятно, что на войне уничтожение врага было как раз "делом" самым главным и самым "высоким", — вещает Юлия Друнина. Невольно вспоминается поговорка из времен древнего Рима: труп врага хорошо пахнет... Юлия Друнина жаждет крови, крови жаждет Е. Евтушенко, Л. Лазарев, А. Турков, и в то же время все они говорят о мире, о милосердии.

Хочется закончить свое письмо рифмованными строчками, которые сложились много лет назад.

Навеки неизбывна, дорога,
Печалит душу всякая утрата.
Не хвастайся, что убивал врага, —
Ты убивал обманутого брата.

Ты сам не раз обманывался, сам
К пьянящему прикладывался зелью,
Ты падал, чтоб подняться к небесам,
Ты поднимался, чтоб упасть на землю.

А на земле такая коловерть,
А на земле такая завируха!
Своей косой размахивает смерть,
Все сенокосит алчная старуха.

Подкошенная падает трава,
Повсюду кровенеет земляника,
И васильков земная синева
От галочьего замирает крика.

А тут еще и ворон леденит,
Гортанным криком холодит гвоздику.
Забытый холмик между двух ракит
Тревожит полуночную дроздиху.

Навеки неизбывна, дорога,
Печалит душу́ всякая утрата.
Не хвастайся, что убивал врага, —
Ты убивал обманутого брата.

Федор Сухов.
6 февраля 1988 г.,
с. Красный Осёлок".

Нет, это писал не пацифист, — подумалось мне, когда я прочитал стихотворение. — Это написано русским православным человеком, похожим на Платона Каратаева. Но не пацифистом в европейском смысле слова. Я окончательно понял это, когда много позже прочитал размышления философа Николая Бердяева о природе войны:

"Война лишь выявила и проецировала на материальном плане наши старые насилия и убийства, нашу ненависть и вражду. В глубинах жизни есть темный иррациональный источник. Из него рождаются глубочайшие трагические противоречия. И человечество, не просветившее в себе божественным светом этой темной древней стихии, неизбежно проходит через крестный ужас войны. В войне есть имманентное искупление древней вины. В отвлеченных желаниях пацифизма избежать войны, оставляя человечество в прежнем состоянии, есть что-то дурное. Это желание сбросить с себя ответственность".

Солдат Федор Сухов сбрасывать с себя ответственность не желал.

"Дорогой Станислав!

По всей вероятности, ты получил копию моего письма в редакцию "Литературной России", письмо получилось пространным. Иначе нельзя, после истерики "Знамени" надо что-то сказать. Не могу судить, как у меня получилось, но я всей сутью стою на твоей стороне, больше того, ты затронул такую тему, которая в наше время приобретает первостепенное значение.

Я понимаю поднятую истерику, но ведь нельзя отдавать на откуп священные страницы истории нашего Российского государства людям, которые бредили всемирной революцией в угоду всемирному сионизму. Все эти эренбурги, симоновы, полевые, все они — преступники, ты знаешь стихотворение Симонова "Убей его", а "Гренада" Светлова:

Я хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.

Впрочем, мы-то знаем, как они воевали. На передовой их не было. На передовой не был и Слуцкий, он расстреливал тех славян и елдашей, которые везли всю тяжесть войны.

Боюсь, что мое письмо не напечатают, возможно, ты

что-то сможешь сделать. Это нужно всем нам, и не столько нам, сколько нашим детям и внукам.

Федор Сухов.
17 февраля 1988 г.,
с. Кр. Осёлок".

Погорячился Федор, называя "преступниками" Эренбурга, Толстого, Симонова. И по отношению к Слуцкому Сухов был несправедлив. Слуцкий — не расстреливал, будучи военным юристом, он скорее всего лишь выносил приговоры. Но я помню, как это письмо укрепило меня в месяцы оголтелой травли со стороны "романтиков-ифлийцев" и их младших братьев. Сам Федор Сухов, русский человек, командир противотанковой батареи, прошедший всю войну, понял и поддержал меня! Уж его-то военный опыт был не меньше, нежели опыт всех военных юристов, всех корреспондентов фронтовых газет, всех политруков, всех межировых, слуцких, лазаревых и т. д. На должности командира противотанковой батареи люди оставались живыми не более двух-трех месяцев... А он всю войну прошел. Письмо Сухова в мою защиту трусливый редактор "Литературной России" Михаил Колосов не напечатал...

"Дорогой Станислав!

Редактор "ЛР" возвратил мне письмо. Доводы его мне кажутся не убедительными. Уверен — непоколебимо — в твоей правоте, хотел написать об этом личное послание М. Колосову, но надо выступить где-то печатно, ты знаешь: у меня нет связей с печатными органами, возможно, ты (или кто-то из близких тебе людей) что-нибудь предпримете. Для этого посылаю первый экземпляр письма, который мне вернули.

Всего тебе доброго.

Федор С.

А М. Колосову я все же напишу..."

На оборотной стороне письма от руки написан неоконченный ответ М. Колосову:

"Уважаемый Михаил Макарович!

Получил возвращенное Вами письмо. Не так часто я утруждаю редакторов тех или иных изданий своими письмами, не было такого случая, чтоб я принимал участие в каком-то споре, в какой-то полемике. Провинциал, пятая спица в колеснице, но так случилось — не удержался, возмутился

печатными выступлениями против Станислава Куняева Е. Евтушенко, Ю. Друниной, Л. Лазарева, Туркова. Дошло до того, что Евтушенко отказывает своему собрату по перу в какой-либо добропорядочности. Я знаю Станислава Куняева как поэта, как литературоведа, как составителя и комментатора такой книжки, как "О Русь, взмахни крылами", сборника стихов и поэм Н. А. Клюева. Мне представляется, что его творчество — заметное явление в нашей российской словесности, так почему же..."

Письмо обрывается на этой фразе, и я не знаю, дописал ли его Сухов, отослал ли, но, конечно же, конъюнктурщик М. Колосов ни за что не стал бы из-за "провинциала" Сухова ссориться с мощным московским кланом лазаревых, евтушенок, турковых и других функционеров еврейского крыла советской литературы. А следующее письмо написано после того, как Федор Сухов прочитал мою статью "Пища? Лекарство? Отрава?", опубликованную в "Нашем современнике" и вызвавшую яростные вопли в стане тех же лазаревых, рассадиных, мальгиных и прочих мелких и крупных "прорабов" начавшейся тогда перестройки.

"Дорогой Станислав!

Прочитал и перечитал твою статью в "Нашем современнике". Мне думается, что ты являешь миру воистине самую ужасную картину нашего недавнего бытия, для меня давно ведомо, что наша страна оказалась жертвой международного заговора под соблазнительной вывескою вселенского благоденствия... Но то удивительно, что в минуты пробуждения самосознания нашей русской нации начинают оживляться действия паразитирующих весьма ловких деятелей от литературы, их разоблачение — самая насущная задача нашего времени, надо воочию показать, кто они, эти "прорабы перестройки", не случайно они и Высоцкого подняли, чтоб заглушить голос народной беды, народного самосознания пьяным криком, то же делает и небезызвестная А. Пугачева.

Думаю, ты и без меня всё это понимаешь, мне же хочется только поблагодарить тебя, сказать тебе, что ты делаешь очень нужное дело, ты как раз на самом передке той борьбы, без которой русский народ не обретет своего национального самосознания, не восстановит свою духовность и свою культуру. Низкий поклон тебе.

Федор Сухов.
18 октября 1988 г.,
с. Кр. Осёлок".

В 1988 году я вошел в редколлегию журнала “Наш современник”. Благодаря этому получил возможность влиять на политику журнала, на то, чтобы в нем чаще публиковались Владимир Личутин, Игорь Шафаревич, Юрий Кузнецов, Татьяна Глушкова, Вадим Кожинов и, конечно же, Федор Сухов...

“Дорогой Станислав!

Благодарен тебе за содействие прохождению моих строк в “Нашем современнике”. Беспокоюсь о твоем здоровье, о твоем молчанье...

Часто беру в руки твои книги, дышу запахами нашей русской земли, ты чуешь ее большое дыхание. В наше время это особенно необходимо, ибо явно ощутимы наскоки чужеземной конницы, ее атаки.

При случае передай Вадиму Кожинову мое почтение, мое удивление его преданностью искомой правде, правде пашен великомученицы Руси.

Кланяюсь твоей супруге, твоим внукам.

Федор С.
26 марта 1989 г.,
с. Кр. Осёлок”.

В августе 1989 года я стал главным редактором журнала “Наш современник” и в одном из интервью назвал имя Сухова в числе тех, кого мне особенно хочется напечатать.

“Дорогой Станислав!

Слушал тебя по радио, теперь узнал как должностное лицо. Впрочем, должность, я думаю, не помешает твоему вдохновению поэтическому, польстил ты упоминанием моей фамилии, польстил потому, что я не очень-то избалован каким-то вниманием. Впрочем, я привык к траве забвения, и какое-либо упоминание мне кажется неправдоподобным.

Я был три года на передовой, был противотанкистом, было невыносимо, и мне — могу уверенно заявить — помогло то, за что ты ратуешь — любовь к своей родине... В сущности, эта любовь помогла нам выстоять.

Возможно, ты найдешь время ознакомиться с моей “Ивицей” (так поименована моя проза, моя боль, моя любовь), правда, вещь пространная (700 страниц на машинке). Даже боязно с такой ношей к кому-то стучаться. Закончилось красное лето,

осталась от него заря, кланяюсь тебе закатной зарей нашего русского лета.

Федор С.
14 сентября 1989 г.,
с. Кр. Осёлок".

К письму были прикреплены два цветка луговой герани... Прозу Федора Сухова я напечатать не смог, слишком велика была рукопись для журнала, напечатал несколько подборок его о родине, о природе, о пути к вере отцов и дедов. Этими стихами истинный поэт, "Божья дудка" Федор Сухов прощался с Родиной, с жизнью, с Волгой, со своим Красным Осёлком...

"Дорогой Станислав!

Лежу в больнице, созданной твоим сородичем, благодарно чту его, земно кланяюсь его незабвенной памяти. Благодарю и тебя, я получил от Г. Касмынина уведомление, что в девятой книжке "Нашего современника" появятся моих 150 строк.

"Наш современник", как мне кажется, стал весомей, заметно приободрилась поэзия, добротны стихи Нины Карташевой...

Кланяюсь тебе Волгой, Нижним Новгородом, ждем тебя в нижегородские пределы.

Федор Сухов.
20 июля, Н. Новгород".

Это было его последнее письмо ко мне...

“Прогулки с Мандельштамом”

Появление в “Нашем современнике” Аркадия Львова. Неожиданное предложение. Осип Мандельштам в моей жизни. Не нужен ему “иудейский хаос”. Евреям мы Осипа не отдадим

Время от времени по радиостанциям “Голос Америки” и “Свобода” выступает бывший советский, русско-еврейский, а ныне русско-еврейский американский, живущий в Штатах писатель Аркадий Львов.

Он ведет, как правило, передачи о культурной и литературной жизни, они гораздо объективнее передач Юреннена, Вайля и Гениса, и потому слушать их можно без раздражения, а иногда и с интересом.

А я тем более слушаю их с интересом, поскольку знаком с Аркадием Львовым. Несколько лет тому назад он появился в “Нашем современнике”, представился, подарил мне книги своей прозы и предложил себя в авторы журнала.

— У меня есть две книги — о Мандельштаме и Пастернаке, — сказал Львов, — в которых я убедительно доказываю, что по своему генезису, по глубинной духовной сути они никакие не русские, а еврейские писатели. По пониманию жизни, по мышлению, по своей онтологической сущности... Ну а то, что писали на русском языке, что из того? Власть духа сильнее, чем власть языка.

Он зачастил в журнал, приходя, как правило, с бутылкой хорошей водки и закуской, мы садились с ним в моем кабинете, спорили, размышляли, находили в каких-то вопросах

взаимопонимание, а в каких-то расходились окончательно. Меня подкупала искренность наших разговоров, да и сам облик высокого, крупного, жизнерадостного одесского еврея, словно бы сошедшего со страниц одесских рассказов Бабеля, был мне во многом симпатичен. В конце концов я, прочитав его книгу о Мандельштаме под названием “Желтое и черное”, решил напечатать ее, но, как сказал Львову, обязательно со своим предисловием и со своими размышлениями о творчестве Осипа Эмильевича. Мой собеседник чрезвычайно обрадовался моему решению.

— Вы, Станислав, даже не предполагаете, какой это будет прорыв в журнальной жизни к пласту читателей, отстраненных от “Нашего современника”. Я ведь в своей работе персты в раны вкладываю. Меня многие еврейские интеллигенты за эту книгу антисемитом объявили.

— Ну совсем интересный поворот у нас получается, — подумал я и вскоре написал свое вступление к “Желтому и черному”, где вспомнил многие обстоятельства своей собственной жизни в шестидесятые годы...

Вот эти несколько страниц из февральского номера “Нашего современника” за 1994 год.

“В 1961 году Александр Межиров с заговорщическим видом сунул мне в руки убористо напечатанную через один интервал тетрадку со стихами Осипа Мандельштама...

Я медленно вчитывался в рукопись, многого не понимая, кое о чем смутно догадываясь, но тем не менее несколько стихотворений запомнились сразу. Их хотелось бормотать, пробовать на вкус, на звук, цитировать: “Есть женщины сырой земле родные...”, “За гремучую доблесть грядущих веков...”, “Золотистого меда струя...”

Борис Слуцкий недовольно фыркал в усы: “Многие считают Мандельштама крупнейшим поэтом двадцатого века. Это ерунда. Не верьте им. Ходасевич крупнее...”

Анатолий Передреев укорял меня: “Ну сравни у Блока — “Я пригвожден к трактирной стойке, я пьян давно, мне все равно”, или у Есенина: “А когда ночью светит месяц, когда светит черт знает как, я иду, головою свесясь, переулком в знакомый кабак” — а! Как сказано?! А у Мандельштама в той же ситуации что? — “И дрожа от желтого тумана, я спустился в маленький подвал, я нигде такого ресторана и такого сброда не видал” — ...На все глядит со стороны, как свидетель. Ну, разве это русский поэт?!”

Я соглашался с Передреевым, но все равно любил повторять: “Бессонница. Гомер. Тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины”... В “Илиаду” и в “Одиссею” я влюбился еще в дошкольном возрасте, видимо, еще при жизни Осипа Мандельштама... Ахилл и Патрокл были героями моего детства.

И потому, когда мой куратор по отделу поэзии журнала “Знамя”, где я тогда работал, спросил: “А что, молодой человек, мы будем печатать в ближайшем номере?” — я предложил: “Давайте-ка я съезжу в Псков, где живет вдова Мандельштама, и привезу его стихи”. Сучков поднял на меня “удивленные брови”, задумался — и согласился.

В Пскове, как помнится, жилистая, седовласая властная старуха целый день рассказывала мне о судьбе поэта, читала стихи, кормила яичницей, что-то настойчиво вталкивала в мою голову о секуляризованном обществе, о культуре, которую надо освободить то ли от государства, то ли от православия, словом, от любой силы, похожей на идеологию.

Из Пскова я вернулся как раз в те дни, когда Хрущев разгромил выставку абстракционистов в Манеже. Не придавая значения этому событию, на ближайшей редколлегии журнала я доложил главному редактору Вадиму Кожевникову: задание выполнено, стихи Мандельштама привезены и надо поставить их в номер. Кожевников изменился в лице и уставился на Сучкова:

“Борис Леонтьевич, вы слышите? Какое задание? Какой еще Мандельштам? Как вам это нравится?” И тут Сучков казенным голосом произнес: “Да наш поэт не понимает, в какое время мы живем, самодеятельностью занимается!”

Я обомлел: как же так, мы же договаривались и вдруг такое предательство! — но перехватив умоляющий взгляд Сучкова — “мол, не выдавай!” — и вспомнив, что за его спиной десять лет тюремной жизни, я промямлил, что, мол, если не время, то можно и подождать... Стихи, конечно же, не были напечатаны. Но Мандельштама в своем молодом славянофильском кругу мы читать продолжали, несмотря на реплику одного из авторитетнейших наших мыслителей, что его поэзия — это “всего-навсего жидовский нарост на Тютчеве”.

Приязнь к поэзии Мандельштама сыграла не последнюю роль в дальнейшем, когда в 1977 году я вышел на трибуну во время знаменитой дискуссии “Классика и мы” и, порой под аплодисменты, порой под негодующие вопли, противопоставил неоклассика и гуманиста Осипа Мандельштама апологету коммунистической русофобии и революционного палачества — Эдуарду Багрицкому. Острота ситуации заключалась в том, что и Багрицкий и Мандельштам — евреи, а еврейский вопрос на

дискуссии вдруг взорвался и оглушил всех партийных идеологов того времени, начиная от секретаря ЦК КПСС Михаила Зимянина, кончая каким-нибудь мелким идеологическим официантом типа Валентина Оскоцкого или Петра Николаева. Конечно, тут же сверху донизу по всей лестнице был отдан приказ со Старой площади "не поднимать волну", не "сталкивать поэтов", "не уничтожать одно имя другим", "не муссировать национальный вопрос" и т. д. В серии статей, написанных после дискуссии, все "еврейские совки" вроде Сарнова или Рассадина стали дружно талдычить, что в культуре главное — это язык, что и Мандельштам, и Багрицкий, и Пастернак — это все русские советские поэты, отличаются друг от друга только "творческой манерой", словом, "роковые вопросы" были погребены под толстенным слоем словесной пошлости, изрыгнутой персоналом, обслуживавшим официальную идеологию...

Но если бы все было так просто! Как бы я ни утверждал во время дискуссии, что Мандельштам продолжает русскую гуманистическую традицию XIX века, со временем мне все яснее становилось, что это — весьма поверхностное заключение, что мир неоклассика гораздо глубже, противоречивее, темнее и даже чужероднее русскому менталитету, нежели это казалось мне на первых порах. Тем более что сам Мандельштам вводил меня в подобное искушение, когда кокетливо признавался: "Если бы от меня зависело, я бы только морщился, припоминая прошлое. Никогда я не мог понять Толстых и Аксаковых, Багровых внуков, влюбленных в семейственные архивы с эпическими домашними воспоминаниями". И вот уже в середине 80-х годов в одной из статей я вынужден был написать следующее: "Путь интенсивного и слишком быстрого принятия традиции, путь прививки к ней был не прост и чреват разными осложнениями. Когда я читаю стихи и прозу Мандельштама, впечатление у меня такое, что в каждую клеточку его духовного мира культура, традиция, стихия гуманизма, рожденная XIX веком, были втиснуты давлением времени в последние секунды его. Бремя великой культуры слишком значительно, чтобы за такой короткий срок, "едва обретя язык" (по словам того же Мандельштама), новое поколение могло безболезненно усвоить все белки иного духовного организма... Недаром Ю. Тынянов в свое время заметил о стихах Мандельштама: "Его работа — это работа почти чужеземца над литературным языком".

А потому, когда в 1990 году в Америке я попал в мировой этнографический центр, где каждая комнатка как бы олицетво-

ряла отдельную страну и была оформлена символами, присущими данной народности, я не особенно удивился, увидев в комнатке с вывеской “Израиль” книги Мандельштама, Пастернака и Бродского. Разве что пожал плечами и сказал хозяевам экспозиции, что все-таки “чересчур”, надо бы изъятие этих имен из русской культуры обосновать более убедительно... И вот время подобных обоснований наступило.

Исследование еврейского русскоязычного писателя Аркадия Львова вроде бы ставит все точки над “и” и развязывает все узлы в эпохальной загадке. В сущности, автор (“один из виднейших писателей евреев, пишущих на русском языке”, как сказано о нем на обложке книги) нарушает последние оставшиеся в русско-еврейском вопросе “табу”, даже те, о существовании которых русские умы и не подозревали. Многие из его толкований стихов, строчек, идей, снов поэта неожиданны и глубоки в первую очередь потому, что это пишет еврей, обладающий литературным талантом и интеллектуальной дерзостью. Я думаю, что порой он в припадке откровенности выбалтывает нам такие глубины и тайны еврейского духа, в которые, честно говоря, неудобно да и страшновато заглядывать православному русскому человеку.

Да и неловко — словно в замочную скважину. Подобное бесстрашие в истории бывало свойственно многим еврейским интеллектуалам, начиная от ветхозаветных пророков, кончая Спинозой, Уриэлем Акостой или дедом поэта Ходасевича Яковом Брафманом, с его знаменитой в свое время книгой о тайнах кагала. Откровения Львова кажутся настолько интимными, настолько носят они религиозно-племенной, казалось бы, не должный открываться чужому взору характер, что, понимая свое щекотливое положение, Аркадий Львов для того, чтобы преодолеть внутреннее табу, живущее в еврейской душе, часто впадает в нарочито легкомысленную, одесскую, хохмаческую манеру разговора, что и позволило мне назвать свое предисловие к его работе “Прогулки с Мандельштамом”.

Ну посудите сами: “еврей, который чуть ли не всю жизнь ломал перед собою и перед миром эллина”; или “у маленького Оси нюх был, как у собаки; он различал миллионы запахов и по запаху мог взять любой след. И будьте спокойны, нос его длинный — даже по еврейской мерке длинный, никогда не ошибался” (автор, конечно, знает книгу В. Розанова “Осязательное и обонятельное отношение евреев к крови”). Или еще красноречивый пример: “Ах, сорванец, ах, шалун, ах, жиденок — пардон, это не мое: проходил Ося в те времена среди петербургских поэтов под кличкой “Зинаидин жиденок” (не

надо говорить "пардон", Аркадий Львович, это и Ваше, а не только "Зинаидино"); или: "маленький Ося сделался русским империалистом", а вот еще: "Ну, как Вам нравится этот бывший иудей с тоской библейского Иосифа", и т. д. и т. п.

Словом, читая книгу, где автор на каждой странице именует Осипа Эмильевича Мандельштама "Осей", вспоминаешь одесскую песенку "А Саша Пушкин тоже одессит", конечно же, вспоминаешь Абрама Терца, у которого "Россия-сука", а Саша Пушкин "паркетный шаркун", ну чем не брат "сорванцу", "шалуну", "жиденку" Осе! Словом, "Желтое и черное" и "Прогулки с Пушкиным" как бы книги-близнецы, но все-таки надо оговориться, что под ерничеством и амикошонством Аркадия Львова скрываются куда более глубокие толкования и чувства, нежели в иронических пассажах Синявского, от которых явно попахивает интеллектуальным мародерством...

Еще один упрек автору: в книге есть несколько исторических мифов, противоречащих фактам. Так, например, вспоминая стихи Мандельштама о Сталине, Львов пишет: "Кто на Руси, кроме еврея Мандельштама, который, как последний трус, бежал в Александрове, на Суздальской земле, от потешного бычка одногодка, отважился сочинить да пустить в люди такой стих? Никого не назвать, ибо никого не было".

Но тут я хочу вступиться за честь русской почвенной литературы. Да помилуйте, Аркадий Львович, Вы хорошо знаете жизнь и поэзию Осипа Эмильевича, но гораздо хуже историю всей литературы тех лет. Мандельштам прочитал стихи о "кремлевском горце" в узкой дружеской компании единомышленников и единоплеменников, пришедших в ужас от дерзости поэта. И кто-то в конце концов из них не выдержал и от страха "стукнул" куда надо. Остальные, кто не стукнул, тряслись в ожидании ареста. А в это время или даже чуть раньше русские поэты, бывшие друзья Есенина, — Сергей Клычков, Николай Клюев, Петр Орешин, Василий Наседкин — на всех углах поливали последними словами вождя народов. То в ресторане Дома Герцена, то просто на улице среди случайных людей, не стесняясь, кричали о том, что Сталин тиран, что кругом еврейское засилье, "что Каганович сволочь"; Николай Клюев в разных домах читал совершенно антисоветский цикл "Разруха" и "Погорельщину". Павел Васильев — двадцатидвухлетний мальчишка (в то же время) написал убийственную и оскорбительную эпиграмму на Джугашвили и, не таясь, читал ее где угодно по первой просьбе своих друзей и поклонников. Так что русские поэты в начале тридцатых годов вели себя куда как более вызывающе и дерзко, нежели

Осип Эмильевич. Обо всем этом я узнал, прочитав их уголовные дела, хранящиеся в архивах ЧК—ОГПУ—НКВД...

Я понимаю, что для многих читателей "Нашего современника" публикация "Желтого и черного" будет неожиданна. Может быть, даже кто-то осудит нас и скажет: зачем в русском журнале обсуждать еврейские дела? Ну, а мне, думаете, не жаль избавляться от своих юношеских увлечений и от своих иллюзий, отдавая окончательно и бесповоротно Осипа Мандельштама в чужие руки? Но что делать! Русско-еврейский вопрос, видимо, будет в ближайшем будущем разрешаться только на пути потерь, утрат и разочарований.

"Когда погребают эпоху — надгробный псалом не звучит"... А потому и звучат вместо него одесские хохмы и панибратские ужимки, в которых доселе русский поэт предстает евреем, всю жизнь ломавшим "перед собою и миром эллина". Можно добавить "и русского". Но не хочется.

Да и развязность эта напускная, порой несколько вульгарная, все-таки, кажется мне, кое-где прикрывает собою ни с того ни с сего внезапно набегающую на глаза слезу. Так что не только мне одному тяжело прощаться с эпохой. Жалко мне навсегда расставаться с Вами, Осип Эмильевич. Тащит Вас обратно в "иудейский хаос" Аркадий Львович, как еврейский ангел смерти Малхамовэс. Нет у меня сил удержать Вас в Русском лоне, и кружатся надо мной только обрывки строчек, словно бы после взрыва плывущие в воздухе:

Уведи меня в ночь, где течет Енисей,
где сосна до звезды достает...

Сам Анатолий Передреев восхищался и повторял: "где сосна до звезды достает" — как этот маленький еврей мог так почувствовать космическое величие России?

А может быть, строчка, плывущая в воздухе, совсем не про Енисей, а про Кремлевские соборы:

А в запечатанных соборах,
Где и прохладно и темно,
Как в нежных глиняных амфорах,
Играет русское вино.

Архангельский и Воскресенья
Просвечивают, как ладонь —
Повсюду скрытое горенье,
В кувшинах спрятанный огонь.

Вспоминается Александр Межиров, декламирующий мне это стихотворение на Тверском бульваре и вкрадчиво спра-

шивающий: "Станислав, как вы думаете, а возобновятся ли когда-нибудь службы в Успенском соборе?" Нет, умные все-таки люди наши русские евреи!..

Но ежели Вы, Аркадий Львович, определенно и окончательно хотите зачислить Осипа Эмильевича "по еврейскому менталитету", то зачем Вам тогда заканчивать книгу словами: "27 декабря 1938 года не стало Осипа Мандельштама. Закатилось солнце русской поэзии"? Если следовать неумолимой логике Вашей мысли, то надо бы Вам написать точнее. Ну хотя бы "солнце русскоязычной поэзии", или "солнце русско-советской поэзии", или "солнце еврейской поэзии, созданной на русском языке". К тому же "солнце русской поэзии" у нас одно, а все остальные — звезды, метеориты, спутники, кометы... Из размышлений Ваших все-таки следует, что Осип Эмильевич, скорее всего, просиял, как "незаконная комета" на русском поэтическом небосклоне. Возьмите, Аркадий Львович, эту незаконную комету, заприте ее в свою комнатку, мне ведь все равно останется до конца жизни несколько строчек, ну хотя бы из "Батюшкова":

Так подымай удивленные брови,
Ты горожанин и внук горожан,
Вечные сны, как образчики крови,
Переливай из стакана в стакан.

Прощайте, Осип Эмильевич... Впрочем, последнее слово по справедливости, конечно же, должно принадлежать не Аркадию Львову и не мне, а Вам, ибо Вы лучше нас сознавали свое невеликое, но прочное место в отечественной литературе: "Последнее время я становлюсь понятен решительно всем... Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию; но вскоре стихи мои с ней сольются и растворятся в ней, кое-что изменив в ее строении и составе" (из письма к Ю. Тынянову от 20 января 1937 года).

Так что не усидит Осип Эмильевич в маленькой еврейской этнографической комнатушке. Особенно сейчас, когда многие его строки 30-х годов обретают новую жизнь. Ну, например, "как подкову кует за указом указ"; "власть отвратительна, как руки брадобрея", "и вокруг него сброд тонкошеих вождей", "умрем, как пехотинцы, но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи"...

А может быть, все-таки не столько Осип Мандельштам "наплыл на русскую поэзию", сколько она "наплыла" на него, преобразовав, насколько это возможно, иудейский хаос в

частичку того теплого и человечного душевного мира, который мы называем “русским космосом”.

Да о какой комнатушке может идти речь, Осип Эмильевич, когда плоть Ваша растворилась в российской земле, душа унеслась в наше небо, а стихи пополнили океан русской поэзии. Земля, небо, океан, а там всего-навсего какая-то племенная комнатушка...

Все, Александр Сердцевич,
Заверчено давно...
Брось, Александр Скерцевич,
Чего там, все равно...

Все заверчено, завинчено, закончено давно, дорогой Александр Львович. Так что оставим Осипа Эмильевича в России. Тем более что он сам завещал, чтобы “улица Мандельштама” возникла только на русской земле...

Напрасно пытаются забрать Вас у меня, Осип Эмильевич. Когда Россия была центром мира, то и Вы были русским поэтом. А когда Россия стала провинцией, то упаковывают Вас и увозят от Москвы и Петербурга, от сосны, которая “до звезды достает”, в комнатку детройтского этнографического музея, возвращают то ли в “иудейский хаос”, от которого Вы, по собственному признанию, “бежали”, то ли в Иерусалим под Стену Плача... Словом, из поэта, рожденного в великой России, превращают Вас в какой-то племенной тотем. Обидно, Осип Эмильевич, после русских просторов, снегов и небес, укрывших Ваши останки, снова завернуться в черно-желтый талес. Обидно. А что делать? История-то кончается, и перед ее концом суетливые потомки наши пытаются расставить все и вся по местам, как посуду в буфете...

Октябрь 1993”

P. S. После этой публикации Аркадий Львов приезжал в Россию, но больше в журнал “Наш современник”, к сожалению, не заходил.

Волк и Муравей

От любви до ненависти один шаг. Татьяны Глушкова жжет корабли. Ее письма ко мне на рубеже 70-х — 80-х годов. Сказка о рыбаке и рыбке. Речь Татьяны на моем юбилее. Прощание с иллюзиями

"Что ты, баба, белены объелась?"

В августе 1989 года я стал главным редактором журнала "Наш современник", начал думать о том, как обновить редколлегию, а через несколько дней получил от Татьяны Михайловны Глушковой просительное и одновременно требовательное письмо, в котором она предлагала себя в члены редколлегии журнала: *"украшение редколлегии громкими именами, чтобы в итоге равноправно соседствовали Шафаревич и Стрелкова при паническом недопущении мысли ввести хоть под конец жизни в редколлегию столь добросовестного ко всякой чужой работе (и не менее Ирины Ивановны известного всем человека) означает для меня..."* — далее шло всяческое осуждение нового главного редактора. А я ни за что не хотел вводить Глушкову в редколлегию, невзирая на *"известность"*, *"добросовестность"* и наивный шантаж *("под конец жизни")*. Я слишком хорошо знал ее характер и хорошо помнил, как однажды по моей и Кожинова просьбе Анатолий Передреев в 1981 году ввел *"известную"* и *"добросовестную"* в редколлегию "Дня поэзии". Через месяц-полтора моему другу пришлось со страшным скандалом порвать с *"добросовестной"* за капризы, склочный характер и мелкое интриганство. Глушкова бросилась с жалобой в секцию

поэтов к Цыбину, но там лишь посмеялись над ее истерическими претензиями руководить Передреевым. Вот почему я, прочитав письмо Глушковой, подумал: "Печататься — пожалуйста: статьи, стихи, "круглые столы", хоть два, хоть три раза в год, но чтобы в редколлегию с такой феноменальной способностью ссорить всех со всеми — ни за что!"

Глушкова не забыла о моем отказе, и, хотя постоянно печаталась в журнале, наши отношения постепенно ухудшались. Предлоги находились всегда. Особенно добивалась Глушкова, чтобы на страницах "Нашего современника" ей дали свести счеты с членом редколлегии Вадимом Кожиновым. Последнее было давней многолетней "пламенной страстью" нашей *"добросовестной ко всякой чужой работе"* критикессы. Известность и влияние Кожинова не давали ей покоя всю жизнь. Впервые ее ревнивая неприязнь к нему выплеснулась в статье "Талант — имя собирательное" ("Вопросы литературы", 1976, № 9), где она писала о *"философской кустарщине"* его стиля, о *"небескорыстности самого мышления"*, о попытках *"насильственного отъединения "духа" от "тела"* в его работах и т. д.

В этой же статье *"добросовестная"* противоставляла Кожинову куда более тонких и умных критиков: *"есть критики, обладающие чувством родного языка и даже изяществом в изложении мыслей" (я отнесла бы сюда хотя бы Л. Аннинского. А. Урбана, И. Роднянскую и др.".* К другим *"обладающим чувством родного языка"* отнесен Бен Сарнов, которому *"добросовестная"* спела в этой статье вдохновенный гимн: *"взыскательное отношение к понятию талант", "горьковская нетерпимость к проявлениям мещанского духа в литературе".* Статьи Бена Сарнова Глушкова характеризовала как *"глубоко последовательные", "далекие от вкусовщины", а поиски его "плодотворными", "серьезными"* и *"органическими"...*

Так что кумирами Глушковой в 1976 году были Сарнов, Урбан, Аннинский, Роднянская... Конечно, в те времена Кожинов, писавший о Белове, Рубцове, Юрии Кузнецове, Передрееве, Юрии Селезневе, был чужд ей. Однако к концу 70-х годов Глушкова совершила дрейф, уплыла из объятий Сарнова и Роднянской в "патриотический лагерь". Именно это обстоятельство позволило В. Кожинову напомнить Т. Глушковой в одном из совместных критических разговоров ("Наш современник", 1993, №4) о ее "неофитстве". Тут-то обиженная потребовала, чтобы ей дали свести счеты с Кожиновым именно на страницах "Нашего современника". Я отказал ей в этой при-

хоти. Наступил конец отношений, а за ним началась эра бесконечных статей и интервью Глушковой в "Русском соборе" и в "Молодой гвардии" против Кожинова, Шафаревича, Бородина, Казинцева, Распутина, против "Нашего современника" вообще. Это был залп — в пяти номерах за год! Общим объемом 12—14 листов. За такой монументальный труд *"добросовестная"* была удостоена от меня звания "кожиноведки". Последнее переполнило чашу ее ярости, и в шестом номере "Молодой гвардии" за 1995 год ее статья уже была в основном посвящена мне. Я стал у нее *"адвокатом измены", "партрасстригой", "человеком средним", "достаточно ординарным", "державопевцем", "лжекоммунистом", "известным стихотворцем"* и т. д. Она цитирует строки из моих стихотворений двадцатилетней давности для того, чтобы объявить их *"сухими"* и *"холодными"*, говорит о *"несуществующих на деле талантах и заслугах"*. Вспоминая о том, как в 1977—1980 годах я был одним из рабочих секретарей Московской писательской организации, она придает этой скромной должности (с которой меня за три года работы дважды "изгоняли" в полугодовые отпуска: сначала за участие в дискуссии "Классика и мы", а потом за письмо в ЦК о засилье еврейства в высших идеологических сферах) поистине глобальное значение. От меня, по ее словам, в те годы *"зависело и распределение жилплощади, и творческие командировки, и включение в зарубежные поездки, и выдвижение на премии и награды, зависели и раздача литфондовской дачной недвижимости, зависели и поощрения, и осуждения на публично-писательском, на идеологическом уровне, зависел, наконец, и прием в Союз, и исключение из Союза писателей... Этой, даже и набившей оскомину, властью активно пользовался Адвокат Измены долгие годы. И самой по себе властью вершить чужие судьбы, и всеми — несчетными — практическими благами для носителя власти, которые из этой власти вытекали. Совершенно бесконтрольными, множащимися в душную пору застоя, на его тучной для избранных социальной почве..."* (Наверное, *"добросовестная"* спутала меня с Анатолием Ивановым — с гл. редактором "Молодой гвардии", где она все это опубликовала. Ведь именно в "эпоху застоя" последний стал Героем Соц. Труда, кавалером орденов Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и других, лауреатом всех Государственных премий плюс премии КГБ СССР, автором громадных эпопей и киноэпопей о судьбах секретарей обкомов и райкомов, бессменным секретарем Союза писателей СССР и РСФСР и т.д.)

Все те, кто помнит меня в те годы, посмеются над попытками Глушковой сделать из Куняева какого-то партийно-бюрократического монстра, объединившего в своих руках власть Маркова, Михалкова, Ф. Кузнецова, Верченко и А. Иванова, вместе взятых.

Если и были в моих руках некоторые власть и влияние, то я тратил их на помощь молодым русским писателям и поэтам, поскольку считал необходимым своим долгом поддержать новое поколение литераторов, которое было бы глубже, нежели мы, укоренено в национальной почве. За пятнадцать—семнадцать лет, начиная с середины 60-х годов, я помог издать книги, как правило, со своими предисловиями, а после этого вступить в Союз писателей Эрнсту Портнягину из Львова, Владимиру Урусову с Владимирщины, Валерию Самарину из Рязани, Олегу Кочеткову из Коломны, Николаю Колмогорову из Кемерова, Евгению Соннову из Волгограда, Сереже Алиханову из Тбилиси, Анатолию Иванену из Ленинграда, Геннадию Ступину из Подмосковья и многим, многим другим.

Мое прирожденное свойство учительствовать, вести изнурительную переписку и с читателями и с писателями, воспитывать, выводить в люди, воплощаясь в этой помощи, приносило мне глубокое удовлетворение. А если вспомнить о моих калужских земляках литераторах, то чуть ли не каждому второму из них я или книгу помог издать, или в Союз писателей вступить, или жильем обзавестись. На меня, я помню, произвели глубокое впечатление слова Розанова из его книги "Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови", которую я прочитал в середине 60-х годов:

"А я хочу быть русским" — вот наш девиз. Для этого я "по-московски" буду изучать и наблюдать, чтобы прежде всего познать их и обо всем в них догадаться: без всякой науки познания мы будем всегда бессильны. Но затем в долгой работе жизни, в десятилетиях борьбы жизненной, — везде я буду "наблюдать русского человека" и вот ему родному, — помогай работой, дачей, умной книгой, дачей заработка, указанием пути. Будем пахать свои цветочки и свои поля, и хорошо обработанная своя землица выбросит чужие и враждебные тернии".

Да, в отношениях с Татьяной Михайловной я руководствовался этим идеалистическим розановским девизом, так что зря она в припадке вдохновенного кликушества в молодогвардейской статье сочиняет всякого рода глупости. Ну, к примеру, объявляет, что за 22 года работы, с 1960 по 1982 год, я издал 29 книг. Сообщаю, что в это число *"добросо-*

вестная" включила 12 книг национальных поэтов, в которых я участвовал как переводчик, порой всего лишь несколькими переводами. Прекрасно знает она и то, что двухкомнатную кооперативную квартиру в Москве я построил за свои деньги (а не получил, как она, даром от государства), что на свои же средства построил и загородную в писательском кооперативе, где живут небогатые писатели, в основном пенсионеры, ветераны, писательские вдовы. Богатые писатели живут в Переделкине, на Николиной горе, в Абрамцеве.

Представляю себе, как горько усмехнутся мои соседи по дачному кооперативу, живущие в таких же скромных квартирах,— Викулов, Бушин, Гулыга — когда узнают из писаний Глушковой, что они владельцы собственности *"в ближайшем престижнейшем Подмосковье, стоимость которой теперь исчисляется миллиардами и отменяет для удачливого владельца настоятельную необходимость в социализме"* ("МГ", № 6, 1995 г.).

Хороши "миллиардеры", живущие на пенсию, едва сводящие концы с концами! Сочиняет она и тогда, когда утверждает, что мое лауреатское звание влияло на издания моих книг. Лауреатом премии России я стал лишь в 1987 году, после чего издал всего две книги, одну из которых (в 1992 году) за свой счет. Что говорить уже о мелкой, но не менее злостной оттого лжи, когда *"добросовестная"* пишет, что я за счет государства побывал в творческих командировках по всему земному шару *"от Швеции до Африки, от Италии до Австралии, от Болгарии до Монголии..."*.

Сообщаю *"добросовестной"*, следившей за мною всю жизнь, о неточностях в ее досье: в Швеции был в туристической поездке в 1966 году за свой счет. В Австралии в 1991 году по приглашению и за счет своих русских знакомых в Сиднее. В Монголии не был вообще...

Но "пуще прежнего старуха вздурилась", когда она вознегодовала, что Станислав Куняев охотился и рыбачил *"в закрытых" "спецугодьях" — охотничьих и рыболовных, в тех заказниках, где "паслись" обреченные спецбраконьерству "голодающей" номенклатуры звери..."*. Сама знает, что я охотился и рыбачил не в "спецугодьях", а в таких труднодоступных и безлюдных местах, куда ни одна "номенклатурная" единица никогда не совалась из-за того, что таежные условия жизни не для этих людей.

Не стоило бы и замечать эту явную истерически нагнетаемую изысками стиля ложь, если бы не одно обстоятельство. В сочинениях "добросовестной кожиноведки" речь идет не

только и не столько о сегодняшнем дне и о “Нашем современнике” вместе с его редактором, но в основном о событиях и стихах пятнадцати-двадцатилетней давности, а именно в те годы у меня с ней была дружеская переписка, из которой явствует, как та, прежняя, Татьяна Михайловна Глушкова (“Муравей” — как ласково и уменьшительно называла она себя в письмах) относилась к творчеству и секретарской деятельности “Волка” (Станислава Куняева)... Цитирую из писем “Муравья” “Волку”.

* * *

“Ужель та самая Татьяна?”
А. Пушкин

“20.12.76 г. Я читаю (прочла) Ваши статьи — с наслаждением, и у меня множество мыслей о них, как печатных, так и (мыслей) непечатных... Статья о Винокурове столь блестяща, что даже если бы Вы были и неправы, она сама по себе есть правота,— и невозможно удержаться: не написать о ней.

В этой рукописи есть вещи прелестной верности, неподкупного ума. Так прекрасно, прекрасно о “дичке” Ходасевича: это словно бы Вы у меня во сне “украли”!”

“Окт.1977 г. По телефону про Ваши стихи в “Лит.газете” я хотела сказать нечто хорошее (как и про 80 процентов книги “В сентябре и в апреле”), а получилось у меня черт знает что. Хотя одна строчка “Тысячелистник цветет...” способна неделю уже вертеться в моем туманном сознании, вызывая то состояние отрадного созерцания воспоминательного и бесконечно длящегося, на которое ушла и уходит у меня, кажется, вся бездеятельная жизнь... Когда наступит конец света, мы, должно быть, не встретимся. Но за Вас может предстательствовать тысячелистник, например,— а что успею я за оставшиеся дни?”

“Окт.1977 г. Хорошо бы, чтобы Вы — меня кое-когда дальней тенью защищали — не потому, что я того стою, а только потому, что как будто некому”.

“17 февр. 1978 г. Не надо бы мне бывать в Союзе и в Домах Творчества, и, конечно, то, что я стала бывать, с декабря начиная, связано с Вами... Я очень боюсь, что все эти люди поссорят Вас со мной, а меня с Вами. Это было бы очень печально мне, хотя я, конечно же, меньше всего думаю о выгоде от Вашего секретарства... В самом деле, все забываю об этой должности, хотя все мне напоминают об этом”.

"14. II.78 г. Если выйдет Ваша книга, то ведь я должна буду написать про нее... Я напишу лучше, чем все! Т. е. — постараюсь. П. ч . так надо и хочу".

"6.4.78 г. Стасик, я очень рада, что Вы написали про Блока, и очень хочу прочесть... Я очень рада, что Вы написали там столько всего.

Я защищаю — всегда — Вашу строчку о Пентагоне очень спокойно: мол, а почему — надо любить, в частности, и пентагонских?.. Ну, такая буря начинается всякий раз!.. (Я не могу описать границ моего одиночества. Приезжайте)".

(Речь идет о моей стихотворной строчке: "не о евреях в Пентагоне".)

Дек. 1978 г. (письмо из больницы). "Без копирки я пишу только Вам — в Москве, а все прочее я пишу с копиркой... Ни в коем случае не думайте, что Вы должны спешно читать мою рукопись. Наоборот! Чем позже, тем лучше". (Речь здесь и ниже идет о статье Глушковой, которую не хотел публиковать гл. ред. журнала "Лит. обозрение". Лавлинский и на которого я по ее просьбе должен был подействовать своим "секретарским" авторитетом)... *"Вот, кстати, что надо еще сказать Лавлинскому, когда он развякается насчет объема статьи; помимо всего (невозможности и бессмысленности больших сокращений), слишком изменились обстоятельства вообще: если поначалу предполагалось, что я выступлю в № 12, т.е. в том же году, то теперь, поскольку речь не ранее, чем о № 3,— после моей той публикации минует больше года,— и что страшного — дать мне еще 20 страниц?!*

Волк-волчище, пожалуйста, постарайтесь!!! Позвоните, пожалуйста, Лавлинскому. Я волнуюсь, что он уже прочел и скомандовал сокращать... Очень ненавижу больницу. В палате еще три человека, и они галдят... В жизни я такого сока не нюхала. На редкость хорошо и вкусно. Если Вы, Волк, раз в неделю будете угощать меня стаканом такого сока, то мой бессмертный организм скоро так укрепится, что сможет пить водку... А когда я выйду на волю, к Старому Новому году, Вы познакомьте меня с Ф. Кузнецовым — пусть даст мне жилье, а то через два месяца у меня будет 5 язв и я помру в бесславье". (Лавлинского я во всем убедил, с Ф. Кузнецовым поговорил, и Глушкова, видимо, в подсознании помня это — права, когда обвиняет меня в том, что я "рекомендовал произведения в издательства" и от меня зависело "распределение жилплощади". Действительно, за три года секретарства мне пришлось не раз рекомендовать ее статьи и книги в журналы и издательства и один раз заняться "жил-

площадью". Я, помнится, надоедал всем — Ю. Верченко, Г. Маркову, Ф. Кузнецову, чтобы Глушковой дали квартиру получше той, где она жила и где у нее были чрезвычайно скверные соседи.)

29 января 1979 г. "Здравствуйте, Волк-волчище, серый хвостище, лапа когтистая, пасть зубастая, глаза узкие, вой громкий. Пишет Вам подданный труженик-муравей, который поздравляет Вас с Крещеньем и пребывает в верности и печали. Хочет сказать, что Вы очень ценный в лесу Волк. Если бы не Вы, то Муравей куда меньше понимал бы все, даже то, что и не прямо касается известных Вам и совершенно лишних в лесу зверей". (Как славно мы жили в те годы — бывало, напишешь внутреннюю рецензию на книгу "Муравья", чтобы она издалась, получишь от нее дружеские послания — одно за другим, а когда книга выйдет — драгоценный экземпляр в подарок с дарственной надписью: "Дорогому Волку (Серому, Белому и Красному кардиналу этой книжки) от благодарного Муравья 5 июля 1981 г. Т. Глушкова"). Иногда я уговаривал ее отнести рукопись в издательство, гарантировал помощь; она кокетливо торговалась:

Февр. 1979 г. "Ладно, издаст Муравей книжку критики. Пусть она будет на Волчьей совести. Снесет через пару месяцев груду чернильной макулатуры в "Вепсятник" (издательство "Современник". — **Ст. К.**). *Пусть Волк не заставляет издать это все непременно в 80-м году, а если Муравей не успеет, то пусть в 1981... У Муравья будет 30 листов и он начнет скулить, что сократить не может".*

25.2.1979 г. "Муравей перечел Волчий стишок про коней: нашел — и прочел. Очень хороший стишок про то, как Волк был маленький". (Речь идет о моем стихотворении "Кони НКВД". — **Ст. К.**)

"26.1.80 г. Я искренне благодарна Вам за Ваши хлопоты последних дней. И я чувствую себя виноватой, что они, такие большие, не увенчались успехом. Я очень благодарна". (Речь идет о какой-то моей неудавшейся попытке включить "Муравья" в делегацию для поездки за границу.)

"18.7.80 г. Перечитала свою рецензию на Вас и подумала: она очень хвалительная (но вообще она мне понравилась)... Я теперь волковед. Можно сказать, заложен теперь камень в науку — волковедение. Все-таки, Волк, я Вас люблю..."

"12.5.1982 г. Все в Вашей статье хорошо (речь идет о моей статье "От великого до смешного", направленной против массовой культуры и идолопоклонства перед Высоцким. — **Ст. К.**). *Мы должны победить — силой ярости, яростного*

ума!.. Обнимаю Вас и поручаю Вам все перья и крылья. Пусть Ваша статья выйдет, и следите, пожалуйста, за каждым словом, за каждым этапом публикации! Тут Вы, Волк, как Пересвет: один за всех должны биться и победить! Ваш верный Муравей".

У "волковеда" также было немало "врагов", и частенько она просила "Волка" защитить ее от них.

"26.4.1982 г. Чем дальше идет время, тем больше сомнений и тревог вызывает у меня поведение В. Лазарева.

Совершенно доверяясь Вам, Вашему чувству справедливости, я прошу Вас по мере возможности содействовать мне в защите моих прав по тем вопросам, которые я сейчас затрагиваю перед Вами".

Еще за два года до окончательной развязки "Муравей" все-таки много помнил:

"20—25 мая 1993 года. Я, конечно, очень благодарна Вам за помощь, хлопоты во время больничных мытарств. Потому что, конечно же, было бы еще хуже, чем было: тут нет слов. И в этом определенном смысле, разумеется — не до жиру! Благодарю — действительно (и молилась за Вас, как умела), и, только, может быть, не так слепо благодарю, как сама бы хотела". (Речь идет о помощи в самое трудное время деньгами, транспортом, лекарствами, прочими заботами.)

Что все это означает рядом с нынешней бранью, клеветой, ненавистью? Оборотничество? Больное тщеславие? Неуемная жажда того, чтобы все окружающие "были у нее на посылках"? Неужели слова, мысли и чувства этих писем были продиктованы всего лишь навсего расчетливой корыстью, возможностью использовать мое мелкое служебное положение в своих интересах? Или это — раздвоение личности — случай медицинский? Или "женская логика"? Или помрачение совести до полного беспамятства? Я же не тянул "трудолюбивого Муравья" за язык, не просил признаваться, что, мол, только Вам *"пишу без копирки"!* Я же не заставлял добросовестную "волковедку" уже в 1993 году сделать мне на книге избранных стихотворений надпись: *"Дорогому Волку от бессмертного Муравья с благодарностью, не выразимой "здешними" словами, с любовью — и с Новым годом!"* Именно в это время *"бессмертный Муравей"* постоянно печатался в "Нашем современнике", собирался с силами, чтобы через полтора года выразить *"здешними словами"* всю свою желчь, копившуюся в душе... Я смутно догадываюсь о том, что произошло. Чувство благодарности для некоторых натур невыносимо. Жить с ним десятилетиями — мука мученическая. Жить и постоянно

ощущать, что ты, принадлежащая к сонму “бессмертных”, кому-то чем-то обязана?! Лучше всего от чувства, невыносимого для подобных натур, освободиться и лучше всего с большим скандалом, с истерикой, с клеветой, чтобы не было пути назад! Ни за что! Выблевать все, что накопилось, со всеми “здешними словами”— “партрасстрига”, “адвокат измены” и т. д. Так должно было быть. Так и случилось.

* * *

На этом можно было бы поставить точку. Но читатель вправе задуматься: письма, дарственные надписи на книгах — все это может быть эмоционально преувеличенным, тем более что пишет женщина, это дело — личное, а вот на людях в общественном мнении ведь “Муравей” никогда таких слов не произносил и так “Волка” не возвеличивал? Увы, произносилось все это и на людях и печаталось для всеобщего прочтения. Со странным чувством некоторой гордости за свое творчество перечитал недавно статью “волковеда” “Образ поэта — образ критика” (“Лит. обозрение”, 1980, № 8). Сегодня наша “кожиноведка” издевается над Кожиновым, который когда-то в статье о моих стихах писал: “поэт в соответствии с коренной традицией отечественной поэзии (традицией, которую со всей четкостью определили Пушкин и Боратынский, Тютчев и Некрасов, Блок и Есенин) видит свою цель” — и комментирует: “так *на все лады перепахивались великие могилы”, “разбойно высвистывались святые тени в эскорт нашему поэту-гражданину”*. И снова ярость довела ее до жалкого беспамятства, ибо в те достопамятные времена, когда Кожинов писал эти слова, “волковедка” сочиняла тому же Станиславу Куняеву куда более страстные дифирамбы: *“Дух Есенина воистину витает над несхожими по внешней теме разделами книги”*, она слышала на ее страницах *“дыхание Аксакова”*, задумывалась “*о глубокой традиционности многих размышлений поэта. разумея под традицией высшие идеалы общечеловеческой по значению русской культуры”*... Неужели все это писалось той же рукой о моей книге “Свободная стихия”? Умри, “волковед”, лучше не напишешь! Как и такое: *“эта проза свежестью языка, приближенностью к народному взгляду на жизнь, естественностью самоощущения человека в природе и в традиционном, требующем выносливости и мужества труде напоминает нынешнюю деревенскую, то есть лучшую нашу прозу...”*

Да, все это написано пером и той же рукой, что и ныне-

шние слова о том же поэте, чье творчество пронизано *"высокомерием к народу"*... Вчера речь Ст. Куняева для Глушковой была *"явственно неординарна"*, сегодня она пишет о нем, как об *"ординарном, но попавшем на видное место"*. Вчера она с придыханием восхищалась: *"замечательная глава о творчестве Николая Заболоцкого — пример глубокого литературоведения, которое, как известно из истории литературы, чаще всего оказывается под силу именно поэтам, ибо они прямо причастны тайнам творчества..."* Сегодня *"причастный тайнам творчества"* для нее лишь *"известный стихотворец"*... Сегодня она комментирует мои строчки из тайных, рыбацких, охотничьих стихов — *"рыба шла, и на деньги везло"* или *"но груз добычи на плечах"*, как мещанскую стяжательскую страсть, чуждую идеалам социализма. Вчера эти же картины вызывали у "волковедки" совсем другие чувства и слова о поэте, пишущем о *"красоте родины, как открывается она путешественнику, геологу, охотнику, рыболову, озабоченному не столько "уловом", сколько непосредственным постижением жизни, природы и многоликого современного человека, который одновременно древен и прекрасен..."*.

А заканчивая перечитывать знаменательную статью 1980 года, я разволновался до предела. Оказывается в моей книге "Свободная стихия" свобода *"трактуется как правдивость, повышенная ответственность, близость к народно-этическому идеалу"*, что моя книга, по мнению тогдашней Глушковой, относится *"к числу лучших, наиболее живых и плодотворных книг, посвященных творчеству, какими за последние годы мы располагаем"*. Возможно, что Ваша статья, Татьяна Михайловна, убедила в 1987 году членов комитета по Российским Государственным премиям присудить мне ее за эту самую книгу! Помню, что присуждение вызвало возмущенный вопль Евтушенко. А Вы-то что сейчас возмущаетесь по поводу моего лауреатства? Сами меня на этот пьедестал подсадили...

Помнится, была в разгар перестроечных лет такая критикесса — Ваша тезка — Татьяна Иванова. В годы перестройки на страницах "Огонька" она яростно "поливала" викуловский журнал "Наш современник". Но мало кто помнит, что до этого она, сотрудничая в том же журнале, восхищалась стихами Викулова, писала о том, что у него "каждая буква дышит патриотизмом". Перечитываю статьи и письма Глушковой и со скорбью думаю о том, что тип человека, меняющего свои взгляды, одинаков во всех литературных лагерях.

А все-таки статья "Образ поэта — образ критика" — хороша! Умри, "бессмертный Муравей", лучше не напишешь!

* * *

А кто ее, прошу простить меня за стиль, тянул за язык, когда на моем юбилейном вечере в декабре 1982 года она произнесла целую речь! Не могу отказать себе в удовольствии процитировать это вдохновенное сочинение.

"Мне кажется, что на сегодняшнем вечере все было празднично. Праздничными были приветствия поэтов, праздничным было выступление Александра Михайлова, праздничным было выступление друзей из Киргизии. По-моему, Куняеву подарили не просто халат, а ханский халат необыкновенного цвета. И мне кажется, что даже то, что возникал некоторый спор — это тоже празднично. Это означает, что поэт, которого мы сегодня чествуем — живой, абсолютно живой, интересный поэт. Люди не могут удержаться от непосредственного проявления своих мнений. Мне тоже, наверное, придется высказать некоторые суждения, которые, может быть, будут противоречить суждениям, высказанным здесь. Я прежде всего хочу сказать о задаче поэта. У поэзии, по-моему, не бывает простых и сложных задач. Задачи поэзии в общем-то равноценны. Просто каждое время выдвигает в первую очередь ту или иную из них. И вот уже следующему этапу развития литературы кажется, что те задачи были легкими, а вот сегодня новые поэты решают более сложные внешние задачи. Это, конечно, не так. Если подумать внимательно и, так сказать, исторично, станет совершенно ясно, что задачи, которые ставил перед собой Станислав Куняев, были, да, собственно, и есть, очень важные, очень серьезные. Не зря, неспроста на этом вечере чуть ли не с самого первого выступления зазвучал разговор о добре. Не всегда у нас на вечерах так встает вопрос, то есть самый жизненно важный вопрос. И далеко не всегда он так живо обсуждается. С поправками, с разноречиями. Лев Аннинский, конечно, написал очень интересную речь. И Вадим Валерианович Кожинов дополнил к ней что-то свое опять-таки на эту тему. Знаменитая строчка "Добро должно быть с кулаками", мне кажется, сегодня не должна вызывать столько первоначальных по своему характеру споров. Потому что каждый поймет, если задуматься, что у добра нет никакого окончательного образца, тем более это

касается добра, исповедуемого поэзией. Все мы помним, какие парадоксальные уроки давала нам на этот счет великая русская литература. Ну, например, Алеша Карамазов на вопрос Ивана, как же поступить с генералом, который собаками затравил мальчика, он, этот светлейший, добрейший Алеша Карамазов прошептал: "расстрелять!". Вот вам прямая угроза, прямая сила, и в этом, конечно, звучит не голос благодати, с которой Лев Аннинский пытался сравнить добро. Речь идет не о благодати самоуспокоенной, так сказать самогармоничной, голос добра в данном случае являет свой весьма суровый вид. "Добро с кулаками" — это проблема отношения добра и силы. Я считаю, что заслуга Станислава Куняева как раз в том и состоит, что он в лучших своих стихах не противопоставляет добро и силу, добро и правду, красоту и силу.

Вижу заслугу Куняева, что он в своих стихах выступает за возможность союза добра и силы. Можно ему ошибаться в какой-то конкретной силе, как в носительнице и защитнице добра, но он абсолютно прав, когда говорит нам, что добро должно быть сильным, что сила может быть доброй, и не раз в нашей истории мы имели примеры вполне гармоничного сочетания силы с добром. Государственная жилка или даже страсть Станислава Куняева, о которой мы тоже думаем, когда читаем его стихи, состоит в том, что он видит в государстве силу созидательную. Он считает, что государство может быть не противоположным творческой личности, а поскольку это так, то да будет оно сильным.

Куняев не считает, что поэт это изгой. Он — собеседник государства. Глубокий, серьезный и в то же время всецело ответственный в каждом своем слове. И вот, когда я думаю об уроках, которые дает сегодня молодым и немолодым поэтам работа Станислава Куняева, мне кажется, что он в свое время нашел в себе силы настолько резко пойти против течения и настолько ясно обозначить свой путь, что нам теперь кажется, что мы бы это сейчас сделали бы легко сами. Вот я хочу напомнить, например, такую вещь. Я не буду подробно характеризовать стиль той эпохи. Но напомню, что тогда в моде была такая вещь, как глобальность. Полагалось говорить непременно с точки зрения всего человечества. Претендовать на понимание всех народов, всех рас, населяющих землю. А вот Станислав Куняев в один прекрасный момент верным инстинктом понял, что следует выбрать как раз узость. На фоне глобальности:

Эти кручи и эти поля
и грачей сумасшедшая стая,
и дорога... Ну, словом, земля
не какая-нибудь, а родная.

Неожиданно сузился мир,
так внезапно, что я растерялся.
Неожиданно сузился мир,
а недавно еще расширялся.

И вот выбрать узость, решиться на это на фоне прогрессивной надменной планетарности означало не только вспомнить малую родину — как у нас говорят — калужскую приокскую землю, не только Россию, которая русскому поэту всегда дороже всего, — тут уж с нами ничего не сделаешь. вспомнить об узости, это означало сузить фон и границы самого своего понимания вещей, потому что, как говорил историк Ключевский, есть вещи, понимать которых не должен даже самый умный человек.

Непонятно, как можно покинуть
эту землю и эту страну,
душу вытряхнуть, совесть отринуть,
все забыть: и любовь и войну.

Все, что было отмечено сердцем,
ни за что не подвластно уму.
Кто-то скажет, а Курбский, а Герцен?
Все едино, я вас не пойму.

Я люблю эту кровную участь...
от которой сжимается грудь.

Вот так обозначился путь Станислава Куняева в безусловную сторону поэзии. Путь к России, к простоте народного чувства. Это не было легко. И в этом большая его заслуга. Это один из уроков Станислава Куняева, как я это вижу. И я хочу закончит тем, что это была плодотворная участь. И именно погрузившись в нее, он потом обрел право говорить о народе, который даже и не граничит с нами на карте мира. Я говорю о его интереснейшем и во многом прекрасном цикле "Восточная дуга". Я прочту из этого цикла только несколько слов.

Тяжелое Мертвое море
пропитано солью насквозь,
В него палестинское горе
соленой струею влилось.

Здесь наземь упала косынка,
когда у себя за спиной
оставив свой дом, палестинка
застыла, как столп соляной.

Здесь выжжены мирные нивы
на этом и том берегу,
И только плакучие ивы
цветут, как на русском лугу.

Вот и здесь он заговорил не от имени каких-то землян, не с Марсом разговор, а с современным фашизмом, вполне земным. А заговорил он от имени русского луга. Только такие голоса и бывают слышны земле. А закончить я хочу тем, что я ни в коем случае не желала бы Станиславу Куняеву боли, новой боли или продолжения боли. Я не хотела бы ему желать никакой боли сверх той, что и так всегда есть в груди русского поэта. Я не хотела бы желать ему и попросту отстрадать свой путь, потому что это значило бы не выполнить ни одной из задач поэта. Это значило бы попросту уйти от ответственности. Умыть руки. Пусть и слезами, которым, как знаем мы, Москва не верит.

Считаю, что не следует лелеять пресловутую больную совесть. Любить и нежить ее, дабы она никогда не выздоровела. Я считаю, и Куняев прекрасно это показывает в лучших своих стихах, что совесть имеет право быть здоровой. Должна уметь быть здоровой. Мы никогда не научимся равнодушию к чужим страданиям.

И новая тяжесть опять
ложится на русскую совесть —

писал Станислав Куняев, который прав в этом. Равнодушию мы не научимся. И все-таки совесть должна уметь быть здоровой, чтобы пособлять так же и самому своему носителю в его собственном горе, если таковое случится. Я считаю, что болезнь, нескончаемая болезнь отнюдь не является залогом чистоты. Чистоты совести, я имею в виду. Так считать могут только никогда не болевшие люди. И поэтому я хочу пожелать Станиславу Куняеву здоровья, спокойствия, уверенности в своем пути. В сохранении того высокого здравого смысла, того возвышенно простого взгляда на вещи, утратив который можно ли остаться, как говорил поэт о своей родине, “последней надеждой земли”.

Декабрь 1982

P. S. А впрочем, в такое подлое время, когда люди мечутся, не зная на что опереться, подобные превращения — дело обычное. Столько страстного ума отдать вчерашней дружбе, а сегодня, когда время обжигает наши лица — вдруг отшатнуться, с ужасом заподозрив в потемневших чертах (на деле или в воспаленном воображении — неважно!) отблески измены…

Можно только пожалеть наши мятущиеся души, отражающие русскую трагедию, отравленные воздухом ненависти, розни и раскола. Пожалеть и вспомнить: “Не судите — да не судимы будете…”

В такие времена Белинский пишет письмо Гоголю, Клюев отшатывается от Есенина, Гиппиус не подает руки Блоку…

Россия и “люди Запада”

Самая главная книга перестройки. Маркиз де Кюстин и Александр Пушкин. История книги русофоба-маркиза. Ответ Лермонтова французу. Вечные агенты влияния и их хозяева. Предсмертное сочинение Владимира Солоухина. Истина о красных и белых. Порочность русской интеллигенции. Вечно длящаяся власовщина. А в коммунизм ли метили? Неожиданные отклики на сочинение Солоухина. Юлий Квицинский подливает масла в огонь. Иван Солоневич и Владимир Нилов на моей стороне. Споры об изменах. Судьба Ирины Владимировны Римской-Корсаковой и Анны Ахматовой. “Не учите нас, как любить родину”. Русские люди на калужском базаре. Народ, не желающий упрощаться. Николай Рубцов и Уильям Фолкнер. Обращение к молодым писателям

1

“Пушкин — это наше все”.

Аполлон Григорьев

Как Вы думаете, дорогой читатель, какая идеологическая книга в эпоху перестройки издавалась чаще всего, чтобы содействовать искоренению русско-советского “менталитета”, оправданию всего преступного, что сегодня делается с Россией? Нет, не мемуары Александра Николаевича Яковлева, и не сочинения перебежчика из ГРУ Резуна-Суворова, и даже не

волкогоновские сочинения. Нескольких изданий за последние несколько лет удостоился другой антирусский шедевр, некоторые отрывки из которого я сейчас приведу.

"Когда я думаю о тайных жестокостях, происходящих в этом обширнейшем государстве, я испытываю неописуемое отвращение и мечтаю лишь о том, чтобы поскорее отсюда уехать".

"Я часто повторяю себе: здесь все нужно разрушать и заново создать народ".

"Когда я вхожу в какой-нибудь дом, кусты роз и гортензий кажутся мне не такими, какими они бывают в других местах. Мне чудится, что они покрыты кровью".

"Вся Россия — та же тюрьма и тюрьма тем более страшная, что она велика и что так трудно достигнуть и перейти ее границы".

"Вообразите полудикий народ, которого милитаризовали и вымуштровали, — и вы поймете, в каком положении находится русский народ".

"Здесь можно двигаться, можно дышать не иначе как с царского разрешения или приказания... Кажется, тень смерти нависла над всей этой частью земного шара"...

И такие сгустки ненависти — на каждой странице этой по-своему уникальной книги. Кто же пишет? На первый взгляд — конечно же, революционер, какой-нибудь доморощенный Герцен или Бакунин, террорист-народоволец польско-еврейского происхождения или один из фанатиков, делавших революцию 1917 года. Нет, это пишет добропорядочный французский аристократ, роялист, сторонник монархического правления, маркиз Астольф де Кюстин, в книге "Николаевская Россия в 1839 году". Книга была издана впервые во Франции в 1843 году, за десять последующих лет много раз переиздавалась во всей Европе на французском, английском, немецком, шведском и прочих языках. Общий ее тираж по тем временам был громаден, более 200 тысяч. И когда за десять лет она обработала умы и души миллионов европейских обывателей и их правительственных элит, когда вся читающая Европа пришла к выводу, что такая Россия недостойна существования, то армада англо-французско-турецких армий и кораблей появилась в Черном море и началась Крымская война, в которой Европа брала реванш у России за разгром своего кумира Наполеона и за свое освобождение от его тирании.

Прозорливец Пушкин, предвидя появление кюстинов, писал двенадцатью годами раньше, точно угадывая истоки низменной европейской ненависти к нам:

И ненавидите вы нас...
За что ж? Ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, пред кем дрожали вы?..
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?

При петербургском дворе Кюстина приняли с распростертыми объятиями. Все-таки роялист, чьи отец и дед были казнены на гильотине революционерами-якобинцами. Уж этот-то поймет и оценит великий смысл российского самодержавия! Наивные люди. Они не понимали того, что и монархисты, и революционеры, и демократы Европы мазаны одним мирром, одним низменным страхом, одной лакейской дрожью перед Россией. Что они все — люди Запада. Об этом Кюстин сказал прямо и недвусмысленно. Так же, как немецкие рабочие во время Гитлера были с фашистским Западом, а не с "пролетарской Россией", так же и аристократ Кюстин за сто лет раньше был в одном стане с "революционерами" всех наций. Лишь бы против России. Он даже в любви к декабристам объяснился: *"Мы, люди Запада, революционеры и роялисты, видим в русском государственном преступнике невинную жертву абсолютизма"*. Ну прямо-таки говорил, как Ленин или как Троцкий с Луначарским, а не как французский консерватор и аристократ!

Да если бы только о политике или о государственном или общественном устройстве речь шла в этом памфлете! Нет, тут все на каком-то генетическом иррациональном уровне, на неземном. Как будто не человек арийской расы и христианин приехал к нам, а какой-нибудь гость из межпланетного пространства, с Марса или Сатурна, существо внечеловеческой, не белковой, а углеродной или просто инфернальной цивилизации. Вот что он, к примеру, пишет о русских женщинах:

"Их внешность, рост, все в них лишено малейшей грации", *"Не видно было ни одного красивого женского лица"*, *"Ни одна из них не показалась мне красивою, а большинство отличается исключительным безобразием и отталкивающей нечистоплотностью"*. Они для него *"идолы"* и *"ведьмы в засаленных капотах, в стоптанных туфлях, шлепающих на каждом шагу..."*

Не будем вспоминать о том, что у многих понимающих толк в красоте людей Запада (Пикассо, Ромен Роллан, Вальтер

Шубарт, Фернан Леже, Сальвадор Дали) жены были русскими. Женофобство Кюстина, наверное, будет понятно, если вспомнить, что есть немало свидетельств, доказывающих то, что он был педерастом, как и Дантес с Геккерном (везло же николаевской России на французских аристократов!)*. Но ведь его ненависть в книге настолько тотальна, что объемлет все: русскую природу, русскую песню, русскую историографию, русскую литературу, русскую архитектуру, русскую церковь.

"Вчера я перечел несколько переводов из Пушкина. Они подтвердили мое мнение о нем... Он заимствовал свои краски у новой европейской школы... Поэтому я не могу назвать его национальным русским поэтом".

"Мертвое уныние равнины без конца и без края. Ничего грандиозного, ничего величественного".

"Русский народ, говорят, очень музыкален, но до сих пор я еще ничего достойного внимания не слышал, а певучая беседа, которую вел в ту ночь кучер со своими лошадьми, звучала похоронно, речитатив без ритма..."

"Все православные церкви похожи одна на другую. Живопись низменно византийского стиля, то есть неестественная, безжизненная и поэтому однообразная".

О Москве: город *"без памятников архитектуры, то есть без единого произведения искусства", "Кремль — сердце этого чудовища", "Кремль есть создание существа сверхчеловеческого, но в то же время и человеконенавистнического", "сатанинский памятник зодчества", "Кремль, который не удалось взорвать Наполеону"...*

Ах, вот где собака зарыта! Как жаль французскому аристократу, что революционер Наполеон не стер с лица земли Россию, что не превратил в прах ее святыни, что не вытряхнул из русских храмов, подобно троцкистским эмиссарам, чудотворное золото и серебро усыпальниц!

"Рака с мощами Сергия ослепляет невероятной пышностью. Она из позолоченного серебра великолепной отделки. Ее осеняет серебряный балдахин... Французам досталась бы здесь хорошая добыча", — плотоядно сожалеет о несбывшихся возможностях маркиз. Но зато он задним числом берет военный реванш за Наполеона, уничижительно отзываясь о его победителях — русских казаках, которые, по Кюстину, якобы *"при малейшей возможности избежать опасности улепетывают, как мародеры"*. Француз — он и есть француз.

---

* См. журнал "Звезда", № 9, 1995 г.

А что касается размышлений Кюстина о Кремле, то как они совпадают с мыслями и чувствами на ту же тему демократического публициста Олега Мороза, опубликованными в одном из номеров "Литгазеты" за 1996 год.

"Имперская сущность государства, называемого ныне Российской Федерацией, сохранилась во всей первозданности. Должно быть, она вмурована в сами кирпичи Кремлевской стены, вмазана в Царь-колокол и Царь-пушку".

Думаю, что и Мороз жалеет о том, что Наполеон не взорвал в свое время Кремль вместе с его "имперской сущностью".

Многие великие люди прошлого века отозвались о книге Кюстина с презрением. Федор Иванович Тютчев назвал ее "доказательством умственного бесстыдства и духовного растления". Жуковский в письме к Вяземскому написал: "Если этот лицемерный болтун выдаст новое издание своего четырехтомного пасквиля ...ответ ему должен быть просто печатная пощечина в ожидании пощечины материальной", Вяземский в письме к А. И. Тургеневу восклицал: "Хорош Ваш Кюстин. Эта история похожа на историю Геккерена с Дантесом". То есть полна клеветы, лжи и провокаций...

Один только Герцен, который, по словам Достоевского, "родился эмигрантом", приветствовал антирусскую эпопею. Но Герцен был человек другого склада, нежели Жуковский, Тютчев, Пушкин. Понятие чести у него было полностью разрушено. Вспомним хотя бы, что Пушкин вызвал на дуэль Дантеса, пытавшегося ухаживать за его женой, а Герцен, когда немецкий еврей — поэт Гервег — соблазнил его жену, вздыхал, плакал, переживал и чуть ли не соглашался на позорную жизнь втроем. Западники они и есть западники...

Многие годы я неторопливо разгадываю "историческую основу" лермонтовского стихотворения о родине. Конечно же, его можно понимать, как некий ключ к спорам между славянофилами, западниками и идеологами официальной государственности. Но лишь внимательно прочитав маркиза де Кюстина, я предположил, что лермонтовская "Родина", может быть, является косвенным или даже прямым откликом Михаила Юрьевича на сочинение французского литератора.

В своих чувствах к государству, к верховной власти, к официальной идеологии Лермонтов все-таки в чем-то мог понять маркиза:

Ни слава, купленная кровью,
ни полный гордого доверия покой,
ни темной старины заветные преданья
не шевелят во мне отрадного мечтанья.

Не то чтобы Лермонтову был страшен и враждебен (как Кюстину) этот мир имперского и государственного величия, нет, его атрибуты просто "не шевелят" в нем "отрадного мечтанья", он холоден к ним, они не вдохновляют его. (Хотя и это не полная правда, если вспомнить "Бородино", "Спор" или даже "Валерик").

Но вот уже в чем поручик и маркиз совершенно враждебны друг другу, так это в отношении к народной жизни, к мистическим пространствам России, к ее природным стихиям, сформировавшим русскую натуру. Вот здесь у Лермонтова начинается спор с Кюстином буквально по каждому пункту. Все, что Лермонтов любит "за что не знает сам", вызывает у маркиза ужас, а порой и ненависть, порожденную этим ужасом. Лермонтов чуть ли не буквально теми же словами, что и Кюстин, рисует величие русской жизни, но одухотворяет ее одним словом "люблю", которое в коротком тексте повторяется четыре (!) раза:

Но я люблю — за что не знаю сам? —
ее степей холодное молчанье,
ее лесов безбрежных колыханье,
разливы рек ее, подобные морям...

Может быть, я пристрастен, но мне эти строки кажутся прямым ответом на ужас, испытанный Кюстином перед нашими половодьями, перед безмерностью русской жизни: *"От рек веет тоской, как от неба, которое отражается в их тусклой глади. Они катят свои свинцовые воды в песчаных берегах... Зима и смерть, чудится вам, бессмысленно парят над этой страной"*.

В России, как считал маркиз, *"нет ничего, кроме пустынных равнин, тянущихся во все стороны насколько хватает глаз. Два или три живописных пункта отделены друг от друга безграничными пустыми пространствами, причем почтовый тракт уничтожает поэзию степей, оставляя только мертвое уныние равнины без конца и без края"*.

Очевидно, что это впечатление путешественника, едущего на перекладных в кибитке или в карете.

Михаил Лермонтов тоже глядит на русские пустынные равнины и проселки и всматривается в них, "насколько хватает глаз"; но на той же фактуре у него рождаются совершенно противоположные чувства:

Проселочным путем люблю скакать в телеге
и, взором медленным пронзая ночи тень,

встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
дрожащие огни печальных деревень.

Маркиз де Кюстин удивляется, глядя на подвыпивших туземцев, веселящихся совсем не так, как французы или немцы:

"Вот что характеризует добродушие русского народа: напившись, мужики становятся чувствительным и вместо того, чтобы угощать друг друга тумаками, по обычаю наших пьяниц, они плачут и целуются. Любопытная и странная нация! Они заслуживают лучшей участи".

Лермонтов тоже не проходит мимо этой хотя и колоритной, но и весьма обычной для русской деревенской жизни картины.

И в праздник вечером росистым
смотреть до полночи готов
на пляску с топотом и свистом
под говор пьяных мужичков.

Говоря о разнице восприятия свободы в России и Европе, философ Николай Бердяев писал (правда, не о французах, а о немцах, но все равно о европейцах): "Немец чувствует себя свободным лишь в казарме. На вольном воздухе он ощущает давление хаотической необходимости. В понимании свободы мы никогда с немцами не договоримся".

Символично то, что первый перевод мемуаров Кюстина на русский язык с восторженным предисловием состоялся в 1930 году, во времена, когда интернационалисты-русофобы с наслаждением разрушали основы русской культуры, религии, истории. Когда Пушкин, Тютчев и Достоевский считались реакционерами, когда разрушались и закрывались православные храмы, когда "История государства Российского" Карамзина считалась апологией крепостничества и имперского обскурантизма. Кстати, Кюстин был точно такого же мнения о ней, как и ярославские, покровские, луначарские, яковлевы. О великом историке он писал абсолютно в их стиле:

"Если бы русские знали все, что может внимательный читатель извлечь из книги этого льстеца-историка, которого они так прославляют и к которому иностранцы относятся с величайшим недоверием из-за его придворной лести, они должны были бы возненавидеть его и умолять царя запретить чтение всех русских историков с Карамзиным во главе..." Вот так. Кюстин хотел ни больше ни меньше запретить всю русскую историю, что, собственно, и сделали русофобы-революционеры 20-х годов. Запретить Пушкина, посвятившего "Бориса Годунова" светлой памяти Карамзина, запретить

Тютчева, осудившего декабристский бунт, запретить Глинку, сочинившего оперу "Жизнь за царя".

Итак, впервые Кюстин был издан в качестве пособия по истории России в 1930 году. Это понятно, почему. Но что сейчас заставило нынешних демократов пулеметной очередью выпустить подряд несколько изданий этого вульгарного памфлета? Да все то же самое: ненависть к России, многократно увеличенная с той поры. Однако опасный симптом содержится в том, что общественное мнение благодаря этим усилиям обрабатывается с не меньшей силой, что и перед нашествием трех держав в 1854 году. Ярость при формировании в России и в мире антирусского мнения сегодня возрастает до предела. В газете "Вашингтон пост" от 22 октября 1996 года напечатаны размышления о том, что и к нынешней России нужно относиться как к империи, в которую включены многие "оккупированные" территории. Она по-прежнему "устрашающа в своих размерах", по-прежнему "трудно найти в мире более злых, кровожадных, лживых варваров, чем русские", которые "запятнали себя самыми варварскими преступлениями в истории человечества". "Массовые убийства" и истребление наций — вот русская суть! Не советская, не коммунистическая, а именно русская суть. "Мир это должен понять"; "Они должны искупить свою вину".

Поистине благословим судьбу, что у нас есть еще стратегические ракеты дальнего действия. Иначе эта ярость давно бы уже сумела материализоваться в той или иной форме, как она материализовалась когда-то во время нашествия "цивилизованного мира" на Крым. А цитаты из "Вашингтон пост" выглядят как плагиат из сочинения Кюстина. Однако движение НАТО к границам России можно сравнить с подходом к берегам Крыма англо-французско-турецкой армады.

Но все-таки издание этой книги полезно для русских людей. И вот почему. Она откровенно раскрывает чувства и планы западных элит по отношению к любой России — самодержавной, советской, постсоветской. Эта книга проясняет спекулятивную и жалкую попытку многих российских СМИ высмеять "теорию заговора" против России. Да если бы только заговор! Заговор — детский лепет по сравнению с многовековой ненавистью, вечно тлеющей в груди западного идеологического обывателя, ненавистью, которая в критические моменты истории вспыхивает зловещим пожаром.

У всех уже в зубах навязла печально знаменитая цитата из Аллена Даллеса, из его размышлений, легших в основу после-

военной доктрины США по отношению к России: "Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые... Мы найдем своих единомышленников, своих помощников и своих союзников в самой России... Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного угасания его самосознания... Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением... Мы будем драться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них... космополитов".

Сказано с адским спокойствием и уверенностью в успехе своего чудовищного плана. Но, как бы ни было обидно для идеологов Запада, стоит все-таки отметить, что Даллес был не оригинален. Думаю, что Даллес хорошо был знаком с сочинением Кюстина и своими словами пересказал одну из страниц его книги. Эту страницу стоит вспомнить еще хотя бы потому, чтобы освежить в нашей короткой памяти гулявшие по страницам демократической и патриотической прессы споры о так называемых "агентах влияния", всяческих вчерашних и сегодняшних яковлевых, арбатовых, бурлацких, козыревых, батуриных и прочих им подобных. Кюстин, размышляя о коварстве Наполеона, понимает проблему "агентов влияния" таким образом:

"Прозорливый итальянец видел опасность, грозящую революционизированной Европе со стороны растущей мощи русского колосса, и, желая ослабить страшного врага, он прибегнул к силе идей. Воспользовавшись своей дружбой с императором Александром и врожденной склонностью последнего к либеральным установлениям, он послал в Петербург, под предлогом желания помочь осуществлению планов молодого монарха, целую плеяду политических работников — нечто вроде переодетой армии, которая должна была тайком расчистить путь для наших солдат. Эти искусные интриганы получили задание втереться в администрацию, завладеть прежде всего народным образованием и заронить в умы молодежи идеи, противные политическому символу веры страны, вернее, ее правительству. Таким образом великий полководец, наследник французской революции и враг свободы всего мира, издалека посеял в России семена раздора и волнений, ибо единство самодержавного государства казалось ему опасным оружием в руках русского милитаризма. С той эпохи и зародились тайные общества, сильно возросшие

после того, как русская армия побывала во Франции, и участились сношения русских с Европой. Россия пожинает теперь плоды глубоких политических замыслов противника, которого она будто бы сокрушила. Незаметному влиянию этих застрельщиков наших армий, а также их детей, учеников и последователей я приписываю в значительной степени рост революционных идей, наблюдающийся в русском обществе и даже в войсках, и те заговоры, которые до сих пор разбивались о силу существующего правительства".

Круг замкнулся. От Кюстина до Троцкого и Чубайса. В прошлом веке, после обработки книгой Кюстина европейских мозгов, армада кораблей подползла к Севастополю. Сегодня — НАТО ползет к границам России после нескольких изданий того же Кюстина. Но нет худа без добра. Научимся извлекать что-нибудь полезное изо всех клеветнических и пышущих ненавистью к нам сочинений, в которых иногда враги России в состоянии полной невменяемости пробалтывают то, о чем следовало бы молчать.

Когда-то, в середине 60-х годов, вся либерально-диссидентская интеллигенция захлебывалась от восторга, комментируя слова Пушкина, которые вынес Товстоногов на театральный занавес БДТ: "Чорт догадал меня родиться в России с душою и с талантом". Перемигиваясь, хихикали, шептались: "Ай да Пушкин, ай да молодец! Какую свечу вставил в задницу режиму, на Запад рвался. Он такой же, как мы". А о том и не задумывались, что это были личные его жалобы в личном письме к молодой жене. Чего не напишешь любимой женщине, жалуясь на свою судьбу — судьбу русского поэта!

Но лучше бы диссидентура 60-х годов почаще вспоминала другие пушкинские слова, 1834 года, из неоконченной статьи, очень близкой по духу его знаменитому письму Чаадаеву. В этом отрывке есть мысль, подытожившая пушкинское отношение к Западу и ко всем будущим маркизам де кюстинам: **"Европа в отношении к России всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна"**.

2

Похоже, что в нашем журнале складывается некая печальная, но значительная традиция: незадолго до смерти выдающийся публицист Иван Васильев прислал нам свою последнюю повесть "Крестьянский сын", Борис Можаев передал журналу как прозаическое завещание роман "Изгой", а на исходе жизни

Владимир Алексеевич Солоухин позвонил мне и сказал, что закончил книгу размышлений о встречах с русскими эмигрантами в основном "первой волны", размышлений о судьбах потомков некогда славных русских родов, — рукопись называется "Чаша". "Понимаешь, чаша бытия", — своим окающим голосом добавил он в конце разговора. Я прочитал, не во всем согласился с автором, приготовился к разговору, желая кое-что уточнить, в чем-то переубедить Солоухина, позвонил ему в больницу, чтобы договориться о встрече, но было уже поздно. Крестьянский аристократ, русский патриот, всемирно известный писатель уже умирал. Но мы успели дать ему обещание, что "Чаша" будет напечатана в журнале. И, однако, все сомнения, которыми я хотел поделиться с Владимиром Алексеевичем, пришлось изложить в этих комментариях к "Чаше".

Владимир Солоухин, которому посчастливилось с середины 60-х годов довольно часто бывать за границей без особого контроля над ним, был свободен и смел в выборе своих знакомств и как поэт страстно и самозабвенно, поэтически-восторженно составил свои впечатления о русских женщинах из известных аристократических фамилий, об артистах, о писателях, малоизвестных в то время в Советской России, о героях Белого сопротивления времен гражданской войны.

Когда, вселяя тень надежды,
наперевес неся штыки,
как бы в сияющих одеждах
шли Белой гвардии полки...

Стихотворение печаталось в нашем журнале осенью 1989 года. Помню, как я просил Владимира Алексеевича подумать над строчкой "сияющие одежды": ведь не святыми же они были! Но поэт не хотел становиться историком... Словом, он влюбился в этот призрачный мир с той же пристрастностью и восторгом, с каким воспела Марина Цветаева в книге "Лебединый стан" героев-рыцарей Белой идеи ("Молодость. Доблесть. Вандея. Дон")... Но есть поэзия, и есть история. А для историка, каковым Солоухин никогда и не пытался стать, эмиграция всегда была сложным и противоречивым явлением. Поэт же воспринимал историю в очищенном виде — без интриг, грязи, корысти и неизбежного эгоизма, личного и словесного, присущего всем ее персонажам. Да к тому же и воспоминания людей, с которыми встречался Солоухин, конечно же, были очищены от всякой временной накипи и хранили в себе все самое идеальное, самое возвышенное, самое святое из всего, что было

в их памяти. Впрочем, это вполне понятно и естественно. Я тоже не раз встречался с феноменом такого рода.

Но нельзя забывать о том, что даже и в эмигрантской среде бывали трезвые и объективные исключения из мемуаров и исследований такого рода. Жаль только, что мы поздновато познакомились с ними. Вспомним о том, как стойко держится миф о благородстве, чистоте, самоотверженности вождей Белого движения — Корнилове, Деникине, Врангеле, Рузском в постсоветской беллетристике, в каких "сияющих одеждах" действуют они в произведениях Рыбаса и Лихоносова, во многих кинофильмах и стихах перестроечной эпохи. Но открываешь книгу эмигранта князя И. Д. Жевахова, человека, близкого к царскому двору, заместителя обер-прокурора Священного Синода, непримиримого борца с "еврейским большевизмом", и со странным чувством разочарования читаешь: "Изменники и предатели, генерал-адъютанты Рузский и Корнилов, оба вышедшие из народа, крестьянские дети, взысканные милостями Государя, зазнавшиеся хамы, предавшие своего Царя, погибли позорной смертью. Первый был зарублен шашками в Пятигорске и полуживым зарыт в могилу, предварительно им вырытую; второй был разорван на клочки бомбой... Центральным местом революции был не Распутин, как думали и продолжают думать наивные люди, а преступное революционное прошлое мировой общественности, оторванной от церкви, безверной, невежественной в понимании государственных задач, горделивой в своей самонадеянности" (написано в эмиграции, в 1927 году).

Романтический человек, Владимир Алексеевич Солоухин, продолжая непорочную мифологию Белого движения, пишет:

"С военной точки зрения Белая гвардия была разбита, побеждена, но духовно она победила. И чем больше будет проходить десятилетий, тем очевиднее будет становиться этот факт. Спасти Россию Белой гвардии не удалось, но честь России она спасла".

Но вот свидетельства митрополита Вениамина, члена Поместного Собора 1917—1918 годов, главы военного духовенства в Русской Армии генерала Врангеля, выдающегося иерарха Русской православной Церкви, проведшего более четверти века в эмиграции.

В 1994 году вышла его книга "На рубеже двух эпох". Объективный свидетель времени, продолжающий столь драгоценную, очищенную от злобы дня традицию воспоминаний, идеалом которой является пушкинский Пимен-летописец, митрополит Вениамин в этой книге касается самых разных

сторон и причин разрастания революции в России. Со спокойной и печальной честностью пишет он и о том, как вырождалась монархическая идея в России в начале века, и его глубокая мысль далеко уходит от честного, но пылкого романтического монархизма неофита Владимира Алексеевича Солоухина, имевшего, кстати, мужество в семидесятые годы в стенах парткома на упрек: "зачем он носит на руке перстень с изображением "Николашки" — с достоинством ответить: "Не Николашки, а Их Императорского Величества Николая Александровича!" Так вот, вспоминая о юбилейных торжествах 1913 года в честь трехсотлетия Дома Романовых, митрополит Вениамин пишет: "Всюду были отданы приказы устраивать торжества. Заготовлены особые романовские кругленькие медали на Георгиевской треугольной ленточке. Но воодушевления у народа не было. А уж про интеллигентный класс и говорить нечего. Церковь тоже лишь официально принимала участие в некоторых торжествах..." Размышляя со скорбью обо всем, что он видел на этих официальных празднествах, митрополит Вениамин делает вывод, страшный даже для нынешних апологетов монархии: "промелькнула мысль: идея царя тут мертва... если бы я был в то время на месте царя, то меня охватил бы страх: это было не торжество, а поминки".

Вспоминая же о гражданской войне и о поражении Белого движения, беспристрастный свидетель эпохи объясняет это не "красным террором", не мощной организаторской волей Ленина и Троцкого, а в первую очередь тем, что у белых не было в этой войне идеи, которая бы давала силы и цементировала их. "Единая и неделимая?" — спрашивает митрополит Вениамин, — и отвечает: "Ведь и большевики могли бороться и боролись, и успели за "единую, великую, неделимую страну".

За какой строй, вопрошает он, боролись белые? "Монархия с династией Романовых? И об этом не говорилось, скорее этого опасались". А как иначе могли военные вожди Белого движения — генералы Алексеев, Рузский, Корнилов и другие — относиться к монархической идее? Ведь они же способствовали в феврале 1917 года крушению монархической власти и передаче государственного руля в руки масонско-демократической олигархии, проложив пути, по которым пошли их наследники — генералы Шапошников, Кобец, Грачев, Лебедь в эпоху 1991-го. Более того, генерал Врангель лично запретил главе своего военного духовенства митрополиту Вениамину печатать в газете "Святая Русь" монархические статьи. "Россия — не

романовская вотчина", — с этими самоубийственными для Белого дела словами Врангель ушел в эмиграцию.

Что же касается идеологии православия, то генерал Кутепов в присутствии Врангеля рассказывал митрополиту Вениамину:

"Когда был обсужден вопрос о целях войны, дошли до веры. По старому обычаю говорилось: "за веру, царя и отечество". Хотели включить первую формулу и теперь, но генерал Деникин, как "честный солдат", запротестовал, заявив, что это было бы ложью, фальшивой пропагандой, на самом деле этого нет в движении". А если еще вспомнить, как митрополит Вениамин сокрушается, описывая сцены, в которых белые офицеры открыто признаются ему, что они безбожники, и бравируют этим, сцены, в которых он ужасается, что тринадцати-четырнадцатилетние подростки-юнкера в Белой гвардии пересыпают свою речь площадной бранью, поминая и Бога и Божью Матерь и всех святых: "Я ушам своим не верил. Добровольцы, белые — и такое богохульство! Боже, неужели прав Рябушинский? "Мы белые большевики, мы погибнем!"

В конце концов владыка Вениамин честно признается в том, что у белых "почти не было руководящих идей", что "история народных стомиллионных масс тогда была красная, революционная, а идти против стихии таких колоссальных исторических штормов было бесполезно и гибельно для меньшинства".

Так что, читая мемуары Владимира Алексеевича, придерживающегося иной точки зрения, что большевики победили лишь благодаря жесточайшему террору, еврейской воле в высших эшелонах власти и сверхчеловеческой организованности, читателю, видимо, надо было бы в уме держать также мысли, выводы и наблюдения об эпохе ее непосредственного участника митрополита Вениамина. Да что говорить, если даже Великий Князь Александр Михайлович Романов, двадцать ближайших родственников которого были расстреляны большевиками в середине 20-х годов, находясь в эмиграции в Париже, вынужден был признать, что "на страже русских национальных интересов стоял не кто иной, как интернационалист Ленин, который в своих постоянных выступлениях не щадил сил, чтобы протестовать против раздела бывшей Российской империи" ("Великий Князь Александр Михайлович". М., 1991., с. 265).

Не меньшие разночтения между поэзией и историей начинаются тогда, когда Владимир Солоухин восхищается творчеством и судьбами культурной интеллигенции начала

двадцатого века, значительная часть которой ушла в эмиграцию, интеллигенции, по его словам, "образованной, талантливой, жертвенной, многосторонне развитой; которая, продолжая традиции XIX века, явила миру чудеса просвещенности, искусства, гуманизма, красоты и духовного богатства". Все это так. Но характеристика Солоухина мне кажется недостаточной. Несколько раз в своей рукописи он возвращается к спискам имен, среди которых Ф. Шаляпин, Д. Мережковский, З. Гиппиус, Н. Бердяев, Г. Струве, М. Цветаева, Н. Рерих, А. Аверченко, Саша Черный, А. Куприн, К. Бальмонт, И. Северянин, С. Булгаков, А. Павлова и многие, многие другие. Иногда к этому перечню он прибавляет имена Н. Клюева, С. Есенина, С. Клычкова, А. Блока и даже Льва Толстого, как бы духовно близкие всем блистательным именам эмиграции.

Однако историку трудно закрыть глаза на то, что многие из этих людей своим талантом, волей, судьбой подтачивали устои столь милой сердцу покойного поэта дореволюционной России. Каждый по-своему. Шаляпин в годы революции 1905 года под бури аплодисментов исполнял "Дубинушку", бывшую чуть ли не гимном прогрессивной части общества. Сергей Клычков вообще сражался на баррикадах против самодержавия. Саша Черный и Александр Аверченко высмеивали всё и вся, начиная от династии Романовых до рядового полицейского. Булгаков, Бердяев и Струве разрабатывали марксистскую доктрину. Куприн в своем "Поединке" разлагал армейский менталитет, Клюев проклинал монархию и официальную церковь, Мережковский и Гиппиус варили свой сектантско-сатанинский культурный бульон, в которой барахтались молодые поэты, прозаики, философы той эпохи... О Льве Толстом, по-своему сокрушавшем и монархию и религию и отлученном от веры с амвонов, и говорить нечего. И все они, все поголовно, были своеобразными антихристианами: кто атеистом, кто богоборцем, кто идолопоклонником, кто сатанистом, кто в лучшем случае сектантом отнюдь не православного толка, все они боролись с самоотверженным охранительным черносотенством — это было признаком принадлежности к "порядочному обществу", — брезгливо, а то и с ненавистью относились к любой попытке укрепления государственности. Словом, готовили своими руками крушение жизни и свою будущую судьбу в эмиграции и внешней и внутренней. А если уж говорить о Блоке, то как выкинешь из памяти его язвительные характеристики императора-миротворца Александра III, его уничижительные строки об "охранителе" Победоносцеве ("Победоносцев над Россией простер совиные крыла"), его

жалящие удары по телу "единой и неделимой" ("Не так же ли тебя, Варшава, столица гордых поляков, дремать принудила орава военных русских пошляков?"). Какая уж тут "единая и неделимая", какой патриотизм, какие "православие, самодержавие, народность", какие "за веру, царя и отечество"... Одна самоубийственная прогрессивная, либерально-ядовитая похлебка, которой объедались до тех пор, пока не наступило возмездие. Кстати, все, что чуть выше цитировалось из Блока — это именно из поэмы с тем же названием. Конечно, протестантизм, как мировоззрение, неизбежен и естественен во все времена в любых обществах и при любых режимах. Он — одно из условий развития личности и движения истории. Но когда права человека (читай права протестанта) объявляются священными, когда диссидентство объявляет свои интересы высшей ценностью, когда его эгоистическая воля вступает в противоречие с законами естественного народного развития, тогда, как правило, общество, зараженное таким недугом, начинает с головокружительной быстротой двигаться к революционным катастрофам, в пламени которых первыми сгорают (или уходят в эмиграцию) идеологи и практики, жаждавшие для себя скорых и кардинальных перемен в жизни страны.

"Императорское правительство честно и благородно, насколько умело и могло, отбивало подкопы и атаки революционеров и стремилось предотвратить гибель России, — пишет в своих воспоминаниях князь И. Д. Жевахов. — Кто же виноват, что глупое общество с писателями во главе не понимало положение вещей и поддерживало не правительство, а революционеров".

Князь Жевахов иронизирует над Буниным и Шмелевым, изумлявшимся в эмиграции, почему европейское общественное мнение в упор не видит страданий русского народа в первое десятилетие Советской власти: "Бедные писатели! — они не понимают в чем дело. Они забывают, что так называемое общественное мнение создается газетами, что 95% европейских газет принадлежит жидам и что, следовательно, от жидов зависит, пропустить или не пропустить на столбцы газет чей бы то ни было голос". (Жевахов И. Д. Воспоминания. М., 1993. Т. 2, с. 315.)

В связи с размышлениями над книгой Жевахова и над судьбами эмиграции я вспоминаю о том, как несколько лет назад в "Наш современник" зашла супружеская пара. Почтенные, немолодые, образованные люди. Русские эмигранты из Аргентины. Они оставили в редакции редчайший экземпляр издания никому в то время неизвестной книги

неизвестного и почти забытого даже в русской эмигрантской среде некоего Бориса Башилова, которая называлась по-научному просто — "История русского масонства". И попросили сделать все возможное, чтобы издать ее.

Мы прочитали, издали, потом допечатали дополнительные тиражи, и постепенно эта книга за последние годы вошла в сознание русской патриотической интеллигенции. Теперь Башилова в России знают лучше, нежели в колониях русской эмиграции, и на то есть причины. Когда в следующие приезды в Россию наших аргентинских друзей мы стали расспрашивать у них о судьбе автора, они не сразу, осторожно, не торопясь, рассказали нам, что он из "второй волны", что его настоящая фамилия Юркевич, что он был в 30-е годы известным журналистом в городе Курске, что сначала в послевоенные годы, попав из Европы в Аргентину, он писал исторические исследования по русскому XVI—XVIII веку, занимался беллетристикой, много печатался. Но потом стал издавать и популяризировать главный труд своей жизни, смысл которого был в том, что начиная с петровских времен в культурной и правительственной элите России шла непрерывная борьба между западным антирусским масонским началом и национальной волей, что, будучи разгромленными в эпоху Николая I, масонские силы переформировались и стали орденом либерально-демократической интеллигенции — так назвал их Башилов. Именно после этой книги ему был закрыт доступ во все эмигрантские газеты и журналы, и он, нищенствуя, перебиваясь кое-как книжной торговлей, на последнем дыханье дописывал свой труд, закончил его в нищете и забвенье и умер чуть ли не голодной смертью, выброшенный из среды эмиграции, как своеобразный диссидент, инакомыслящий, пошедший поперек всех любимых и непререкаемых мифов об "исторической миссии русской эмиграции".

Мне кажется, что Владимир Солоухин вращался в русских домах Европы и Америки, где не знали, а если и знали, то не любили Башилова и старались не вспоминать и не рассказывать о нем. И это обстоятельство не могло не сказаться на книге "Чаша".

Когда Владимир Алексеевич с восхищением приводит в "Чаше" список именитых фамилий с надгробий парижского кладбища Сен-Женевьев-де-Буа — Толстых, Сперанских, Муравьевых, Пестелей, Оболенских, Вяземских, Гагариных, Кочубеев и других, то мне опять вспоминается Борис Башилов, аскет и подвижник, с его доказательными и жесткими оценками дворянских и боярских родословных, из которых выходили и

декабристы, и просвещенные масоны, и "агенты влияния", будущие революционеры и нигилисты, убежденные западники, поколениями подтачивавшие государственные и народные основы русской жизни. Как это ни прискорбно, но перечни фамилий на страницах Башилова и Солоухина, историка и поэта, во многом совпадают...

Я вспоминаю свои встречи с людьми первой и второй "волн" эмиграции, их гостеприимство, их русскую душевность, но одновременно и понятную мне нетерпимость в спорах о судьбах России.

Однажды в одном из австралийских университетов, в среде русских преподавателей и студентов я прочитал вслух знаменитое стихотворение Ахматовой "Не с теми я, кто бросил землю на растерзание врагам...", думая, что стихи взволнуют моих слушателей и введут разговор в сложное многогранное русло. Но вдруг одна из женщин яростно бросила мне в лицо обвинение Анне Ахматовой в том, что она чуть ли не большевичка и прислужница режима, предательница России. Ахматовой, которая писала о своей судьбе: "муж в могиле, сын в тюрьме — помолитесь обо мне"! Она осудила Ахматову только потому, что Анна Андреевна в начале двадцатых годов сделала как русская женщина свой патриотический выбор:

Но вечно жалок мне изгнанник,
Как осужденный, как больной,
Темна твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой.

Я изумился и буквально потерял дар речи. Вот она, фанатичная обоюдоострая нетерпимость, ее застарелое эхо! Мы были уверены в том, что все, кто эмигрировал, — предатели России. Они — в том, что предатели все, кто остался... Было это уже в 1991 году. Вот какие страсти еще недавно бушевали в эмигрантских русских душах.

А сколько было споров о власовской трагедии и о Власове! Именно эта темная страница истории до сих пор разделяет наше и эмигрантское понимание Великой Отечественной войны.

— Так кто мы, власовцы — герои или предатели? — вопрошал меня один из власовских ветеранов.

— Да просто пылинки истории, несчастные люди, сбитые с ног ее ураганом, — отвечал я ему.

Не буду много рассуждать на власовскую тему, приведу лишь несколько слов из размышлений узника сталинских концлагерей Ивана Лукьяновича Солоневича, человека, чье

легендарное имя дорого и для тех русских из "второй волны" эмиграции, кто ради освобождения России от коммунистов сделал ставку на союз с Гитлером. Солоневич в своей работе "Великая фальшивка февраля", цитируя размышления Петра Струве о постоянных германских планах разрушения России, добавляет от своего имени: "Это было написано за двадцать лет до германо-советской войны, в которой "теоретические проекты разрушения России" (слова П. Струве. — **Ст. К.**) приняли окончательно звериный характер. Но еще и сейчас, и после этой войны, находятся русские и даже "национальные" публицисты, которые проливают слезы по нюрнбергским висельникам... и все еще мечтают то ли о генерале Эйхгорне, то ли о Партай Геноссе Кохе. Кого Бог захочет погубить — отнимет разум".

Да, в эмиграции существовал целый архипелаг блистательной русской культуры, отчаливший в разные времена от родного материка. Но в то же время эмиграция всегда дело тяжелое и разрушающее национальную основу человека. Да и душевную тоже. Александр Герцен, проживший в эмиграции полжизни, писал, подводя итоги своего печального опыта: "Все эмиграции, отрезанные от живой среды, к которой принадлежали, закрывают глаза, чтобы не видеть горьких истин, и вживаются больше в фантастический замкнутый круг, состоящий из косных воспоминаний и несбыточных надежд. Если прибавим к этому отчуждение от неэмигрантов, что-то озлобленное, подозреваемое, исключительно ревнивое, то новый упрямый Израиль будет совершенно понятен"...

Вспоминаю встречи, настороженные взгляды, подозрения. Эмигранты — особенно власовцы — о судьбах своих рассказывали неохотно, о прошлой жизни в России лучше не спрашивать, во всех нас видели кагэбэшников... и это через 30—40 лет после 1945 года. Эмиграция всегда, следуя естественным законам, вырождается, хиреет, теряет в детях и внуках свою русскость, неизбежный акцент приобретают отпрыски самых что ни на есть ее знатных фамилий, вплоть до особ с царской кровью. Но дело не только в этом. В чужом англо-саксонском, иудео-протестантском мире русским людям приходилось жить, выходя из родной церкви и родного дома, по законам этого мира, приходилось приспосабливаться к диктату демократических, рыночных, масонских, индивидуалистических ценностей Запада.

— Не пойму, что вам там в России надо, — озадачил меня в одном русском зарубежном доме его хозяин. — Работайте честно и налоги вовремя платите. Вот и вся наука современной жизни!

Я поглядел на него и подумал: "Совсем ты забыл, что такое Россия и что такое натура русского человека". В Америке, во Франции, в Австралии — повсюду, где я бывал в русских домах, — везде видел, что они не менее нас, советских, несвободны в своем общественном поведении, в словах, чувствах, поступках. Не раз разговоры заходили на еврейско-масонские темы. Собеседники осторожно давали понять, что понимают проблему. Они показывали мне масонские клубы на улицах своих городов, знакомили с русскими людьми, которые, чтобы сделать политическую карьеру, в той или иной степени связывались с масонскими кругами или становились масонами. А если потом порывали с ними, то их карьеры вскоре рушились. Но разговоры на эти темы шли лишь в очень узком окружении родных и близких, никогда — на общественных встречах, и часто меня осторожно, но настойчиво предупреждали, чтобы в широкой аудитории я не затрагивал этой темы. Разве что в письмах после августовского переворота 1991 года их свидетельства стали подробнее и откровенней. Но при этом меня всегда озадачивало одно обстоятельство: удивляясь, как мы жили и как можем жить в "страшном" и "тоталитарном" мире социализма, негодуя и осуждая его, мои собеседники тем не менее порой с негодованием отзывались о реальном мире, в котором жили, но даже в мыслях не допускали, что в нем можно хоть что-то изменить.

Из письма русской женщины, подписчицы нашего журнала, живущей во Флориде: *"У нас сильная эпидемия гриппа. Я пока здорова. Сижу дома. Убийства даже на Рождество не прекращаются. Убивают детей, насилуют, убивают на дорогах. Если кто перегонит — убивают. Этому учат ТВ и Голливуд. Израиль продает оружие Китаю для захвата Сибири. Он может все. У него атомное оружие с 60-го года. А Северную Корею шантажируют"*.

Но то, что можно позволить себе в личном письме, ни в одной американской аудитории никто не позволит себе никогда. Сразу потеряешь или работу, или репутацию. Еще один отрывок из письма русского человека, живущего в Америке и радостно приветствовавшего падение Советской власти: *"Сейчас в США уничтожают христианство. На ТВ рождественские фильмы, которым 50 лет. Сегодня Голливуд их не делает. Президент, его баба и патлатая дочь зажгли елку в Белом Доме на первый день Хануки — 9 декабря. 50 процентов населения не умеет читать. Мозги забиты еврейской пропагандой, деньги и секс вместо Бога"*.

Может быть, что из-за условий такого террора среды русские эмигранты всех возрастов, волн и поколений не

осмелились сказать ни одного слова (по крайней мере я не слышал), ни коллективного, ни личного, в защиту разрываемой на части Югославии или униженной и растоптанной "мировым сообществом" сербской православной цивилизации. А ведь для многих из них, для их дедов, отцов и матерей Югославия, и особенно ее сербские земли, стала после изгнания из России второй родиной, обогревшей и приютившей беженцев. Промолчали. Не осмелились. Поскольку давно уже живут по закону так называемого "цивилизованного мира" и вольно или невольно становятся его естественной и покорной частью.

В Америке давно существует "Конгресс русских американцев" — почтенное объединение выходцев из России. Когда американский конгресс 6—8 июля 1958 года принял "Закон о порабощенных нациях", предусматривавший не только борьбу с коммунизмом, но — главное! — и расчленение России, закон, в котором черным по белому было прописано, что все народы СССР и России — татары, чеченцы, украинцы, и даже казаки, независимо от того, в какие века, добровольно или нет они вошли в состав нашей империи, — сегодня они все поддерживаются Америкой в борьбе за независимость, русские американцы оказались в ложном положении. Всех националистов — украинских, белорусских, прибалтийских, северокавказских — десятилетиями лелеяла Америка. Только русским националистам с их мечтами о "великои и неделимой" всегда плевала в душу. Попытался было "Конгресс русских американцев" робко вякать о том, что "Закон о порабощенных нациях" несправедлив, что бороться надо с коммунизмом, а не с Россией. Но их быстро поставили на свое место потомки людей, загнавших северо-индейские племена в резервации, отрезавших у Мексики Техас и Калифорнию. Эмигрант Александр Зиновьев несколько лет тому назад "открыл Америку", когда сформулировал то, что произошло за годы перестройки: "Метили в коммунизм, а попали в Россию". И все зааплодировали его проницательности, восхитились... А чего восхищаться было? В "Законе о порабощенных нациях" эта мишень была открыто определена уже сорок лет тому назад. Вот и Чечня уже отваливается по этому плану, а к нам все приезжают потомки Волынских, Щербатовых, Апраксиных, Небольсиных, Романовых. Выступают на телевидении, на соборах, симпозиумах, конференциях, учат нас, как нам жить дальше, наблюдают, как разваливается Россия, и полные впечатлений возвращаются обратно в свой свободный мир, о котором один из наших русских читателей, живущий за океаном, пишет так:

“На русских каждый день атака в ТВ и прессе. Они — “русская мафия”. Защитить нас некому. Здешние русские организации боятся открыть рот. И таким образом русские имеют репутацию гангстеров-убийц.

К вам полетел Солженицын. Ну и что он может сделать? Он жил здесь и за русских тоже не заступался”.

...Но мы, в разговоре об эмиграции, далеко ушли от солоухинской “Чаши”. Не подумали бы только читатели, что я чуть ли не политический противник Солоухина. Мы оба — русские люди, и перед этим обстоятельством меркли все наши частные разногласия. Для меня он всегда был крупным, талантливым, “штучным”, как любит говорить композитор Георгий Васильевич Свиридов, человеком, которого я всегда ценил и уважал.

Несмотря на все мои сомнения, дополнения, и даже несогласия, высказанные выше, истины ради должен сказать, что в “Чаше” есть многие страницы новые и неожиданные для поэта и для его читателей. Размышления о деятельности Иосифа Сталина, замечательный рассказ о жизни Александра Вертинского с неизвестными доселе документами, жесткая, ироническая, но справедливая переоценка Солоухиным имен Вознесенского, Евтушенко, Бродского, Ростроповича. Много интересного для себя найдет читатель в солоухинских портретах Ивана Бунина, прозаика Ильи Сургучева, Надежды Плевицкой, певца Николая Гедды. А если дотошные читатели в чем-то будут не согласны с Владимиром Алексеевичем, где-то найдут преувеличения, противоречия, эмоциональные перехлесты в содержимом его “Чаши”, то очень прошу не забывать, что Солоухин по природе был не историком, а поэтом. “А у поэтов, — как сказал Есенин, — свой закон”.

20 мая 1997 г., г. Калуга.

3

Сегодня, на рубеже 3-го рокового тысячелетия мы понимаем, что руководящая прослойка Советского Союза оказалась не в силах противостоять катастрофе, потому что была не монолитна и состояла из двух скрытно враждующих лагерей — русского национального и прозападного русофобского.

Но тем же самым недугом раздвоения страдала и до сих пор болеет русская эмиграция всех волн и всех времен.

Как бы мне хотелось раз и навсегда объясниться и с

"прозападной" частью русской эмиграции, в частности, с кругом постоянных авторов газеты "Наша страна", которая со времен Ивана Солоневича вот уже несколько десятилетий издается в Аргентине.

"Наша страна" внимательно следит за всеми публикациями журнала, особенно теми, которые касаются эмиграции. Не могла она, естественно, и пройти мимо напечатанной нами в 1997 году книги воспоминаний Владимира Солоухина "Чаша". Некий Е. Фокин (возможно, что это один из псевдонимов В. Рудинского, который до сих пор из-за неизжитого страха перед КГБ печатается в "Нашей стране" под множеством разных псевдонимов) в одном из номеров газеты причитает с возмущением: *"Национал-большевики препарируют на свой лад последнюю рукопись Владимира Солоухина", "Могила Владимира Солоухина осквернена", "...совершенно очевидно, что они исказили рукопись, следуя многолетним традициям советской цензуры, тщась выдать Солоухина за своего..."* Желтая злобная газетенка. Мы не можем писать о ней иначе, потому что клевета и домыслы автора запредельны. Авторы "Нашей страны" подозревают редакцию журнала в воровстве, подлоге, фальсификации. Автор статьи, прочитав страницы неприемлемых для него размышлений Солоухина о Сталине, о Вертинском, о лживости поэзии Андрея Вознесенского, буквально заходится в истерическом припадке: *"Это было вписано в текст после его смерти!", "Накануне смерти он был кем-то "изолирован" от родственников", "...уже после смерти писателя кем-то жульнически влиты чужеродные, в мировоззрение Владимира Алексеевича не вписывающиеся, слова и мысли", "Тесно окруженный в последние дни своей жизни витающими над ним, как коршуны, в предвкушении добычи коллегами-писателями типа Куняева — Солоухин в предсмертных раковых муках действительно мог добровольно передать им свою последнюю рукопись для напечатания, не в силах осознать, одурманенный болеутоляющими средствами, что они это издание будут препарировать на свой лад"... "А может, эти коршуны просто забрали рукопись у уже лежащего в полусознательном состоянии писателя?*

Что сказать об этих мелодраматических картинах: автор то ли детективов начитался, то ли американских фильмов насмотрелся. То ли козни КГБ до сих пор мерещатся ему... Пожалеть только можно газетку и его, страдающего, видимо, манией преследования и шизофренической подозрительностью.

Впрочем, репутация "Нашей страны" как газеты лживой

давным-давно сложилась у разумной патриотической части русской эмиграции. Недавно редакция журнала познакомилась с книгой статей блестящего русского публициста-патриота Владимира Нилова, живущего в Америке. Вот уже несколько десятилетий он противостоит, как объективный историк и журналист, прозападному крылу русской эмиграции, захватившему после смерти знаменитого Ивана Солоневича газету "Наша страна" в свои руки. Владимир Нилов еще в 80-х годах, отвечая авторам этой газеты Рудинскому, Пирожковой, Павлову и другим "борцам с коммунизмом" и апологетам Власова, называл их "полицаями и квислингами", которые поддерживают американский закон "86-90"* о расчленении нашего государства: *"Перестаньте обманывать эмиграцию, что вы, русские люди, боретесь с коммунизмом... Предстаньте в своем натуральном виде заклятых врагов России русского происхождения" ("Свободное слово Руси", № 7—8, 1984 г.).*

"Сейчас не осталось никаких тайн о намерениях или деяниях Третьего рейха: никто не может отговориться незнанием. Жалеть об упущенной немцами победе, зная, что немцы готовили русскому народу, могут только люди без чести и совести. Это не русские люди, а рудинские..." (там же).

"Не к лицу "Нашей стране" быть в одной стае с гонителями, с унтерпришибеевыми от антикоммунизма. "Наша страна" при Иване Солоневиче была органом мысли. Как могли наследники такого публициста довести газету до уровня пасквильного листка!" ("Свободное слово Руси", № 7, 1981 г.).

Написано двадцать лет назад, но прозападные борзописцы из "Нашей страны", как Бурбоны, "ничего не забыли и ничему не научились".

В своей книге Владимир Нилов убедительно показывает, в какую маразматическую русофобию впадали иные "русские патриоты", прошедшие власовскую школу, когда в эпоху "холодной войны" одобряли страшные проекты американской военной и политической элиты возможных атомных бомбардировок крупнейших жизненных центров нашей родины.

Отношение к Власову, власовскому движению и так называемой Русской освободительной армии — еще одна страница, разделяющая эмиграцию.

---

* Закон, принятый американским конгрессом в 1959 году, по которому СССР и Россия должны быть расчленены на несколько десятков государственных образований.

В 1997 году мы опубликовали в значительной степени документальную работу профессионального дипломата, историка и писателя, ныне посла России в Норвегии Юлия Квицинского — "Власов. История одного предательства".

Квицинский, блестящий дипломат 60—80-х годов, успешно, не в пример "демократическим" мидовцам, отстаивавший интересы нашего государства в спорах с представителем США Полом Нитце о судьбах взаимного разоружения, об ОСВ-1 и ОСВ-2, несколько лет тому назад пришел к нам в редакцию и поделился своими планами. Он задумал написать трилогию о трех крупнейших предательствах в мировой истории — о предательстве Иуды, Власова и одного из ближайших сподвижников Горбачева, выведенного под именем Тыковлева (псевдоним весьма прозрачен).

Две части этой трилогии мы уже опубликовали, в том числе и из тех соображений, что наше государство разваливается и гибнет благодаря массированному культу и воспеванию измены, ренегатства, предательства... Чьими книгами и мемуарами были завалены книжные полки, чьи имена прославлялись и вколачивались в головы растерявшихся русских людей? Вспомним, кому доставались посты, лавры, гонорары, премии, награды за последние, страшные для России годы? Партийный ренегат Александр Яковлев, генерал КГБ Калугин, сбежавшие в свое время на Запад "грушники" Резун-Суворов и Олег Гордиевский, перевертыши от культуры Михаил Ульянов и Марк Захаров... А кого только из перебежчиков 30-х годов не издавали и не славили в наше время? Тут и Федор Раскольников, и чекист Лев Фельдбин-Орлов, и его коллега Вальтер Кривицкий (он же Самуил Гинзберг). Всех не перечислить. Но для того, чтобы героизировать и поднять их на пьедестал — надо было в первую очередь оправдать и возвеличить знаковую, ключевую в этом списке фигуру генерала Власова... Политические книги о нем в последнее время буквально завалили наш книжный рынок. И вдруг неожиданный отпор — работа Юлия Квицинского. Тут же в редакцию посыпались письма из-за рубежа.

Цитирую отрывки:

"От одного названия этой работы совершенно ясно, что именно автор будет стараться доказать: генерал Власов и его сподвижники предатели, шкурники и пьяницы... Эти люди руководились не личными интересами, а желанием освободить Родину от обеих диктатур: красной и коричневой" (из письма от бывшего остовца Г. Вербицкого из Америки).

"Материал о Власове звучит злобным пасквилем...

Атмосферу жертвенности (и обреченности) людей, которые хотели бороться с коммунизмом за национальную и многонациональную Россию (хоть с чертом, но против большевиков), мы прочувствовали в нашем отрочестве очень ярко! В остовских лагерях тех лет тоже мнения разделились очень бурно, вплоть до мордобоя. На нашем долгом жизненном пути мы немало встречали соратников Власова, за редким исключением людей достойных и мужественных, патриотов... "История одного предательства" очень уж напоминает печальной памяти заказанные ЦК партии опусы" (письмо от наших читателей из Аргентины).

Можно понять чувства и страсти этих людей и посочувствовать им, не как героям или предателям, а просто как несчастным, чьи судьбы были смяты и сломаны сверхчеловеческой силой истории... Но одного нельзя понять: неужели они не видят, что Россия гибнет именно от массированных инъекций в умы и сердца идеологии предательства — политического, духовного, военного, международного, религиозного — любого. А Власов — краеугольный камень в основании этой пирамиды... Кстати, наши поклонники и рыцари Власова забыли, что наиболее бесстрашная и трезвая часть эмиграции думала о Власове так же, как автор нашего журнала Ю. Квицинский.

Иван Солоневич: *"Ни Власову, ни его движению я не сочувствовал никогда — не сочувствую и сейчас. Это — обреченное движение. Из него ничего не выйдет и ничего выйти не может...*

То, что я пишу... будет для власовцев неприятно, вся эта эпопея была сплошной политической ошибкой" ("Наша страна", № 29).

"Русская освободительная армия (РОА), как назвал Власов свои части, не была ни русской, ни освободительной. Как могла эта, одетая в немецкий серо-зеленый мундир, армия быть русской национальной армией, если ее вожаки своим "Манифестом" санкционировали раздел России? Части Власова были попросту русским подразделением в составе немецкого вермахта" (Вл. Нилов. "В борьбе за Россию", стр. 40).

"Массовая сдача армий в первые месяцы войны, потому-де, что народ, одетый в шинели, не хотел воевать — миф. Все немецкие источники сообщают об ожесточенном сопротивлении советских войск с первых же часов войны..." (Вл. Нилов. Там же, стр. 407).

"Власов знал, что его и его армию используют немцы для целей, не имеющих ничего общего с русскими интересами: не

от этого ли он беспробудно пил? (Написано за пятнадцать лет до публикации романа Квицинского. — **Ст. К.**) *Идея освобождения России с помощью заклятых врагов России политически абсурдна и преступна... Настаивать на правоте власовского движения — значит не только оправдывать события сорокалетней давности, но и благословлять нынешнюю и будущую власовщину, теперь-то уж совсем бездумно, то есть благословлять нож, которым будет прирезана наша родина"* (Он же. "Свободное слово Руси", № 1—2, 1983).

Как в воду глядел еще пятнадцать лет тому назад Вл. Нилов! Так что всем, кому не нравится "Наш современник", не за чем спорить с Квицинским. Он же, по вашему мнению, чуть ли не исполнитель партийного заказа. Поспорьте-ка лучше с Владимиром Ниловым, с Борисом Башиловым, Иваном Солоневичем, которому все было ясно сразу же после войны. А вы до сих пор (жизнь уже прошла!) ничего не поняли. Впрочем, интересно то, что невольно проговариваетесь: в дипийских и остовских лагерях мнения в спорах о Власове *"разделились очень бурно, вплоть до мордобоя"*. Ну, если даже в то время были люди, несогласные с вами, то сейчас, когда история все прояснила, зачем же держаться за обветшалые пропагандистские мифы?

Но вот еще одно письмо, подписанное русскими людьми — Олегом и Татьяной Родзянко, живущими в Америке, видимо, со времен первой волны русского изгнанничества. Они раздосадованы и возмущены моими комментариями к солоухинской "Чаше", они не верят ни мне, ни словам князя Жевахова, ни воспоминаниям митрополита Вениамина (которые, кстати, они не читали) — словом, ничему, что говорится о генералах Белого движения — Рузском, Корнилове, Алексееве, как о людях, изменивших монархии и присяге. "Предательством, — пишут они, — можно считать сознательное, преднамеренное действие против своего отечества и правителя. А заблуждения, под влиянием духа времени, с намерением (ошибочным) послужить своему народу и стране, таковыми считать нельзя".

Такая точка зрения может быть объяснена либо родственными симпатиями к одному из могильщиков российской монархии, активному деятелю 4-й Государственной Думы М. В. Родзянко, либо незнанием многих серьезных исследований о масонской антирусской сути Февральской революции 1917 года... Зря наши корреспонденты спорят с журналом, не лучше ли им перечитать исследование историка В. Кобылина,

впервые изданное в 1970 году в Нью-Йорке (его-то надо знать!) под заголовком "Император Николай II и генерал-адъютант М. В. Алексеев". В этом году книга вышла в свет в Санкт-Петербурге под названием "Анатомия измены". Процитирую из нее несколько абзацев:

"Зная о существовании и заговора, и о том, что подготовка его продолжается, генерал Алексеев не сообщил об этом ни судебным властям, как предписывали уголовные законы, ни Государю, как повелевал долг присяги"... Этим он "облегчил Рузскому и его разговор по прямому проводу с тем же Родзянко, и изменнические убеждения Государя о необходимости отречения". "Рузский был масоном, и для него присяга не имела никакого значения. Он давал другую присягу".

"...Генерал Алексеев, передавший государю, что он арестован, несет такую же ответственность за смерть императора, как и Временное правительство, Совдеп и Советское правительство".

"Императрица была арестована по распоряжению Временного правительства. Арестовал государыню по распоряжению того же Правительства вновь назначенный командующий Петроградским военным округом генерал Л. Корнилов".

"Этому злу руками генералов был передан Русский православный царь на заклание".

Приводить факты из этой книги, цитировать ее можно целыми страницами, убеждающими читателя, что последний русский император был предан и генералитетом, и своим собственным монархическим романовским окружением. Именно думая о них, Николай II записал в дневнике: "Измена. Трусость. Обман"... Да и "романтик борьбы с большевизмом" адмирал Колчак, как неумолимо свидетельствуют исторические факты, был прямым ставленником Запада.

С июня 1917 года по ноябрь 1918-го он тайно посещал высший английский политический истеблишмент, его принимал президент США Вильсон (прямо-таки как президент Буш Ельцина!), и лишь после этого Колчак вернулся в Россию в звании ее "Верховного правителя" и, облепленный западными советниками, воюя оружием Антанты (под залог "золотого запаса" царской России!), вступил в борьбу с большевизмом.

А когда Колчак проиграл свою борьбу — то его западные покровители и хозяева, естественно, предали своего "кондотьера" и "наемника" (именно так адмирал называл сам себя в личных письмах).

Да, Алексеев, Корнилов, Рузский, Колчак самоотверженно сражались с большевиками. Но я ведь в своих комментариях

к солоухинской “Чаше” обращал внимание на другое, на то, что они изменили в марте 1917 года и своему государю-императору, и воинской присяге, перейдя на сторону масонского Временного правительства. Кстати, в августе 1991 года по тому же пути измены пошли и советские военачальники — Шапошников, Кобец, Грачев, Лебедь... Измена своей исторической судьбе во все времена оборачивается для России гибелью.

Вспомним, кстати знаменитый корниловский марш, гимн Добровольческой армии: "Мы былого не жалеем, Царь нам не кумир, Лишь одну мечту лелеем: Дать России мир. За Россию, за свободу, Если позовут, То корниловцы и в воду, и в огонь пойдут”. Нынешние потомки известной фамилии Родзянко приводят в своем письме выдержки, как они пишут, “из письма Бухарина Максиму Горькому”, взятые ими из книги Валерия Михайлова “Хроника Великого Джута”. Письмо циничное, откровенное, отвратительное в своем русофобском пафосе. В этом я согласен с О. и Т. Родзянко.

Но, процитировав письмо, корреспонденты журнала упрекают главного редактора: “Поскольку С. Куняев ставит на “одну доску” деятелей большевистской революции и русских людей, ушедших в эмиграцию, предполагаем, что он не знаком с такими взглядами большевиков. Не знакомо с ними и большинство простых русских людей, живущих сейчас в России...” Простите меня, господа, но поскольку вы не знакомы с работами о русском масонстве и русской революции Владыки Вениамина и Б. Башилова, В. Кобылина и Ивана Солоневича, я смею сделать заключение, что мы лучше вас знаем историю русской революции и гражданской войны. И письмо Бухарина мы знаем хорошо, потому что публиковали его в журнале “Наш современник” (август 1990 года). И письмо это написано не Горькому, а Илье Британу, бывшему другу Бухарина, депутату Московского Совета, высланному в 1922 году за границу... И письмо это в 1990 году, когда тираж журнала был 470 тысяч, прочитали миллионы читателей... Так что не надо нас учить. В своих суждениях историки “Нашего современника” стремятся к объективности и независимости — кто бы ни был объектом нашего исследования: Ленин или Бухарин, император Николай II или главнокомандующий Алексеев, генерал Корнилов или генерал Власов...

Слово “измена” в знаменитой дневниковой записи Николая II от 3 марта 1917 года — ключевое слово. Во все смутные времена в России неизбежно возникало противоборство людей измены и людей долга. Курбский — Иван Грозный, Мазепа —

Петр Великий, Пестель — Николай I, генерал Алексеев — Николай II, Власов — Иосиф Сталин. Логика борьбы "людей измены" и "людей присяги" в русской истории одна и та же. Курбский воюет подметными письмами с Иваном Грозным так же, как со Сталиным воевали Федор Раскольников и Лев Троцкий.

Мазепа шел на Россию с ее врагом Карлом XII, и этот дуэт предварял союз бандеровцев с Гитлером.

Николай I повесил государственного преступника полковника Пестеля, и, наверное, с теми же чувствами Иосиф Сталин утвердил приговор генералу Власову.

Когда же в России вырождаются люди подобной государственной воли — унижение, расчленение и вымирание становится ее уделом.

Вы помните, господа потомки "масонов февраля", как в 1916 году, видя, что у ее супруга не хватает государственной воли для спасения страны, немка Александра Федоровна произнесла слова, которыми восхитились бы Иоанн Грозный и Петр Первый, Николай I и Иосиф Сталин: "Будь Петром Великим, Иваном Грозным, императором Павлом, сокруши всех... Я бы повесила Трепова за его дурные советы... Спокойно и с чистой совестью передо всей Россией я бы сослала Львова в Сибирь, Милюкова, Гучкова и Поливанова — тоже в Сибирь. Теперь война, и в такое время внутренняя война есть высшая измена. Отчего ты не смотришь на это дело так, я право не могу понять..." (цитирую по книге В. Кобылина "Анатомия измены").

Недаром же эту мудрую женщину в конце концов церковь канонизировала как святую. Видимо, не только за ее мученическую кончину...

Да поймите же, дорогие зарубежные русские, что все наши беды оттого, что у власти сегодня "жадною толпой" сплотились мазепы, пестели, троцкие, керенские, алексеевы, власовы, александры яковлевы. Независимо от их социального происхождения и партийной и национальной принадлежности — это "люди измены"...

Олег и Татьяна Родзянки, вспоминая судьбу Анны Ахматовой, героев прозы Ивана Шмелева, гимназистки Венгржановской из повести В. Катаева "Уже написан "Вертер", считают, что все эти люди должны были быть, по логике истории, прямыми борцами с советским режимом. Для них. по логике авторов письма, власовское движение должно было стать надеждой на избавление от сталинской тирании... Но жизнь опрокидывает все умозрительные схемы.

В 1991 году журнал "Наш современник" опубликовал замечательный роман внучки великого композитора Римского-Корсакова Ирины Головкиной (Римской-Корсаковой) "Побежденные". Автобиографический роман о жизни дворянской семьи в первые двадцать лет советской власти, жизни с арестами, страхом, унижением, гибелью родных и близких. Словом, о такой жизни, тяжесть и страдание которой и не снились семьям Родзянко, генерала Алексеева, Керенского и прочим, ушедшим в эмиграцию на Запад. И вот что на заключительных страницах романа пишет великая страстотерпица, русская женщина, истинная патриотка, наследница славной фамилии:

"Большевизм... процесс этот самобытен и глубоко органичен. Он слишком значителен, чтобы насильно — вмешательством извне притушить его. Я вынуждена прийти к мысли, что и в нем должны быть черты все того же дорогого мне лика, конечно, страшно искаженные... Но святое тело России все-таки здесь, и я не могу допустить даже в мыслях, чтобы его растерзали на части, как Господнюю ризу. В случае войны я... с большевиками! Я не знаю, как у меня рука повернулась написать эти строчки, но я так прочла в своей душе! Сейчас нет другого правительства, которое могло бы охранить наши границы, а на большую страну неизбежно набрасываются хищники. Россия в муках рождает новые государственные формы и новых богатырей, для которых все классовое уже должно быть чуждо, как дворянское, так и пролетарское, одинаково. Я ошиблась в сроках великой битвы, я ошиблась в источнике новой силы. Никакой реставрации, никакой антанты! Россия спасет себя сама, изнутри".

Кстати, предисловие к роману для "Нашего современника" написал Леонид Иванович Бородин, с упоением читавший его в самиздате в начале 70-х и мечтавший опубликовать роман в своем журнале "Москва", о чем говорил мне сам. Неужели он до сих пор считает свою оценку "русского большевизма" более справедливой, нежели та, которую выстрадала Ирина Владимировна Римская-Корсакова?

Римская-Корсакова умерла за год до публикации романа, который вам, господа наши дорогие западные соотечественники, должно обязательно прочитать, так же как и Башилова, и митрополита Вениамина, и Виктора Кобылина.

Родная земля... Таинственная ее связь с душой человеческой.

В 1922 году молодая Анна Ахматова, осознав, что не может покинуть родину, защитилась клятвой:

А здесь, в глухом чаду пожара
остаток юности губя,
мы ни единого удара
не отклонили от себя.

И знаем, что в оценке поздней
оправдан будет каждый час...
Но в мире нет людей бесслезней,
надменнее и проще нас.

Через сорок лет Ахматова, как завороженная, в стихотворении "Родная земля" повторила старую клятву новыми словами:

Но ложимся в нее и становимся ею,
Оттого и зовем так свободно — своею.

А в наше время, в годы очередной смуты, Валентин Распутин назвал свой рассказ чуть ли не ахматовской строчкой: "В ту же землю".

Все возвращается на круги своя. Мы тоже за это десятилетие не отклонили от себя "ни единого удара", и опять же не найти никого "бесслезней, надменнее и проще нас", никуда не уехавших и ничего не предавших.

Срок придет, мы ляжем в ту же землю, где лежат наши герои и наши святые...

А потому вас, кого положат в другую, не русскую, землю, я прошу об одном: вы свободны во всех своих мыслях и чувствах, но не осуждайте живущих на своей земле в страшное время и не учите нас, как любить родину.

4

ВЫСШАЯ РАСА

Выступление на совещании молодых писателей России

Если хорошо подумать — можно все-таки догадаться, почему так называемый цивилизованный мир не любит Россию и боится ее. Нелюбовь родилась задолго до русского коммунизма. Она была при Иване Грозном и при Петре Великом, при Александре Первом и при Николае Втором...

Страх перед военной и материальной мощью? Да, но это не все. Мы терпим поражения то в Крымской войне, то в Японской, то в перестройке; мощь проходит, а неприязнь

остается. Мистический ужас перед географическим беспределом? Неприятие чуждого Западу Православия? Да, все это так... Но главная причина в чем-то другом...

Бродил я недавно по калужскому базару и разгадывал эту загадку. И вдруг полуспившийся мужичок с ликом кирпичного цвета, небритый, в засаленной куртяшке, помог мне додумать мои мысли... Он стоял в окружении нескольких помятых жизнью пожилых друзей, они торговали гвоздями, гайками и болтами и ждали, когда откроется палатка, чтобы сдать рюкзак стеклотары, и он, чтобы повеселить душу, играл на аккордеоне... Каждый из компании — поговори с ним — личность, философ, характер — а перед музыкой все люди соборны. Я прислушался... Сначала мой земляк сыграл "Синенький скромный платочек", потом отступил лет на девяносто и довольно сносно и с чувством исполнил вальс "На сопках Маньчжурии", а заодно и какой-то жестокий романс начала века выплеснул в зябкое мартовское утро, а потом вдруг перешагнул на несколько столетий назад и, самозабвенно растягивая мехи, выдохнул из бессмертного ямщицкого репертуара: "Вот мчится тройка почтовая..."

Вот тебе и калужский бомж, в душе которого живут несколько веков культуры и музыки... Видел я в Америке внешне похожих на этого мужика бомжей — все дебилы и все неграмотные. Да, с точки зрения Запада, мы народ нецивилизованный, но я это понятие перевожу, как народ "сложный", "природный", "неупрощенный" и не желающий упрощаться ни за какие коврижки... За это нас и не любят, наша сложность — вечный укор их уступкам перед жизнью. Сложностью можно только гордиться. Вспоминаю, как в августе 1991 года я был на перенесении мощей Серафима Саровского в Дивеевском монастыре. Слезы подступили к горлу, когда я глядел на море народа, пришедшего со всей России к своему заступнику. Это были в основном бедные русские люди — "новых" русских тогда еще не народилось — с землистыми лицами от усталости, от дальнего пути, от недосыпа, плохо одетые, измученные всей многотрудной жизнью. Но если бы вы видели как начинали светиться внутренним светом веры их лица, когда они приближались к раке с мощами Святого, когда падали на колени и целовали крышку раки. И тогда я подумал: "культура — это Бог в душе, а не пиво в банке". А на том же калужском рынке стоит женщина, бедно одетая, торгует петухом - наглым, крупным, с большим алым гребнем и грязным, но могучим хвостом, держит его, как ребенка, на руках и говорит соседке: "Петька у меня хороший, молоденький, девять месяцев ему. В

хорошие руки отдать надо. А то утром пришли корейцы, стали торговать Петьку на зарез, а я не отдала... На зарез Петьку моего!..” И поцеловала петуха в гребешок...

Ну разве с таким народом западный рынок построишь? Что делать, если он не желает и не может упроститься вопреки бесчеловечной воле мировой истории! Все западные племена, когда вступили на хищно конкурентный путь своего развития, не без войн и страданий, но весьма решительно выхолостили свое католическое христианство до протестантизма, англиканства, кальвинизма, до чего угодно, лишь бы евангельские постулаты не мешали им богатеть, приобретать колонии, сводить с лица земли первобытно-стихийные, природно-беззащитные народы Америки и Африки... И нас тоже бы ждала та же участь, если бы мы неожиданно для них не стали имперским народом, не создали бы принудительно государственной волей преображенские полки и демидовские заводы, волжские гидростанции и ядерно-космические центры, такие как Арзамас-16, что рядом с Дивеевской пустынью. И еще больше усложнили себя, свою историю и свое настоящее... “Верхняя Вольта с ракетами”, — злобно иронизировала над нами Маргарэт Тэтчер. Слышите скрежет зубовный и ярость в этой иронии? Вот если бы не было у нас ракет, нас бы действительно превратили на века в Верхнюю Вольту. Но ведь в этом-то и есть величие. Народ, естественно, природный — и вдруг с рукотворной мощью XX века. Чем занимались все великие русские писатели, поэты и философы последних двух веков? Одним и тем же: разгадывали загадку русской души. Все — Пушкин и Гоголь, Достоевский и Тютчев, Толстой и Есенин... Народ настолько сложен и противоречив, настолько не желает расстаться ни с одним чувством, ни с одним предрассудком, ни с одним откровением, явившимся ему в течение тысячелетия, что голову сломишь и сердце иссушишь, пытаясь понять — куда же он движется, чего он хочет, почему он не желает упроститься и жить как все. А понять душу русского человека ох непросто. Хотя бы потому, что не хочет она оформляться в окончательное состояние, не желает видеть пресловутый конец истории. “Ты меняла свои имена, — писал Ю. Кузнецов про Россию, — но текучей души не меняла”. Я вот книгу о Есенине написал. И каким счастливым мучением было сознавать, что Есенин, не как идеальный, а как чрезвычайно непомерный и текучий тип русского человека, вмещал в себя несколько эпох, несколько исторических характеров и разновидностей русской натуры: он был и язычником, и православным христианином, и еретиком, и

богоборцем, и большевиком, и антисоветчиком, и монархистом, и анархистом, и светлым отроком, и падшим ангелом... И все — в пределах одной человеческой судьбы, одной жизни... Поистине текучая душа...

А советский опыт, с которым наш человек не хочет расставаться, еще больше усложнил русский характер. Ну как им — немцам, американцам, французам — после этого любить нас, если Тютчев и Есенин до конца своего народа не поняли, и Распутин с Личутиным уже измучились и готовы рукой махнуть: да живи ты как хочешь! Ей-Богу, если бы это понятие не было ошельмовано мировым общественным мнением, я бы, думая обо всем этом, назвал русский народ — высшей расой человечества.

Ален Даллес нашел для нас другое, но тоже важное слово: "Самый непокорный в мире народ". В американской гражданской войне между Севером и Югом много похожего на нашу революцию и нашу гражданскую войну. Победившие янки (северные пришлые большевики) раздавили коренных жителей белой Америки, южан, почти как Москва казачество в 1919—21 годах, устроили для побежденных концлагеря, где пленные мерли, как мухи, от недоедания и эпидемий; победители конфисковали у побежденных поместья и усадьбы, земли и имущество, лишили их избирательных прав и в довершение всей мощью пропаганды и новых законов натравили на них вчерашних слуг — негров, захлебнувшихся свободой. Освобожденные негры вели себя по отношению к бывшим хозяевам, как комбеды по отношению к обреченным помещикам и кулакам. Южане в целях самозащиты, спасаясь от насилия негров, за которыми стоял закон, попытались организовать тайное сопротивление, создали Ку-клукс-клан, но северяне всей волей армии и бюрократии беспощадно выкорчевали очаги сопротивления, и Юг сдался. Но никогда больше побежденные, поскольку они тоже были прагматиками, не подымали голову, не загорались жаждой реванша и отмщения. Под давлением Севера они упростились, перешли из католичества в протестантизм, ассимилировались и навсегда приняли правила новой исторической игры, не помышляя ни о какой перестройке...

Последняя конвульсия побежденных произошла в 1866 году, когда фанатик южанин застрелил президента янки Линкольна во время театрального представления... В нашей истории этот факт аналогичен покушению Фанни Каплан на Ильича. Однако на том энергия сопротивления Юга иссякла...

Величие и одновременно трагедия русской истории состоит

еще и в том, что мы, русские, при всем своем разнообразии, при всем том, что каждый из нас живет и мыслит наособицу вопреки расхожему мнению о нашей "казарменности", — неисправимые идеалисты. Какие бы мы ни были сами по себе грешные, ничтожные и слабые в своих собственных глазах, но наш государь, наш вождь, наш генсек, наш патриарх должен быть в белых ризах, в ореоле непогрешимости. Эта глубоко народная патриархальная и крайне не современная традиция жива до сих пор... Для нас Владимир Креститель — святой, несмотря на все свои грехи языческой молодости, Петр — Великий, Екатерина — Матушка, Александр — Благословенный, Ленин — вождь всемирного пролетариата, Сталин — отец и учитель... Президент-чиновник у нас, думаю, просто никогда не приживется.

Не отсюда ли в России такое количество святых, что Европе непонятно и странно: зачем это нужно русским? А мы канонизировали их в народном сознании аж в девятнадцатом просвещенном веке и канонизируем в двадцатом...

Но именно это трогательное свойство русской души на крутых поворотах истории служило главной причиной бед, бунтов, революций, разрушения государства... Стоило только революционерам с помощью мировой закулисы внушить какой-то части русского общества, что Государь Николай Первый не помазанник Божий, а пьяница и Николай Кровавый, как государство стало рассыпаться и Россия начала сползать в бездну. Идеалистическое сознание русского человека оказалось беззащитным против такого подлого пропагандистского удара.

Как только удалось внедрить в массовое сознание мысль о том, что Сталин не отец родной, а тиран и диктатор, что Ленин не святой человек, а циничный политик и в лучшем случае безжалостный фанатик, как закручинилась и впала в отчаяние русская душа, обманутая в своих лучших надеждах. А в период такого отчаяния и упадка душевных сил с нами можно делать все что угодно.

Западный мир имеет в этом смысле хорошую и надежную прививку от отчаяния. Западные люди прагматики. Они уверены в том, что святых людей нет и быть не должно в нынешнем мире. Потому тирана Бонапарта никогда не вынесут из мавзолея, и рабовладельцы Вашингтон, Джефферсон и Франклин будут мирно покоиться в своих склепах на земле демократической Америки, и фашист Франко будет чтим в ослабевшей духом католической Испании. А мы, как бы мстя истории за то, что она не оправдала наших надежд, будем требовать вынесения из мавзолея Ленина, потерявшего ореол

святости, и замещения в душе ленинских мощей святыми мощами новомученика Николая Великого... Без святых мощей — никак жить не можем. Не согласны на упрощение жизни. Не желаем конца истории, как и положено “удерживающему”...

* * *

Я размышлял в этой главе о книге маркиза де Кюстина.

Но разве только о французах речь? Немцы, самые близкие наших европейские соседи, всю свою историю воспринимали Россию, как своего извечного врага.

В марте 1848 года берлинская революционная листовка истерически взывала к своим бюргерам: “Русские уже здесь! Смерть русским. Помните ли вы еще казаков на низких лошадях с высокими седлами, увешанными утварью из серебра и золота? Всюду, где они побывали, они оставляли за собой разрушение, вонь и насекомых... эти казаки, башкиры, калмыки, татары горят скотским желанием вновь разграбить Германию и нашу едва рожденную свободу, нашу культуру, наше благосостояние, уничтожать, опустошить наши поля и кладовые, убить наших братьев, обесчестить наших матерей и сестер...”

А вот какими нелюдями выглядели русские в школьном учебнике кайзеровского рейха за 1908 год. “Русским присуща смена настроения от веселья до тоски... Неодолимая суровость природы сделала их неприхотливыми, терпеливыми и раболепными... Русские — это полуазиатские племена... Раболепие, продажность и нечистоплотность — это чисто азиатские черты характера”.

Вот так культурные немцы задолго фашистского периода лелеяли и взращивали в своих тевтонских сердцах страх перед Россией, смешанный с ненавистью к ней.

Сейчас, в конце 2-го тысячелетия, эти чувства, конечно, претерпели существенные изменения. Сейчас люди Запада делают все, чтобы ощутить себя единым сверхнародом, “золотым миллиардом” человечества, и грезят, как грезили их средневековые предки о рае, о близком конце истории и о вековечном установлении для них на земле незыблемого, несокрушимого, защищенного от всех социальных катастроф общества потребления. Венца человеческого развития. Никакого конца света, никакого Страшного суда, никакого второго пришествия, никакого покаяния.

Вечная жизнь на виллах в Майами и на Лазурных берегах, вечная виртуально-телевизионная шоу-жизнь, вечные праздничные выборы президентов, словом, вечный кайф, насту-

пивший в результате конца истории, который провозгласил, выполняя социальный заказ "золотого миллиарда", Френсис Фукояма... Наверное, об этом уже мечтал сто лет тому назад господин из Сан-Франциско, живший и померший в рассказе Ивана Бунина. Предполагаю, что подобные радужные картины жили в воображении счастливых до роковой минуты путешественников с легендарного лайнера "Титаник", похожих приятным ощущением полной обеспеченности, безопасности и застрахованности от всех капризов истории на привилегированных пассажиров, которые поднялись во французском аэропорту Орли на трап авиалайнера "Конкорд", что сгорел в воздухе через несколько минут...

Когда Александр Блок узнал о гибели "Титаника", он записал в дневнике простые и страшные слова: "Есть еще океан". И частица этого "океанского" ощущения жизни стихийно или осознанно теплится в каждой живой русской душе.

* * *

Открывали мы недавно в заснеженном вологодском селе Николе музей Николая Михайловича Рубцова, в заново отстроенной из желтых смолистых бревен школе-интернате, где он когда-то учился. Народу собралось в зимний морозный вечер под старый Новый год несколько сотен, видимо, из соседних деревень приехали... На стенках музея фотографии, автографы, документы из истории деревни, книжки Рубцова... Старики и бабки, довольные праздником, озираются, подойдешь к ним, спросишь чего-нибудь про Колю, хитро посмотрят и говорят что-то вроде того, что "да мы-то его знали настоящего... Какой был! А не какой в книжках!". Своя у них правда...

Вспомнил я музей Фолкнера в каком-то южном штате. Дворец из мрамора и красного дерева, газоны, платаны, конюшни, громадные фигурные окна, паркет блистающий, книжные шкафы, письменные столы, камины, бархат, медь. Спросил я у служителя: а народ-то бывает? Да нет, говорит, разве что туристов привезут — русских, либо немцев, либо китайцев... Упрощает Америка свою жизнь. Зачем ей день вчерашний — Фолкнер, Хемингуэй, Томас Вульф... Зато мы живем и спорим с Достоевским, с Есениным, с Розановым, как будто они не померли Бог знает когда, а живут рядом с нами и покоя нам не дают. Вчитываемся, открытия делаем... Упроститься бы, Господи, но как? Как тут отдохнешь душою, когда

тот же Вася Белов в Вологде на вечере, посвященном Рубцову, читает его стихи:

Я запомнил как диво
тот лесной хуторок,
задремавший счастливо
меж звериных дорог.

Там в избе деревянной,
без претензий и льгот,
так, без газа, без ванной,
добрый Филя живет.

Филя любит скотину,
ест любую еду,
Филя ходит в долину,
Филя дует в дуду.

Мир такой справедливый,
даже нечего крыть...
— Филя, что молчаливый?
— А о чем говорить...

Зал захлопал, но Василий Белов погрозил залу пальцем и с тихой горечью сказал: "Нечего хлопать, опять в который раз в истории мы предали доброго Филю..."

Так вот, ежели хотите стать писателями русскими, молодежь, знайте, что обречены вы на всю жизнь заниматься одним и тем же делом: разгадывать загадку русской души — хотя вы все, надеюсь, русские люди, и разгадывать тайну жизни своего народа дело увлекательное! Хотя бы потому, что, как говорил отец Сергий Булгаков, "народы суть мысли Божии"... А самому попытаться разгадать крупнейшую Божью мысль — русскую — разве это не может стать целью жизни? Так что — дерзайте! Соблазн велик! Родина, если поможете ей понять самою себя, вас не забудет.

Март 1996 г.,
г. Владимир

Вместо послесловия

Отзывы читателей на журнальную публикацию книги

Глубокоуважаемый Станислав Юрьевич!

Мне почему-то было трудно решиться на это письмо, вызванное Вашей книгой воспоминаний и размышлений “Поэзия. Судьба. Россия”.

Так сложилось, что журнал “Наш современник” вошел в мой духовный обиход давно, но особенно дорог стал в последние годы. К сожалению, выписывать его я пока возможности не имею, но надеюсь на это в недалеком будущем. Читаю обычно в библиотеке, а потом в начале каждого года беру всю предыдущую годовую подписку и перечитываю наиболее полюбившиеся материалы.

Вот теперь снова перечитал Ваши воспоминания. В едином комплексе они воздействуют гораздо сильнее, чем отдельными главами. И снова надолго потерял сон — в буквальном смысле, без преувеличения...

Мучительно сознавать свою принадлежность к тому поколению, которое фактически сдало Россию вражьей нечисти всех оттенков и калибров. Вольно или невольно — теперь неважно.

Как сейчас высветилось все то мелкое и мелочное, гнусное и мерзкое, что вначале вразброс встречалось в нашей жизни, особенно в последние “доперестроечные” годы, но не получало принципиальной оценки, не давало импульсов к борьбе с разноликим злом. Привычное благополучие казалось незыблемым, стабильновечным...

В бессонные часы перелистываю в памяти свои жизненные страницы, вглядываюсь в лица и характеры живых и ушедших родных, друзей, знакомых — все ведь нормальные, в большинстве порядочные люди, с которыми жил, работал, которых уважал, многих любил; каждый из них представлял

целый мир — понятный и часто неповторимый. А в целом, в причудливом сочетании и переплетении таких вот и родственных, и чужеродных “миров” заложена пока до конца не понятая причина чудовищного обвала — интеллектуального, нравственного, психофизиологического (ибо в народе не сработал даже спасительный инстинкт самосохранения). Мы не замечали, мирились с кажущимися мелочами, разъедавшими и подтачивающими здоровые жизненные устои, объясняли многие поведенческие искривления невинными человеческими слабостями, слишком многое прощали себе и другим, перестали вникать в высокий смысл слов: “Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь”. И не заметили потери общественного иммунитета к тому сатанинскому злу, которое наплывало с иезуитски-назойливого, тягуче-прилипчивого ядовитого Запада, — его наши писатели, патриоты Земли Русской, справедливо называют чужебесием.

Моя трудовая биография сложилась так, что почти 4 десятилетия прожил в отдаленных лесных поселках с весьма пестрым составом населения, где очень редко попадались представители “избранного народа”. Их было много в довоенное и военное время, а потом эта прослойка быстро рассосалась и почти исчезла, за исключением считанных единиц на многие сотни людей. И я никак не предполагал, основываясь на личном опыте, что столь остра в нашей стране проблема жидовского (не еврейского! — это не совсем одно и то же) засилья. Отдельные частности, конечно, видел, но подлинные размеры национальной катастрофы русского народа открылись только в последние годы.

Уверен, что любой нормальный русский человек, раз осознав эту опасность, уже не повернет назад, не поддастся, не позволит купить себя и, что самое главное, будет искать посильные формы и способы борьбы с этим нашествием.

В. Ковалев,
г. Пермь

* * *

Дорогой Станислав Юрьевич!

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые...

Это и про нас теперь сказано. Хотя счастье — надо заметить — сомнительное. Но с классиками лучше не спорить.

Замечательно то, что Вы, Станислав, настоящий художник

слова русского, и не просто талантливый, а художник глубоко мыслящий и далеко, и глубоко видящий своей мыслью. И не только Ваши мысли, но и чувства Ваши глубокие, настоящие, чистосердечные, как и Ваша поэтическая и прозаическая речь. Это прекрасно и большая редкость даже среди безусловно одаренных поэтов, имеющих свой неповторимый голос. Ваши "Русские сны" — одна из моих настольных книг. В ней мой родной русский литературный язык, мои русские чувства и мои русские мысли. Это даже удивительно! Хотя чему удивляться? Такое же счастливое душевное настроение испытываешь, читая строки Кольцова и Тютчева, Есенина и Бунина, Рубцова и Передреева. Спасибо Вам за Ваш талант и труд!

И еще спасибо за Ваш журнал "Наш современник", в котором живы и чистое русское слово, и по-настоящему патриотическая, высокогражданская позиция.

Ваш творческий труд особенно важен в наше "водоворотное" время, когда "Родные русофобы куда подлей, когда карьеры для витийствуют, отечество хуля"! Эти Ваши точные строки словно отзываются на живой голос Федора Тютчева:

Печати русской доброхоты,
Как всеми вами, господа,
Тошнит ее — но вот беда,
Что дело не дойдет до рвоты.

Федор Иванович может спокойно спать со святыми: дело все-таки дошло до рвоты. Осмелюсь предсказать, что XXI век станет не только веком освобождения от жидовствующих в православии, но и от жидовствующих в русской литературе. Время пришло! Разве не в Библии для них же сказано: "все тайное станет явным"?

Вы посмотрите, как саморазоблачается в последних своих бездарных стихах Гангнус-Евтушенко ("ЛГ", № 1, 2000 г.):

Как Россия разоблачилась!
Если в ней, катящейся вниз,
коммунизма не получилось,
не получится капитализм.

Это же взгляд и слова человека со стороны, глубоко чуждого стране и людям, холодного наблюдателя-иностранца. Позор! Он ведь даже не посмел сказать "Родина моя разоблачилась...", понимая, что читатель просто не поймет, о какой такой своей родине он говорит! Хотя кто, как не он, Евтух, всю свою пройдошистую жизнь надоедливо и занудно отождествлял себя самого с Россией.

Извините, Станислав, что отвлекся на это г.., — уж больно он яркий пример современного русофоба, когда "карьеры для витийствует, отечество хуля".

Пока писал Вам это письмо, открыл снова книгу "Растерзанные тени" и не смог остановиться, пока второй раз всю не прочитал. Вы правы: действительно, закрыв книгу, невольно умолкаешь, да просто немеешь, оглушенный всем этим сразу — величием, коварством, героизмом и слепотой эпохи, в которой жили они и в которой, увы, продолжаем жить и мы.

Но нельзя, нельзя нам, дорогой Станислав, неметь! Наша сила и наше общее дело в разумном русском Слове, как бы там ни злобствовали наши неразумные шариковы (быдло) и хитрозадые швондеры (жиды).

Справедливость требует называть вещи своими именами. Быдло оно и есть быдло, а жиды — они и есть жиды. Нельзя заменить имя собственное без ущерба речевому смыслу: только осмысленная, внятная речь достойна называться человеческой. Мы с вами лучше многих знаем, что не все русские — быдло, и не все евреи — жиды. Подлецы умышленно смешивают давно устоявшиеся в русской литературной и народной речи имена собственные, хорошо ясные истинно русскому слуху понятия, искажают настоящий русский смысл русских пословиц и поговорок и т. д. и т. п. Например, крылатая приговорка "...и жид удавился" четко всем русским и нерусским говорит о жиде, а не о еврее. И наши гениальные русские писатели, такие как Пушкин, Гоголь, Даль, Лесков, Достоевский, Есенин (всех даже трудно перечислить!), прекрасно знали, где в тексте надо употреблять слово "еврей", а где презренное слово "жид". И не надо нас, простых смертных, путать и считать за дураков! (Я уж не говорю о том, что само слово "жид" нами позаимствовано у евреев. Вспомните библейского "Вечного жида": презренный смысл в него заложили сами евреи. И правильно, кстати, сделали.)

Конечно, Станислав, я не для Вас это объясняю. Такие очевидности Вы не хуже меня знаете. Просто никогда не надо забывать, что если мы говорим для себя, то одновременно (хотим мы этого или не хотим) мы говорим и для вечности. И никто не знает, как слово наше отзовется. Поэтому желательно, чтобы оно было предельно ясно.

Извините, что подписываюсь псевдонимом. Дело не только в том, что я давно равнодушен к хуле и похвале. Просто хорошо знаю подлые методы этих грязных окололитературных критиков.

С уважением Ваш —

Иоанн Кремлевский,
г. Москва

* * *

Станислав Юрьевич, здравствуйте!

Читаю Вашу книгу "Поэзия. Судьба. Россия" не отрываясь. Дух захватывает! Такого "суммарного" ответа губителям русского народа еще нигде не было!

Пишу, а самому стыдно. Лет этак десять назад я шпарил публичные лекции на тему "Круг идей в поэзии Евтушенко", пока меня не поставила на место одна москвичка в военном санатории "Эшеры" (Абхазия). Простая баба, но просветила мне мозги, показала подлинное лицо этой "трибунной гориллы" (слова Рождественского).

Вещь Ваша — гимн непобедимости и вечности Русского Дела, Духа. И я представляю "скрежет зубовный", когда о н и это прочтут. Представляю физиономии Евтушенко, Бакланова и К°. А ведь как о н и чуют вашего брата: Бакланов еще в институте звал В. Бушина "антисемитом". Но и мы не без памяти! Помним всех поименно, кто подписал "расстрельный гимн" в октябре 1993 года — подписи 42-х человек (?). Читая Вас, хочется перефразировать Хемингуэя: "русского можно убить, но нельзя поработить".

Журналы "Москва", "Наш современник", "Молодая гвардия" у нас зачитывают до дыр. "Знамя", "Новый мир", "Октябрь" и К° Сорос (его фонд) рассылает по библиотекам бесплатно. Но они стоят на полках чистенькие, "неразрезанные", непотребные (в обоих смыслах). Чувствуется, что под предлогом дороговизны подписка на наши журналы сдерживается. В нашу всеволожскую библиотеку они пошли только со второго полугодия. Газет "Завтра" и "Советская Россия" в библиотеках нет, в киосках есть — нарасхват. Народ пробуждается. Телевизор зовут "ящик Геббельса", Киселева, Сванидзе и К° презирают за их ложь. Но народ верит, что это временно.

Всего Вам доброго.

Иван Илларионович Иванов,
майор в отставке,
г. Всеволожск,
Ленинградская обл.

* * *

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Я "открыла" для себя Ваш журнал, а открыв, всерьез заинтересовалась, полюбила его и уже не захотела с ним

расставаться. “Наш современник” оказался так созвучен моей душе, моим взглядам. А Ваша книга “Поэзия. Судьба. Россия” явилась настоящим откровением, научила видеть не только то, что на поверхности, но яснее, глубже, что было как бы зашторено, незнаемо.

Огромное Вам спасибо!

Прочитала один номер журнала, захотелось познакомиться и с другими. Это оказалось не просто. В нашем городе в киосках “НС” нет, а в городских библиотеках нет денег на периодику. Только после долгих поисков нашла в одной из библиотек ваш “Современник”, но он был постоянно “на руках”. Читала его не последовательно, а какой номер могла достать.

С удовольствием читала зарисовки священника Ярослава Шипова “Отказываться не вправе”. Благодаря “Современнику” вспомнила и заново полюбила Николая Рубцова. Когда-то давно мне очень нравились его стихи, но потом долго-долго не встречались и позабылись. А теперь вот прочитала, и повеяло на сердце теплой свежей волной. С удовольствием бы купила книгу его стихов, но теперь их не издают. Книжные развалы завалены одним мусором.

В ваш журнал я поверила сразу за его честность и правду, какой бы горькой она ни была. Разделы критики и публицистики показывают то, что мы, простые люди, здесь, на периферии, больно чувствуем, но не совсем понимаем.

Я поняла, что “Наш современник” — это мой журнал, что в его лице я обрела доброго друга.

Т. И. Крылова,
г. Конаково, Тверская обл.

* * *

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Позвольте выразить Вам сердечную благодарность за раздумья о России и поэзии. Документ огромной силы! Для нас, провинциалов, это откровение, ведь у нас до сих пор шоры на глазах. Великолепны воспоминания о Николае Рубцове. Вы хорошо раскрыли суть характера и поведение Виктора Астафьева. Его двоедушие, ненависть к русскому народу мы замечали еще в Вологде. А нынче он совсем ссучился и скурвился. Грустно все это.

"Наш современник" читаем от корки до корки. Все интересно, смело, наступательно, талантливо. Сколько неведомых новых имен в поэтических подборках! Добротная публицистика! Все, что надо для души и сердца. Так держать!

С искренним уважением, ваш читатель и почитатель вологодской журналистики (мне 72 года)

Александр Иванович Сушинов,
г. Сокол, Вологодская обл.

* * *

Дорогой Станислав Юрьевич!

Когда-то я опубликовался у Вас, когда-то мы с Вами знакомились, когда-то, хоть и не часто, мы беседовали-общались с А. Казинцевым, В. Сорокиным, В. Цыбиным, В. Кожиновым, М. Лобановым, Г. Касмыниным, Сергеем — Вашим сыном, а потом я выехал в "глубинку", и... много воды утекло с тех добрых, интересных пор. Совсем уж было заскучал здесь.

Но вот грянула Ваша новая работа — исповедь-раздумья, как само Откровение, и — солнца стало больше, а небо — чище! Это — не просто удача, это Ваш — и наш! — огромный успех. Бесконечно рад за Вас. Дабы не многословить, только один пример.

Перенес инсульт наш самарский поэт Борис Соколов. Парализовало половину туловища. Хирел с каждым днем. Мы, друзья его, готовились к самому худшему... И вдруг однажды, при очередном посещении, я буквально не узнаю человека: глаза живые, спина расправлена... И он с улыбкой показывает мне стопку "Нашего современника": "Вот, ребята из Союза занесли первые четыре номера". Представьте, ожил Борис Сергеевич! Так что, Станислав Юрьевич, передаю Вам от имени многих из нас, поэтов и писателей-волжан, великое спасибо за журнал, за Ваш капитальный, предельно искренний и благородный труд. О себе уж не говорю: вновь возвращается вера в себя, в высшую справедливость, хочется жить и работать. Кланяюсь Вам. Прекрасно, что есть еще у нас люди с большим, чутким и честным сердцем.

Леонид Манзуркин,
г. Самара

* * *

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Я решил написать Вам всего несколько строк лишь для того, чтобы выразить вам и Вашим соратникам — Игорю Шафаревичу, Вадиму Кожинову, Александру Крутову, Н. Леонову, Татьяне Петровой — гордости и красе русского народа, Олегу Анатольевичу Платонову, многим другим русским интеллигентам — свою глубочайшую признательность, преклонение, любовь. Вы, Станислав Юрьевич, возможно, и не помните: я писал Вам письмо лет пять назад (помнится, спрашивал о подробностях "дела Ганина"), и Вы тогда мне собственноручно ответили, чему я был в равной мере удивлен и рад.

С 1995 года я работаю корреспондентом областной газеты "Нижегородская правда" и по мере сил пытаюсь помогать русскому делу, хотя делать это у нас непросто. Откровенно говоря, русских национально мыслящих людей в Нижнем не так много (да и то сказать: мыслящих-то во все времена было мало!), но они есть. Хоть и разных способностей. Вы, вероятно, знаете нашего писателя В. Шамшурина, члена вашего Союза, мы с ним шапочно знакомы.

Написать Вам меня побудило чтение Ваших воспоминаний в "НС". Наткнулся на них случайно в № 7. Потом прочел предыдущие номера. Поразили письма Шафаревичу и Вам — после чего и решил написать.

Дорогие мои! Скольким, вероятно, Вы открыли глаза. Спасибо за труд, за мужество Ваше. Стойте скалой! На Вас, светочей, надежда нам, простым русским людям. Русские должны быть едины.

Станислав Александрович Смирнов,
г. Нижний Новгород

* * *

Дорогой Станислав Юрьевич, здравствуйте!

В одном из последних номеров Вашего журнала прочитал Вашу книгу (главы) "Поэзия. Судьба. Россия". Увлекся и стал читать с начала. Очень интересная, умная, патриотическая книга. Скажу Вам сразу, что мы стоим с Вами на одних позициях.

Помню, был 93-й либо 1994 год. Сидели в моей мастерской гости: три женщины и трое мужчин, мои друзья. Вечер, работал телевизор, и вдруг диктор говорит, что сейчас вы увидите сцену из новой постановки спектакля "Лес" Марка Захарова в "Ленкоме". То, что мы увидели, нас всех потрясло не просто пошлостью и тем паскудством, что позволил себе по отношению к русскому драматургу и к нам, его русским зрителям, "русский" режиссер-"новатор" Марк "Захаров". Что же было на сцене? Выходит Чурикова в роли барыни в широченном платье. За ней выбегает соплячок эдак лет 16 — 17 и тут же ныряет ей под юбку. В течение 5 минут наша "звезда" колышется в такт его подъюбочным упражнениям в полном экстазе, приговаривая: "не все сразу".

Я, хозяин дома, не знал, что мне делать от стыда, и друзья мои, особенно дамы. Выключать телевизор тоже было неудобно. Ну, в общем все сразу засобирались и разошлись. Я был ошеломлен паскудством "Марказахарова" и подумал о том, мог ли русский режиссер позволить себе такое надругательство над Островским? Да никогда! И так во всем — будь то покушение на жизнь русских правителей и чиновников, работа на радио-"волнах", "голосах", "свободах", торговля краденными культурными ценностями России в магазинах Германии.

P.S. Я думаю, что мы, русские, должны быть суровы к себе и правдивы в самооценке. Мы опустились, мы стали ничтожным народом, безразличным и к себе, и к своим соотечественникам, и к родным могилам. И как ту голодную корову в колхозном хлеву, нас надо поднимать с земли ремнями на борьбу за свое спасение, и для этого все средства хороши.

Генрих Макеев,
с. Кизомыс, Херсонская обл.

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Ваши публикации о поэзии и судьбе России я всегда жду с нетерпением. Много познавательного нахожу для себя, неизвестного мне ранее. Так в свое время мимо моего внимания прошла поэзия Анатолия Передреева, хотя о нем и много упоминалось, но его книжки в руки мне не попались, а ходить по библиотекам мы давно уже разохотились. Всегда с интересом читаю публикации Вадима Кожинова и Олега Платонова. Ваш журнал для писателя, живущего в глухой провинции, без товарищей по духу, как глоток свежего воздуха,

как ориентир в море разноречивой информации, как подтверждение своим мыслям и пристрастиям, поддержка единомышленников.

Я полностью разделяю Ваше мнение об Астафьеве, опубликованное в восьмом номере за прошлый год. Помню, еще при перестройке, когда некоторые наши партсекретари собирали подписи против Астафьева в подметных письмах, обвиняя его как кулацкого писателя, я зарекся подписывать какие-либо письма против него и выступать против него. Я считаю его большим российским писателем — наряду с В. Распутиным, Ю. Бондаревым, В. Беловым, Е. Носовым, В. Солоухиным. Его творчество я принимаю, оно близко мне по духу, хотя некоторые произведения, полные чернухи на советскую власть и на Отечественную войну, отвергаю, ибо это не соответствует действительности: ветераны Отечественной тоже не согласны с трактовкой войны того же Виктора Петровича. Еще в конце 1993 года на собрании, выступая в защиту Олега Пащенко, я прямо в глаза Виктору Петровичу заявил, что не разделяю его политические взгляды, что мы уже досыта наисключались в былые годы и, возможно, придет время, когда нам придется снова звать в Союз Олега. Что, возможно, придет время и Виктор Петрович еще созреет и прозреет. Конечно, эти мои слова вызвали легкий смех у его прихлебателей: кто он и кто я по сравнению с ним?

Когда-то я преклонялся перед Петровичем, очень хотелось с ним подружиться. Но по некоторым причинам это не состоялось. А сейчас я благодарю судьбу, что подобная дружба-преклонение обошли меня стороной, ибо слишком бы горько было разочаровываться, если бы пришлось разойтись по тем или иным причинам, как это получилось у него с Олегом, а теперь вот и между вами, когда Вы смело и твердо высказали свою точку зрения о нем и о его поведении в последнее время.

Для нас, сибиряков, Виктор Петрович был кумиром, смелым авторитетным писателем, когда высказал в переписке с Натаном Эйдельманом русскую точку зрения. А потом... А потом он пошел взад-пятки. Почему? Тут можно только догадываться. Или он испугался тайных еврейских угроз, или поддался их лести и у него еще теплится надежда получить Нобелевскую премию или хотя бы букеровскую. Тогда, на собрании, я сказал, что, хотя Виктор Петрович и выставил свою кандидатуру на букеровскую премию, ее никогда ему не дадут. А он тут же мне и ответил, что он уже снял свою кандидатуру.

— И правильно сделали, — сказал я, — ибо Вам все равно никогда премию не дадут.

Не знаю, понял ли он смысл сказанного мною. Но, видимо, именно из-за тех ответов на письма недруга-провокатора что-то и сломалось в нем. Ведь критики-евреи сразу же начали применять против него свой излюбленный прием: мол-де, он уже исписался, ничего больше путного уже не напишет (не сглазили ли?), ведь по сути так почти и получилось, роман о войне — это чернуха, неправда. Мне рассказывали фронтовики, проходившие военную подготовку в тех же военных лагерях под Юргой; ничего такого страшного, уркаганного там и не было, были в основном призывники из деревни, и дезертиров-парней не расстреливали на глазах у всех перед строем, а просто отправляли на фронт в штрафные батальоны. А спустя некоторое время те же критики, что уничтожали Петровича, стали льстить ему, в один голос твердить, что он в литературе недосягаемая вершина — Монблан, Эверест, он сам по себе выше всех союзов, что и сейчас дает ему повод заявлять, что он ни в каких союзах не состоит. Я сейчас думаю так. Возможно, пройдет какое-то продолжительное время, улягутся политические споры, к чему нас призывают то и дело (но ведь литературы без политики почти не бывает, ведь у каждого писателя есть пристрастие к тому или иному, это непременно отражается в его произведениях), пройдет время — и тогда наше теперешнее неприятие его как политического противника испарится, просто-напросто забудется; он останется только в истории русской литературы, как это произошло когда-то с норвежским писателем Кнутом Гамсуном, во время войны сотрудничавшим с гитлеровцами. Но теперь это забылось, во всяком случае для нас, читателей других стран, а остались его прекрасные чистые романтические произведения, которыми можно наслаждаться. Возможно, и с Виктором Астафьевым когда-нибудь такое же случится.

Ероховец Александр Степанович,
г. Красноярск

* * *

Уважаемый Станислав Юрьевич!

В течение всего прошедшего года я брала в нашей библиотеке Ваш журнал “Наш современник”. Конечно, “для пробы” и другие журналы, типа “Знамя”, “Новый мир”, но это вначале только, потом не стала тратить на них время и зрение. Хочу

сказать Вам сердечное спасибо за Ваш писательский и редакторский труд. Особенное спасибо за Ваше повествование “Поэзия. Судьба. Россия”. Вчера вечером я читала № 12 “НС”, где Вы пишете о днях теперешних, Горбачеве, партии, развале страны. Во всем я с Вами согласна и солидарна. Но хочу чуть добавить о, так сказать, своих событиях того времени в масштабе нашего села.

Я тоже была в КПСС с 1972 года по убеждениям. Но после прихода в 1985 году к власти Горбачева в стране и партии стало твориться что-то невообразимое. “Общечеловеческие ценности” с Запада до того растлили народ и партию, что события 1991 года явились как бы закономерным итогом. Наших людей советская власть в последние десятилетия своего существования избаловала настолько, что многие просто как бы опьянели от ожидающей их свободы. И пустые прилавки магазинов, талоны и очереди — все это было заранее заготовлено на наши глупые головы теми людьми, которые теперь называются “новыми русскими”.

И у нас были митинги, выходили из партии, никто ее не защищал. Сейчас, после десяти лет “реформ”, люди чуть-чуть стали прозревать. И в итоге в нашей области избрали бывшего первого секретаря обкома (17 лет он у нас работал) Е. К. Лигачева. И баллотировался он от группы избирателей, а не пошел в Думу по списку КПРФ, хотя ему это и предлагали.

Станислав Юрьевич, дорогой Вы человек! Я чувствую, как Вы за все переживаете, как болеете за Россию сегодняшнюю, жалеете ту страну, что была раньше. Побольше Вам сил, здоровья. И всего Вам самого доброго.

Р. И. Сухушина,
с. Парабель, Томская обл.

* * *

Здравствуйте, Станислав Юрьевич!

Все подмывало меня откликнуться на Вашу “Поэзию. Судьбу. Россию”, да лень-матушка и некое сомнение удерживало, а вот и не утерпел, прочитав о Федоре Сухове. Хорошо и точно написали о нем. Святой, птичка Божия, но железный в убеждениях.

А про Евтушню, про Евтушню! У меня душа отдыхала, вера крепла, когда читал про этого оборотня: есть Высшие

Силы!.. И сочувствовал Вам насчет Шкляревского: тяжело друга терять... За этим Вашим признанием проглядывает лик правдолюбца, живущего по Христу: оставь отца и мать... Большинство людей склонно укреплять благополучие (усладу и удобство тела), а не силу духа, потому они отходят от правдолюбца, а он постепенно остается один, как богатырь с мечом во чистом поле, печально-задумчивый, хотя и победивший... И получается хорошая проза с психологией, четкими пейзажами, широкой географией событий. И вообще даете яркий урок для "сумасшедшего дома", как Лев Толстой справедливо назвал сообщество писателей ("Исповедь").

Сухов был глубоко одиноким в этом сообществе, даже подавал заявление о выходе из СП. Наш тогдашний ответсек В. Леднев (я еще не состоял в СП) чуть ли не обыск устроил у него в квартире, Агашина молчаливо согласилась, что в местном издательстве зарубили уже набранную поэму Сухова "Былина о неизвестном солдате".

Сколько он бедствовал! Доходило до того, что мы с другом и многие другие ребята (не члены СП) приезжали к Сухову (он тогда не пил, но любил, когда при нем выпивают) с водкой, с обильными закусками и за разговорами, за шумом-гамом вроде бы забывали вскрыть консервы, развернуть свертки — старались побольше оставить: дети, а на кухне кусок черствого хлеба и тараканы... Он не принял бы денег и выгнал бы с явно принесенной едой.

А в Красном Осёлке!.. В 1971-м написал я о суховском сборнике статью на два подвала в областной молодежке, захотелось рассказать побольше — о человеке, фронтовике, и я приехал в Осёлок, куда он многократно приглашал... В довольно просторной избе с огромной печкой и без единой перегородки жили его мать и младший брат Шурка с женой и младенцем, а Сухов — на задах, в баньке, спал и, по привычке, лежа писал на ржавой кроватке, до того крохотной, что ноги просовывал между прутьями коретки на приставленную табуретку... На огороде рвал укроп (огурцы еще не поспели) и ел с хлебом — довольнющий, прищелкивающий пальцами от восторга: какая красота кругом! А она там — редкостная!.. Шурка — ветрогон, Сухов — весь в стихах, а у матери, Марии Ивановны, глубокой старухи, сил нет лазить по кустам, собирать "шипар" (шиповник), чтобы сдать его и получить разрешение на заготовку дров. Замерзать будут зимой! Я написал редактору Горьковской областной партийной газеты Ивану Александровичу Богданову, которого знал по работе в Ульяновске, рассказал о Сухове, укорил (мол, кого-то на волне

поднимают, а у вас поэт!..), попросил помочь с дровами. Помогли, даже привезли! А еще и прислали в Осёлок журналистов из областного телевидения, выдали очерк о Сухове. А если бы я не приехал и Богданова не знал?..

До последних дней он оставался одиноким в своем непосредственном писательском окружении, резко протестовал, когда нижегородский ответсек (и по виду ловкач) сдал часть помещений их Дома писателей в аренду:

— Как можно в храм торгашей пускать?! — возмущался Сухов и дошел до разрыва с ответсеком, а тот удумал, стервец, устраниться от похорон, пальцем не шевельнуть.

Завтра хоронить Сухова...

В Осёлок (за 120 км) прибыли в сумерки, в ветер с поземкой, но народ не расходился, хотя иззяб. У меня душа разрывалась, когда слышал, как над усопшим Суховым причитали согбенные, в телогрейках, в "плюшках" крестьянки:

— Он ведь на-аш!.. На-аш!..

Большинство старики да старухи. Но, скользя, падая, где и ползком, спустились все же со страшенной кручи к выступу на ней, откуда — неоглядные просторы с Волгой, с ее противоположным берегом в дремучих лесах, рассеченных Керженцем. Там на выступе и похоронили — у одинокой могилы его родителей.

Желаю Вам здоровья, частого вдохновенья!

Иван Маркелов,
г. Волгоград

Содержание

Станислав Юрьевич Куняев

ПОЭЗИЯ. СУДЬБА. РОССИЯ

Книга 2

«...Есть еще океан»

Редактор
Г.М.Гусев

Художественный редактор
М.Г.Акколаева

Корректоры
С.А.Артамонова, С.Н.Извекова

Операторы
Е.Я.Закирова, Ю.Г.Бобкова

Подписано в печать 20.12.2000. Формат 84х108/32. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл.печ.л. 26,04 + вкл.
Тираж 3000. Заказ № 426

ННОК «Редакция журнала «Наш современник»,
103750, Москва, Цветной бульвар, 32.

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов
в ГУП «Облиздат», 248600, г.Калуга, Старый Торг, 5.



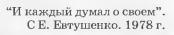
С Арчилом Салакаури и В. Огневым.
Грузия. 1973 г.



В Тянь-Шаньском распадке.
Э. Портнягин и Ст. Куняев. 1969 г.



С художником Б. Заборовым.
Северная Двина. 1976 г.



“И каждый думал о своем”.
С Е. Евтушенко. 1978 г.





На берегу Сояны.
1975 г.



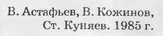
На легендарной Мегре.
1978 г.

С друзьями ■ деревне Абрамово. 1981 г.
(*Слева направо*:
В. Шугаев, Ст. Куняев, Л. Кокоулин, Я. Шипов).

Возле "лермонтовской хаты" в Тамани. 1984 г.



С В. Беловым
в селе Никольском. 1985 г.



В. Астафьев, В. Кожинов,
Ст. Куняев. 1985 г.





Открытие памятника Ю. Селезневу. 1986 г.



С женой в Париже. 1980 г.



Г. Свиридов, В. Ганичев, Ст. Куняев.
Союз писателей России. 1995 г.

Ст. Куняев, В. Крупин,
В. Максимов. 1995 г.



Ст. Куняев и В. Максимова
в гостях у О. В. Волкова. 1995 г.



В раздумьях
с И. Шафаревичем. 1993 г.



На поле Куликовом. 1990 г.



Ст. Куняев и Ю. Кузнецов. Рязань. 1987 г.



С В. Личутиным
в Константиново. 1995 г.

В родной Калуге. 1996 г.





Дед с внуками. 1988 г.



Коллектив журнала. 1996 г.

Станислав КУНЯЕВ

ПОЭЗИЯ. СУДЬБА. РОССИЯ

